

Н О В Ы Й
М И Р

12



1953

НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIX

№ 12

Декабрь, 1953 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Е. ГЕРАСИМОВ — В Сталинграде. Записки Ани Чурилиной	3
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Свадьба, стихи	61
В. ПАНОВА — Времена года, роман. Окончание	62
САЛИХ БАТТАЛ — По столбовой дороге. (Из повести в стихах). Перевод с татарского Н. Гребнева и С. Липкина	159
ДОРИС ЛЕССИНГ — Старый вожь Мшланга, рассказ. Перевод с английского Ю. Мирской	180

ПУБЛИЦИСТИКА

АНАТОЛИИ ЗЛОБИН — Уральские встречи	189
ВАС. РУСАКОВ — Сила примера	199
Б. ЛЕОНТЬЕВ — Международное сотрудничество и мир	208

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. ПОМЕРАНЦЕВ — Об искренности в литературе	218
<i>К 150-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева</i>	
И. СЕРГИЕВСКИЙ — Выдающийся русский поэт	246

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. С. ЕМЕЛЬЯНОВ — Некоторые вопросы советской комедии	251
---	-----

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	266
А. Турков. По шаблону. — М. Козьмин. В плену у материала. — Г. Койранская. О теме главной и побочной. — А. Г. Гатое. Книга о великом китайском писателе-революционере. — А. Наркевич. Гоголь и революционные демократы. — Л. Барзвой. «Геометрическая» лингвистика.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	295
В. Песчанский. Борьба продолжается. — Кандидат исторических наук А. Валуцкий. Крестьянское движение на Ближнем Востоке. — Н. Горбунов. Аргентинский экономист о судьбах своей родины. — Кандидат географических наук И. Забелин. Выдающийся русский естествоиспытатель. — Кандидат исторических наук Л. Липин. Учебник по древней истории.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (октябрь — ноябрь 1953 года)	310
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1953 ГОД	314

Е. ГЕРАСИМОВ

★

В СТАЛИНГРАДЕ

Записки Ани Чуриловой

И недавно шли мы с Ваней по центральной улице города, и вдруг из-под наших ног вспорхнул скворец.

— Видишь, — говорю я Ване, — а ты ещё смеялся: в Сталинграде — скворечница!

Прошлой весной в одном большом доме, на балконе четвёртого этажа, жильцы выставили будочку для скворца. На длинном шесте, покосившаяся над тротуаром, она была видна издали. Ваня говорил: «Это единственная жилплощадь в Сталинграде, которая всегда будет пустовать».

Оказывается, нет — тоже уже заселена.

Есть ещё у нас в городе, среди новых домов и скверов, развалины военного времени. Из развалин, мимо которых мы проходили, и вылетел скворец.

От многоэтажного дома остались только осыпавшиеся стены и глубокий каменный подвал, заваленный битым кирпичом. Сверху в него свисают железные прутья изогнутой взрывом арматуры. И сквозь эту арматуру, как через решётку, пробивается к солнцу целое семейство молодых ясеней.

Сколько раз я проходила мимо этого подвала и не замечала, как молодые деревца боролись тут с камнем и железом, — всегда некогда, всегда куда-нибудь торопишься, бежишь. И вот они уже почти дотянулись до тротуара, и на них висят шелковистые, в тёмных крапинках, кисточки.

— Ну, чего ты тут не видела? — заторопил меня Ваня.

Я схватила его за руку.

— Смотри, смотри, какой зелёный лес в подвале!

Для Вани в этом не было ничего удивительного: дом разбит до основания, его уже не восстановишь — ну и хорошо, что покрывается зеленью.

Ваня приехал в Сталинград после войны. Он не видел, как мы тут жили в палатках среди развалин и из этого самого подвала, в котором сейчас вырос лес, вытаскивали заваленные военным мусором железные двухъярусные койки.

Десять лет уже, как мы в Сталинграде! И неужели никто не расскажет, как мы начинали тут заново жизнь?

Мы ехали в Сталинград на первом теплоходе — только что прошёл лёд, и тральщики очистили фарватер от мин. Было нас, девушек, шестьсот, может быть и больше, встретившихся на сборном пункте в Саратове.

Провожали нас с музыкой, говорили речи, а мы отвечали песнями, и на теплоходе, ещё прежде, чем перезнакомиться друг с другом, долго перекликались хорами: одна кучка с другой. Затянем песню на нижней палубе — и наверху откликнутся.

На пристанях собиралось много народу, все интересовались, куда это едет столько девушек и почему они в военное время такие весёлые. С пристани и с берега люди кричали:

— Далеко ли, девушки, плывёте?

Мы гордо отвечали:

— Едем восстанавливать Сталинград.

Сан Саныч — это был сопровождавший нас представитель Сталинграда, старый рабочий, черноусый, в металлических очках, — ещё на сборном пункте говорил нам, что нас ждёт невесёлая жизнь: придётся начинать всё сначала, на голом месте. Но лицо у Сан Саныча, несмотря на сердитые усы, было доброе, весёлое, и мы пропускали его слова мимо ушей.

На пароходе Сан Саныч дымил своей трубкой и всё поглядывал то вниз, на воду, то вверх, на небо, — тревожился: не всплыла бы где затерявшаяся мина, не появились бы над Велгой фашистские самолёты. А мы смелись над Сан Санычем. Увидим плывущую по Волге пустую бочку и кричим:

— Сан Саныч, мина справа у борта!

Сан Саныч не сердился на нас. Только покачает головой и скажет:

— Эх вы, девушки, девушки мои! Побудете в Сталинграде, тогда не станете смеяться над минами.

— А мы, Сан Саныч, вовсе не над минами... — хохочем в ответ.

Весёлое настроение было у нас в первый день пути. Можно было подумать, что нас везут на какой-то праздник.

Погода была солнечной. Посреди Волги течение несло сломанные где-то половодьем зелёные ветки. Встречные волны поднимали их, и они покачивались над жёлтой водой. Казалось, что это растут из воды молодые деревца, рассаженные кем-то для украшения Волги на нашем пути в Сталинград.

А на другой день, выбежав на верхнюю палубу, мы не узнали Волги — так изменила её погода.

Теплоход шёл против пенистых волн. Можно было подумать, что он борется с бурным течением, словно Волга повернула назад. На берегах всё быстро двигалось, мелькало, расплывалось, то светлело, то мутнело. Порывами налетал дождь.

Ветер загнал нас на корму, но и тут нам от него доставалось. Вырываясь из-за угла салона второго класса, он кидал в нас крупные капли дождя. Мы стояли кучкой, ёжились от холода и колких капель, стекавших за платье, а всё-таки вниз, в битком набитое помещение третьего класса, уходить не хотелось. И вот одна девушка, которую все, ещё не зная, кто она такая, как её зовут, сразу признали за старшую, заглянув в окно салона, вскрикнула радостно:

— Музыка есть, девочки! Найдётся и морячок, который сыграет нам вальс.

В углу салона стояло пианино. Сбоку от него, за столиком, сидели несколько моряков-офицеров и играли в домино. Возле них отдыхал на диване, положив забинтованную голову на вешевой мешок, молодой моряк.

Ольга — так звали девушку, которую мы признали за старшую, — забежав в салон, обратилась к морякам:

— Товарищи морячки, девушкам хочется потанцевать. Не сыграет ли кто-нибудь вальс?

Игравшие в домино даже не оглянулись, а раненый моряк тотчас поднялся и сел за пианино.

Начались танцы. Девушки закружились на палубе возле окон салона. Меня подхватила Ольга. Всё в ней вызывало у меня удивление — и глаза,

большие, ярко светящиеся, и рот, тоже большой, с сверкающими зубами, и лоб, высокий, гладкий, как отполированный. И как она легко танцевала, несмотря на свою массивную фигуру!

Я спросила её:

— Ольга, вы откуда?

— С Донбасса, эвакуированная, — ответила она и в свою очередь спросила: — А ты не ленинградка?

— Почему вы так подумали? — удивилась я.

— Видно, что пережила блокаду, — худенькая, лёгкая, как пёрышко, — сказала она.

Узнав, что я всегда жила на Волге и не была ни в какой блокаде, Ольга воскликнула:

— Волжанка! Вот уж не подумала бы! Лицо у тебя белое, как крем... Отец, наверное, профессор или музыкант?

— Опять не угадали, — рассмеялась я. — Мой отец — литейщик, мастер по формовке. И сама я с начала войны в литейной на мостовом крае работала.

— Значит, литейщица? Здорово! — почему-то обрадовалась Ольга.

— А вы не с шахты? — спросила я.

— Отец погиб на шахте, а я в жизни её не видела, — сказала она.

Так мы с ней знакомились, вальсируя на палубе, пока усилившийся дождь не заставил нас укрыться в салоне. Там уже собралось много наших девушек, среди которых обращала на себя внимание одна маленькая толстушка. Обмахивая рукой красное, разгорячённое и мокрое — не поймаешь, от пота или дождя, — лицо, она притопывала и приговаривала:

— Ох, жарко! Дайте, девочки, веер!

— Кто вы такие, девчата? — спросил моряк, игравший на пианино.

Толстушка ответила за всех:

— Добровольцы. По призыву комсомола едем в Сталинград.

Теплоход уже подходил к Сталинграду. Сквозь пелену дождя видно было несколько домиков, жавшихся у высокого пустынного берега. Потом домики скрылись, а берег был всё такой же — высокий, голый, уютный. Никаких признаков города.

Наконец мы увидели ложбину, по которой текла в Волгу небольшая речка; вдали, на бугре, — громады развалин, между ними несколько многоэтажных домов с уцелевшими стенами.

Мрачно выглядели эти пустые коробки, стоящие высоко над Волгой.

Раненый моряк, стоя у окна, называл сталинградские заводы:

— Тракторный... «Баррикады»... «Красный Октябрь»...

А мы видели только захлащенный горелым железом и обуглившими брёвнами берег, чёрные осыпи шлака над оврагами, блиндажи в глинистых откосах, коз, взбиравшихся на прибрежную кручу, под кручей кое-где маленькие домики-клетушки, а наверху — каменные руины, среди которых, как солдаты, шеренгами стояли заводские трубы, — на некоторых были видны пробоины.

— А вот и Мамаев курган, — сказал моряк. — Запомните, девушки, это высшая точка Сталинграда. Ох, и жарко же здесь было!

Вдали, за развалинами города, полого поднимался голый холм, расщеплённый оврагами и ложбинами, — какой-то облезлый, выцветший, унылый-унылый холм. А ещё совсем недавно там гремели бои.

Когда мы сходили с теплохода, нас предупредили: не удаляться от пристани, держаться всем вместе.

— А то подорвётесь на минах.

Мы стояли на берегу толпой и молча смотрели на людей, которые вереницей, один за другим, подымались в гору тропинкой, вившейся среди развалин. Не было заметно даже признаков улиц — одна тропинка, обозначенная указателями. Слышны были взрывы. Нам объяснили, что это работают сапёры.

Потом маленький катерок по очереди перевозил нас с центральной пристани на заводскую.

На заводской пристани нас тоже предупредили, что от берега нельзя отходить и на шаг — мины.

Подали машину, командовали грузить на неё вещи, и снова последовало предупреждение:

— С дороги не сходить — кругом мины.

О минах предупреждали и дощечки на столбиках, всюду торчавшие в развилках. На одних «мины» было написано по-русски, на других — по-немецки.

Мы шли за машиной колонной по двое и, притихшие, посматривали по сторонам на эти грозные дощечки. Как же мы тут будем работать, где будем жить? — без слов спрашивали мы друг друга.

В развалинах никого не было видно, там грохотали взрывы и поднимались облака пыли.

— Выше головы, девочки! Не скисать! — покрикивала Ольга.

На лице её появилось выражение такой решительности, точно она вела нас в атаку.

Ольге было двадцать, мне шёл восемнадцатый, разница небольшая, но я чувствовала себя рядом с ней девочкой, которую она взяла под свою защиту. Так же чувствовали себя и другие. Все девушки жались к Ольге. Всё время было слышно:

— Ольга... Ольга... Ольга...

Машина с нашими вещами остановилась возле единственного в районе дома, окна которого были застеклены. Кругом — безлюдное запустение, а возле этого дома оживлённо снуёт разный народ — и начальство с портфелями и девушки с лопатами. Тут был штаб начинавшегося строительства. В нескольких комнатах помещались все его организации: управление с отделом кадров, партийный и комсомольский комитеты, постройком. Тут же, рядом, была и столовая: несколько походных армейских кухонь, стоявших под открытым небом среди развалин, — на верное, воинские части оставили их здесь в наследство городу.

В ожидании, пока в отделе кадров оформят нас на работу, мы сидели на своих сгруженных с машин вещах, и Ольга рассказывала, как она прошлым летом эвакуировалась.

Сначала мы сидели с нею вдвоём, но очень скоро вокруг нас собралось много девушек.

Ольга окончила учительский институт уже во время войны. Её послали в село учительницей, но директор школы уходил в армию, и ей пришлось принять у него дела. Не успела Ольга стать директором, как получила новое назначение — в МТС помощником начальника политотдела по комсомолу, а на следующий день началась эвакуация района, в политотделе она была одна — начальник ушёл в армию, и ей велели командовать эвакуацией МТС в глубь страны.

— Так и в удостоверении написали: в глубь страны! — возмущалась Ольга. — А где она, эта «глубь», — на Волге, на Урале или ещё дальше? Никто не знает. Говорят: выяснится по обстановке, а пока командуй к Волге. Ну я и взяла команду. Ладно, думаю, будем кочевать, пска горячего хватит.

МТС эвакуировалась во главе всех колхозов района. Сто пятьдесят

тракторов, на прицепе тележки с хлебом, горячее. Табуны коней, стада коров, овец. Волы, кони тянут можары с домашним скарбом.

— Ух, и табор же был! — говорила Ольга. — Сидишь на можаре, как цыганская королева на перинах.

Все стали спрашивать друг друга, как, кто и откуда попал в Сталинград. Некоторые говорили:

— И мы эвакуированные...

— Вот где встретились! — говорили землячки.

— А вы тоже эвакуированные? — спросила Ольга девушку, которую мы с ней заметили ещё на пароходе, когда танцевали вальс. Она была самая молоденькая из нашей партии, совсем ещё девочка, маленькая, худенькая, аккуратно и чисто одетая. На пароходе она танцевала с женщиной средних лет. Мы думали, что они сёстры, — очень похожие: обе пышноволосяные, смуглые, голубоглазые, и обе в одинаковых шёлковых кофточках.

— Из Одессы, — ответила девушка.

— Сёстры? — спросила Ольга.

Девушка покраснела.

-- Нет, это моя мама.

Многие заулыбались: по комсомольскому призыву с мамой приехала!

Девушка нахмурилась, взгляд у неё стал сердитым, а мать её, сидевшая рядом на чемодане, заговорила весело:

— Прибегает из школы и говорит: «Еду в Сталинград, и не думай отговаривать — теперь паспорт у меня свой». Только зимой получила. Что мне делать? Не оставаться же одной в эвакуации. Бегу в райком, говорю: «Товарищи комсомольцы, а мне можно с дочкой, я мама?..» «Пожалуйста, — говорят, — и маме и папе — всем можно». Прибегаю домой, а Люда уже вещи собирает. Я тоже собираю. Она мне: «Ты чего это?». «Вместе едем, если тебе уж так приспичило», — говорю ей. И представьте себе, она ещё сердится, говорит, что я ставлю её в глупое положение! Разве это не естественно, что мать едет вместе с дочерью?!

Она говорила так, будто дочери её тут не было или дочь была глухонемая. Жаловалась на неё:

— Два месяца осталось до окончания десятого класса — и она бросает школу, едет в Сталинград! Ну, скажите сами — разве это не глупо?

И тут же восхищалась:

— Захочет чего — стену лбом прошибёт.

И опять жаловалась:

— Хотела в институт поступать, и вдруг на тебе — Сталинград ей надо восстанавливать!

Пока в управлении строительства заканчивалось наше оформление, она успела рассказать, как они эвакуировались из Одессы, как немцы чуть было не потопили их пароход, и о муже, который ушёл в ополчение и пропал без вести, и что в Сталинграде они всё равно пробудут недолго — вернуться в Одессу, как только она будет освобождена, потому что там у них свой домик на берегу моря, в саду — виноград, абрикосы, черешни.

Дочь стояла молча, только изредка подымала глаза и говорила предостерегающе:

— Мама!

А мама сердилась:

— Пожалуйста, Люда, очень прошу тебя — не затыкай мне рот.

Два дня мы ехали на пароходе, пели, танцевали, но только тут уже, в Сталинграде, по-настоящему стали знакомиться. Оказалось, что среди нас, кроме коренных волжанок из-под Саратова и Куйбышева, есть девушки с Украины, из Белоруссии, Смоленщины, Ленинграда, много пере-

жившие за войну, потерявшие родных, близких, есть даже девушки из Средней Азии.

Нас назначили на один из участков жилищного строительства, начальником которого был Георгий Александрович, недавно тут же строивший оборонительные рубежи. Уже пожилой, высокий, худой, он ходил, пригнув голову, давно небритое лицо его выглядело таким же помятым, как и вся обвисшая на нём одежда, — даже кепка была помятая, словно он только что вытащил её из кармана.

— Самое трудное уже позади, девушки. Вы приехали, можно сказать, почти на готовое. Вот и контора уже есть, — пошутил он при первом знакомстве с нами, показывая на сарайчик-клетушку, из которой только что вышел. — Скоро и баня будет готова. На очереди — столовая, аптека, магазин. Ну что ещё душе нужно?

— Кино! Клуб! — закричали мы, повеселев: приятно было услышать здесь шутку и такие обычные, домашние слова, как «баня», «аптека», «магазин».

— Ну что ж, материал есть, — начальник кивнул на развалины, — постройте и кино и клуб. Каменщики, плотники, штукатуры, я думаю, среди вас найдутся? — спросил он будто бы серьёзно, но не скрыл улыбки. Правда, она была не очень весёлая. — Ну, если нет, значит с кино придётся немного обождать. Каменщиков у меня пока только два, штукатур один и плотник один. Вчера на самолёте прилетели из Сибири, чтобы обучать вас своему ремеслу.

Потом он обвёл нас взглядом — мы стояли толпой, девушек двести, направленных к нему на участок, — и сказал:

— Да я вижу, тут одни невесты. Что же я буду с вами делать? Где столько женихов найду? — Он стал перечислять по пальцам мужчин, работающих на участке. — И все женатые, один я только жених... Кочуешь со стройки на стройку, нигде обжиться не успеешь.

— Ну, тут обживётесь, — засмеялись мы.

— Да, — согласился он, — тут мы с вами, пожалуй, успеем обжиться. А пока хоть только бы умыться... А то неудобно — ведь всё-таки жених. — И он потрогал своё небритое лицо.

Мы закричали наперебой:

— Невесты тоже неумытые... Как же будет с водой? Неужели на Волгу бегать умываться?

— Ничего, ничего — водопровод тоже на очереди, я забыл вам сказать, — успокоил нас начальник. — Конечно, прежде всего надо хлебозавод, но сами должны понимать, что без воды его не пустишь. Так что пока... сегодня вот ещё не известно, будет ли хлеб... Но ничего, ничего, — опять поспешил он успокоить нас. — Начало уже положено, — он ещё раз показал нам на свой сарайчик-клетушку, — главное, контора есть, а значит и руководство.

С крошечным, но уже застеклённым окном, контора выглядела среди окружающих её каменных хребтов и обвалов довольно уютно.

И все наши девушки сразу заметно прибодрились.

Нас оформили на работу без проволочек: выдали хлебные карточки и тут же вручили лопаты — надо было откапывать для себя кровати. Мы откапывали их из-под каменного мусора в подвале разбитого дома, потом подымали наверх, перетаскивали на руках в отведённые нам палатки. Кровати были тяжёлые, железные, двухэтажные — нижняя и верхняя койки.

Просыпаюсь утром в палатке, на верхней койке. На нижней — Ольга. Она спит, по-богатырски сложив на груди руки, запрокинув голову. И все

девушки ещё спят, за исключением Люды, которая, приподнявшись над подушкой, к чему-то удивлённо прислушивается.

Я тоже прислушиваюсь.

— Ку-ку, ку-ку, — доносится до меня сквозь полотнище палатки, совсем как в лесу.

— Неужели кукушка? — спрашивает Люда.

Оказывается, она никогда не слышала кукушки.

Кукушка всё кукует.

— Интересно, сколько она накукует нам жить в Сталинграде? — спрашиваю я.

— Ясно, что жить тут нам долго, — говорит Люда.

Мы начинаем считать, сколько накукует кукушка. И верно, выходит, что долго.

Просыпается Ольга. Она уже наш бригадир. Вскрывает и сразу командует:

— Девочки, подымайтесь!

Люда быстро слезает со своего второго этажа. Остальные ворочаются, потягиваются, зевают, охают — спина болит, в пояснице ломит, шею больно повернуть.

— Ну, хорошо, сейчас вы у меня вскочите, — угрожает Ольга.

Она выбегает из палатки, спустя минуту возвращается с граммофонной трубой, которую мы вечером откопали вместе с кроватями, и ставляет эту трубу прямо в ухо мне.

— Поооо-дыыыы-мааай-ся!

Труба режёт, как сирена при воздушной тревоге.

Девушки вскакивают, некоторые едва не сваливаются со своих верхних этажей, испуганно оглядываются — спросонок никак не поймут, где они.

Ольги уже нет в палатке — побежала поднимать на ноги соседей.

— Далась ей эта труба! Откопали, проклятую, на свою голову, — ворчат девчата.

Первый месяц мы работали на расчистке разбитых домов, вытаскивали на носилках мусор: щебень, кирпич. Бывало — и трупы.

Вот из-под кирпичного мусора выступает краешек одеяла. Копаешь дальше, и лопата упирается во что-то железное — кровать! Одну за другой откапываем шесть, стоящих в ряд, детских кроваток. И на каждой под синим одеяльцем — мёртвый ребёнок.

Что здесь было — детская больница или детский сад? Ясно, что бомба попала в здание, когда дети спали. Видно, что никто из них не проснулся, не пошевелился. Так и завалило всех под одеяльцами. Выносим на носилках мёртвых детей, и слёзы льются.

Опять копаем. Руки ноют, на ладонях кровавые мозоли. Нет, тут уже лопатой не возьмёшь — нужен лом.

Разворачиваю каменную груды и задеваю ломом какую-то тряпку, вытаскиваю её — карман! За карманом тянется немецкий мундир. Из разорванного ломом кармана вываливается конверт. Конверт не заклеен. В нём неотправленное письмо.

Ольга кричит:

— Девочки, кто знает немецкий язык?

Подходит Люда.

Слова размыты, но некоторые можно разобрать. Люда читает: «Третью неделю идут бои, и я уже не различаю дня от ночи. Это не город — это камень...»

— Всё ясно, — говорит Ольга и с размаху сбивает лом под каменную глыбу, сворачивает её на носилки.

Время идти обедать.

Мать Люды ставит к стене лом и рассматривает мозоли на руках.

— Не девичья это работа, — говорит она.

— Мама... — предостерегающе шепчет Люда.

— Ладно, ладно! Ты вот лучше погляди на свои ладони.

— Мама! — уже угрожающе повторяет Люда.

Длинный стол из необструганных досок, стоящий под открытым небом на пустыре возле походных кухонь, весь занят обедающими. Мы располагаемся со своими мисками прямо на земле. Ольга смотрит в миску, и лицо её брезгливо кривится — опять рассольник с зелёными помидорами. Она их не выносит, говорит:

— Как лягушки, плавают. — И предлагает: — Давайте, девочки, лучше споем.

Но до песен теперь уж не так много охотников, как было, когда мы ехали в Сталинград.

Все жадно глотают рассольник.

Ольга, отвернувшись, смотрит вниз, на Волгу.

Утром она съела всю свою пайку хлеба, густо посыпая солью и запивая кипятком, и так до следующего утра.

Вдруг прямо из-под наших мисок подымается пыльный вихрь. Зелёные помидоры в недоеденном рассольнике исчезают под слоем песка. Песок летит снизу и сверху. От него становится темно. Это называется — сталинградский дождь.

Повара жалуются:

— Хоть какое-нибудь бы укрытие! — И просят: — Пришли бы вечером, девушки, помогли нам.

И вечером, после работы, мы ходим по развалинам, собирая листы горелого железа. Над кухнями сооружается навес, их огораживают со всех сторон. Теперь у поваров есть укрытие от песка и от дождя.

— Спасибо, девушки.

Уже темно. Мы возвращаемся в палаточный городок. Идём мимо развалин школы, в которой во время обороны помещался госпиталь.

Ольга хватает меня за руку:

— Слышишь? Кажется, кто-то стонет.

Прислушиваемся. Действительно, похоже, что из развалин доносятся стоны.

Кричим:

— Эй, кто там?

Тишина. Подходим ближе. Уже ясно слышны стоны. Кажется, что стонет много людей, будто задыхаются под землёй, карабкаются наверх.

Сбиваемся в кучу, немеем от ужаса. Одна Ольга кричит:

— Кто там?

И опять тишина. Ольга вскидывает на руку лом и решительно шагает вперёд. Ноги подкашиваются, но двигаемся за нею, жмёмся друг к другу.

Входим в развалины. Оглядываемся. И вдруг над нами взлетает в темноте с разбитой стены какая-то тень, бьётся, как тряпка на ветру. Потом другая, третья...

— Совы! — вскрикивает Ольга. — Девочки, так это же, чёрт их побери, рядом с нами совы поселились!

Проклиная сов, ощупью, в темноте натываясь на столбы, бредём дальше.

Добравшись до палаток, сразу же заваливаемся на койки.

Только Люда со своей мамой долго плещут воду друг другу на руки, трут пальцы на ногах, потом ещё стирают что-то.

Просто завидно — откуда берутся у них силы!

Как хорошо вечером скинуть с ног брезентовые ботинки на тяжёлых деревянных колодках! И как трудно подниматься по утрам. Дежурная раз десять кричит в граммофонную трубу, поворачивая её то в одну, то в другую сторону:

— Подымайся!

На некоторых и труба уже перестала действовать, хотя кажется, что она и мёртвого может поднять на ноги.

Жила в нашей палатке красивая девушка Ира, учившаяся раньше в музыкальном техникуме. Первые дни она весело переносила трудности нашей жизни, по вечерам писала кому-то длинные письма. И вдруг захандрила, после работы стала уединяться, где-то пропадала допоздна и часто возвращалась с заплаканными глазами.

— Что с тобой, Ира? — спрашивали её.

Она пожимала плечами.

— Ничего.

— А почему глаза красные?

— Наверное, от ветра.

Мы решили, что она затосковала по дому. Ну и что ж — дело обыкновенное. Но однажды, ложась спать, забеспокоились:

— Ира опять что-то долго пропадает.

Кто-то сказал, что видел её возле радиорепродуктора — стояла под дождём и слушала музыку.

Ольга, уже раздеваясь, стала одеваться.

— Пойду приведу её, а то бродит ночью одна, ещё на мину наскочит.

Я пошла вместе с Ольгой.

Репродуктор молчал. Вокруг него в темноте никого не было видно. Шёл дождь. Мы уже повернули назад, как вдруг услышали всхлипы. Ира стояла в темноте под дождём и плакала.

— Да скажи ты, наконец, что с тобой происходит?

— Музыка слушала.

— Ну и что?

— Учиться снова хочется. Не могу без рояля.

Ольга рассердилась:

— Ты просто, видно, без мамы не можешь. Зачем же тогда ехала в Сталинград?

Но потом Ольга сказала мне:

— Ире надо помочь. Может, и правда, с ума сходит без музыки. Бывают такие девушки.

Но как мы могли ей помочь, когда на весь наш район была одна-единственная радиоточка.

Ира и сама это понимала, говорила:

— Какая уж тут музыка!

Работала она старательно, не боялась кровавых мозолей, но вечером ходила, как помешанная, возле радиорепродуктора в ожидании музыкальной передачи.

Я успокаивала её:

— Обожди, скоро вот построят клуб, будет рояль...

— Хоть бы часок посидеть за инструментом, — со слезами на глазах говорила Ира.

Счастье привалило ей неожиданно.

Во время работы к нам подошёл долговязый парень в спортивной курточке с множеством молний и каких-то значков, в крошечной кепке, сидевшей на макушке его длинной головы, как пуговка. Парень постоял, посмотрел на нас критически и спросил:

— А как вы, девчата, насчёт физкультуры? Наверное, не очень?

Мы показали ему лопаты, лопаты и свои неуключие ботинки на деревянных колодках:

— Вот наша физкультура!

— А всё-таки приходите вечером в столовую. Может, договоримся.— И он помахал нам своей кепочкой-пуговкой.

Мы посмеялись над ним:

— Как раз только физкультуры нам и нехватает!

Однако вечером пошли в столовую. Это было первое появившееся при нас тут здание — простой деревянный барак.

Парень в спортивной курточке уже ждал нас.

— Сеня из постройкома,— представился он.— Давайте договариваться, девушки.

Но, вместо того чтобы договариваться, он сразу же начал командовать:

— Становись!.. Равняйся!.. Смирно!.. Направо!.. Шагом марш!

Сеня вывел нас на пустырь, где недавно стояли походные кухни, и командовал:

— Начнём. Делать, как я!

Разучивая под его командой вольные движения, мы старались как можно громче стучать своими деревянными колодками. Нам почему-то было очень смешно, что тут, среди развалин, в деревянных ботинках, мы занимаемся физкультурой.

Занятие прошло весело.

— Значит, договорились? — спросил Сеня, скомандовав «вольно».

— Договорились,— засмеялись мы.

— В таком случае разрешите, девушки, проводить вас,— сказал он.

По дороге мы узнали, что Сеня по специальности массовик-культурник, до войны работал на курортах.

— Значит, и на баяне играете? — обрадовались мы.

Оказывается, что не только на баяне — и на гитаре, и на скрипке, и на рояле.

— Вот бы вы танцы организовали!

— Пожалуйста, организуем. Всё можно, девушки, всё в наших руках.

— А пианино или рояль можно? А то у нас одна девушка очень страдает по музыке,— сказала я.

— Договоримся — будет и пианино,— сказал он.

И верно, вскоре в столовой появилось старенькое пианино — инвалид войны.

— Сталинградский инструмент, весь в рубцах боевых ран,— сообщил Сеня.

Рубцов на пианино действительно было много. И как только оно уцелело, когда всюду вокруг даже камень превращён в крошево!

— Ну, где же эта девушка, которая страдает по музыке? — спросил Сеня.

Мы подтолкнули смущённую Иру. Сев за пианино, она, не веря своему счастью, закрыла лицо руками.

Конечно, Ире приходилось играть преимущественно танцы. Как только она садилась за пианино, все сейчас же начинали сдвигать к стенам столы и скамейки.

Сильно уставали мы к концу дня, но желающих потанцевать всегда было достаточно.

После гимнастических упражнений Сеня по очереди танцевал со всеми девушками. И каждый раз, провожая нас до палатки, рассказывал о своих грандиозных планах развёртывания культурно-массовой работы на строительстве.

— Нужно только договориться, и тогда всё будет в наших руках,— часто повторял он.

Чего только Сеня не обещал нам! Даже музыкальную школу. Ира больше уже не уединялась по вечерам, не плакала.

Не знаю, сколько тысяч девушек-комсомолок приехало на восстановление Сталинграда. Приезжали переполненными пароходами и переполненными поездами.

Селились в палатках, в солдатских блиндажах.

Рядом с нашими палатками стоял разбитый танк, и в нём поселились девушки. Неподалёку, в обгоревшем автобусе, обосновалась одна молодая семья.

Вместе работали на одном участке, обедали и танцевали у одних походных кухонь.

Где они сейчас, какая у кого судьба?

Недавно шла я по городу и увидела за железной оградой молодого сада большую кучу яркожёлтого песка. Вокруг неё копошилось много малышей.

Может быть, и их матери приехали в Сталинград с нашим пароходом, может быть, тоже жили в одной палатке и строили вот этот большой дом, в котором сейчас живут со своими семьями.

Стоишь иной раз в очереди на остановке автобуса, подходит машина, и вдруг в толпе мелькнёт знакомое лицо. Но разве вспомнишь, кто это, если торопишься втиснуться в автобус, а если вспомнишь — окликнуть не успеешь. Встречаешься, но всегда вот так, в толпе, в спешке.

Мало ли у нас в Сталинграде людей, которые приехали десять лет назад одним поездом или одним пароходом, спали в одних палатках, может быть, на одной койке, а потом потеряли друг друга из виду. И разве все приехавшие с нами остались в Сталинграде? Иные ночью, потихоньку от своих подруг, бросив под койкой чемодан и даже комсомольский билет, уходили в степь, чтобы на попутной машине или хоть пешком добраться до дому.

Многих спрашивала я:

— Помните Иру, которая под дождём стояла одна на площади у репродуктора и слушала музыку?

Все помнят:

— Ну как же! Для неё ещё Сеня из постройкома добыл где-то пианино.

— А где она сейчас?

Этого никто не знает. Говорят:

— Так давно это было! Мы тогда ещё только водопровод восстанавливали!

Вот когда мы узнали, что такое сталинградская земля, как она перемешана с железом и бетоном, — это когда восстанавливали водопровод.

Девушки одна за другой бросали лопаты. Поднялся шум:

— Это не девчачья работа!

А меня только что назначили бригадиром, и все девушки в моей бригаде разнорабочих были новенькие, прямо с парохода, многие ещё не держали в руках лопаты.

В бригаде Ольги меня называли её помощницей, и я тоже научилась покрикивать:

— Веселее, девочки! А ну, песню давайте!

А теперь, когда сама стала начальником, — растерялась. Что тут скажешь? И верно ведь — лопата упирается в землю, как в камень.

— Чего, девчата, бунтуете? — услышала я за спиной знакомый голос.

К нам подошёл молодой прораб, которого на строительстве все звали Володей. Вот уж нельзя было подумать, что он прораб. Знакомились с ним все запросто. Однажды я сидела на брёвнах, возле конторки, чего-то ожидала. Из подвала разрушенного дома напротив вышел парень в солдатских ботинках, но при галстукe, который у него скрутился в жгут и был завязан тугим узлом. Парень сел рядом со мной и, засунув палец за воротник рубашки, стал растягивать его, крутить головой. Потом, убедившись, что дело не в воротнике, принялся растягивать галстук. Наконец, освободив немного шею, он повернулся ко мне и спросил:

— Откуда, девушка?

С такого вопроса — из какого города, области или края — в то время начинались в Сталинграде все знакомства.

Володя только что приехал в Сталинград, только что окончил московский институт, но делал вид, что он уже свой человек в Сталинграде.

— На первых порах трудновато будет, но ничего — скоро привыкнете, — говорил он тогда, сидя рядом со мной на брёвнах.

Потом каждый раз, приходя на место нашей работы, Володя спрашивал меня:

— Как, Аня, чувствуете себя у нас в Сталинграде?

— Ничего, спасибо, — говорила я и в свою очередь спрашивала, смеясь: — А вы, Володя, как чувствуете себя у нас на участке?

Я совсем забывала, что он наш начальник, разговаривала с ним, как со своим товарищем-комсомольцем.

На этот раз мне было досадно, что он подошёл.

Девчата, окружив Володю, кричали наперебой, а я стояла молча, злая. Володя, улыбаясь, ждал, пока девчата затихнут. Потом посмотрел на меня:

— А что же бригадир молчит?

— А разве вы сами не видите, что трудно? Если не видите, возьмите лопату, — вырвалось у меня с досады.

Не могла же я сказать ему, что мы справимся с работой, если все девчата кричали, что работа им не под силу.

— Да я и так вижу, что вам трудно, — сказал Володя.

Я решила, что он говорит обо мне, что именно мне как бригадиру трудно, что я не справляюсь с работой.

— Ну, так пусть снимают, — сказала я.

Но он понял меня иначе или сделал вид, что так понял.

— Ну что ж, — сказал он. — Есть у нас одна мужская бригада. Она сейчас брошена на хлебозавод. Видимо, её придётся временно снять сттуда.

— Ой! — в один голос воскликнули несколько девушек.

Хотя они только что приехали в Сталинград, но уже знали, что такое для нас тут хлебозавод.

Володя ушёл, сказав, что поговорит о нас с начальником участка.

Теперь мои девчата стояли в растерянности, примолкшие, а я приободрилась, поняла, что сейчас все сами возьмутся за лопаты.

Стою и жду: кто же начнёт? Самой начинать не хотелось — зла была и на себя и на всех: чего я им буду пример показывать, сами знали, куда ехали. Одна за другой все девушки взялись за лопаты.

Вскоре вернулся Володя.

— Ну как? — спросил он. — Будем снимать мужчин с хлебозавода, или вы тут сами справитесь?

— Не надо... Справимся! — закричали девчата.

— Ну вот и хорошо, — сказал он. — И я так думаю, что вы справитесь.

Он, видно, подражал своему начальнику, говорил так же тихо и с такой же снисходительной улыбочкой.

Недолго наша бригада была разнорабочей. Через несколько дней на строительстве потребовались специалисты, и бригады стали разбивать по специальностям, которых они ещё не имели.

Началось это с того, что меня вызвал к себе начальник участка.

Когда я вошла к Георгию Александровичу в конторку, он сидел за своим маленьким столиком, на котором в стеклянной баночке торчала ветка белой черёмухи.

У начальника был Володя. Они о чём-то разговаривали.

— Вот, Аня, думаем, кем вам быть: штукатуром или каменщиком? — первый заговорил со мной Володя, лохматя свои и без того лохматые волосы.

Я решила, что он шутит, и, считая, что шутить тут неуместно, сказала:

— Странно, почему это вам надо обо мне думать?

— Пора, Аня, специальность приобретать, — сказал он.

На это я ответила, что приобретать в Сталинграде ничего не собираюсь, не для того сюда ехала, а специальность у меня уже есть — у себя на заводе работала на мостовом кране.

Георгий Александрович с удивлением посмотрел на меня — чего это я вдруг обиделась, а Володя продолжал с невозмутимым видом, который вовсе не шёл к нему:

— Ничего не поделаешь, Аня, я вот по специальности гидростроитель, но Днепрогэс ведь ещё не освобождён — и приходится восстанавливать хлебозавод.

— Значит так, Аня, — заговорил наконец Георгий Александрович, подвинув к себе банку с цветами и нюхая их, — в первую очередь нам нужны сейчас штукатуры и каменщики. Вот вы посоветуйтесь со своей бригадой и решайте, куда нам ставить вас — на кирпичную кладку или на штукатурные работы.

Кем нам быть — штукатурами или каменщиками?

После работы мы долго и шумно обсуждали в своей бригаде этот вопрос.

Ольга без всякого обсуждения решила, что она и все её девчата будут каменщиками.

— Кирпичная кладка — дело основательное, видимое. А штукатурка что? — говорила Ольга.

И бригада поддержала её. А у нас поднялся спор. Одни кричали:

— Лучше штукатурами.

Другие:

— Нет, лучше каменщиками.

Я выступила за то, чтобы стать штукатурами, — не всем же быть каменщиками, как хочет Ольга!

— Есть подвалы и даже дома, в которых уцелели стены; потолки поштукатурим, и людям можно будет жить, — агитировала я своих девчат.

Проголосовали, и моё мнение одержало в бригаде верх.

На другой день в уцелевшем крыле одного большого дома инструктор-штукатур, прилетевший в Сталинград на самолёте, показывал нам, как обивать стены drankой. Учёба была короткой.

— Ну как, щекатуры, ясно? — спросил наш инструктор.

— Ясно, — дружно ответили мы, обрадовавшись, что от нас требуется только забивать гвозди.

— Ну, если ясно, так беритесь за молотки, — сказал он и пошёл инструктировать другие бригады.

Но оказалось, что и молоток надо уметь держать в руке, чтобы не пообивать себе пальцы. То одна, то другая девушка ойкала и роняла молоток. Некоторые девушки стали кричать:

— Мы же говорили, что лучше быть каменщиками!

И в это время в дверях появился не знакомый нам товарищ в белых полотняных брюках и белой рубашке.

— Что, всё ещё не можете решить, кем вам лучше быть? — засмеялся он.

— Мы уже решили, — сердито сказала я, забивая в дранку гвоздь.

— Кем же вы решили быть? — спросил он и подошёл ко мне.

Взглянув на него, я почему-то вдруг смутилась и выпалила:

— Щекатурами.

Он захохотал.

— Щекатурами?

— Щекатурами, — повторила я в волнении, не понимая, чего он так весело смеётся, и снова стала забивать гвоздь.

Раза три ударила и всё не по гвоздю, а по пальцам, как слепая.

— Так вы обобьёте себе всю руку. Дайте-ка мне молоток, — сказал этот товарищ, перестав смеяться. — Вот смотрите. — Взяв у меня молоток, он показал, как его надо держать, и сам стал набивать дранку.

Гвоздь у него с одного удара входил в стену по самую шляпку. Глядя, как он быстро набивает дранку, я решила, что он главный тут по штукатурным работам. Потом уж мы узнали, что это был секретарь райкома партии Ходько и что он заглянул посмотреть на свой будущий кабинет.

Возвращая мне молоток, он спросил:

— Ну так как же, девушки, кем вы всё-таки будете: щекатурами или штукатурами?

Только тогда я поняла, чего он смеялся.

Раньше я жила в маленьком тихом городке на Волге под Саратовом.

Отец в гражданскую войну служил в Чапаевской дивизии, и дома у нас под праздник всегда собирались бывшие чапаевцы, товарищи отца. В детстве, бывало, сидишь на кровати, а за столом чапаевцы вспоминают о своих подвигах. Так и заснёшь сидя. Проснёшься — уже светает, мама дремлет на скамеечке в углу, возле огромного самовара, а они, чапаевцы, всё ещё за столом, всё ещё вспоминают бывшее.

Отец работал в чугунолитейном мастером по формовке, и все его товарищи-чапаевцы работали на заводе мастерами.

Когда отец говорил: «Мы — чапаевцы», это у него было всё равно, что «мы — литейщики».

В школе я мечтала стать чапаевской Анкой. Но началась война, и комсомол послал меня на работу к отцу, в литейный цех. Отец — внизу, на формовке, я — наверху, под крышей, на кране подаю ковши с металлом.

Управляла краном, а воображала себя и в танке и на самолёте.

И, однако, бывало обидно: с завода идёшь домой, приходишь — мама корову доит, всё, как до войны, а фронт уже недалеко от нашего городка. Раньше я не замечала тишины. Пойдёшь с отцом на рыбалку, сидишь ночью у костра, глядишь на какой-нибудь одинокий во тьме огонёк баке-на и прислушиваешься к воде — не шумит ли пароход. А тут тишина стала страшной.

Выйду из ворот завода на затемнённую улицу — и кажется мне, что город наш опустел, покинут всеми. А радио у ворот кричит: «Уличные бои в Сталинграде!»

Я просилась на фронт, но в райкоме комсомола мне говорили:

— А на кране кто будет работать?

Прошла вторая военная зима, и однажды утром, перед концом ночной смены, я услышала чей-то едва донёсшийся ко мне под крышу голос:

— Анка, если хочешь в Сталинград, беги скорее в райком комсомола.

Я чуть не опрокинула ковш с горячим металлом.

— Успеешь собраться? — спросили меня в райкоме. — Сбор через два часа и — прямо на паром.

— Ой! — вскрикнула я, испугавшись, что могу опоздать.

В Сталинграде первое время все мы наперебой рассказывали друг другу о своих домах, колхозах, школах, заводах — кому было чем похвалиться. А потом воспоминания постепенно замолкли — вспоминали-то всё чаще и чаще, но уже только про себя, потому что при этом закрадывались в голову нехорошие мысли.

Придёшь на обед — в столовой опять тот же рассольник с зелёными помидорами, и подумаешь: а ведь вчера был выходной и отец, наверное, ходил на рыбалку и, конечно, принёс несколько сазанов или лещей, и мать их сегодня жарит с молодой картошкой со своего огорода.

Грустно становилось и когда вспомнишь наш маленький завод, нашу старую литейную, где все меня звали Анкой-чапаевкой, где всё было так просто, обычно: подынешься на свой мостовой кран, он слушается каждого движения твоей руки, посмотришь вниз — увидишь на формовке отца.

А тут что день, то надо заново привыкать к чему-нибудь: сегодня — к лопате, лому, завтра — к молотку, а послезавтра тебе дают кельму, сокол, правилку, тёрку.

Когда мы начали штукатурить стены, раствор с кельмы не столько ложился на стены, сколько шлёпался на пол, а когда мы добрались до потолка, все девушки сразу зашлёпали себя раствором с головы до ног. После работы не отмоешься, и глаза у всех красные от извёстки.

— Эх вы, щекатуры! То ли дело мы, каменщики, — смеялась Ольга, показывая свои руки.

Подушечки пальцев у неё были протёрты кирпичом до крови.

И всё-таки как я завидовала ей! И на работу и с работы — с песней. А вечером смажет потёртые пальцы подсолнечным маслом — и на танцы.

Я была очень недовольна собой, всё мне казалось, что я делаю не так, как надо, и сама работать не умею и бригадой плохо руковожу, что нет у меня правильного подхода к людям.

А тут ещё Ольга стала как будто отходить от меня. Пропадает где-то вечером допоздна, вернётся весёлая и сразу завалится спать, даже не спросит:

— Чего ты, Анка, хандришь?

Я долго не могла понять, почему она стала вдруг такая невнимательная ко мне и вообще какая-то рассеянная.

И вот однажды вечером я пошла на Волгу вымыться, постирать бельё и завозилась со стиркой дотемна. Взошла луна, и на Волге было так хорошо, что не хотелось уходить.

Сажу я на камне, смотрю, как играет под луной вода, словно в ней сверкает множество серебристых рыбёшек, — совсем как бывало, когда я просиживала ночи с отцом на рыбалке. Так же тихо на Волге, пахнет рыбой, и совсем не чувствуется большого города: вспыхнет где-нибудь огонёк и сейчас же погаснет. Только это и напоминает о войне. И вдруг слышу над головой голос Ольги. Оглядываюсь и вижу: стоит она на бугре в лунном свете, и рядом с ней стоит кто-то в кепке.

Тут мне сразу стало грустно, что я чуть не заплакала. Вот почему она стала пропадать по вечерам! А я одна сижу тут на камне в чужом городе.

Никогда ещё я не чувствовала себя такой одинокой.

..Всё началось с того дня, когда я обнаружила пропажу своих хлебных карточек, которые я только накануне получила и сразу же положила в чемодан, стоявший под койкой. Долго не знала я, как сказать нашим девуш-

кам об этой пропаже. Ясно было, что карточки украдены. Но кто их мог украсть? Уж больше месяца мы жили вместе. Достаточно, чтобы узнать друг друга, особенно, если живёшь в палатке и ешь паёк военного времени.

Мы ничего не прятали друг от друга, никому в голову не приходило закрыть свой чемодан на ключ. И вдруг — кража. Я так и не решилась сказать, что карточки украдены, сказала, что я их потеряла.

Девушки стали меня ругать:

— Эх ты, разиня!

Во мне вскипела обида: ах, вот как — боитесь, что придётся делиться! Не бойтесь — обойдусь без вашей помощи.

Ох, и мученье же было: дежурная приносит хлеб — я стараюсь куда-нибудь скрыться из палатки; мне оставляют — я не беру, отказываюсь под разными предлогами: то я будто бы уже сыта, то будто бы у меня живот болит и я ничего не могу есть; обедать хожу одна, чтобы никто не видел, что ем суп без хлеба. Отказываюсь, а потом, голодная, и на себя и на всех злюсь.

В тот вечер, когда я стирала на Волге бельё, у меня кружилась голова от слабости. А тут, оказывается, Ольга с кем-то пришла на берег полюбоваться лунной! И до того мне стало горько, что я подумала: и чего я поехала в Сталинград? Жила бы дома и работала вместе с отцом на своём родном заводе.

Я постаралась поскорее отогнать эту мысль, но отгонишь её, а она снова вернётся: подумаешь, что завод наш хоть и маленький, но работает на фронт и что на кране в своей литейной я, наверное, не меньше, а может быть, и больше приносила пользы, чем приношу тут, в Сталинграде, где всему приходится учиться заново. А то вдруг вспомнится наша корога, как мама доит её, потом процеживает молоко, разливает его по банкам — всякая домашняя мелочь.

Прошло несколько дней. Ольга попрежнему пропадала по вечерам, я не спрашивала её, где она пропадает, и она не заговаривала со мной о своих прогулках с кем-то при луне — всем своим видом показывала, что её личные дела не должны никого касаться. Вот она, оказывается, какая: завела себе дружка, и подруга для неё уже ничто! — думала я с горькой обидой. Даже не поинтересуется, не голодаю ли я. Утром предложит поделиться своей пайкой — откажешься, и она только плечами пожмёт: ну, как хочешь, дело твоё, голодай, если тебе так нравится.

До получения новых карточек было ещё две недели. Целых две недели! Нет, не выдержу, надо уезжать домой. Дождусь вот ночи и пойду в степь на дорогу, как-нибудь доберусь до дому на попутных машинах, думала я.

Трудно было дожить до ночи — боялась, как бы кто-нибудь по моему виду не догадался, что я задумала бежать из Сталинграда.

Ночью долго плакала в подушку и наконец решила: нет, лучше умереть, чем бежать, как верёвке, тайком от подруг.

Днём опять одолевали мысли о доме — как там хорошо и чего я тут мучаюсь. И ночью опять плакала, убеждала себя, что лучше умереть...

Проснулась от шума. Кто-то кричал:

— Ох ты, подруги своей не уберегла!

— А как я могла её уберечь? Кто знал, что она собралась бежать?

— Ты же её подруга! Должна была знать.

— И вовсе она мне не подруга!

Я сжалась под одеялом — будто обо мне кричат и не знают, что я тут. А потом подумала: так это же не я убежала, а какая-то другая девушка! И долго ещё лежала под одеялом не шевелясь.

Это был уже не первый случай в нашей палатке: вечером все койки

заняты, а к утру какая-нибудь опустеет. И ведь ни об одной девушке нельзя было подумать, что она ночью убежит!

Мы очищали от мусора развалины жилых домов и восстанавливали уцелевшие в них помещения, а рядом с нами рабочие завода в развалинах своих цехов ремонтировали танки. Слесарями на ремонте танков работали мальчишки-подростки. Они и спали возле своих танков, у костра. Их называли «сиротской бригадой» или «Лёшиной бригадой» — по имени бригадира Лёши. О нём писали в газете — как он шёл в Сталинград по льду Волги, в метель, возвращался из эвакуации к своему отцу, оставшемуся на заводе в ополчении, но не нашёл его — отец погиб.

Я познакомилась с ним на комсомольском собрании, которое происходило на том же пустыре, где под руководством Сени из постройкома мы занимались физкультурой в деревянных ботинках.

Это было в тот день, когда моя бригада первый раз перевыполнила плановое задание и на строительстве появился плакат: «Бригада Ани Чурилиной выполнила план на 101 процент!»

Я присела на камень немного поодаль ото всех, тесно расположившись прямо на земле. Только что вывешенный плакат сначала приободрил меня, а потом я испугалась, подумала: «Если бы знали, что я собиралась бежать из Сталинграда!» Вовсе не ожидала я, что меня выберут в президиум. И как у меня ещё хватило духу пройти на виду у всех!

Долго сидела я на краешке скамейки, опустив голову, и ничего не видела и ничего не слышала, всё думала: «Если бы знали!» От этой мысли меня бросало в холод.

Первым, кого я увидела, и был Лёша. Он сидел в президиуме с таким напряжённым видом, что я невольно оглянулась — не фотографируют ли нас?

Никто нас не фотографировал. Просто докладчик говорил о лёшиной бригаде, и поэтому, наверное, Лёша чувствовал себя, как перед фотоаппаратом.

Когда докладчик заговорил о других бригадах, Лёша сразу ожил, стал кого-то выглядывать, вытягиваясь и крутя головой по сторонам, кому-то подавал пальцами какие-то странные знаки. Потом из-под воротника его комбинезона неожиданно выглянул голубь, потянулся клювом к губам своего хозяина, и Лёша стал заботливо поить его своей слюной. Но вот председатель сказал:

— Лёша, твоё слово.

И Лёша, поспешно затолкав голубя под комбинезон, вышел из-за стола.

Заговорив, он снова стал как деревянный. Ему кричали:

— Громче, Лёша!

Он заговорил громче, но вдруг сбился и замолчал.

Ему стали кричать:

— Не робей, Лёша!

Тряхнув волосами, Лёша вдруг начал читать стихи, как я потом узнала, собственного сочинения:

Мы — сталинградцы, мы — волгари,
Земли советской богатыри...

Он захлёбывался словами, торопился, будто боялся, что ему не дадут прочесть стихи до конца.

Потом Лёша сразу, без всякого перехода, заговорил о девушках, приехавших в Сталинград по призыву комсомола, снова сбился и неожиданно закончил:

— В общем, спасибо вам, дорогие девушки, за помощь от старых сталинградцев!

Поднялась буря аплодисментов.

«Старый сталинградец» окончательно растерялся, схватил голубя обеими руками, прижал его к груди и куда-то побежал.

Ему ещё долго хлопали, кричали:

— Лёша, чего же ты сбежал?

Но он не вернулся в президиум — спрятался за спины своих товарищей, сидевших тесной кучкой.

В это время на собрание пришёл секретарь райкома партии Ходько. Он сел рядом со мной, сразу узнал меня и засмеялся:

— А, щекатуры!

Больше он ничего не сказал, видно заметил, что я плачу.

Чего я расплакалась тогда — сама не знаю.

После собрания Ходько взял меня за локоть, отвёл в сторону и спросил:

— Что с вами?

— Просто нервы. — сказала я. — Лёша этот разволновал.

Наверное, мой ответ очень рассмешил его, но он только чуть-чуть улыбнулся и спросил:

— А может быть, ещё что-нибудь?

— Да нет, правда — просто нервы.

— Ну, если только нервы, то это ничего, — сказал он. — Сталинград всем на первых порах плохо действует на нервы.

Нам было по пути, и, шагая рядом со мной, Ходько всё время шутил.

— А вы с детства такая нервная или только в Сталинграде?

— Только в Сталинграде.

— С первого же дня или после уже?

— После уже. С того дня, как у меня украли хлебные карточки, — призналась я.

Он остановился и внимательно посмотрел на меня.

— Украли? И давно это?

Меня смутил его взгляд, показалось, что он насторожился.

— Может быть, и не украли, может быть, потеряла, — поправилась я.

Мы были возле райкома партии, только-только перебравшегося из временки в восстановленное нами крыло большого дома.

— Зайдём, поглядите на свою работу, — предложил мне Ходько.

— А что, штукатурка отваливается? — испуганно спросила я.

— Рано ещё отваливаться ей, вот просохнет, тогда... — засмеялся он. —

А значит, всё-таки опасаетесь, что мне посыплется сюда. — Он похлопал себя по макушке.

Приятно было войти в помещение райкома партии, увидеть в комнатах, которые наша бригада совсем недавно ещё штукатурила, уже побелённые стены и потолки, застеклённые окна, столы, людей, работающих тут.

— А вот здесь вы пообивали себе все пальцы молотком, — сказал Ходько, приглашая меня в свой кабинет, где мы начали овладевать штукатурным делом.

«Давно ли это было — и двух недель, кажется, не прошло, а теперь я уже могу и карниз тянуть», — подумала я, оглядывая стены и потолок, доставившие мне и всей моей бригаде порядочно мучений.

В кабинете ещё пахло сыростью, извёсткой, и ничего ещё в нём не было, кроме стола и нескольких стульев, но, когда Ходько, засучив рукава своей белой рубашки, — навёрное, чтобы не испачкать их, — сел за стол, комната сразу приняла обжитый вид.

— Ну, рассказывайте. Сначала, конечно, садитесь, — сказал он.

Не пойму, как это случилось: шли мы вместе только потому, что нам было по пути, разговор был шуточный, о карточках я проговорилась нечаянно, потом он пригласил меня к себе только для того, чтобы я полюбавалась своей работой, и вот я уже сижу у его стола и рассказываю ему о том, в чём минуту назад никому на свете не призналась бы, и будто бы именно для этого я сама пришла сюда. Я едва сдерживала слёзы.

Ходько выслушал меня молча, ни одного вопроса не задал, пока я говорила, потом подумал, глядя не на меня, а в окно, и спросил:

— Скажите, только совсем честно: выдержите до получения новых карточек?

— Конечно! — от всей души вырвалось у меня. — Это всё просто нервы, — повторила я.

— Не сбежите?

— Да что вы, товарищ секретарь! — Будто и в мыслях у меня этого никогда не было.

— Ну, если выдержите, то ничего страшного нет, — сказал он и стал писать записку.

Это была записка на получение хлебных талонов. Он дал её мне со словами:

— Хоть вы и выдержите, но поддержать вас несколькими талонами всё-таки надо.

А через несколько дней, может быть даже это было на следующий день, Ольга прибежала в нашу бригаду — мы тогда штукатурили помещение для аптеки — и, схватившись за грудь, тяжело дыша, крикнула:

— Ходько убит!

Кто был в Сталинграде, в нашем районе, тот, конечно, видел на скверике у площади памятник героям войны: серые обелиски с траурными гранями и гранитные плиты — вечная память солдатам, офицерам и рабочим, павшим в боях за Сталинград!

Крайний от площади, как раз против танка, водружённого на постамент посреди цветника с фонтанчиками, стоит обелиск над могилой Ходько.

Всю оборону он пробыл на заводе во главе рабочих, защищавших свои цехи, из всех боёв и бомбёжек вышел невредим, а вот началось восстановление города, только успели мы оштукатурить ему кабинет в уцелевшем крыле разбитого дома, и он погиб от гранаты, взорвавшейся под его ногами в развалинах завода.

Всего два раза пришлось мне разговаривать с Ходько, и много лет прошло с тех пор, а я всё ещё вижу его, как живого, шагающего по стройке в своей приметной издали белой рубашке.

Первыми подымались из развалин заводские цехи. Подал свой голос заводской гудок. Вступила в строй ТЭЦ. Цехи, не имевшие ещё крыш, получили электроэнергию.

Эшелоны отремонтированных танков с надписями на башнях «Ответ Сталинграда» двинулись на фронт.

На Волге выгрузились баржи с материалами для строительства и с оборудованием для заводов.

На стройке зашумели механизмы — камнедробилки, бетономешалки, над развалинами вытянули свои стрелы первые электрокраны.

В нашем районе уже действовали и водопровод и хлебозавод, были открыты аптека и продовольственный магазин.

Однажды, возвращаясь с работы вместе со своей бригадой, я увидела Ольгу в окне второго этажа большого разбитого дома. Половина этого

дома была, как ножом, срезана бомбой. Одна внутренняя лестница его оказалась снаружи и висела над землёй.

— Ты чего там? — крикнула я.

Из-за плеча Ольги выглянул начальник участка.

— Квартиру ищем, — засмеялась Ольга.

Я поняла это, как шутку, — «квартиру» в том смысле, что бригада Ольги будет тут работать.

Вечером, когда Ольга пришла в палатку, я тоже пошутила:

— Ну как, квартиру нашли?

— Нашли, — ответила она. — Завтра штукатурить начнём.

Мне и в голову не могло прийти, что она говорит о квартире для себя.

— А вы что ж, теперь уже не каменщиками будете, а штукатурами? — удивилась я.

Ольга ответила загадочно:

— И штукатурами, и малярами, и плотниками, и стекольщиками.

— Чего ты мне голову морочишь! — рассердилась я, чувствуя, что она опять что-то скрывает от меня, и не стала с ней больше разговаривать.

Мне было обидно, что она продолжает скрытничать со мной, попрежнему ничего не говорит о своих встречах с кем-то по вечерам.

Все улеглись, и уже потушена была коптилка, при свете которой некоторые из наших девушек допоздна засиживались, строча домой письма... Я засыпала и вдруг сквозь сон услышала, что кто-то взбирается на мою верхнюю койку.

— Что такое? — вскрикнула я.

Это Ольга взбиралась ко мне.

— Давай поговорим, — сказала она, залезая под моё одеяло.

— С чего это ты вдруг? — спросила я сердито.

— Ух, Анка!.. Послушай! — Она прижималась ко мне, шептала на ухо: — Послушай, я тебе расскажу... — Наконец набралась духу и выговорила: — Понимаешь, я выхожу замуж. — Опять прижалась ко мне и едва слышно договорила: — За Георгия Александровича.

Долго разговаривали мы с ней в ту ночь. Сначала говорила она одна, а я только спрашивала:

— Ольга, ты это всерьёз?

— Понимаешь, всерьёз.

— Может, только кажется?

— Нет, — мотала она головой. — Не кажется, а всерьёз.

— Так вдруг и замуж?

— Почему — вдруг? — возмутилась Ольга и стала уверять меня, что, как только мы приехали в Сталинград и она увидела Георгия Александровича в помятой кепке, ей сразу стало его жалко.

— Понимаешь, он такой одинокий...

— Так ты что же — из жалости?

— Ух, как мне его жалко! — сказала Ольга. — Ну, понимаешь, — прямо как своего маленького.

— Нечего сказать — маленький! — засмеялась я. — Как раз в два раза старше тебя.

— Ну и что ж! — загорячилась Ольга. — А мне кажется, будто он маленький. Характер у него тихий.

С каких это пор она стала любить тихих!

Ольга была счастлива, но чувствовалось, что её что-то тревожит. Может быть, поэтому она так долго и скрывала всё от меня.

— А как ты думаешь, не скажут наши девушки, что я за начальником погналась? — спросила она вдруг.

— Про тебя да чтобы такое сказали — никогда! — ответила я.

— Ты думаешь? — обрадовалась Ольга.

Она несколько раз возвращалась к этому, говорила:

— Ну и пусть воображают, наплевать. Правда ведь?

— Не знаю, замуж выходить не собираюсь.

— Скажешь, что и не влюблена?

— И не влюблена.

— Ух, и врешь же! — вскрикнула она. — А Сеня?

— Надо же подумать такое! Да чтобы я влюбилась в Сеню!..

— Тогда, значит, Володя.

— Почему это — значит?

— В кого-нибудь да влюбилась. Иначе чего бы ты вдруг стала такая гордая, нервная. Не от того же, что ты хлебные карточки потеряла?

Она не стала больше разговаривать об этом, сказала:

— Ладно, не хочешь — не говори. — И снова завела речь о своём: — Чего нам ждать, откладывать? Было бы жильё! А сегодня мы нашли себе квартирку. В том доме одна кухонька уцелела...

Уже засыпая рядом со мной, Ольга перечисляла, что ей с Георгием Александровичем надо будет сделать, чтобы оборудовать под жильё эту уцелевшую в развалинах кухоньку: пол настелить, стены, потолок оштукатурить, стекло какое-нибудь вставить...

Так и заснула, не перечислив всего.

Спустя несколько дней Ольга со своим узелком — таким же маленьким, с каким она приехала в Сталинград, — ушла из нашей палатки.

На свадьбу, которая была одновременно и новосельем, она пригласила меня, Володю, Сеню и Люду. Многих ещё хотелось Ольге позвать, да жилплощадь не позволяла. Это была крохотная полутёмная кухонька с одним окном, почти до самого верха плотно заложённым кирпичами. Свет проникал сквозь узкую полоску стекла, вставленного под самым потолком.

— Хоть и времянка, но стёклышко надо бы чуть побольше, — извинился за своё жильё Георгий Александрович.

На столе нас ждала банка мясных консервов и тарелка с нарезанной редиской. Редиска была полита тем же подсолнечным маслом, которым Ольга смазывала по вечерам потёртые кирпичом пальцы.

Появилась и пол-литровка водки, торжественно поставленная на стол.

На столе было пусто, а за столом — тесно. Хозяева примостились на одном стуле. Чтобы стало посвободнее, Сеня забрался на кухонную плиту. С этого возвышения он произнёс речь, поздравив новобрачных с имени построюкома и добровольного спортивного общества «Строитель».

Упустив из виду возраст Георгия Александровича, он назвал в своей речи свадьбу комсомольской, хотел поправиться, но тогда поднялся Володя и, перебив его, сказал:

— Представитель построюкома и спортивного общества прав, и нечего ему поправляться — Георгий Александрович за последнее время так помолодел, что мы вполне можем снова принять его в комсомол.

Георгий Александрович не растерялся. В ответной речи он дал обещание вести себя по-комсомольски.

— Тем более, — сказал он, — что мне это необходимо и по должности, как начальнику участка.

Он имел в виду, что на его участке все, включая присутствующего за столом прораба, — комсомольцы.

Так начался этот праздник, на котором все мы дружно старались ввести нашего начальника в свою комсомольскую семью. Оказалось, что и стараться тут особенно нечего.

И вовсе он не был одиноким, как уверяла меня Ольга. Такой же комсомолец, только другого поколения. И чего он только не строил! Дороги,

мосты, дома, заводы, плотины, шлюзы, гидростанции. Был рабочим, десятником, техником, прорабом, а институт окончил заочно уже накануне войны, всего на два года раньше Володи, и оказалось, что тот самый институт, в котором учился Володя, — одному профессору сдавали строительную механику.

Вот тебе и разница в двадцать лет!

Мы выпили за встречу в Сталинграде двух комсомольских поколений. Потом выяснилось, что оба «комсомольских поколения» страдают одним недостатком — не умеют завязывать галстук, и Сеня тотчас взялся учить этому искусству одновременно и Георгия Александровича и Володю, заставляя их под своим руководством по нескольку раз перевязывать галстуки друг другу.

— Теперь всё в наших руках, даже галстук, — говорил Георгий Александрович, посмеиваясь над Сеней.

И Володя подсмеивался над ним:

— Главное — договориться.

А я подсмеивалась над Володей.

— Всюду, вас по здоровью или по возрасту не взяли в армию? — спросила я.

— По специальности, — ответил он и спросил меня: — А вы, Аня, почему решили поехать в Сталинград?

— Хотела на фронт, а на фронт не брали.

— А как, Аня: по здоровью или по возрасту? Или, может быть, тоже по специальности?

Володя посмотрел на меня, хитро прищурившись, и все засмеялись: конечно, по специальности — щекатур!

За десять лет в Сталинграде много раз праздновали мы и свадьбы и новоселья, но этот первый праздник особенно запомнился.

Он и правда был хороший.

Когда совсем стемнело, зажгли фонарь со стеклом в решётке и поставили его на стол вместо давно опустевшей пол-литровки.

Не было ни гостей, ни хозяев — все чувствовали себя как дома.

Сеня потешал нас. Он отчаянно хвалился размахом своей культмассовой и физкультурной работы на стройке, а потом вдруг так же отчаянно принялся ухаживать за Людой. У него был смертельно влюблённый вид, а Люда изображала из себя холодную куклу, и это у неё здорово получалось.

Только Ольга сидела какая-то притихшая. Видно, её всё-таки смущало, что она первая из наших девушек вышла замуж, что у неё в Сталинграде уже своя семейная квартира, когда все её подруги ещё живут в палатках.

— А почему ты решила поехать в Сталинград? — задала я ей тот же вопрос, на который меня подцепил Володя.

— Понимаешь — потянуло, — оживлённо заговорила Ольга. — Люблю, чтоб народу было целый табор.

И она стала вспоминать про эвакуацию. Показала свою потёртую сумочку, которую во время эвакуации носила на груди. В ней хранились партийная кандидатская карточка, комсомольский билет, паспорт и направление «в глубь страны».

Когда они вышли всем своим табором с машинами МТС и колхозным скотом на Волгу, к переправе у Чёрного Яра, Ольга осталась в одном платье, босая — все вещи вместе с можарой сгорели от зажигалки.

— Ух, и обстановочка тут была! — вспоминала Ольга. — Упадёшь в овраг, ляжешь грудью на сумочку, закроешь её собой и ждёшь, пока фашисты отбомбятся... Когда мало народу вокруг — я трусиха, а когда народу вокруг много — ничего не боюсь. Потому, наверное, меня и в Сталинград потянуло, — сказала она, вернувшись к заданному мною вопросу.

— Правильно! — горячо поддержал её Сеня. — Главное, чтобы размах был.

— Размаху у нас в Сталинграде много, а вот стекла нет, — вздохнул Георгий Александрович.

Все посмотрели на узкое стёклышко под потолком, заметили, что в этом тёмном стёклышке трепещет какой-то красный свет, и встревожились: не пожар ли?

Володя забрался на подоконник, посмотрел в стёклышко и крикнул испуганно:

— Что-то горит!

Все выбежали на площадку лестницы, повисшей над развалинами второй половины дома. Отсюда ясно было видно поднявшееся над затемнённым Сталинградом зарево.

Долго не могли мы понять, где и что это горит, пока Георгий Александрович не догадался:

— Товарищи, так это же на «Красном Октябре» сталевары сейчас выпускают первую плавку! Крыши у них ещё нет, а металл уже начинают давать.

Тогда испугавшее нас сначала зарево сразу показалось всем необыкновенно красивым.

Как было не залюбоваться им, если это зарево поднялось в небе от горящего металла, который льётся по жёлобу в ковш под открытым небом, среди руин!

Это происходило в те дни, когда Ваня, о существовании которого я ещё и не знала, воевал где-то под Курском или Орлом.

Далеко ещё было до конца войны.

Город был завален разбитыми танками, пушками, самолётами, продырявленными касками. Там, где сейчас стоят памятники, тогда лежали груды собранного нами для переплавки военного лома.

Наступила осень. Мы восстановили уже не один дом, а сами продолжали жить в палатках. Спасаясь от холодного, задувавшего в палатку ветра, мы сдвигали свои двухъярусные койки в кружок, посредине раскладывали костёр, так, чтобы тепло от него доставалось всем поровну, укладывались на ночь по двое, по трое на койку, наваливали на себя все лишние матрацы и одеяла.

Сидя на своей койке у костра, мать Люды, Галина Петровна, вслух вспоминала об Одессе — всё одно и то же: домик, виноград, абрикосы. И как муж её, заводской бухгалтер, уходил с ополчением занимать оборону, и как она догоняла его, чтобы передать мундштук, который он забыл дома, и как она рыла за городом окопы, — там, рядом с ней, была убита бомбой её соседка. И как Люда училась в одесских катакомбах, куда перебралась её школа, и какая там давка была, в этих катакомбах, при бомбёжках — классные доски, глобусы, люди, коровы, козы!

Близок был уже день освобождения Одессы, и Галина Петровна говорила:

— Скоро мы с Людой домой.

Люда слушала это, сердито опустив голову, — ни слова возражения, будто она уже махнула на мать рукой: говори, что хочешь! Однако по ночам до нас доносился её угрожающий шёпот:

— Прекратишь ты когда-нибудь эти разговоры или нет?

Многие из нас мечтали о своих городах и сёлах, но про себя, а Галина Петровна мечтала о своей Одессе не про себя, а вслух.

Она вовсе не думала оставаться в Сталинграде на всю жизнь.

— Сталинград — ну, скажите, пожалуйста, что это за город по сравнению с Одессой? — говорила она. — И чтобы я променяла Одессу на

Сталинград! — И она опять начинала вспоминать: — Какие у нас в Одессе базары!

Сан Саныч, наш бывший сопровождающий, теперь работал на стройучастке парторгом. Он был в нашей палатке частым гостем.

— Ну как, девчата, жизнь свою строите в Сталинграде? — спрашивал обыкновенно Сан Саныч, появляясь вечером в палатке и ища место, куда бы поставить свою толстую суковатую палку.

Он подсаживался к нашему костру, закуривал трубку и, поглаживая свою бритую, пересечённую сабельным рубцом голову, начинал вспоминать что-нибудь из своей флотской жизни на Тихом океане или о гражданской войне на Волге.

Лицо у Сан Саныча при этом было добродушнейшее. Но потом он переходил к вопросам сегодняшнего дня, и усы у него сразу начинали сердито топорщиться.

— Ночью не замерзаете тут, в палатке? — спросил он нас однажды.

— Ничего, знали, куда едем, — сказала я бодро. — Мороз нас не испугает.

— Конечно, если вы тут временные жители, то перетерпеть можно, — сказал Сан Саныч.

— То есть как это временные? — вспыхнула Люда.

— Ну вроде как артисты на фронте: приехали, чтоб гастроль дать, — коротко пояснил Сан Саныч.

Тут все зашумели:

— Что же это мы — гастролёры? А кто Сталинград восстанавливает?

— Вы, вы, конечно, вы, — сердито замахал трубкой Сан Саныч. — Только вот вопрос: для кого вы восстанавливаете?

— Как это — для кого? Для сталинградцев.

— Вот именно, — поймал он нас на слове. — Значит, себя не считаете сталинградцами.

Наш палаточный городок начал редеть: то одну палатку, то другую снимали с колышков, и обитатели их перебирались на постоянное жильё, волоча свои койки, чемоданы, узлы. Одни получали комнаты в восстановленных домах, другие, не ожидая своей очереди, сами брались за дело — находили в каком-нибудь разбитом доме уцелевший подвал и в свободное от работы время отстраивали его под жильё.

Мы тоже после разговора с Сан Санычем решили, что надо браться за дело самим. И на другой же день облюбовали себе большой подвал, перегороденный стенкой с дырой посередине, — наверное, во время обороны пробили эту дыру вместо двери.

Вместо окон тоже зияли дыры. Вход в этот подвал был завален битым кирпичом. Но ничего лучше нельзя было найти, и мы сейчас же взялись за расчистку входа, стали таскать в подвал глину, песок, известь. В разгар этого «вечерника» к нам зашёл Володя.

— Что, девчата, строиться задумали?

— А что, мы хуже других?

— А кто же у вас будет командовать? — спросил Володя.

— Командуйте! — предложила я.

— Есть, команду принимаю, — сказал он. — Но с условием, что вы будете моей помощницей.

Так я стала «помощницей прораба» на строительстве общежития.

Весёлое это было строительство, хотя мы и приходили на него уже уставшие от работы.

Чего только не попадалось нам, когда мы рыскали по развалинам в поисках стройматериалов! Находили и такие полезные для общежития

вещи, как умывальники, вешалки, оконные занавески. Чаще всего нам попадались утюги. А вот стекла и осколков нигде не было видно. Должно быть, оно превратилось в своё первоначальное состояние — в песок.

Стекло было единственным материалом, которого нам не доставало. Ну и шумели же мы, выкраивая несколько окон из двух листов стекла, которые Володя с помощью Сан Саныча достал для нас по наряду!

Сан Саныч каждый вечер приходил к нам в подвал, советовал, какие дыры превратить в окна, какие в двери.

Наконец под командой Володи мы управились со всеми дырами, потолок подбили фанерой, побелили стены, сложили печь.

Переселение началось с того, что, по совету Сан Саныча, мы распилили свои двухъярусные койки.

— Хватит вам спать в два этажа! — сказал он.

Когда распиленные койки были перетащены в подвал и мы принялись расставлять их, Сан Саныч говорил:

— Ну, теперь, девочки, загоняйте себе под крышу тепло и встречайте зиму смело.

Сан Саныч жил под каменной лестницей, заменявшей ему крышу, куда тепло невозможно было загнать никакими способами. А как только мы устроились, он стал приводить к нам девушек: доказывал им, что и в Сталинграде при желании можно жить тепло и уютно — с занавесками на окнах, с зеркальцами на стенах и даже с кружевными накидками на подушках, которые, правда, были у нас пока только на койках Люды и её мамы.

— Богато живёте, — говорили нам девушки, которые ещё жили в палатках.

Сеня объявил наше общежитие образцово-показательным, и все стены заклеил плакатами, а под самым потолком написал красной краской лозунг:

Стахановцы, бригадиры,
Быстрее стройте квартиры!

Этот знаменитый у нас потом лозунг был впервые обнародован в нашем общежитии, и автором его являлся сам Сеня. Его писали на всех поднятых из развалин стенах — красками, углем, мелом. Писали агитаторы, писали и просто бесквартирные домохозяйки, дети.

Когда мы оборудовали общежитие, складывали с Володиной печь из битого кирпича, я смеялась:

— А как это, товарищ прораб, с точки зрения строительной механики, которую вы сдавали этому самому профессору?

Выправляем найденный в развалинах погнутый жестяной умывальник, — смеюсь:

— Володя, кажется, это по вашей специальности — гидротехника!

Это уже стало у меня привычкой — подсмеиваться над Володиной: учился строить гидростанции, плотины, а занимается кладкой печей, и с таким серьёзным видом!

— Правда, Володя, с вашим характером всё равно, что строить, — плотину на Волге или печку в подвале?

— А вам, Аня, кажется, больше по характеру жить в палатке без дочки, у костра, — отвечал Володя. — Ох, и тяжёлая вы будете жена!

— Не бойтесь, Володя, — не ваша!

И вот, перебравшись из палатки в общежитие, мы празднуем своё новоселье.

Торжественная часть — приветственные речи, вручение подарков, — концерт самодеятельности, на котором Сеня в роли конферансье затмевает всех исполнителей, и, наконец, танцы под баян того же вездесущего Сени.

Володя — главный виновник нашего торжества — приглашает свою помощницу на вальс. Впервые я танцую с Володей.

Кружась в вальсе, продолжаю подтрунивать над ним. Всё то же: печка, вокруг которой мы танцуем, построенная под руководством инженера-гидростроителя.

— А знаете, Аня, ваша мечта сбывается — завтра уезжаю на Днепрострой, — сообщает вдруг Володя.

Что, он тоже смеётся? Я смотрю ему в глаза. Он отвечает на мой взгляд:

— Ведь это, Аня, не только моя, но и ваша мечта, чтобы я работал по своей специальности.

Ну ясно же, он смеётся надо мной, хотя взгляд у него и серьёзный. Прищурившись, он смотрит мне в глаза, и в его взгляде я тоже чувствую вопрос. Пожимаю плечами.

— Странно вы говорите. Есть о чём мечтать! Какое мне до этого дело?

— Ну, а всё-таки?

— Не понимаю. Вы что, серьёзно уезжаете?

— Серьёзно, Аня. Всё уже оформлено.

— Вот как! Ну что ж, поздравляю. Вы ведь рады?

— Конечно, если говорить о работе. Вы же понимаете — Днепрогэс!

— А вообще-то?

— Вообще-то, Аня, конечно, жаль.

Володя танцует плохо, не слушает музыку.

— Если бы не Днепрогэс, я бы навсегда остался в Сталинграде. Я тут уже как дома, — говорит он.

— Вы, наверное, всюду как дома. У вас счастливый характер, — говорю я.

— Нет, Аня, правда, мне очень жаль уезжать из Сталинграда.

После танцев Володя просит меня немножечко проводить его.

Я провожаю его, он провожает меня, потом снова — я, и снова — он.

Мы идём молча. Падает мягкий, сырой снег. На кепке Володи лежит уже толстый снежный блин. Лицо у него мокрое, будто в слезах.

Какой он всё-таки смешной! Лобастый, а рот маленький, совсем детский.

— Ну что же вы молчите, Володя? О чём думаете?

Мне почему-то вдруг становится жаль Володю. Я беру его под руку.

— Расскажите.

Он рассказывает о Днепрогэсе, будто уже побывал там, увидел все разрушения и вернулся в Сталинград, только чтобы попрощаться.

Видно, он всё-таки очень счастлив, что едет восстанавливать Днепрогэс.

Прощаясь, он долго не выпускает моей руки.

— Ну, когда же мы теперь, Аня, увидимся?

— Видно, Володя, уж больше никогда, — говорю я, пожимая ему руку, и ухожу не оглядываясь.

Что же оглядываться, когда всё равно больше не увидимся!

Постепенно каждая девушка находила свой путь.

Когда мы штукатурили помещение для продмага, к нам зашёл какой-то важный начальник, кажется из орса. И надо же было случиться такой неприятности: у одной нашей девушки сорвался с кельмы раствор и шлёпнулся прямо на нос ему.

Конечно, важный начальник мог понервничать, если у него нервы были не в порядке, но ему не надо было забывать, с кем он имеет дело.

Об этом и напомнила ему Люда, живо спрыгнув с помоста.

— Кто вам дал право так выражаться в присутствии девушек? — спросила она.

Начальник сделал большие глаза.

— Смотрите, какая персона!

— Не персона, а комсомолка, — ответила Люда.

— Скажите, пожалуйста, — комсомолка! А я думал — пионерка.

Действительно, Люда была тогда больше похожа на пионерку, чем на комсомолку.

Как у неё зарделось лицо! Мы были поражены: всегда такая сдержанная, тихая — и вдруг так вспыхнула.

— Ах, вот что! Ну, хорошо, тогда с вами поговорят в другом месте.

Люда круто повернулась и выбежала на улицу. Она побежала в партком, он был рядом.

Видимо, этому начальнику сделали там внушение, потому что на следующий день, снова зайдя к нам, он первый поздоровался с Людой, назвав её по имени и отчеству:

— Здравствуйте, Людмила Аркадьевна!

И откуда только он узнал её отчество?

После этого случая всё наше начальство стало здороваться с Людой. И никто из нас не удивился, когда вскоре она была назначена политвоспитателем по нашему общежитию.

Была тогда введена у нас такая должность.

На попечении Люды оказалось около двухсот девчат, приехавших в Сталинград из разных областей и национальных республик. В её обязанности входило следить, чтобы все умывались по утрам и перед сном, во-время ходили в баню и во-время меняли бельё. Она должна была проводить читку газет и знать, кому и чем надо помочь. Всех её обязанностей не перечислишь — это были обязанности няньки.

«Нянька старших» — называли мы Люду, потому что в нашем общежитии она была по возрасту самой младшей.

— Девочки, завтра пойдём в баню, приготовьте смею белья, — сбывляла она и, пройдя по общежитию, строго спрашивала: — Все слышали, что я сказала? Никому не надо повторять?

Если кто-нибудь, придя с работы, заваливался на койку в грязном комбинезоне, Люда спокойно говорила: «Давайте, девочки, будем чуть-чуть покультурнее», — и, нахмурив свои тёмные брови, терпеливо ждала у койки, пока девушка нехотя подыметя и нехотя, потягиваясь и зевая, начнёт переодеваться.

Она никогда не повышала голоса, только хмурилась и, хмурясь, всегда опускала глаза, будто ей и смотреть не хотелось на таких нерях и разгильдяек, которых надо заставлять умываться, менять постельное бельё, когда оно становится очень грязным.

Если по вечерам слишком много девушек начинало строчить письма домой, Люда, косо поглядывая на пишущих, говорила:

— Ну, чего вы всё пишете и пишете?

Или подходила к какой-нибудь девушке и спрашивала:

— Что, опять по дому заскучала?

Это её больше всего беспокоило.

— Давай споём, — предлагала она мне в таких случаях, хотя сама не была любительницей петь и голос у неё был слабенький.

Мы с ней запевали какую-нибудь разудалую песню, чтобы развеять у всех тоску по дому. Но не так-то легко было её развеять. Перетянем к себе в кружок пол-общежития, песня гремит всё громче и веселее, а

остальные девушки сидят на своих койках, как глухие, всё пишут и пишут.

Шумной была первая общепостроечная комсомольская конференция. Люда не умела ещё выступать на больших собраниях. Выйдя на трибуну, она долго стояла молча, опустив глаза. Я испугалась за неё, подумала, что она онемела от смущения, постойт так и уйдёт, ничего не сказав. Но Люда подняла глаза и заговорила уверенным голосом. Она сказала:

— Главная трудность у нас в том, что некоторые наши девушки находят время каждый день писать письма домой, а вот чтобы умыться, у них на это времени нет, они слишком устают. Видно, они думают, что скоро вернутся домой и тогда уже умоются. Эти вредные настроения надо изживать, и мы их изживём в корне.

Речь была короткой, но Люда попала, как говорят, в точку. Её выступление вызвало на конференции горячий отклик.

Многие выступали по этому вопросу. Выступала и я. Тоже впервые на большом собрании. Первая моя речь. Думала, что растеряюсь, оробею, но выбежала и сразу начала с криком, как у себя в общежитии. И откуда только слова берутся, когда разволнуешься!

А как было не разволноваться! Кажется, ведь решили, что довольно жить в Сталинграде кое-как — фронт уже далеко, война идёт к концу, надо устраиваться прочно, надолго, по-домашнему, оборудовали себе культурно-образовое общежитие — о нём даже в газетах писали, а некоторые девушки отпраздновали новоселье, получили подарки и снова живут, как на железнодорожной пересадке, и разговоры у них одни — как там дома, у мамы, хорошо. Некоторые, наверное, вовсе бы не умывались, грязью заросли, если бы их не понукать, — нянька им ещё нужна, а не комсомол. Вот что! Правильно я говорю?

— Правильно! — кричат делегаты с мест. — Правильно! Комсомол не нянька, комсомол — боевая организация. Пора круче ставить вопрос.

Чувствуя общую поддержку, я ставлю вопрос всё круче и круче — совсем забыла, что недавно сама чуть было не сбежала из Сталинграда. Разгорячилась так, что и остановиться уже не могу. (Это и теперь со мной иногда бывает, когда спорю с Ваней.)

И вдруг слышу шёпот в президиуме:

— Вот кого надо в комитет — эта даст жизни.

«Так это ведь обо мне», — мелькнула у меня мысль. И я всё, всё вспомнила, весь позор, о котором знал один Ходько, пережила снова. Подумала: а если бы все знали, — как же меня можно выбирать в комитет? И тут будто голос у меня сорвался — я онемела.

Все, наверное, подумали, что я задохнулась от волнения. Немного подождали и, решив, что я кончила свою речь, зааплодировали.

Гремят аплодисменты, а я стою и в ужасе думаю: как же это так, говорила о других, а о себе промолчала, ещё выберут в комитет, и выйдет, что я всех обманула.

— Товарищи! — спохватившись, в отчаянии закричала я. — Дайте же кончить. Я ещё не всё сказала. Я ещё и о себе скажу.

И я всё рассказала — как мне было трудно, когда я потеряла карточки, как я мечтала о корове, о маме, как плакала по ночам, собираясь бежать домой.

Всё-таки мою кандидатуру выдвинули, но в комитет я не прошла — нехватило нескольких голосов. А Люда прошла единогласно.

Тогда секретарём нашего комитета был Петя Гололобов.

Поставив одно колено на стул возле телефона, Петя Гололобов часами обзванивал все комсомольские комитеты города. Так ему приходилось налаживать своё учётное хозяйство.

Ведь люди, приезжавшие в Сталинград целыми эшелонами и парходами, распределялись по разным районам города, и часто бывало, что человек попадал в один район, а его учётная карточка — в другой, и тогда в одном комитете искали затерявшуюся душу, а в другом — затерявшуюся карточку.

Длинными были списки затерявшихся. Передавая их по телефону, Петя выкрикивал:

— Ташкент... Сталинабад... Ленинабад... Куйбышев... Саратов... Иваново... Молотов... Омск... Семипалатинск... Курган-Тюбе...

Эти списки и розыски были бесконечными.

— Как тут найдёшь комсомолку из Курган-Тюбе, если в Сталинграде перемешались все города и области Советского Союза?— говорил Петя, кидая телефонную трубку на рычаг.

А потом оказывалось, что комсомолка из Курган-Тюбе работает на соседнем заводе и там повсюду разыскивают её учётную карточку, попавшую к нам вместе со старшей её группы.

До войны Петя работал у станка, учился в вечернем техникуме, окончил его уже во время войны и вскоре отправился вместе со своим цехом в эвакуацию на Урал.

Как только он появился у нас, мы сразу приметили его. Худой, высокий, он казался ещё выше, потому что волосы на его голове стояли торчком — ёжиком.

Когда Петя волновался, на лице у него, под глазами, выступали багровые пятна, похожие на кровоподтёки. Говорил он резко и шутил не улыбаясь.

Помню первый разговор с ним. Я пришла в комитет по его вызову. Он встретил меня вопросом:

— Значит, корова подвела?

Я не поняла его.

— Какая корова?

— Твоя, то есть папаши и мамыши собственная. Если бы не эта индивидуальная собственность, прошла бы в комитет. Корова всех испугала. Ну да чёрт с ней, с коровой! Раз твёрдо решила остаться в Сталинграде, значит верх взял комсомол, а не корова. Это — главное, так я понимаю. Так и запишем.

И, верно, вынув из кармана блокнот, он стал что-то быстро записывать. Потом, кинув на стол карандаш, сказал:

— Советую: придёт в голову счастливая мысль, осенит тебя вдруг какая-нибудь полезная идея,— сейчас же бери её на карандаш.

Наконец он перешёл к делу, по которому вызвал меня.

— Будем рекомендовать тебя комсоргом на участок. Понимаешь ответственность? Это — главное.

И, не ожидая ответа, стал давать мне установки.

Звонил телефон, в комитет заходили ребята, девушки. Петя решал множество разных вопросов, что-то записывал, куда-то выходил и, возвращаясь к разговору со мной, кратко повторял сказанное:

— Значит, ясно — прежде всего решаем проблему закрепления кадров. Чтобы больше не слышно было: «Мы — саратовские», «Наши — пензенские», «Мы — ташкентцы». Чтобы на всех участках, во всех общежитиях было слышно только одно: «Мы — сталинградцы»... Дальше,— продолжал он свои установки. — У тебя на участке исключительно молодёжь, значит за выполнение плана отвечает комсомол. Спрашивать будем с тебя. Действуй смелее, не бойся, если что не так, — нас с тобой есть кому поправить.

В ту начальную пору своей деятельности Петя Гололобов часто повторял на собраниях и на разных заседаниях и совещаниях актива:

— Не бойтесь, что мы с вами в чём-нибудь перестареемся. Если перестареемся — нас поправят, а если недостареемся — куда хуже будет.

Многолюдными в ту пору были совещания актива. Трудно было найти для них помещения, а стулья, скамейки приходилось собирать чуть ли не со всего района, тащили их на себе издалека, иногда под дождём или снегом.

Разве забудешь шествия по разрушенным улицам города нашего комсомольского актива, перетаскивавшего стулья из одного дома в другой!

Наши войска приближались к Одессе, и всё громче становился по ночам шёпот Люды со своей мамашей. А как только стало известно, что Одесса освобождена, Галина Петровна тотчас же принялась отделять свои вещи от вещей Люды и запихивать их в чемодан. Люда не обращала на это никакого внимания, будто Галина Петровна так, от нечего делать и по беспокойности своего характера, перекладывает вещи с одного места в другое, а вовсе не собирается в дорогу, как она всем громко объявила.

Проходили дни. Сколько писем и телеграмм было отправлено в Одессу! Наверное, вся Одесса уже знала, что Галина Петровна едет домой, а она, взяв расчёт в столовой, где работала подавальщицей, всё ещё сидела на своём чемодане и угрожала Люде, что уедет одна.

— А ты ещё здесь, не уехала? — спрашивала Люда, делая вид, что очень удивлена этим.

— Вы слышите? Как вам это нравится? Что вы на это скажете? Она ещё меня спрашивает! — возмущённо взывала тогда Галина Петровна ко всему обществу.

Но с каждым днём голос Галины Петровны становился всё тише и тише, пока она совсем не затихла, получив письмо из Одессы, в котором сообщалось, что домика её там уже нет — сгорел дотла.

Погоревав, Галина Петровна вытерла слёзы и принялась энергично наводить нарушенный порядок вокруг своей койки.

Работать в столовую Галина Петровна не вернулась. Она считала эту работу временной и теперь хотела иметь постоянную.

Вскоре её назначили комендантом нашего общежития.

Больше Галина Петровна не мечтала вслух об Одессе, не расстраивала никого воспоминаниями о своём домике. Наведя в общежитии свои порядки, она объявила:

— И в Сталинграде можно жить.

С каждым днём наше общежитие становилось красивее и уютнее. И откуда только появлялись половики, коврики, занавесочки, этажерки, полочки, абажуры!

Теперь Галина Петровна была в полном единодушии с Людой.

— Мы с Людой думаем... Мы с Людой договорились... Мы с Людой решили... — повторяла она на каждом шагу.

И вдруг всё началось сначала.

Приходит к нам однажды в общежитие чёрный от пыли солдат. На плече его болтается пустой вещевой мешок. Весь вид солдата свидетельствует о том, что его привела в Сталинград некороткая дорога.

Появившись в дверях, он спросил, здесь ли живёт Галина Петровна.

Галина Петровна вскрикнула и стала звать Люду, как будто она боялась одна подойти к этому солдату.

— Так вот где я вас нашёл, — тихо сказал солдат, скидывая с плеча на пол, себе под ноги, вещевой мешок.

Больше двух лет прошло, как они расстались в осаждённой Одессе. Галина Петровна перед эвакуацией приезжала с Людой к мужу в окопы — тогда на передовую в Одессе ездили на трамвае, — и с тех пор его

следы были потеряны. Погиб ли он под Одессой или ещё где-нибудь воюет — никто этого не мог им сказать. И вот он стоит перед ними, шагает им навстречу, переступая через свой вещевой мешок.

Галина Петровна, как слепая, ощупывала мужа, вскрикивала, кидалась от него к Люде и от Люды к нему, тискала, тормошила и обдывала слезами обоих.

Много было пролито счастливых слёз, а на второй день в семье, собравшейся после долгой разлуки, начались споры — отец не желал жить в Сталинграде. Он уже побывал после госпиталя в освобождённой Одессе. «Ну и что ж из того, что дом сгорел, у многих в Одессе сгорели дома, но Одесса всё-таки осталась Одессой», — говорил он. Галина Петровна разрывалась на части: с одной стороны, конечно, Сталинград не идёт ни в какое сравнение с Одессой, но, с другой стороны, перед Людой в Сталинграде открылась большая дорога: она тут явно идёт в гору, и нельзя не считаться с нею, если она уже заместитель секретаря комсомольского комитета!

— Ух, и квартирка же будет! — хвалилась Ольга, забегая к нам в общежитие по пути с одной работы на другую.

Днём она работала каменщицей на стройучастке под начальством своего мужа, а вечером отстраивала себе квартиру в своём разрушенном доме, и тогда Георгий Александрович поступал под её начальство.

— Чего нам жить в кухне, когда столько квартир пустует? Только и всего, что потолков да полов нет, — говорила она.

Ольга всех агитировала отстраивать себе квартиры в их доме:

— Давайте, девочки, восстанавливать его, чёрт возьми! Прораб у нас не чужой будет, и каменщики, штукатуры не чужие — зарплаты никто не попросит. Такой дом — и всё никак в план не могут включить, бюрократы! Начнём снизу, и наверху зашевелиятся — живо включат в план.

Но меня тогда жилищный вопрос совсем не интересовал. Слишком много было других вопросов, которые ставили меня в тупик.

Что может сделать комсорг, если, например, дизельная установка на плотях вышла из строя?

— Георгий Александрович, что за безобразие: бетономешалка час уже, наверное, стоит, воды нет, — прибегаю я, взволнованная, в контору участка.

— Знаю, — спокойно и с улыбочкой отвечает Георгий Александрович. — Вот дизель отремонтируют, и вода будет.

— У вас всегда так — будет, будет, а люди стоят. Это же срыв соревнования — чего же улыбаться?

— А что же, Аня, плакать прикажете? Вот смонтируют электроустановку, насосная станция получит ток с ТЭЦ, тогда перебои с водой будут ликвидированы.

Начальник участка, конечно, найдёт всему объяснение, и плакать, во всяком случае, не станет, а мне ничего не остаётся больше, как плакать.

Что я скажу в комитете, когда Петя Гололобов спросит меня, почему наша лучшая комсомольская бригада снизила показатели? Попробуй тут сослаться на ремонт дизеля!

— Опять на объективные причины всё сваливаешь? Нет, ты, пожалуйста, брось эту манеру.

Выходит, что во всём виноват один комсорг. Ну как тут не заплакать! А встретишь Сан Саныча:

— Ты это чего?

— Обидно, Сан Саныч. Вы же знаете, почему вчера бетономешалка стояла. А Петя Гололобов и слушать об этом не хочет.

— И правильно делает.

— Значит, я виновата, что воды не было?

Сан Саныч молчит, только тихонько постукивает своей тяжёлой палкой.

— Нет, вы скажите: я виновата?

Тогда он начинает сердиться, топорщит свои усы и уже сильно стучит палкой.

— На собраниях, ох, как крута, всех под корень режешь, а сама чуть что — в слёзы. Виновата она или не виновата — подумаешь, как это важно!

Встречаясь с Ольгой, я жаловалась ей и на Георгия Александровича, у которого всегда находится какая-нибудь объективная причина, и на Петю Гололобова, который не признаёт ничего объективного, и на Сан Саныча за то, что, когда на участке нет воды, он не хочет разобраться, кто виноват в этом.

Ольгу всё это мало интересовало.

— Чем разбираться в причинах, ты лучше песню давай, — говорила она. — Без песни тебя никто не услышит.

У неё всё решалось просто: были бы у неё в бригаде голосистые девочки — и рекорды будут. Ольге нравилось: стены, выложенные собственными руками, растут, на стенах — плакаты с её именем.

Хотелось ей поставить всесоюзный рекорд кирпичной кладки, но не успела.

Как-то прибежала она, запыхавшаяся, и шепнула мне с ужасом в голосе:

— Понимаешь, Анка, на выдвижение метят!

А потом громко, сверкнув глазами:

— Дудки! Да чтобы я ушла с кирпичной кладки!

Прошло несколько дней, и она, как ни в чём не бывало, ткнув себе пальцем в грудь, сообщила:

— Инспектор по кадрам!

И вскоре Ольга была уже председателем стройкома.

Чего только не было! И песни, и слёзы, и горе, и радость — всё перемешалось в эти годы.

Трудно было работать комсоргом на участке жилстроя. На комсомольском комитете два раза слушали мой отчёт, и каждый раз Петя Гололобов перебивал меня сердитыми репликами:

— Критику мы уже слышали, пора бы услышать самокритику.

— Огня у тебя много, а жару от него мало.

Его интересовало одно — почему участок не выполняет плана, будто я была не комсоргом, а начальником участка.

Не могла же я говорить о недостатке квалифицированной рабочей силы, материалов, механизмов. Это ведь значит опять сослаться на объективные причины. А я-то уже достаточно хорошо знала, что у нас на комсомольском комитете можно говорить о чём угодно, но только не об объективных причинах.

В решениях по моим отчётам записывались одни недостатки. Я просила освободить меня от работы. Петя Гололобов на это отвечал:

— В кусты хочешь? Ничего у тебя из этого не выйдет. Если уйдёшь, то только с треском.

Люда, с которой мы в один день получили в райкоме партии кандидатские карточки, говорила мне на заседании комсомольского комитета:

— Будешь работать и ещё как — заставим тебя!

После таких энергичных внушений Георгий Александрович успокаивал меня:

— Ты, Аня, не плачь. Только бы нам выйти из прорыва, и ты будешь в комсомоле кум королю.

«Выйти из прорыва! Легко сказать», — думала я.

Но вот кончилась война, и на нашем участке появились электрокраны, которые мы видели раньше лишь издалека — на промплощадке. Вернулись с фронта старые каменщики, плотники. Жилстрой стал набирать темпы и к первой послевоенной районной конференции комсомола оказался передовым стройучастком.

На конференции только о нас и говорили, только нас и фотографировали — передовики!

Когда я выступала, никто уже не перебивал меня, не требовал самкритики. Одна только реплика была:

— Опыт, Аня, опыт давай!

Не могла же я сказать, что опыт у меня плачевный. Разве электрокраны это моя заслуга? Но аплодировали мне.

При выборах Петя Гололобов выдвинул мою кандидатуру и дал мне прекрасную характеристику — один из лучших комсоргов, не боится никаких трудностей и тому подобное.

После конференции, став первым секретарём райкома, Петя предложил мне быть заворотделом.

— Тут нужна такая, как ты, — с огоньком.

И ни слова о том, как сам же прорабатывал меня на комитете: огня много, да жару мало.

Люда тоже была избрана в райком. Она стала заведовать школьным отделом.

Исчезали руины, поднимались цехи, дома, оживали трамвайные и автобусные линии, открывались школы, техникумы, институты, клубы и театры, на расчищенных площадях и бульварах вырастали памятники, появлялись первые, напоминающие город улицы с магазинами, столовыми, киосками, парикмахерскими и чистильщиками сапог на углах.

Из палаток и блиндажей люди перебирались в наспех оборудованные под общежития подвалы, из подвалов — наверх, в восстановленные этажи, из временных общежитий — в постоянные, из общежитий — в семейные квартиры.

И вот уже кружится над городом самолёт и разбрасывает листовки с приглашением сталинградцев на открытие цирка.

Кончилась война, и, казалось, небо впервые распахнулось над Сталинградом во весь свой простор.

До чего же быстро шло время!

Когда я первый раз после войны приехала домой в отпуск, в комсомольском комитете завода меня встретила знакомая девушка. Перед моим отъездом в Сталинград она только поступила в ремесленное, тогда была ещё девочка, которую ребята дёргали за косички, а теперь эти же ребята заглядывались на неё — как расцвела!

— Аня, это ты? Ой, как похудела! Одни глаза остались, — сказала она.

Секретарём комитета был тот же парень, но он уже побывал на фронте и вернулся без ноги.

— Кстати приехала, — заговорил он. — Сегодня у нас в клубе вечер воспоминаний комсомольцев-фронтовиков. Придётся тебе выступить.

— Так я же не на фронте была, а в Сталинграде.

— Это всё равно — что на фронте, что в Сталинграде, — сказал он. Как я счастлива была в тот вечер, выбегая под грохот аплодисментов на сцену переполненного народом клуба!

Выступали участники войны — солдаты, сержанты, офицеры, расска-

звали, как они защищали Сталинград, а я рассказывала, как мы восстанавливали город-герой.

Конечно, это было не очень скромно говорить «мы». «Мы» — это значит и «я». А ведь речь шла о многих тысячах, и что среди этих тысяч «я»!

Но это было не от гордости, а только от счастья.

Почему у меня тогда получилось так, что в Сталинграде для нас все трудности были ничто? Почему я не рассказала, как мне было тяжело, как я собиралась бежать домой?

Да и вообще, разве мало было тяжёлого? Разве я не плакала по ночам, не приходила в отчаяние, считая себя ничтожнейшим на свете человеком, не завидовала своим подругам? Видно, всегда так — слёзы и всё тяжёлое быстро забывается, как только почувствуешь себя счастливой. И какой огромной кажется тогда всякая пережитая в прошлом радость, даже какой-нибудь пустяк, какая-нибудь просто хорошая, светлая минутка. Почувствуешь себя счастливой, и все трудности уже ничто.

На памятнике, который стоит на Мамаевом кургане, написано:

«Здесь, на Мамаевом кургане, в дни великой битвы за Сталинград происходили самые упорные и кровопролитные бои за обладание этой господствующей над городом высотой».

Вот уж верно — господствующая высота! Подымаешься на неё, и весь Сталинград виден — от Тракторного до Дар-горы, вся волжская излучина со своими зелёными островами, все заволжские леса, и кажется, что ты стоишь на одном уровне с небом. А ведь гора совсем небольшая. Многие называют её попросту — бугор.

Сколько раз я проезжала мимо этого бугра. Едешь к центру города на трамвае, автобусе или на пригородном поезде — Мамаев курган всегда на виду. Склон его подымается прямо от насыпи железной дороги — голый, с редкими тёмными пятнами кустов наверху, сморщенный, седой склон в каких-то бурых, как запёкшаяся кровь, плешинках.

Кто это одиноко стоит там, на склоне бугра? Не сражавшийся ли здесь солдат пришёл посмотреть на свой, уже заросший седой полыньёю окоп?

И как жаль, что нет у тебя времени сойти тут с трамвая, автобуса или поезда. А иной раз едешь, занятая своими делами, чем-нибудь взволнованная, и даже не подумавшись, что это — великое историческое место. Как будто самый обыкновенный, лысый, морщинистый бугор.

Возвращаясь из отпуска в Сталинград, я увидела красную ракету, взлетевшую с голой вершины Мамаева кургана в ясное голубое небо.

— Это я тебе сигнал дал, — смеялся потом Ваня, когда мы с ним вспоминали свою встречу на Мамаевом кургане.

Теперь и мне самой кажется, будто действительно он просигналил мне тогда на пароход с Мамаева кургана.

— Ну конечно же. Иначе чего бы ты потащила прямо с парохода, да ещё с чемоданом, на бугор? — при всяком случае спрашивает меня Ваня.

В тот день сталинградские комсомольцы проводили на Мамаевом кургане большую военную игру: одни оборонялись, другие наступали.

Когда я, запыхавшись, поднялась на бугор, «сражение» уже закончилось и ребята горячо обсуждали «боевые действия» своих подразделений.

Первым, кого я увидела здесь, был Лёша, с которым мы учились в вечерней школе рабочей молодёжи.

Он был уже мастером моторного цеха, построил себе дом на Мечётке, женился, но попрежнему выглядел мальчиком; так и казалось, что из-под

пиджака его, как тогда на собрании, вдруг выглянет голубь и потянется клювом к губам своего хозяина.

Лёшу часто вызывали с уроков:

— Вас там писатель просит.

Если какому-нибудь писателю, корреспонденту или фоторепортеру надо было показать первых комсомольцев — героев восстановления Сталинграда, в горькоме комсомола прежде всего называли Лёшу.

Бывало, что Лёша беседовал с несколькими писателями в день. И всех он приглашал к себе домой, поглядеть, как быстро растёт его вишнёвый сад под горой на Мечётке, который он только что посадил. Чтобы вишни быстрее росли, Лёша поливал их, как редиску, утром и вечером. Была у него ещё любимая белая акация, росшая за домом на горе, — к ней надо подыматься крутой тропинкой. Когда она цветёт, Лёша приглашает писателей полюбоваться ею.

— Таких красивых акаций, как у меня, вы нигде не увидите. Посидим там, на горе, с вами, товарищ писатель, и побеседуем по душам. Есть о чём поговорить.

Беседы с писателями всегда кончались тем, что он спрашивал:

— Скажите вот мне, пожалуйста, товарищ писатель, можно писать стихи, имея только техническое образование?

Этот вопрос забеспокоил Лёшу с тех пор, как редактор заводской многотиражки накричал на него:

— Приносишь свои стихи в печатный орган, а сам восьмого класса никак не можешь окончить. С таким образованием, как наши курсы мастеров, поэтом не станешь.

Лёша жаловался ему на глаза — болят от чтения, но редактор знал его с детских лет и не верил ему нисколько.

— Выдумываешь. Тебе только повод нужен, чтобы не учиться. Хочешь на одной славе выехать, — говорил он Лёше.

На Мамаевом кургане Лёша сидел под кустом, и одна нога его была разута. Какой-то товарищ в военной гимнастёрке стоял перед ним на коленях и мял ему голую ступню.

— Что, Лёша, жаркий бой был? — спросила я, ставя возле него свой чемодан.

— Вот суставчик сдвинулся... — сказал он, нетерпеливо морщась от боли.

Потом он встал на одну ногу, попрыгал немного на ней и осторожно встал на другую.

Его товарищ долго стряхивал с колен пыль и при этом поглядывал на меня каким-то задорно-весёлым взглядом.

— Давно вас что-то не было видно. Из отпуска, товарищ Чурилина? — спросил он вдруг.

Лицо его было как будто знакомо, но я не могла вспомнить, где мы с ним встречались.

Так и сказала.

— А я хорошо помню, — сказал он, не спуская с меня весёлого взгляда.

— Ваня Силин, член нашего цехового партбюро, — представил мне его Лёша.

Ваня шагнул ко мне.

— Наконец-то нас с вами познакомили, товарищ Чурилина.

— Почему «наконец-то», разве вы давно хотели со мной познакомиться? — удивилась я.

— С того партбюро, когда вы нам дали жару за недостатки руководства комсомолом, — ответил он.

Был такой случай: в цехе — задолженность по комсомольским взно-

сам, а партбюро не желает ставить этот вопрос на повестку дня: «Задолженность ликвидируйте сами». Я тогда погорячилась, и меня поправили: «Не думает ли представительница райкома комсомола, что партийное руководство состоит в том, чтобы собирать членские взносы с комсомольцев?»

В общем, не очень приятное воспоминание. По моему лицу Ваня сразу понял, что надо перевести разговор на другую тему. Подняв мой чемодан, он воскликнул:

— Ох! И как только вы втащили его сюда, на бугор?

Я ничего не ответила и, оставив его с моим чемоданом в руке, пошла разыскивать наших райкомовцев.

Меня возмутил несерьёзный тон, которым он со мной заговорил. Что-то в его тоне напомнило мне Володю, а я всё-таки была уже не девочка, чтобы со мной так разговаривать.

Хорошо, что Ваня понял тогда свою ошибку. После разбора военной игры, когда я вернулась к своему чемодану, он заговорил со мной совсем иначе.

— Вот хожу и не могу найти своего окопа, — пожаловался Ваня. — Как будто тут, но куста этого что-то не помню.

— Так вы тут воевали? — спросила я, и разговор начался.

Оказалось, что Ваня похоронил тут, на Мамаевом кургане, многих своих боевых товарищей. Они лежат в той самой братской могиле, над которой сейчас высится памятник-статуя санитарки в накинутой на плечи плащ-палатке. Она стоит с венком в руках, скорбно опустив непокрытую голову, — пришла проститься со своими однополчанами.

Участники военной игры уже расходились. Петя Гололобов, спускаясь с кургана во главе наших райкомовцев, подошёл ко мне и взял мой чемодан. А Ваня ещё не собирался уходить. Его удерживали воспоминания. Не торопился и Лёша. Ему хотелось посмотреть с Мамаева кургана на Сталинград, когда в городе загорятся огни.

После военного затемнения мы долго не могли нарадоваться освещению города, становившемуся всё ярче и ярче.

— Посидим, Аня, не торопитесь, — сказал Ваня.

Я почувствовала в его голосе просьбу и заколебалась.

Петя поставил мой чемодан и махнул рукой.

— Ну, пусть они тогда и ташат.

— Дотащим! — успокоил его Ваня. — И чемодан и хозяйку, — добавил он, опасливо поглядев на меня.

Лёша долго искал место, где бы нам удобнее расположиться.

— Ребятки, давайте сюда! — кричал он издали.

И Ваня перетаскивал к нему мой чемодан. Лёша уходил дальше и спяť кричал:

— Ребятки, тут ещё лучше!

Наконец было облюбовано место, лучше которого уже нельзя было найти.

Мы расположились возле моего чемодана, и Ваня сразу учуял идущий от него запах сазанов, которых папа наловил, а мама нажарила мне в дорогу. Я открыла чемодан и выложила на крышку большого жареного сазана и недоеденный в дороге пирог. Уничтожая и то и другое, Ваня вспоминал, как здесь, на бугре, в дни обороны, когда давно уже был съеден последний сухарь, он нашёл завалившийся в кармане кусочек сахара, хотел отдать его раненому товарищу, но тот сказал ему: «Ты сам сначала немного пососи», и как он испугался, когда почувствовал, что этот кусочек сахара вдруг растаял у него во рту.

— Эх ты! Как же это так, товарищу ничего не оставил? — воскликнула я.

«Ты» вырвалось у меня сгоряча, но Ваня, конечно, поспешил воспользоваться этим и тотчас же перешёл со мной на «ты».

Много раз вспоминали мы с Ваней свою встречу на Мамаевом кургане, куст, под которым мы сидели, глядя вниз, на сверкающий огнями Сталинград.

Внизу горели квадраты, треугольники и длинные цепочки уличных фонарей, и среди них, как светящиеся червячки, ползали трамваи, белым длинным светом вспыхивали фары автомашин, зарницами сверкали огни электросварки.

И на Волге видны были только огни — белые, красные, зелёные, движущиеся в разных направлениях: одни вдоль, другие поперёк, одни медленно, другие быстро.

Прошло уже несколько лет, и всё ещё как будто вижу перед глазами: далеко во тьме плывут два огонька — белый и красный, плывут один над другим и вдруг почему-то оказываются рядом, и отражения их сливаются в одно. По Волге они плывут или по небу — не поймёшь. Но вот откуда-то пролился свет, и на Волге заблестела полоска. Наверное, это от луны, но луны в небе не видно, и кажется, что Волга светится своим светом. Потухнет и вспыхнет уже в другом месте такой же полоской.

— Глядите, какой смелый огонёк: один и так далеко заплыл, — восхищался Лёша. — Теперь за ним все огни двинутся, — говорил он, показывая за край города, где в бесконечной тьме что-то чуть заметное мерцало, как будто звёздочка тонула и снова всплывала.

После первого знакомства на Мамаевом кургане мы с Ваней долго не встречались. Но Лёша, приходя вечером в школу, громко, на весь класс, объявлял мне:

— Привет тебе от Вани.

Подруги спрашивали меня:

— Что это за Ваня?

Я пожимала плечами.

— Один парень из моторного цеха. Я его почти не знаю.

Однажды Ваня зашёл ко мне в райком, но очень неудачно. Я была в тот день расстроена — подвела одна старшая пионервожатая. Мы должны были слушать её отчёт на бюро райкома, а она поехала в колхоз картошку копать и разболелась там. Кто виноват в этом? И нельзя же всё сваливать на заворотделом, как у нас это принято!

Вопрос подготавливала Люда, она заведовала школьным отделом. Но на бюро, когда оказалось, что пионервожатая не пришла, Петя Гололов, конечно, накинулся на меня. Он всегда так:

— Ты заворотделом, и, значит, за всю повестку бюро отвечаешь ты.

Я стала было оправдываться, но у Пети на лице сразу стали появляться красные пятна — это уж плохой признак, — и кончилось тем, что он стукнул кулаком по столу.

— У тебя даже картошка — объективная причина.

И надо же было Ване как раз в этот момент появиться в райкоме!

— В чём дело? — спросила я его. Не очень-то приветливо.

— Поговорить надо о нашей цеховой комсомольской, — сказал он и будто извинился, что ему приходится заниматься комсомольскими делами: — Партийное поручение.

Конечно, для него это было только поводом. Если уж ему действительно надо было поговорить о комсомольских делах своего цеха, то вовсе не обязательно было идти в райком.

Разговор у нас был короткий.

— А в заводском комитете были? — перебила я Ваню.

— Хотел сначала посоветоваться с тобой, — сказал он.

— Посоветуйтесь сначала в заводском комитете, — сказала я.

Моя неприветливость несколько не смутила Ваню. Он понял, что пришёл ко мне не во-время.

После этого я ещё долго продолжала получать от него приветы, и наконец мы снова встретились.

Эта встреча была более счастливой, с неё по-настоящему началось наше знакомство.

Весело, когда не надо уже больше таскать носилки с кирпичом или глиной по лестнице на верхние этажи и можно наконец взяться за малярную кисть!

Какая ещё работа так радует глаз, как малярная? Особенно если красишь комнату на третьем этаже, в которую, как только просохнет краска, сама будешь перебираться из своего подвального общежития.

Четыре года прошло с тех пор, как Ольга с мужем поселилась в этом доме, в одной половине которого, разваленной бомбой, уцелели только кусок осыпавшейся стены да остатки повисшей в воздухе лестницы, а в другой, разбитой снарядами, единственным годным для жилья помещением была маленькая кухня.

С одного бока и теперь ещё этот дом совсем не был похож на жилой — попрежнему с осыпавшейся стены свисала лестница. Но во второй, менее пострадавшей половине его уже были заселены все квартиры. Там и я оштукатурила себе комнату на третьем этаже.

Из-за этой комнаты мне пришлось остаться на второй год в восьмом классе вечерней школы. Какая уж тут школа, когда после заседания бюро надо было таскать кирпич или месить глину! Не жить же мне было в подвале, если одна девушка за другой перебирались наверх и Люда со своим семейством давно уже перетаскилась в дом Ольги.

У Люды всё ещё не был решён вопрос, останутся ли папаша и мамаша в Сталинграде или вернутся к себе в Одессу, но в данном случае этот вопрос упускался из виду — всё семейство дружно штукатурило себе уже вторую комнату.

Каждый в нашем доме старался для себя, но работали мы общими силами. За бригадира была Ольга, за прораба — Георгий Александрович, которому приходилось осуществлять техническое руководство с маленькой Леночкой на руках. Хорошо ещё, что старшая, Галочка, передвигалась уже самостоятельно.

Вот уже Ольга двух детей тут родила, а дом всё не восстановлен: в одной комнате на окнах уже занавески висят, а в другую ещё таскают кирпич, глину, известьку.

Даже Ольга хваталась руками за голову.

— И когда же этому конец будет!

Скоро уже. Вот я вхожу в свою комнату, и в одной руке у меня ведро с белой, как сметана, краской, а в другой — малярная кисть.

Надо бы сначала побелить стены, но штукатурка ещё не просохла, а хочется, чтобы комната скорее приняла жилой вид, и я тороплюсь покрасить окна, дверь.

Трудно положить краску на узкий переплёт окна ровным слоем и не закапать при этом стекло. Одной рукой красишь, а другой вытираешь тряпкой стекло — потом его не отмоешь, останутся пятнышки.

Дверь в коридор открыта. Кто-то останавливается на пороге.

— Аня, это вы?

Голос Вани, но я продолжаю старательно стирать со стёкол краску, отвечаю, не оглядываясь:

— Я.

— С новосельем? — спрашивает Ваня.

— Ещё рано, — отвечаю я.

Ваня входит.

— Комнатка что надо! — говорит он.

— Восемнадцать метров, — говорю я, попрежнему стоя к нему спиной.

Мы долго разговариваем так, наконец я оборачиваюсь к нему. Меня душит смех, но я спрашиваю с серьёзным видом:

— Ну как, в заводском комитете комсомола были?

— Был.

— Всё в порядке?

— Не совсем. Я должен поговорить с тобой.

В это время густо положенная на переплёт рамы краска начинает сползать на стекло, и я, схватившись за тряпку, говорю Ване, тоже обращаясь к нему на «ты»:

— Вот видишь, какие же тут разговоры!

И тогда Ваня молча снимает пиджак и молча вешает его на единственный в комнате гвоздь, на котором уже висит моя вязаная кофточка.

— Я вижу, что одной тебе тут не управиться, — говорит он и, не спрашивая, согласна ли я на его помощь, берётся за кисть. И мы работаем вместе.

Ваня быстро изучил меня. Мы с ним ещё только познакомились, а он уже знал меня лучше, чем мои старые подруги.

У Ольги свои заботы, дела. Зайдёшь иной раз к ней — настроение отчаянное: вчера целый день подбирала материалы для горкома комсомола и сегодня опять подбирай, обзванивай все комитеты. Когда это кончится?

— Анка, ты? Вот молодчина, что пришла. Ух, и день же у меня был сегодня! Знаешь, как я этих субподрядчиков столкнула лбами с подрядчиками? Всех на чистую воду вывела. Я сейчас тебе расскажу.

В квартире беспорядок: в одной комнате — письменный стол, заваленный книгами, газетами; в другой — по полу разбросаны игрушки, ступить некуда; в кухне всюду немытая посуда, заскорузлые кастрюли. Девочки кричат. Младшей Георгий Александрович пелёнки меняет, старшая тянет его куда-то за пиджак. А раскрасневшаяся у плиты Ольга счастливо сверкает глазами.

— Ух, Анка, и задала же я сегодня этим очковтирателям баню на бюро! Будут помнить меня.

Где уж ей тут до моих жалоб на горком комсомола, которому каждый день срочно подавай какие-нибудь материалы, когда она полна одним — что ей наконец удалось вывести на чистую воду этих очковтирателей из стройтрестов и бюро райкома партии утвердило все её выводы и предложения.

Сколько лет она уже воюет! Была председателем стройкома — воевала, теперь инструктор райкома партии — и всё воюет с кем-нибудь: то с очковтирателями, то с бюрократами.

Такая чуткая к людям, когда она на работе, а вот придёт к ней домой старая подруга, с которой она в одной палатке жила, и Ольге невдомёк, что этой подруге вовсе сейчас не до её подрядчиков и субподрядчиков.

С Людой мы целый день на работе вместе, но у неё в таких случаях всё решается просто:

— Приведи свои нервы в порядок.

Для Люды во всём прежде всего порядок, чтобы всюду было, как у неё в комнате на этажерке, где всё — и книги, и фотокарточки, и белые слоники — стоит строго по ранжиру.

Когда заходишь к ней домой, она не на тебя смотрит, а на твои туфли — не занесла ли на ногах грязь из общего коридора?

В комнате у Люды пол, как зеркало, всё отражает, а у неё самой на лице ничего не прочтёшь.

Что уж тут о своём настроении с ней говорить!

А Ваня, когда мы с ним встречались, сразу угадывал, что у меня на душе. И всегда у нас получалось как-то так, что если у меня на работе произошла какая-нибудь неприятность, то и у него в тот день тоже не было ничего хорошего, и хотя тогда мы оба с ним бывали невесёлые, зато оказывалось, что мысли у нас общие, и от этого становилось легче.

Если у меня было плохое настроение, Ваня никогда сразу не звал меня в кино — пусть даже у него заранее были куплены билеты, — понимал, что мне прежде всего нужно высказать всё, что накопилось у меня на душе. Мы ходили с ним по улицам или по бульвару, пока вдруг не выяснялось, что все мои неприятности — пустяки. Тогда, если у нас оставалось ещё время, Ваня вспоминал про билеты, и мы, повеселевшие, бежали в кино.

Теперь Ваня часто стал заходить к нам в райком. Партбюро цеха поручило ему работу с комсомолом, так что у него всегда был предлог. То вновь принятые в комсомол — почему райком тянет, пора бы уже утвердить, то двухъярусные койки, уцелевшие в каком-то молодёжном общежитии с военного времени, — пора бы распилить, то пионерский лагерь, хотя до лета ещё далеко.

Ваня первое время всегда приходил в райком с Лёшей, говорил: «Втягиваю его в ваш актив», — хотя Лёша и сам отлично знал дорогу в райком, особенно когда набирались вожатые в лагерь или когда готовился большой пионерский костёр и нужно было кому-то поехать за хворостом в заводской лес.

Бывая в моторном цехе, я не могла больше жаловаться, что парторганизация забывает о комсомоле. Теперь, наоборот, когда заходила речь о партийном руководстве комсомолом, всегда ставили в пример моторный цех.

Петя Гололобов говорил:

— В моторном цехе с помощью партийной организации мы добились серьёзных сдвигов. — И поглядывал на меня: — Только не подменяете ли вы там с Ваней секретаря?

Все догадывались, что дело тут не обошлось без моего влияния.

— Из-за тебя старается Ваня.

Когда я говорила, что иду на завод, Люда всегда спрашивала, подняв на меня свои голубые глаза:

— В случае чего, куда тебе звонить? В моторный?

— Глаза, как у ангела, а палец ей в рот не клади — откусит, — говорил о ней Ваня.

Однажды, во время подготовки к нашему традиционному празднику — очередной годовщине завода, — у Пети Гололобова блеснула идея.

— Эх, ракет бы штук двадцать! — сказал он, выйдя из своего кабинета. — Попробуй-ка, Аня, послать кого-нибудь в Красные Казармы. Может быть, дадут для комсомола.

— Съездили бы вот лучше, чем торчать тут без дела, — предложила я Ване и Лёше, которых только так и можно было выпроводить из райкома, дав им какое-нибудь поручение.

Они поехали вдвоём и вернулись поздно вечером, когда Петя уже закрылся в своём кабинете, подводя итоги дня и обдумывая план на завтра.

Это были священные в райкоме минуты. Если в эти минуты кто-нибудь осмеливался зайти в кабинет к Пете, он сердито мотал головой.

— Занят. Закройте дверь.

Какое бы срочное дело ни было — всё равно.

— Могу я хоть одну минутку в день подумать? Надо мне когда-нибудь сосредоточиться?

Он думал всегда с карандашом в руках. Иногда «минутка» растягивалась у него на час, и тогда мы по нескольку раз заглядывали к нему в щёлку двери, ожидая, пока он положит карандаш на стол.

О чём он думал в эти священные минуты, мы обыкновенно узнавали только на другой день, когда он собирал нас на летучку. Но по настроению, с которым Петя выходил из своего кабинета, всегда можно было догадаться, к каким выводам он пришёл, подведя итоги дня. Если выводы были плохими, с ним не стоило разговаривать в тот вечер. Он обрывал на полуслове:

— Завтра разберёмся. — И мрачный уходил из райкома.

А если выводы были хорошие, Петя, выходя из кабинета, показывал на часы и торопил нас:

— Пора, девочки, закругляться.

В хорошем настроении он никогда не уходил после работы один: любил по дороге домой пофилософствовать в компании.

Этот день был удачный, и Петя, выйдя из своего кабинетного заключения, даже свистнул при виде ракет, грудой лежавших на моём столе.

— Ну вот! А ты что говорила? — сказал он мне, подмигнув при этом Ване. — Он тебе и пушку бы достал, если бы ты его попросила.

Когда Петя хотел пофилософствовать, он обычно начинал с шутки.

— Как, Ваня, достал бы пушку, если бы тебя Аня попросила? — воспользовалась случаем Люда.

— Без шуток? — спросил Ваня.

Петя захохотал.

— Какие могут быть шутки, когда речь идёт об Аней!

И он стал философствовать о единстве и противоположностях наших характеров, о том, как в дружном коллективе один характер дополняет другой.

— Как, например, мы с Аней, — сказал вдруг молча стоявший рядом со мной Ваня и положил руку на моё плечо.

Все посмотрели на нас.

— Товарищи, а когда же свадьба? — воскликнул Петя.

Бывали такие случаи: в райком прибегает девушка-комсомолка из нашего актива.

— Петя, по личному вопросу к тебе.

Петя сразу догадывается, что это за вопрос.

— Замуж собираешься? — спрашивает он.

— Ох, Петя, и сама не знаю. Посоветуй, что делать. — Петя встаёт из-за стола и прикрывает дверь. — Ну, чего сомневаешься?

— Да понимаешь, Петя, боюсь, что неровня он мне: у меня всего семь классов, а он до войны девять окончил, а потом ещё военное училище.

— Парень-то хороший? Давно его знаешь?

— В воскресенье познакомились.

— Чего ж ты так торопишься? Это не серьёзно. Надо подумать.

— Вот я и думаю, два дня уже. Страшно: семь классов, а у нас, сам знаешь, сколько девушек с десятью классами. Найдёт себе ровню и бросит меня.

Петя начинает быстро шагать по кабинету — обдумывает, как бы поделикатнее решить этот вопрос.

— А почему бы тебе не поступить в школу рабочей молодёжи? — спрашивает он. — За два года догонишь.

— Что ты, Петя! Разве он будет ждать два года? Найдёт себе ровню раньше.

Петя шагает по кабинету всё быстрее и быстрее: вопрос, оказывается, сложный.

— Ну что ж ты посоветуешь?

— Знаешь что, — решительно говорит Петя, — всё-таки я советую тебе прежде хотя бы восьмой класс окончить. Подумай. Нельзя же так: в воскресенье познакомились, а в среду — свадьба.

Девушка обещает подумать, а на другой день звонит по телефону:

— Петя, придёшь на свадьбу?

У нас с Ваней было наоборот. Он торопил, а я говорила:

— Дай мне хоть восьмой класс окончить.

Он махал рукой:

— Когда это будет!

На другой день Ваня приходил вечером в райком, сидел у моего стола и спрашивал:

— Это ты так кончаешь восьмой класс? Почему сегодня опять в школу не пошла?

— Какая тут школа, когда завтра пленум!

— Вчера бюро, завтра пленум, послезавтра конференция — это же вечная карусель.

Я сама приходила в отчаяние: Люда уже заочница второго курса пединститута, а я второй год начинаю восьмой класс, и всё конца ему не видно. Как тут учиться, когда надо идти в школу, а Петя Гололобов вдруг вспоминает:

— Да, завтра я ведь докладываю на горкоме!.. К утру чтобы мне материал был готов.

Люда спокойно отвечает:

— У меня сессия, завтра экзамен.

Она же в институте учится, а мне просто неудобно напоминать, что я ещё в восьмой класс хожу. Всё-таки заворготделом райкома комсомола!

Иной раз приходишь в отчаяние и злишься на себя и на всех, а иной раз кажется: ничего тебе на свете больше не надо — подольше бы только всё было так, как сейчас.

На трибуне под памятником гремит оркестр, лучи прожекторов разрезают площадь, по краям её мечутся во тьме дымные огни факелов, взлетают к звёздам ракеты.

Под тысячами ног шуршит асфальт, а кажется, что это музыка. В лучах прожекторов мелькают раскрасневшиеся лица, цветные береты, козынки, пёстрые кепки, яркие галстуки, и это тоже будто музыка.

Щёки пылают, а дышится вольно. Музыка несёт тебя по площади, кружит голову. Чувствуешь только музыку и руку Вани.

До чего же хорошо кружиться в вальсе на горьдской площади, когда над тобой огромное звёздное небо!

В первые послевоенные годы мы часто танцевали под открытым небом при свете прожекторов и факелов. На площади происходило всё — и митинги, и балы, и пионерские костры. Эх, и красиво же было, когда по вымоченным в керосине верёвкам промчится огонь и над большим костром, выложенным звездой посреди площади, загорится в воздухе такая же пятиконечная звезда!

Когда мы с Ваней спорим, последнее слово всегда остаётся за мной. Но Ваня уступает только на словах, на деле всегда выходит так, как он хочет.

Я доказывала ему, что нам нечего торопиться со свадьбой, и он как будто в конце концов согласился обождать, пока я кончу восьмой класс, только спрашивал:

— Почему именно восьмой? Может быть, девятый или десятый?

— Нет, только восьмой, — говорила я.

Мне почему-то казалось, что всё дело в восьмом классе, в котором я застряла на второй год, а дальше уже легче будет.

Проходили дни. Ваня молчал. Зато райкомовцы всё чаще спрашивали меня:

— Ну, когда же наконец свадьба?

— Со свадьбой не горит, — говорила я.

— В чём дело? — улыбаясь, спрашивала Люда. — Комната же у тебя есть.

— При чём тут комната! — возмущалась я.

И вот однажды прихожу я в райком на работу и вижу, что у всех на столах — букеты цветов и что все одеты по-праздничному.

— Что такое? По какому это случаю?

— А ты не знаешь? — спрашивает Люда.

— Не знаю.

— По случаю твоей свадьбы, — говорит Люда.

— Нет, правда?

— Правда, — по случаю твоей свадьбы, — повторяет Люда.

Она и разговаривать со мной не желает! Иди, мол, к Пете, он тебе всё объяснит, если ты сама не понимаешь.

Захожу в кабинет Пети. И он в праздничном костюме. И у него на столе букет.

— Петя, что сегодня у нас за праздник? Я решительно ничего не понимаю.

Петя встаёт и удивлённо смотрит на меня.

— То есть как это не понимаешь? Это я тебя не понимаю.

Вбегает запыхавшаяся Ольга. На ней синее шёлковое платье, модельные туфли вместо сапог, которые она предпочитает всякой обуви. Букет красных астр.

— Ты это слышишь? — кричит ей Петя и показывает на меня. — Она решительно ничего не понимает.

Ольга грозно надвигается на меня со своим огромным букетом.

— Чего ты не понимаешь?

— Ничего не понимаю, — повторяю я.

— Да ты что — спятила? — кричит Ольга. — А гусь?

— Какой гусь?

— Такой, какого ты в жизни ещё не видела! Я уже зажирила его на твою свадьбу.

В дверях появляется Люда.

— Товарищи, внимание — жених идёт! — И в кабинет нашего первого секретаря торжественно входит Ваня. Он в новом бостоновом костюме, в котором я его ещё не видела.

Теперь я начинаю понимать — это он всё организовал!

— Ну, знаешь, — говорю я, — такими методами...

— Нечего тебе его прорабатывать — методы правильные, — обрывает меня Ольга. — Должен комсомол взять в свои руки свадебную кампанию или нет? Как по-твоему?

— Да, Аня, пора решительно покончить в этом деле с самотёком. — говорит Петя.

Он произносит целую речь о вреде самотёка.

— Видишь, я тут ни при чём, — оправдывается Ваня. — Комсомол взял дело в свои руки.

— В общем, Аня, беги скорее домой и переодевайся, — велит Петя. — Не в этом же сереньком платье ты пойдёшь регистрироваться?

— Это что — решение бюро? — спрашиваю я.

— Считай, что записано, — говорит Петя. — И согласишься с тем, что, хотя на этот раз в подготовке вопроса заворготделом не принимал участия, вопрос подготовлен отлично.

Мне пришлось согласиться с этим.

Нам с Ваней повезло — попали в свадебную кампанию, которая у нас проводилась после одной газетной статьи, критиковавшей комсомол за то, что он иногда забывает свои хорошие традиции.

Помещение загса было уставлено горшочками с цветами, как оранжея. Когда мы пришли на регистрацию целой процессией во главе с Петей Гололобовым, нас уже поджидал здесь старичок-фотограф с громоздким аппаратом на треножнике. Он долго командовал нами, передвигал меня и Ваню с места на место и группировал вокруг нас представителей организаций, которых Петя привлёк к участию в нашей свадьбе.

При поздравлении нам вручали подарки.

Запоздавший представитель промкооперации прибежал запыхавшийся, с пузатым, как самовар, умывальником в обнимку.

Это был не кто иной, как сам Сеня.

Бывший Сеня из постройкома! Давно уже не видно было его. Пошумел в своё время и исчез, как в воду канул. И вдруг снова вынырнул, и в той же кепке-пуговке, в той же спортивной курточке с множеством молний.

Всё тот же неизменный, неунывающий Сеня, только как будто немного усох, потёрся, помялся.

Бедный Сеня — при его размахе и попасть в промкооперацию!

Вручая нам умывальник от имени артели «Всеобщий труд», объединяющей сапожников, жестянщиков, химиков, мебельщиков и фотографов, Сеня извинился за скромный подарок:

— Было время, когда я, как вам известно, мог организовать даже роуаль, а теперь вот всего лишь — умывальник! Масштабы уже не те, сами понимаете — промкооперация.

Масштабы у Сени сузились, но поприще деятельности осталось то же — вечный организатор культмассовой работы и спорта!

А мы-то думали: где Сеня, куда он пропал, почему его больше не слышно и не видно на нашем горизонте?

Петя Гололобов, конечно, воспользовался случаем для широких обобщений. Когда мы собрались вечером за свадебным столом, на котором всеобщее внимание привлекало блюдо с гусем, первым послевоенным гусем, — Петя произнёс большую речь.

Он начал с теоретических рассуждений о масштабах и темпах нашей жизни — как всё быстро течёт и изменяется и как масштабы деятельности у одних непрерывно растут, а у других, наоборот, сужаются. От теории он, как всегда, неожиданно перешёл к практике и закончил свою речь обращением ко мне, которое было покрыто шумными аплодисментами.

— Не так уж важно, когда окончен восьмой класс, до свадьбы или после свадьбы, важно, чтобы он был окончен в этом году и чтобы восьмой класс не был последним. — И, обращаясь к Ване, предупредил его: — Ответственность возлагаем на тебя.

Ване пришлось выступить с ответной речью. Он начал было заверять, что с его помощью я успешно окончу восьмой класс, но я возмутилась и напомнила ему, что у него самого ещё только семь классов, и Ваня под общий смех вынужден был сознаться, что о себе-то он и не подумал.

Я тоже поднялась, чтобы ответить Пете, но все запротестовали: о чём тут говорить, когда на столе остывает гусь!

— Ух, девочки, вспоминаю своё времечко, — с гордостью сказала Ольга, приступая к гусю с огромным ножом в руке.

Она вспоминала время своей свадьбы, которую мы справляли в полутёмной кухоньке этого же дома, когда на столе вместо блюда с гусем стояла тарелка с редиской, политой постным маслом. Нелегко тогда было добраться до этой кухоньки по разбитой лестнице: карабкались, как в гору по камням, забирались, как в пещеру.

А теперь эта пещера стала самой обыкновенной кухней самой обыкновенной двухкомнатной квартиры.

— И всё вот этими собственными руками! — радовалась Ольга.

Хорошо, когда вот так всё своими руками — и счастье и дом вместе со всем городом построены после тяжёлой войны.

Нельзя было не вспомнить о том, как мы начинали жизнь на развалинах Сталинграда!

Георгий Александрович с младшей на коленях — теперь его иначе никогда не увидишь за столом — предложил тост:

— За девушек, с которыми мы восстанавливали водопровод!

Это время было особенно памятно мне.

Потом Георгий Александрович, взявший инициативу в свои руки, провозглашал тосты строго по графику очередности восстановительных работ военного времени:

— За баню! За хлебозавод! За первую аптеку! За первый продмаг! Столько воспоминаний!

Георгий Александрович увлёкся — тостам не видно было конца. Но Люда запротестовала, стала отодвигать стаканы от своего захмелевшего папаша.

Тот вздохнул:

— И долго ли ещё нам с тобой, Галечка, терпеть?

Галина Петровна давно уже притихла, во всём подчинившись дочери, а отец иногда ещё пытался бунтовать.

— Пусть она тут командует у себя в комсомоле, а ты, Галя, собирайся, и завтра же едем в Одессу.

Сколько уже раз мы слышали это! Сначала он говорил: «завтра же», а потом угрозы его стали менее решительными и определёнными:

— Только вот Люда выйдет замуж...

— С её-то характером и замуж — век не дождётесь! — уверяла Ольга. — Разве какой-нибудь отчаянный дважды Герой найдётся, и то, пожалуй, не осмелится, отступит... Ну и характер! — возмущалась она.

Все за столом заговорили о Люде: что за человек — по два раза в день кофточку гладит, причёску ей парикмахер делает, а для кого всё это, когда она даже в кино только с подругами ходит!

Один Петя встал на защиту Люды. Он часто говорил:

— Люда самим богом создана для украшения райкома комсомола, бюро, пленумов и конференций. Ею можно любоваться только издали.

— Конечно, трогать руками строго воспрещается, — подтверждала сама Люда.

Всегда вот так. Говори о ней, что угодно, и она будет слушать, как будто речь идёт о другом человеке. Какой бы разговор о ней ни зашёл, Люда всегда как-нибудь сведёт его на шутку.

И Ольга, только что возмущавшаяся ею, уже восхищается:

— Непробиваемый характер!

У Ольги это обычно: или она возмущается, или восхищается.

Из окна комнаты, в которой я уже несколько лет живу с Ваней, по ночным огням видно, как быстро растёт поднявшийся из развалин Сталинград.

Вчера ещё среди перекрещивающихся линий фонарей и движущихся между ними огней автомашин, трамваев темнело большое пятно пустыря. А сегодня на нём уже вспыхнули первые звёздочки начавшейся стройки. Проходит немного времени — и бывшего пустыря уже не видно под густой сеткой огней.

Всё дальше и дальше расходятся огни Сталинграда. Вот они уже перешагнули Волгу, её острова, и над недавно ещё беспросветно тёмным левым луговым берегом уже мерцает зарево строительства гидростанции.

— Смотри, куда шагнул огонь, — показала я как-то Ване на одинокий огонёк, загоревшийся на том берегу, далеко-далеко за Волгой.

Огонёк ли это стройки, вырвавшийся вперёд, или звезда, упавшая с неба?

А через несколько дней Ваня показал мне туда же, и уже было похоже, что там выпал на землю крупный звёздный дождь.

И на Волге всё больше огней и всё больше перекликается паровозных гудков. Днём их не слышно — заглушают тарактение и потрескивание проезжающих мимо машин, лязг сгружаемого с самосвалов железа, стук гальки, которую сбрасывают на пути с железнодорожных платформ, гремящая на улице радиомызыка. А ночью, когда город затихнет, волжские гудки доносятся к нашему окну.

У каждого гудка свой голос, как у человека. Один жалобно взвизгнет, а другой ответит ему протяжно-завывно.

Всю ночь не умолкает на Волге разговор теплоходов, буксиров, самоходных барж. Каких только голосов не услышишь — и далёких, и совсем близких, и сердитых, и весёлых!

Наше окно выходит прямо на Волгу. Встанешь утром, подойдёшь к окну... Сколько воздуха и воды, такой же светлой, как воздух!

Солнечным тихим утром Волгу не сразу отличишь от неба. Идёт теплоход, такой сверкающе-белый, как будто он только что вынырнул из воды. За ним мерцает длинный хвост.

Там тихо отвалил от причала чёрный, словно вымазанный сажей, буксир. Там торпедой несётся, гордо задрав нос, бойкая моторка. От одного берега ползёт старенький речной трамвайчик, распуская чёрные космы дыма, а от другого, буруня воду, мчит его новенький, белоснежный и бездымный, собрат.

Бывает так, когда кажется, что в жизни всё сразу изменилось.

Так было в то воскресное утро после свадьбы.

Проснувшись, я бодро вскочила с постели. Хорошо после сна постоять перед открытым окном, когда свежий воздух обдувает тебя и внизу рябистая поверхность Волги мерцает множеством зеркал.

Но надо было скорее привести в порядок комнату. На столе лежал ворох цветов. Многие были помяты, многие завяли. Их пришлось выбросить. Остальные поставила в банки с водой.

Посреди комнаты стоял чемодан, который Ваня перетасил ко мне накануне вечером из своего общежития. Обследовав чемодан, я принялась рассортировывать содержимое его по полкам и вешалкам своего шкафа. Моим вещам пришлось немного потесниться.

Многое я успела сделать — даже повесила новый пузатый умывальник, а Ваня всё ещё спал.

Олевшись, я села к окну и стала составлять расписание на все дни недели.

Составлялись уже такие расписания, висели на стене и только раздра-

жали своим видом, напоминая о том, что обстоятельства чаще всего оказываются сильнее меня. Но ведь теперь я не одна. Вдвоём с Ваней мы должны быть сильнее всяких обстоятельств!

Ваня не верит в такие расписания, у него и без них всё получается так, как надо, но, когда он проснулся, расписание уже было составлено и повешено на стене у кровати. Ване оставалось только поставить на нём свою подпись рядом с моей. Я заставила его сделать это прежде, чем он успел протереть глаза от сна.

Цель была ясна: я оканчиваю восьмой класс, а Ваня — курсы мастеров. Но Ваня понял расписание по-своему.

— Это мне нравится: завтрак... обед... ужин — в общем, порядок, — говорил он.

И каждое утро подгонял меня, показывая на расписание:

— Аня, пошевеливайся — завтраку пора быть на столе.

Вечером, придя домой, если я уже была дома, он прежде всего спрашивал:

— Не опоздал на ужин?

А если я приходила позже, Ваня, встречая меня, предупреждал:

— Имей в виду, что до ужина осталось всего... — и показывал на часы, — пять минут.

А когда я начинала злиться, он говорил:

— Зачем тогда расписание висит на стене?

Кончилось тем, что я сорвала эту бумажку. Разодранное на мелкие клочки, расписание разлетелось по комнате.

Однако поставленная мною цель была достигнута.

Каждый день после окончания смены, в которой работал Ваня, мы встречались с ним в столовой фабрики-кухни. Ваня приходил первый, заказывал обед на двоих, и мне нельзя было опаздывать.

В райкоме все знали, что Ваня ждёт меня в столовой, и следили, чтобы я не задерживалась на работе.

— А то Ваня уже жаловался, что суп у него остывает.

Пообедав, Ваня шёл на свои курсы мастеров. Что ему было делать больше? Не скучать же дома одному? И я, хотя в райкоме у меня всегда был завал разных дел, шла в вечернюю школу. Пусть Петя сам готовит материал для своего очередного доклада на пленуме горкома или на бюро обкома, а я должна кончать восьмой класс — не отставать же мне от Вани!

В нашем районе уже редко встречаешь девушек, с которыми мы приехали в Сталинград на одном теплоходе, — затерялись в разросшемся городе.

Где эта маленькая толстушка, которой всегда было жарко и всегда весело, будто она только и делала, что танцевала?

Когда-то она работала в нашей штукатурной бригаде и всё говорила:

— А всё-таки, девочки, каменщицей быть куда интереснее.

Ольга сманила её к себе, но и каменщицей она пробыла недолго — бетонные работы показались ещё интереснее. Ох, и жадная на работу была девушка! Всюду ей хотелось поработать, глаза разбегались — не знала, куда кинуться: кругом стройка, везде нужны люди.

Побыла бетонщицей, и её потянуло на арматурные работы. Куда девалась потом, не знаю — пропала из виду.

И вдруг прибегает в райком и, как всегда, обмахивает руками разгорячённое лицо.

— Ох, жарко! Дайте, девочки, веер!

Она окончила курсы шофёров и умчалась на трассу Волго-Дона, позабыв, что надо сняться с учёта.

— Скорее, скорее, Аня, тороплюсь обратно на трассу.

Все просят; скорее, скорее — они же едут на Волго-Дон, их нельзя задерживать!

Уезжали девушки, которые когда-то, расчищая от мусора развалины, жили в нашем палаточном городке.

— До свидания, Аня!

— До свидания, девочки!

Каждый день с кем-нибудь прощаешься, кого-нибудь снимаешь с учёта.

А какие удивительные бывали встречи.

Однажды в воскресенье мы выбрались с Ваней в Бакалду — можно же и нам когда-нибудь поваляться на горячем волжском песочке.

День стоял жаркий. Желающих попасть в Бакалду были тысячи, и речные трамвайчики неумоимо трудились, перебрасывая сталинградцев из города в завожский парк.

Хорошо тут и на пляже, где можно укрыться от ветра за песчаным бугорком, в песчаной ямке, хорошо и на траве под деревьями, где у самой воды прохладная тень.

Плохо было только, что весенняя вода ещё не спала и в воздухе было полно мошкеры.

Долго сновали мы по парку, перебираясь с одного места на другое. Перепробовали все тенистые лужайки, все солнечные бугорки и ямки. Проклятая мошкара преследовала всюду, но почему-то только меня. Ваню она не трогала ни в тени, ни на солнце. Ваня смеялся надо мной:

— А ты не махай так сердито полотенцем, не раздражай её.

В отместку я оставила его сторожить одежду, ушла купаться одна и заплыла далеко от берега.

Ваня кричит, машет рукой, велит мне возвращаться назад, а я заплываю всё дальше и дальше.

Впереди, на сверкающих волнах, мелькает что-то красное, словно огонёк вдруг загоревшегося днём бакена, и он манит меня к себе.

Нет, это не огонёк, а чья-то голова, повязанная красным платочком, кончики которого торчат впереди, как рожки. Человек плывёт на спине, высоко взмахивая руками. Он плывёт навстречу, прямо на меня. Поравнявшись со мной, поворачивается ко мне лицом — Володя! Но как далека я была от того, чтобы поверить этому.

Он проплыл мимо и вернулся. С минуту мы плыли рядом, глядя друг на друга. Щёлочки его прищуренных от солнца глаз становились всё шире и светлее, брови подымались всё выше. Больше нельзя было сомневаться, и я уже не про себя, а вслух вскрикнула:

— Володя!

— Здравствуйте, Аня, — сказал он.

Володя делал вид, что встреча со мной несколько не удивляет его. Он уже несколько месяцев работает на Волго-Доне и не первый раз приезжает сюда из Красноармейска на моторке. Вот она, эта моторка, — мчит от берега, товарищам, наверное, надоело ждать его.

— Наоборот, — говорил он, — надо удивляться, что мы только сегодня увиделись с вами с тех пор, как расстались много лет назад.

Будто и не было этих лет! Будто и не уезжал он на Днепрострой!

— Аня, а вы всё такая же? — спросил меня Володя.

Я засмеялась:

— Что вы! Муж говорит, что я стала гораздо лучше. А вы вот, кажется, всё такой же мальчишка.

— Неужели? А мне все говорят, что я очень изменился с тех пор, как стал отцом семейства. — И Володя зашлёпал руками по воде, очень довольный тем, что не остался в долгу.

Недолго продолжался наш разговор, происходивший в такой необычной обстановке. Подкатила моторка с шумной компанией речников, и Володя, ухватившись за её борт, помахал мне свободной рукой:

— До следующей встречи! Жду вас на первом шлюзе.

Ваня окончил курсы мастеров и был уже старшим мастером. А я перешла в девятый класс вечерней школы и попрежнему работала заворготделом райкома комсомола.

Трудно, много волнений и беспокойств, но зато чувствуешь, как шагает жизнь; только составишь райкомовский план, а Петя Гололобов уже требует, чтобы я перестраивала его заново.

На райкомовских легучках, которые проводились у нас регулярно по утрам, Петя поучал:

— На каждом этапе, девушки, нужно видеть главное.— И при этом добавлял: — Не распыляйтесь на мелочи, вытягивайте то, что сегодня главное.

И часто он говорил ещё:

— Не бойтесь, девушки, крутых поворотов на пути к коммунизму.

Он любил такого рода философские формулировки.

Немало этапов и поворотов было в нашей работе. Когда-то главным мы считали закрепление кадров, политмассовую работу в общежитиях, потом — техучёбу. Одни лозунги сменялись другими. То, что сегодня было главным, завтра отходило на последний план. Новые задачи оттесняли старые. И вот на повестку дня встают вдруг такие вопросы, как выбор лесных пород: что лучше — дуб, клён, ясень, каштан или белая акация? Комсомол района закладывает свой питомник, принимает шефство над лесными полосами.

Сегодня в райкоме занятие на тему: посадка деревьев и уход за ними.

— Аня, а ты договорилась с лектором? Точно?.. Аня, а машина послана? Точно?.. А где же плакаты, Аня?

Завтра — массовый выезд всего комсомола города в заволжские леса для сбора семян. Тысячные колонны подходят со всех районов города к речному порту.

— Аня, когда наша очередь посадки на пароход?.. Аня, а как насчёт мешков для желудей?

Аня, Аня, Аня — я должна отвечать за всё: и за лектора, и за мешки, и за пароход, и за жёлуди.

— Есть ли что-нибудь такое на свете, за что бы не приходилось отвечать заворготделом райкома комсомола? — спрашивала я Петю Гололобова.

— На данном этапе нет и не может быть,— говорил он.

Петя всегда говорил категорически. Не в его натуре было в чём-либо сомневаться.

— А какое же звено в моей работе главное? — спрашивала я.

— Главное для тебя должно быть то звено, которое посадит больше всех деревьев,— отвечал он.

Больше всех посадило звено Лёши.

С первой машиной ранней весной выехал Лёша в Дубовку, на лесную полосу. Вернулся последним — загорелый, счастливый.

Осень — и он опять на полосе до заморозков. И зимой ездил один с попутной машиной — посмотреть, как зимуют его саженцы.

Во время войны Лёшу часто фотографировали возле отремонтированных им танков с надписью на башне: «Ответ Сталинграда». Теперь он вытягивался перед фоторепортёрами у дубов, с которых собирал жёлуди, в питомнике у выращенных им сеянцев, на лесной полосе у своих сажен-

цев. И снова давал интервью корреспондентам, беседовал с писателями, которые разыскивали его на машинах.

На этом этапе, когда главным у нас было выращивание деревьев, неожиданно вдруг всплыло одно шумное дело.

Был когда-то в лёшиной бригаде на ремонте танков такой смешной паренёк, носивший кепку козырьком назад и неотступно ходивший всюду за своим бригадиром-голубятником, по локоть заложив руки в карманы комбинезона, который обвисал на нём, как пустой мешок. На собраниях он вынимал руки из карманов, только чтобы похлопать своему бригадиру. Когда Лёша выступал, этот паренёк смотрел на него, как влюблённая девушка, а потом бешено хлопал. Звали его Игорьком. В конце войны он вернулся в школу. Теперь Игорь уже кончал её.

В школе произошёл скандал — десятиклассники выгнали с урока учительницу. Пришлось поставить отчёт Игоря на бюро райкома. Он был комсоргом класса.

— Как это вы докатились до такой жизни? — мрачно спрашивает его Петя.

— Это был стихийный взрыв, — отвечает Игорь.

На лице Пети появляются багровые пятна. Какая может быть стихия, если есть комсомольская организация!

— Комсомольцы тоже живые люди, — отвечает Игорь.

Он произносит горячую речь — как их смеют упрекать в том, что у них уже бороды повзростали! Что они — гуляли во время войны? Они зимой спали у костров, а танки выпускали. Всю войну проработали, потому и с бородами сейчас ходят в школу.

Петя стучит кулаком по столу:

— Какие бороды? При чём тут бороды?

Он смотрит на Люду — она подготавливала вопрос.

— Бороды только повод, — говорит Люда.

Она докладывает бюро свои выводы: комсомола в классе не чувствуется, в классе верховодят хулиганы. Игорь забросил комсомольскую работу, близится экзамен на аттестат зрелости, а у него одна мечта — ему нужна золотая медаль.

Вопрос оказался сложным. Разговор о бородах продолжался ещё долго и после бюро, на котором Игорю был записан выговор.

— Вот тебе и хулиганы! Вот тебе и медали! И не хулиганы и не медали, а просто бороды повзростали, а мы этого не заметили. — Нервно шагая по своему заставленному опустевшими стульями кабинету, Петя подводил итоги бюро. — Время-то, время — как оно летит! Оглянуться не успеешь, как у тебя уже борода выросла... И ты ещё говоришь, что бороды — повод! — распекал он Люду. — Не повод, а самое существо вопроса.

— А всё-таки выговор мы записали Игорю не за бороду, — сказала Люда, и она напомнила Пете записанную в протокол формулировку.

Петя зло покосился на неё.

— Формулировка! — И ещё быстрее зашагал по кабинету.

Я не понимала — что такое произошло с ним? Только что на бюро сам стучал кулаком на Игоря, сам же голосовал за выговор! И почему вдруг Петю разозлило такое обычное для него слово, как «формулировка»?

Он в чём-то сомневается и сомневается после того, как решение принято и записано в протокол.

— Ты что, не удовлетворён формулировкой? — спросила его Люда.

— Формулировка! Формулировка! — вскипел Петя. — Повернись от формулировки к человеку.

Люда посмотрела на него и рассмеялась.

— Если поворачиваться к человеку, то прежде всего надо повернуться к тебе. Не пристало секретарю райкома комсомола ходить с бородой. Петя часто забывал побриться.

— Чёрт с ней, с бородой! — выругался он. — Учиться некогда, книжки год уже в руках не держал — вот что главное. — И стал жаловаться на свою перегрузку. — Секретарь райкома, член бюро горкома, член пленума обкома — это по комсомольской линии, теперь по партийной — член бюро райкома, член пленума горкома, — перечислял он по пальцам свои выборные посты. — Где уж тут учиться, когда с одного заседания на другое успеваешь только в начале месяца, пока не израсходован лимит на горячее.

Вечное наше горе: есть своя райкомовская машина, а топчешься в очередях на автобус — Петя за три дня, носясь по заседаниям, спалит весь месячный лимит. Расстояния у нас в Сталинграде такие, что с одного заседания до другого — двадцать километров.

Попробовали бы вы пройти с Петей по улице в тот час, когда из проходной завода идут рабочие дневной смены. Только выйдешь из райкома, как его уже окликают:

— Петя, не торопиться?

Какая разница, торопится Петя или не торопится, — всё равно никто не пройдёт мимо. Заговорит один, догонит другой, третий, и вокруг Пети уже толпа.

Девушка из чугунолитейного ещё трёх месяцев не работает на формовке стержней, а жалуется, что у неё нет условий для роста...

— Слышишь? — обращается Петя к парню из моторного. — А ты пятый год на одном станке работаешь, и тебя никак не могут уговорить перейти в наладчики.

Парень пожимает плечами:

— Не к чему мне это!

— Ответственности боишься, расти не хочешь! — гремит Петя. — Дачку, поди, задумал строить, а?

— Зачем ему дачка! — говорит другой. — Батка его уже построил и вчера с соседом подрался из-за куста крыжовника. Оба в ополчении воевали, в одной роте были, а теперь дачками обзавелись и никак участки не могут поделить. Ну, как с такими коммунизм строить?

— Ничего, построим, — обещает Петя.

— Построим-то построим, только я раньше с женой разведусь, — вступает в разговор третий. — Что мне, одному ребёнка нянчить, если она до ночи корреспондентам интервью даёт и с иностранными делегатами фотографируется. Где уж тут ей до ребёнка! Она знатная стахановка, ею все интересуются, а мне что делать, Петя, если я учиться хочу?

Что тут ответить? Хорошо решать вопросы на заседании бюро, когда они заранее подготовлены и проекты решений по ним уже написаны, совсем другое — в жизни. Всё труднее и труднее было Пете — сложные вопросы ставила перед нами жизнь.

Прошло время, когда мы танцевали на площади при свете прожекторов и факелов. Площадь давно уже в кольце фонарей, посреди неё — цветник, фонтанчики. Жизнь вошла в свои постоянные берега — работа, учёба, семья. А Петя Гололобов всё ещё жил попрежнему.

В комнате его ничего не изменилось с военного времени. Голые стены, стол, покрытый пожелтевшей газетой, с потолка на длинном шнуре свешивается голая, без абажура, лампочка, таз под умывальником, всегда полный воды и окурков, две железные койки, распиленные из одной двухъярусной, — койка Пети и койка его младшего брата, жившего после смерти матери на петинном попечении.

Петя давно уже жаловался нам на своего братца — с утра до вечера гоняет мяч, не хочет учиться, бросил школу, попал в какую-то сволочную компанию, домой не является по нескольку дней.

А потом Лёша, у которого на каждой улице были приятели с пионерскими галстуками, — они часто собирались у него на Мечётке по каким-то своим делам — стал приносить нам всё более тревожные вести о петинном брате: на базаре продавал барахло, подрался с ребятами пьяный, ребята отобрали у него финку.

— Ну, что мне с ним делать! — вздыхал Петя. — Одна надежда на армию — там-то уж его возьмут в руки.

— А у тебя нет рук? — спрашивала его Люда.

— До брата не доходят, — сознался наконец Петя.

После этого Люда не упускала случая, чтобы сказать:

— Что вы хотите от Пети, когда у него даже до родного брата не доходят руки.

Однажды, когда Петя уже через милицию разыскивал своего пропадавшего где-то брата, Лёша позвонил ему в райком:

— Приходи вечером к развалинам старой школы. Моя разведка донесла, что твой оголец там скрывается.

Это были те самые развалины, в которых нас когда-то напугали совы. С тех пор прошли годы. Уличные фонари, появившиеся у нас в Сталинграде гораздо раньше, чем появились сами улицы, заставили сов убраться подальше от города, но развалины старой школы сохранились в прежнем виде.

Когда-то вокруг них был изрытый бомбами, заваленный хламом пустырь, а теперь идёшь по широкому тротуару — и наискосок отсюда новый кинотеатр с колоннами. Тротуар ярко освещён, а шагнёшь с него — и сразу попадаешь в мрачное окружение разбитых стен с пустыми проёмами окон и дверей. Наверху — железные балки, под ногами — каменные четырёхугольные ямы, из которых даже в самые жаркие дни веет затхлой сыростью.

Когда мы в тот вечер во главе с Петей подошли к развалинам старой школы, нас там поджидал уже Лёша с кучей своих приятелей-пионеров.

Чем меньше остаётся у нас руин с их заплесневевшими каменными колодцами-подвалами, подземными переходами и лазами военного времени — тогда тут, под землёй, протекала вся жизнь в городе, — тем больше они влекут к себе ребят.

До чего же разгорается у них тут воображение! Едва Лёша скомандовал своим приятелям: «Ну, ребятки, вперёд!» — как у всех у них оказались в руках электрические фонарики.

Фонарики им нужны были вовсе не для того, чтобы светить себе под ноги. Толпой кинувшись в руины, они выставили их вперёд, как пистолеты. Лучи света стреляли в тьму, гасли и снова стреляли в разных направлениях.

Видно было, что ребята не впервые уже штурмуют эти мрачные развалины. Они знали здесь все ходы и выходы, из одного лаза, не осматриваясь, ныряли в другой, пока наконец не вывели нас в какую-то большую подземную пещеру; у входа в неё ребята остановились и с криком: «Руки вверх!» открыли беглый огонь из своих фонариков.

— Здесь? — спросил Петя.

— Здесь! Здесь! Вон они! — закричали наши проводники.

Петя вырвал у одного из них фонарик и быстро вошёл в пещеру.

Мы двинулись следом за ним и увидели взлохмаченные головы и злые глаза обитателей этого подземелья. Расположившись кружком, одни сидели, другие лежали на грудах тряпья — точь-в-точь беспризорники из

старых фильмов. Были тут и карты, и куча смятых денег, и несколько винных бутылок, в одной из них — свеча, вероятно только что перед нашим приходом потушенная.

Но, в отличие от прежних беспризорников, эти жители развалин одеты были не в лохмотья, а в приличные, хотя и очень помятые костюмы. На некоторых были яркие галстуки.

— Что это у вас тут за кинофильм? — спросил Петя.

Он медленно обводил всех фонариком, приглядывался к каждому. Одни, знакомые ребята — комсомольцы, опускали головы, другие смотрели на него с усмешкой.

— А ну, подымайся! — крикнул он вдруг отчаянным голосом, увидев в этой компании своего брата.

Наконец-то у Пети дошли до него руки. Ох, и излупил же он его здесь на наших глазах!

Далеко уже то время, когда я работала в райкоме комсомола под руководством Пети Гололобова.

Теперь мы редко встречаемся с ним. На таких гигантских заводах, как наш, если работаешь в разных цехах, можно годами не видеть друг друга.

Петя ушёл на производство по собственному желанию, так же как я, но всё-таки он чувствовал себя обиженным. Ещё бы! Несколько лет наш райком считался ведущим — инициатива всегда была за нами, и вдруг, как гром в ясном небе, — осуждение нашего отчёта на пленуме горкома и вывод: погрязли в текучке, отстали от жизни, не замечаете нового, не учитесь.

Бывают же такие повороты!

И Петя, говоривший нам, что не надо бояться крутых поворотов, на этом повороте переругался со всеми — и в горкоме и в обкоме.

Я тоже погорячилась. Только одна Люда сохранила спокойствие, и только она одна из нас осталась в райкоме, и то ненадолго — окончила заочный институт и перешла на педагогическую работу. На смену нам пришли новые люди. Секретарём райкома стал молодой инженер, недавно окончивший наш сталинградский институт.

После райкома комсомола нелегко было мне привыкнуть к тишине бюро технического контроля, помещающегося в дальнем закулке цеха. На рабочем столе вместо папок с протоколами, тезисами докладов и проектов решений оказались чертежи, мерительные инструменты и такие тонкие приборы, как микроскоп, антиметр и иогансоновские плитки. И рядом сидят девушки, совсем недавно из моих рук получившие комсомольские билеты. Как они робели, заходя ко мне в райком! А теперь они покровительственно объясняют мне, что такое антиметр, показывают, как с ним обращаться, и удивляются, что я работала в райкоме комсомола и даже не умею читать чертежи, как будто умение читать чертежи — первая обязанность работника райкома комсомола.

Ох, и наплакалась бы я, если бы не Ваня, в ведении которого было уже полсотни разных станков! Чертёж для него давно стал такой же обычной бумагой, как для меня протокол.

Началось с того, что он начал учить меня читать чертежи, и кончилось тем, что мы вместе с ним поступили в вечерний техникум.

Трудно было совмещать учёбу с работой в цехе — ведь у нас уже был Витька, ему шёл третий год, и с каждым днём он всё больше требовал к себе внимания, ему скучно было сидеть целые дни в яслях, играть с малышами в разноцветные кубики. Воскресенье — дома столько неотложных дел, а Витька тянет в пионерский садик.

Долго был тут пустырь, развалины — привычный вид кое-где сохранившегося ещё среди новых домов военного запустения. Садик появился как-то вдруг — так многое появляется у нас, — будто его перенесли сюда готовым, с дорожками, посыпанными жёлтым волжским песком, зелёными скамейками, беседкой и гипсовыми статуями пионеров на розовых постаментах: один пионер отдаёт салют, другой играет в горн, третий читает книжку. В центре их — статуя девушки-подростка со вскинутым на руку автоматом.

Где только не увидишь в Сталинграде эту белую девушку с косичками и автоматом! И на скверах и просто у автобусной остановки. И всюду она на месте, будто сама выросла тут.

Витьку интересует всё на свете, он всё хочет увидеть, обо всё потерять свой нос.

В пионерском садике он таскает нас от одной статуи к другой, и мы с Вайей перед каждой статуей обсуждаем один и тот же вопрос: может быть, всё-таки отправить Витьку к бабушке, чтобы он не срывал нам учёбу?

Вопрос осложнялся тем, что у Витьки две бабушки. К какой отправлять его — к Чурилиной или Силовой?

Совсем другие заботы, совсем другие волнения! Странно даже подумать, что было время, когда я больше всего боялась выговора Пети Гололобова.

А вот и он тут, в садике, уже начальник цеха, студент-заочник, сидит на скамейке у статуи девушки с автоматом, на коленях у него книга, в руке карандаш, которым он что-то быстро подчёркивает в книге. Другой рукой он так же быстро катает перед собой детскую коляску.

Как тут не вспомнить его райкомовский кабинет — одна рука ещё на телефонной трубке, а другая уже строчит проект решения.

— Слишком много мы тогда брали на себя, — говорит Петя.

Есть о чём вспомнить, но разве Витька даст поговорить! Только присядешь на скамейку, как он уже тянет за юбку:

— Мама, ну чего ты села? Пойдём дальше.

Всегда ему нужно куда-то всё дальше и дальше.

Какой тут разговор, какие воспоминания!

Да и Пете не до воспоминаний — через улицу с балкончика верхнего этажа жена уже подаёт ему пелёнкой сигнал, что пора купить дитё. И завтра ему надо сдавать сопротивление материалов, а у него ещё не проработан самый трудный раздел.

Есть в Сталинграде над речным портом изрытый бомбами и снарядами бугор, на котором всегда можно увидеть несколько человек, сидящих на камнях или на завезённых сюда для какой-то стройки гранитных плитах. Издали кажется, что это художники сидят в ряд за работой и дружно рисуют один и тот же пейзаж. Но это вовсе не художники, а самые обыкновенные, простые люди. Пришли они сюда, на бугор, после рабочего дня, чтобы подышать свежим речным воздухом, послушать, как шумит внизу речной порт, и поглядеть, как Волга катит свои ежеминутно меняющиеся цвет воды.

В летний вечер, когда в воздухе ясно, отсюда видна вся волжская дуга, огибающая город, и далёкое зелёное Заволжье.

На высоком берегу, над строящимися домами, — ажурные башни электрокранов с застеклёнными кабинками, поднятыми выше всех этажей, и с красными звёздами или красными флажками, которые кажутся накрашенными прямо на небе.

Внизу, под откосом, — тоже краны. Их стрелы висят над Волгой, как гигантские удилица.

Вдоль берега, у самой воды, катятся составы железнодорожных платформ, кричат паровозы. У причалов — толчея всевозможных судов. Одни отходят, другие торопятся занять их место и в ответ на звонкие удары вокзальных колоколов громко подают свои гудящие голоса.

А глянешь вдаль — такой простор, какого, наверное, ни в каком другом городе не увидишь.

И вверх и вниз по Волге зеленеют острова, и кажется, что они поднимаются к небу, один другого выше. Тут, у речного порта, виден отдельно каждый пароходный дымок, а вдалеке, за островами, дым висит над рекой и берегом полосами, и эти полосы перекрещиваются, наслаиваются друг на друга, как тучи в бурю.

Невесёлые вернулись мы с Ваней из отпуска, который провели по обыкновению у моих стариков. Туда поехали с Витькой, а назад приехали одни, с тяжёлым мешком арбузов и дынь.

Ещё задолго до отпуска было решено, что Витьку придётся оставить до следующего лета на попечении бабушки, но, когда теплоход отошёл и Витька остался с бабушкой, у меня сердце замерло — как же теперь будем без него?!

В Сталинграде, поднявшись от речного вокзала на бугор, мы сели отдохнуть на большой камень и засиделись тут. Витька не выходил из головы. Можно ли было забыть, как он, оставшись с бабушкой на пристани, испуганно искал нас глазами на палубе теплохода? Мне казалось, что Витька всё ещё стоит на пристани, бабушка тянет его за руку, а он цепляется другой рукой за перила и плачет — никак не поймёт, почему бабушка не хочет обождать, пока папа и мама вернутся.

С первым же теплоходом поехали бы обратно за Витькой, да отпуск уже кончился, завтра надо было выходить на работу.

Потом мы не раз бывали на этом бугре, когда ездили на пляж, в заволжский парк или в Красноармейск, на первый шлюз Волго-Дона, — сидели на этом же камне, смотрели на теплоходы, уходившие вверх, пока они не скрывались в полосах дыма где-то у «Красного Октября» или Тракторного, и всё высчитывали, сколько ещё осталось до очередного отпуска.

Бывают же такие счастливые люди, как наш Лёша, — время будто мимо проходит, не касаясь их.

В райкоме комсомола все люди новые и актив новый, а Лёша попрежнему в активе. У него уже двое ребят, мальчик и девочка, вишни, которые он посадил под горой на Мечётке, так разрослись, что им уже тесно в маленьком садике, а Лёша всё ещё каждое лето ездит в отпуск вожатым в пионерский лагерь и, чтобы продлить свой отпуск, зимой месяцами работает без выходных. И попрежнему, если нужно привезти хворост из заволжского леса для пионерского костра, райкомовцы звонят Лёше в цех, и Лёша, уже старший мастер, бегаёт по домам, собирает ребят, и, кажется, нет счастливее его человека, когда он с вёслами на плечах шагает к Волге во главе шумной ребячьей толпы.

Уезжают с завода рабочие бригады на помощь колхозам, затянувшим уборку хлеба, и Лёша, конечно, не упустит случая поработать в поле, поспать под открытым небом, зарывшись в солому.

И попрежнему он пишет стихи по поводу всех происходящих в мире событий и нисколько не обижается, когда редактор нашей многоглаголки сердито возвращает их ему назад исчерченными красным карандашом, с жирными восклицательными и вопросительными знаками.

Однажды мы встретили Лёшу на бугре у речного порта. Он был в белой рубашке с пионерским галстуком, сидел на камне и перекидывался мячом с ребятами, расположившимися вокруг него в высоком бурьяне.

Они приехали из пионерского лагеря и поджидали обратный пароход на Ахтубу.

Мяч быстро прыгал по кругу, и Лёша, следуя за ним, подпрыгивал и вертелся на камне.

Вот таким бы хоть раз кто-нибудь его сфотографировал! У него десятки фотографий, и на всех он одинаковый — испуганно вытянувшийся, будто заглотивший палку, с широко открытыми, застывшими глазами.

Любит Лёша похвалиться.

Лагерный физрук два раза ездил в город за спортивным инвентарём, и всё без толку, а он поехал со своими ребятами и всё сразу достал — ему в обкоме комсомола здорово помогли.

— Меня там все знают, — сказал он.

Мы с Ваней посмеялись — ещё бы его не знали, когда писатели только с ним и беседуют...

Георгий Александрович начал у нас в Сталинграде с постройки бани, а теперь он строит Сталинградскую гидроэлектростанцию.

Утром из нашего окна видно, как от берега отходит маленькая моторка, поднимается вверх по Волге. Это Георгий Александрович едет на работу. У него своя моторка.

Ольга уже второй год учится в областной партшколе. Она в отчаянии от того, что у мужа на стройке сроки сжимаются, сокращаются, а у неё — наоборот, — в учении сроки из года в год удлиняются.

Схватив со своего письменного стола охапку книг, она тычет ими себе в голову и говорит:

— Ух, вложить бы все сразу — и делу конец. А то сидишь, как пришитая к книгам.

Ольгу мучает, что где-то что-то происходит без неё, ей кажется, что всё делается не так, как надо. И она постоянно будто грозит кому-то:

— Ух, скорее бы только закончить школу!

Утром Ольга уходит из дому вместе с Георгием Александровичем — им до площади по дороге. Дома хозяйничает старшая — Галочка. Уходя в школу, Галочка закрывает квартиру на ключ. Если кто-нибудь постучит, к двери подходит младшая — Леночка. Она сообщает через дверь:

— Дома никого нет, а я запертая.

Мы с ней иногда разговариваем через дверь. Леночка жалуется мне:

— У мамы сегодня собрание, у Галки — пионерский сбор, а папа до завтра не приедет — у них там на стройке прорыв.

Леночка никак не привыкнет целые дни сидеть запертой. А Ольга только зубы сжимает:

— Ух, эти бюрократы! Доберусь же я до них. Чтобы нельзя было ребёнка в детсад устроить!

Добраться никак времени не хватает. В будни — лекции, семинары, зачёты, собрания. А в выходные — полный дом народу, как на свадьбе, и Ольга до вечера на кухне — жарит, варит и печёт. Это у неё самое большое удовольствие — угостить людей и вспомнить за столом, как мы заново начинали жизнь в Сталинграде.

— Ух, и пели же!.. Ух, и плясали же! — вспоминает она.

Можно подумать, что мы только и делали, что пели и плясали.

Разные бывают у неё люди и чаще всего новые.

— Ну и табор же у тебя опять, — морщит лоб Люда, заходя поздно вечером к Ольге.

С тех пор как Люда стала директором средней школы, она постоянно морщит лоб. Она всегда очень занята, всегда чем-то озабочена. К Ольге она заходит на минутку за своими родителями, которые, если их не выта-

шить, будут сидеть в гостях до утра, вспоминая о том, как им жилось в Одессе.

Есть у нас такие одесситы, ташкентцы, пензенцы, саратовцы, которые десять лет уже вздыхают по своим городам, но никак не могут решиться на обратный путь.

Мы уже на третьем курсе, а у Вани всё ещё не совсем благополучно с математикой, я отстаю по черчению. Рассчитываем на вечера, а придём домой из техникума, поужинаем, сядем за уроки — и начинаем клевать носами. Конечно, трудно совмещать учёбу с работой в цехе. Но ведь теперь ясно, что без техникума нам будет ещё труднее — какой он старший мастер, а я контролёр БТК, если у нас нет среднего технического образования.

Придётся Витьке и на эту зиму остаться у бабушки с дедушкой. Ваня странно рассуждает. Неужели я оставила бы Витьку у своих стариков на второй год, если бы была уверена, что нам удастся устроить его в детсад!

Просто смешно, что Ваня ревнует Виктора к Чурилиным. Подумаешь, какая разница — Чурилин или Силин! Конечно, дедушка зря привил Витьке мысль, что он Чурилин. Но и Ване глупо подкупать Витьку яблоками, чтобы на вопрос — как твоя фамилия, он отвечал — Силин.

А ведь этим летом Ваня весь отпуск только и занимался тем, что внушал Витьке, что Витька не Чурилин, а Силин.

Ну, как будто с помощью яблок он натренировал его отвечать правильно. Мог бы теперь успокоиться. Так нет же. Вчера опять с самого утра:

— А всё-таки зря мы оставили Виктора.

Надо же быть таким твердолобым, чтобы не понимать, как мне мучительно, когда в тысячный раз поднимается этот вопрос! Стараясь сохранить спокойствие, я сказала:

— Хорошо. Пойдём сейчас на почту, и я пошлю маме телеграмму, чтобы она везла Витьку.

Я отлично знала, что не успеем мы выйти из дому, как Ваня начнёт колебаться:

— Ну, смотри, решай сама.

Так и случилось.

По дороге на почту мы с Ваней успели и поругаться и помириться на том, что вместо вызова Витьки в Сталинград пошлём ему пока вызов на междугородный переговорный пункт.

На этом не раз уже кончались наши ссоры — хоть по телефону, но услышим голос Витьки.

Девушки на переговорном пункте нас уже знают.

— А, товарищ Чурилина! А, товарищ Силин! Витеньку вызвать?

Просим:

— Нельзя ли, девушки, пораньше, а то он заснёт.

— Вызовем на девять вечера.

Приходим точно в назначенный час, и все линии заняты. В одной кабинке парень кричит:

— Москва? Москва?.. Люба, это ты? Это я — Федя!

В другой девушка надрыгается:

— Берлин? Берлин? Берлин?.. Петя! Петя! Это я — Маша!

В третью втиснулись двое, кричат по очереди:

— Ташкент?.. Мама, это я — Сергей!.. Ташкент?.. Мама, это я — Надя!

С какими только городами не услышишь тут разговоров, пока ждёшься своей очереди. Москва, Берлин, Ташкент и вдруг — Армавир.

— Армавир? Армавир?.. Юрча, ты меня слышишь? Слышишь! А я тебя не слышу. Юрча! Юрча!

Наконец и нас вызывают в кабинку, и мы пристраиваемся к трубке так, чтобы слышно было обоим. Донсится весёлый голос дедушки:

— Сталинград? Аня? Ваня? Что же вы, ребята, так долго заставили нас ждать?

Неужели Витька заснул? Так и есть — заснул на плече у бабушки. Дедушка теревит его, прижимает ему к уху трубку.

— Витька, проснись! — кричу я. — Это я — мама.

Ваня тянет трубку к себе, кричит:

— Виктор! Это я — папа.

Всё напрасно — разве его добудишься, если он уснул на переговорном пункте!

— Спокойной ночи, ребята, — кричит дедушка. — Другой раз уж поговорите.

А другой раз то же самое:

— Юрча, Юрча! Ты меня слышишь? А я тебя не слышу...

Всё та же девушка надрывается в соседней кабинке.

И Витька опять засыпает на плече у бабушки. И опять я тяну трубку к себе, а Ваня — к себе...

Аня Чурилина, от лица которой всё это рассказано, так же как Ольга, Люда, Петя — все, о ком тут идёт речь, — не вымышленные, а живые люди. Они и сейчас в Сталинграде. Я написал о том, что слышал от них самих, но допустил некоторые обобщения и поэтому изменил имена.



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

СВАДЬБА

Иные к старости горюют,
А ты, сосед, за возраст пей,
В котором женят сыновей,
На свадьбах дочерей пируют.

Хмелеют гости и родня.
Влажнея, покраснелись лица.
Застолье свадебного дня
До самой ночи в доме длится.

Слегка кружится голова,
Добрее стали все и проще.
Речей торжественных слова
Уже в веселье тонут общим.

Военный с ёжиком седым,
Студент и дама пожилая
Красноречиво молодым
Любви до старости желают.

Но есть движенья чувств простых,
Что и словам не поддаются.
Встают две матери седых
И молча пьют за молодых,
Обнявшись, плачут и смеются.



В. ПАНОВА

★

ВРЕМЕНА ГОДА

*Роман**

Глава десятая

Знакомства

Они встретились в кино, у билетной кассы.

Саша нагнулся к окошечку и не обратил внимания, кто там подошёл и стал сзади; а когда отвернулся от окошечка, то увидел Серёжу. Они переглянулись быстро и заинтересованно, как тогда в милиции.

Саша прошёл в фойе. Он обошёл витрины с фотографиями, и следом за ним, на расстоянии, хромал от витрины к витрине Серёжа. Серёжа купил мороженое. Саша тоже купил. Сесть было некуда, все диваны и стулья заняты. Посетители в ожидании сеанса гуляли по фойе, держась правой стороны и образовав плотное движущееся кольцо. Саша и Серёжа двигались в кольце, встречались и расходились.

Но в зале они очутились рядом, и тут уж одно из двух — либо знакомиться, либо показать, что мы не имеем отношения друг к другу, у тебя билет за три пятьдесят и у меня за три пятьдесят, вот и вся база для знакомства, мало ли с кем приходится сидеть в кино... Серёжа покрутился на стуле и сказал:

— Мы, кажется, встречались.

— Было дело, — снисходительно подтвердил Саша.

Они замолчали. Ещё горел свет; кругом, рассаживаясь, шумела публика.

— Фу, жара, — сказал Серёжа.

— Что? — спросил Саша, не расслышав.

— Я говорю: жарко очень.

— Лето, что сделаешь.

Свет погас, на экране замигали скучные улицы итальянского города, города похитителей велосипедов.

Свет зажёгся и осветил суровые и расстроенные лица мальчиков.

Они поднялись, пряча друг от друга глаза, и вышли молча, плечом к плечу в толпе, выносившей их из зала.

После освещённых электричеством душевных переходов предвечерняя улица показалась прохладной. Приветливо гудели, пролетая, автомобили. Небо было родное и нежное.

Охваченные единым чувством, они медленно пошли рядом, не разговаривая, остро ощущая, что чувство их едино, и дорожа этим скорбным и светлым, одновременно, чувством.

— А ведь правда, — сказал Серёжа дрогнувшим голосом, — когда

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

видишь ту жизнь, то правда же, только тогда как следует понимаешь, что такое наша жизнь, вы согласны?

— Угу, — ответил Саша.

— Когда у них будет, как у нас, — сказал Серёжа через квартал, — он, может быть, уже будет взрослым. — Серёжа имел в виду мальчика, героя фильма. — Может быть, политическим деятелем будет, вот он вспомнит!..

— Страшная вещь — быть без работы, — сказал Саша. Он понимал это, хотя ему не довелось ни лично испытать, ни видеть безработицу.

Они проходили мимо пивного ларька.

— Пиво пьёшь? — спросил Саша.

Серёжа за свою жизнь раза два пробовал пиво, оно ему не нравилось, и уж во всяком случае ему не приходилось пить на улице; но он ответил небрежно:

— Да, с удовольствием.

«Я ему вы, а он мне ты, — подумал он. — Вот он увидит, я тоже пью пиво, и мне нипочём».

Продавщица налила им две маленькие кружки — Серёжа обрадовался, что не большие: они выпили и побрели дальше.

— Ты ещё в школе или окончил? — спросил Серёжа.

Саша ответил, и Серёжа проникся уважением к нему.

— Здорово! — сказал он. — И сколько человек у вас... у тебя в бригаде?

Ему захотелось посмотреть, как складывают дома из блоков, захотелось повести Сашу к себе и сразиться с ним в шахматы. Это было настоящее знакомство — самостоятельный человек, бригадир.

От шахмат Саша отказался.

— С категорниками не сажусь, — сказал он. — Категорники меня бьют. Я ведь шахматами занимаюсь не специально.

Но выяснилось, что у Серёжи есть приёмник «Нева», и Саша согласился зайти.

— Тогда нам обратно, — взволновался Серёжа. — Мы идём совсем в другую сторону.

Они повернули и пошли обратно.

— Я хочу задать один вопрос, — сказал Серёжа. — Если нельзя, можешь не отвечать. Что же оказалось тогда в милиции — личное дело или не личное?

— Давай так, — сказал Саша, подумав. — Я отвечу в двух словах. Не личное. Без подробностей, ясно?

— Понимаю, — значительно ответил Серёжа. И хотя он не понимал ровно ничего, но его фантазия мгновенно сработала десяток романтических историй, и ему страшно захотелось узнать хоть немного подробностей.

— Я, — сказал Саша, — не задаю тебе вопросов.

— Я тоже мог бы ответить только в двух словах, — сказал Серёжа. — Не больше.

— Ну и всё, — сказал Саша.

Они подошли к серому дому старой постройки и поднялись на третий этаж. Серёжа отворил дверь своим ключом, и они вошли в большую переднюю с большим красивым окном, фрамуга которого была сложена из разноцветных стёкол. В передней было уже не очень светло — день кончался — и всё было сдвинуто с места: и зеркало со столиком, и стоячая вешалка, и стулья с резными высокими спинками, — а посредине в сумерках танцевал полотёр. Долговязый и худой, он танцевал неустанно и однообразно, его длинные ноги ритмично сгибались в коленях. При входе мальчиков он не прекратил танца, только сказал неодобрительно: «Ходи стороной» — и, танцуя, ушёл за зеркало.

— Сюда! — сказал Серёжа и повёл Сашу по коридору. Навстречу показала женщина в переднике.

— Я пришёл! — на ходу сказал ей Серёжа. — Дайте нам чаю, пожалуйста!

Коридор был устлан ковровой дорожкой. В комнатах мебель стояла в чехлах; скатанные ковры лежали у стен, как серые трубы, и вместо них по натёртому паркету тоже расстелена дорожка. Видно, здесь любили чистоту и берегли её.

— А где приёмник? — спросил Саша.

— В моей комнате, — быстро ответил Серёжа, который боялся, что Саше станет скучно и он уйдёт. — Пошли.

Саша не собирался уходить. Ему нравился этот живой парнишка с резким блеском в чёрных глазах. Он развитой, и с ним интересно. У него вторая категория по шахматам, — для Саши это значило почти то же, что звание гроссмейстера. И было ещё в парнишке что-то притягательное — нежное и незащищённое, при всей его видимой независимости.

В его комнате был страшный беспорядок. Везде разбросаны книги, в шкафу они стоят вразвалку или свалены кипами. На полу валяются гантели. Посреди комнаты некрасивый кухонный стол, и на нём ящики с мелкой травкой — не разберёшь с какой. Приёмник, роскошный приёмник «Нева», о котором мечтал Саша, был еле виден за горами книг.

— Я не позволяю убирать в моей комнате, — сказал Серёжа, подводя Сашу к письменному столу. — Они всё путают и нарушают мой порядок. После них ничего не найдёшь.

С этими словами он движением руки спихнул на пол высокую стопку книг и открыл доступ к приёмнику.

— Мировая штука, — сказал Саша.

У него мелькнула мысль, что зря он купил такое дорогое пальто и костюм, можно было купить подшевле, а лучше бы приобрести хороший приёмник. Мать уговаривала одеться как следует, и он поддавался на уговоры, потому что надоело ходить плохо одетым; одной обуви купили три пары, и плащ, и шёлковые рубашки, а на «Неву» денег не осталось.

Он сел и с наслаждением стал ловить волну за волной, ни на одной не останавливаясь, радуясь самому процессу этой охоты за звуками, которыми полон эфир. Обрывки симфоний, песен и разноязычных речей, вперемежку с грозвыми разрядами, забушевали в комнате. Серёжа отступил, смеясь и зажимая ладонями уши. Саша и не заметил этого, оглушённый и увлечённый. Собственный радиоприёмник нужно иметь именно для того, чтобы хозяйской рукой шарить в эфире и поднимать такой шум. «Придётся купить пока хоть маленький, — думал Саша, любовно клоня ухо к источнику шума. — От репродуктора никакого удовольствия».

Серёжа тронул его за плечо, он выключил приёмник. В дверях, улыбаясь, стояла женщина в переднике.

— Тётя Поля зовёт чай пить, — сказал Серёжа. — Пошли в столовую.

— Да я сыт, — сказал Саша. Он стеснялся есть в гостях.

— А чаю и сытому выпить можно, чай не еда, — радушно сказала тётя Поля.

— Пошли, пошли! — теребил Серёжа.

Долго отказываться тоже было неловко: подумают, что ломаешься. Саша всгал нехотя... И вдруг новое впечатление, неожиданное и могучее, ударило его: прямо на него, смеясь, смотрели чёрные блестящие глаза, похожие на серёжины, но полные радости и счастья. На уровне сашиного лица, над столом, небрежно приколотый кнопками к стене, висел портрет. Саша только что его увидел. Это было прекрасное лицо, юное, гордое и открытое, — должно быть, смуглое, должно быть, румяное, — смуглость

и румянец угадывались даже на фотографии, лишённой красок. Пятнышки света лежали на щеках и на смеющихся губах — лицо сияло. Все черты выражали силу: и горделиво выгнутая округлая, стройная шея, и длинные узенькие ноздри, и распахнутые брови, густые у переносья и тонкие у висков... Саша спросил:

— Это кто?

Он спросил нечаянно, он не думал спрашивать.

— Моя сестра Катя, — ответил Серёжа. — Вон ещё её карточка. Она чемпион города по метанию диска.

Другая карточка была маленькая и висела пониже первой. На ней был снят во весь рост дискобол в момент броска. Лицо нельзя было рассмотреть; на сером поле выделялась тонкая фигура с длинными ногами и откинутой рукой. Фигура была тёмная, только на диске белело солнце. На дискболе были трусики, майка и ленточка в волосах; и больше ничего; и так как это был не какой-то дискобол, а серёжина сестра Катя, смотревшая с верхней фотографии горячими глазами, то Саше стало стыдно разглядывать. Он отвернулся и стал слушать, что говорит Серёжа.

— ...Причём любопытно, — говорил тот, — что вместо живых организмов они довольствуются крутым белком, ну просто белком из куриного яйца, я их кормлю. Великолепно развиваются! Вот посмотри в лупу. — Саша посмотрел в лупу на паршивенькую травку, растущую в ящике, и увидел что-то красное и мохнатое. — Настоящие кровожадные хищники, с ними не шути. Но что самое любопытное, это некоторые свойства, которые связаны с проблемой клетки, ты можешь себе представить — Дарвин этого не знал.

— Чай стынет, профессор, — сказала тётя Поля.

— Да, пошли. И вот, как видишь, — сказал Серёжа, — я и вожусь с ними, пока её нет.

— Кого? — спросил Саша.

— Да Кати, это же её росянки.

Так Катя не здесь! Неизвестно почему, Саша почувствовал невероятное облегчение. Как будто большая опасность пронеслась мимо. Нет, ему совсем не надо было, чтобы из какой-нибудь комнаты этой незнакомой квартиры вышла Катя.

Но тут же он пожалел, что невнимательно слушал о травке, которая, оказывается, принадлежит Кате. Он не понял, что за травка и для чего нужна Кате.

А Серёжа, решив, что росянки гостю не интересны, завёл разговор о Волго-Донском канале, потом перешёл на батисферу и говорящих рыб. Он всё читал, и до всего ему было дело. Саша разговаривал и пил чай с клубничным вареньем и в то же время вспоминал: «Ну да, в газете было, ну да, точно, первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич». (Метанием диска Саша до сих пор не интересовался и сообщение это прочёл когда-то мельком, между прочим, но сейчас вспомнил.) «Екатерина Борташевич, вот она, значит, кто — Катя, серёжина сестра...» И всё показалось ему удивительным: и то, что он помнит эти мельком прочитанные газетные строчки, и то, что чемпионка Екатерина Борташевич — сестра мальчика, с которым он случайно познакомился, и то, что она живёт в этих комнатах и сидит за этим столом...

Громкий, властный звонок прервал его мысли.

— Папа! — воскликнул Серёжа, срываясь со стула. Он было сделал шаг, но смутился своего порыва («Что за детство!») и уселся снова, говоря:

— Тётя Поля пошла отворять.

Было слышно, как отворили дверь и мужской голос спросил: «Сергей

дома?», а голос тётки Поли ответил: «Дома, дома». И другой мужской голос что-то сказал, и мужчины засмеялись.

— Кирилл Матвейч, если не ошибаюсь, — сказал Серёжа, вслушиваясь, но не двигаясь с места.

Плотный человек хорошего роста, с весёлым лицом и седыми висками, широким шагом вошёл в столовую. Он поцеловал Серёжу, сказал Саше: «Сидите, сидите», бросил на буфет лёгкий плоский портфель, снял свой светлосерый пиджак и повесил его на спинку стула. Движения у него были уверенные, хозяйские. Лицо выражало доброту и важность.

— Поля, — сказал он, — быстренько — приготовьте Кириллу Матвейчу душ. А может, ванну тебе, Кирилл? — крикнул он.

— Полюшка, — стонущим голосом сказал Чуркин, входя и тоже стягивая пиджак, — что хотите, душ, ванну, грязному всё едино. Все мои Нины разъехались, в квартире ремонт, пожалейте хоть вы.

— А пока она приготовит, давай чайку выпьем, — сказал Борташевич.

— Я лучше потом пивца холодного, — сказал Чуркин. — Будет пиво, Поля?.. А сейчас я бы побрился. Хочу быть красивым.

— Знакомьтесь, — сказал Серёжа. — Это мой нозый знакомый.

— Ну-ну, — сказал Чуркин. — Здравствуйте. Я вас где-то видел. Видел, а? На постройке. А на какой?

Тётя Поля налила в чашку горячей воды и увела его бриться. Видимэ, председатель горисполкома был в этой семье близким человеком.

— Вы на постройке работаете? — спросил Борташевич. На Сашу посмотрели рассеянные глаза с усталой смешинкой. Саша с грустью подумал, что, не будь войны, его отец вот так же приходил бы после работы домой и садился на главном месте, и мать наливала бы ему чай. И было бы с кем поговорить дома, и не было бы в помине никакого Геннадия.

— Почему ты не на даче? — спросил Серёжа.

— Задержался, совещание, — ответил отец. — Не захотелось ехать на ночь глядя... Ну, а помимо того, мне же всё-таки интересно, как ты тут существуешь. Звоню днём — тебя нет.

— Мы, помнится, условились, — сказал Серёжа, — что я не отчитываюсь в своих поступках хотя бы в период июль—август.

— Да боже сохрани! — сказал Борташевич, смеясь глазами. — Разве я отчёта требую. Просто интересуюсь по-отцовски, по праву, так сказать, родительского чувства.

— У меня всё хорошо, я здоров, — сказал Серёжа. — Как тебе нравятся корейские сообщения?

Они заговорили о войне в Корее. Собственно, говорил Серёжа, а отец — Саша заметил — только поддерживал разговор и любовался сыном. За круглым столом было светло и уютно. «Хорошая, должно быть, семья, — думал Саша. — Прекрасная семья!» И ему было грустно и приятно смотреть на них.

— Непременно пойдёшь на «Похитителей велосипедов!» — с жаром говорил отцу Серёжа. — Мы сегодня были. Пойди непременно!

Саша допил чай и подумал: пора уходить. Серёжа проводил его до угла и взял с него слово, что он придёт завтра.

Вечер был жаркий. Из городского сада доносилась музыка. Саша шёл, а перед ним то и дело всплывало женское лицо с блестящими чёрными глазами и светлым пятнышком на смеющихся губах. И хромым мальчик, которому до всего на свете есть дело, и его добрый седой отец, и чужая большая квартира со сдвинутой мебелью, с травкой в ящиках, и этот душный вечер, и фонари — всё приобретало особенный, высший смысл, потому что на всё светило это лицо. «Первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич». Почему эти слова наполняли Сашу гордостью, что ему?.. Они сливались с музыкой, доносившейся из сада. Му-

зыка играла всё одно и то же: «Первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич»... Круглые матовые фонари горели жемчужным светом. Звонил за углом трамвай. В тёмной впадине ворот смеялся кто-то — будто ворковал — тихо и сладко.

Геннадий шёл от Цыцаркина. Фонари расплывались в большие мутные пятна. Мостовая качалась, как палуба: Геннадий выпил.

Он шёл медленно, желая привести себя в порядок и собраться с мыслями. Скверная произошла история... Чёрт её возьми, лучше бы не было этой истории...

Он сунул руку за борт пиджака, ощупал внутренний карман: вот они, деньги, всучил-таки ему деньги Цыцаркин...

С Цыцаркиным знакомство было устоявшееся, прочное. Цыцаркин обласкал Геннадия с первой встречи. «Что за юноша, ах, что за юноша! — сказал он. — Всю жизнь мечтал иметь такого сына!» Геннадий, только что рассорившийся с семьёй и отлучённый от дома, выслушал это не без удовольствия.

— Дорофея Николавна Куприянова — ваша маман? — спросил Цыцаркин. — Встречались когда-то... на заре туманной юности... Но разошлись, как в море корабли... Захаживайте, милости прошу. Заграничными пластинками интересуетесь?..

У него было вольно, никто не навязывал Геннадию никаких правил и взглядов. Не хочешь работать — не работай, твоё личное дело. Хочешь пить — пей. Выпивка всегда самая лучшая... Хочешь ухаживать за женщинами — ухаживай. Женщины у Цыцаркина бывали разряженные, смешливые, необидчивые. Там играли в преферанс по крупной, небрежно записывая сотенные ремизы. Играть Геннадий не решался, но смотреть — нравилось...

Как-то зимой Геннадий зашёл и рассказал, что у них в квартире выиграли по займу десять тысяч. Цыцаркин отвёл Геннадия в сторону и сказал, что купил бы выигравшую облигацию. Геннадий разинул было рот, вроде Саши, но Цыцаркин сказал внушительно: «Получишь комиссию; только антр-ну, и меня там не называть, я зайду инкогнито». Геннадий сообразил, что дело выгодное, и решил осчастливить Зину и её вислоухого мальчишку. Мальчишка смотрит на него, как на трутня. Так вот на же тебе!..

Было ясно, что Цыцаркин занимается какими-то делами, за которые не глядят по головке. За глаза Геннадий презрительно называл его «тип», но... вина у «типа» были хорошие, пластинки самые что ни на есть заграничные, а главное — «тип» относился к Геннадию с уважительным интересом, даже с любованием, даже хамить разрешал, пожалуйста... «Чёрт с ним, я не следователь. Кому надо его ловить, те пусть и ловят». Саша заявил в милицию о продаже облигации: Геннадий очень испугался, что в милиции записана его фамилия, и побежал к Цыцаркину. Тот отнёсся к сообщению хладнокровно.

— Дурачок, — сказал он про Сашу. — И ты-то хорош. Я был в уверенности, что эти лишние пять тысяч тебе пойдут, что ж ты это так сплеховал?.. Ты, я вижу, тоже... идеалист.

— Я махинациями не занимаюсь, — свысока сказал Геннадий. — Что теперь делать будем?

— А ничего не будем делать. Подумаешь, мальчик заявил. Где факты? Где свидетели? Это же недоказуемо, как миф. Я той облигации в глаза не видел и у тебя не был сроду. Понадобится — полдюжины свидетелей приведу, что я в тот вечер был в кино. Гуляй, Геня, спокойно.

— А если найдут у вас облигацию?.. — спросил Геннадий.

— Ей-богу, — сказал Цыцаркин, — ты меня принимаешь за ребёнка...

Всё-таки с месяц Геннадий нервничал, что вот-вот придёт повестка — явиться в милицию. Потом стал нервничать, что повестку не несут: спросили бы, он бы заявил, что знать ничего не знает, и конец делу... Дальше страхи прошли, происшествие забылось.

А Цыцаркин стал с ним ещё ласковее и, так сказать, родственнее. Устроил его, как обещал, в автопарк на промтоварную базу и по временам осведомлялся с заботой:

— Денег не надо ли, Геня? Антр-ну, ведь дело молодое, того хочется, этого хочется... Говори прямо.

— Да нет, спасибо, — отвечал Геннадий.

Ему хотелось этого и того, но брат у Цыцаркина он боялся. Возьмёшь, а там, чего доброго, угодишь в неприятности...

В описываемый вечер он провёл у Цыцаркина часа два. Накануне, на работе, Цыцаркин заглянул к нему и сказал: «Заходи вечером, приобрёл пластинки Лещенко, нечто из ряда вон»... Кроме Геннадия, были всего два гостя. Одного Геннадий и раньше видел — тот служит под начальством Цыцаркина, на базе, на какой-то пустяковой должности. Его кличут Малюткой, потому что он маленький и узкоплечий, как восьмилетний мальчик; маленькое, без растительности, мертвенное лицо; вечно в грязной вышитой косоворотке, на голове старая, затасканная тубетейка; кажется, под тубетейкой тоже никакой растительности. Рука, которую он подал Геннадию, была неправдоподобно крошечная и холодная как лёд. Голос слабый, писклявый...

— Изумрудов! — шумно выдохнул, знакомясь, второй мужчина, и от его движения по комнате прошла волна парикмахерских ароматов. Этот был щеголеватый, отлично выбритый, отлично откормленный, даже на взгляд весь мягкий, как тесто: мягко вываливался живот поверх кожного пояса; мягко круглились под трикотажной рубашкой пухлые женские плечи; мягко шлёпали одна о другую мокрые толстые губы; и глаза, очень большие и очень выпуклые, в частых, прямых, как у телёнка, ресницах, казались двумя мягкими пузырями... Ему было жарко, он таял, как конфета, сидел раскисший, томный, а чуть двинется — по комнате разливалось густое одеколонное благоухание, и Малютка тонко чихал: ти! ти!

Геннадий выпил коньяку, послушал песни Лещенко — загрустил... Цыцаркин стал говорить, что как это, право, так распорядились, что единственный сын брошен на произвол судьбы, а чужая женщина — кому она нужна — оставлена в семье. И мягкий Изумрудов говорил что-то сочувственное, шлёпая губами и редко, медленно помаргивая телячьими ресницами. Геннадий выпил ещё рюмку и стал куражиться, заявляя, что плевал на всех, кто его не ценит, пусть они провалятся. Цыцаркин говорил: «Правильно!» — и гладил его по спине, как кошку. А Малютка ничего не говорил, но неотступно смотрел на Геннадия, всё время Геннадий ловил этот тусклый, ничего не выражающий взгляд...

Пили, говорили... «Что, хорош у меня сынок?» — восхищённо спрашивал Цыцаркин.

— Хорош, — слабым голосом пискнул Малютка.

— Хорош! — томно улыбаясь, прошлёпал губами Изумрудов.

— То-то!

...Как вышло, что он взял у Цыцаркина деньги? На что он их взял? Как будто на поездку на теплоходе? Или ещё на что-нибудь?.. Боялся, боялся, а тут выпил и взял, да ещё при этих рожах... О дурак, ведь он и расписку выдал Цыцаркину!..

При воспоминании о расписке хмель соскочил с Геннадия; голова перестала кружиться, фонари приняли нормальный вид и стали на свои места. «Вернуть, вернуть! И пусть отдаёт расписку, старый навозный жук!..» Он оглянулся, свернул на бульвар, прошёл мимо парочек, шептав-

шихся под вязами, опустился на свободную скамью и, достав деньги, пересчитал их...

«Вернуть, конечно... Но, собственно, обязательно ли сейчас возвращать? — мелькнула мыслишка. — Будет случай — верну, безусловно, какой может быть разговор... Почему непременно сейчас? Цыцаркин вон каким орлом держится, разве он так держался бы, если бы с ним было... неблагополучно...»

Он встал и в раздумье зашагал дальше.

«...Безусловно, он держался бы иначе... Я трушу неизвестно чего...»

«...На теплоходе проехаться — это, в общем, мысль...»

«...А может, в Крым? Не в санаторий, а так... зажиточным туристом...»

«...Не дадут отпуск, недавно поступил... Ну, пусть дают без сохранения содержания...»

«...И я вот что сделаю — матери куплю хороший подарок...»

Он увидел улыбку матери и услышал её голос. И обнаружил, что стоит на Разъезжей, неподалёку от родного дома. Вон куда забрёл — машинально, по старой привычке...

С Нового года он не был тут, предпочитал заходить к матери в гор-исполком. Повидаешься, поговоришь и уйдёшь. Меньше укоров, меньше неприятных слов, не испытываешь неловких встреч с Ларисой.

Как ни убеждён человек в праве своего сердца любить и не любить, а есть неловкость в этих встречах.

«Да нет, Лариса ничего, — подумалось сейчас, в минуту сомнения и робости. — Славная, преданная... Самые близкие люди ссорятся... а потом мирятся...»

Он войдёт, они все за ужином. Он спросит: «Ну, как вы тут?» Они станут его ласкать, угощать. Мать от радости будет бегать, как девочка.

Засидятся, он соберётся уходить, они погрустнеют, и мать скажет: «Да ночуй, Геня. Куда так поздно? Трамвая уже нет». Пожалуй, он останется, поживёт с ними... под материнским крылом...

Он увидел дом издали. Окошки освещены, все дома, никто не спит — у нас всегда ложились поздно.

Как в прошлый свой приезд, он подошёл и заглянул в окно. Никого. Значит, ужинают на веранде. Он толкнул калитку и вошёл в тёмный двор. На веранде света нет. Невозможно знакомо щёлкнула щеколда калитки. Темнота пахла цветами табака.

Ни голосов, ни шагов. Между белеющими впотьмах табачными звёздами он прошёл дорожкой к задней двери. Она была незаперта. Но только он ступил на веранду, как голос тётки Евфалии закричал из комнат:

— Кто там?

— Я, я, — сказал, входя, Геннадий.

Тётка Евфалия подметала в столовой.

— О-о, где ж ты раньше был! — горестно сказала она, не дав ему поздороваться. — Только что уехала.

— Мать уехала? — переспросил он.

— Я же тебе говорю, только-только уехала.

— Надолго?

Евфалия бросила веник, распрямилась и подбоченилась.

— На курсы Цека Ве-Ка-Пе-бе, в Москву, — ответила она степенно. — А сколь там придётся задержаться, дело покажет. Здравствуй, Геня.

Она поцеловалась с ним.

— Ох, какой стал мужчина!.. Давно я тебя не видала. Не бываешь, отвык... Покушать дать? А девочки провожают... Я тебе яшшенку сделаю, со шпигом или без?

— Когда уходит поезд? — спросил Геннадий.

— Говорили что-то — в ноль часов сколько-то минут. Да не успеешь! Они машиной поехали...

Но он уже сбежал с крыльца.

Он не мог бы ответить — почему, но он должен был увидеть мать перед её отъездом!

Он шёл под крыло, а крыло ускользало...

Он мчался со всех ног. На Октябрьской посчастливилось поймать такси. Поезд уходил в ноль сорок. Геннадий выбежал на перрон за шесть минут до отхода.

И почти сразу увидел мать. Она стояла у вагона с букетом цветов и счастливо улыбалась ему: она его тоже увидела сразу.

— Вот он! — с торжеством воскликнула она, свободной рукой обвила его шею, притянула и поцеловала. — Я говорила — он придёт! Я тебя всё время жду.

Он поцеловал её горячо, по-настоящему тронутый. Она была приподнятая, праздничная.

— Мальчик, родной, ненаглядный мой, — быстро прошептала она ему в ухо, целуя.

— Молодец, Геня, что приехал проводить, — стальным голосом сказала Юлька. — Как твои дела? Всё в порядке? Ну, хорошо...

Юлька, Лариса, Андрей, ещё какие-то люди — должно быть, сослуживцы матери — стояли рядом. Геннадий поздоровался. «Мой сын!» — радостно говорила мать, представляя его незнакомым... Рука Ларисы была отчуждённая, боязливая. Он слегка сжал её пальцы; они неприятно отдёрнулись...

Посадка кончилась, отъезжающие входили в вагоны, какой-то гражданин с чемоданом выскочил, как ошпаренный, из здания вокзала и мчался вдоль поезда. Мать взяла Геннадия за руку и крепко сжала.

— Нагнись, — сказала она. — Генечка, я устала, что ты на отшибе. В одном городе и врозь, зачем, с какой стати? Лариса, возможно, выйдет замуж. Нагнись. Он хороший человек...

— Внимание! — сказала радио и отдало предотъездные распоряжения.

— А ты будешь с нами. Я больше так не хочу, — властно сказала мать, быстро простилась с провожающими и вошла в вагон.

В освещённые, с полуопущенными рамами окна было видно, как она прошла по вагонному коридору, заглянула в купе и положила букет на столик. Потом подошла к окну, поднялась на цыпочки, и поверх рамы взглянули её счастливые глаза.

— Вот как я вас вижу хорошо, — сказала она.

— Ты пиши, — сказала Юлька. — А то у тебя привычка — уедешь, и ничего даже не известно, как ты и что.

Свистнул паровоз, поезд тронулся.

— Папе передавайте привет, — сказала мать.

Провожающие пошли рядом с вагоном. Мать махала рукой, поезд пошёл быстрее, рука исчезла.

— Всё! Проводили! — сказал Андрей и взял Юльку под руку.

А Лариса взяла под руку незнакомо человека, некрасивого, с морщинами на лбу и с озабоченным выражением лица. «Уж не за этого ли собирается? — подумал Геннадий. — Убила бобра...»

— Геня! — окликнула Юлька.

Ей стало его жалко, что он один, когда они все вместе. Он нехотя приблизился к ней.

— Пойдём с нами, — сказала она. — Расскажи, как ты поживаешь.

— Да ничего, — пробормотал он, — а ты как?

— У меня экзамены с первого, — сказала Юлька. — Я подала в учительский. Не знаю, как будет. В этом году колоссальный конкурс.

Геннадия не волновали её заботы. Возбуждение его улеглось, на смену пришла усталость, захотелось спать. Он смотрел на Ларису, как независимо она идёт впереди об руку с незнакомым ему человеком, и думал: «А как страдала, когда я разлюбил. Говорила — жить не хочется...»

— Я на трамвай, — сказал он. — Пока.

Они стояли на привокзальной площади.

— Ты приходи, Геня, — сказала Юлька.

— А то ты без меня скучаешь, — поддел он.

Она прямо посмотрела ему в глаза.

— Нет, не скучаю, — сказала она. — Но мама и папа скучают. И ты с этим обязан считаться.

Трамвай только что отошёл, на остановке у фонаря никого не было. Перейдя площадь, Юлька оглянулась. В ней теснились неясные, расслабляющие чувства; она старалась победить их доводами разума. И уж все неразумной была боль, уколывшая её, когда, оглянувшись, Юлька увидела на ночной площади, под фонарём, высокую фигуру брата.

Глава одиннадцатая

Пожар

Хоронили полковника милиции.

Павел Петрович не любил похорон и остановился у края тротуара только потому, что погребальная процессия преградила ему дорогу. Потом он догадался, что хоронят того человека, о смерти которого ему рассказывал его сосед Войнаровский. Павел Петрович поискал Войнаровского среди людей, шедших за гробом; но его там не было.

Гроб стоял на грузовике, убранном красными полотнищами с чёрной каймой, и весь был закрыт венками. Грузовик двигался очень медленно. Впереди шли милиционеры с медными трубами. Они играли траурный марш Шопена. Сзади шли милиционеры без труб, правильными рядами, в ногу, хоть и медленно. Ноги в сапогах поднимались враз и глухо опускались в такт маршу.

За милиционерами, отступя, шла небольшая горсточка штатских, а в хвосте тащились легковые машины.

Трамвай остановились, из них смотрели люди.

Павел Петрович постоял на краю тротуара, пока длинная процессия с музыкой и высоко поднятым гробом в цветах не проплыла мимо; тогда он перешёл улицу и пошёл домой.

Он жил неподалёку, в новом доме, в одной квартире с Войнаровским.

У них было по комнате в этой двухкомнатной квартире, а передняя и кухня общие. Павел Петрович получил ордер почти одновременно с Войнаровским. Они познакомились и сдружились, насколько возможна дружба между людьми, которые мало бывают дома.

Войнаровский был идеальным соседом. Он был холостяк, как и Павел Петрович, но заботливо относился к быту, и все маленькие удобства, которые скрашивают холостяцкое существование, были введены по его инициативе. Он приобрёл штопор, консервный нож, электрический чайник и электрический утюг и предложил Павлу Петровичу пользоваться этими важными предметами. Он научил Павла Петровича гладить и внушил ему, что при любых обстоятельствах уважающий себя мужчина обязан выходить из дому со складкой на брюках; и они по очереди гладили брюки на кухонном столе, подстелив одеяло, которое купил для этой цели

Павел Петрович. Время от времени в их квартире появлялась дворничиха; она мыла пол и вытирала пыль. Она же стирала им бельё. Оба были чистоплотны и брезгливы, как старые девы.

Павел Петрович чувствовал к Войнаровскому приязнь и интерес не только потому, что тот помог ему благоустроить быт. Войнаровский был человек занятый. Хотя Павел Петрович не наблюдал Войнаровского в его служебной деятельности, но понимал, что эта деятельность требует смелости, решительности и подвижности ума. У Войнаровского были порывы: так, например, под Новый год, когда они только что перебрались в эту квартиру и у них даже мебели ещё не было, Войнаровский вдруг объявил, что без ёлки нельзя, как же без ёлки, бросился на ночь глядя искать по городу и принёс большое некрасивое дерево. Оно стояло в его комнате, он повесил на него какие-то шарики и говорил: «А всё ж таки приятно». А потом дворничиха уволокла дерево, засыпав лестницу хвоей.

Кроме того, у Войнаровского была биография, которую нельзя не уважать. Во время войны он по поручению партии работал в тылу врага, руководил партизанским отрядом. Павел Петрович, человек книжный и умозрительный (он самокритично считал себя таким), слушал вдохновенно, когда Войнаровский с беззаботной лёгкостью рассказывал ему эпизоды своей военной жизни.

Павел Петрович вошёл в свою комнату и положил на стол тетради, которые принёс с собой. Не у всех его учеников в вечерней школе с русским языком обстояло блестяще, и он занимался с ними на каникулах.

Затем Павел Петрович взял мохнатое полотенце, отправился в кухню и смыл с себя пыль и пот летнего городского дня. Для этой процедуры Войнаровский приспособил резиновый душевой аппарат, похожий по конструкции на клистирный.

Надев чистую рубашку и расчесав мокрые волосы детским гребешочком, Павел Петрович, помолодевший и похорошевший, уселся за свой стол и открыл том Ушинского. Он готовил кандидатскую диссертацию о вечерних школах.

Его жизнь была строгой и целеустремлённой. Когда-то, студентом, он был жестоко влюблён; девушка предпочла другого, футболиста с могучими ногами. Она вышла замуж за футболиста, хотя он только и умел, что гонять мяч по полю.

Когда-то Павел Петрович писал стихи и даже напечатал несколько. По молодости ему казалось, что у него талант: удивительно легко приходили рифмы... Став старше, понял, что нового слова в поэзии сказать не может. Тогда он запретил себе рифмовать: он слишком любил поэзию, чтобы оскорблять её версификаторством.

(Впрочем, он поощрял стихотворные занятия своих учеников, считая, что это способствует их эстетическому развитию, и сам руководил молодёжным литературным кружком.)

Серьёзно относясь к жизни и к себе, он соглашался только на полноценные вещи, что бы то ни было — работа или чувства. После той юношеской любовной неудачи его ни разу не посетила любовь всепоглощающая; а всякая другая казалась ему, воспитанному на высоких литературных образцах, не стоящей того, чтобы ей отдаваться.

У Куприяновых он бывал потому, что ни в одном из знакомых семейств его не встречали так душевно и не были к нему так внимательны; а человек бессемейный ценит эти вещи. Там его окружали симпатичные лица. Там Павел Петрович, освоясь, говорил на любимые темы — об искусстве, о воспитании, и его внимательно слушали. С Ларисой Павел Петрович ощущал себя, как со своими учениками: очень взрослым. Её суждения о поэзии были ребяческие, школьные. Её влюблённости он не замечал. Он

проводил в этой семье час-полтора, пил чай и уходил к своей диссертации. И в этот вечер он занимался ею.

Он читал, думал и делал выписки, а тем временем день догорал, по стене кирпичного дома, что напротив, всё выше поднималась вечерняя тень, огненный кирпич становился серым, ярус за ярусом потухали окна, воспламенённые закатным солнцем, и наконец оно ушло за ту крышу, под когорой сидел Павел Петрович. Читать стало темно. Не отрывая глаз от книги, он протянул руку и зажжёт настольную лампу под зелёным абажуром.

Хлопнула входная дверь — это Войнаровский, сосед. «Больше не придётся работать», — подумал Павел Петрович. Когда Войнаровский бывал вечером дома, они чаёвничали вместе.

И действительно, Войнаровский вскоре постучался и вошёл, говоря: — Кушать подано.

В одной руке у него был огурец, и он с хрустом грыз его белыми зубами. Лицо у него молодое, голубоглазое, ясное, с девичьим румянцем.

— Идём, идём... пастырь. Есть хочется зверски...

— Почему пастырь? — спросил Павел Петрович, прибирая свои бумаги.

— А чем не пастырь? Ну, сеятель, если вам больше нравится. Сеете разумное, доброе... Чистенький: боретесь с пережитками высокими словами высокой литературы; а мы засуча рукава это дерьмо вычерпываем, пережитки... в их вещественных проявлениях. Как у Маяковского? «Я, ассенизатор...»

— «И водовоз».

— Вот-вот. Именно. Это про меня.

Они перешли в кухню.

— Это по какому же поводу? — спросил Павел Петрович, увидев великолепие стола.

На хирургически-чистой клеёнке было наставлено множество яств: копчёный сиг, холодное мясо, холодные цыплята, кильки, огурцы, клубника. Всё было аккуратно разложено по тарелкам, хлеб нарезан ломтиками. В центре стояла бутылка водки.

— По одной для начала, — сказал Войнаровский, наполняя рюмки. — Сига особенно рекомендую, упитательная рыбка.

— Да что такое? — допытывался Павел Петрович. — Вы именинник?

— Поводов много, не знаю, с какого начать. Повышение по службе получил — раз. В звании повышение выходит — два.

-- Значит, будете майором?

— Значит, майором.

— Большое звание для вашего возраста, — заметил Павел Петрович, который только к концу войны, после безупречной политотдельской службы, дослужился до лейтенанта.

— Да должность такая, что капитану занимать неудобно, вот и представили. Назначен на место, которое покойный полковник занимал, видите, какой поворот.

— Не вздумайте уверять меня, — сказал Павел Петрович, — что вам это не нравится. Вам всё это очень нравится — и звание и место. За дальнейшие ваши успехи.

Они чокнулись.

— Приглашаю вас на новоселье, — сказал Войнаровский.

Павел Петрович глотнул и даже забыл закусить.

— Как на новоселье?

— Переезжать придётся, — сказал Войнаровский. — По должности положена и квартира. Здесь мне теперь жить нельзя.

— И скоро переезжаете?

— Завтра утром приедут за вещами. Секретарь сказала, в восемь утра,— у меня теперь свой секретарь.

Он оглядел маленькую кухню, остановил взгляд на душевом агрегате и на расписном украинском кувшинчике — глечике, стоящем на полке.

— Душ я вам оставляю. А хотите глечик? На память. Учтите — он с Сорочинской ярмарки. Я к вам привык, вы знаете?

— Неожиданная новость,— сказал Павел Петрович.

Он имел в виду не то, что Войнаровский к нему привык, и не то, что глечик с Сорочинской ярмарки, а то, что им приходится разлучаться, когда они так прекрасно устроились вдвоём и живут душа в душу.

И он подумал, что у него вряд ли будет другой такой сосед, как Войнаровский, и как много значит для холостяка иметь по соседству, в квартире, подходящего человека.

— Я и решил,— сказал Войнаровский,— что нам с вами надо на прощание выпить. Вы не обижайтесь, я дам вам дружеский совет: вам следует жениться, Павел Петрович.

— А вам? — спросил Павел Петрович.

— Мне тоже,— серьёзно ответил Войнаровский.— Но у меня неудачно складываются обстоятельства... — Он потёр рукой лоб.— А у вас, я слышал, обстоятельства складываются удачно.

— Какие, с чего вы взяли?

— Вас видели в театре с женщиной. Женщина хорошая. Муж—дрянь, а она хорошая женщина.

Павел Петрович начал краснеть.

— Это совершенно не то... Совершенно не те отношения.

— Да? А вообще вы думали о женитьбе?

— Думал.

— И к какому пришли заключению?

— Я пришёл к заключению, что жениться надо в том случае, если в человеке ощущаешь необходимость.

— Золотые слова,— сказал Войнаровский задумчиво.

— Если без какого-то человека не мыслишь себе существования. Тогда — да. Если же вы можете существовать без человека и всё-таки женитесь, то это обман, самообман, не сто́ит говорить.

— Ну, не сто́ит, так и не будем,— сказал Войнаровский.— Но жаль: я бы хотел вас выдать замуж. Вы засиделись в девушках.

— А вы?

— Я моложе вас. И у меня — особь-статья, я уже сказал... Что же мы не пьём? Помянем моего полковника. Очень хороший был человек, хотя и бездарный в нашем деле.

— Почему бездарный? — спросил Павел Петрович, закусывая сигом.

— А почему люди бывают бездарны? Не на своём месте находилась.

— Как же он держался?

— На помощниках, как все такие начальники держатся... Он по натуре сеятель был, как вы. Тоже, между прочим, лекции читал, у нас на курсах, сержантам, очень любил... И детей любил до чрезвычайности.

— А вы любите детей?

— Кто ж их не любит. Только я иначе, чем он. Без — как бы сказать — без слюнотечения. Я их уважаю.

— Конечно. И я уважаю.

— Опять-таки не так. Я за ними признаю ответственность. Понимаете, нормальный разумный мальчишка не должен чувствовать себя растением, которое поливают, укрывают рогожами и так далее. Вы и большинство педагогов стоите над ним, как садовники. А он человек и должен чувствовать себя человеком. Он должен разговаривать с вами, как мужчина с женщиной.

— И девочки тоже. Девочку особенно полезно научить, чтобы она разговаривала с мужчиной, как мужчина. Вообще говоря, это легко. Ребята терпеть не могут, когда с ними обращаются, как с детьми.

— Ну, это как когда. Они народ хитрый. Сплошь и рядом играют на своём возрасте, это я вам говорю из личной практики.

— У вас очень однобокая практика.

— Какая есть, Павел Петрович... Да, так вот к покойному полковнику они в таких случаях и обращались. Прорвётся к нему, бывало, шкет — они ведь к кому угодно прорвутся, — скажет детским голосишком: «Дяденька!» — у полковника сразу сердце тает: «Что тебе, детка?» А за деткой уже чёрт знает сколько приводов числится... Вы не обратили внимания, за гробом штатские шли. Такие приличные молодые граждане. Это вот они самые, которых он вернул на путь гражданства. Пришли воздать последний долг.

— А вы говорите — он был бездарен.

— Я вам сказал, что он был хороший человек и сеятель, а в нашем деле этого мало. Что детишки!.. Эх, Павел Петрович, вы не представляете, с каким навозом иной раз приходится дело иметь. Уж как я себя от чувствительности отучаю... и то шарахнулся, раскрывши одно... обстоятельство. Кстати, полковник, вполне вероятно, из-за этого обстоятельства и погиб. Разволновался, сосудики и не выдержали. Ассенизаторам волноваться нельзя... А давайте выпьем за ассенизаторов!

На глазах у него показались слёзы. Павел Петрович слегка удивился: он не замечал за Войнаровским сентиментальности.

— Когда-нибудь, — сказал Войнаровский, держа рюмку в руке, — нам скажут: ваши услуги больше не требуются; потрудитесь переквалифицироваться. Я стану врачом-психиатром... А может, и психиатры будут ненужны? Тогда я стану учителем литературы... или даже музыки. Садсвиком! Там посмотрим. Вы верите, что это будет уже скоро?

— Да! — сказал Павел Петрович.

— И я.

И они выпили за то, чтобы это было скоро.

— А пока что, — сказал Войнаровский, — будем делать наше дело. Когда меня назначили по этому ведомству, я, надо сказать, смалодушничал: отказывался, умолял, даже поплакал ночью — вот, мол, вся цена, какую я себе заработал...

— А теперь вам нравится.

Войнаровский ответил не тотчас. Он внимательно потрошил кильку, обдумывая ответ.

— Сосудики у меня, во всяком случае, не лопнут, — сказал он. — А насчёт «нравится», так что ж — человеку должна нравиться его работа, иначе это не жизнь... да и не работа. Полковник нашу работу не любил — и работал худо, и жизнь была без сладости.

Он выпотрошил кильку, отрезал у неё голову и хвост и отодвинул их на край тарелки.

— Пришлось мне недавно беседовать ещё с одним пастырем, — сказал он, — с пастырем совсем по другой части, с батюшкой... священником православной церкви. Передовой такой батюшка, на конференцию сторонников мира ездил. Энгельса читал, очень осуждает позицию Ватикана... Так он красиво выразился: «Я, — говорит, — сопровождаю уходящую из мира идею, в этом моя общественная функция...» Да. А я сопровождаю уходящий порок. Только он сопровождает с крестом, а я с метлой и шлангом. Ну, и нравится! Ну, и что? Ведь интересно! Вот, к примеру: один рабочий — ваш ученик, кстати: я у вас на столе тетрадку видел с его фамилией, — выиграл он, значит, по займу. Некий Икс купил у него эту облигацию по чёрной таксе, за полуторную цену, — приём не то

чтобы распространённый, но достаточно нам известный. Не оригинальный. Вы, конечно, ничего не понимаете.

— Ничего не понимаю.

— Вам и положено не понимать. Зачем вам понимать такую гадость. А дело примитивное. Наворовал у государства, а тратить боится. Подозрения боится. Люди-то спросят: откуда вдруг такие средства? С чего?.. Он ведь не академик, не герой, не лауреат, а всего-навсего заведующий базой... Вот он и предъявит облигацию: дескать, выиграл десять тысяч. Звон поднимет на весь город! И под видом десяти реализует все пятьдесят, а то и больше, из того, что наворовал. Считать-то его расходы кто будет? Можно и сто тысяч под видом десяти реализовать умеючи... Ваш ученик заявил в органы.

Павел Петрович слушал, мучительно наморщив лоб.

— Наши сотрудники видели этого мальчугана, заходили к нему домой, — он в этой истории не запятнан, честь и хвала садовникам... Нашли мы по его описанию этого Икса. Тянули нитку и нашли... Полковник, горячая душа, хотел его взять сразу, но я не дал. Отговорил. Смысла не было: облигацию Икс припрятал, сидит тихо, как клоп в щели, да и облигация не улика, доказать тяжело... Шуму наделаешь, а доказательств настоящих нет — и ты с носом, а казнокрад гуляет на воле... И чуяло моё сердце, вот чуяло и чуяло, что нитке не конец! Нет, думаю, кроме Икса, должен тут быть и Игрек. Непременно должен быть, не могла обойтись без Игрека! Стал тянуть дальше, на свой страх и риск, — полковник против был... Тянул, тянул...

— И что же? — спросил Павел Петрович.

— ...И шархнул.

— Нашли Игрека?

— Потому и шархнул, что нашёл.

С загоревшимися глазами Войнаровский поднял рюмку.

— Пойдите! — сказал Павел Петрович. — Чем же кончилось?

— Ещё не кончилось. Но будет конец. Личное счастье Гната Войнаровского горит как солома, но законность восторжествует. Да будет так.

— Горит личное счастье? — переспросил Павел Петрович. — Почему?

— Да будет так! — повторил Войнаровский, и они выпили.

— А откуда вы знаете, — спохватился Павел Петрович, — что я встретил похороны? Я вас там не видел.

— Я был.

— А я вас не видел.

— Я в форме был, вы не узнали.

В самом деле, когда Войнаровский надевал форму, Павел Петрович с трудом узнавал его. Все его движения менялись, менялась походка и даже выражение лица.

— Вы тоже для нашего дела никуда не годитесь, — сказал Войнаровский. — Я бы вас и в секретари не взял... За ваше здоровье!

Павел Петрович выпил за своё здоровье, и ему показалось, что Войнаровский гордится перед ним и кокетничает, и захотелось сбить с него спесь и поставить на своё место.

— Вы преувеличиваете ваше значение, — сказал он, помрачнев, — а оно ничтожно, уверяю вас. Послушать вас — в вашем ведомстве решаются все вопросы гражданской морали. Глупости. Не вы устанавливаете законы. Не вы устанавливаете нравственные критерии. Подумаешь, десяток парней, идущих за гробом полковника! А десятки миллионов воспитываются помимо вас, без вашего участия.

— Да разве ж я... — начал Войнаровский.

— Их воспитывают садовники! — повысил голос Павел Петрович и даже встал со стула. — Сеятели, да! Великие и малые сеятели и садов-

ники!.. Вы топчетесь на маленьком поле, маленьком, паршивом сорняковом поле. И всё. Всё, Войнаровский! Так что... Посмотрите, какое странное небо.

Увлёкшись своим монологом, он не сразу заметил, как тёмное кухонное окошко побледнело, порозовело и стало наливаться малиновым светом. Он, собственно, и заметил и смотрел на окошко, но не придал значения этим переменам, и вдруг они дошли до его сознания:

— Пожар!

Войнаровский обернулся, и в это время в его комнате зазвонил телефон. Войнаровский вскочил и побежал на звонок. Павел Петрович подошёл к окошку. Малиновый свет густел, дыма не было видно — горело далеко, — и было тихо, только снизу, из тёмного двора, доносились встревоженные голоса людей. Войнаровский вбежал, на бегу натягивая плащ.

— Павел Петрович, выпивайте, закусывайте, я поехал, — сказал он, задыхаясь от возбуждения. — У меня вон какие дела, база горит, ловчат сволочи, спокойной ночи!

С этими словами он выскочил из квартиры. Павел Петрович не стал выпивать и закусывать. Он надел пиджак и пошёл посмотреть на пожар. После войны он не видел пожаров.

Он не знал, что за база и где она находится. Дворничиха, дежурившая у ворот, объяснила, что это на берегу, против городской больницы.

На улицах кучками стояли люди и смотрели на небо. Многие шли в ту же сторону, куда и Павел Петрович.

Пронеслась длинная пожарная машина. На красном небе за клубились, наваливаясь одна на другую, чёрные дымовые тучи. Потом они стали опадать, и красный свет стал опадать — пожар кончился. И так как Павел Петрович не сел на трамвай, а идти было долго, то он прибыл на место происшествия, так сказать, к шапочному разбору.

По переулку, ведущему к реке, трудно было пройти, столько было людей. Здесь горько пахло дымом и щипало глаза. Люди говорили, что выгорела только середина здания и товары, а само здание цело — старинное, толстенное каменное здание. Много говорили о том, какая тревога была в больнице, когда напротив вспыхнул пожар, но больше всего, как всегда в таких случаях, толковали о причинах пожара и высказывали разные предположения на этот счёт.

У середины переулка люди стояли тесной толпой: дальше милиция никого не пускала. Павел Петрович постоял в толпе, но ничего не увидел, кроме больших тёмных деревьев больничного сада с правой стороны. По ту сторону милицейской цепи был Войнаровский, он что-то делал там непонятное Павлу Петровичу и большинству людей... С той стороны слышалась хрипая сирена, толпа, сжавшись, раздалась надвое, и по узкому проходу выбралась, беспокояно сигналив, машина скорой помощи. Опять слышалась сирена, уже с другой стороны, «Победа» с брезентовым верхом проплыла к месту пожара, милиция её пропустила, и чей-то голос сказал, что приехал Борташевич.

Павлу Петровичу стало скучно стоять в толпе и ничего не видеть. Он подумал, что лучше бы он поработал у себя за столом, чем ходить по пожарам. Он ещё даже не заглянул в тетради, которые днём принёс домой... Он представил себе светлые классы, где протекала его деятельность, лица своих учеников и учениц, их глаза, с доверием и ожиданием устремлённые на него, — и от души пожалел Войнаровского. После того, как он прошёлся, ему больше не казалось, что Войнаровский перед ним гордится... Он выбрался из толпы и пошёл прочь от переулка, пахнущего гарью и смрадом. Ни за что на свете он бы не хотел быть ассенизатором.

Леонид Никитич Куприянов шёл со станции вместе с Квитченко.

Квитченко — его помощник и дорогой человек: он научил Леонида Никитича петь. Пели русские и украинские песни; пытались, по выражению Квитченко, поднимать и оперные дуэты. Весною записались в хоревой кружок при железнодорожном Доме культуры. Леонид Никитич, идя записываться, беспокоился: Квитченко хорошо, тенора ценятся; а у Леонида Никитича баритон, самый распространённый среди железнодорожников голос; что, как не примут, скажут: «Нам баритонов девать некуда». Сошло, приняли. Леонид Никитич с увлечением посещал спектакли.. Летом кружок не работал, Квитченко приходил петь на Разъезжую. Дома было тихо. Юлька готовилась к экзаменам в институт. Лариса работала на практике в пригородном посёлке. Дорофея после курсов прямо из Москвы поехала в Сочи, в отпуск, — дали путёвку...

Так вот в тот вечер, когда приключился пожар, Леонид Никитич, воротясь из рейса и приняв душ, шёл домой. Вдруг небо осветилось, стало розово разгораться, люди заговорили у калиток и в окнах.

— Горит,— сказал Леонид Никитич.

— Где ж бы это горело?— спросил долговязый спокойный Квитченко.

— Не на товарной ли базе, — сказал Леонид Никитич, всматриваясь в том направлении, где розовый цвет густел и переходил в багряный.

— Точно, база горит! — сказали у калитки.

Промчалась пожарная машина.

— Потушат,— сказал Квитченко.

— А ясно, потушат,— сказал Леонид Никитич.

— Ну, пока,— сказал Квитченко. Он дошёл до своего переулка.

Леонид Никитич зашагал дальше один и вспомнил, что рассказывала Дуся,— при товарной базе находится автотранспортная, где работает Геннадий. И увидел Леонид Никитич, что подходит к дому, где живёт Геннадий. Дуся как-то показала ему этот дом, Леонид Никитич часто ходил мимо, но зайти не тянуло: сын совсем откололся, с отцом при встречах разговаривает обидно-насмешливо, женщина там неподходящего возраста, ну их к богу... Но сейчас Леонида Никитича что-то потянуло зайти. «Дуси нет, случись что с парнем, мы узнаем последние», — объяснил он своё желание увидеть сына и посмотреть на его житейскую бытё. И, человек скорых решений, он подошёл к воротам и спросил у стоявших там людей, где квартира Любимовой.

Отворила милостивая женщина в светлых локонах, привлекательно одетая,— глянула ему в лицо и испугалась. «Узнала; Геня-то на меня похож как вылитый».

— Геннадий дома?

Она молча отступила, он вошёл за нею в переднюю. Испуганно глядя, женщина сказала:

— Его нет...— И, спохватившись: — Да вы зайдите... Зайдите, пожалуйста.

Она взяла кепку из его рук и ввела его в комнату. Тюлевые занавески. Вышитые подушечки. Бумажные розы на комод. Домовито.

— Садитесь, пожалуйста. Вы генин папа будете? — спросила женщина с нерешительной приветливостью, а голос её дрожал от волнения.

«Любит, — определил Леонид Никитич. — Любит нашего оболтуса».

— Точно, папа,— подтвердил он.— Так нет его? Там у них, говорят, загорелось на базе, что ли,— добавил он нескладно, чувствуя неловкость от того, что не шёл, не шёл к сыну и вдруг явился незванный и без всякого дела. Женщина взглянула на розовое окно и вскрикнула:

— Горит? На базе? Что вы говорите!.. Да Геня не там. В выходном костюме вышел, значит — в гости или в кино... А может, это и не на базе пожар. Может, знаете, это в порту. А может, знаете, какая-нибудь

бочка с бензином, только и всего,— рассуждала она, не то занимая Леонида Никитича, не то говоря что попало, чтобы унять своё волнение.

— Может, и бочка,— успокоительно сказал Леонид Никитич, видя, как высоко, толчками, поднимается её грудь. «Бойтся, чтобы не увёл от неё Геньку. За счастье своё дрожит...» — Извиняюсь — имя-отчество...

— Зинаида Ивановна.

— Будем знакомы, Зинаида Ивановна. Ну, как тут Геня живёт?

— У него всё благополучно,— заторопилась она.— Всё слава богу. Думал вот на курорт съездить, да отпуска не дают, срок не вышел, недавно служит... Он, может, скоро придёт, вы подождите... Чайку не желаете?

— Нет, благодарю,— сказал Леонид Никитич, который терпеть не мог пить чай в гостях, потому что там всегда давали жидкий.

— Может, желаете посмотреть генину комнату?

— Ну, покажите,— согласился он, не зная, о чём с нею говорить.

Она отворила дверь в соседнюю комнату — там тоже были подушечки, занавесочки и бумажные розы — и сказала благоговейно:

— Вот тут Геня живёт.

«Раба его, совершенная раба»,— подумал Леонид Никитич. Вслух похвалил ласково:

— Хорошая комнатка, очень хорошая комнатка.

— Наша тeneвая,— говорила Зинаида Ивановна,— а эта, обратите внимание, на юго-запад, такая солнечная, сколько солнца в городе есть, оно всё тут. Летом, конечно, не особенно приятно, я предлагала Гене поменяться временно, но ему в нашей неудобно, потому что возле кухни...

Её, видимо, ободрил его ласковый тон, дыхание у неё стало ровнее, и она без умолку говорила о Геннадии. Леонид Никитич сидел против неё на диване и слушал, поддакивая: «А! Да? Ну-ну».

— Геня добивается, чтоб дали отпуск хотя бы без сохранения содержания.

(«Ясно, зачем содержание? Дуся семь шкур с себя снимет, только он ей намекни...»)

— Расстроен, что не дают. Очень хочет отдохнуть...

— Это от чего же отдохнуть? — сорвалось у Леонида Никитича.

Зинаида Ивановна умолкла, приоткрыв свой свежий рот, в котором поблёскивал золотой зуб.

— С чего он так устал? — ворчливо допытывался Леонид Никитич.

То он было встревожился за сына, услышав о пожаре на базе; а то стало досадно, что сын разгуливает где-то в выходном костюме, когда его предприятие, может быть, горит. И первое и второе чувства были нелогичны; но когда же чувства бывают логичными?

— Переработался, что ли?

— Так ведь это, знаете, так говорится — отдохнуть, — сказала она растерянно. — Едет человек на курорт, говорят: поехал отдыхать.

Он коротко засмеялся:

— Так говорится... Ну-ну.

(«Славная баба, а дура. Окрутил её Генька — лучше не надо».)

Стало её жалко, решил поучить уму-разуму.

— Не меняется Геннадий, — сказал он, встав и похаживая по комнате. — Вижу, нисколько не меняется — каков был, таков и есть. Удивительно! Будь мы бывшие помещики, или капиталисты, тогда бы понятно. А ведь я, чтоб вы знали, с четырнадцати лет в депо, мать его чернорабочая была, а он типичный эксплуататор, Зинаида Ивановна, по всем вашим высказываниям.

Она слушала со вниманием, её небольшие серо-голубые глаза следили

за ним неотступно, и на простоватом румянном лице выражалась усердная работа мысли.

— Ну что вы, — сказала она, улыбнувшись. — Какой же он эксплуататор. Что ж тут плохого, если ему на курорт хочется? Это ведь всем хочется. Ничего в нём такого нет, — закончила она с горячностью.

— Добрая вы душа, Зинаида Ивановна. А вот я с ним ужиться не мог. Не мог перенести его эксплуататорской сущности! Попирает, понимаешь, мать, попирает жену и меня попирает норовит! Мы с ним разошлись... не совсем по-хорошему. Что поделаешь? В семье не без урода...

Зинаида Ивановна в изумлении всплеснула руками.

— Господи!.. Какой же он урод? Такой красавец!..

— Отношение его к людям уродливое.

— Какое особенное отношение? Жену каждый может разлюбить, вон сколько в газете объявлений о разводах, — сказала она и покраснела. — Немножечко эгоист он, это правда, так это от красоты: женщины избаловали. — Покраснела ещё гуще и потупилась.

— Вот вы его этим ещё хуже портите, — строго сказал Леонид Никитич, остановившись перед нею.

— Чем? — спросила она, подняв взгляд, полный тревоги.

— Этим самым. Защитой. Геннадий нуждается не в защите, а чтобы его держали в ежовых рукавицах, вот он в чём нуждается. Поскольку вы старше... («Ффу! Это не нужно было говорить!») — Попытался внести поправку: — Поскольку он моложе вас...

Серо-голубые глаза налились слезами, но Леониду Никитичу уже не было остановки.

— Вы должны повлиять, чтобы он переменял своё поведение. В отношении семьи и так далее.

Леонид Никитич хотел сказать, что от неё зависит сделать Геннадия более внимательным к людям и что от этого ей же, Зинаиде Ивановне, в первую очередь будет польза. Но Зинаиде Ивановне подумалось, что от неё хотят, чтобы она уговорила Геннадия вернуться к жене. Эта молоденькая жена, существующая так близко под защитой его родных, была для Зинаиды Ивановны страшнее атомной бомбы. Зинаида Ивановна закрыла лицо руками; её круглые плечи затряслись. Леонид Никитич расстроился и сказал:

— Напрасно вы расстраиваетесь, расстройством тут не поможешь.

Он увидел её бурые от марганцовки и иода пальцы, с короткими ногтями, пальцы рабочего человека... «И чего я лезу, какой прок?..»

Она разняла пальцы, открыла мокрое, несчастное, враз поплёкшее лицо, сказала с жаром:

— Чего вы хотите?! — и зарыдала в голос.

— Да Зинаида Ивановна, да голубушка, да хватит, честное слово! — взмолился Леонид Никитич. — Ну, я извиняюсь, ну, не будем больше на эту тему!

Она словно ждала, чтобы с нею заговорили ласково, перестала рыдать и высморкалась. Ещё всхлипывая, достала из шкафа пузырьёк, накапала в рюмку валерьянки, выпила и улыбулась Леониду Никитичу виновато и доверчиво, будто они отлично объяснились и между ними теперь полное понимание. Весёлым голосом опять предложила чаю, потом спросила: «А может, желаете, я за водкой схожу?» Но ему было совестно, грустно, и он устал. Да и поздно уж было. Он ушёл.

Пожар, как они с Квитченко предсказывали, уже потухал. Ничто не мешало Леониду Никитичу до самого дома думать о сыне, о Зинаиде Ивановне, жалеть её, жалеть Ларису... Сумбурно и горестно было на сердце. Но вот он дома, он ложится на широкую постель с мягкими подушками. Хорошо! Законное дело — после дежурства отдохнуть всласть!

Он спит ночь и утро — до полудня. Домашние стерегут его сон. Ставни в доме закрыты, в узких полосках света, врезающихся между створками ставней, ярко вырисованы — где лист фикуса, где тоненькие рюмочки, стайкой сгрудившиеся за буфетным стеклом. От рюмочек брызжут на стены радужные зайчики. Евфалия, разутая, ходит по прохладному полу, чуть поскрипывая половицами; осторожно двигает посудой в кухне. Стучит щекотка калитки, Евфалия спешит на веранду навстречу соседке, пришла соседка вернуть должок — стаканчик уксуса...

— Хозяин спит, — предупреждает Евфалия вполголоса, и они шепчутся на веранде. Из спальни слышится кашель. Юлька достаёт из буфета отцовскую большую чашку с коричневой трещиной и накладывает варенье в вазочку. Леонид Никитич выходит из спальни, благодушно спрашивая:

— Ну, что нового, семья?

Во дворе у крыльца уже шумит самовар с высокой трубой: дома Леонид Никитич не признаёт чая из чайника, чайник — это для рейса...

С годами, постепенно, сложились привычки. Леонид Никитич требует, чтобы эти привычки уважались. Глава, работник, кормилец любит чай из самовара, так потрудитесь, будьте любезны, обеспечить ему самоварчик!

Он пьёт крепкий чай, закусывает вареньем, выходит во двор посмотреть, где что расцвело... Под вечер приходит Квитченко. Они садятся на заднем крылечке, в тени, над душистыми прядками с табаком и резедой, и поют: про гарбуз и дыню — гарбузову господиню, и про тройку удалую, и про дождик, — много хороших песен поют.

Глава двенадцатая

Я люблю, ты любишь, он любит

Катя Борташевич шла босиком по пыльной дороге, лицо её горело от жары и негодования. Этот отвратительный агроном опять приехал к ним на участок, где в нём совершенно не нуждались, специально приехал, чтобы на прощание ещё раз опоганить Катю своими взглядами и своим присутствием. Он давно повадился являться туда, где работала студенческая бригада, и хотя почти не разговаривал и стоял в стороне, но Катя, работая, всей кожей чувствовала, как по ней ползает его взгляд. И из себя выходила при мысли, что и другие это видят и связывают его с нею, — что за мерзость! Разумеется, она ни с кем на эту тему не говорила, и когда ребята однажды стали подшучивать, что агроном в неё врезался, она закричала: «Я сию же минуту уезжаю, если не прекратится этот разговор!» Девчата вступились за неё, и разговор прекратился.

Сегодня вышло особенно гадко, потому что из-за жары они все разделись и работали налегке, в трусах и майках. Очень хорошо было от сознания, что недаром провели здесь две недели и недаром ели колхозный хлеб, — сено убрано по-хозяйски, со знанием дела. На радостях запели «Широкá страна моя родная», напрягая голоса изо всех сил, чтобы песня дальше неслась по простору; поднялся смех, веселье; Катя чуть не зарыдала от злости, когда из-за горки вдруг выехал на лошади агроном.

До сих пор она не находила в наготe ничего стыдного. Ей нужно, чтобы к её коже прикасался ветер, солнце, вода; она без этого не может существовать. Ни зноя, ни холода не боится и привыкла ходить полуобнажённой по городу во время спортивных парадов. Бедняги, не участвующие в парадах, стоят шеренгами по краям тротуаров. Стоят со своими немощами, одышками, мозолями, флюсами и ещё чем-то, о чём Катя не имеет представления; и смотрят на счастливых, гордо несущих напоказ

свои стальные, лёгкие, без единого изъяна тела. Катя знает, что её тело прекрасно. Но никто не имеет права рассматривать его такими глазами, как этот агроном. Он вообще омерзительный — старый, пухлый и дряблый, руки у него, как подушки.

— Могу подвезти кого-нибудь, — сказал он неуверенно, когда студенты сложили последний стог и собрались уходить. — Вы не устали, Катя?

Не наглость ли? Катя сделала вид, что не слышала, и повернулась к нему спиной. Юра Смолян, который из всего умеет сделать цирк, сказал:

— Я устал. Подвезите меня.

И расселся впереди агронома, а проезжая мимо Кати, подмигнул ей и оскалил зубы. Она засмеялась — она не умеет не смеяться, когда смешно, — но гнев клокотал в ней...

Пыль на дороге была глубокая, тёплая, такая тонкая, что вздымалась при малейшем прикосновении, как серая кисея. Знойный воздух стоял недвижно. Солнце жгло. Студенты шли, скинув обувь и неся на плечах грабли. Агроном ехал рядом и придумывал, что бы сказать ещё.

— Во-время убрали, гроза будет, — сказал он, робко обращаясь к Кате. — У нас грозы грозные — как пойдёт кататься Илья-пророк...

Какой ещё Илья-пророк? Всё это говорилось для того, чтобы оскорбить Катю.

Но тут все, кто шёл пешком, то есть все, кроме агронома и Юры Смоляна, пустились бежать, и Катя с ними: завиднелись верхушки колхозного сада. Сад лежит в балке, с поля его не сразу увидишь; а внизу, в балке, бьёт ключ — от него и название деревни: Ключ. Редко кто, идя этой дорогой, не спустится в балку напиться, уж очень хороша вода: чистая, как хрусталь, холодная, как лёд, — говорят, целебная.

Как только вошли в сад и стали спускаться по склону, так исчезла духота, жар стал лёгок: хоть не много тени давали яблони, густо облепленные плодами, а всё же тень; а главное — прекрасный холодок, которым тянуло снизу, от ключа.

Яблони сходят вниз правильными рядами, стволы их ярко выбелены, широкие междурядья расчищены; но кругом ключа траву не косят, она растёт там путано и буйно, защищая источник от солнца; такая в ней сила, что и не вытопчешь её — примята, распрямляется и растёт себе дальше.

Сделали несколько шагов по этой мокрой, холодной, могучей траве — сразу ноги, покрытые пылью, отмылись добела. С шумом раздвинулись громадные, изорванные по краям листья лопуха, и вот он, ключ: бежит из-под пышного бузинного куста по беленькому песку и, торопливо журча, устремляется в каменный желобок.

— Прелесть какая! — сказала Катя, вставая с колен с мокрым лицом. — До чего вкусно, просто после такой воды газированную с сиропом противно вспомнить...

Они пошли дальше через сад, и уже ничто не портило Кате настроения, — в агрономе, повидимому, выиграла здоровая амбиция, он поехал полем.

Деревня была пуста, все на работе. Жена агронома развешивала на плетне агрономовы рубашки, вышитые крестиком. Она была некрасивая, старая. «Несчастливая женщина! — подумала Катя. — Стирать рубашки уроду и развратнику!..» Она поклонилась жене агронома с подчеркнутым уважением, показывая свою женскую солидарность и сочувствие.

— Что рано с работы нынче? — спросила жена агронома.

— Закончили! — хором ответили студенты. — Уезжаем!

— Вот как, — сказала жена агронома и посмотрела на Катю. — Мало погостили у нас.

— Мы ещё приедем! — пообещали студенты. — Мы девчат к вам пришлём лён трепать.

— Присылайте, — сказала жена агронома, улыбаясь неживой, насильственной улыбкой, и опять посмотрела на Катю.

«Она ещё ревнует, — брезгливо думала Катя, идя по улице с граблями на плече. — Хорошо, что мы уезжаем».

Если бы не эта мелкая история, всё было бы прекрасно. Сколько светлых картин увезёт отсюда Катя, картин на всю жизнь! Эти тёплые вечера с колхозными девчатами на клубном дворе, волейбол, гармошка, песни (здесь «Туманы мои, растуманы» поют ещё лучше, чем хор Пятницкого); эти свежие ночи на сене... И сознание, что ты не лишняя во всенародной страде, любую можешь осилить работу и любому с гордостью показать свои руки...

Но даже последний вечер был отравлен бестактной, назойливой влюблённостью агронома. Когда в школе, где жили студенты, собралась молодёжь из разных деревень и пришли председатель колхоза, и бригадир, и инструктор райкома партии, — агроном оказался тут как тут, без него не обошлось: явился и пристроился рядом с Катей. Тоже что-то говорил о колхозном производстве, но Кате казалось, что все понимают, что он пришёл смотреть на неё и торчать возле неё, и стыдятся за них обоих. Ей стало досадно, что она разрядилась в шёлковое платье и лакированные туфли: ещё вообразит, что ради него... Чтобы уйти от агронома, она предложила сыграть прощальную партию в волейбол. А тем временем к школе подали грузовики со скамьями. Студенты покидали туда свои заплечные мешки и, простясь, стали рассаживаться. И тут очутился у колеса агроном, он смотрел на Катю своими бесстыдными, жалкими, отчаянными глазами и протягивал руку, чтобы помочь ей. Она взялась за борт кузова, подпрыгнула, коснулась колеса лакированной туфелькой и взлетела в кузов, не дотронувшись до протянутой ей руки. Грузовик двинулся, пыль взвилась за ним облаком, закрыла всё.

«Две недели мы здесь были, — думала Катя, глядя на поля, медленно плывущие мимо в сумерках, — и какое всё уже знакомое и близкое, и те три дороги, что расходятся, как пальцы, и горка, и силосные башни на горизонте, а вон той дорогой мы ходили на клевер. И вот уезжаем, и эта жизнь будет продолжаться без нас. Через три часа будем дома». И она подумала о том, что вот уже две недели не видела газету «Советский спорт» — сберёг ли для неё Серёжа эти номера, — и как она, приехав, первым делом примет душ, и о капитане Войнаровском, которого она встречала у Наташи Штейнбух и который оказывал ей внимание. В последнюю очередь она подумала о своих росянках, *Drosera rotundifolia*, за которыми смотрел Серёжа. Не то чтобы она не интересовалась ими, — разумеется, интересовалась, она ведь сама искала их на болотах под весенними дождями, и высаживала в ящики, и кормила, и делала те опыты, которые лягут в основу её дипломной работы. Но дипломная работа не была для Кати главной целью, как для некоторых её товарищей. Достаточно сказать, что каждую сессию она хватала тройки то по одной дисциплине, то по другой, потому что её отвлекали тренировки и соревнования. Стипендию она не получала, но так как родители не огорчались этим и тоже больше интересовались её спортивными успехами, чем научными, то и Катя не обращала внимания на эти мелочи жизни. Её занимало множество вещей, среди которых был и спорт, и предстоящая почти через два года («о, далеко ещё!») защита диплома, и поездки на практику, которые Катя принимала как очередное развлечение, потому что чувствовала себя в своём коллективе, как рыба в воде, и из всего извлекала живую радость. Составными частями этой увлекательной жизни были и другие вещи — наряды, театр, обожание Лемешева, почётное

положение отца, приятельские отношения с Серёжей, и даже мамины странности, вызывавшие в Кате дух противоречия, и даже глупость Марго, потому что из всего этого слагалась привычная и комфортабельная обстановка, в которой активно, весело и независимо, в вечном предвкушении новых радостей и удач, существовала Катя.

Вскакивая в грузовик, она оцарапала о железку руку выше локтя; из царапины текла кровь. Девчата, заметив, хотели перевязать, но Катя отмахнулась: глупости, на ней всё заживает в пять минут! Чтобы унять кровь, она взяла ранку в рот; вкус был солёный, острый.

«Наташа Штейнбух ещё в Мисхоре, — думала она, — значит с Войнаровским скоро встретиться не удастся. Если бы дать ему знать, что я приехала, он бы придумал способ встретиться, но как дать знать?.. Какие у нас ещё есть общие знакомые? Кажется, Маринка — телефона у Маринки нет. Я вот как сделаю: возьму билеты на вахтанговские гастролы — что бы посмотреть? Да что угодно — и пошлю Маринке открытку по почте, предложу идти вместе... И вот увидите, он узнает и придёт в театр», — подумала Катя и улыбнулась. Она была капризница, никому не позволяла ухаживать за собой; но этот голубоглазый капитан, с лицом то ребячески-простодушным, то резко-нахмуренным, нравился ей. Почему? А кто знает...

Две недели назад, после практики в леспромхозе, она четыре дня прожила дома, в Энске, но его не встретила. «Возможно, он в отъезде, сейчас ведь самое отпускное время...»

Темнолиловая, как чернила, туча лежала за силосными башнями, низко у горизонта. В туче взблескивали молнии, сжатые поля озарялись на миг бледным светом и опять становились серыми, слабо погромыхивал запоздалый гром... «Гроза идёт, Илья-пророк. Далеко ещё, нас не застигнет. Ночью разразится, а то и стороной пройдёт».

И, посасывая свою солёную кровь, она представила себе, как над этими полями в ночном мраке прыгают длинные молнии, и страшно грохочет гром, и свирепый ливень сечёт землю, а потом гром уходит, вода стоит в канавах, всходит умытое солнце, а в балках громко поют птицы.

И представила себе эти поля под другим дождём, осенним, беззвучным, беспросветным: как тут голо тогда и скучно, и одна сидит в избе некрасивая старая женщина, пока её муж в тяжёлых от грязи сапогах ходит по этим дорогам...

И, уезжая от них, она простила этой женщине её обидную ревность и простила её мужу его обидную страсть.

Поля и небо проплывали, как на экране, и Катя приехала на станцию, где над входом горел старинный гранёный фонарь и женщина поливала платформу из большой садовой лейки. Студенты набились в дачный вагон, пахнувший вымытым полом, и с песнями поехали в Энск.

Гроза разразилась, когда они были в дороге, и окончилась, как по заказу, когда приехали.

Где-то она ещё погромыхивала, удаляясь победоносно, но дождь перестал, только по мостовым бежали широкие потоки.

Близился рассвет, но Серёжа ещё не ложился: у него ночевали, застигнутые грозой, Саша и Валентин, и все трое они были увлечены беседой.

Саша лежал, укрытый простынёй, на диване. Для Валентина Серёжа притащил кушетку из катиной комнаты. Сам он сидел между приятелями, на краешке сашиной постели, и с жаром раздувал волновавший его разговор, не давая ему погаснуть.

— Да постой, при чём здесь ребёнок?! — кричал он. — При чём ребёнок, если ты её любишь?!

— Ну как при чём! — расстроено отвечал Валентин, которому нравилось, что к его сердечным делам проявляют такой интерес, и хотелось, чтобы обсуждение длилось подольше.

После долгих колебаний между архитекторшей Лидией Антоновной и крановщицей Клавой он наконец понял, что любит Клаву. (В значительной степени его выбор объяснялся тем, что Лидию Антоновну перевели на другой объект, ухаживать за нею стало трудно из-за дальности расстояния...) В прошлый выходной он гулял с Клавой по набережной, они зашли далеко, на иевлевокую лестницу, и там, сидя на каменной ступеньке, под вазой с настурциями, Валентин сделал Клаве предложение. Он считал, что поскольку он больше не водится с блатными, работает, получает зарплату и даже занимается в кружке, то почему бы ему не жениться на хорошей девушке, тогда он окончательно станет положительной личностью. К тому же ему до смерти надоело жить у сестры, очень уж она заботилась о его поведении... Но Клава отнеслась к делу серьёзно, даже всплакнула. Она сказала, что в принципе ничего не имеет против замужества, но что она разочарована в любви. Три года назад ей вот так же сделала предложение, она была девочка и чересчур доверилась, и как было не довериться — он пришёл с войны и имел медаль. В результате смылся без регистрации, а у неё Шурик. Спасибо, мама отнеслась, как советский человек, и в ясли сходит за Шуриком, и выкупает, а то бы очень трудно... Но главное, конечно, — моральная сторона, моральное самочувствие было ужасное; но это может понять только девушка. Теперь, сказала Клава, всплакнув в свой газовый платок, ты должен решить, будешь ли ты настоящим отцом Шурику. А если нет, то ничего, Валечка, не надо. Валентин мрачно сидел под настурциями. Он, разумеется, знал про Шурика, но не придавал значения... во всяком случае не предвидел, что на него сразу будут смотреть как на отца. Он не ожидал, что хохотушка Клава будет плакать; он думал, она будет смеяться и кокетничать, потом они станут страстно целоваться, а потом поженятся. Но она ни разу не поцеловала его, а сам он постеснялся сунуться после её слёз. Она достала из сумочки пудреницу с зеркальцем, заботливо попудрила нос и сказала: «Ты подумай и реши». «Хорошо, подумаю», — пробормотал Валентин. Она поднялась и пошла с заплаканными глазами, ему стало жаль её и жаль себя, такого молодого и такого влюблённого, он взял её под руку и сказал: «Ну ничего, это всё пустяки». А она сказала: «Что значит пустяки, когда личная жизнь испорчена».

Теперь он терзался. То ему казалось, что Клава его жестоко оскорбила, поставив Шурика выше него; то казалось, что она прекрасна и без неё невозможно жить. Он не считал нужным держать при себе свои переживания, о них узнала бригада и узнал Серёжа, который, познакомься с Валентином через Сашу, за две встречи сошёлся с ним на короткую ногу и даже сфотографировал его со всей татуировкой, спереди и сзади, как давно мечталось Валентину.

В ночной час, предназначенный для душевных бесед, они разбирались в валентиновой любовной истории. Серёжа горой стоял за чувство и против предрассудков.

— Любовь выше мелочей, — убеждал он пылко. — Ребёнок — ну и что, пусть два ребёнка, пусть хоть дюжина, какое это имеет отношение!..

— Сергей, — отвечал Валентин, — ты настоящий друг, ты прямо в душу смотришь, но если ребёнок у неё на первом плане?..

— Ребёнок обязан быть на первом плане! — сурово сказал Саша.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, и выглядел под простыней ужасно длинным и солидным. Приятели умолкли и ждали с уважением, что он скажет ещё.

— Если ребёнок не на первом плане, — продолжал Саша, — то нет ни

семьи, ничего... Это она правильно ставит вопрос. Можешь побыть на втором, пока он вырастет, ничего тебе не сделается. И не в этом дело.

Он не сочувствовал затеваемому браку. Пара казалась ему неподходящей, он уважал Клаву за отличную работу и желал ей лучшего мужа, чем Валентин. Его беспокоило, что Валентин опять пил водку и читал антиобщественные стихи: «Я одну мечту, скрывая, нежу, что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист». Саша считал своим комсомольским и бригадирским долгом ликвидировать эти настроения.

— Дело в том, — сказал он, — что ты не имеешь права жениться, пока не переделаешь свой характер. Разве ты можешь с таким характером воспитывать ребёнка? Ты не можешь воспитывать ребёнка. На этой почве у вас будут сплошные недоразумения.

— Саша, — ответил Валентин, — ты друг из друзей, я понимаю, что ты прав как бог, но тогда посоветуй! Нет, слушай, тогда давай совет: а куда же девать любовь?!

Неизвестно, на чём бы они порешили, но тут дверь отворилась и вошла Катя, босая, с рюкзаком за плечами и с туфлями в руке.

— Ой, — сказала она, — извините, не знала, что вас так много и вы в постелях. Серёжка, ну как ты тут? — Она бегло и нежно оглядела его прищуренными глазами. — Зелёный и жёлтый, бог знает что, я тебя вытасу на дачу... Как росянки?

Она ушла с Серёжей к столу, и между ними начался научный разговор. Саша в ужасе закрыл глаза и запоздало притворился спящим. Страдали и его стыдливость и мужское достоинство. Никак он не предполагал, что придётся знакомиться с Катей в такой позе, лёжа перед нею под простынёй. Столько перебрал в уме разных вариантов знакомства, а этого варианта не предвидел. Недаром он боялся встретиться с нею. Когда она приезжала прошлый раз, с практики, он был предупреждён о её приезде и не зашёл ни разу, пока Серёжа сам не явился на постройку и не сказал, что Катя уже уехала... «Какое у неё теперь может быть обо мне представление!» — безнадежно думал он, лёжа с закрытыми глазами и слушая её голос.

— Ребята, спокойной ночи, — сказал Серёжа. — Мне надо поговорить с Катей. — И они ушли, причём Саша так и не разомкнул глаз и даже не заметил, что Серёжа выключил свет.

— Что вообще нового? — спрашивала Катя, готовясь идти в ванную и доставая из шкафа бельё. — Когда уехал папа?

— Да, ты знаешь, как я прогадал? — отвечал Серёжа. — Они с мамой из Сочи поехали на теплоходе! Если бы я заранее знал про теплоход, я бы поехал с папой.

— Ничего, успеешь проехать на теплоходе, — сказала Катя. — Пусть старики без нас отдохнут хорошенько.

— Пожалуй: они от нас тоже, наверно, устали, — сказал Серёжа. — Да, знаешь, на той неделе промадный был пожар.

— Чью ты говоришь, где?

— На берегу, какой-то склад, и понимаешь, я спал и даже не знал, а потом уже, конечно, неинтересно смотреть...

— Выглядишь ты отвратительно! — сказала Катя. — Со мной ты проживёшь на даче, я надеюсь? («Неприменно приглашу на дачу Войнаровского!») Марго поставим условие, чтоб она нас не донимала. — И Катя пошла купаться.

А Саша лежал, не шевелясь, и видел её — как она вошла и стоит в комнате, загорелая и румяная, в платье огненных цветов, вся пёстрая, как Жар-птица...

— Интересная девчонка! — многозначительно сказал Валентин в темноте.

Саше захотелось дать ему хорошенько... Но он смолчал: не в его характере было драться, — и где повод для драки? Просто ему не понравилось, что Валентин назвал Катю девчонкой.

При всём том он довольно скоро уснул, и рядом, на кушетке, так же сладко спал влюблённый Валентин.

Утром они поднялись тихо, чтобы никого не разбудить, и поехали на работу.

И всё-таки Саша пришёл опять, хоть и боялся Кати.

Боялся и тянулся в глубь открытой им страны, где всё было неизведанно и удивительно, хоть и стыдно.

То он видел Катю разряженную, ослепительную, — надменно шурясь, она смотрелась в высокое зеркало, и он с особенной отчётливостью понимал своё место в её жизни, место ничем не замечательного парня, которому только что исполнилось восемнадцать лет.

То она предстала совсем в другом виде — в капотике, с мокрыми после душа волосами, она пошла их с Серёжей чаем и, пока они пили, читала книгу, став коленками на стул и рассеянно отвечая на серёжины вопросы. Лицо у неё, когда она читала, было ясное, ласковое. Домашняя туфля со смешным меховым помпоном упала с ноги. Саша всё это видел, и не то что мечта — отдалённое, неосознанное предвкушение мечты смутно бродило в нём...

То, одетая в футболку, с крошечным чемоданчиком в руке, она торопилась на тренировку и была деловая, резкая, шумная: мальчишка-приятель, понятный и свой.

А то Саша застал её в передней, она сама отворила ему на звонок, он вздрогнул: она была в трусиках и майке, волосы подвязаны ленточкой — такая, как на маленькой фотографии. «Серёжа у себя, иди», — сказала она небрежно и продолжала своё дело — она занималась гимнастикой. И он прошёл, не поднимая глаз.

А потом она уехала с Серёжей на дачу до конца каникул. Саша знал дорогу на дачу, он был там один раз с Серёжей и его отцом, и Серёжа звал его приезжать по воскресеньям, но Саша не поехал: Серёжа сказал, что она пригласила кучу гостей; Саша не хотел торчать среди тех, которые что-то значат для неё.

Перед отъездом на дачу Катя, по намеченному плану, побывала с Маринкой в театре.

Она была бесшабашно уверена, что Войнаровский тоже очутится в театре в этот вечер и подойдёт к ней и она пригласит его, — была уверена, потому что жизнь всегда разыгрывала, как по нотам, всё, что хотелось Кате. Но на этот раз жизнь отказалась играть по нотам, Войнаровского в театре не было, пьеса была скучная, в зале жарко, у Маринки болел зуб, и она весь вечер ныла, — Катя пришла домой сердитая и закричала на Серёжу: «Мне надоело смотреть на твою зелёную физиономию, завтра же на дачу!» — так что Серёжа удивился и спросил: «Что у тебя случилось, Екатерина?»

«Очень нужно, подумаешь!» — мысленно сказала Катя Войнаровскому. И уехала в отвратительном настроении, причина которого возмущала её. «Какой-то капитан, служит в милиции... Встретимся, я прищурю глаза и скажу: «Простите, ах, если не ошибаюсь, капитан, капитан, забыла фамилию...»

Был самый жаркий день в году, тридцать два градуса в тени. Энк обомлел от зноя. Среди раскалённого камня центральных улиц нечем было дышать. Войнаровский сидел в своём кабинете, расстегнув ворот ру-

башки, пил воду со льдом и допрашивал знакомого домушника, взятого на мелком деле. С обоих пот лил градом.

— Ну, уговаривали, — вяло говорил Войнаровский. — А своя-то голова на плечах есть?

Домушник не был в этом уверен и промолчал.

— Ведь вот они гуляют, — продолжал Войнаровский, — а в тюрьму сядешь ты.

— Ага, — невыразительно подтвердил домушник, глядя на графин с водой. Это был молодой парень, невзрачный, с мелким лицом в неровных пятнах загара. Войнаровский вздохнул, отдуваясь, и нажал кнопку.

— Стакан, — сказал он вошедшей секретарше. Налил воды в принесённый стакан и дал домушнику напиток. — Из-за трусости сядешь! — продолжал он, повышая голос. — Трусость до добра не доводит. Испугался! Здоровый такой парень, красивый (домушник присанился), испугался кучки шпаны... Почему не работал, когда полковник тебя устроил? Почему ушёл с завода?

— Они сказали...

— Что сказали?

— Одним словом, или обратно иди до нас, или, одним словом...

— Ну, и трус! — сказал Войнаровский, обтирая лицо платком.

Зазвонил телефон, и голос Маши Рыбниковой сказал, что товарищ Войнаровский может идти, все уехали за город, дома одна работница.

— Хорошо, — ответил Войнаровский. — Ты обдумай, что тебе выгоднее, — сказал он домушнику, нажимая кнопку. — Если ты мне назовёшь всю братию, то отсидеть тебе придётся — ну, годик. А если будешь со мной ваньку валять, то я тебе гарантирую пять лет, это как минимум.

— За такое дело пять лет? — спросил домушник, вставая, так как вошёл милиционер.

— Да, пять, — повторил Войнаровский, кивком показывая, что разговор окончен.

Домушник пошёл и обернулся.

— Разрешите обратиться.

— Что? — спросил Войнаровский.

— Разрешите просить поддержки, чтобы в случае пять лет, то не в Среднюю Азию.

— А чем тебе Средняя Азия плоха? — спросил Войнаровский.

— Малярии боюсь, — объяснил домушник. — Я малярии подверженный.

— Там будет видно, — сказал Войнаровский. — Иди.

Он заперся на ключ, открыл стенной шкаф и переоделся. Натянул бумажные брюки того неопределённого серо-чёрного цвета, который продавцы называют «маренго», надел синюю трикотажную «бобочку», кепку не первой свежести и взял деревянный чемоданчик. В таком виде он покинул свой кабинет, прошёл мимо безмолвной секретарши и вышел на раскалённую улицу.

День объёл его своим пламенем. Тротуар был горяч, как печной под, когда печь только что истопили. Каблуки погружались в асфальт. Люди шли по своим делам сквозь пекло.

У магазина хозяйственных товаров Войнаровскому мелькнула знакомая светлая головка с курносеньким профилем и косичками, сколотыми на затылке. Он улыбнулся, он вспомнил эту девочку, — однажды он обедал в ресторане парка культуры, а за соседним столиком обедала она со своим женихом, они были трогательны... Она вошла в магазин, не заметив Войнаровского. Он дошёл до серого дома старой постройки и поднялся на третий этаж.

— Кто там? — спросила из-за двери тётя Поля.

— Монтёр горээнерго, — ответил Войнаровский.

Тётя Поля отворила, не снимая цепочки, и оглядела его.

— Ваше удостоверение личности, — сказала она степенно.

«Вымуштровали», — подумал он.

Тётя Поля впустила его. Со странным чувством он вступил в переднюю, где от разноцветных стёкол фрамуги лежали красные, жёлтые, синие светы.

— Как у вас с проводкой? — спросил он, озирая потолок. — Утечки нет? Жучков нет?

— У нас проводка в аккурате, — сказала тётя Поля.

— В аккурате, в аккурате! — сказал Войнаровский. — На промбазе тоже было в аккурате, а загорелось от проводов.

Испугавшись, тётя Поля повела его в комнаты. Он прошёлся по квартире и осмотрел всё, что требовалось осмотреть.

Безлюдная большая квартира с закрытыми от жары окнами, мебелью в чехлах, скатанными в трубы коврами и дорожками на натёртом полу дышала благообразием, комфортом, обеспеченностью, раз навсегда принятым жизненным порядком. Должно быть, очень здесь уютно, когда с кресел и абажуров снимают чехлы, на окна вешают занавеси, а по полу раскидывают эти большие ковры... И всё-таки квартира показалась Войнаровскому мёртвой, и он шёл по ней, как по кладбищу.

В одной из комнат висел над столом катин портрет и ниже маленькая карточка — дискбол. Он остро взглянул на фотографии, они воскресили лицо, которое он полюбил, и тот весенний праздник на стадионе, когда он увидел её и потом стал искать, где познакомиться... Было холодно и ветрено, на трибунах сидели в тёплых пальто, а она выбежала почти нагая, точёная и лёгкая, с ленточкой в волосах...

Последняя комната была катина. Он угадал это по тому, что ни одна из виденных им ранее комнат не могла быть катиной, там не было её примет. Здесь же были неоспоримые приметы: трапедия, подвешенная к потолку, книги по биологии в шкафчике, ваза с цветами, уже начинавшими увядать, — забыла или пожалела их выбросить, уезжая на дачу... Остальное было закрыто чехлами и газетами, и он не смог заглянуть дальше в её домашний мирок, куда зашёл в первый и последний раз... «Да, Екатерина Степановна, этого вы мне не простите, — подумал он с безнадежной улыбкой, — с этим вы меня не примете. Бессмысленно добиваться, бессмысленно видеться...»

И вдруг, когда он на мгновение оглянулся, уходя, ему с абсолютной, железной реальностью представился он сам, рассказывающий Кате об этом дне, — как он решил не встречаться с нею и как пришёл по обязанностям службы в квартиру её отца, и видел её карточки, и стоял в её комнате, и что при этом чувствовал и думал.

Этот день пройдёт, а где-то впереди тот, другой, и он об этом минувшем рассказывает Кате.

— Порядок! — сказал Войнаровский тёте Поле. — Всё как полагается.

И вышел в пламень дня из обречённого дома, где он собирался весь этот уют и комфорт пустить под откос к чёртовой матери, как пускал, бывало, вражьи поезда.

Юлька шла по раскалённой улице. В обеих руках она несла по вязаной сумке, набитой покупками. Сумки раздулись, как футбольные мячи, и резали руки.

У витрины мебельного магазина Юлька замедлила шаг. В витрине выставлены стулья, обитые чёрной клеёнкой, куцая цветастая тахта с тол-

стыми валиками, белёсый буфет и — дыбом — пружинный матрац, такой же цветастый, как тахта.

«Сколько всего ещё покупать», — подумала Юлька.

Она зашла в магазин, осмотрела ярлыки с ценами, задумчиво постояла перед некрасивым буфетом, заглянула за буфет — там было царство матрацев; один стоял горизонтально, а другие вертикально, но все как один — в коричневых цветах на розовом поле. Вздохнув, Юлька присела на горизонтальный матрац и попробовала: как пружины. Пружины были твёрдые. Стоил матрац 200 рублей 95 копеек. За другим буфетом было отделение зеркал. Зеркала многократно отразили серьёзное девичье лицо со вздёрнутым носиком и узкими глазами.

«Без зеркала можно обойтись, — подумала Юлька. — Слишком дорого. Я возьму моё маленькое».

Она вышла из дорогого магазина, села в автобус и через полчаса входила в свой новый дом.

К решётке лифта был привешен на верёвочке кусок картона — как в магазине, — и на нём химическим карандашом написано: «Обеденный перерыв».

«Лифтёру тоже нужно обедать, — подумала Юлька. — И не так уж высоко, собственно говоря».

Лестница была светлая, стены очень чистые, голубовато-белые. Шаги звучали звонко, свет лился через высокое окно плотным золотым столбом, и в нём блестели пылинки.

«Безобразие, — подумала Юлька, — кто-то уже оцарапал стену. Должно быть, когда вносили мебель. Как им не стыдно!»

Она знала, что квартира номер четырнадцать на седьмом этаже, но невольно взглядывала на все двери, мимо которых проходила, и читала все номера. На двери четвёртой квартиры была прибита пожелтевшая эмалевая дощечка с чёрной надписью: «Николай Николаевич Залѣсскій» — по старому правописанию, с твёрдым знаком, ятем и десятиричным «и».

«Как странно! — подумала Юлька. — В молодёжном стахановском доме дали квартиру какому-то дореволюционному зубру. Этому Николаю Николаевичу, наверно, сто лет».

Когда она ступила на площадку между шестым и седьмым этажами, наверху щёлкнул замок, и Андрей, срываясь через три ступеньки, сбежал ей навстречу.

— Я услышал твои шаги, — сказал он, отбирая у неё сумки. — Молодчина, что пришла раньше. Я тоже пришёл раньше.

— Я истратила массу денег, — сказала она.

— Ну, смотри, — торжественно сказал он, вводя её в квартиру. — Это передняя.

Стены передней тоже были девственно чисты, а на полу следы мела. В двух углах стояло по велосипеду.

— Чей второй велосипед? — спросила Юлька.

— Не бойся, это соседский. Ну как?

— Знаешь — надо другую лампочку.

— Темновато?

— Ну, конечно. Сколько тут свечей? Надо сорок.

— Придётся купить. Это соседи вкружили. И вот наша комната.

— Андрюша, знаешь — прелестная комната!

— Да? Ничего?

— Андрюша, я тебе скажу — просто чудная комната! — Юлька подошла к окну. — Андрюша, какой вид!

С высоты седьмого этажа далеко был виден загородный простор, огромное голубое небо и полоска леса на горизонте. Слева сверкала река,

мост висел ажурной чёрной аркой, по мосту шёл поезд, и там, где он проходил, повисали небольшие белые облачка.

— Когда я была маленькая,— сказала Юлька мечтательно,— у меня была игра, головоломка, дощечка нарезана разными фигурками, и из фигурок складывалась картинка, так совершенно, совершенно такая была картинка.

Андрей стоял рядом, гордо выпрямившись, и уголки его длинных губ заворачивались вверх от довольной улыбки.

— Но я истратила феноменальные деньги,— тем же мечтательным тоном продолжала Юлька.— Мне страшно сказать, сколько у меня осталось.

— Ну, покажи, что купила,— сказал Андрей.

Вдвоём они стали вынимать пакеты из сумки.

— Скатерть. Занавеси.

— Ух, ты!..

— Тебе нравится?

— Очень.

— Тут чайник. Первая вещь, тётя Фаля говорит... Чудная кастрюля, правда?

— Чудная.

— Если чистить, она всегда будет такая новая. И понимаешь, каждая вещь недорого, а в результате истратила массу.

— Ерунда,— сказал Андрей.— Ведь для этого и копили. Зайдём в сберкассу, заберём всё, что есть, и сразу в мебельный магазин, чтобы покончить с этим делом.

— Учи,— сказала Юлька,— что у меня будет только стипендия, и то с осени, а до тех пор мы будем жить исключительно на твою зарплату. Теперь ты понимаешь, почему я не давала тебе тратить на глупости? — Она взглянула на него с материнской заботливостью.— Письменный столик я свой возьму, и кровать, а тахту купим. Да, но где что станет, надо посмотреть. Я принесла сантиметр.

— А какой прок в сантиметре,— спросил Андрей,— если мы всё равно не знаем габаритов всех этих штук? Ты знаешь, какие у них габариты?

— Приблизительно,— сказала Юлька.

Они обмерили стены и определили, где станут шкафы, кровать и тахта. Стол и стулья — посредине, а письменный — к окну.

— На тахте буду я,— сказал Андрей.

— Ничего подобного,— сказала Юлька.— Она как раз вполтину короче, чем ты. Тебе надо хорошенько выспаться после работы. А я всё равно сплю клубочком.

— Ты поместишься и без клубочка,— сказал Андрей.— Ты маленькая.

Ему очень захотелось её обнять, но он подумал, не сочтёт ли она это бестактным, и не обнял.

— А ты что — сказала тётке? — спросил он.

— Да.

— И как она реагирует?

— Она реагирует хорошо.

— Маме и папе надо сказать сразу, как только мама придет,— сказал Андрей.— Вообще говоря, следовало предупредить их заранее, а не накануне.

— Вообще говоря, следовало,— сказала Юлька, сидя на корточках с сантиметром.— Но они будут против.

— Ну, почему обязательно против?

— Я же слышу, что они говорят, когда кто-нибудь молодой женится. Они говорят, что это непроверенное чувство.

— Действительно! — сказал Андрей. — Это у нас-то непроверенное чувство.

— Ты не знаешь их психологии. Они смотрят на нас, как на детей. Они думают, что мы совершенно не знаем жизни.

— Старики обожают давать советы, это верно, — сказал Андрей. — Ну что ж, это их право и даже, если хочешь, обязанность. У них ведь и на самом деле как-никак больше опыта. И, по-моему, ничего нет обидного, если старик или старушка даёт совет. Можно же, в конце концов, не послушаться.

— Да, они прекрасно знают, как мы должны жить! — сказала Юлька. — А каких ошибок они наделали в собственной жизни? Как, например, мама буквально своими руками погубила Геньку!

— Да это не мама, — сказал Андрей. — Просто он уж такой... неудачный...

— Просто неудачные не бывают. Всё зависит от воспитания. Почитай Макаренко. — Юлька нахмурилась, у неё всегда портилось настроение, когда разговор заходил о Геннадии. — И разве только эта ошибка! Между нами говоря, у мамы с папой есть одна такая вещь, что я даже тебе никогда не скажу.

Она имела в виду безумное начало их любви. Мать как-то рассказывала об этом ей и Ларисе. Она рассказывала с удовольствием, блестя глазами. И отец слушал с удовольствием и подсказывал подробности, забытые ею, и словно молодец в это время. Юлька любовалась ими обоими и любила их, и живо представляла себе цветущий луг, на котором стояла мама, молоденькая и прелестная, с играющим на ветерке колечком волос, и представляла отца на паровозе, тоже молодого и красивого («почти такой красивый был, как Геня», — сказала мама и на минуточку затуманилась). Но Юлке трудно было представить себе отца пристающим к незнакомой девушке на станции, а маму, свою маму, — кокетничающей в ответ («до чего они оба были некультурные!»). И уж вовсе дико было, как это мама уехала с человеком, который представлялся ей привычным оболстителем («какая пошлость!») и о котором она ничего не знала («а вдруг бы оказалось, что он замаскированный диверсант?»). Тут был вопиющий пример того самого непроверенного чувства, против которого старики предостерегали молодых, — какую цену имели для Юльки их предостережения...

— В общем, бог знает, как они жили, когда были молодые, — вздохнув, заключила она и встала. — А посуду, Андрюша, будем держать в кухне, в шкафчике. Буфет некуда, и он кошмарно дорог. Покажи кухню.

В кухне молодая женщина, в платочке и калошках на босу ногу, стояла на подоконнике и мыла окно.

— Здравствуйте, — сказала Юлька.

— Здравствуйте, — ответила женщина с подоконника.

— Она будет вашей соседкой, — сказал Андрей.

— Понятное дело, — сказала женщина весёлым, певучим голосом. —

Как получил комнату, так и невесты налетели.

— Нет, она у меня давно, — сказал Андрей. — Она была в девятом классе, когда мы решили.

— Вы одна всё убрали, — сказала справедливая Юлька. — Следующий раз буду убирать я.

— Да уж это, как водится, — сказала женщина. — Главное, знаете, горячая вода во всякое время, и в кухне и в ванной, вот удобство! И не захочешь, а лишний раз помоешь пол, поскольку воду греть не надо!

Заплакал ребёнок. Женщина скинула калошки, спрыгнула с подоконника и убежала.

— И малыш есть, какая прелесть! — сказала Юлька и, открыв кран, подставила под него руку. — Не горячая, чуть-чуть тёплая... Нет, постой, пошла горячей. — Она стояла с серьёзным, задумчивым лицом, держа руку под струёй, а он смотрел на неё с обожанием, и всё сильнее ему хотелось поцеловать её. Но он был воспитан ею в строгих правилах.

Глава тринадцатая

Жизнь коротка

Дорофея возвращается из Сочи шоколадно загорелая, довольная, с большой корзиной фруктов. Её отличное настроение не испорчено тем, что Геннадий её не встретил: «Добрый признак, значит — работает».

— Девочки, ох! Если бы вы только знали, как там хорошо, ещё лучше, Лёничка, чем было!

Она ходит по дому, разбирает свой чемодан, на ходу обрывает с бегонии засохший листок и смотрится в зеркало.

— В бабки пора записываться, а я надумала наряды шить — видела на курорте костюмчик один, больно понравился, вот посмотрите. — Она берёт карандаш и клочок бумаги и рисует костюмчик.

— До чего странно, Юлька — студентка, как время пролетело, ты подумай, Лёня!.. А мы с тобой давай не поддаваться времени.

— А мы и не поддаёмся, — замечает Леонид Никитич.

— Ни за что давай не поддаваться. Пусть им великолепно, а нам чтоб ещё лучше. Я в бабки к вашим детям не пойду. Не надейтесь.

Она подошла к Ларисе и Юльке, стоявшим рядом у стола, обняла обеих сразу и повторила, притянув к себе обе головки, светлую и темнорусую:

— Не думайте, девочки, сами будете ребятишек растить, я не бабка, я ещё работник!

Лариса и Юлька вынимали фрукты из корзины и выкладывали на блюда. Стол был покрыт виноградом и большими сливами, темносиними и жёлтыми, как янтарь.

— Красота! — сказала Лариса. — Даже жалко есть.

И вздохнула о том, что Павла Петровича нет в городе и нельзя угостить его этими фруктами. Три недели назад он уехал в Москву — поработать в библиотеке Ленина, закончить диссертацию; с тех пор — хоть бы открытка...

— Ну, что значит жалко! — сказала Дорофея. — На то и везла тыщу километров, чтоб вы поели вволю, только вот этих синих, Фаля, отбери с полсотни — замариновать.

— Я ужасно рада, — вдруг сказала Юлька, — что ты в таком настроении. Дело в том, что я хочу сказать. Мы с Андрюшей женимся.

Она произнесла это с обычной храбростью, твёрдым голосом и, договорив, облилась румянцем.

— Ещё что! — сказала Дорофея. — Вы же дети.

— Ну конечно, — грустно сказала Юлька, кладя виноградину в рот. — Непроверенное чувство и так далее.

— Конечно, непроверенное!

— Мы знакомы восемь лет, — слегка задохнувшись, сказала Юлька. — Сколько же ещё проверять?

Она подняла глаза на отца, обращаясь к нему за поддержкой.

— Не знаю, — сказала Дорофея, — сколько надо проверять и как это проверяется... Но знаю, что рано.

— А что я скажу, — вмешалась Евфалия. — Сказать?.. Ты на три месяца была моложе, когда вышла за Лёню.

— Что ты равняешь! — сказала Дорофея.

— Почему же не равнять? — спросила Юлька.

— Просто смешно! — сказала Дорофея. — Мы с папой — и вы с Андрюшей. Мы с папой прожили, слава богу, скоро тридцать лет.

— Ты сама говорила, что вы совершенно не знали друг друга.

— Тридцать лет — это, я думаю, доказательство, что мы не ошиблись.

— Подумай, мама, что ты говоришь! — строго сказала Юлька. — Ведь для того, чтобы мы могли проверить, можем ли мы прожить тридцать лет, надо нам пожениться или не надо?

Леонид Никитич засмеялся. Лариса вышла из столовой.

— Это просто возмутительно, — сказала Юлька, — что вы относитесь несерьёзно.

— Да ну, — сказала Дорофея, — что тут может быть серьёзного. Посмотри на себя: девчушка.

— Ты тоже была!..

— Другое время было, — сказала Дорофея и стала звонить по телефону Чуркину.

— Я категорически отказываюсь говорить несерьёзно! — сказала пунцовая Юлька. — В конце концов, мне разрешает закон!

— Кирилл Матвеевич, здравствуй, я приехала, что у нас там делается? — восклицала Дорофея, не обращая на Юльку внимания.

Леонид Никитич, озадаченный, смотрел на них и думал: «Зачем это Дуся так?.. Одно дело Генька, другое Юлька. У Юльки всё получается... по-человечески. Бедный мой цыплёнок, даже не поздравили отец с матерью», — думал он, болея за Юльку. Но ничего ещё не успел вымолвить, как они исчезли из столовой обе, мать и дочь. Он пошёл их искать и нашёл на заднем крылечке веранды; они сидели обнявшись, и Юлька прижималась щекой к материнскому плечу. Леонид Никитич стал над ними и спросил:

— Договорились?

Они повернули к нему оживлённые, ласковые лица, и он обрадовался.

— И хорошо, хороший парень; мы же его знаем, — сказал он, обходя их и присаживаясь ступенькой ниже. Вздыхнул и заключил с невольной грустью: — Ну, поздравляю тебя...

Тем же московским самолётом, что и Дорофея, вернулись в Энск Борташевичи, Степан Андреич и Надежда Петровна.

Зайдя к Серёже, Саша обнаружил большие перемены: чехлы были сняты, ковры расстелены, квартира приобрела богатый и гордый вид.

Пришёл Санников и сел играть с Серёжей в шахматы, и Саша сидел возле них с удовольствием, потому что, во-первых, они оба были сильные игроки и у них было чему поучиться, а во-вторых, Катя заглянула на минутку и сказала:

— Здравствуйте, мальчики.

Она стала ещё красивее, и голос ещё музыкальнее, или, может быть, Саше так показалось. Он был уверен, что все кругом от неё без ума, и удивился, что Санников даже головы не поднял и только нескоро, когда она давно ушла, пробормотал, двинув пешку:

— Здравствуйте, кто это там...

В серёжиной комнате было убрано, кухонный стол исчез вместе с рюкзачками.

— Да, конец моему порядку! — сказал Серёжа. — Живи не так, как хочется...

— А так, как мама велит! — басом сказал Санников.

Он был крепыш, круглолицый, стриженный наголо, похожий на молодого солдата. Саша закурил, Санников тоже достал папиросы и попросил прикурить.

В общем, им было вольготно, и никто им не мешал, но потом их позвали пить чай.

— Познакомься, мама,— сказал Серёжа, выйдя в столовую,— мой новый товарищ, бригадир Любимов.

— Здравствуйте,— сказала Надежда Петровна и осмотрела Сашу с головы до ног. Он ничего не имел против осмотра, потому что был хорошо одет и аккуратно подстрижен, но вообще Надежда Петровна ему не понравилась, чем-то даже испугала его.

— Здравствуйте,— небрежно сказал Санников, качнув туловищем, что означало общий поклон, и хладнокровно сел рядом с Серёжей. Саша подумал, что этот грубоватый парень сумел себя поставить здесь, как нужно.

Сам же он чувствовал стеснение, и чем дальше, тем больше — из-за Надежды Петровны. Если бы его спросили: почему? — он ответил бы, не колеблясь, хотя у него не было никаких доказательств: «Она плохая».

У неё злые глаза, и с этими злыми глазами она говорит любезности гостям, сидящим возле неё, и угощает их.

Всё в ней крупно, резко, отчётливо и определённо. Волосы яркокаштанового цвета уложены правильными лоснистыми волнами. Большие губы обрисованы яркокрасной помадой. И ногти яркие, и каждый большой, блестящий красный ноготь выделяется на пухлой белой руке. Одета она пестро и воздушно, как Катя, но это имеет такой вид, как если бы девичье платье надели на гипсовый монумент.

Она большого роста, у неё большое, ненатурально белое лицо, без загара (словно не провела она всё лето под южным солнцем), странно неподвижно — Надежда Петровна никогда не улыбается и не смеётся. И не хмурится и говорит, еле шевеля губами. Делает она это для того, чтоб не было морщин. Но Саше эта причина неизвестна, и он со страхом взглядывает на неподвижную белую маску с подбритыми и начернёнными бровями и кроваво-красным ртом. Она ужасна; неужели никто, кроме него, не замечает, что она ужасна?! Саша был бы потрясён, если бы узнал, что среди своих знакомых Надежда Петровна Борташевич слывет самой интересной женщиной.

Пришёл Степан Андреич, весело поздоровался, стал шутить, за столом смеялись,— у Надежды Петровны не двигался на лице ни один мускул, и только когда уж очень было смешно, она с закрытым ртом произносила что-то вроде: «гум, гум, гум».

— Ты прекрасно выглядишь,— сказала ей Катя.

— Да? — спросила Надежда Петровна. — Ты находишь? — И поправила пышные рукава.

— А где ваша Марго? — спросила одна гостья. — Почему её не видно?

— Она ещё на даче,— ответила Надежда Петровна.

— Бедняга Марго,— сказал Степан Андреич.— Всё варит варенье и жалуется, что не остаётся времени для личной жизни.

— Гум, гум, гум,— сказала Надежда Петровна.

Всё это не нравилось Саше. Ему было скучно и отчуждённо. «Семья, конечно, прекрасная,— думал он,— только мать странная, совсем она не подходит ни Серёже, ни Кате. Лучше бы из гостей которая-нибудь была их мать. И Степану Андреичу она не подходит, он простой и весёлый».

Серёжа как будто понимал, что чувствует Саша,— он молчал, двигал бровью и, как только выпили чай, поскорее увёл товарищей к себе...

Но вот расходятся гости, молодые и пожилые. Хозяйева ложатся спать. Гаснет свет в окнах квартиры Борташевичей.

Спит Серёжа, написав на сон грядущий несколько строчек в дневник. Спит Катя,— она видит во сне обидно исчезнувшего из её жизни капитана Войнаровского и третирует его без жалости. Могуче храпит умаяв-

щаяся за день тётя Поля. Не спят и разговаривают только в родительской спальне.

Борташевича терзает бессонница. Давно терзает, он не спасся от неё даже на курорте. Хвалёный курс лечения ничего не дал. Борташевич ворочается, перекладывает подушки, стонет и, не выдержав своей одинокой тоски, говорит вслух:

— Господи ты боже мой!

— Ты не спишь? — сдержанно спрашивает из темноты Надежда Петровна.

— Умный вопрос, — говорит Борташевич. — Нет, я сплю.

Он скидывает одеяло и, шлёпая босыми ногами, идёт в другой угол комнаты. Ощупью находит графин, наливает воду в стакан и, выпив, говорит:

— Полный дом баб, и некому поставить мне стакан воды на ночь.

Надежда Петровна мудро молчит. За двадцать пять лет совместной жизни все слова произнесены по двести пятьдесят тысяч раз. Она избегает раздражения, от раздражения лицо стареет так же, как от смеха.

Она лежит с закрытыми глазами и слушает, как вздыхает и вертится муж. Профессор предписал ей засыпать не позже часа, но попробуйте заснуть в такой обстановке... Не выдержав, она говорит сухо:

— Ты бы принял свой нембутал.

— Нет нембутала, — сейчас же ожесточённо отзывается Борташевич, — кончился, и в аптеках нет.

— Ну, бромурал.

— Бромурал не помогает ни черта.

— Тогда люминал. Двойную дозу.

«Ангельский нужно иметь характер», — думает она при этом.

— Где люминал? — мрачно спрашивает Борташевич после долгой паузы.

— В тумбочке.

Он поднимается, зажигает лампу и, сопя, лезет в тумбочку. У него плачущее, несчастное лицо. — люди не поверили бы, что бывает такое лицо у бодрячка Борташевича. Очень не идёт это лицо пожилому плотному человеку в подштанниках, сидящему на корточках в клоунской позе.

— Надя... — говорит он шёпотом, присаживаясь в ногах женой постели.

— Ну? — спрашивает она с отвращением, не открывая глаз.

— Ты действительно думаешь, что Ряженцев ничего не имел в виду?

— Нет, это невыносимо!.. Когда это было, чуть не три месяца назад... Нет, так жить нельзя!

— Постой, понимаешь, как было?.. Ты понимаешь, он когда говорил, то прямо посмотрел на меня... Но это могла быть случайность, как ты считаешь? На кого-то ведь ему надо было смотреть...

— Да что он говорил хоть, ты мне скажи! Он ведь вообще говорил? Он говорил в о о б щ е, я спрашиваю?

— Вообще, и о Редьковском в частности... А может быть, ему понравилась моя речь, он и посмотрел...

— Ложись спать! — говорит Надежда Петровна.

— Ты считаешь — ничего?..

— Больное воображение, лишь бы меня мучить.

— Так ты считаешь — пустяки? — бормочет Борташевич, блуждая глазами по её лицу. — А почему он мне до сих пор не позвонил? Четыре дня, как мы вернулись, а он не звонит...

— Некогда ему, нет срчных дел к тебе, вот и не звонит.

— А может быть, он... Может быть, у него мысли... В связи с пожаром... Тебе не кажется?

— Боже мой! Какое отношение к тебе? Где связь?

— Как хочешь, он бы должен позвонить. Он тогда в отпуску был, понимаешь?

— Ну?

— Вдумайся: он был в отпуску. Он ещё не вернулся — я уехал. Обязательно он бы должен мне теперь позвонить... спросить...

— Но ведь установлено, что пожар возник из-за плохой проводки! Ведь доложили ему! Ложись, а то люминал потеряет силу.

— Да... установлено... — Пауза. — А если... заподозрят?.. Ты понимаешь...

— Не могу, не могу! — задыхающимся шёпотом перебивает она, мотая головой по подушке. — Псих, больше ничего! Истерзал!.. Ты же мужчина! — говорит она громче, с презрением, садясь на постели. — Так распуститься!.. Сейчас же уходи и... («дрыхни», хочется ей сказать, но она удерживается) ...и спи, — говорит она интеллигентно. — Спи, дурачок.

Он покорно заползает под своё одеяло и тушит свет. Когда Надежда Петровна начинает говорить таким драматическим голосом, это сигнал к прекращению разговора: она, значит, потеряла свою мудрую выдержку, ещё немного — и начнётся истерика, визг на весь дом...

Он лежит и, тяжело вздыхая, смотрит в потёмки. Потом — нескоро — говорит:

— Тебе легко. Ты не видела, как уходил Редьковский.

Потёмки не откликаются.

Всё тише ночь. Мелким бегом бежит на часах секундная стрелка. Издалека донёсся грохот одинокого трамвая. Люминал не действует, зря глотал. И чего ждать от таблеток, чем тут помогут таблетки...

Четверть века назад в ***-ской краевой конторе парфюмерного треста сидела за машинкой девушка Надя.

Она не была красавицей, но каждый посетитель, хотел или не хотел, обращал на неё внимание. Представьте себе: голые столы, фиолетовые чернильницы, кипы грязносерых скоросшивателей, и среди этого канцелярского убожества — благоуханный букет из свежих роз; обратите вы на него внимание? То-то. А сходство с букетом Надя в высшей степени умела придать себе. Никто, кроме её домашних, не знал, сколько на это затрачивалось сил физических и душевных, как много и прилежно возилась бедняжка Надя с утюгом, иглой и продукцией парфюмерного треста. Посторонние не знали об этих усилиях, об этих, так сказать, невидимых миру слезах, а видели результат: платвица неимоверной чистоты, вкуса и свежести, белоснежную шейку с шоколадной родинкой, румянец — нежнейший, маникюр — новёхонький, завивку — самую модную, на высоко открытых стройных ногах — тончайшие чулки без единой морщинки. (Когда на таком чулке спускается петля, поднимать её крючком или иглой — сущая каторга; а аппарат для этой цели в ту эпоху ещё не был изобретён.)

Надя пришла в трест из «Полиглота». Так назывались курсы иностранных языков, стенографии и машинописи, организованные в начале нэпа группой дельцов. Обучение на курсах стоило дорого, но надин папа, портной, ничего не жалел, чтобы обеспечить дочери будущее. От языков Надя отказалась: она не очень-то любила учиться, а для достижения той жизненной цели, которую она избрала, достаточно было незаконченного школьного образования. Для достижения жизненной цели важно было одно: скорее оставить убогий кружок капиных знакомых и заказчиков (бог знает что за шантрапа, привосившая в перелицовку дрянные костю-

мы) и соприкоснуться с многообещающим миром, где ходят, помахивая упругими скрипучими портфелями, крупные хозяйственники, нэпманы в брючках-«бутылочках», суженных книзу, и зелёные выдвинцы, не соображающие, какие возможности свалились им в руки вместе с выдвиганием на руководящую работу.

За шесть месяцев Надю обучили в «Полиготе» стенографии и машинописи по новейшей системе. Большой зал, уставленный рядами грохочущих ундервудов, внушал благочестивое отношение к конторскому труду. Преподавательницы, солидные особы, прекрасно одетые и причёсанные у парикмахера, наставляли учениц в том смысле, что служащая девушка должна быть как картинка, это внутренне дисциплинирует и способствует служебному успеху. Надя чутко прислушивалась к этим наставлениям...

В те годы была безработица; даже девушкам, отлично владевшим машинописью и стенографией по новейшей системе, не так-то просто было получить работу. Но папин заказчик, главный бухгалтер ***-ской конторы парфюмерного треста, устроил Надю у себя в учреждении (сколько папе это стоило, Надя не знала точно). И вот Надя — букет из роз — сидела, скрестив под стулом ножки, у окна в уголке, её лакированные пальцы порхали по клавиатуре машинки, изредка она вскидывала глаза и сейчас же опускала их с бесстрастным выражением: я занята, не отвлекайте меня болтовнёй, ваши анекдоты мне нисколько не интересны!

Во время заседаний (мы в ту пору заседали мучительно долго; недаром Маяковский ратовал в стихах за «искоренение всех заседаний») у стола управляющего появлялась Надя с горсточкой тонко отточенных карандашей — стенографировала... Непременно находился какой-нибудь любитель, который добровольно брался оттачивать ей карандаши. Она принимала это, как должное, — не поблагодарит, не улыбнётся. Всякий понимал: знает себе цену гражданочка. И пока тянулись прения, деловые мужчины следили усталыми глазами за лилейной ручкой, уверенно-небрежно скользящей по бумажному листу... Кончалось заседание, все выходил из табачного дыма жёлтые и раскисшие, а Наде хоть бы что: убирала свои карандаши и, обмахнув пуховкой щёки, чтобы смягчить румянец, отправлялась к машинке расшифровывать стенограмму.

— Драгоценная сотрудница! — говорило начальство.

Молодые счетоводы и пожилые товароведы пробовали за нею ухаживать. Со счетоводами она иногда ходила в кино, но не допускала глупостей в темноте, это ведь всё была голь перекатная, вроде самых завалиющих из папиных заказчиков. С товароведом никуда не ходила: у всех у них были бдительные старорежимные жёны, она боялась сплетен и скандалов. И что такого особенного — товаровед? Она хотела мужа с большими перспективами; хотела видного положения; хотела денег. Конечно, хотелось и любви; но любовь — роскошь, которую можно позволить себе только после того, как будет достигнута главная жизненная цель. Надя любила после работы пройтись, одна или с кем-нибудь из женщин-сослуживиц, по главной улице, постоять перед витринами. После голодного, холодного, неудобного военного коммунизма так приятно было любоваться голубыми песцами, котиками, кружевными рубашками, вынырнувшими из небытия с помощью той изворотливой частной инициативы, которая «из мухи делает слона и продаёт слоновую кость».

Летом на главной улице этого шумного южного города в две шеренги стояли цветочницы, продавали пышные, великолепные, тревожащие воображение цветы; под полосатыми тентами бесчисленных кафе нэпманы и нэпманчики ели мороженое и заключали коммерческие сделки; у них были свои женщины, шикарные и наглые, без предрассудков; Надя ненавидела их; здесь наживали и тратили, не считая, как будто предчув-

ствовали, как ничтожны их сроки; никому не было дела до миловидной конторской служащей и её вожделий. Она проходила, выказывая безразличие, хотя алчная зависть сжимала ей горло. И так же безразлично из-под полосатых тенгов смотрели на неё, ковыряя в зубах, чернявые южные дельцы.

Прошло два года. Много было исписано карандашей, много израсходовано снадобий, придающих девушке сходство с букетом роз, а шёлковых чулок сколько изношено — разорение! — и Надя стала уж подумывать, что, видимо, её тактика устарела, что секретом достижения жизненной цели владеют те женщины, которые кутят с мужчинами в кабаках, делают аборт и плюют на всё на свете.

Но вот в широкое кресло управляющего конторой сел, смущённо ухмыляясь, Степан Борташевич. Не руководящая должность смущала Степана: перед тем он работал заместителем заведующего на заводе «Саломас» и проявил способности. Смущал непривычный шик: шёлковые шторы с фестонами, ковёр на полу, стеклянный шкаф, где на стеклянных полочках были выставлены флаконы и флакончики, коробки, баночки и тюбики с изделиями треста: духи, одеколон, пудра, зубная паста, губная помада, туалетное мыло, крем от веснушек, ночной крем, крем под пудру, крем для смягчения кожи рук, шампунь, фиксатур... Пахло в кабинете, как в парфюмерном магазине. Борташевич потрогал своё кожаное кресло цвета кофе с молоком, стёганное на манер одеяла: чистое шевро; а окружность — два зада свободно уместятся; и сколько же такая мебелировка стоит? До чего непохож был этот кабинет на комнатуху Степана на заводе, комнатуху, отгороженную от счётного отдела некрашеной фанерой. Борташевич был парень простой, без буржуйских замашек.

«Культура! — подумал он. — Богатеет республика! Посмотрели бы наши ребята, куда меня посадили».

До революции, мальчишкой, он работал на заводе «Саломас», сперва чернорабочим, потом на прессе. Поджаренное подсолнечное семя горячим потоком текло по рукаву в пресс из печного закрома. Степан включал дубильник: пресс, жужжа, приседал, в резервуар стекало темноезолотое душистое масло. Оно шло на производство саломаса — жира, употреблявшегося для производства мыла. Степан ел хлеб, макая его в тёплое подсолнечное масло: хорошая еда! Как-то в армии, в непогоду, на неприятном ночном привале, под мокрой шинелью, он поделился с товарищами воспоминанием: «Вот, ребята, на заводе я работал — семечки жал; славное дело! Не тяжёлое. И дух такой хороший — просто, весь ты этим духом пропахнешь... Сытно пахнет и приятно. И тепло...»

В армию он пошёл добровольцем. В восемнадцатом году, когда городом при помощи интервентов овладели белогвардейцы, много рабочих ушло с красными частями, и Степан Борташевич в их числе. Сначала был бойцом, а после ранения и контузии служил по интендантству. Демобилизовавшись, вернулся на «Саломас». Что можно устроить жизнь иначе, ему и не представлялось. «Э, проживу!» — думал он о своём будущем.

На заводе его встретили хорошо — с заслугами товарищ. Он попросился на пресс, но его приставили к хозяйственной части, а вскоре назначили заместителем заведующего. Подвернулась симпатичная дивчина, он встречался с нею по вечерам в клубе рабочей молодёжи. Дивчина запевала, и Борташевич с удовольствием пел вместе с комсомольцами:

Я на юнкерсе летал,
Чум-чара, чу-ра-ра,
Нигде бога не видал —
Ку-ку!

Погоуляли, попели, потом сходили в загс и расписались. Как-то само собой это вышло.

Работал Борташевич с увлечением. Он был хороший организатор, старался изо всех сил, его полюбили. Завод «Саломас» выпускал туалетное мыло. За годы разухи рецептура была забыта, мастера разбредлись. На бирже труда квалифицированных мыловаров не было. В газетах ругали «Саломас» за качество продукции: мыло получалось вязкое и клейкое, шибало в нос грушевой эссенцией; то совсем не мылилось, а другой раз, чуть смочишь водой, весь кусок размокал в кисель... Потребители писали жалобы, сбыта не было, продукция залёживалась.

Борташевич навёл справки; удалось установить адрес одного старичка, работавшего раньше мыловаром на «Саломасе». Борташевич съездил за ним в деревню и привёз его на завод. Может быть, не так уж много знал и умел тот старичок; но до того ему хотелось оправдать доверие, до того он, как говорится, мобилизовал свой опыт и смекалку, так терпеливо и дружно помогали ему заводские организации, что через два месяца «Саломас» стал выдавать вполне приличную продукцию; а через полгода эта продукция конкурировала с мылом «Букет моей бабушки», популярным среди населения...

Так начинал Степан Борташевич. Радостно ему в те дни работалось, легко дышалось... Когда его назначили в контору богатого всесоюзного треста, он не испугался: что ж, и там буду так же работать, войдя в курс; с завода только жаль уходить... Но уж очень тут всё внушительно. Ишь ты, как бывший управляющий поставил дело; верно, так и требуется, недаром его перевели с повышением в Москву... Один главный бухгалтер чего стоит: виски седые, говорит бархатным голосом, осанка — прямо тебе Наркоминдел, а не торговая контора. «Надо будет и мне держаться внушительно,— подумал Степан,— чтобы не нарушать общую картину. Назначила партия на такую должность — понимай, принаравливайся к обстоятельствам...» Вошёл посетитель: модные куцые брючки, ботинки с длинными носами, рант прошит золотистым шёлком, бритое лицо осыпано розовой пудрой... «Костюм новый придётся купить. Не умею я этого ничего...» И он ещё раз пожалел о своём стареньком уютном заводе, где всё было просто, как дома, где женщины в конторе так же повязывались красными платочками, как и работницы в цехах, и звали его «Стёпа». И если он чихал, они кричали из-за фанерной перегородки: «Будь здоров!»

В кабинет вошла Надя: принесла бумаги на подпись. Она говорила с новым управляющим почтительно и в то же время сочувственно, как будто он попал в затруднительное положение и нуждался в деликатной поддержке. На ней было тёмное строгое платье, серебрястые чулки обливали высоко открытые ноги. На губах лучшей, высококачественной помадой было нарисовано томное сердечко. Борташевич сидел перед нею в своей полинялой косоворотке и мятом пиджаке, сурово насупясь: он боялся уронить себя, пролетария, перед этой конторской барышней, которая, судя по её рукам, настоящей работы не пробовала. Но барышня стояла скромно и видом своим как бы говорила: «В обиду не дамся, но место своё знаю, будьте покойны». Уходя, сказала дружелюбно:

— Если вам что-нибудь понадобится, Степан Андреич,— вот звонок, позвоните, это звонок ко мне.

«Нет, она ничего себе»,— подумал он, глядя, как она идёт на своих высоких каблуках, мягко и пружинисто ступая по ковру и позвякивая маленькой связкой ключей, надетой на палец.

А скоро она стала ему очень нужной: помощница, которой вполне можно довериться. Она тактично помогала ему освоиться на новом месте, разобраться в незнакомой номенклатуре и понятиях. Держала его

бумаги в образцовом порядке, напоминала по утрам, какие дела предстоят ему сегодня. Не раз выручала его из трудного положения: когда являлся неприятный ему посетитель (она умела с первого взгляда отличать таких посетителей), Надя отрывалась от машинки и спешила на помощь неотёсанному управляющему; и если Борташевич начинал повышать голос, Надя ловко включалась в разговор и настраивала его на правильный тон. Увидев, что Борташевич ей доверился, она занялась его манерами: «Вы умеете так прекрасно держаться... Вас уважают за ум... Для чего же ругаться, да ещё кулаком стучать? Он весь бледный сидел...»

— Так ведь сволочь! — возражал Борташевич, прижимая к груди тонкие кулаки. — Вы же слышали — так и юлит, чтобы объегорить государство... Частник, гад!

— Во-первых, частников допустила советская власть, значит есть от них какая-то польза?

— Вы, Надя, не понимаете: это тактический ход партии. Частник существует временно.

— Но всё-таки с разрешения существует, правда?

— Всё равно, нэпман мне не товарищ!

— Кто же спорит, конечно, не товарищ, но он к вам по делу пришёл в учреждение. А вы его обругали по-уличному... И, во-первых, хоть нэпман, но образованный человек. Напишет жалобу, очень приятно...

Нарисованный рот шевелился, как красный цветок; струи парфюмерных ароматов лились на Борташевича — он слушал и думал: «Чёрт его дери, а ведь верно, раз уж приходится иметь дело с нэпачами, надо личные антипатии спрятать в карман и держаться культурно...»

С двенадцати до часу в конторе был перерыв на завтрак. Надя входила без звонка, стелила на письменном столе белоснежную салфетку, принесённую из дому; за Надей уборщица несла на подносе чай и бутерброды. «Жидкий чай, — строго говорила Надя, — подайте другой». Борташевич пил и думал: «Хорошо иметь возле себя такого человека...» Он рос сиротой, в тёткиной семье, в бедности; никто никогда его не нежил; и сейчас у него салфеток не водилось, они с женой обедали и ужинали в столовой, занимались в читальне, дома бывали мало. Надя опять появлялась, прибирала на столе и спрашивала: «Больше ничего не нужно? Я могу пойти в кафе?» — как будто она была раба, а он владыка, который мог запретить ей завтракать в положенный по закону час.

Борташевичу нравилось, что она так ставит вопрос. Когда интеллигентная и красивая девушка добровольно признаёт твою власть над нею, ты поднимаешься в собственных глазах. И это не подхалимство: со всеми другими она независима и официальна, даже с московским начальством, приезжающим для обследований и инструктажа. Очевидно, что-то в нём, Борташевиче, есть особенное...

«А в самом деле, — подумалось Степану, — ведь не зря меня партия выдвинула. Тоже, значит, заметили, что чем-то я выделяюсь...»

Благодаря Наде он помаленьку стал чувствовать себя зрелым мужем, талантливым руководителем, крупной персоной, заслуженно владеющей великолепным кабинетом и великолепной секретаршей.

Он стал позировать: рассуждая о делах, вставал и прохаживался по кабинету, заложив руки за спину и глубокомысленно склонив лоб, как мыслитель; или, слушая собеседника, откинется на спинку кресла, вытянет пальцы и бесшумно наигрывает по столу, и сощуренными глазами рассеянно смотрит вдаль...

До сих пор он скупно высказывал свои мысли, считая их мало кому интересными; и вдруг они стали казаться ему значительными, достойными обнародования. Он полюбил выступать на собраниях и выступал

пространно, любуясь своими речами и обижаясь, если ему говорили: «Короче». Полюбил представительство; сидеть в президиуме, возглавить комиссию, быть делегированным на какую-нибудь конференцию или хотя бы получить на неё гостевой билет стало для него делом самолюбия: не выбрали в президиум, не прислали билет — значит, не считаются с Борташевичем, недооценивают Борташевича. (Надя такие события тоже принимала близко к сердцу: «Как, вам не прислали билет?! Странно!») Он шил себе новый костюм, купил скрипучий портфель и шёлковые носки в шашечку.

Работа в конторе, налаженная его предшественником, шла гладко, про Борташевича говорили: «Справляется». Старые заводские товарищи, встречая его, восклицали (кто восторженно, а кто скептически): «Покажись; экий солидный стал! Ну, молодец. Смотри только, Стёпа, не забудей!» — а у жены его Тони спрашивали: как там Степан — не бурее? Тоня, смеясь и протодушно хвастая успехами мужа, отвечала, что бурее: до того забурел, что в молодёжный клуб его не вытащишь, ходит только в «Деловой дом». Тоня продолжала работать на «Саломасе» и жить своей жизнью: комсомолка, рабфаковка, существо такое же угловатое и жизнерадостное, каким был Борташевич до знакомства с Надей. Пока муж сидел на вечерних заседаниях или в «Деловом доме», жена изучала науки либо пела с ребятами и девочками песни. Борташевича она не называла мужем, это слово среди ребят и девчат считалось неприличным, мещанским, она звала его по фамилии, а в разговорах с подругами — «мой парень». Детей у них не было, так как они постановили, что Тоньке нужно сначала окончить рабфак, «а уже потом пелёнки и вся эта мура».

Иногда жена приходила к Борташевичу в контору... Лучше бы она этого не делала! Уж очень получалось для Борташевича наглядное сопоставление — Тоня и Надя. Ведь жил же он дружно со своей Тоней, и никогда ему раньше не приходило в голову, что можно её бросить, можно сойтись с другой... Ну, а тут — где же было Тоне тягаться в очарованиях с Надей. Раза два Тоня заставала Надю у мужа в кабинете. Надя сейчас же уходила, чтобы не мешать начальнику переговорить по личному делу с супругой, но Борташевич замечал её сострадательный взгляд, украдкой брошенный на Тоню, и корчился от стыда. Вдруг он увидел — сам, без подсказки! — что у Тони чулки вечно в складках, и какого чёрта она носит эту мохнатую дрянь, он же купил ей шёлковые! И туфли у Тони на низких каблуках, и ногти некрасивые, и голова острижена, как у мальчишки, элегантности ни на копейку... А ведь лицом прехорошенькая! Так почему же она не видит, что одета безобразно?! И что за манера, входя, кричать на всю контору: «Здорово, Борташевич!» — как будто он не управляющий, а пионер из базы, где она вожатая... И он раздражённо, а потом и враждебно думал, что Тоня всегда говорит громко, даже дома. «Привыкла кричать, чтобы перекричать других. Везде приходится орать — и в клубе и с пионерами, — совсем разучилась разговаривать по-человечески... Тоня беззаботно говорила о чём-то важном для неё, о каких-то учебниках, о контрамарках в театр, она ничего не подозревала, считала ревность мещанством, не могла связывать своего парня с этой накрашенной «девахой», «явно беспартийной»... Тоня уходила, не заметив переживаний мужа, а Надя возвращалась в кабинет и продолжала деловую беседу тоном глубокого понимания и участия. Борташевичу было отраднее слышать её мягкий голос, он готов был плакать о своей погубленной молодой жизни...

В его тяготении к Наде объединилось всё: благодарность за признание и поддержку, и молодая страсть, и почтение к накрахмаленной салфетке, и восхищение надиной выхоленностью и вкусом (наконец-то на-

шёлся человек, который в должной мере оценил её старания). Тут пахло не пошлым учрежденским флиртом. Борташевич любил, и страдал, и пылал в своём стёганом кресле. Надя держалась, как в первый день знакомства; а он был доверчив и девственен, несмотря на то, что знал женщин. Он не догадывался о том, что она ведёт бухгалтерский учёт его взглядам и намёкам и что подчинённые пересмеиваются за всеми дверьми.

Окончательно он погиб, сходя в Надею в «Деловой дом». Накануне она всю ночь не сомкнула глаз — готовилась к походу. (С нею бодрствовали взволнованные папа и мама.) Зато в наступление пошла во всеоружии. Борташевич подмечал мужские взгляды, бросаемые на Надю, и выпячивал впалую грудь. «Ни у кого нет такой спутницы!» — констатировал он гордо. После концерта он пошёл её провожать с ощущением, что что-то произойдёт. Но не мог решиться; разговоры текли по другим руслам. Надя устала ждать и, прощаясь в подъезде, посмотрела на начальника долгим взглядом. Этот взгляд, таинственный и обещающий при свете дрянной засиженной лампочки, сыграл роль искры, попавшей в бочку горячего. Бочка взорвалась. Конъюнктура прояснилась. Надя была воспитана в очень нравственной семье. Она кротко признавала, что начинена буржуазными предрассудками; она сама себя осуждала, но ничего не могла поделать со своей натурой; и даже безумно полюбив молодого управляющего, не позволила ему ничего, кроме жгучих поцелуев, пока он не развёлся с Тоней и не оформил новый брак по всем правилам, с уплатой гербового сбора.

Ей пришлось оставить службу — неудобно мужу и жене работать в одном учреждении, — и с тех пор она жила домашней хозяйкой, не порываясь к независимости. Сперва они обитали под родственным кровом папы-портного, который оказался милейшим старичком, душевно расположенным к советской власти и её порядкам (частников, безусловно, надо давать, но по человечеству жалко, когда такого старичка притесняет финотдел); потом Борташевичу дали комнату.

У папы-портного было пианино, на котором Надя наигрывала фокстроты; была старая люстра под бронзу и медвежья шкура, побитая молью. Борташевичу всё это очень понравилось. Нечто подобное он видел на экране. «Шик-модерн!» — подумал он на тогдашнем своём жаргоне. Шик был нажит несомненно честным трудом — папа-портной целый день сидел на столе в задней комнате и шил. Борташевич с уважением ступал на плешивого медведя и гордился, когда Надя садилась к пианино, играла и пела: «Малютка Нелли, хау ду ю ду, мы верим, Нелли, в твою звезду».

Его смущало, что он, здоровый молодой мужчина, ответственный работник, хозяйственник, не принёс в уютный улей этих трудовых пчёл ни ложки, ни плошки. Перебираясь с Надею в собственную комнату, он сделал большой заём в кассе взаимопомощи, чтобы обставиться лучше; денег нехватало — попросил ещё, ему дали.

Он очутился в долгах, и хотя им жилось прилично, но далеко не роскошно, и Наде попрежнему стоило больших трудов и лишений выглядеть букетом роз. Борташевичу было очень неловко, что она сидит допоздна, штопая кружевце или терпеливо поднимая петлю на чулке. «Плюнь, — говорил он, — купи новые». А она отвечала со вздохом: «Что ты: купим, а потом опять нехватит до полочки. Уж я как-нибудь в стареньких похожу». Нарядившись и смотрясь в зеркало, говорила печально: «Всё из ничего сделано. Представляешь, как мне пошёл бы соболь? Мурочка купила соболий воротник». И ему становилось стыдно, что у неё нет соболя, а есть соболь у замухрышки Мурочки.

Он ходил с Надей в гости — у них вдруг оказалась куча знакомых, всё высшая интеллигенция, как говорила Надя, беспартийные спецы и члены коллегии защитников — и видел женщин в соболях и песцах, в котиковых шубках, в бриллиантовых серьгах и кольцах, а у Нади было скромное, хоть и модное шевнотовое зимнее пальтецо, и украшения у неё были пустяковенькие, дешёвка... Когда они потом возвращались домой, она всю дорогу молчала и вздыхала, и он чувствовал себя виноватым.

— И откуда берут?.. — срывалось у него.

Она отвечала:

— Люди умеют устроиваться... А что можно сделать на партмаксимум? Только прожить.

Эти слова он слышал от неё часто, и в нём бродило недовольство, что такой выдающийся человек, как он, борец и деятель, поставлен в настолько мизерные условия — даже не может подобающим образом одеть свою жену.

Как-то он сказал:

— Надо бы их к нам пригласить, неудобно — всё ходим, а к себе не зовём.

Она ответила покорно:

— Разве мы можем их пригласить? У нас и посуды нет приличной. Ни хрустала, ни серебра. Осрамимся перед всеми.

Ему перестала нравиться их посуда, и захотелось иметь такие же сервизы, какие он видел у своих новых знакомых.

Захотелось, чтобы у него и дома стояли такие же кресла, как в служебном кабинете. А то придут люди — не на что посадить, кроме паршивых стандартных стульев.

Захотелось жить широко, беспечно, не считая рублей. За что боролся, в конце концов! Борташевич — и живёт в одной комнате... С женой, и ещё ребёнок будет!

Надя, заплакав, сказала, что с ребёнком в одной комнате немислимо, она себе не представляет, Стёпа совсем не будет иметь отдыха — и сделала аборт. Вы слышите?! Жена Борташевича вынуждена была сделать аборт из-за жилищных условий!

Надя сказала, что Мурочка с мужем уезжают в Харьков. И что они, наверно, согласились бы перед отъездом обменяться квартирами, но, конечно, они захотят за это большие деньги.

— Большие! — мрачно повторил Борташевич. — Где же взять?

Тогда Надя сказала, что у неё есть одна мысль. Эта мысль пришла ей в голову, когда она ещё служила в тресте. Очень просто можно достать деньги. Она изложила свои соображения, как можно безнаказанно — никакая ревизия не подкопается — перепродать в частные руки немного дорогого дефицитного сырья. Она излагала план преступления спокойно и деловито, словно речь шла о расшифровке стенограммы. Борташевич ужаснулся, отшатнулся...

— Что?.. — спросил он. — Да это же — да ты знаешь...

И обложил её густым солдатским матом. Она расплакалась, он кричал:

— Чтоб ты мне больше не смела, чтоб я больше не слышал, поняла?

Она просила прощения: она женщина, она не знала, что это так нехорошо и страшно. Ведь она не говорила — много продать; она сказала — продать немножко. Она думала, что такая громадная и богатая страна не обеднеет, если где-то какой-то Борташевич возьмёт для себя немножко чего-то.

— Голова твоя садовая! — сказал он. — Я ж коммунист!

Дня два он сердился на неё, потом помирились и стали обсуждать, у кого бы занять на обмен квартиры. Надя сказала:

— Знаешь? Попробуй занять у главного бухгалтера, у него есть, я думаю — он тебе даст, это папин старый знакомый.

Неудобно просить взаймы у своего подчинённого; но Борташевич решился, очень уж ему хотелось получить мурочкину квартиру. Седовласый бухгалтер, похожий на дипломата, откликнулся на его стыдливый намёк с большой готовностью. «Степан Андреич, — сказал он своим бархатным голосом с благородными вибрациями, — о чём разговор, для зятя моего друга...» И принёс Борташевичу три тысячи — «до лучших времён, Степан Андреич, пусть вас это не беспокоит...»

«Интересно, откуда такие суммы у совслужащего?» — подумалось Борташевичу... но он не стал спрашивать: деньги лежали перед ним, квартирка у Мурочки была отличная... «Какое мне дело, ведь я отдам!» — подумал он и протянул руку...

Они с Надей купили у Мурочки квартиру, купили меховую шубу Наде и много всякого другого барахла. Им было неловко рассказывать, что деньги дал им бухгалтер, и Надя пустила слух, что её папа выиграл по займу; естественно — старики щедро поделились с единственной дочерью... С этих пор Борташевич жил припеваючи.

Он несколько раз пытался отдать бухгалтеру часть долга, и всегда бухгалтер любезно отклонял эти попытки, уверяя, что лучшие времена ещё не настали, и заботливо осведомлялся, не надо ли ещё — и иногда Борташевич брал...

А потом долг так разросся, что было бессмысленно пытаться выплатить его.

И Борташевич перестал пытаться.

К этому времени он понял уже всё. Понял — и закрыл глаза, заткнул уши, обманул сам себя, сам перед собой сделал вид, что ровным счётом ничего не понимает и понимать-то нечего, зарвался вот только с этим долгом, — но выплатит обязательно, обязательно... когда-нибудь. А пока долг не выплачивался, а рос, — Борташевич подписывал бухгалтеру все бумаги, которые тот просил подписать, и увольнял сотрудников, которых бухгалтер советовал уволить, и принимал людей, которых рекомендовал бухгалтер: каких-то агентов, какого-то кассира...

Он не мог не догадываться, что под маркой возглавляемой им конторы государственного треста тёмные личности обстрипывают беззаконные дела; и что роскошные знакомые, которые так гостеприимно кормят и поят его из своих фарфоров и хрусталей, тоже получают какую-то пользу от этой конторы, потому и кормят, и поят, и улыбаются... Но опять и опять он затыкал уши, зажмуривал глаза, отпирался сам перед собой: почему тёмные личности — обыкновенные советские служащие, члены профсоюза, ничего не происходит, ничего знать не знаю, я же только подписываю бумаги!..

Он продолжал отпираться и тогда, когда, выдвинув ящик стола, находил там деньги, неизвестно кем положенные.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что он негодяй, обворовывающий рабочее государство, которому кругом обязан.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что он позорит партию, что его надо выгнать оттуда помелом, как скверную гадину.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что ему место за решёткой, а не среди вольных людей.

Этого он не мог.

У него были минуты трепета, когда он, неверующий, постыдно молился: «Господи! Сделай так, чтобы перевели на другую какую-нибудь работу...» — потому что здесь отступления уже не было, он был опутан, его держали десятки цепких и беспощадных рук, и он предвидел, что на любой хозяйственной работе будет застигнут теми же соблазнами и, по

слабости, не устоит... Были грозные толчки по ночам: вдруг он просыпался, обливаясь холодным потом, в тоске и ужасе...

Проходила ревизия, ничего не обнаруживалось страшного, никого не схватывали за воротник и не призывали к ответу, — он распрямлялся, светлел, говорил себе: «А? В чём дело? Стало быть, всё в порядке? Стало быть, я перед партией чистый? А?» — хотя не мог не понимать, что всё далеко не в порядке, но просто опытные жулики обвели ревизоров вокруг пальца.

Так или иначе, он перестал обижаться на то, что его держат в тени и не дают ему представительство. Стал скромн, смирен даже. В тени, так в тени. Что он собой представляет? Рядовой работник, без должной культуры, ему учиться и учиться...

Он учился. И работал как вол, он и прежде любил работу, а теперь она стала единственным средством забвения и самооправдания. Как огня он боялся, что эти подонки, затянувшие его в сеть, осмелятся открыто выказать фамильярность по отношению к нему. Он буквально втягивал голову в плечи, когда кто-нибудь из них приближался... Но они вели себя тактично, он был начальник, они — подчинённые, уважающие начальника.

Постепенно он привыкал к своему новому положению. Всё легче ему было обманывать себя. Он был молодой, весёлый по натуре, нервы были крепки. Он привыкал. И к положению и к тем житейским благам, которые оно ему приносило.

Контора была на хорошем счету. В канун первой пятилетки Борташевича благополучно перевели в другой город, на другую хозяйственную работу.

Перед этим они с Надей ездили на курорт, Борташевич прибавил двадцать кило, Надя блистала и покоряла мужские сердца.

На новой должности он выписал к себе своего верного бухгалтера... Тут, правда, вскоре случилась осечка: бухгалтер посоветовал ему отдать под суд нескольких работников — «а то как бы нам за них отвечать не пришлось, Степан Андрейч», — добавил он. Борташевич послушался совета и отдал под суд работников, указанных бухгалтером. Почему-то они все пошли на скамью подсудимых без протеста, во всём признались и никого не запутали, — очевидно, они действительно были виновны, а больше никто. Впоследствии Борташевичу ещё приходилось отдавать под суд разных сволочей, и они всегда признавали себя виновными.

Бухгалтер опочил в бозе, подготовив себе достойных преемников. Борташевич продолжал жить дальше.

Двадцать с лишком лет он прожил после этого. Никто не узнает нескладного желторотого Степана в солидном самоуверенном человеке с седыми висками и добродушно-скептической усмешкой в глазах. Нынешний Борташевич — известное и почтенное лицо в городе Энске. Он не добивался ни известности, ни почёта. И именно потому, что он их не добивался, они пришли к нему. Пришли сами, никто не скажет, что Борташевич — карьерист.

Он интеллигентный человек: заочно окончил финансово-экономический институт, учится в вечернем университете марксизма-ленинизма; много прочёл книг; может поговорить о политике, литературе, театре; держится просто и достойно, так держатся люди, которым есть за что уважать себя. Его воспитывали, да и сам он изрядно поработал над собой, чтоб быть, как говорится, на уровне.

Он хороший работник.

Он нежный отец.

Личина ли это? И да и нет. Личина — потому что все эти качества скрыли от общества Борташевича-преступника, Борташевича-негодяя. Ну,

с другой стороны: работа доставляет Борташевичу искреннее удовольствие. Он любит рассказывать случаи из своей многолетней деятельности — как, например, он строил универмаг, или переоборудовал складские помещения, или как в тридцать третьем году, когда после слома кулацкого саботажа в Ростове вводили продажу хлеба без карточек, он, Борташевич, за двое суток, по звонку из ЦК, организовал сто хлебных лавок и пятьдесят пекарен. Рассказывая, он любит свою энергию и организаторскими способностями, любит скромно и симпатично, без акиндиновской заносчивости... Такое же удовольствие он чувствовал от того, что может судить о новой пьесе и о новом романе, и от людского уважения, и от катинных спортивных успехов, и от вольнодумных серёжинных выходов. Всё это занимало его всерьёз, всё бы это могло быть настоящей жизнью, как у других людей; а личиной стало потому, что у него была, кроме этой внешней жизни, ещё другая, подспудная, чёрная, о которой хорошие люди не знали, а знала только мразь вроде Надежды Петровны.

Неулыбающийся накрашенный идол! Он ненавидел её: он не мог обойтись без её поддержки, в минуты растерянности он бросался к ней, и больше броситься ему было не к кому, — но она могла предать его, не моргнув, ей ничего не стоило, она ведь его никогда не любила... А сама вышла бы сухая из воды, обеспеченная до конца дней своих — он был убеждён, что у неё припрятано на этот случай предостаточно... Она жила, как хотела. Несколько месяцев в году проводила на курортах — чёрт её знает, что она там делала, ему наплевать... Он же позволял себе иногда интрижки с секретаршами, не больше. Она, должно быть, знала об интрижках, но не возражала: ей было в сущности тоже наплевать на него. Если наружно их отношения выглядели благообразными, то только потому, что были дети, которых боялись они оба и которые вносили в семью свои убеждения, вкусы, понятия и требования, полученные на стороне — в школе, в пионерском отряде, в комсомоле, в вузе.

Дети!.. При напоминании о них у Борташевича от умиления увлажнились глаза. У погибшего отца и растленной матери выросли дети, Серёжа и Катя... Что будет, если они когда-нибудь узнают?..

Думать об этом было нельзя. Борташевич не думал. Но он их любил. Он их любил!

Как они плакали, когда им сказали, что умер их дедушка-портной. Они были тогда маленькие и плакали не стесняясь. Старому прохожему не снилось, что его смерть оплачут ангелы. И всего-то он два раза гостил у них неподолгу, а детишки привязались... Как же они плакали бы, если бы умер он, Степан Борташевич!

А Надежда Петровна с помощью Марго пустила по городу слух, что получила после отца наследство — бриллианты, принадлежавшие ещё её матери; и стала открыто носить кулон и кольца, которые через Марго купила во время войны и боялась надевать.

Она вообще мастерица была придумывать, как тратить деньги, чтобы их широкий образ жизни не вызывал подозрений.

Всё же, видимо, она в конце концов зарвалась. Какие-то пошли шёпоты. Борташевич отдал под суд группу работников. Громоотвод — судебный процесс — помог. Молния не ударила. Но спать Борташевич перестал: шёпоты не прекращались, они возникали то тут, то там, пока еле слышные, почти неуловимые. А Борташевич знал, что, когда шепчут внизу, в массах, — это страшнее шумного начальственного гнева: из шёпотов рождаются грозы и обвалы.

Лично ему никто ничего не говорил, ничто не изменилось в отношении к нему товарищей, но он спиной чувствовал, как приближается опасность.

Каждое мгновение мог раздаться громкий открытый голос, говорящий: «Ты — вор». Это мог быть голос Ряженцева. Голос Чуркина. Голос Серёжи. Голос незнакомого человека... Борташевич озирался и сидел от ужаса. А шёпоты не прекращались — то там, то тут...

Перед людьми он попрежнему являлся осанистым, благодушным, всегда готовым пошутить и ответить смехом на чужую шутку. Работал. Трапезничал в кругу семьи. Сдавал зачёты в университете марксизма-ленинизма.

Он вжился во всё это, и часто ему казалось, что это реальное его существование, что он на самом деле хороший коммунист, полезный член общества, отличный семьянин... Мираж исчезал, Борташевич видел себя голым, одиноким среди людей.

Так было на бюро горкома, когда исключали Редьковского.

Борташевич действительно чувствовал то, о чём говорил в своей речи, и высказывался с свободной и красивой манерой человека, привыкшего выступать на заседаниях. Говоря, видел себя со стороны, нравился себе и всерьёз признавал за собой право наставлять других в вопросах морали. Сел — всё рухнуло: увидел, что, говоря о Редьковском, говорил о себе; ощутил знакомую противную горечь во рту, похолодел, подметив случайный взгляд Ряженцева... Редьковский, уходя, споткнулся — Борташевич не выдержал, оглянулся на него. Ему не было жалко этого рвача, туда ему и дорога. Он потому оглянулся, что ему предстоял такой же уход. Но сразу он подумал: «Где там. Меня на бюро не пустят. Редьковского пустили, а меня и на порог не пустят в горком...» Он увидел себя, Степана Борташевича, под конвоем, увидел ошеломлённое, несчастное, враз постаревшее лицо своего приятеля Чуркина, жёсткий взгляд Ряженцева, детей... Детей он не увидел. Он не хотел их видеть.

Надежда Петровна может сколько угодно уговаривать его и обливать презрением: он не только слышит и угадывает шёпоты, — он чувствует, как вокруг него затягивается петля. Что за петля — ещё неизвестно, но затягивается. Ясно — базу поджёт Цыцаркин, чтобы замести следы. А после пожара два заведующих магазинами подали заявления об уходе — в связи с переездом, по семейным обстоятельствам, в другие города.

Побежали крысы с корабля! Борташевич решительно пресек панику. Никаких уходов! Потрудитесь, товарищи, работать, в торговом деле возможны всякие казусы, прокуратура разберётся... Вира — майна! Все по местам!

Он поехал в отпуск. Вдали дышалось легче. Вернулся, вошёл в свой служебный кабинет, небольшой, темноватый, — тоска сдавила горло, как петля...

Вот ничего конкретного нет, а дело идёт к развязке. Это видно. Это в воздухе. В спёртом воздухе мрачного кабинета, где весь август не отворяли окна.

Ждать нечего.

Чего ждать? Завтрашнего дня?.. Которую ночь Борташевич лежит и смотрит в потёмки. Его завтрашний день — это разоблачение и позор. На порог не пустят... да он и не сможет прийти. Как же он придёт, если они будут знать.

Лучше бы не наступал никакой день. Пусть всегда потёмки. Лежать. Считать, чтобы уснуть, до тысячи, потом до пяти... Вспоминать что-нибудь хорошее...

А вспоминать тоже нечего. Пекарни, универмаг?.. Всё это было вперемешку с мерзостью... Надину любовь?..

О детях вспоминать нельзя.

Ужасно, если нечего ждать. Ещё ужаснее, если нечего вспомнить.

Оказывается — жизни не было.

Нет, была, конечно. Но крошечная, куца и очень давно — забылась... Он жил, жил. Он был молодой и хороший, с выпирающими ключицами. Задыхаясь, таскал тяжёлые мешки. Ел хлеб, макая его в душистое масло, и верил, что завтра будет лучше, чем сегодня. Воевал, был ранен, — его лечили, учили, принимали в партию, доверили ему ответственную работу. От души он пел песни и от души смеялся. В полинялой косоворотке, простосердечный, беззаботный, с рвением к работе и чистыми мыслями, воссел он когда-то в красивом кабинете на важнецкой должности — советским хозяйственником... и всё. Дальше нет ничего. Дальше он крал, врал, жрал, покупал Надежде Петровне разные цацки...

Жизнь кончилась в тот день, когда он протянул руку за деньгами. Он сам оборвал свою жизнь.

Мелким бегом бежит на часах секундная стрелка. Бледнеет потолок: светает. Завтрашний день смотрит в окно.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

И город пробуждается.

Первыми на чисто подметённые улицы выходят рабочие, это их час. За ними покидают дома студенты, школьники, хлопотливые хозяйки с клеёнчатými сумками и плетёными «авоськами» и служащие учреждений. А когда весь этот деловой народ разойдётся к своим местам, появляются младенцы в колясках, старички, живущие на покое, и разный прочий люд.

Рано утром, до начала работ в горисполкоме, Дорофея с Чуркиным и главным архитектором Василием Васильевичем едут осматривать новый дом, который вскоре будет принимать комиссия. Построен дом на Точильной, окраинной улице (в старину там жили точильщики, от них улица и получила название); Василий Васильевич, загодя выговоривший себе квартиру в новом доме, возражал против того, чтобы этот дом строили в таком запущенном месте; но Чуркин, верный идее ликвидации окраин, настоял на своём. Окружённый маленькими домиками, деревянными заборами и лоскутными садиками, новый пятиэтажный, с восемью подъездами дом выглядит великаном и красавцем. Он уже покрыт, застеклён и окрашен снаружи, остались мелкие внутренние работы. В нижнем этаже — помещения для магазинов и общественной столовой. Выше — квартиры с балкончиками, с светлыми кухнями; ванные комнаты облицованы белым кафелем; паркетные полы, ниши с полками для книг и для посуды. Все квартиры хороши, но в одной, во втором этаже, Дорофея заметила ещё дополнительные украшения и усовершенствования: двери с узорными матовыми стёклами, необыкновенные стенные шкафчики, камин, лепные карнизы... «Это Василий Васильевич лично для себя так любовно отделал», — догадалась она и осудила главного архитектора; но посмотрела на его сконфуженное, расстроенное лицо, на дрожащие склеротические белые руки — стало жалко старика; сделала вид, что ничего не заметила. И Чуркин смолчал, только вздохнул потихоньку, подсчитав в уме, во что обошёлся горсовету этот дополнительный уют.

— Когда же утвердим список? — спросила Дорофея.

Она имела в виду список лиц, которые будут поселены в этом доме. Жилотдел подготовил список давно, а Чуркин медлил с утверждением.

— Обдумаем сперва; тогда и утвердим, — проворчал он в ответ на её вопрос и пошёл прочь от неё. — Время терпит.

— Где ж терпит? — настаивала она, идя за ним. — Заселять скоро.

— Ладно, ладно, — сказал Чуркин, нервно моргая. — С кондачка не годится. Чересчур много желающих. Только и слышишь — давай площадь. Кто и молчал, так теперь, когда увидели дом...

— Перестали молчать, естественно.

— Естественно. А дом не резиновый. Это, может, Иисус Христос кормил, понимаешь, пятью хлебами десять тысяч человек, или сколько там. А тут реализм. Тут каждую кандидатуру надо обмозговать, — сказал Чуркин и решительно заговорил с Василием Васильевичем о дымоходах.

«Наобещал кому-то квартир и не знает, как выйти из положения», — подумала Дорофея. Принципиальный, упрямый Чуркин сплошь и рядом бывал мягким как воск, и некоторые люди пользовались этим.

Вышли на улицу, и стало ясно, что её нужно немедленно мостить и асфальтировать, уж очень безобразно выглядели деревянные мостки и рытвины по соседству с новым домом, с его нарядными балконами и громадными, ещё пустыми магазинными витринами.

— Этак задождит — моментально грязи нанесут в магазин, — сказала Дорофея, и Чуркин начал договариваться с Василием Васильевичем и прорабом, чтобы не позже завтрашнего дня расчистили площадку вокруг дома, послезавтра начнут приводить улицу в божеский вид.

День полон трудом. Кто строит дом, кто станок; кто отвешивает хлеб покупателям, кто нянчит ребёнка, а кто пишет книжку. А когда поработано на совесть — почему не повеселиться? Нынче вечером в парке культуры — проводы лета, большое гулянье с фейерверком и аттракционами.

Оркестр без усталости играет танцы; подхваченные репродукторами, на весь парк гремят краковяки и вальсы. Танцевальная площадка не может вместить желающих; танцуют в аллеях и на дорожках цветника. Пляшут молодые люди в пиджаках, ученики ремесленных училищ, курсанты военной школы и бесчисленное множество девушек. Попадаются костюмированные — то мелькнут расшитые рукава и головка в венке из цветов, с разноцветными лентами, развевающимися в танце, то пройдёт, томно обмахиваясь платочком, запыхавшаяся «ночь» в чёрных с блёстками одеждах. Цепи цветных фонариков разбегаются в тёмной листве. Смех и говор звучат не смолкая. Лихорадочно работают продавщицы мороженого: чуть покажется продавщица с коробом своего сладкого товара, как девушки, молодые люди в пиджаках, ремесленники и курсанты обступают её тесной толпой; несколько минут суеты и давки — и толпа рассыпается, и продавщица налегке поспешает за новой партией товара...

Блестящая серебряными позументами, кружится смешная карусель с верблюдами и жирафами. На жирафе в малиновых яблоках катят задумчивые, углублённые в себя Юлька и Андрей.

— Значит, решено, — говорит он сдавленным от любви голосом. — Завтра я иду.

Она молчит, ей вдруг жутко ответить «хорошо». До сих пор, при всей ответственности её намерений, это было похоже на игру; Андрей, хоть считался женихом, был просто нежный брат и преданный товарищ, и она ходила вольная, ничем не скованная, — но вот завтра он заявит в загс об их браке, а через неделю их зарегистрируют, она переедет к нему в ту комнатку на седьмом этаже, для которой сама покупала занавески, и что же это будет, куда денется её теперешняя, милая и свободная девичья жизнь?.. Карусель кружится, музыка играет, лица людей, стоящих кругом, мчатся, мелькая, всё плывёт, — Юлька закрывает глаза...

— Так решено, — повторяет Андрей и берёт её за руку. И в первый раз она вздрагивает от горячего и твёрдого прикосновения его руки.

— Хорошо, — отвечает она с закрытыми глазами.

Третья смена музыкантов заняла в оркестре, дважды прокрутили механики старый весёлый фильм «Антон Иванович сердится»... Но кончается и эта ночь, гаснут цветные фонари, пустеют аллеи, забросанные окурками и бумажками, на окурки падает, кружась, жёлтый лист — прощай, лето, до нового свидания!

Новое разгорается утро, в это утро на энском аэродроме встречаются болгарских гостей.

Солнце ещё не печёт; за серо-зелёным полем, в ложине, курится туман, сквозь туман темнеет дальний лес. Небо золотистое, спокойное, в нём стоит мягкий моторный рокот.

Над громадно-распахнутым полем идёт на посадку самолёт. Он опускается, разрастаясь, — летучая серебряная чудо-рыба с большой головой — и садится на дорожку шагах в двухстах от встречающих. Отворяется дверца, люди выходят. На ветру, поднятом винтом, взвиваются красные клетчатые юбки болгарок... С чувством торжества и красоты происходящего Дорофея идёт к ним, и навстречу протягиваются смуглые руки, блестят белые зубы на смуглых лицах...

Старуха Попова выделяется среди всех чёрным платьем и чёрным платком. У неё горбоносое худое лицо, усики над губой и узловатые крестьянские руки. Ей подносят букет; Попова держит его, как сноп, цветы не идут к её вдовьему наряду и резкому, словно из тёмного камня вырезанному лицу. Красавица Марчева хочет взять букет, чтобы помочь ей; Попова не отдаёт и строго говорит что-то.

— Что она говорит? — спрашивает Дорофея.

— Она увезёт эти цветы в Болгарию, — по-русски отвечает Марчева, опережая переводчицу. — Она их положит на братскую могилу, где похоронены её сыновья. У неё оба сына казнены при фашистах, — вполголоса добавляет Марчева, с доверием глядя на Дорофею чёрными, как чёрный бархат, длинными глазами в густых ресницах.

Они едут в гостиницу. Сентябрьский город ярк и пышен. С великолепным напряжением всех сил цветут цветы на бульварах и скверах. От цветов, от расставленных всюду ларьков с грудями бледнозелёной капусты, красных помидоров, оранжевой моркови и лиловых слив небывало пестры улицы. Урожай вливается в город и затопляет его своими дарами и красками. Старуха Попова прямо сидит в машине и, медленно поворачивая голову, осматривается суровым, зорким взглядом. «Что она чувствует, — думает Дорофея, глядя на её орлиный профиль, — что чувствует в нашей стране старая женщина, которая всё отдала, чтобы её народ мог жить свободно, как наш?..»

В гостинице гости переодеваются. Попова достаёт из чемодана заботливо сложенное ситцевое платье и тоже переодевается, изредка вмешиваясь в общий разговор. Дорофея видит её старые, жилистые руки и мытую-перемытую рубашку деревенского холста с большой серой заплатой из нового холста на спине, и забытое воспоминание входит в сердце: мать! Мать стоит и переодевается — те же руки с узлами рабочих мышц и с острыми локтями, те же терпеливые мужицкие лопатки под рубашкой, и рубашка такая же, с аккуратно наложенной грубой заплатой, — только изба низка и темна, мгlistый день развидняется еле-еле... Облик показался и скрылся; и осевшая могила на краю погоста мелькнула далеко, далеко... Дорофея смотрит на Попову, и так ей понятно всё, что было и есть в душе и в жизни Поповой.

В чемодане у Поповой лежат сельскохозяйственные брошюры на русском языке.

— Товарища Попову интересует опыт передовых колхозников, — переводит переводчица. — Она руководит кооперативным хозяйством. Большая борьба; кулаки стреляли в неё; в лесу, когда она ехала на станцию; но не попали.

А у Марчевой с лица, покрытого персиковым пушком, не сходит сияние. Марчева сильная, яркая, она так хороша, что от неё не хочется отвести глаза, в ней всё красиво — от богатых смоляных, бурно вьющихся волос до стройных ног в щегольских башмачках. О ней рассказали, что

девочкой она партизанила вместе с братьями и была отважна до безрассудства; но в изящной женщине с нежным голосом и сдержанными манерами не узнать отчаянной партизанки, которая в мужской одежде пробиралась козыми тропами по горам.

— Вы очень хорошо говорите по-русски, — замечает Дорофея.

— Я скажу вам секрет, — говорит Марчева. — Я не оставила надежды, что всё-таки буду учиться в русском университете. В СССР. Не поздно учиться: мне двадцать три года, — говорит она с некоторой тревогой, полувопросительно подняв к Дорофее свои прекрасные глаза с голубыми белками.

— Почему же это до сих пор не удалось устроить? — спрашивает Дорофея.

— Я вышла замуж, — отвечает Марчева, опуская ресницы...

Надо же, чтобы в такой хороший день на глаза Дорофее попался Геннадий! После приёма у Чуркина и осмотра города гости приехали в Дом техники. И тут на улице Дорофея столкнулась с сыном.

Он шёл с двумя здоровенными парнями в длиннейших сверхмодных пиджаках. У всех троих были самодовольно-брезгливо ухмыляющиеся лица — «э, мы цену себе знаем, нас ничем не удивишь!» — откровенно-нагло заявляли эти лица... волосы чуть не до плеч — мода, что ли, у них не стрижься?.. — и походка, как у паралитиков... Они в упор рассматривали Марчеву. «Н-ни-чего!» — громко сказал один. «Да нет, примитив!» — сказал другой. Дорофее кровь ожгла щёки... Геннадий увидел её и кивнул. Она не ответила, прошла к подъезду ему наперерез, не оглянувшись. На минуту она перестала слышать и соображать, что делается кругом...

«Но доколе я должна из-за него мучиться? — спросила она с негодованием. — Не хочу больше мучиться, хочу жить другим и быть счастливой! Пусть как знает! А я вот этим буду жить», — думала она, услыша вокруг себя говор на двух языках и понемногу успокаиваясь...

Перед вечером болгарки улетели. Опять было небо без облаков, пронизанное спокойным светом, и запах сена, и мягкий, важный рокот моторов в высоте над аэродромом. Серебряная машина стояла на дорожке, распластав могучие крылья.

— До виждане, до виждане, — говорили болгарки.

— Уверена, ещё увидимся в жизни, — сказала Марчева, глаза её нежно мерцали в чёрной опушке ресниц.

— Благодаря за всё, — сказала старуха Попова.

— В добрый час. Приезжайте ещё, — отвечала Дорофея, пожимая руки.

Загрохотал мотор. Горячий ветер дунул и затрепал траву. Самолёт двинулся по дорожке, разбежался, отделился от земли и, удаляясь, стал подниматься. И гул его влился в гул других моторов, парящих в высоте.

Дорофея стояла, сложив руки щитком над глазами, и смотрела ему вслед, пока он не скрылся, сверкнув искоркой.

Один из самолётов, круживших над полем, снизился и сел на дорожку. Из него стали выгружать ящики с виноградом. Ветерок, набежав, донёс до слуха пыхтение локобила и говорок трактора... Золотая пора забот и изобилия, время сбора плодов и нового сева.

Глава четырнадцатая,

посвящённая главным образом вопросам брака

— Вас просит сын, — сообщила секретарша.

Дорофея покраснела от гнева: она не хочет его видеть! С плакатной наглядностью представилась вчерашняя позорная встреча на улице... Секретарша ждала. Дорофея сказала:

— Пусть зайдёт.

Геннадий вошёл, оживлённее обычного, вид приподнятый.

— Мать, здравствуй. Зашёл проститься, поздравь: завтра еду.

— Куда это? — крепясь, осведомилась она сухо.

— В Одессу. Из Одессы в Батуми — морем. На теплоходе «Россия». Здорово?

— Очень. Это что же, уже отпуск?

— Понимаешь, вырвал-таки. Не хотели давать. Вырвал без сохранения содержания. Знакомый оказал протекцию...

— Откуда деньги на поездку?

— Понимаешь, так удачно, как раз выиграл по займу, — солгал Геннадий. — Но если ты в форме... я бы ничего не имел против, если бы ты добавила. — Цыцаркинские деньги уже несколько порастаяли, и было бы не худо получить для такого экстраординарного случая дотацию от матери.

— Я не в форме, — сказала она. — И вообще, Геня...

Тон был непривычно жёстким. Геннадий насторожился.

— Мне не нравится твой образ жизни. Мне не нравится этот отпуск. — Она сидела, маленькая за большим столом, и с каждой фразой энергично пристукивала карандашом по столу, лицо её выражало боль и решимость. — Мне не нравятся твои знакомые. И мне это всё надоело.

— Откуда ты знаешь моих знакомых?

— Видела вчера. Что это такое? Откуда взялось? Что за шпана около тебя?

— Никакая не шпана. Обыкновенные ребята... В чём дело? Ты не хочешь, чтоб я ехал? Но почему? Каприз с твоей стороны...

— Ты посмотри на свой пиджак. Да ты в зеркало, в зеркало, это курам на смех, такая длина... А поповские патлы для чего? Я спрашиваю — патлы зачем?

— Ну, мода...

— Чья мода? Не знаю такой моды.

— Ну, стиль... Мало чего ты не знаешь! Тебе непременно нужно, чтобы я был похож на всех.

— А тебе и твоим друзьям — лишь бы не быть похожими?

— А что?

— Для чего вам быть непохожими? Чтобы отделиться? От кого отделиться? Ты соображаешь — от кого?

— Фу ты, из мухи слона... Да я на юге подстригусь. Завела об ерунде... Нет денег — ну и нет, обойдусь, а при чём тут пиджак, патлы...

— При чём — а вот при том! — сказала она и, стукнув, сломала карандаш. — Нарочно не хочешь понять, что тебе говорят! Какое ты имеешь право — без сохранения содержания? За чей счёт? За мой? Знайдин? Сашин?.. Ты сколько месяцев за пятилетку отработал? На проценты с какого-такого капитала живёшь? Чужим трудом живёшь! Кто ты есть? Цель у тебя какая? Назначение твоё? Можешь ты подумать наконец?..

Она всё повышала голос, приходя в ярость, ну вы подумайте, не долбишь ему, дурак он, что ли!.. Он рассердился.

— Пришёл проститься по-хорошему... в кои веки что-то удалось.. и на тебе, опять сцена! Жизни нет!.. Непременно живи так, как вам хочется...

— Кому это — «вам»?!! — крикнула она, вскочив, и уже не карандашом — кулаком ударила по столу так, что услышали в приёмной. — Отделяешься? Отказываешься? Мы, значит, особо, а ты — особо?.. Эй, Геня! Смотри-и!.. — прокричала она бешено. — Под ноги погляди — куда идёшь-то!..

Быстро вошла секретарша.

— Дорофея Николавна, вас к телефону, Дорофея Николавна, успокойтесь, — заговорила она.

Движением руки Дорофея велела ей молчать.

— Придешь ко мне, когда станешь человеком! — сказала она Геннадю. — А пока не человек — не показывайся. Хватит с меня. Иди.

— Ах, так!.. Ладно! — сказал он и вышел.

— Ох, да что же мне делать! — простонала она, стиснув руки. — Какими словами говорить!..

Почувствовала — ноги не держат; опустила на стул и подпёрла голову. Секретарша, испуганная, совала стакан.

— Дорофея Николавна, выпейте водички, что это вы, почернела даже вся, выпейте, расстроили вас...

— Явится — не пускать, — сказала Дорофея, ещё задыхаясь. Глотнула воды и заплакала горячими слезами. — Вот видите, Тася, как... Сердце отдала — сил больше нет — кончено моё попечение!

— Чёрт знает что! — фыркнул Геннадий, шагая по улицам. Он не придал чересчур большого значения тому, что только что произошло: понервничала мать, а сейчас уж, наверно, одумалась и кается; не может она прогнать его всерьёз... Но кому приятно всё-таки выслушать такое, как он выслушал? Да ещё в учреждении, при секретарше, — на весь город пойдёт... И погода испортилась, день помрачнел, забрызгал частый дождь, а Геннадий, как на грех, был без плаща. Эх, ну ладно, как-нибудь доживём этот неудачный день. Завтра утренним поездом — тю-тю, поехали!.. Одесса, Батуми, каюта первого класса, знакомства, шёлковые пижамы, всего-то раз я был на юге, — когда мы с матерью ездили?.. В тридцать девятом, мне четырнадцать лет было, что я в этом юге понимал...

Так, утешаясь мыслью о предстоящих развлечениях, он дошёл до автобазы. Требовалось заглянуть туда ещё на четверть часа, чтобы подписать акт о передаче имущества. Отворив дверь диспетчерской, где две девушки одновременно разговаривали по телефону, Геннадий остановился: у стены на деревянном диване сидела Лариса, держа на коленях сумочку и зонтик.

«Что, и эта сделает сцену? Или попытается возобновить отношения?» Геннадий был убеждён, что стоит ему захотеть, и Лариса бросит невзрачного человечка, что был с нею на вокзале, и вернётся к нему, Геннадю. Смешно представить себе, чтобы после такого мужа она полюбила того человечка.

— А! — сказал он, мотнув головой. — Здравствуй.

— Здравствуйте, — ответила она, вставая. Руку не протянула. — Мне надо с вами поговорить.

— Ну, что ж, — сказал он, — заходите. — И отворил перед нею дверцу в закуток, носящий название кабинета: узкое, в ширину окна, помещение за деревянной загородкой, обставленное убого, — стол, два стула и на стене железный прут с наколотыми на него бумагами, — поработала бы мать в таких условиях, у неё вон какой кабинет...

— Садитесь. — На «вы», так на «вы», оно и лучше: разошлись и соблюдаем дистанцию. Видимо, она не по поводу возобновления отношений. И сцены, кажется, не будет, спокойно держится Лариса.

В ней не было заметно волнения, только некоторая скованность. Солиднее стала: развилась грудь, округлилась шея, движения плавные. Н-да, вкус у меня всегда был. Она понравилась ему, он принялся кокетничать: откинул волосы, засвистел, сделал интересно-задумчивое лицо. Она поглядела равнодушно на эти манипуляции и сказала:

— Я по делу. Нужно оформить развод.

Перестав свистеть, он кивнул с готовностью: можно оформить, почему не оформить...

— Можно и по одностороннему заявлению, — продолжала она, — но лучше, чтобы и вы подписали. Юрист составил заявление, я принесла. — Она достала бумагу из сумочки. Очень выигрывает женщина, когда у неё глаза не на мокром месте...

— Где подписать?

— Вот здесь подпишите.

— Здесь? Ага.

Он взглянул на неё долгим взглядом и с удовольствием увидел, что она краснеет.

— Так здесь, значит.

— Да, да.

«И с этим человеком я была близка», — подумала она с отвращением, в точности расшифровав его жесты и взгляды.

Она долго откладывала бракоразводные формальности, чувствуя страх перед необходимостью рассказывать посторонним людям, судьям, о перипетиях своей несчастной семейной жизни и, рассказывая, снова и глубично пережить всю эту горечь и грязь. Но теперь подумала: очень хорошо, что наконец решилась; лучше скорее через это пройти; только развязавшись окончательно, освобожусь от постыдных воспоминаний.

— А как вы сегодня вечером, — спросил Геннадий знакомым ей тоном ласкового снисхождения, подписав бумагу и возвращая ей, — не свободны?.. Может, сходили бы в ресторан? Чокнуться за развод...

— Вы глупы и грубы, — сказала она. — Больше ничего не могу вам сказать. — И вышла, не простившись и не поглядев.

Пришли дожди и осенняя скука улиц, по окраинам не пройти без калош. Правда, есть проблески: едва проглянет солнышко — начинает пахнуть мокрыми листьями и живучая ромашка в расселине старой мостовой расправляет понурые лепестки и делает вид, будто ей предстоит тут красоваться ещё бог знает сколько дней. И вообще жизнь идёт, и в домике на Разъезжей готовится к свадьбе, потому что никакие дожди не в силах воспрепятствовать людскому счастью, и осенью у нас в Энске празднуется столько же свадеб, сколько весной.

Юлька сидит на полу своей маленькой девичьей комнатки. Вокруг неё разложено всё, что она накопила за девятнадцать без малого лет своей жизни. За девятнадцать лет человек, живущий на одном месте, накапливает, друзья мои, очень много. Любимые книги, фотографии, письма, школьные табели. Начатые и брошенные дневники. Театральные программки, брошки, коробки от конфет и флакончики из-под духов и одеколона. Незаконченное вышиванье, сломанные безделушки и мятые ленточки. И чего-чего нет в этом хозяйстве. Вот, например, этот маленький ключ: что он открывал? Не вспомнить. А вот записка. На ней фиолетовыми чернилами нарисовано сердце, проткнутое стрелой. Эту записку Юлька получила, когда была в четвёртом классе. Её написал один мальчик из пятого класса. Сердце толстое, немного кривое и очень лиловое. Но ведь жалко выбрасывать, правда?

Целый день сидит Юлька на полу и задумчиво перебирает всё по листочку, чтобы самое важное и дорогое унести с собой.

Но вот юлькина кровать, шкафчик с книгами, столик, зеркало, большой чемодан с одежками и маленький — с письмами, фотографиями и фиолетовым сердцем мальчика из пятого класса отправлены на грузовике в Ленинский район, в новый молодёжный стахановский дом, и Юлька уже не Куприянова, и Юлька уже гостя на Разъезжей.

Свадьба прошла обыкновенно: сносили из соседних домов тарелки и стулья, кричали «горько», набежало видимо-невидимо девушек, продуманно причёсанных и надушённых модными духами «Белая сирень», и Квитченко четырёх девушкам сделал предложение, о чём на утро совершенно забыл... Из приглашённых не явился на свадьбу только Павел Петрович.

Он в тот вечер заканчивал диссертацию и одиноко торжествовал свою маленькую победу. Отнёс рукопись машинистке, поставил на полку книги, которые пролежали на столе полтора года, выбросил черновики — и почувствовал себя странно свободным, неприкаянным, чего-то нехватало... Вдруг по почте пришло письмо от Ларисы.

«Мне нужно с вами поговорить, — писала Лариса, — не можете ли Вы прийти 26-го в 11 ч. утра в городской сад, я буду ждать у фонтана».

У фонтана? Павел Петрович уловил классические ассоциации и наморщил лоб.

Подписано было: «Уважающая Вас Лариса». Бумага пахла сиренью... Он перечитал письмо. Попытался представить себе Ларису — не удалось: представилась белая блузка, кокошником уложенная тёмная коса, нежный голос; лицо ускользало...

Он пошёл в район на методическое совещание. Идя по улице, случайно взглянул на витрину магазина и среди пёстрых тряпок и развешанных гиляндами кружев увидел две женские ноги — из мастики или пластмассы, — согнутые в колене, с вытянутыми, как у балерины, пальцами, они красовались в самом центре, демонстрируя чулки высшего качества. Павлу Петровичу не понравилась залихватская игривость этой рекламы, но тут же неведомо откуда пришла мысль: а ведь он за всю свою жизнь не купил ни одной пары женских чулок.

«И ни одной сумочки», — подумал он, увидев рядом с ногами сумки.

Ночью шёл дождь, шумел по крыше и стекал по оконному стеклу, кривые капли на стекле скучно блестели в зелёном свете лампы.

В одиннадцать часов утра в городском саду безлюдно и сыро. На опустевших клумбах умирают медленной смертью прязные лохматые астры. В бассейне на поверхности воды лежат коричневые листья. Лариса в белом шёлковом шарфе, накинутом на голову, очень красива, — она очень красива, оказывается... Павел Петрович идёт и не знает, что сейчас будет. Его слегка знобит.

— Вы приходите так редко... — говорит Лариса своим нервным, срывающимся голосом.

«Объяснение, — констатирует Павел Петрович. — Да... Но что же она замолчала? Почему она больше ничего не говорит?»

Лариса доходит до конца аллеи и поворачивает обратно.

— Я просто не могу так редко! — произносит она с места, на одном выдохе, словно не было никакой паузы.

И опять пауза. И что-то бурно расцветает в душе у Павла Петровича — какое-то бессмысленное ликование.

— Я должна вас видеть каждый день, — говорит Лариса, глядя не на него, а вперёд, перед собой.

Павлу Петровичу становится жарко. В жару он ходит от одного конца аллеи до другого. Губы его склеились от молчания.

— Когда вы уходите, у меня такая тоска... — слышит он.

«Необыкновенно, непонятно, — думает Павел Петрович. — Поразительно и великолепно, что у неё тоска».

По соседней аллее проходят двое, их скучные кепки мелькают над кустами меж стволов деревьев, громкие голоса спорят о каких-то лимитах... Павлу Петровичу нужно, чтобы они замолчали и прошли, и верну-

лась тишина, и в тишине он бы в полную силу пережил смысл того, что сказала Лариса.

Она говорит:

— Когда вас нет чуть не целую неделю... Я всё время думаю, мне кажется, что вы не придёте..

Молчать наконец противоестественно. Павел Петрович расклеивает губы, чтобы задать резонный вопрос:

— Почему не приду?

Его голос кажется ему чужим и диким.

— Не знаю, — говорит Лариса.

Целую вечность они ходят в безмолвии. Лариса останавливается.

— Ну, вот... — говорит она упавшим голосом. — Ну... Что же делать. Прощайте.

Она быстро идёт прочь от него, а он смотрит и не понимает, зачем она уходит.

— Только тогда не приходите! — страстно говорит она, оглянувшись. — Тогда — ничего не надо, совсем...

И ещё ускоряет шаг, и ему страшно — неужели сию минуту конец необычайному существованию, в которое он только что погрузился?

— Лариса! — восклицает он.

Галка, вспугнутая его криком, шумно вспархивает в ветвях. Сыплются жёлтые листья...

Лариса стоит и ждёт. Он приближается с испугом в глазах.

— Ну для чего же! — говорит он бессвязно, поспешно беря её за руку, чтобы удержать своё новое существование.

Она смотрит с сомнением, но сквозь сомнение в её лице проступает, розовея, первое робкое торжество.

— Я же не знаю... Вы ничего не говорите... — так же бессвязно отвечает она, и из глаз её льются слёзы.

И он смотрит с восторгом на эти слёзы, которые льются из-за него.

Его сердце наполняется благодарностью и готовностью ко всем дальнейшим неожиданностям, которые приготовила для него эта красивая женщина с белым шарфом на голове. Он не может отвести от неё взгляд. Это не та Лариса, которая звала его в гости и поила чаем. Эта — невиданная, чужая, но пусть она говорит и плачет и никуда не уходит.

Он ведёт эту чужую, странную женщину к скамье, скамья влажная, он подстилает свой плащ. Они сидят рядом, он держит её холодные руки. И с удивлением рассматривает тонкие, немного огрубевшие на концах пальцы с короткими перламутровыми ноготками, неизвестные, девичьи, отдающиеся ему. Что-то надо с ними делать, этого требует весь его организм; и он то сжимает их, то подносит к губам и греет своими губами.

Они сидят совсем недолго, но она встаёт и говорит, что ей пора в институт, уже три часа.

— Ну, что вы! — говорит он, не веря. И она смеётся блаженным, нежным смехом и, подняв рукав, показывает часики на запястье...

Он идёт с нею по саду, по улицам, вплоть до дверей института, — если бы предложила, пошёл бы и в институт. Но она прощается.

— Я буду дома в девятом часу, — говорит она. — До свидания!

— До свидания, — повторяет он, не двигаясь с места.

Тяжёлая дубовая дверь закрылась за нею. Мимо этой двери он проходил много раз, не замечая, — теперь она вошла в его существование, и вывеска тоже.

Он пошёл по улицам один. Одиночество казалось незаконным, вызвало протест. Того, что было, было слишком мало. Сказано всего несколько слов из тысяч возможных.

Перебирал в памяти то, что сказано. Ничто не забылось, воспоминания были в сохранности. За каждым из них теснилось неразведанное.

Ярко, как при вспышке магния, он мог теперь представить себе её лицо.

Но всё же он не очень верил. Он хотел бы удостовериться, что новое существование не эфемерно; хотел бы это всё закрепить за собой...

...Положить в карман, как положил вчера письмо...

Неужели это было только вчера?..

Он ходил до вечера. Иногда брызгал дождь. Потом переставал. Один раз Павел Петрович обнаружил себя сидящим в кафе. На столике была чашка с бульоном и пирожок на тарелке. Бульон был горячий, Павел Петрович обжётся и увидел чашку, пирожок и прочее.

Около восьми он вошёл в цветочный магазин. Опытные продавщицы расшифровали его желания, неясные ему самому, и соорудили букет из розовых хризантем. Букет, завернутый в бумагу, получился довольно громоздким, но Павлу Петровичу эта ноша была не в тягость.

Он вышел из магазина и сразу натолкнулся на одного из своих бывших учеников, Александра Любимова.

— Здравствуйте, Павел Петрович, — сказал Саша.

— Здравствуйте, — ответил Павел Петрович, остановясь невольно, потому что остановился Саша.

— Далеко идёте, Павел Петрович?

— На Разъезжую.

— Давайте, я вам пакет донесу. Это вы не гитару купили?

— Нет, это не гитара, — ответил Павел Петрович. — Это цветы. Спасибо, я сам. Всего хорошего, Любимов.

Саша проводил учителя глазами и зашагал своим путём — к Серёже Борташевичу. Он ходил туда каждый день, как на службу, в надежде повидать Катю. Служба была серьёзная, бессрочная, без возможностей отлынивания и прогулов, без перспектив на повышения и награды.

А Павел Петрович дошёл до маленького дома на Разъезжей и не успел позвонить, как открылась дверь и Лариса встала на пороге.

— Идёмте... — прошептала она, когда он молча отдал ей пакет, похожий на гитару.

Он стоял ступенькой ниже и не шёл. Взял её за локоть и слегка потянул к себе.

— Я не хочу туда, — сказал он беспомощно. — Пойдёмте лучше куда-нибудь.

Ему показалось, что едва он войдёт с нею в знакомую столовую и сядет пить чай, — рухнет всё, возле него очутится прежняя симпатичная и скучная Лариса, а эта исчезнет, и выяснится, что не было ни слов, ни слёз, всё мираж.

— Куда же?.. — спросила она.

— Куда хотите, — ответил он, держась за её руку и чувствуя её дрожь. Вдруг осенило: — Ко мне, конечно!

Дрожь в её руке усилилась, он тоже вздрогнул и выпустил её.

— Как хотите, — сказал он резко и отчуждённо.

— Хорошо, — сказала она и медленно пошла в глубину веранды. Он сказал ей вслед:

— Пожалуйста, наденьте белый шарф.

Густели хмурые сумерки. Рывками налетал сырой ветер. Небо было закрыто тучей. В конце широкой улицы, за краем тучи, лежала жёлтая полоска зари. Павел Петрович ходил перед домом, опустив голову, засунув руки в карманы плаща...

Глава пятнадцатая,
посвящённая неприятностям разного рода

На приём к Дорофее пришёл столяр Ефимов, которого она зимой устраивала на жительство в общежитии химиков. Маленький, хмурый и деловой, он сел против неё и вытащил из бумажника пачку бумаг.

— Как живёте? — спросила Дорофея.

— Попрежнему на бивуачном положении, — сказал Ефимов. — И поскольку конца не предвидится, я к вам пришёл.

Он протянул бумаги; они рисовали картину хождения Ефимова и его жены по жилотдельским мукам.

— У Тани ребёнок, и у нас обещает быть, — сказал Ефимов. — Надо с нами решать. Обещано было в октябре. Теперь говорят — жди ещё.

— А у заведующей горжилотделом вы были? — спросила Дорофея.

— И у заведующей был и у самого товарища Чуркина, — ответил Ефимов. — Она меня к нему послала. Он, говорит, новым домом распоряжается лично, я без него не могу. А Чуркин говорит — потерпи ещё. Я бы терпел; но ребёнок требует кубатуры. В чём дело? Нам не обязательно в новом доме. Нам — комнату, где угодно.

— Оставьте эти справки, — сказала она, нахмурясь. — Я вас извещу.

«Я так и знала, — думала она после его ухода, сердито ходя по кабинету. — Чуркин уже сам распределил квартиры в новом доме».

Среди чуркинских слабостей была та, что он совершенно пассивал перед так называемыми знатными людьми. Человек, имеющий известность, был для него на десять голов выше его самого. Когда кого-нибудь из энских граждан награждали или просто хвалили в газете, Чуркин гордился отеческой гордостью. «Вот у нас какие люди живут!» — говорил он.

Как-то на стадионе подошёл отставной генерал Р. и на вопрос: «Каково самочувствие?» — пожаловался, что квартира стала тесновата, семья разрослась, у дочери — Чуркин, должно быть, слышал — двойшки, а он, генерал, пишет мемуары, и его всё отвлекает.

— Где выход? — спросил Чуркин, обеспокоившись за судьбу мемуаров.

Выход генерал видел в том, чтобы Чуркин дал ему квартиру в новом доме, а старую квартиру генерал оставит дочери, и тогда всё будет в порядке.

— Добро! — сказал Чуркин. — Мы подумаем.

Потом пришёл к нему на приём режиссёр Л., заслуженный артист республики, и попросил разрешения быть откровенным. Чуркин разрешил, и Л., страдая, рассказал, что он разошёлся с женой, а жить приходится в одной квартире, и это ад, потому что между жёнами, старой и новой, сложились ненормальные взаимоотношения.

— Я несколько раз был вынужден ночевать в театре, — сказал Л., тихо ломая длинные чистые пальцы и глядя в пол. — Творческая жизнь исключена.

— Гм! — сказал Чуркин. — Какая у вас площадь? Гм... И детей нет... А не обменять ли вам квартиру на две врозь, мы поможем.

Но Л. сказал, что старая жена ни за что не расстанется со старой квартирой, а он, Л., и новая жена — она тоже изнервничалась — мечтают о новой квартире, в новом доме, чтобы новую творческую жизнь строить на абсолютно новом месте... Чуркин грустно рассматривал его облысевший лоб, гусиные лапки у глаз и легкомысленный юношеский галстук и размышлял о том, как нехорошо пожилому мужчине, известной личности, ломать семью и ставить двух женщин в такое положение... Но решил, что сделанного не исправить, а нужно помочь. И укоризненным голосом побещал Л. квартиру в новом доме.

«Я окружаю вниманием лучших людей, — уговаривал он себя, когда уже процентов восемьдесят новой площади было таким образом обещано, и его стала угнетать мысль, что он в этом вопросе наломал дров. — Мы обязаны окружать их вниманием. Да и нельзя считать восемьдесят процентов: какой-то метраж при переселении освободится. Тот, который останется после учёта замужних дочерей, внуков, бывших жён... Гм...» Освобождающийся метраж подсчитать было нелегко, многие выдвигали ещё родителей, двоюродных братьев, престарелых тёток...

«Всё-таки останется порядочно, вот это и раздадим прочим гражданам из числа наиболее нуждающихся».

Он не мог взять обратно обещания, которые надавал так щедро. Люди поверили ему и готовятся к переселению. Кое-кто, по слухам, распродал старую мебель и обзаводится новой. В случае отказа такой поднимется крик — только держись. Генерал напишет жалобы во все инстанции. Артист республики захандрит и запросится в другой город...

И Чуркин уже сердился на этих людей, не желающих подумать о нуждах других и хлопочущих только об удовлетворении собственных нужд; понимал, что они беззастенчиво используют его уважение к их заслугам, но в то же время ничего не мог с собой поделать. И когда Дорофея резковато спросила: кто же, в конце концов, будет поселён в новом доме? — он вспылал:

— Да не волнуйся ты! Стоящие люди будут поселены, вот кто! Лучшие люди, да! Я читаю твои мысли, Дорофея Николаевна! У тебя всегда была тенденция к уравниловке!

И наговорил кучу резкостей, из которых она вывела одно: немного людей, нуждающихся в жилье, выиграет от сдачи нового дома в эксплуатацию; вдвое примерно меньше, чем выходило по подсчётам горжилотдела... К концу своего нервического монолога Чуркин раскаялся, захотел сгладить резкость, по-ребячески пробовал затронуть её жалостливость:

— Устал, понимаешь, а тут ещё этот дом... А отпуск только в ноябре — раньше Нина не придет...

Дорофея игнорировала эту чувствительную тему.

— Конечно, твоё слово самое авторитетное, — сказала она, — но мы с тобой, Кирилл Матвевич, не для того здесь находимся, чтобы создавать блага жизни для избранных. По-моему, столяр Ефимов имеет такое же право на площадь, как всякий лауреат.

— Пожалуйста! — сказал Чуркин отчаянно. — Ставь вопрос на президиуме, твоё право.

— Что нам такой спор выносить на президиум, — сказала Дорофея. — Скажут — неужели простое дело не можете решить в рабочем порядке... Есть партия, пусть нас партия рассудит.

— Пожалуйста! — повторил Чуркин.

Он сказал так сперва из упрямства; но тотчас подумал, что это наилучший выход в его положении. «Наломал дров, наломал, что уж там!.. Пусть поправят. Пусть Ряженцев разберётся с этими генералами и лауреатами».

Чуркин был женат вторично. Первая жена его оставила. Жили дружно, и вдруг она сказала: «Кира, пойми, как сложилось, я люблю другого». Он подавил в себе ничтожные собственнические чувства обиды и ревности, терзающую боль расставания, страх за её судьбу, — всё подавил, скрыл слёзы, которые жгли ему глаза, и благословил её на честную жизнь с человеком, к которому потянулось её сердце. К счастью, не было детей, он и представить себе не мог, как бы они делили детей...

Он никогда не сказал о бывшей жене ни одного осуждающего, ни одного неуважительного слова. Раза два они встречались в Москве — она

жила теперь в Москве; он разговаривал с нею как старинный знакомый, расспрашивал, как её дела, и рассказывал о своих делах.

После её отъезда он долго чувствовал себя покинутым и испытывал болезненные рецидивы собственнических чувств, и чурался своего осиротелого жилья, — потом боль притупилась; потом стала совсем тихой; потом перешла в лёгкую, без терзаний, грусть — но и эта грусть растворилась без остатка в великой страде и печали войны. А сразу после войны, на выпускном студенческом вечере в геологическом институте, куда Чуркин был послан, чтобы сидеть в президиуме и держать приветственную речь, он увидел девушку, в которую влюбился там же, за столом президиума.

Она так его поразила, что он не уехал после торжественной части, как предполагал, а остался на вечере до конца. Улыбаясь светлой, изумлённой улыбкой и не думая о том, что скажут об его поведении, он наблюдал, как она танцует, и сам пытался с нею танцевать, не зная толком ни одного танца. Он тогда ещё не переоделся в штатское, его длинные ноги в галифе и сапогах путались от восторга. Она вышла за него замуж, он был беспредельно счастлив. Её звали Нина, и она родила ему девочку Нину. И тётцу, её мать, звали Ниной. Тёща поселилась с ними, так что Чуркин сторицей был вознаграждён за своё долгие сиротство. Его неожиданно вспыхнувшая любовь не меркла с годами и не спускалась с романтических высот в бытовую прозу, чему способствовала и профессия его жены: она была геолог и большую часть года проводила вдали от него, в экспедициях, оставляя с ним Нину-дочку и Нину-тёщу.

И вся жизнь Чуркина была полна юношеским ожиданием встречи с любимой, предвкушением свидания, и вся перемечена, как красными числами, этими праздничными встречами, отпусками, проведёнными вместе, поездками с женой и дочерью то на южные курорты, тихие в зимний сезон, то на Карельский перешеек, то в родимую Рязанщину. А когда Нина-жена уезжала в экспедицию, — о ней напоминали глаза и имя дочери, вторая кровать, стоящая в спальне возле его кровати, вещи жены, портреты жены, книги, которые она выписывала и которые приходили в её отсутствие, телеграммы из дальних мест, и музыка, и романсы, обильно исполняемые по радио. А потому Чуркин любил романсы, особенно Чайковского и особенно «Средь шумного бала», — ему казалось, что этот романс сочинён про него и про Нину, про их первую встречу, зарождение их любви, и со слезами на глазах он подпевал неумело: «В тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты»... Она приезжала загорелая, всегда немножко новая, и не говорила — спасибо ей: «ты изменился» или «ты постарел», а смотрела на него изучающим, вникающим взглядом и говорила:

— Ты такой же, как был.

В её отсутствие он коротал свои немногие свободные вечера в семье Степана Борташевича.

Это было очень старое знакомство — с юношеских лет. Впервые Чуркин и Борташевич сдружились в Красной Армии. Борташевич был ранен в 1919 году; Чуркин прослужил в армии до 1923-го; много лет они ничего друг о друге не знали — по правде сказать, Чуркин позабыл об этой кратковременной солдатской дружбе. Уже будучи в вузе, старшекурсником, повстречал он друга Степана. Друг Степан шёл неузнаваемый, цветущий, в коверкотовом пальто, помахивая блестящим портфелем. А у Чуркина штаны были с бахромой, и вообще он не столько учился, сколько разгружал баржи на пристани, чтобы прокормиться. Борташевич растрогался, увидев такое положение, привёл Чуркина к себе, и целый учебный год Чуркин у него прикармливался. Степан любил повспоминать об армейской жизни, о походе, в котором они участвовали оба; с улыбкой

спрашивал: «А помнишь то? А помнишь это?..» И, придвигая к Чуркину масло, говорил заботливо: «Кушай».

Окончив вуз, Чуркин уехал в другой город, женился, развёлся, работал, снова воевал. Писали друг другу — раз в пять лет: не любители были писать. Но, приехав после Отечественной войны в Энск, Чуркин с удовольствием нашёл там Борташевича, поседевшего, ставшего совсем уже солидным, обросшего семьёй и попрежнему сердечно расположенного к старому приятелю Чуркину. «Мой дом — твой дом, Кирилл, запомни раз и навсегда», — сказал он. Невозможно не оценить такую дружбу... Нине Надежда Петровна не понравилась, Нина не любила там бывать. Но Нины не было десять месяцев в году, а Чуркин чувствовал себя в этой семье уютно.

Изредка Борташевич обращался к Чуркину с просьбами; но речь шла всегда о других людях, подчинённых Борташевича. Так, года два назад он попросил Чуркина помочь новому директору универсама, некоему Изумудову, получить жилплощадь: живёт ценный работник бог знает в каких условиях... Чуркин помог. Другая, аналогичная просьба касалась Веры Зайцевой, недавно поступившей в горторг секретарём. Тут целая история, которую Чуркин отчасти знал. Зайцева — это, так сказать, восходящее светило, молодой талант, расцветший на почве нашей художественной самодеятельности. Работала на заводе, где Рябушкин директором; записалась в драматический кружок, и обнаружилось дарование, пресса отметила — недюжинное. Рябушкин искусством мало интересуется, недооценил Зайцеву, в общежитии она у него жила; горторг её переманил, и Борташевич передал Чуркину просьбу коллектива — устроить Зайцевой комнатку. Чуркин, конечно, устроил: как она сыграла Марию Стюарт — дай бог каждому так сыграть, недаром есть решение показать этот спектакль в Москве на всеююзном смотре самодеятельности.

Для Чуркина было полной неожиданностью, когда однажды Надежда Петровна сказала ему:

— Вы наш друг, могу я иметь с вами интимный разговор? Прошу вас, поговорите со Степаном. Насчёт его нового увлечения.

Чуркин сделал большие глаза.

— До каких же пор! — продолжала она. — Я понимаю, когда он был молод... Но у нас взрослые дети!

— Вы мне открываете Америки, — сказал Чуркин.

— Что вы! Это же знает весь город!

Действительно, среди знакомых Надежды Петровны пошёл слух о неблагополучии во взаимоотношениях Надежды Петровны со Степаном Андреичем, пустила слух сама Надежда Петровна при помощи Марго.

И сейчас она печальным голосом рассказала Чуркину, что привыкла к изменам Степана и никогда не делала бурь в стакане воды, тем более, что Степан сам ей признавался и раскаивался, он ведь такой по натуре правдивый, Степан, только легкомысленный... Мужская любовь скоротечна. Они прожили почти двадцать пять лет... Конечно, было тяжело, она не сразу свыклась с мыслью, что у него есть другие женщины, — между нами говоря, он не отказывал себе в радостях жизни...

Чуркин огорчился и подумал — а как будет у них с Ниной после двадцати пяти лет? И решил, что, конечно, будет не так, как у Степана с Надеждой Петровной... Он был убеждён, что все должны относиться к своим жёнам, как он относится к Нине, и что за недостаток любви с человека можно взыскать, как за ошибку в работе. Если ему говорили, что такой-то не ладит с женой, потому что у неё дурной характер, он отвечал: «Характер! Мало ли что; кто без недостатков?» — хотя в своей Нине не видел ни одного недостатка. «Пусть перевоспитает её, иначе какой же он коммунист, — говорил он. — Надо было до женитьбы изучить характер

и всё взвесить», — хотя сам влюбился скоропалительно и женился скоропалительно, и, если бы ему пришлось перевоспитывать Нину, он бы понятия не имел, как к этому приступить.

— Я смирилась, я смотрю трезво, — сказала Надежда Петровна и приложила душистый платочек к глазам. — Дети мне заменили всё, я сама их воспитала... Но сейчас они большие, и я обязана подумать, как они воспримут.

— Да, да, да! — озабоченно вздохнул Чуркин.

— Они мне дороги, Кирилл Матвееч!

— А ещё бы!

— Теперь от них уже не скроешь. Нельзя оскорблять их нравственность. Пусть это старомодное слово, но я сама воспитана в нравственной среде — с классовыми предрассудками была среда, но нравственная, Кирилл Матвееч... Если мои Серёжа и Катя. — Надежда Петровна картинно приложила к высокой груди белые руки с красными ногтями, — мои чистые Серёжа и Катя узнают, что их отец... которого они боготворят... с какой-то девчонкой...

— Да подите вы!

— Это их убьёт!

— Кто же она?

— Вера Зайцева.

— Не может быть, не верю! — сказал Чуркин. — Что общего? На что она ему, на что он ей?..

— Он, безусловно, не оставит нас, — сказала Надежда Петровна, осторожно сморкаясь. — Он ведь порядочный. И увлечения его проходят быстро... Но тут он увлечён серьёзно — да, да, не говорите, кто же знает такие вещи, как не жена! — и боюсь, что настанет момент, когда я вынуждена буду — ради детей, исключительно ради детей! — взять на себя инициативу.

— Чего инициативу?

— Инициативу развода, — прошептала Надежда Петровна, окунув нос в платок.

— Глупости! — закричал Чуркин. — Ещё что! Я поговорю с ним...

Через день, выкроив время, он заехал к Борташевичам, увёл Степана в кабинет и начал прямо:

— Слушай, что там у тебя за шашни с Зайцевой?

Борташевич выразил весёлое недоумение.

— Не ври, не ври, серьёзно увлечён, всё знаю!

— Фу ты, боже мой, увлечён, да ещё серьёзно, — засмеялся Борташевич. — Это кто тебя информировал?

— Надежда Петровна, вот кто! — сказал Чуркин страшным шёпотом.

— Надежда Петровна? — переспросил Борташевич, прищурясь на потолок.

— Ты не юли! Я её ещё не видал в таком состоянии. Довёл, понимаешь!.. На что похоже?.. Спокойствие семьи надо беречь...

Борташевич опять засмеялся и лёг на диван.

— Я понимаю, конечно, что ничего быть не может, — сказал Чуркин, — но какого чёрта ты даёшь Надежде Петровне поводы волноваться? Ведь даёшь поводы? Дал, значит, если она о разводе заговорила!

— О разводе? — переспросил Борташевич, приподнявшись на локте.

— Именно.

— Как же она сказала? — с интересом спросил Борташевич.

— Сказала, что дети оскорбятся и придётся разойтись... Вот то-то. Плохо, брат, дело.

— Очень плохо,— подтвердил Борташевич, укладываясь снова.— Совсем плохо,— повторил он погодя, с усмешкой.

— Ты этим не шути! — сказал Чуркин.

— Я не шучу,— сказал Борташевич.

Дело было действительно дрянь, если Надежда Петровна заговорила о разводе.

Он слишком её знал, чтобы не понять, что это значит, Плевать ей на Зайцеву, и до Зайцевой ли ему — уж Надежде-то Петровне известно, что ему не до Зайцевой... Надежда Петровна придумала предлог, чтобы подготовить почву для разрыва. Он видел весь её план: как крот, она будет копать, копать... пока не поверят, что она — добродетельная женщина, уходящая от развратного мужа, который истерзал её изменами. Вот она как подбехала к Чуркину. Дескать, заступитесь, сил моих больше нет. Постепенно она подготовит всех, детей в том числе.

Учуяла наконец запах гари и собирается бежать из горящего здания. Примет свою девичью фамилию, уедет в другой город, её не коснётся ни подозрение, ни презрение, ни даже унылая обязанность — носить мужу передачу.

Потом она будет говорить: «Он, оказывается, ещё и воровал, чтобы травить на любовниц».

Борташевич усмехнулся почти злорадно.

«Эхе-хе, Надежда Петровна. Дорогая подруга жизни. Опоздали! Изменило вам ваше чутьё. Смолоду оно было вострее... И тактика ваша излюбленная — шаг за шагом, тише едешь, дальше будешь,— никуда нынче не годится.

Копайте, копайте... Когда-то прокопаете! Пламенем горит — над головой и под ногами».

Сегодня утром был арестован заведующий галантерейным магазином, один из тех, кто после пожара просил об увольнении.

«Тут не до подкопов — спасайся, кто может... Пропустили сроки, Надежда Петровна, не успеете улизнуть от позора. Крыша рухнет на меня и на вас».

Он злорадствовал... И в то же время смертное отвращение и смертная тоска легли на сердце.

Рассчитывал он, что ли, на её сострадание, её поддержку в час расплаты? Даже на «прощай» не рассчитывал.

И всё-таки это предательство, которого он ждал, было последней точкой. Окончательно приговорённым почувствовал он себя и окончательно одиноким, более одиноким, чем бездомная собака.

Уже даже некому поплакаться в часы ночных метаний...

Но он всё ещё работал, разговаривал, ел, пил, шутил. Живые, глядя на него, думали, что он живой. А это мертвец автоматически проделывал то, что свойственно живым.

Ну и зарядили дожди — без роздыха. Под водяными потоками стоит город Энск, подняв к осенним тучам уродливые мокрые дымоходы. (Вы заметили? Когда оголяются деревья и прячется солнце, — лезет на глаза всё некрасивое, что есть в городе: дымоходы, облупившаяся штукатурка домов, поленицы в грязных дворах, какая-то высоченная глухая кирпичная стена, на которой с незапамятных времён осталась под крышей надпись прямо по кирпичу: «Сергѣй Перловъ и Сыновья»...). Смыты начисто остатки пышного бабьего лета; ни багрянца, ни золота; кажется, будто в природе один цвет остался — серый. А дождь всё идёт, идёт ночью и днём.

В такой насквозь промокший октябрьский серый день длинный почтовый поезд остановился на седьмом пути станции Энск-пассажирская.

Пассажиры с мешками, сундучками и чемоданами стали выходить из вагонов на дощатый настил, под потоки воды. Кругом была скучная железнодорожная картина: скрещения рельсов, жёлтые будки, заборы, семафоры. В числе пассажиров из вагона вышел Геннадий Куприянов. Он был в светлом плаще и шляпе; плащ в дороге измялся. «Погодка!» — сердито подумал Геннадий, с брезгливостью ступая на залитый дождём настил ногой в тонком полуботинке. Дождевые капли, барабаня по настилу, разлетались мелкими брызгами; сразу намокли носки; тело прохватила сырость. «До вокзала не успеешь дойти — простудишься... На какие-то задворки приняли...» Он чувствовал себя кровно оскорблённым тем, что пришлось ехать шестеро суток в почтовых поездах, без плацкарты. Приезд доставил новые оскорбления, одно за другим. «Это ещё что? Через мост тащиться? К чёрту!» Но путь был преграждён товарным составом. Волей-неволей надо было итти со всеми по гремучим, скользким от воды ступенькам воздушного моста вверх, потом вниз. Люди бодро обгоняли Геннадия, толкая его твёрдыми мешками, и раза два чуть не сбили с ног; протестовать и браниться было бессмысленно, все слишком спешили... Подняв воротник плаща, низко надвинув шляпу, Геннадий вышел наконец на привокзальную площадь, кишашую народом. Вода стекала со шляпы, как с крыши, и хлюпала в ботинках... У него был план, обдуманый ещё в Батуми: по приезде сесть в такси и ехать домой, а там взять денег у Зины или у соседей, если Зины не окажется дома, и расплатиться с шофёром: в карманах у Геннадия не было и гривенника. Как назло, такси на площади не видно, «левых» машин тоже, всё успели расхватать; у столба с дощечкой «Стоянка такси» мокла длинная очередь. Оставалось одно: ехать зайцем в трамвае. Геннадий поспешил к трамвайной остановке и втиснулся со своим чемоданом на площадку, битком набитую мокрыми пассажирами.

Во всех этих унижениях виноват был один человек: мать. Он ей четыре раза телеграфировал, что остался без денег. Четыре раза! Последнее истратил на телеграммы, а она даже не ответила; пообедать было не на что, продал часы. Цысаркин, и тот оказался более человеком. На первую телеграмму, правда, тоже промолчал, но на вторую отозвался и выслал на дорогу. Скупой выслал, пришлось ехать в условиях, к которым он не привык, не мог телеграфировать Зине о приезде, в дороге позорно голодал, — но всё же только с помощью Цысаркина Геннадий добрался домой после своего увеселительного путешествия.

«Это называется — мать!..»

В трамвае он поверх голов нервно высматривал — не идёт ли контролёр, но контролёр не пришёл, Геннадий благополучно доехал без билета. Дома никого не оказалось, а ему требовалось хорошенько поесть и помыться, изволь сам искать еду и греть воду. Еду нашёл и наелся, а мыться не стал: отяжелел от сытости, лёг в постель и уснул. В сумерках проснулся, услышал шорох в соседней комнате и громко позвал: «Зина!» Никто не вошёл, тогда он крикнул: «Сашка!» Саша открыл дверь и спросил:

— Что вы?

— Мать не приходила? — спросил Геннадий.

— Нет.

Геннадий отвернулся к стене и заснул снова. Вторично проснулся, чувствуя себя отдохнувшим и бодрым, — был уже поздний вечер, из соседней комнаты в открытую дверь падал электрический свет, Саша стоял на пороге и говорил:

— Вас спрашивают.

— Кто? — спросил Геннадий.

— Какой-то мальчик.

— Ну, давай, пусть зайдёт,— сказал Геннадий потягиваясь.

Вошёл незнакомый мальчик-заморыш в старом пальтеце, в кепочке,— Геннадий было не узнал, потом усмехнулся: Малютка. Хорош мальчик.

— Головной убор, между прочим, рекомендуется в помещении снимать,— заметил Геннадий, свысока поздоровавшись. Малютка безропотно снял кепку, под ней обнаружилась та же грязная тибетейка, в которой Малютка ходил летом.

— Что это вы зимой и летом в тибетейке? — насмешливо полубопытствовал Геннадий.

— Голова зябнет,— пискнул Малютка, с кепкой в руке стоя перед кроватью, на которой возлежал Геннадий.

— Что скажете? — спросил Геннадий, закуривая.

— Я от Цыцаркина,— сказал Малютка.— Очень просит вас зайти.

— Зайду, как же,— сказал Геннадий.— Передайте, завтра зайду.

— Просил, чтобы сегодня,— сказал Малютка.— Чтобы обязательно сегодня. Очень нужно. Он не так здоров. Бюллетенит.

— Что такое?

— Простыл. Ангина. Тридцать семь и восемь.

«Пойти, что ли»,— подумал Геннадий. Тащиться под дождём не хотелось, но вроде бы и неудобно отказать после того, как Цыцаркин его выручил. И, кстати, неплохо бы прихватить займы ещё рублей хоть триста, а то получка ведь когда... Зины всё нет, может, до утра задержится в больнице, некому накормить ужином, а у Цыцаркина наверняка и закуска и выпивка...

— Который там час?

— Двенадцатый.

— Дождь идёт?

— Маленький. Совсем маленький.

— Ладно,— сказал Геннадий.— Я оденусь.

Малютка деликатно вышел. Геннадий поднялся, и они отправились к Цыцаркину.

Дождь в самом деле притих, но продолжал итти. У Малютки оказался зонтик; ещё на лестнице он предложил его Геннадию:

— Желаете?

— Давайте,— милостиво согласился Геннадий, хотя на нём был непромокаемый плащ, а на Малютке вполне промокаемое суконное пальтишко.

Цыцаркин обитал в тихой улочке, в первом этаже кирпичного двухэтажного дома. Ставни его двух окон были закрыты; на улицу доносилось приглушённое пение патефона. Малютка сказал:

— Стукните в окно,— ему самому было не дотянуться.

Геннадий стукнул. В темноте, шлёпая по лужам, подошли к низкому каменному крыльцу. Дверь сейчас же открылась. Открывший не сказал ни слова и был едва различим в неосвещённом тамбуре передней, но по густому запаху парикмахерской Геннадий догадался, что это Изумрудов. Все троём прошли в комнату Цыцаркина. Там страстно заливался патефон: «Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина...» Цыцаркин в фланелевой пижаме, с повязанным горлом, сидел возле патефона и сосредоточенно слушал, упершись руками в расставленные колени.

— А! С приездом! — рассеянно сказал он, взглянув на Геннадия мельком, и дослушал романс до конца. Геннадий обиделся и решил дать понять, что Цыцаркин никаких особенных не оказал ему благодарностей и что Геннадию не из-за чего изливаться перед ним в благодарности. Цыцаркин остановил пластинку и обратился к нему:

— Темпераментно поёт мадам, — заметил он. — Я бы тебе продемонстрировал мои новинки, но уже двенадцать, соседи спать хотят, надо соблюдать законы общежития. И, кроме того, есть разговор. Снимай мантиль, садись ближе. Как съездил? Отдохнул? Выглядишь хорошо.

— Где там хорошо, я ведь как ехал... — начал Геннадий. Цыцаркин перебил:

— Хорошо, отлично выглядишь. Побед, наверно, одержал неисчислимое количество. Молодец, красавец. Люблю этого молодца, — сказал он, обернувшись к Малютке и Изумрудову, и погладил Геннадия по плечу. — Вы ещё увидите, какой он молодец.

Изумрудов сидел в кресле, расфранчённый, мягкий и благоуханный, как прошлый раз, летом, когда они тут выпивали. Малютка смиренно присел у двери на краешке стула, сжавшись и подхватив себя руками под локти. Выпивки и закуски не было видно.

— Отлично, отлично всё, — кротко и ласково говорил Цыцаркин. — Всё хорошо, прекрасная маркиза... Съездил, Геня, теперь поработать требуется, не всё, мальчик, гулять, надо и потрудиться...

— Послезавтра выйду, я с дороги разбитый весь, — сказал Геннадий, недовольный, что уж и Цыцаркин взялся его поучать. Цыцаркин вновь перебил, не дослушав про дорогу.

— Работа предстоит. Надо выполнить одно общественное дело, три человека требуются, ну, мы так наметили, что один человек это будешь ты.

— Что за дело? — спросил Геннадий без охоты — общественные дела его не манили.

Цыцаркин встал и принялся ходить по комнате, шаркая войлочными подошвами разношенных туфель.

— Видишь, Геня, — заговорил он тихо и внушительно, — есть на свете великая вещь — законы товарищества. Святые законы товарищества! Человек, который исполняет законы товарищества, этот человек не пропадёт ни при каких обстоятельствах. И наоборот: если человек манкирует законами товарищества, то пропадёт рано или поздно; ничто его не спасёт, он может изловчиться отсрочку получить, умеючи, но рано или поздно Немезида его настигнет. Доведись до кого хочешь: я бы, скажу откровенно, давно пропал, если бы не товарищество, вот откровенно тебе говорю. Человек крепок товариществом. Ты, Геня, молодой, не всё ещё постиг своим незрелым опытом; так послушай, что тебе искренний твой друг говорит: пропадёшь без товарищества!

Он умолк и, остановившись, пылливо заглянул Геннадию в лицо.

— О каком вы товариществе говорите? — спросил Геннадий, зевая слушавший его туманную речь.

— Ещё герои древности, — сказал Цыцаркин, — шли на жертвы во имя товарищества, ты ведь знаком с мифологией несколько?

— Вы ближе к делу, — сказал Геннадий. — Какая там мифология в первом часу ночи. Я измучился за дорогу, как чёрт.

— Ну, ближе к делу, так ближе к делу, — согласился Цыцаркин. — Такая история: требуется принести жертву на алтарь товарищества. Я не буду говорить — малую жертву. Нет: значительную жертву. Поскольку она значительная, постольку и вознаграждена будет надлежащим образом; и поскольку она будет вознаграждена надлежащим образом, постольку ты через несколько лет выйдешь вполне самостоятельным человеком, катать тогда в Батуми и в Сухуми и куда хочешь. Вот, вчерне, суть.

— Ничего не понимаю, — сказал Геннадий, — вы яснее.

Ясно было только то, что он всерьёз зачем-то нужен Цыцаркину. Тем лучше, он возьмёт у Цыцаркина не триста, а пятьсот. А может, такой слу-

чай, что можно взять и больше?.. «Э, нет! Что-то уж очень эти типы смотрят... серьёзно. Как бы тут уголовщиной не пахло. На уголовщину меня не поймаете. Я согласен только без уголовщины, с уголовщиной мне не надо, обойдусь без вашей помощи, Зина что-нибудь придумает...»

— Ещё яснее! Давай ещё яснее. Ясность — это самое главное; это ты прав. С ясностью, так сказать, крепче нервы и ближе цель. Я всегда предпочту ясность. Изумрудов любит, чтоб коротко и ясно. Не говоря уже о Малютке, Малютка всегда горой стоял за ясность. Ну, что без ясности? — Цыцаркин даже руками развёл. — Плохо без ясности. Ясность — альфа и омега деловых взаимоотношений...

Так он разглагольствовал вполголоса, похаживая по комнате, шаркая туфлями, речь его оставалась невнятной, как будто лишённой смысла, но Геннадий настораживался всё больше... Слишком необычны были для Цыцаркина такие длинные бессмысленные речи; слишком мрачными становились лица Изумрудова и Малютки; слишком неподвижно сидели Изумрудов и Малютка на своих местах — будто застыли... Во всём этом была какая-то зловещая значительность, которую Геннадий ощущал при всём своём легкомыслии. А Цыцаркин ходил и говорил тихим голосом, речь его петляла, петли ложились ту же и ту же:

— ...Где достаточно пострадать троим, зачем должны страдать тридцать? Закон товарищества против того, чтоб страдали тридцать, где достаточно пострадать троим... Страдают тридцать — нехорошо всем тридцати, а страдают трое — нехорошо только троим, и то нехорошо лишь относительно и на некоторый срок, потому что двадцать-то семь не пострадали! Двадцать-то семь живы-здоровы! Двадцать-то семь окажут троим пострадавшим поддержку! А как же! На то закон товарищества! Я же говорю — не пропадёшь с товариществом! Ты сидишь, а тебе жалованье идёт ежемесячно, согласно постановлению товарищества! Ты вышел — одет и обут подобающим тебе образом, обеспечен материально, отношение к тебе самое чуткое, — а как же! А как же! На то товарищество!..

— ...Страдание. Ведь это как понимать страдание. Антр-ну — предрассудок. Привыкли люди пугать друг дружку словом «тюрьма». А что такое тюрьма? Учреждение. На современном этапе — вполне культурное. Обращение вежливое, санитарные условия и медобслуживание по требованиям передовой науки, так что при поддержке товарищества, имея средства, можно существовать божественно..

— ...Маман до какой-то степени может быть полезной. Правда, практика показывает, что люди с положением в таких случаях сплошь и рядом отрекаются даже от близких родственников, но мать есть мать, возьми классические примеры... Будет землю рыть, чтобы добиться смягчения... При её знакомствах...

— ...Ты хочешь ясности. Правильно! Совершенно резонная твоя позиция! Я за ясность, и Малютка за ясность, и Изумрудов за ясность! Скажи, Изумрудов!

Изумрудов колыхнулся в кресле и распространил по комнате волны ароматов.

— Тысяча двести ежемесячно, — прошлёпал он мягкими губами.

— Слышишь, Геня? Тысяча двести. Без вычетов и налогов.

— За десять лет — состояние, — вздохнул Изумрудов, томно подняв глаза к потолку.

— Именно! Именно! — тихо воскликнул Цыцаркин. — Ты подсчитай!

Геннадью было так дико, что он не обиделся и не оборвал их. Да что они, идиоты, что ли? Или его принимают за идиота? Сесть ни за что, ни про что в тюрьму, чтобы покрыть чужие преступления! Ненормальные!.. Онемев от удивления, он слушал дальше, а Цыцаркин опять говорил, и

всё отчётливее обрисовывалось его бредовое предложение. «Однако! Здорово, видно, их прижали, если они пытаются купить такого безукоризненно честного человека, как я. Жест отчаяния: в такой, значит, попали переплёт, что им уж терять нечего, выдают себя с головой...» Он пренебрежительно усмехнулся и встал.

— Глупости говорите, смешно слушать,— сказал он грубо и взял с вешалки у двери свой плащ. Больше ему нечего было делать в этой компании обезумевших жуликов.

Малютка, не разгибаясь, почти не меняя позы, проворно проехал вместе со стулом шага на два вперёд и загородил собою дверь.

— Но-но! — сказал Геннадий, повысив голос. — Давай-ка прочь. Я шутить не люблю.

Ему стало жутко, до него вдруг дошло, что он один, а их трое, припертых к стенке людей,— чёрт их знает, что они ещё вздумают выкинуть... «Да не в лесу же мы. Закричу,— рядом соседи...» Принял храбрый вид.

— Двигайся. Живей.

— Тише, Геня, тише, тише! — сказал Цыцаркин. — Целиком ты, милый, тут.— Он похлопал по карману пижамы.— И... не надо кричать. Будем беседовать культурно. Деньги взял?

— Какие деньги?.. Ну.

— За что ты взял деньги?

— Как за что?

— Так. За что?

— Я... в долг взял.

— Хе! В долг. Не в долг, а свою долю ты взял, так и в расписке написано. Поверит тебе Малютка такую сумму в долг. Кто ты ему — брат, сват?..

— При чём тут Малютка?

— То есть как при чём Малютка?

— Я же не у Малютки брал.

— А у кого?

— У вас я брал.

— У меня? Нет, Геня, у меня ты не брал, я тебе только скромную сумму послал в Батуми, когда ты ко мне дважды обратился, и следом отправил авиапочтой заказное письмо, в котором, откровенно говоря, выразил изумление... Изумление такой просьбой с твоей стороны. Не те у нас отношения, чтобы телеграммы мне слать — гони деньги. Если я в тебе принял участие и устроил на работу, так это в память бывшего знакомства с твоими родителями, а на иждивение я тебя не брал и средства не позволяют взять... Сожалею, если ты не успел получить моё письмо,— а может, успел?..

— Не получал я никакого письма. Что вы ерунду навораживаете!

— Жалко, что не получал. Во всяком случае, письмо сдано под квитанцию и может... фигурировать, при надобности...

— Как это так — не у вас брал, когда вы из рук в руки мне дали?

— Это вздор, из чьих рук; это недоказуемо; важна расписка.

— И расписка на ваше имя.

— Ну-ну-ну-ну!

— Ну да, на ваше!

— Ну-ну-ну-ну!

— На ваше, я читал!..

— Хорошо читаешь, грамотей. Малюткины были деньги, на малюткино имя и расписка.

— «Цыцаркину» написано в расписке. Я же читал... Я его фамилии и не знаю, очень мне надо знать...

— «Сударкину» написано в расписке, а не «Цыцаркину». Сударкин малюткина фамилия. А ты прочёл — «Цыцаркину»? Хе-хе-хе-хе-хе! — Цыцаркин затрясся, его щучья морда расплылась от тихого смеха. И Малютка улынулся, показав жёлтые зубы и бледные дёсны.

— Хе-хе-хе-хе-хе! Ох, не могу! Хо-хо-хо-хо-хо! Сударкина принял за Цыцаркина! Ху-ху-ху-ху-ху! Сударкин, Сударкин, Сударкин, а он прочёл — Цыцаркин!.. — тихо восклицал Цыцаркин, раскисая от смеха, махая рукой и зажмурив глаза, из которых потекли слёзы. — Ох, комедия!..

— Покажите расписку! — свирепо сказал Геннадий.

— Покажите ему, — приказал Изумрудов. Цыцаркин вытер слёзы.

— Покажи ему, Малютка. Пусть убедится. Да Сударкин там, Сударкин, хо-хо-хо, всё в порядке!

— Станьте дальше, тогда покажу, — пропищал Малютка. Геннадий повиновался — отошёл.

— Ещё дальше; ещё. — Всё так же оскалившись, Малютка полез детской цыплячьей рукой во внутренний карман пиджака, достал книжечку — служебное удостоверение, а из книжечки бумажку, развернул бумажку и издала показал Геннадию. И тот, напрягши зрение, убедился, что расписка подлинно на имя Сударкина и там написано, что он, Геннадий Куприянов, получил сполна причитающуюся ему сумму... Геннадий рванулся к Малютке, но тот был настороже — обе его руки мигом исчезли в карманах, и в оскаленном мертвецки-жёлтом лице появилось что-то такое, что Геннадий остановился...

— Порядок! — сказал Цыцаркин. — Сам видишь!

— Я закричу! — сказал Геннадий, беспомощно оглянувшись на него.

— А смысл? — рассудительно, уже без смеха, спросил Цыцаркин. — Ну, придёт милиция; ведь всё равно сядешь. Не уйдёшь от правосудия. Не те у тебя мозги, пардон, чтобы выпутаться; а свидетельствовать против тебя будут люди с мозгами — Спинозы по сравнению с тобой. Так что тут дилемма: или ты садишься как пострадавший во имя товарищества, и тогда тебе хорошо; или ты садишься как предатель товарищества, и тогда тебе плохо. Если даже, паче чаяния, тебя оправдают начисто — тебе плохо, Геня. Выбериай.

— Главным пунктом обвинения будет поджог склада, — зашлёпал Изумрудов, — этот пункт вам не придётся брать на себя, можете быть спокойны, мы докажем ваше алиби.

— Меня не за что сажать... — пробормотал Геннадий, стоя столбом среди комнаты.

— Геня, ах, Геня, — сказал Цыцаркин. — Я думал, ты молодой Ахиллес; а ты, бог с тобой, совсем плох. Крошка-Малютка наш, сорок третий год человеку, язва двенадцатиперстной кишки, — и тот сильнее тебя духом...

— Я ничего не сделал! — сказал Геннадий. — Вы мне расписку подсунули... Плевал я на вашу расписку! — взвизгнул он. — Пустите меня!

— Геня, подумай...

— Пустите! — крикнул Геннадий.

— Ну, пусти, — кивнул Малютке Цыцаркин.

— Пустить? — повторил Малютка, не двигаясь с места.

— Да, постой, Геня, ещё вопрос: не ты ли, часом, сообщил в милицию об облигации? А? Ответь по совести. Облегчи душу.

— Конечно, он! — с ненавистью сказал Малютка.

— Ничего я не сообщал, ну вас к чёрту, Сашка Любимов сообщил!

— Пустите его, — слегка повернув голову, распорядился Изумрудов. Малютка встал, держа руки в карманах, — он был Геннадию по подмышки, не выше, — и дал дорогу.

В тёмном коридоре Геннадий долго возился с незнакомыми запорами, — отворил наконец дверь, выскочил на улицу и пустился наутёк по лужам, не разбирая пути.

Он мчался домой. Не к Зине, а д о м о й, под кров, который единственный мог его укрыть, вразумить, спасти. К сильным, заботливым рукам, которые он оттолкнул. Туда, где немислимы ни обиды, ни счёты, ни ссоры, — о, как он это понял!..

Он был слишком непрактичен и неосведомлён в житейских делах, а в тех, с которыми пришлось столкнуться, — подавно. Он не знал, действительно ли ему угрожает опасность или его просто пугали. Но угроза слишком ужасна. Невозможно жить в такой петле. «Мать, помоги, сними петлю... Мать, что я наделал со своей жизнью...»

Уже ни трамвай не ходил, ни автобус. Город затихал. Дождь припустил как из ведра, мутно светились в водяной мгле фонари. Изредка, с шумом разбрызгивая лужи, пролетала машина. Изредка попадались пешеходы под зонтиками, похожими на чёрные грибы.

«Как я оправдаюсь, они покажут расписку, будут лгать на меня, — как я оправдаюсь, что я наделал! Мама, послушай, я тебе всё расскажу. Я тебе расскажу ужасно неприятную вещь, только ты не волнуйся, что у тебя за привычка заранее волноваться, сядь и выслушай спокойно, мне нужен твой совет, а ты волнуешься... Я познакомился с одним типом — ты его когда-то знала, он говорит... Он, оказывается, преступник, — ну какая ты странная, почём я знал, — он не один, их там целая шайка, — да почём же я знал, что ты кричишь, невозможно с тобой разговаривать, — они знаешь что хотят со мной сделать, — мамочка, спаси меня от них!..»

Он мысленно вёл с нею этот лихорадочный разговор и стремился к ней, задыхаясь, — казалось, вечность он шагает под проливным дождём, по лужам, казалось — нет конца пути, как в тяжёлом сне... Но вот Разъезжая, пустая, ночная, с слепыми пятнышками фонариков на воротах, с смутно чернеющей тушей водокачки на углу. «Кажется, это в наших окошках свет... В наших... Не спят!» Он кинулся бегом.

Маленькая, детская фигура под зонтиком вынырнула из-за водокачки и спешила за ним следом, он не заметил, забыл об опасности. Уже подбегая к своему крыльцу, услышал сзади чмокание и хлюпанье торопливых чужих шагов, на бегу оглянулся, увидел за пеленой дождя человечка под зонтиком — «неужели Малютка», — поскользнулся в грязи и грохнулся смаху, сильно ударившись головой и грудью о ступеньки крыльца. Весь грязный, с облипшими руками, приподнялся, близко засопело, почувствовал удар в спину — не больно...

Встал во весь рост и медленно стал взбираться на крыльцо — ноги стали как ватные, рубашка наполнялась горячей кровью, нечего было думать преследовать Малютку, удирающего в темень и дождь.

Геннадий успел нажать кнопку звонка — раз, второй и третий, как звонил, бывало, возвещая о своём приходе. Услышал, как три слабых коротких звонка прозвучали в доме. Упав на колени, различил за дверью знакомые летящие шаги матери.

Она распахнула дверь, крикнула и приняла в руки опустившееся тело сына.

Глава шестнадцатая

Дальнейшие происшествия

Утром, едва Чуркин проснулся, ему позвонили о несчастье в семье Дорофеи Николавны и о том, что Дорофея Николавна находится в больнице возле сына. Чуркин позвонил в милицию и выяснил те немногие подробности несчастья, которые там были известны. Позвонил в больницу:

сказали — положение опасное. «Ах, грех! Ах, грех!» — приговаривал Чуркин, страдая за Дорофеею, и прежде всех дел отправился в больницу.

Он нашёл Дорофеею в коридоре. С нею были муж и дочь; в белых халатах они понуро сидели на скамье, а Дорофея, сложив руки под грудью, ходила попереёк широкого коридора, от окна к противоположной стене, взад-вперёд, неустанно и равномерно, не ускоряя и не замедляя хода, как ткацкий челнок. Увидя Чуркина, она не бросилась к нему, не заговорила, а посмотрела и продолжала ходить. Глаза её блестели, как в жару, и она то и дело с гримасой боли облизывала губы.

— Как?.. — деликатно спросил Чуркин у Леонида Никитича.

— Взяли на вливание крови, — ответил Леонид Никитич и опасливо посмотрел на жену. — Дуся! Ну, посиди с нами. С Кирилл Матвеевичем вот посиди, а?

— Я не хочу. Здравствуй, Кирилл Матвеевич. Я похожу, — удивившим Чуркина спокойным, звучным голосом отозвалась Дорофея и продолжала своё хождение.

— С ночи ходит, — сокрушённо сказал Леонид Никитич.

«Сын в опасности! Это ж понимать надо», — думал, вздыхая, Чуркин. Сам он в высшей степени понимал такие вещи с тех пор, как его маленькая Нинка болела коклюшем.

— Кирилл Матвеевич, — сказала Юлька, — попросите, чтобы меня пустили ходить за Геней.

— И не к чему! — сказала Дорофея. — Что ты умеешь?

— Я умею, — тихо возразила Юлька.

— Зина там, и довольно, — отрезала Дорофея. Юлька опустила голову, слезинка блеснула у неё на щеке...

В окне был серый плачущий сад. Пахло лекарствами и болезнью. Санитарки и сёстры деловито проходили мимо; скучно застучали костыли, напомнив госпиталь и войну, — больной в синем халате вышел в коридор, прислонил костыли к соседнему окну, закурил...

— Дорофея Николаевна, — сказал Чуркин, приблизившись к ней и осторожно взяв её под локоть, — ты о работе не беспокойся, будь здесь сколько надо времени, и, это самое, ты бы отдохнула немножко...

Она со вниманием подняла на него блестящие глаза, но вдруг рванулась и бросилась прочь по коридору — там, в самом конце, показались носилки... Чуркин с его сочувствием был явно лишний в этой обители скорби, да к тому же его ждали дела. Зайдя к врачу, заведующему хирургией, и узнав от него, что больному Куприянову после вливания крови стало значительно лучше, Чуркин поехал к себе в горисполком. Накануне стало известно, что Ряженцев интересуется: какую площадь — число комнат, общий метраж — занимают генерал Р., артист Л. и другие граждане, которым Чуркин обещал квартиры в новом доме. Как человек справедливый, Чуркин не мог не чувствовать удовлетворения от того, что его ошибка будет исправлена. Люди, которым он надавал обещаний, мелькали в приёмной и звонили по телефону, а Чуркин отвечал им строго и слегка загадочно:

— Подрабатываем список, согласовываем вопрос.

«Экий... фрукт! — думал он, вешая трубку. — Ты волнуешься потому, что приходится жить в одной квартире с двумя жёнами, а иному человеку с одной женой жить негде, ты бы это сообразил!»

Только Василию Васильевичу, главному архитектору, он сказал:

— Боюсь, Василий Васильевич, не заплакала бы ваша квартирка. Новым домом заинтересовался горком.

Василий Васильевич побледнел. Не то чтобы его старая квартира была плоха или он уж так держался бы за стенные шкафчики в новой квартире, — его ужаснула мысль, что из горкома придут в новый дом

и увидят, с какой любовью и тщанием, как никакую другую, коммунист Василий Васильевич отделал квартиру лично для себя.

«Придут непременно,— ужасался Василий Васильевич,— и обнаружат, что у меня кафель подобран в тон, а в других квартирах не в тон, и матовое стекло у меня, и камин, и лепка, у меня одного... О, стыд! И как я мог, седой человек, рискнуть на такой стыд — из-за чего?! Что меня соблазнило, подумать!..» Он полизал нитроглицерин и решил, что не переедет в новую квартиру, если даже его будут просить...

В утро, о котором идёт речь, Чуркина дожидалась комиссия, обследовавшая дом номер шесть в Рылеевском переулке. Дом был старый, дал трещину, комиссия выясняла степень угрозы. Чуркину положили на стол суровый акт, в котором говорилось, что запланированный ремонт дому ни к чему, нужен капитальный, а перво-наперво надлежит в срочном порядке выселить жильцов.

— Ну, беда! — сказал Чуркин.

Как раз сейчас маневренный жилищный фонд города весь был занят людьми, временно переселёнными из ремонтируемых домов, и куда девать ещё сто сорок человек, тридцать шесть семейств, было до того неясно, что у Чуркина закружилась голова.

Он попробовал смягчить остроту вопроса:

— А вы, товарищи, не паникуете? Может, не так страшно, а? Выдержим до нового года?

Комиссия непреклонно заявила, что не берёт на себя ответственности за жизнь людей, которым два месяца придётся жить в доме угрозы.

— Беда лихая,— повторил Чуркин.— Куда же их денем?

Комиссия холодно смолчала.

— Василий Васильевич, вы как считаете? — спросил Чуркин, обращаясь к главному архитектору.

— Выводы комиссии бесспорны, — сказал Василий Васильевич. — Если вы вспомните, Кирилл Матвееч, этот дом давно под надзором. Дальнейшая отсрочка была бы преступлением.— Василий Васильевич подумал о кафеле, подобранном в тон, о своём решении отказаться от новой квартиры, посмотрел на ногти и сказал твёрдо: — Есть выход: ускорить заселение нового дома. Какая-то площадь освободится для маневрирования.

— Я подумаю, — сказал Чуркин.

Но думать было нечего. Повидимому, то, что советовал Василий Васильевич, было наиболее реальным вариантом: форсировать окончание отделочных работ и заселить новый дом в середине ноября... В таком случае необходимо, чтобы горько поторопился со списками. Чуркин взял трубку и по прямому телефону позвонил Ряженцеву.

Ряженцев не ответил: с той стороны сняли трубку и положили опять, чтобы разъединиться. Это случилось, когда Ряженцев был занят настолько, что даже на секунду не мог оторваться. «С Москвой разговаривает», — подумал Чуркин. Выждал и позвонил снова, и снова Ряженцев снял трубку и положил, не отозвавшись.

«Ведь вот этот комплексный ремонт, — думал Чуркин, — опять, значит, сокращение полезной жилой площади. Перепланируем помещения, построим светлые кухни, ванны, — глядишь, процентов восемь, а то и десять полезной площади ушло, и кому-то нехватает места... Ну, ладно. Новые трудности, зато будет в Рылеевском переулке хороший дом вместо уroda... — Он представил себе этот облезлый, будто лишаями покрытый дом, с безобразными подпорками, и поморщился. — Не доходили до него руки, теперь дойдут поневоле. Гром грянул, мужик крестится. Не покажись трещина — стоял бы урод и стоял лет ещё пяток...

Позвонил секретарь Ряженцева и сказал, что товарищ Ряженцев просит товарища Чуркина срочно зайти к нему.

— Вы мне его самого дайте,— сказал Чуркин. «По поводу заселения дома не собрался ли разговаривать, так вот я с этим разговором сам ему навстречу иду!» Он подождал у телефона, но после небольшой паузы секретарский голос повторил настоятельно: — Товарищ Чуркин, товарищ Ряженцев просит вас прийти немедленно.

Небывалый случай, чтобы Ряженцев отказался говорить с ним по телефону и так настойчиво звал к себе, не спрашивая, удобно ли это Чуркину в данный момент. «Экстраординарное что-то случилось», — тревожно думал Чуркин, проходя коротенькое расстояние, полтора квартала домов, между горисполкомом и горкомом партии. Усиливалось беспокойство и желание скорее узнать, в чём дело, и в горком он вошёл запыхавшись.

Его ждали. Хотя в приёмной были люди, но секретарь встал, едва Чуркин показался, и открыл перед ним дверь, так что Чуркин пронёсся в кабинет без задержки.

Ряженцев стоял у окна, руки его были заложены за спину, пальцы крепко сцеплены.

— Здорово,— хлопотливо сказал Чуркин, бросаясь в кресло и доставая папиросы,— что случилось?

Ряженцев шагнул к нему и остановился, держа руки за спиной и глядя в пол. Без предисловий и пауз он сказал:

— Следственными органами разоблачён Борташевич.

Откинув голову, сведя брови, Чуркин продолжал встревоженно смотреть на Ряженцева. В одной руке у него была незажжённая папироса, в другой — коробок спичек. Ряженцев глянул на него, ещё больше нахмурился и отвёл взгляд.

— Как?.. — спросил Чуркин и вдруг понял и встал.

— В чём разоблачён? — спросил он другим голосом, тоже ясным и жёстким, как у Ряженцева.

— В воровстве,— кратко и беспощадно ответил Ряженцев.— Прочтите.

И, перейдя к столу, перебрал Чуркину докладную записку прокурора.

Чуркин взял бумаги, скотытые скрепкой, и стоя стал читать.

Он читал медленно и соображал плохо. Только физически ощущал непоправимую беду. Впоследствии ему казалось удивительным и ужасным, что он, друг Степана Борташевича, не возмутился словами Ряженцева, не швырнул бумаги обратно, не крикнул: «Клевета, не верю, не может быть!» Он поверил в беду сразу, ещё не получив доказательств и даже не разобравшись толком, что за беда. Или он так верил Ряженцеву, или в то мгновение, как Ряженцев произнёс свои страшные слова, какой-то второй, внутренний голос сказал Чуркину, что это м о ж е т быть, что это правда, которую придётся принять и перенести.

Прочёл страницу. Написано было сжато, корректными словами информации. Готовился повернуть листок, когда со всей наглядностью до него дошёл чудовищно-постыдный смысл прочитанного,— ему стало тошно, он снова сел.

Дочитал и тихо положил бумаги на край стола.

Ряженцев сказал:

— Милиция убеждена, что сегодняшнее ночное дело тоже состряпано этой шайкой.

— Какое дело? — спросил Чуркин хрипло.

— Покушение на Куприянова.

— Как! — сказал Чуркин. — Что ты говоришь! Борташевич убил Куприянова?!

— Да нет, — сказал Ряженцев с отвращением.— Борташевич у них

играл особую роль... Ты же читал. Покровитель с партбилетом в кармане. Дошло до тебя? Грабили и государство и потребителей, то есть — народ. А он покрывал...

Ряженцев подошёл к столу и сел на своё место.

— Я первый, — сказал он, тяжело опустив большую светловолосую голову, — несу ответ за то, что дал негодню обманывать партию: не всмотрелся в его жизнь, не распознал ложь... Но ты, Кирилл? Ты же там бывал...

— Да разве можно было подумать!.. — с отчаянием сказал Чуркин, осекся, покраснел до сизо-свекольного цвета и так же быстро побледнел, стал серым и старым.

— Ты и меня подозреваешь? — спросил он прямо.

Рука его с папиросой, лежавшая на столе, задрожала, и, чтобы скрыть дрожь, он скомкал папиросу и зажал в кулаке.

И Ряженцев начал краснеть. Его широкое лицо под светлыми, прямыми, гладко зачёсанными волосами медленно наливалось краской. Рот был сжат — казалось, Ряженцев молчит, чтобы не сказать лишнее.

— Если бы я тебя подозревал, — сказал он, не сдержавшись, тихо и страстно, — как ты думаешь — я бы так с тобой сейчас разговаривал?! Я не мог бы с тобой так разговаривать! Не вздумай истерику закатить, председатель горсовета, не к лицу это нам с тобой!.. Но всё-таки помни, что ты дал мерзавцу себя провести! Помни, что какие-то голоса обязательно скажут: «Один приятель за решёткой, а другой возглавляет в Энке советскую власть». Не любит народ таких промахов!

Чуркин поднялся, отошёл к окну и стал к Ряженцеву спиной. Он не мог бы сейчас выйти из кабинета... Знакомый робкий вскрик паровоза донёсся с улицы. Это проходила мимо городского парка «овечка», таща вагоны на ремонтный завод «Красная заря». На мгновение душа Чуркина отозвалась на этот призыв привычной досадой и привычной заботой: «Ах, черти, и когда я их заставлю убрать отсюда это безобразие!» Но сейчас же он вспомнил о главном — о том, что человек, которого он много лет любил и в которого верил, умер для него — хуже, чем умер...

...Чуркин вышел из горкома на площадь Коммуны. Потеплело; дождь моросил мелкий. И этот мягкий, прихмуренный денёк, и тихий несердитый дождь, и тысячи раз виданные, спокойные линии домов вокруг площади показались Чуркину мрачными и трагическими, как знамение происшедшей с ним катастрофы. Он вспомнил, как несколько месяцев назад они вышли из этого подъезда вместе с Борташевичем, это было, когда исключали проходимца Редьковского, Борташевич хорошо говорил на заседании, — «как он мог так лгать! Как может человек так лгать! — с мукой и омерзением думал Чуркин; душа его кровоточила. — Партии лгал, людям всем лгал... семье... Семья, семья!» Ему представилась Надежда Петровна, он по-новому увидел её нарисованные брови и закрытый рот, произносящий «гум, гум, гум», увидел маску вместо лица, ужаснулся, откинул прочь — эта переживёт, эта знала, уж если Степан лгал, то такая тем более сумеет налгать, Нина словно чувствовала, терпеть её не могла, — как же он-то, Чуркин, не видел, что у неё не лицо, а маска?.. Знала, знала! Но дети, неужели дети?.. Нет, нет! Несчастные обманутые дети, преданные родным отцом!..

В горисполкоме ничего не знали, кроме того, что Чуркин пошёл к Ряженцеву. Но все подняли головы и переглянулись, когда через комнаты, ни на кого не глядя, прямой деревянной походкой прошёл Чуркин, несчастный, серый, больной, постаревший за один час на десять лет.

Это происходило в катин день рождения — дата, всегда торжественно отмечающаяся в семье Борташевичей. План праздника был таков: за-

ный обед — для катиных институтских друзей; потом большой вечер с танцами, ужином, мороженым, коктейлями и всем, что полагается. Тётя Поля и Марго не могли управиться с такой программой вдвоём; была приглашена официантка из ресторана.

Утром Борташевич нежно поздравил дочь, вручил подарки, обещал быть дома пораньше, а затем отправился в универмаг. К горторгу, особенно к своему кабинету в горторге, чувствовал после приезда тоскливое отвращение и старался бывать там как можно меньше. Лицезреть сообщников стало нестерпимой пыткой... В универмаге запретил директору Изумрудову — хорошо воспитанному, изящно-почтительному жулику, выпisanному сообщниками из Краснодара, — сопровождать его, сам обошёл отделы, беседовал с продавцами и покупателями. Только к трём приехал в горторг. На лестнице ему повстречался секретарь партбюро Хмельницкий. Вчера Хмельницкий спрашивал у него, когда можно поставить на партийном собрании доклад руководства о перспективах торговли в Энске. Борташевич обещал подумать. Теперь он остановил Хмельницкого.

— Товарищ Хмельницкий, — кивнув, сказал он с видом человека, вспомнившего между тысячей важных дел о тысяча первом, — ставьте доклад на ближайшем собрании. Я приготовлю.

Хмельницкий, молодой человек в очках, с выдержанными манерами, посмотрел на него и пошёл вниз, не ответив, — и это поразило Борташевича ужасом. «И не поздоровался. Такой вежливый, и не поздоровался. Боже мой, боже мой, он не поздоровался! Задумался он, или... или... это уже случилось?» Борташевич ощутил, как больно повернулось сердце и как волосы пошевелились надо лбом, словно на них подули. «Вдруг — случайность: думал, что уже виделись сегодня, и не поздоровался, это бывает... А почему не ответил насчёт доклада? Боже мой, боже мой... Да или нет?»

«Попробуем проверить». Стараясь попадать пальцем в те кружки, в какие нужно, он набрал чуркинский номер. Голос Чуркина либо вынесет приговор, либо даст отсрочку...

Ответил мурлыкающий голосок чуркинской секретарши:

— Да, я вас слушаю.

— Чуркин у себя?

— Кто просит?

— Борташевич.

— Пожалуйста, Степан Андреич, соединяю.

Секретарша мурлыкала обыкновенно; Борташевич чуточку успокоился.

Но вот опять её голос — испуганно:

— Вы слушаете? Кирилла Матвевича нет.

— Как нет? Вы сказали...

— Его нет! — торопливо повторила секретарша, в трубке мелко запищали отбойные сигналы.

Вошёл заместитель.

— Цыцаркин арестован.

— Да? — спросил Борташевич.

— Подумайте, Степан Андреич, даже отдел кадров не поставлен в известность.

— Хорошо, идите, — сказал Борташевич.

Вошла Вера Зайцева, секретарша.

— Степан Андреич, звонят из универмага, за Изумрудовым пришли из милиции.

— Хорошо, — сказал Борташевич.

Он всё держал трубку; трубка яростно и неумоимо кричала отбой.

Положил трубку и вышел. В коридор, вниз по лестнице, на улицу.

«Победа» с брезентовым верхом стояла у подъезда. Шофёр курил, прислонясь спиной к машине, и разговаривал с другими шофёрами. Увидев начальника, он сделал движение — отворить дверцу, но начальник свернул направо и пошёл пешком. Шофёр проводил его глазами и продолжал беседу.

О чём думал Борташевич? А ни о чём. Он уползал в своё логово.

Медленно прошёл через переднюю, и разноцветные стёкла фрамуги в последний раз окрасили его лицо бледными жёлтыми, фиолетовыми и красными светами.

Катя вышла на его шаги, весёлая, румяная, в новом платье.

— Папа, ну какой молодец, что пришёл к обеду! — Она поцеловала его. — Мама, папа пришёл! — крикнула она.

Комнаты были празднично убраны, всюду цветы. В столовой Поля с набожным лицом расставляла по снежной скатерти старинные фарфоровые тарелки, которые вынимались из буфета в дни особых торжеств. Поле помогала девушка в шёлковом фартучке и гофрированной наколке — официантка из ресторана. Марго перетирала хрусталь... Озираясь, Борташевич прошёл мимо них. Он забыл, что будут гости, званный обед... Надежда Петровна вышла из спальни в кружевной блузе и пышнейшей голубой юбке, падающей водопадами до полу.

— Тебе нравится мамин костюм? — спросила Катя. Борташевич молча стоял перед ними...

— Боже! — вскрикнула Надежда Петровна. — Где ты так вымазался?

Она показала на его ноги. Он нагнулся, взглянул. Брюки забрызганы грязью.

— Скорей переодевайся! — негодуяше сказала она. Он прошёл к себе и закрыл дверь.

— И блузка прелестная, но юбка, юбка! — говорила Катя, обходя мать по кругу и любуясь её туалетом.

— Всё равно вы меня не убедите! — сказала Марго, расставляя фужеры. — Половину шёлка она украла!

— Перестаньте, я не желаю это слушать! — воскликнула Катя. — Но где же гости?

— Один уже тут, — сказала Надежда Петровна. — Уже час сидит.

Гость, пришедший раньше всех, был Саша Любимов. Катя пригласила его отчасти в пику матери, убеждавшей её «не смешивать общество», отчасти для Серёжи, чтобы тот не скучал. Для такого случая Саша взял выходной день и сходил в парикмахерскую. Пока что он сидел у Серёжи, прислушиваясь к долетаящим звукам катиного голоса.

Прозвонил звонок.

— Накрывайте, я отворю! — сказала Катя и, разбежавшись, весело распахнула дверь на площадку. Она была в праздничном настроении, её обида на Войнаровского прошла и увлечение тоже, она чувствовала себя красивой, привлекательной; ей шло белое шерстяное платье спортивного стиля, и она с удовольствием шла отворять гостям.

Но это были не гости, а управхоз Иван Семёныч, инвалид, который заходил иногда и спрашивал, хорошо ли греют батареи отопления и нет ли каких претензий, и с ним несколько незнакомых мужчин.

— Хозяин дома? — спросил Иван Семёныч.

— Дома, — ответила Катя, рассматривая одного из мужчин, молодого блондина, худого, с узким розовым лицом и такими светлыми волосами и бровями, что они казались бесцветными. «Какая нежная кожа», — отметила она...

— Повидать его надо, — сказал Иван Семёныч и вошёл в переднюю,

слегка отстранив Катю. Незнакомые вошли за ним, а позади шёл милиционер, которого Катя раньше не заметила. «Ой, неужели опять Серёжка что-нибудь натворил», — подумала она и пошла за отцом. «Да?» — спросил он, когда она постучалась.

— Папа, — сказала Катя, приоткрыв дверь. — Тебя спрашивают.

— Кто? — спросил он. Он стоял посреди кабинета, заложив руку за борт пиджака.

— Управхоз с милиционером и ещё какие-то.

— Сейчас! — сказал отец. Он сказал это почему-то шёпотом, присвистнув. Она закрыла дверь и слышала, как за нею быстро и мягко повернулся ключ.

— Он сейчас, — сказала Катя, выйдя в переднюю, и вслед за этими словами из кабинета раздался короткий сильный стук, будто шкаф упал. Катя не поняла, что такое упало и почему люди, пришедшие с управхозом, бросились в коридор. В недоумении она пошла за ними.

— Здесь? — спросил её блондин, дёрнув дверь кабинета.

— Кажется, — удивлённо ответила Катя, догадываясь, что он имеет в виду стук.

Серёжа вышел в коридор, за ним Саша. В столовой женщины замерли с посудой в руках... Из глубины коридора спешила Надежда Петровна. Слишком длинная юбка мешала ей, и она на ходу нетерпеливо отшвыривала юбку ногой.

— Что тут происходит? — громко спросила она.

Ей не ответили. Блондин властно постучал в дверь. Дверь молчала. Кате стало вдруг страшно, страшно. Она прикусила косточки пальцев, боясь дышать...

— Васильев, ну-ка! — сказал блондин другому человеку. Другой — коренастый, низенький, чёрный, как жук, — заглянул в скважину, слегка потряс дверь за ручку и небрежно, как бы лениво привалившись плечом, распахнул обе створки настежь. И Катя увидела отца, лежащего во весь рост на полу, головой к порогу.

Сейчас же его заслонили чужие люди. Блондин стал звонить по телефону... Катя приблизилась к отцу, осторожно обходя его седую голову; наклонилась и отпрянула, увидев большое тёмное мокрое пятно на ковре. Отец лежал плечом в луже. Застонав, Катя упала рядом, заглянула в лицо с неподвижными пустыми глазами... Запахло аптекой, замелькали белые халаты. « Попрошу отойти! » — сказал доктор. Катя встала и тупо стояла в стороне, пока его осматривали и что-то делали над ним.

Его стали класть на носилки. Беспомощны, как у куклы, были ноги в брюках, забрызганных грязью. Тётя Поля, строгая, с поджатыми губами, вынесла одеяло и прикрыла эти ноги.

— Он умер? — спросила Катя.

— Ранен, — ответил, посмотрев на неё, блондин.

Санитары понесли носилки. Тётя Поля перекрестилась.

— Ушёл, — негромко сказал чей-то голос.

Катя вскрикнула и бросилась за носилками. С лестницы доносились голоса и топот.

У двери на лестницу стоял милиционер. Он не хотел выпустить Катю.

— Я поеду с ним! — сказала Катя и схватила милиционера за рукав.

— Куда поедете, куда! — сказал милиционер. — Всё равно не пустят в тюремную больницу.

Позади раздался знакомый крик, которым у Серёжи начинались припадки. Катя пошла обратно. И только дворники, стоявшие у ворот, да несколько случайных прохожих видели, как в санитарной карете укатил в свой последний путь преступник Степан Борташевич, бежавший от суда народа и партии.

Серёжа бился и рыдал в углу коридора, и Саша растерянный стоял над ним.

— Помоги мне! — сказала Катя. — Поднять помощи. На кровать, на кровать...

Вдвоём они подняли Серёжу, перенесли в комнату, уложили, укрыли. «Серёжка, Серёжка!» — привычно-успокоительно приговаривала Катя... Рыдать он перестал, но его знобило так, что худенькое тело прыгало под одеялом.

— Побудь с ним, — сказала Катя Саше и пошла за грелкой.

Тётя Поля повстречалась в коридоре и сурово опустила глаза. Катя ничего ей не сказала, сама согрела в кухне воду и наполнила грелку. В квартире хозяйничали незнакомые люди. Проходя мимо комнат, Катя видела, что делается. Васильев вешал печати на мебель. У отцовского бюро сидел блондин и вынимал бумаги из ящиков, рядом стояли ещё двое, а в кресле сидела мать в своём праздничном наряде. Столовая стала похожа на посудный магазин: разнообразные сервизы, вынутые из шкафов, промоздили на столе и буфете; грудой лежало серебро — официантка его считала и записывала. «Евгений Александрович, — спросила она громко, — а хрусталь считать?» — «Считайте, Маша», — ответил из соседней комнаты блондин... Управхоз Иван Семёныч бродил за официанткой на своём протезе, длинные усы его свисали уныло. «Неужели нельзя отложить эту возню, — с отвращением подумала Катя, — неужели так важно непременно сейчас сосчитать ложки, когда человек хотел убить себя...»

— Зачем они тут? — трясась, спросил Серёжа, когда она ставила грелку к его ногам. — Что они делают?

Катя подумала: лучше сказать ему сразу. Пусть опять припадок, но лучше сразу.

— По-моему, — сказала она, — они описывают имущество.

— Он умер? — спросил Серёжа — совсем так, как давеча спрашивала она.

— Нет, нет; ранен.

Он пристально смотрел на неё лихорадочно блестящими чёрными глазами, дрожь его усилилась; Катя встала.

— Серёженька, я ещё пойду узнаю. Мне так сказали. Я пробовала его руку, она была тёплая, клянусь тебе, чем хочешь... Ну, я ещё спрошу.

— Скажите мне, как позвонить в больницу, — тихо сказала она блондину. — Я хочу знать, жив ли он.

Блондин слушал внимательно и холодно.

— Я звонил только что, — сказал он. — Он жив.

— А... состояние... очень опасное?

— Не выяснено. Мальчику лучше?

— Да.

— Доктора не надо?

— Нет.

Очевидно, бесполезно вторично просить, чтобы он объяснил ей, как позвонить в больницу. Сведения об отце придётся получать из третьих рук.

Гордая Катя приняла это со смирением, которое поразило бы её, если бы она отдавала себе отчёт в том, что в ней творилось.

— Жив, — шепнула она, вернувшись к Серёже, и села в безотрадном ожидании неведомо чего. В комнате было тихо, ходьба и разговоры доносились еле слышно, можно было подумать, что ничего не произошло, просто Серёжа нездоров, а Катя зашла его проведать.

— Что ты думаешь? — спросил Серёжа.

Она думала: «Видимо, папа дал себя обмануть каким-то негодьям.

Они его втянули в грязь... Может быть, нарочно втянули, за то, что он был беспощаден к жуликам. И теперь он отвечает за них, невинный». Его лицо вообразилось ей, не то чужое, ничего не выражающее, которое лежало там, на полу, у её ног, а живое, родное, любимое с детства, с доброй усталой смешинкой в глазах... «Он, конечно, уже знал, что его вравили и ему отвечать. Потому и хотел застрелиться...» Всё это она кое-как, с мукой и бессвязно, объяснила Серёже.

— Ясно, — закончила она, — что нанесён ущерб государству. Потому и описывают. Если окажется, что мало, я пойду работать.

— Я тоже!

— Вообще, теперь надо работать. Не ждать диплома.

— Ты совместишь с учёбой! — сказал Серёжа.

— Я могу преподавать в школе. Всё-таки четвёртый курс...

— Можешь быть инструктором физкультуры.

— Да. И выплачивать, понимаешь... Лишь бы он был жив и оправдан.

— Это всё клеветники! — сказал Серёжа, и опять его стало трясти, так что одеяло поползло на пол.

— Ох, Серёженька, ну ради бога!.. — с тоской сказала Катя и натянула одеяло. Он длительно всхлипнул и закрыл глаза. Она сидела на краю постели, глядя на него; бессознательно её сердце цеплялось за эту заботу... Что-то мешало Кате, что-то вот здесь, рядом, стесняло её, тяготило и мучило вдобавок ко всему. Она обернулась, ища — что же это такое; увидела Сашу, который стоял в ногах кровати, и отвернулась.

«Как можно на нас сейчас смотреть...»

Саша понял.

— Я просился уйти! — сказал он. — Так не пускают!

И в отчаянии вышел из комнаты.

Зашуршал шёлк, вошла Надежда Петровна, пышная и деловитая.

— Катя! — сказала она быстрым шёпотом и открыла книжный шкаф. — Смотри хорошенько, запоминай... — Сунула руку за пазуху, что-то достала, зажала в кулак; потянула с полки книгу. — Лермонтов, не забудь, однотожник... — Она что-то совала в корешок книги. — И Дядя Том... Ваши книжки не опишут, детям надо что-то читать... Вата есть? — Катя, не двигаясь, смотрела на мать. — Ну, платки дай, где тут у Сергея платки носовые? Где платки, я спрашиваю!! — повторила она ожесточённым шёпотом и потрясла кулаком. Катя деревянно поднялась, достала из тумбочки платки, подала. Надежда Петровна рванула платок пополам — раз, другой, побагровела, застонала, платок разорвался; обрывками она заткнула корешок книги с обоих концов. — Значит, Лермонтов, однотожник, помни. Ну, так. Молчите, дети. (Они и без того молчали.) На чёрный день. Теперь будет сплошной чёрный день. — Она ушла.

«Мы воры», — думала Катя, стоя у тумбочки.

— Что она прятала? — громко спросил Серёжа.

— Лежи, — как автомат, сказала Катя.

— Что она прятала?

— Откуда я знаю!

— Мы вообще ничего не знали! — ещё громче сказал Серёжа. Он вспомнил, как бил Федорчука и как сказал дежурному в милиции: «Я — Борташевич»; захлебнулся стыдом и спрятал лицо в подушку.

— Ты запомнила книги?.. — спросил он сдавленным голосом.

— Сыну лучше, слава богу, — сказала Надежда Петровна блондину, которого она уже звала Евгением Александровичем и которому несколько раз предлагала пообедать, но безрезультатно. — Он болен с детства, костный туберкулёз и нервная система не в порядке, а тут такой кошмарный удар... Если бы я хоть на секунду поверила, что Степан Андрееч в чём-

нибудь виноват, я бы тоже лежала в припадке; но я до того убеждена, что это недоразумение сразу разъяснится..

Евгений Александрович ледяно молчал.

— Я даже, представьте себе, чувствую аппетит. Пообедали бы вместе, но вы поставили это всё на официальную ногу... Ведь я могу пообедать, гум-гум-гум? — спросила она с насмешливой приниженностью.

— Пожалуйста, — уронил Евгений Александрович.

Отворилась дверь, и вошла Катя, неся что-то в сложенных лодочкой ладонях. Красивое лицо её было бледно, волосы сбились.

Она подошла — Надежда Петровна смотрела на неё с ужасом — и, разняв ладони, неуклюже-бережным детским движением высыпала на стол кольца, кулоны, брошки, которые Надежда Петровна только что прятала в книжном шкафу.

— Что это? — спросил Евгений Александрович.

— Это лежало в шкафу, — ответила Катя.

— Это ваши вещи?

— Нет.

— Хорошо, — небрежно сказал Евгений Александрович.

Катя постояла и пошла из комнаты. Уже за дверью услышала яростный, воющий крик матери:

— Дууура!!

Катя побежала... Серёжа ждал её, сидя на постели.

— Отдала? Взяли они? Ну, всё. Ну, всё. Ну, не дрожи. — А сам дрожал.

— Холодно, — сказала Катя, стукнув зубами. — Подвинься. — Скинула туфли и шмыгнула под одеяло. Они обнялись, как когда-то, когда были маленькие.

— А вдруг он умер? — прошептала Серёжа. Катя молчала, закрыв глаза. — Катя! Вдруг он умер...

— Не знаю, — прошептала она. — Не знаю, как лучше..

Из-под век её хлынули слёзы. Серёжа закрыл лицо одеялом и тоже заплакал горько. А за дверью стоял Саша, которого так и не выпустили из квартиры, хотя он два раза просился; стоял как на часах — будто караулил то, что осталось от прекрасной семьи Борташевичей.

Глава семнадцатая

Как будем жить дальше

Сахарный, сладкий, лёг снежок и прикрыл безобразие осени. Белый и чистенький, стоит город Энск. Даже поленницы в задних дворах, убравшись пуховыми покрывалами, приняли приятный вид. В новый дом на Точильной улице въезжают жильцы; по молодому снежку подкатывают грузовики с полосатыми матрацами, шкафами, фикусами и детскими кроватками. Магазин внизу уже торгует хлебом, мясом, картошкой и другими жизненно-необходимыми продуктами. Хозяйки одобряют, что магазин тут же в доме, не надо ходить далеко... На человеческую радость заходят порадоваться Ряженцев и Дорофеев. Они скромно стоят в сторонке и смотрят, как люди соскакивают с грузовиков и вносят своё имущество в распахнутые настежь двери, как дети бегают по лестницам, звеня головами, и как тут и там появляются на доселе пустовавших, неживых окнах тюлевые и матерчатые занавески. Вот вынимают из кабины грузовика маленькую фигурку, закутанную, словно для полярного путешествия. Это — старичок, очень старый и хрупкий (кожа на его личике тонка и бела, как папиросная бумага). Поверх зимнего пальто на старичке меховая женская кофта, тесёмки шапки-ушанки завязаны под подбородком,

а шея вместо шарфа обмотана пуховым платком. Девочка-подросток в лыжных штанах, размахивая длинными косами, стаскивает с грузовика стул, приставляет к стене дома, усаживает старичка и говорит:

— А вы пока, дедушка, подышите воздухом.

И, оглянувшись на Дорофею и Ряженцева, просит:

— Присмотрите, пожалуйста.

Старичок сидит, свесив ноги в валенках, держась за сиденье стула и живо посматривая кругом острыми глазами. Ряженцев заговаривает с ним; выясняется, что девочка ему праправнучка, а старичку сто два года, рождён в 1848-м.

— Год выхода Коммунистического Манифеста, — замечает Ряженцев улыбнувшись.

— Совершенно верно! — отвечает старичок.

Он слышит хорошо и разговаривает бойко. Вид проходящего по двору офицера наводит его на мысль рассказать случайным собеседникам о своём участии в походе под командованием генерала Скобелева, и когда появляется девочка в лыжных штанах и говорит: «Пошли, дедушка», — старичок прерывает рассказ с явным неудовольствием.

— Современник Маркса и Энгельса, — говорит Ряженцев, провожая его взглядом. — Сколько вмещается в одну человеческую жизнь.

— Порядочно... — откликается Дорофея. Она стоит, похудевшая и решительная, на скулах горят неровные красные пятна, словно страдание опалило её лицо. В колечке волос, заложенных за ухо под каракулевой шапочкой, явственно заметна проседь... Ряженцев спрашивает:

— Когда вы принимаете дела от Чуркина?

— Завтра, — отвечает она.

Чуркин уходит в отпуск. С завтрашнего дня Дорофея будет главной ответчицей за город, его хозяйство, за «дом угрозы» в Рылеевском переулке, за устройство всех этих людей, которые ходят по улицам... Бесконечный, благословенный день забот, помогающих переносить горе. Она стоит прямо возле Ряженцева под редкими медленными снежинками, падающими с неба, и смотрит на человеческую радость.

Счастливицы, получившие квартиры в новом доме, покидают свои старые жилища, туда перебираются другие жильцы. Так что новоселье празднуется не только на Точильной, но на разных улицах, в разных домах. И в квартиру Борташевичей является с орденом горжилотдела высокая худая женщина в длинных болтающихся серьгах и с нею маленький нахмуренный муж. Их фамилия Ефимовы. С собой они привозят только ширму, обитую ситцем в цветочках. Но на площадке чёрной лестницы столяр Ефимов немедленно устраивает мебельную мастерскую. Много дней дотемна там стучит молоток, визжит пила и шипит рубанок, и проходящие с чёрного хода наносят в кухню на подошвах опилки и стружки. И аккуратная тётя Поля ничего против этого не имеет, потому что она уважает товарища Ефимова, делающего из старых ящиков стулья, столы, табуретки и шкафы. У этой некрашеной новенькой мебели светлый, весёлый вид и шелковистая поверхность, и из комнаты Ефимовых вкусно пахнет свежим деревом.

Редкие снежинки плавно спускаются с высоты между голыми ветвями больничного сада. На койке сидит Геннадий в байковом халате внакидку и, задумавшись, трубочкой сложив губы, смотрит на белое окно и чёрные ветви за ним.

Уж месяц прошёл с того дня, как он прибежал, загнанный, к порогу родного дома и рухнул у этого порога, успев позвонить — известить о своём приходе.

Теряя сознание, он слышал крик матери, потом гелос отца. Потом они

оба, отец и мать, подняли его и понесли, и положили, это было последнее, что он тогда сознавал. Очнулся в больнице...

Сейчас он сидел жёлтый, нечёсанный, плохо побритый, на его длинной шее выросли сзади две некрасивые косички. Стал нелюдом: другие выздоравливающие играли в домино, рассказывали анекдоты, гуляли по палатам, — он держался особняком. Миловидные сёстры, нежно посматривающие на интересного больного, потеряли надежду привлечь его внимание; Зинаиде Ивановне нет смысла ревновать. Впервые в жизни ему хотелось быть одному для того, чтобы думать.

Если бы он умер: что мог бы перед смертью рассказать о своей жизни? Нечего рассказывать. Всё ерунда какая-то. А в конце — три уродливых, страшных рыла и карлик-убийца под дождём... Бред. И в болезни ему виделись эти рыла и карлик с зонтиком, похожий на чёрный гриб.

Они арестованы, говорит мать. Матери он сказал всё. Она сказала отцу. Отец ничего не говорит; посидел сильно; придёт и сидит молча, и часто выходит покурить. И у матери показалась седина, прошлую встречу Геннадий заметил и сказал ей. Она провела рукой по своим подстриженным волосам, заложила прядку за ухо и сказала: «Наплевать!» А у него сжалось сердце. Он взял её маленькую крепкую руку, поцеловал и заплакал, — они были вдвоём.

— Ну, поплачь. Ну, поплачь. Слабенький стал... — шептала она, быстрыми движениями глядя и прижимая к груди его голову. И у самой лицо было залито слезами...

Она говорила с прокурором. Суд над Цыцаркиным, Изумрудовым и их сообщниками будет, вероятно, в январе. Прокурор сказал — Геннадия вызовут в качестве свидетеля... Но могут и посадить, если поверят Цыцаркину, Изумудову и Малютке, что Геннадий участвовал в их преступлениях. К этому Геннадий внутренне готов.

Он думал об этом днём и ночью. Передумывал всё, что может быть. Будущее, от которого он отмахивался так беззаботно, приближалось вплотную, неизвестное и грозное. И, хватаясь за надежду, он тайно от всех словно торговался с судьбой: пощади меня — я переменюсь, я буду, знаешь, какой хороший!..

Его проводывали близкие. Кроме отца и матери, никто не знал о нём всей правды. Он радовался только матери да ещё, пожалуй, тётке Евфалии, она рассказывала глупенькие уличные сплетни, развлекавшие его. С Юлькой и Андреем он попрежнему не находил о чём говорить, так же как с Марьей Фёдоровной Акиндиновой, которая заглянула однажды и принесла богатый гостинец. Наведывались приятели — он принимал их сухо, их неумные и несмешные остроты раздражали его: острят, как наняты; тут у человека жизнь зашла в тупик!.. Как-то увидел во сне Сашу; содержание сна забыл, едва проснулся, но осталось впечатление, он взволновался и попросил Зину, чтобы Саша пришёл. Саша не спешил откликнуться на приглашение, пришлось, должно быть, Зине поугovarивать и поплакать, а когда он появился, Геннадий испытал только неловкость — впечатление от сна уже сгладилось... В белом больничном халате, туго напяленном на плечи поверх пиджака, высокий, возмужавший, Саша показался Геннадия богатырём; а новое, затаённо-счастливое («с чего бы?..») выражение его лица было неуместно. Впрочем, это выражение исчезло, едва Саша увидел Геннадия.

— А, здорово, — угрюмо пробормотал Геннадий.

— Здравствуйте, — явно через силу сказал Саша.

— Садись. — Геннадий кивнул на табуретку. Саша неловко сел. Руку не протянул ни один.

— Как ты там? — спросил Геннадий после паузы.

— Да так. По-старому. А вы как?

- Да ничего.
- Поправляется?
- Угу.
- Хорошо, — неопределённо произнёс Саша.
- Ещё помолчали. Саша спросил томясь:
- Курить здесь нельзя?
- По коридору направо курилка.
- Вы не хотите курить?
- Мне нельзя.
- А!

В таком роде тянулся никому не нужный разговор. Саша достал папиросу, долго мял её в пальцах, потом с силой дунул в мундштук, решительно вскочил, простился и ушёл.

Он шёл из больницы и думал:

«Я буду учиться и стану таким культурным, как она. Она биолог, а я буду инженер-строитель, очень хорошо. И когда я перестану расти (что это я всё расту, до каких же пор!..) и получу высшее образование — я стану красивым. Она меня полюбит. Мы будем жить все вместе: я, она и Серёжа».

Никогда его мечты не выражались так отчётливо в словах и даже в мыслях, как они выражены здесь: он не дерзнул бы на это. Только видения мелькали перед ним, одно особенно было ярко: Катя в его квартире, и он рядом с нею — взрослый, умный, представительный, с высшим образованием.

И глаза его светились, и добрые губы улыбались. В горе и сиротстве она ему стала вдесятеро ближе. Раньше он болезненно ощущал, что ни на что ей не нужен. Теперь же — теперь он мог ей быть полезным. И оттого она стала ему вдесятеро дороже.

Чуркин уходил в отпуск. Нина-жена приехала, Чуркин встретил её на вокзале. Всегда это было счастьем: поезд медленно подходил, Чуркин с бьющимся сердцем шёл по платформе, жадно ища её лицо в окне вагона. И всегда милое лицо, обветренное и оживлённое, показывалось в другом окне, не в том, на которое смотрел Чуркин; Нина стучала в стекло, Чуркин вздрагивал и видел её — а потом стоял у вагонной подножки, мешая пассажирам выходить, и не мог дожидаться, когда же выйдет она. Она выходила наконец, они целовались быстрым («черновым», говорил Чуркин) поцелуем, он брал у неё чемодан, она знакомила его со своими товарищами, и в толпе товарищей и носильщиков они шли к выходу, и Нина говорила радостно:

— Ты ни капельки не изменился!

А Чуркин в первые минуты ничего говорить не мог, только смеялся.

И в этот раз он ждал её у вагона и наклонился — поцеловать, но она отшатнулась и сказала испуганно:

— Что с тобой? Ты болен!

У него был измученный вид, доктора гнали в санаторий, — вот теперь поедем вместе, заездился, действительно, отдохнуть необходимо...

— У тебя неприятности! — сказала Нина, заглядывая ему в глаза. — Что случилось?

Но Чуркин не сказал, не хотел отравлять встречу тяжёлым разговором. Он завёз Нину домой и поехал в горисполком — сдать Дорощее дела на время отпуска.

Словно пуля, которую пустил в себя Борташевич, рикошетом ударила в Чуркина, — такую боль и слабость чувствовал он после того несчастного дня. Невозможно, неслышанно оскорбительным казалось ему, что он, так близко стоявший к Борташевичу, попался на удочку этой лжи

и любил и уважал человека, который ежеминутно предавал и топтал всё, что ему, Чуркину, дорого... «Я к нему шёл с открытой душой... а он, должно быть, надо мной смеялся со своей Надеждой Петровной!» Все отметили, что Чуркин после этой истории стал сух и замкнут, говорил только о делах и взглядывал на людей острым подозрительным взглядом, — и некоторые от этого взгляда смущались...

И с Дорофеей он разговаривал только по служебным вопросам, прежней задушевности не было в помине. Дорофея подчинилась этому официальному стилю; но в её отношении к Чуркину сквозила участливость — Чуркина это раздражало: чего ради она его вздумала жалеть?! Другие тоже обманулись в Борташевиче, и она сама, — жалейте себя, пожалуйте, оставьте меня в покое!..

Передача дел заняла немного времени: Дорофея была в курсе текущей работы и перспектив, сосредоточена и спокойна, — понимала с полуслова, Чуркин ничего не должен был разжёвывать... «Кажется, всё», — закончив, сказал он с угрюмой задумчивостью. Она сказала:

— Ещё вопрос: как там дети Борташевича?

— Дети Борташевича? — растерянно переспросил Чуркин, застигнутый врасплох. — Да что ж?.. Живут. — Он покраснел. — Я точно не знаю...

— Как не знаешь? — изумилась Дорофея.

Чуркин опустил глаза.

— Мать, говорят, уехала...

— Да! Я слышала! Мерзавка! Там больной мальчик...

— Ну, он мог бы поехать с матерью, — пробормотал Чуркин.

Дорофея пристально посмотрела на него.

— Ты был у них, Кирилл Матвееч?

— Почему я должен у них быть! — пришёл в ярость Чуркин. — Почему?! Мало мне, понимаешь, неприятностей?

— Да дети при чём! — вспыхнула Дорофея. — Дети за отца ответчики, что ли?

— Ну, что ты мне говоришь! — со стоном сказал Чуркин. — Зачем ты мне это говоришь! Ты не понимаешь!

Она не понимала. Он не шёл к Серёже и Кате, потому что берёт себя от страдания этой встречи. Его рана не зажила. Он не мог, чтобы это повторилось... Дорофея разглядывала его так, словно первый раз видела.

— Ну, Кирилл Матвееч! — сказала она тихим от негодования голосом. — Ну, не ждала! От тебя — не ждала! И как это всё вместе в тебе уживается!..

Чуркин закрыл глаза и сидел неподвижно, принимая упрёк и не отвечая на него, отказываясь отвечать...

— Подумать!.. — вставая, сказала Дорофея. — Они же тебя, тебя ждали всё время... и перестали ждать.

Она повернулась уходить.

— Я пойду! — сказал Чуркин. — Я... сегодня схожу.

Не оглянувшись, она строптиво вышла. Он остался сидеть, как пригвождённый, дымя папиросой. Он не в силах был объяснить ей, что в нём происходит, вот этот страх перед новой болью, — не умел, и стыдно, стыдно...

Дома была Нина, расстроенная, несправажная — тёща ей рассказывала, — брезгливо говорящая:

— С такой женой этого следовало ждать.

«Ей не жалко Степана», — подумал Чуркин.

«Степану не было жалко Редьковского», — подумал он и содрогнулся от этого сопоставления. Нет, как же можно. Сопоставлять Нину... Даже пот выступил у него на лбу. Так с ума сойти можно...

Он сказал, что оставит её ещё ненадолго, — ему нужно зайти к детям Борташевича. Нина посмотрела смягчённо, уважительно и виновато.

— Зайди, конечно, надо проститься перед отъездом...

Что бы она сказала, если бы знала, что он не видел их с тех пор? Ей это в голову не пришло. «Ждали и перестали ждать...»

Долго он отстранял от себя это. Но, видно, неизбежно было опять войти в этот дом, подняться по этой лестнице, позвонить у этой двери...

Открыла не Поля, не Катя и не Серёжа, а чужая женщина, она сказала:

— Их никого дома нет.

Чуркин почувствовал огорчение и облегчение — сразу; и собирался уйти, как женщина сказала:

— Только мальчик, он больной лежит.

Думая, что он не знает квартиры, она проводила его до серёжиной комнаты. Чуркин постучал, и дверь отворилась — её отворил какой-то мальчик. Мальчиков в комнате было много, душ до десятка, из-за них Чуркин не сразу увидел Серёжу. Тот лежал на кровати, к кровати был придвинут стул, на стуле стояла шахматная доска.

— Здоров! — задыхнувшись от волнения, сказал Чуркин. Серёжа смотрел на него, подперев голову худенькой смуглой рукой в белом рукаве рубашки. Чёрные глаза резко блестели на его маленьком лице. Чуркин видел, как изо всех сил это лицо старается сохранить спокойное выражение: тонкая бровь мучительно дёргалась, выдавая эти старания... Стало очень тихо, мальчики замолчали и в тумане поплыли перед Чуркиным... «Пошли покурить!» — вполголоса сказал кто-то, и они вышли в коридор, осторожно топая. А Чуркин очутился возле Серёжи. Застучав, посыпались шахматы с доски.

— Серёжа! — сказал Чуркин, бережно обняв дрожащие детские плечи, острые под рубашкой. Это было страдание, которого он так боялся. Но за ним открывалась радость — беречь и растить эту молодую, больше всех обманутую и оскорблённую жизнь, направлять её и гордиться ею: именно тогда принял Чуркин решение, что отныне он будет Серёже отцом и защитой.

В ту ночь, когда Евгений Александрович и его спутники ушли из квартиры Борташевичей, у Надежды Петровны сделалась истерика. Красная и безобразная, с искривлённым покрашенным ртом, она кричала:

— Разве это дети? Это предатели! Пускай он а без стипендии живёт, как хочет!

Серёжа, заснувший было, от криков проснулся и вскочил. Катя, караулившая его, подбежала к двери и заперлась на ключ.

— Ничего! Не слушай! Не обращай внимания! — говорила она, крепко обняв его. — Мы с тобой будем!..

А из-за двери неслось:

— Поля, слышите? Не давать им есть!..

«Какой позор!» — с нарастающим презрением думала Катя... Тётя Поля не отвечала; не слышно было и Марго; забились в щели разрушенного муравейника и сидят тихонько... Надежда Петровна одна металась по квартире. «Тётя Поля уйдёт, — думала Катя, — у неё было такое лицо... Сидит сейчас и думает: вот я кому служила...» Вопли Надежды Петровны стали стихать и стихли; тишина наступила в разрушенном муравейнике...

Под утро задремавшую Катю разбудил телефон. Задремав, она забыла о том, что произошло, и, с закрытыми глазами слушая звонки, подумала: «Ах, уже поздно, вон уже кто-то по телефону звонит, я проспала лекцию!» Открыла глаза и увидела ночную комнату, озарённую лампочкой в зелёном колпачке, спящего рядом Серёжу — всё вспомнила и по-

няла значение этих настойчивых звонков, которые не прекращались, не смотря на ночное время... «Папа умер». В чулках вышла в коридор, где висел аппарат; не зажигая света, нащупала трубку.

— Я слушаю,— сказала она и не узнала мужского голоса, прозвучавшего в ответ.

— Екатерина Степановна?

— Да.

— Говорит Войнаровский,— сказал голос. Она не удивилась — в ту ночь её ничто не могло удивить.

— Екатерина Степановна, у меня нерадостные вести.

— Умер? — спросила она и, не слыша ответа, замолчала сама. Войнаровский сказал:

— Семья может его проводить.

— Хорошо,— сказала Катя. Села на стул и сидела впотьмах, охватив руками колени, до самого утра...

Степана Борташевича схоронили в залитой дождём могиле на Старом кладбище. От Серёжи скрыли день похорон. Надежда Петровна не пожелала пойти. Одна Катя шла за гробом.

...Она вернулась с головной болью, разбитая и иззябшая, никак не удавалось собрать мысли... Когда она подходила к своему дому, откуда-то взялся Войнаровский и что-то сказал, кажется, предложил ей рассчитывать на его уважение, она не разобрала толком...

— Хорошо, хорошо,— сказала она, чтобы избавиться от него. Но, переодевшись в сухое и забравшись в постель, чтобы согреться, подумала о нём, на секунду стало легче оттого, что кто-то её ещё уважает... Вошла тётя Поля, села в ногах кровати и сказала:

— Ехать собралась и Маргошку берёт.

Катя промолчала.

— Как дальше будем жить? — спросила тётя Поля.

— Как будем жить,— сказала Катя,— так и будем жить. Поступлю на работу...

— Стипендии нет, плохо,— сказала тётя Поля.— Шутка — триста рублей в месяц. Сергей говорит, если троек не будет, опять станут платить, верно?

— Станут,— виновато подтвердила Катя.

«Я белоручка, разгильдяйка, дрянь»,— подумала она.

— Договор перепишем на тебя,— сказала тётя Поля.

— Какой договор?

— Со мной договор о найме. Сходим в местком и перепишем, что я теперь у тебя служу.

— Тётя Поля,— сказала Катя,— как же я могу...

— А я зарплаты не спрошу, не бойся,— сказала тётя Поля. — Я не пропаду: и постираю и пошью чего попроще для людей, а комнатку мою при кухне мне оставят, и будет кому хоть за вами присмотреть.

Вечером пришёл Саша; Катя слышала, как они с тётей Полей на кухне считали вполголоса:

— На питание... За квартиру... За электричество... Ботинки починить... На трамвай — в институт и обратно — тридцать копеек в день...

Они занимались катиным бюджетом. Жизнь оборачивалась множеством забот. Беспечные дни миновали. Оказывается, тридцать копеек на трамвай — это расход, тридцать копеек нужно заработать...

Катя заснула тяжёлым сном, ей приснилось кладбище, мокрые от дождя кресты, месиво грязи вокруг чёрной могилы, куда опускают деревянный гроб... Во сне Катя стонала и плакала. Утром ей сказали, что звонила Наташа Штейнбух, просила Катю позвонить ей, как проснётся; Катя не позвонила. Днём зашёл Юра Смолян, сокурсник, — Катя велела

тёте Поле сказать ему, что нездорова, повидаться не может, выздоровеет — сама придёт в институт. Она не знала, как ей держаться со старыми товарищами: той избалованной, гордой, победоносной капризницы, какой она была несколько дней назад, больше не было; а новая Катя ещё не родилась.

Надежда Петровна уехала через два дня после похорон. Она не может здесь жить, объяснила она: её истерзали воспоминания... Предложила ехать и детям.

— Куда? — спросил Серёжа.

— Ах, я сама ещё не знаю! — сказала Надежда Петровна. — Решим потом, когда мысли придут в порядок. Пока поживём в Ростове, у нас там масса родственников.

Дети слышали впервые об этих родственниках и отказались ехать. Надежда Петровна всплакнула и сказала:

— Но вы меня проводите, конечно.

— Я не смогу, — сказала Катя.

— Не сможешь проводить мать? — упрекнула Надежда Петровна.

— Ты не проводила папу, — сказала Катя; чёрные глаза её сверкнули, как прежде.

— Бежать, бежать! — сказала, шепелявя, Марго. — Как ты останешься, Катюша, тут же воспоминания на каждом шагу... Он, негодяй, пишет мне из тюрьмы, чтобы я ему что-то там принесла, с какой стати?! Пусть носят те, кого он водил в чернобурках. Нет, бежать, бежать!

И она уехала вместе с Надеждой Петровной, без которой, повидимому, не могла существовать, как ни страдала от её деспотизма. Последним серёжинным впечатлением от проводов была Марго, увещанная, как вьючная лошадь, сумками и пакетами, старая Марго с жёлтыми волосами, убегающая от воспоминаний.

Было одно посещение, мучительное для Кати.

Пришла незнакомая девушка в старом мешковатом пальто и зелёном берете с помпоном на макушке; из-под берета на плечи свисали густые растрёпанные волосы. Ненатуральным тоном, медленно и надменно, девушка спросила:

— Вы — дочь Борташевича?

— Да, — ответила Катя — и покраснела...

— Я — Зайцева, — сказала девушка и, манерно вывернув голову вбок, стала снимать с руки вязаную перчатку, каждый палец в отдельности, словно перчатка была лайковая и туго снималась. — Вы меня не знаете?! — спросила она с выражением глубочайшего удивления.

— Простите, нет, — сказала Катя. «Какая странная...»

— Вера Зайцева. Я сыграла Марию Стюарт.

— Ах, да... — сказала Катя, вспоминая. — Я слышала...

— Мне надо с вами поговорить, — сказала Зайцева, и её надменность вмиг исчезла, перед Катей оказалось самое обыкновенное, не прикрашенное косметикой, простодушное и даже простоватое лицо.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила Катя.

Они сели в передней, по сторонам маленького столика.

— Это верно, что ваша мать уехала? — протестным голосом спросила Зайцева. — Ну вот, приходится советоваться с вами... Понимаете, не хотят меня посылать на смотр в Москву. Прямо не знаю, что делать.

Она всхлипнула и полезла в карман за платком, и её большие вязаные перчатки с растопыренными пальцами упали с колен на пол. Катя подняла.

— Спасибо! — сказала Зайцева. — Они говорят, что я была его любовницей. Что я, должно быть, знала об его... поступках. Будто жена

даже хотела из-за меня с ним разводиться... Я никогда в жизни не была ничьей любовницей! Я — актриса!

Она всхлипывала и сморкалась в маленький серый платок и говорила, а Катя слушала, нахмутив длинные брови, и вспоминала непонятные намёки Марго и с каким выражением, поджимая губы, мать произносила при детях фамилию Зайцевой... Кате раскрывалось грубое сплетение обмана и клеветы, и, подобно Чуркину, она думала: «Как они лгали! Сколько мерзости оставили за собой!..» Обнажённые слова Зайцевой не оскорбляли Катю: она стала выше грошовой щепетильности... Она верила Зайцевой, потому что не верила матери: что сказала мать, то ложь, не может не быть ложью...

— Бог с ними, пусть бы говорили, я на сцене забываю все неприятности... Но они не хотят везти «Марию Стюарт» в Москву, заменили «Грозой», вы видели «Грозу» у металлостов?.. Вы бы посмотрели, до чего там плохая Катерина, бог знает что, а не Катерина, я бы совсем иначе сыграла... Слушайте, вы не можете дать справку, что я не имею отношения... Что это клевета?

— Вряд ли вам поможет моя справка, — сказала Катя.

— Вы думаете? — спросила Зайцева. — Но что же мне делать?

— Не знаю, — сказала Катя.

— Слушайте, а если я напишу вашей матери? Вы мне дадите адрес?

— У меня нет адреса.

— Нет адреса?

— Нет.

Это была истинная правда.

— Как же это... нет адреса? У вас? — недоверчиво повторила Зайцева, заплаканными глазами глядя на Катю.

Та молчала, опустив голову. Зайцева спрятала платок и стала медленно, с прежней жеманной манерой надевать перчатки. Надев, встала и произнесла, меряя Катю взглядом:

— Девушка, я в вас жестоко разочаровалась! Вы — дочь своего отца и не более того!

Желая сказать что-то и не находя слов, Катя вышла за нею на площадку. Зелёный берет спускался в сумрачный провал лестницы. Из провала ещё раз прозвучали слова, сказанные не то Зайцевой, не то Марией Стюарт:

— Что мне теперь делать!..

Катя вернулась в свою комнату: всё по-старому — мебель, книги, трапезия, — дико, что всё по-старому, когда жизнь перевернулась... Стало тягостно, невыносимо сидеть одной; но не хотелось видеть ни Наташу Штейнбух, ни своих институтских — никого, кто напоминал бы о прежнем. Представился Войнаровский... «Глупости; всё позади; до того ли теперь... Надо работать. Самое честное на свете — работа. Пусть трудная, мне ни лёгкости не надо, ничего, пусть увидят — дочь отца или сама по себе... А как искать работу? Куда ни приду, скажут: почему бросаете институт, вы лучше доучитесь...» Из серёжиной комнаты донёсся голос Саши. Катя вошла к ним и сказала:

— Саша, устрой меня в твою бригаду, я хочу быть строителем.

Мальчики обернулись к ней.

— А институт? — спросил Серёжа.

— В бригаду?.. — не веря, переспросил Саша.

— Екатерина, — сказал Серёжа, — ты ведёшь себя по-женски.

— Дайте мне делать, что я считаю нужным! — крикнула Катя. —

Ты мне ещё будешь указывать!..

— Там же под открытым небом... на верхотуре, — заикаясь от волнения, нелепо сказал Саша. Мысль, что Катя может быть с ним целыми

днями, поразила его, он залился румянцем от неожиданного счастья.. «А зачем же она три года училась на биолога?..» Но он поспешно возразил себе: «После доучится. Разве я могу с нею спорить?..» И закончил начатую фразу ещё нелепее: — Как хотите.

— Устрой меня... пожалуйста! — повелительно попросила Катя, сверкая глазами.

— Дело твоё, — сдержанно сказал Серёжа. — Но это не линия поведения человека. Это линия поведения страуса.

Катя не ответила и вышла... Минула неделя, и вот Катя встала по будильнику в шесть утра; ещё не рассвело. Она надела приготовленную заранее рабочую робу: мальчишеские ботинки, стёганные штаны и ватник; на штанах внизу были тесёмки; она аккуратно завязала их у щиколоток. В ботинках мужского фасона было легко и удобно ногам. «Кто узнает?..» — подумала Катя, надев ушанку и взглянув в зеркало; из зеркала хмуро и вызывающе взглянул на неё стройный чернобровый мальчишка... Она засунула в карман завтрак, завернутый в газету, и сбежала по лестнице, по-мальчишески стуча широкими низкими каблуками. За эту неделю она дважды побывала на стройке и знала, как это выглядит и что ей придётся делать.

Стояла ночь, горели фонари. Весь город — мостовые, тротуары, крыши, карнизы домов — был покрыт чистым, свежим, голубоватым, словно синькой подсинённым снегом. Много было прохожих: мужчины и женщины выходили из ворот и подъездов; снег вкусно похрустывал под ногами. Звеня и сияя, прошёл трамвай, крыша его была тоже в снегу и на буферах снег. Вагоны были полны людьми — первая смена ехала на работу. И Кате стало радостно и светло, что и она в этом могучем людском потоке. Она погналась за отходящим автобусом и на ходу вскочила на подножку.

Под фонарём стоял человек в брезентовом макинтоше поверх полушубка, в руках деревянный чемодан и толстый портфель, — типичный сельский командировочный, который только что приехал и направляется в Дом колхозника... Он во все глаза смотрел на Катю; проезжая мимо, — одной ногой стоя на подножке, — она узнала его: колхозный агроном, тот, что давным-давно, летом, был в неё влюблён... Она кивнула ему дружески. Её возмущение против него было такое ничтожное, глупенькое... Приятно, что в это торжественное для неё утро увидел её и узнал знакомый рабочий человек.

Оправившись после потрясения, Серёжа поднялся прозрачно-жёлтый, с тёмными кругами у глаз и с болью в позвоночнике, но полный мужественной готовности всё пережить до конца и всё сделать, что нужно.

Он методично привёл в порядок свой письменный стол. Попался под руку дневник — толстая, красиво переплетённая тетрадь, на которой он когда-то изобразил череп и скрещённые кости и написал: «Не трогать — смертельно!!!» Он пренебрежительно сбросил тетрадь в нижний ящик стола: «С детством кончено».

Он пришёл к выводу, что человек в состоянии вынести очень много; и если человек уже вынес самое страшное, то может вынести и не самое страшное — пойти в школу, где знают, что у него случилось. Катя не отважилась пойти в институт, потому что она женщина.

Так же Серёжа решил, что будет учиться очень хорошо: он не должен допустить, чтобы ему делали замечания. Прежде это было неважно, теперь исключительно важно.

Он верил в Ивана Евграфыча и в ребят. Ребята заходили и рассказывали, что было специальное собрание, совершенно стихийное, в верхнем коридоре, по вопросу: как относиться к Сергею Борташевичу. Кто-то стал

говорить о нём дурно, Санников соскочил с подоконника и сказал, что набьёт морду всем, кто скажет хоть слово о Сергее Борташевиче. На шум явился Иван Евграфыч и разогнал собрание.

Серёжа аккуратно ходил на занятия и отвечал на пятёрки. Ему предстояло долго носить своё горе. Оно напоминало о себе на каждом шагу; смотрело из книг и из глаз учителей. Музыка играла о горе, только о горе. Гудки и автомобильные сирены кричали о горе.

Как-то он шёл домой со стопкой учебников за бортом пальто. Шёл, хромя, думая о своём, и вдруг увидел, что навстречу идёт Федорчук.

После той злополучной истории они не встречались. Первым желанием Серёжи было — шарахнуть, перебежать на другую сторону улицы, а лучше бы всего провалиться сквозь землю... Федорчук смотрел на него. «Но я же не трус, — подумал Серёжа, — я могу и это». Он остановился и сказал:

— Здравствуйте, товарищ Федорчук.

— Здорово, — ответил Федорчук и тоже остановился. Постояли... На добром, чёрном и усатом лице Федорчука было озабоченное выражение. Он спросил:

— Из школы? Как оно с учеьем, имеются успехи?

— Немножко, — ответил Серёжа, догадавшись по этому вопросу, что Федорчук получил о нём сведения от Ивана Евграфыча. — А вы где теперь работаете?

— Засиделся на месте, — вздохнул Федорчук. — Предлагают в Куйбышев. Интересней бы в экспедицию, но жена не хочет. Готовится экспедиция в Коми республику, а она не хочет, и всё.

— А что будут искать в Коми республике? — спросил Серёжа. И они пошли рядом, беседа по-мужски.

Глава восемнадцатая

Жизнь бесконечна

Тихо в домике на Разъезжей.

Не поют здесь больше песен, и не приходит Квитченко — этому что делать, если не петь?.. Ходит к Леониду Никитичу старичок-сосед, пенсионер; накурят полную комнату дыма и в дыму, еле видимые, сидят — играют в шашки. Дорофея до ночи на работе. Геннадия проводили в санаторий — поправляться. С ним, по дорофеиному желанию, поехала Зинаида Ивановна. Лариса появлялась раза два — весёлая, расцветшая, поглощённая своим счастьем. Часто забегает Юлька, но сидеть ей некогда, дел полно — занятия в институте, комсомольские обязанности (она комсорг группы), хозяйство, Андрей, да ещё выбрали её в агитаторы... После отъезда Геннадия, в метель, она пришла, облепленная снегом, потопала валеночками на веранде, вошла к Евфалии в кухню, села и заплакала.

— Чего ты, чего? — спросила Евфалия. — Неужли с Андрюшей поругалась?

— Мне Геню жалко, — сказала Юлька, губы её дрожали по-детски. — Но всё равно я права. Всё равно надо было выгнать. Если он опять начнёт то же самое, я опять скажу, что надо выгнать.

И, обиженно выпятив дрожащую губку, она попросила жалобно:

— Дай мне солёного огурчика!

Зинаида Ивановна уезжала с восторгом, покупала себе обновки, перешивала платья — захлопоталась... Перед отъездом она под села к Саше и заглянула ему в глаза смущённо и радостно.

— Сашок, — сказала она, — ты знаешь, генина мама, Дорофея Николавна, зовёт меня с ними жить.

— А Геннадий? — спросил Саша.

— Ну, конечно, и Геня будет там... У него, ты знаешь, какие неприятности могут быть, она мне рассказала... Ох, ужасные неприятности! Но я думаю — бог даст, обойдётся...

— Наверно, в хорошие дела впутался, если пырнули ножом.

Зинаида Ивановна отодвинулась.

— Злой ты, Сашок.

— Не могу я к нему быть добрым.

— Он как пострадал...

— От себя пострадал. Никто ему не виноват.

— Ты ревнуешь. Он хороший.

— Очень.

— Господи, господи, — вздохнула Зинаида Ивановна, — никак я вас не помирю. — Но Саша видел, что вздохнула она по привычке, а настроение у неё прекрасное. — Так как ты смотришь, Сашок, если я к ним перееду, когда вернусь, у них домик какой славенький, прелесть...

Ему стало стыдно, что он её мучает.

— Ну, что ж, — сказал он успокоительно. — Переезжай.

— Ты ведь уже совсем большой. Я буду приходить, делать тебе по хозяйству, что нужно...

— Спасибо.

— Не обижайся на меня, Сашок.

— Чего тут обижаться...

— А квартира тебе останется. Вздумаешь жениться — вся квартира твоя.

Саша малиново покраснел...

Он отвёз на вокзал её чемодан. Геннадия пришли проводить родители. Мать Геннадия Саша узнал сразу (она отворяла ему, когда он однажды заходил к ним на Разбегую). «Наконец мы с тобой познакомились, Саша!» — сказала она и ласково сжала его руку. Он отошёл в сторонку, чтобы не мешать их разговорам... Отец Геннадия — седой, иррасивый, в железнодорожной форме — подошёл к нему.

— Угости папирской, — сказал он.

Саша протянул ему коробку.

— Где работаешь? — спросил Леонид Никитич. — Тяжело? Ничего?.. Ну, и как материально? — Они поговорили о сашиних заработках. — Ты имей в виду, — сказал Леонид Никитич, — если случится беда или нужда, приходи без всяких...

— Что может случиться, — сказал Саша.

— И вообще заходи, — сказал Леонид Никитич. — Адрес знаешь? Вот и заходи. Это ты молодчина, что приобрёл специальность. Великое дело. Какую шутку судьба с тобой ни пошутит, а ты имеешь специальность, и ты себе хозяин. Меня сколько раз хотели выдвинуть по профсоюзной линии — не пошёл, не хочу: мне лучше нет, как на паровозе.

— И остался при паровозе всю жизнь, — сказала Дорофея, обернувшись к ним.

— И кто что может возразить? — спросил Леонид Никитич.

— Да ничего, на здоровье, пожалуйста, — сказала Дорофея с улыбкой и, придвинувшись, взяла его под руку.

— Саша, — виноватым голосом сказала она, — мы хотели, чтобы и ты жил с нами, но Зинаида Ивановна говорит — ты не захочешь... — Она помолчала, ожидая, что ответит Саша; он не ответил, на лице его выразилось недоумение: зачем ему жить в семье Геннадия? Вот придумали...

И ходить к ним он не собирался, как ни приглашали. Ну, придёт он к ним — и что будет делать?.. Полный хозяин квартиры и своей судьбы, он продолжал жить, как жил. Катя была с ним весь рабочий день, и он шёл на работу, как на праздник.

Он предвидел, что долго это не продлится. Развеет Катя горе в непривычном труде, среди новых людей — и вернётся в институт, к прежним товарищам, лекциям, росянкам, так и тётя Поля считает, и в институте, должно быть, это поняли: сперва уговаривали, звали, потом отступились... Ну да, она уйдёт, и это будет правильно, но сейчас она была с ним, и он был счастлив..

Как-то работали — поднялась метель. Прораб велел прекратить работу. Жмурясь от лежащего в глаза снега, Саша последним спустился на землю и увидел, что Катя стоит с каким-то человеком в шляпе, — чудак: чтобы шляпа не слетела, ему приходилось придерживать её рукой всё время... Катя стояла близко к этому человеку, потом он взял её под руку, и они ушли быстрым шагом; метель плясала вокруг них. И на другой день Катю встречал после работы этот человек, и на третий; и это было начало конца.

Метель метёт, декабрь на дворе, скоро выборы в местные Советы.

Горят цепочки лампочек над дверями агитпунктов, освещая алые транспаранты и портреты Сталина. Вечерами по лестницам домов города Энска ходят агитаторы; Юлька в их числе. У неё четыре квартиры в большом доме — тридцать восемь избирателей. Она ходит к ним чуть не каждый день, это возмущает Андрея... На лестнице Юльке часто встречается тучный пожилой человек в котиковой шапке, с массивной тростью, шагающий медленно и степенно. Он шумно дышит, поднимаясь, и на площадках останавливается отдохнуть. Звонит у дверей и на вопрос: «Кто там?» — отвечает зычно и важно: «Агитатор!» Юлька ему не нравится: негодуяюще смотрит он на неё, когда она сбегает ему навстречу лёгким своим бегом. Он явно обижен: «Как! Этой девчонке так же доверили агитировать за блок коммунистов и беспартийных, как и мне, заслуженному человеку с одышкой?! Безобразие!» Юлька вздёргивает нос и проходит, хмуря светлые бровки.

Близ дома, на бульваре, её поджидает Андрей. Ему тяжело так долго без неё. Он неприкаянно бродит по пустынному бульвару, на него падает снег и крупа, и ему кажется, что продавщица в угловом ларьке презирает его за долготерпение.

— На сегодня всё, я надеюсь? — спрашивает он, беря Юльку под руку. И блаженно чувствует сквозь шубку, как у его руки бьётся её сердце.

— На сегодня всё, — отвечает она. — Но завтра надо ещё к ним сходить.

— Ничего подобного! — говорит Андрей. — Никуда ты завтра не пойдёшь.

— Какой ты странный, Андрюша, — говорит Юлька. — Им же нужно получить биографии кандидатов.

— Они не умрут, если получают биографии послезавтра.

Роли после свадьбы переменились, теперь командует Андрей, а Юлька слушается, хотя и не без протеста.

— Завтра ты будешь со мной. Я тоже избиратель. Почему открыто горло? Простудишься. Дай, я поправлю.

Они идут к автобусной остановке, под большими вязами, под снегопадом. Белеют пустые бульварные скамьи. Юлька рассказывает Андрею, что с нею случилось за день, и он, склонив к ней голову, слушает её.

Им навстречу идёт другая пара. Стройную девушку с энергичным и трагическим лицом (чёрные глаза её в свете фонаря так и сверкнули) ведёт молодой человек в шляпе. Юлька и Андрей оглядываются одновременно.

— Ты знаешь, кто это? — спрашивает Андрей.

— По-моему, — говорит Юлька, — это тот артист, что показывал фокус с платком.

— Разве? — говорит Андрей. — Я не обратил внимания. Я узнал девушку. Это Екатерина Борташевич, чемпион по метанию диска.

— Борташевич? — переспрашивает Юлька. — Она не дочка того Борташевича, который застрелился?

— Ну, почему обязательно дочка, — говорит Андрей. — Скорей всего однофамилица.

— Похожа на Тамару из «Демона», — говорит Юлька. И они возвращаются к своим разговорам.

И те двое, что прошли сейчас мимо, заняты своим разговором, только для них важным и понятным.

— Что вас держит? — спрашивает Войнаровский.

— Слишком много всего сразу, — отвечает Катя. — Я не могу сразу так много.

Он смотрит на её профиль.

— Неправда. Вы можете много.

— По-вашему, я имею право быть счастливой — сейчас?

— Я не знаю, будете ли вы счастливы. Я сказал, что я буду счастлив.

— Я стала злая. Я не дам вам счастья.

— Что вы понимаете. Я лучше знаю, что мне нужно. Сейчас мне одно нужно. Чтобы ты была со мной. Ты понимаешь?

— Я вас измучаю. Вы не знаете, какая я стала. Как-то проплакала целый день.

— Ты перестанешь плакать.

— Я тогда никого не могу видеть.

— Я буду уходить.

— Я не могу без Серёжки.

— Мы возьмём Серёжу. Все твои отговорки не стоят ни гроша.

Знаешь, кто ты мне?

— Кто?

— Ты моя жена. Я тебя увидел на стадионе и подумал: это моя жена, я её ждал. вот она. И когда я был в вашей квартире, увидел портрет и подумал: жена. И когда твой отец умер, я подумал: я сам должен сказать об этом моей жене. Слушай — где же находится жене, если не с мужем, пусть в горе каком угодно. Слушай — ведь ты мне необходима...

Снег сыплет гуще, прохожие проходят скорым шагом, никто не слушает этих сумбурных речей, произносимых вслух.

Наутро Катя не выходит на работу.

Она появляется к обеденному перерыву — в шубке и шапочке, нарядная, душистая — и приносит бумажку о том, что возвращается в институт. Саша идёт с нею в отдел кадров и помогает ей оформить увольнение. Потом они прощаются.

— Спасибо, Саша, милый.

— Да за что там... — бормочет Саша.

— За всё. Не сердись, что я так... недолго. Ты думаешь, это капризы, да?

Саша ничего не думает.

— Саша, не капризы, честное слово! — говорит Катя. — Я вышла замуж. Он хочет, чтобы я училась. Он, безусловно, прав! — Глаза у неё горячие, как на той фотографии.

- До свидания, Саша.
- Всего...
- Ребятам передай привет.
- Ладно...

Ребята, конечно, в неё повлюблились, как могло быть иначе. И Женька только на неё смотрел, и Валентин перестал вздыхать по Клаве: И Клава сердилась, сидя в своей будке.

Всё сделала Катя, как надо. Разве она обязательно должна была любить Сашу? За что она могла его полюбить, за какие такие заслуги? Она разговаривала с ребятами по-товарищески, не кокетничала и не гордилась.

Старалась работать лучше.

Чуткая была: один раз Саша достал папиросу, а спички по обыкновению кончились. Она увидела, крикнула: «Ребята, спички бригадиру!»

Другой раз взяла коробок из женькиных рук, сама зажгла спичку и подала огоньку, закрывая его ладонями от ветра. И при этом улыбнулась Саше.

Ребята её осуждают. Даже Валентин говорит: «Несерьёзное отношение к работе». Клава вышла из будки и сказала целую речь.

— Я ей никогда не доверяла! — сказала Клава. — У такого отца какая может быть дочь? Она со мной старалась подружиться, но я не захотела принципиально! А вам лишь бы красота, кроме красоты, вам ничего не надо, а ещё комсомольцы.

— Ладно, хватит! — повысил голос Женька. — Она студентка, ей учиться надо, ясно?

Саша не вмешивался в это обсуждение. Он сказал прорабу, что хочет остаться на вторую смену. Прораб спросил:

— Заработать захотел? Ну, давай.

Саша работал до позднего вечера; едва успел купить хлеба, уж закрывались булочные. Нёс хлеб подмышкой, на ходу отламывал куски и ел... Живёт на свете Катя, а мечтать о ней больше не нужно. «Спасибо, Саша, милый», — сказала она. «Спасибо, Саша, милый», — сказала она...

Новость: Акиндинов покидает нас. Он был вызван в Москву и вернулся с новым назначением: далеко-далеко, в краю, где зреют цитрусы, ему поручено некое грандиозное предприятие. Оно ещё не вступило в строй; всё там нужно создавать с самого начала: и кадры, и культурные жилища, и бани с пальмами.

Задачу по плечу Акиндинову: какие масштабы!.. Он торопит Марию Фёдоровну со сборами. Зачем тащить с собой столько барахла. Брось; раздай; едем.

Ему уже мерещится пуск нового завода, мерещится городок, который он там построит, — в восточном стиле городок, с висячими галереями и крытыми дворами; тысяча и одна ночь — водоёмы, цитрусовые рощи... Всей душой он тянется туда, к задуманному, непочатому... В то же время — грустно. Расставаться грустно. Торжественный и растроганный, обходит он цехи. Эта прекрасная сила созидалась при нём, под ревнивым и требовательным его руководством. Из каждого уголка на Акиндинова глядят его счастливые и трудные годы. Свою страсть, свои усилия, восторги, гнев, разочарования — громадный кусок себя он оставляет тут.

Аллея от заводоуправления к первому сборочному — как хороша она в инее, серебряные ветки сплетаются над головой, а когда-то эти деревья доходили Акиндинову до плеча...

А Дворец культуры он так и не достроил, только правое крыло окончено... Разве достроит Косых с тем размахом?

Косых, бывший заместитель, остаётся во главе станкостроительного. Серенькая фигура: осторожен, точен, ко всем мнениям прислушивается... Как-то справитесь, товарищ Косых? В январе получите заказы для лёгкой промышленности, многое придётся осваивать заново, уложите ли в сроки? Более восьмисот рационализаторских предложений на очереди — не утоните, товарищ Косых... Жили вы за Акиндиновым, как за каменной стеной; по сути дела, вся ответственность лежала на плечах Акиндинова. Плохо, плохо будет вам без Акиндинова!

Чтобы подбодрить Косых, Акиндинов говорит ему:

— Вы, главное, смелее, смелее... Знания у вас есть, опыт есть. Главное — не робейте.

— Да я не робею, — говорит Косых.

— Да?.. — с недоверием переспрашивает Акиндинов. — Это хорошо.

Косых стоит перед ним, спокойно улыбаясь, в старом костюме, который он носит чуть не с военных времён, и неожиданно говорит странные слова:

— Я робел только с вами, Георгий Алексеич. Очень уж тяжело давите вы на людей вашим авторитетом.

Поразжённый Акиндинов взглядывает на него сверху вниз. Есть искушение оборвать резко: «А вы наживите собственный авторитет; вот и не почувствуете тяжести чужого». Но было бы недостойно ответить так на откровенность товарища... Что же? Стало быть, Косых радуется его отъезду? Он, стало быть, испытывает облегчение? Он, возможно, думает: «Теперь у меня будет мой авторитет и моя ответственность»...

— Вот как, — бросает Акиндинов и отходит, не требуя объяснений. Безусловно, ему случалось отменять распоряжения Косых, но ведь отменял он в интересах дела и для того, чтобы научить людей работать как следует, — неужели Косых ощущал это, как тяжкий гнёт?

Ну, а другие?.. Он заговаривает с рабочими, инженерами. Со стариками, которых он представлял к орденам. С мальчишками, которым он дал квалификацию, образование, заработки!.. Все знают об его отъезде. Кое-кто высказывает вежливое сожаление. Старики спрашивают — а как там климат. Заместитель начальника механического цеха подходит с просьбой не забывать его: с Косых у него нелады. Но большинство говорит: «Ничего, новый директор тоже дельный; поддержим, справится!» Как будто совершенно всё равно, кто будет директором, Акиндинов или другой человек, лишь бы нормально работал завод и выполнялась программа.

— Дворец уж без меня будете достраивать, — с улыбкой на губах и горечью в сердце обронил Акиндинов... Его заверили:

— Достроим, Георгий Алексеич!

Оскорблённый этим оптимизмом, он едет в город. Прощается с Ряженцевым; тот жмёт руку, желает доброй работы на новом месте и обещает, что партийная организация Энска всячески поддержит Косых. Зато прощание с Дорофеей настоящее, душевное; они обнимаются со слезами на глазах, и обида отходит от акиндиновского сердца, когда Дорофеея говорит: «Надо же, хоть бы поближе куда вас послали, а то в такую даль, я на аэродром приеду проводить». Но тут же она добавляет:

— Это я как друг-товарищ, а как должностное лицо — знаешь, что скажу тебе, Георгий Алексеич? Нам, горсовету, с Косых легче будет договориться; ты нам плохо помогал.

— Я — вам? Помилуй!

— Да, ты — нам. Вдвое и втрое мог больше для города сделать, мог, мог, и не говори!

Она задорно хлопает по большому столу маленькой смуглой рукой, и перед Акиндиновым встаёт прежняя молоденькая Дуся, увлечённая

открытой перед нею деятельной жизнью. В темнорусых волосах блестит седина, но тронутая сединой прядь, заложенная за маленькое ухо, по-прежнему завивается колечком на конце. А морщины неприметны, и зубы чисты и блестящи, как в молодости. И непрерывно сменяются переживания и движется жизнь в этом лице и в блестящих глазах...

Акиндинов возвращается домой. У подъезда его окликает звучный голос: Бучко, бывший редактор областной газеты, взятый Акиндиновым в заводскую многотиражку, — Бучко, лихач-кудрявич с хорошим литературным слогом. Он спешит, как на пожар, ноги его разъезжаются на обледенелом тротуаре, — спешит, чтобы пламенно, задыхаясь, пожать Акиндинову руку.

— Георгий Алексеич, какие события! — восклицает он. — Я только что из цеха, вы бы видели, как все расстроены разлукой с вами, тяжело смотреть!.. Такое уныние, такая растерянность...

— Уныние? — повторяет Акиндинов.

— Разумеется, ещё бы, такая потеря!.. Говоря между нами, Косых... При всём моём уважении к этому товарищу... Это не та фигура, которая должна возглавлять наш завод! Георгий Алексеич, ведь все понимают: разве будет Косых так заботиться о людях? Разве он будет так печься о блеске и славе завода? Ведь отражением этого блеска светит, так сказать, весь город — благодаря кому? — благодаря вам! Вы... вы... — Бучко совсем захлебнулся. — Ума не приложу, как же мы будем без вас!

Те самые слова, которых Акиндинов ждал от людей; но почему-то очень противно слышать эти слова от Бучко.

— Вы ошибаетесь, — говорит Акиндинов надменно. — Косых — чрезвычайно сильный работник, крупнейший инженер, организатор... («И завтра ты будешь точно так же юлить перед ним, холуй!») Всего лучшего! — Он с брезгливостью суёт руку в подобострастно протянутые руки Бучко и входит в подъезд...

Они обедают с Марьей Фёдоровной на маленьком столе в пустой столовой — мебель уже упакована и вынесена на лестницу, упаковщики топают по квартире, пахнут рогами, — всё: завтра утром нас здесь не будет... Марья Фёдоровна заплакана — привязалась к месту, к людям, к своей работе в заводских яслях.

— Ну-ну, Маруся! Там будет неплохо.

— Я знаю. Это я так просто... немножко. Ешь ещё. Завтракать будем совсем по-походному.

Акиндинов поднимается и целует жену в голову, на которой попрежнему, как в юности, двумя венцами уложены косы. Они уже не отливают пшеничным золотом, посветлели от седины, стали тоньше и ещё мягче, но для Акиндинова это прежние дорогие, золотые косы, которые Маруся лелеет и расчёсывает подолгу, и укладывает в венцы, чтобы он любовался ими.

Он целует ровный пробор между венцами, взяв её бережно за виски, а она берёт и целует его громадную толстую руку. В жизни никто не целовал ему рук, кроме Маруси; но она целует, и он удивился бы, если бы ему сказали, что его руки некрасивы: очевидно, они прекрасны, если их целует Маруся...

А на другой день Акиндинов летит над облаками в край, где зреют апельсины. Ломит в ушах от высоты. В окне самолёта взлетает и падает большое зимнее солнце. И в прорывах туч открывается внизу белая Земля.

На Земле готовятся к встрече Нового года. Да, ещё год прожили мы с вами, как время бежит.

По городу расставляют щиты с портретами рабочих, досрочно выполивших годовой план. Детишки считают дни, оставшиеся до ново-

годних каникул. Опять выставлены в витринах блестящие шарики и целлофановые хлопушки. На площадях продают ёлки, пахнущие лесом и детством. В яслях станкостроительного завода достают из нафталина художественного деда-мороза, приобретённого Акиндиновым год назад; надо поправить деду помятую бороду и подновить позолоту; на нового деда экономный товарищ Косых денег не даст.

Скоро попируем. Кто и не пьёт — в эту ночь обязательно выпьет. Прозвонят кремлёвские куранты — как не чокнуться? Чокнемся за новое счастье Саши (мы же знаем, что горе его ненадолго, что впереди у него много счастья!). Пожелаем мужества Дорофее в предстоящих ей новых испытаниях. Пожелаем самых больших успехов товарищу Косых, и всему станкостроительному заводу, и всем людям, честно работающим для жизни — бесконечной, вечно молодой, вечно обновляемой жизни.

С Новым годом, товарищи!



САЛИХ БАТТАЛ

★

ПО СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ

(Из повести в стихах)

С татарского

Повесть в стихах Салиха Баттала посвящена будням советской татарской деревни. В центре повести — недавно вернувшийся из госпиталя инвалид Отечественной войны, секретарь парторганизации колхоза Сафар. Его жена — Зифа, завхоз — Фазыл, звеньевая — Газза. Взаимоотношения между этими героями составляют сюжетную основу повести. Вернувшийся из госпиталя Сафар против своей воли оказывается запутанным в тёмные дела Фазыла: Фазыл незаконно наделил жену Сафара (свою сестру) большим приусадебным участком, поручил Сафару отвезти в МТС поросёнка, который, как потом выяснилось, предназначен был в качестве взятки начальству. Для достижения своих целей Фазыл не брезгает ничем. Чтобы привлечь к себе сердце Газзы, на которой он решил жениться, он яростно поддерживает Газзу в её заблуждении — Газза упорно защищает изжившую себя в их районе систему звеньев. Звено Газзы — одно из лучших. В прошлом у звена немало заслуг. Газза долго защищает звенья, пока факты жизни не убеждают её в том, что она всё-таки неправа. Впоследствии она становится инициатором слияния двух соседних колхозов — татарского и русского.

Таково вкратце содержание повести в стихах Салиха Баттала. Редакция журнала публикует главы, составляющие одну из основных линий повести.

ФАЗЫЛ ПОДЛОЖИЛ СВИНЬЮ

— Кто, никак я не пойму,
Бродит здесь при лунном свете?
Ты, Газза? Но в сельсовете
Не была ты почему?
Там участок твой включили
В план уборочных работ,
В общий план на этот год.
Возразить я был не в силе:
Не дали, заткнули рот.
Ты работала всех лучше,
Впереди твоё звено,
Станут жать — всё свалят в кучу,
И гадай, где чьё зерно!

Так с Газзой заговорил
Кто б вы думали?

Фазыл.

Говорит он, но таится,
Мысль иная в голове:
Как бы этак подкатиться
К привлекательной вдове.

— Очень прогадаем все мы,—
Продолжал он разговор,—
Шутка ли, вострят топор
Против звеньевой системы.

— Да, — Газза сказала тихо, —
Этот вредный поворот
К обезличке приведёт,
И пойдёт неразбериха.

— Ты, Газза, грусти не слишком,
Защищай свои права.
Напиши в Казань письмишко.
Не ответят — есть Москва.—
Ни на миг не умолкая,
Он шептал:

— Имей в виду,
Если есть нужда какая,
Намекни мне, всё найду!.. —
Сыпя нежными словами,
Огляделся он кругом,
Потянулся к ней усами,
Пахнувшими табаком.
Протянул он было руки,
Но Газза, бледна и зла,
От него, как от гадюки,
Отскочила и ушла.

«Эх, дурак, испортил дело, —
Думал он себе в укор, —
Дал промашку, слишком смело
В наступление попёр».

* *
*

Время шло. Работа шла.
— Агитатор, как дела? —
И, окликнутый Сафаром,
Агитатор подошёл.
— Время не терял я даром, —
Он сказал, —

 работу вёл.
Все давно уже хотели
Внятную услышать речь,
Как имущество артели
Мы должны беречь.
Между прочим, в мягкой форме
Спрашивал меня народ:
«Соответствует ли норме
У Сафара огород?»
А ещё, подметив тонко,
Задала Газза вопрос:

«Не парторг ли поросёнка
В МТС, как взятку, свёз?»

От подобного отчёта
Бросило Сафара в жар.
Вытирая капли пота,
Захромал домой Сафар.
Был на летнем небе выткан
Звёзд затейливый узор...
Отшвырнул Сафар калитку
И вошёл во двор.
Он во тьме обвёл глазами
Свёклы строй, петрушки рать,
Стал метровыми шагами
Огород свой измерять.
Мерил — получалось много,
Падал он, ругая мрак,
Жёг единственную ногу
Каждый лишний шаг.

Крикнула Зифа сурово:
— Что ты топчешь огород,
Что стряслось с тобою снова?
Иль чего недостаёт?

— Ты «недостаёт» сказала? —
Он жену переспросил.
— Нет, здесь лишек, и не малый,
Кто, скажи, нам удружил?

— Брось, Сафар, к чему сердиться,
Люди, все мы не белы.
Может малый грех случиться
Даже с дочерью муллы.
В том фазылова забота,
У него у самого
В огороде тридцать соток
Лишку; ну, и ничего.

Но Сафару не до шуток.
Значит, вот каков Фазыл:
С поросёнком там опутал,
Здесь свинью мне подложил.

Помолчал Сафар.
Угрюмо
Он переступил порог.
Поработать было вздумал,
Книгу взял, читать не мог.

ФАЗЫЛ НА УЛИЦЕ И ДОМА

Если говорить по чести,
У завхоза много дел.
Но Фазыл на этом месте
Не терялся, не робел.

Всё хозяйство оглядел он
И решил:

«Чудесный вид!

Я могу гордиться смело —
У иных партийных дело,
Может, так не обстоит!»

Знал Фазыл: на даровщинку
Трудятся лишь дураки..
Сепаратор сдан в починку
За один мешок муки.
Чтоб наладить медосос,
Он полпуда мёду свёз.
Много ль в кладовых убудет
От его щедрот?
А зато потрафишь людям,
И тебе перепадёт.
Принцип верный, хоть и старый, —
Услужи, так будешь мил.
Помощью своей Сафара
Вздумал «охватить» Фазыл.
«Дескать, дружбе зная цену,
Будет тронут зять до слёз.
Ах, когда б на эту сцену
Посмотрел бы весь колхоз».

Видит издали Айдара —
Пригодится дед.
— Закури, приятель старый,
Вот тебе кисет!

Но Сафар, приехав с поля,
Круто взялся за дела..
Он спросил:

— Фазыл, давно ли

Здесь ревизия была?
Знать хотелось бы про то мне,
Был ли где-нибудь учтён
Поросёнок тот, что — вспомни —
Ты просил свезти в район?

Дед воскликнул, поражённый:
— Что ж мы время тратили?
Я-то ведь в ревизионной
Числюсь председателем. —
В свете этого вопроса
Стал он сразу бдительным,
Самокрутку прочь отбросил
Жестом выразительным.
Выдохнул ядрёный, жаркий
Дым её проклятый,
Чтобы связь порвать с цыгаркой,
У Фазыла взятой.

Простонал Фазыл:
— Соседи,
Чем резон мой нехорош:
Не подмажешь, не поедешь,

Где не дашь, там не возьмёшь.
 Ты, Сафар, умён, а всё же
 Не в свои дела б не лез.
 Все мы люди. Смертен тоже
 Наш директор МТС.
 Будет день, расчёт мой тонок,
 Я ручаюсь головой,
 Этот самый поросёнок
 Возместит себя с лихвой.

Помолчал Сафар немного.
 — Жаль, тогда всего не знал:
 В ящик со свиньёй, ей-богу,
 Самого б тебя загнал!

* *
*

Мужа нет. Зифа одна,
 Убирается она.
 Веничком сметает крошки
 Со скатёрки, со стола.
 И обидно ей немножко:
 «Вот, мол, все мои дела!»
 С каждым взмахом грусть сильнее,
 У Зифы в слезах глаза:
 «Красной скатертью владею,
 Красным знаменем — Газза!

Кто блинов не исчезёт?
 Разве в этом сила?
 Вот Газзе теперь почёт —
 Знамя заслужила!
 И Сафар мой что-то больно
 Стал похваливать её!
 Отдохнула я дозольно,
 Ждёт меня звено моё.
 Кажется, моя забота
 Мужу больше не нужна».
 — Дочку в сад — и на работу, —
 Произносит вслух она...

Выйти из дому решила.
 «Мужа, — думает, — найду»,
 Но увидела Фазыла,
 Он ей крикнул на ходу:
 — Что с твоим случилось мужем,
 Или, чёрт его дери.
 Он, подпорченный снаружи,
 Чуть подпорчен и внутри?
 Дал всему не ту окраску,
 Понял всё наоборот.
 А тебе, сестра, за ласку
 Он по шее не даёт?
 Разве пережить легко мне?
 Вам хотел помочь, любя,
 Ну, а он свинью мне вспомнил.
 Я ж для всех, не для себя?
 Ну, а что до огорода,

Здесь беда не велика:
 Дал семье фронтовика
 Я не втайне от народа,
 Не исподтишка.

Но Зифа, на брата зла,
 Слово крепкое нашла:
 — Знаем мы тебя, хапугу,
 Пить и есть ты любишь всласть,
 Оказать готов услугу
 Ты и недругу и другу,
 Чтобы легче было красть.

У Фазыла лоб лоснится,
 Взгляд огнём сверкает злым.
 — Значит, вот как ты, сестрица!
 Не пришлось бы прослезиться
 С муженьком тебе своим.
 Слишком ты передовая,
 Но, сестрица, погоди,
 Ты заплачешь, не желая
 Оказаться позади.

После этого намёка
 Зашагал он за плетень.
 Встав спиною к солнцепёку,
 На свою ступил он тень.

★ ★
 ★

Дома наш Фазыл всегда
 Забывает огорченья.
 Дома — горе не беда,
 В баньке тёплая вода,
 Дома — жирная еда,
 Дома — утешенье.

Кладовая там полна,
 Двери на запоре.
 Там дебелия жена,
 Там покой, там тишина,
 Прямо санаторий.

Правда, есть в жене изъян —
 Старовата малость,
 Но Фазыл-то не болван,
 У него обдуман план, —
 Выполнить осталось.

У Фазыла огород,
 И притом не малый,
 И жена гусиный флот
 К речке по утрам ведёт
 С видом адмирала.

Разве можно наяву
 Пожелать иного?
 Овцы, куры, и в хлеву

Сонно тычется в траву
Сытая корова.

Двор блестит, плетень кругом —
Не плетень, а сказка.
Каждый кол стоит торчком,
Коронованный горшком,
Как гвардеец каской.

— Ну чего,— грустит Фазыл,—
Нехватает людям?
Если где неправ я был,
В чём кому не удружил,
Так приди, обсудим.

Нет, наплачется народ
Со своим Сафаром.
Нет, ко мне зятёк-урод
С просьбой сам ещё придёт:
— Позабудь о старом!

Увидал: издалека
Выползла наверх рука —
Та, что из подвала
Сливки доставала.

Чашка сливками полна...
Не идёт — плывёт жена
С ношею нетяжкой.
Сливки? Нет, бела, грузна,
Ясный день несёт она
В окаёме чашки.

Подобрел Фазыл, расцвёл,
Взглядом всю её обвёл
Удовлетворённый,
Выпил фюмку, сев за стол,
Пальцы запустил в рассол...

Глядь, комиссию привёл
Дед ревизионный...

БУДЕТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Строят дамбу и плотину...
Обнажился дна кусок.
Мальчуган, задрав штанину,
В мокрый прыгает песок,
Удит мелкую рыбёшку
В мелких лужах. Но вода,
Прсторив себе дорожку,
Прорывается туда.

Бьётся речка, не сдаётся,
Безуспешен труд,
А Фазыл стоит, смеётся:

Трудодни текут!
 Он ведёт Айдара к речке:
 — Ваша линия вредна.
 Вот где крупная утечка,
 Где ревизия нужна.
 Беспольные старанья!
 Ваша дамба, видит бог,
 Поперёк реки не встанет,
 Станет в горле поперёк.
 Сколько, пусть прикинут люди,
 Трудодней вогнали в гроб,
 Сколько, подсчитай-ка, будет
 Это «руб.» и «коп.»

План созрел в душе хапуги,
 Ходит он, ликуя:
 — Кое-что дружку скажу я,
 А жена — подруге.
 Полетит, наверняка,
 Слух по всей округе:
 Есть приятель у дружка,
 Есть подруга у подруги.

Близким людям шепчет с жаром
 Снятый с должности завхоз:
 — Из-за этого Сафара
 Мы прольём немало слёз.

Думает Сафар уныло:
 «Со строительством беда,
 Ну, а происки Фазыла
 Хуже, чем вода.

Впрочем, этому Фазылу
 Мы язык укоротим.
 Нам, однако, не под силу
 Стройку вытянуть самим.
 Не должны мы по старинке
 Разрешать такой вопрос.
 Ну, а что один колхоз? —
 Каша из одной крупинки».

Думает Сафар:
 «Поеду
 Я прямой дорогой».
 Говорит Сафар:
 — К соседу
 Съезжу за подмогой.

★ ★

И пришли на зов Сафара
 Люди из «Луча».
 Стали с русскими татары
 Строить сообща.
 Возят землю на подводах,
 Позабыв про сон и отдых,
 Не жалея сил.
 Всё подвластно человеку!

И не только лошадь — реку
К хомуту он приучил.
Эй, река, строптивый конь,
Стянем на тебе супонь!

Осторожно с непривычки
По готовой перемычке
Лошадь тащит первый воз.
Виден след его колёс.
Но легко ль взнуздать природу?
Слышишь с дамбы голоса?
Грунт подмыт водой, и с ходу
Оползают прямо в воду
Все четыре колеса.
Конь хрипит, в оглоблях бьётся,
Здесь нельзя терять минут,
Дамба вновь сейчас прорвётся,
Конь, телега пропадут.
Превратился грунт в болото,
Вязнет всё в грязи, в песке,
Но, не растерявшись, кто-то
Прыгает с киркой в руке,
Рвёт узлы вожжей ремённых,
Сыромятные гужи,
Конь летит, освобождённый,
Ну-ка, удержи!
Не владея даром слова,
Конь заржал: мол, вот я снова
На земле и невредим,
Дескать, чувств своих не скрою
И приветствую героя
Ржанием своим!

А героем этим был —
Не поверите — Фазыл.

Вы его теперь найдёте
За работою чуть свет:
Надо на простой работе
Свой поднять авторитет.

Дело ясно, что тут спорить!
Чтоб не угодил на дно,
Тащат люди воз на взгорье
И Фазыла заодно.
Он размяк, он лёг на спину,
У него блаженный вид.
Кажется, он вновь летит
К новым должностным вершинам.
И картина за картиной
Перед ним в мечтах встаёт:
Вот Зифа пришла с повинной,
Зять ошибки признаёт.
Нет, Фазыл их не обидит:
Он не мстит своим родным...
Он Газзу в мечтаньях видит,
Он Газзой теперь любим!

А кругом кипит работа,
Трудятся и стар и млад
Так, как будто в землю что-то
Навсегда зарыть хотят.
Страх перед стихией злобной
Надо глубже закопать!
Шлёпают трамбовки, словно
На сургуч кладут печать.

ДЕД АЙДАР НА КРЫШЕ

Деревья осень золотит.
Черны дороги, косогоры.
Земля, рябая от копыт,
Замёрзнет, затвердеет скоро.
Горит багровый полукруг
К земле поникшего светила.
Оно, надувшись, как индюк,
Цветные перья распустило.

Айдар соломой крышу крыл,
Снопы он клал умело.
А солнце из последних сил
Лучами старика пригрело.
Старик и огорчён и рад.
Он шурится, молчит, вздыхая.
Прекрасен золотой закат,
Прекрасна старость золотая!

Устал, овладевает им
Такая сладкая истома...
«Я в доме жизни — гость.

К другим,
К другим, не к старым, к молодым
Приветлива хозяйка дома».
— Прощай, хозяйка, мне пора, —
Он шепчет. — Предо мной дорога. —
И ждёт: а вдруг она добра,
А вдруг попросит:

мол, немного
Ещё ты можешь погостить!
Ну, пусть не гостем! Пусть прикажет, —
Он у такой хозяйки даже
В работниках согласен быть.

Оглядывает с крыши дед
Бескрайнюю, как жизнь, равнину.
«Где я сейчас? На крыше?»

Нет.
Здесь жизни прожитой вершина».

Как ясно ширь полей видна,
Как золотится лес, а ближе,
Глядит Айдар, — земля звена
Лежит полоской жёлто-рыжей.

В полях убрали хлеб давно,
 Но всё же видеть можно часто,
 Как Газиза ¹ ведёт звено
 На звеньевой участок.
 Подругам говорит она:
 — Пускай толкуют, что угодно,
 Но почва стала плодородной
 Благодаря труду звена.
 Сафар неправ, неправ кругом:
 В том убеждаюсь каждый день я...
 Вот напишу письмо в обком,
 Там защитят меня и звенья.

Так на своём Газза стоит.
 Она готова драться яро.
 На крыше дед Айдар кряхтит...
 Ты, Газиза, смешней Айдара!

СВАТОВСТВО

Знак вниманья, как ни мал,
 Дорог нам...
 — Вот в этой крынке
 Мой Фазыл тебе прислал
 Замороженной рябинки.
 Мой Фазыл не очень смел,
 Он, печалью удручённый,
 Передать тебе велел
 Банку рыжиков солёных,
 Чашку вишенок сухёных,
 Да и яблочек мочёных.
 Фрукты, ягоды, грибы —
 Это всё тебе поможет...

Думает Газза:
 «А всё же
 Молодец Фазыл-абы!»

Шепчет женщина:
 — Мой друг,
 Скушай всё, и тем отчасти
 Облегчишь ты свой недуг,
 А Фазыл умрёт от счастья.
 Мой Фазыл не муж, а клад:
 Намекни, промолви слово,
 Всё достать он будет рад
 С неба ли, со дна морского.
 Пронеслись года, как дни,
 С ним, заботливым, весёлым.
 Он — аллах его храни! —
 Пальчиком меня ни-ни,
 А не то чтоб чем тяжёлым.
 Я теперь уже в годах,

¹ Газиза — полное имя, Газза — уменьшительное.

И одна у нас кручина:
 Не дал, не судил аллах
 Нам ни дочери, ни сына.
 Вижу в том свою вину:
 Я здоровьем слабовата,
 Но мужчина не одну
 Может брать себе жену
 По законам шариата.
 Будь, Газза, ему женой,
 Пусть у вас родятся дети.
 А для виду он со мной
 Разведётся в сельсовете.
 Будешь ты ему жена,
 Буду жить и я спокойно,
 Потому что ты одна
 Заменить меня достойна.
 Мы поставим дом большой
 Понашьёшь себе ты платъев,
 А Фазыл — его с лихвой
 На обеих хватит!
 Думай, думай, будет он
 С нетерпением ждать ответа...

Думает Газза:
 — Не сон
 И не бред ли это?

Нет, не бредила Газза.
 Женщина сидела рядом,
 Глядя ей, больной, в глаза
 Тусклым, но здоровым взглядом.

— Убирайся с глаз моих,
 Чтоб твоей не видеть рожи!
 Провались такой жених
 И его подарки тоже!
 Я и звенья бы в конец
 Разнесла без сожаленья,
 Потому что он, подлец,
 Защищает звенья.

Передай Фазылу:
 — Пусть
 Он оставит мысль пустую.
 Если вешаться решусь,
 Сук получше облюбую.

НА ЗАНЯТИЯХ

Итак, Газза ведёт урок.
 Взволнована? Порядком!
 Пойдут её заметки впрок,
 Разлившись по тетрадкам.
 Записывают все урок,
 Отлично понимая,
 Какой культурой, в нужный срок,

Засеять «Птичий островок»
И «Клин Шамая».

Какой участок ни возьми —
История другая.
Откуда, потолкуй с людьми,
Название «Клин Шамая»?
Шамай тот самый, что скрывать,
В колхозе слыл лентяем,
И стали думать да гадать:
Как дальше быть с Шамаем?
Не станем перед ним в тупик,
А клин дадим отдельный:
Быть может, говорят, привык
Шамай к работе сдельной?

Отдельный клин? Подход каков!
Не в том, конечно, дело,
А недоверье земляков
Колхозника задело:
Мол, хуже, что ли, я других?
Могу с любым сравниться!
И стал Шамай за четверых,
За пятерых трудиться,
Не покладая сильных рук
И волю напрягая, —
И так в селе возникло вдруг
Название «Клин Шамая».

Теперь Шамай пошёл вперёд
И вырос так морально,
Что смотрит сам на случай тот
Он сверху вниз буквально.
Так произносит невзначай
Название «Клин Шамая»,
Как будто для него Шамай —
Фамилия чужая.

Шамай однажды произнёс,
Как начались занятия:
— Газза! Есть у меня вопрос.
Вот, не могу понять я:
О многополье речь ведём,
Но согласись со мною,
Что пользы в нём мы не найдём,
Коль будет поле лоскутом
В ладонь величиною.
К примеру, взять «Шамаев клин».
Колхозникам известно:
Пройдёт по клину плуг один —
И сразу станет тесно.
Средь этих маленьких клочков
Где тракторам работа?
А нам из пушек бить жуков,
Ей-богу, неохота!

Сама история села,
 Так людям показалось,
 Вопрос о клиньях задала!
 Опешив, растерялась,
 Ответить не могла Газза,
 Того не замечая,
 Что вдруг нашли её глаза
 Сафара, не Шамая:
 «Ты видишь, как пошли дела,
 Так помоги советом!»
 Но чутким сердцем поняла,
 Что медлит он с ответом
 Лишь потому, что тот вопрос
 Давно его тревожит,
 Ответить на него всерьёз
 Пока ещё не может!

Сафар сказал: — Друзья, она
 Ответ обосновать должна,
 Подумать над ответом. —
 И все сошлись на этом.

Газза подумала тотчас:
 «Мне речь его понятна.
 Мол, ты учить не в силах нас,
 Мол, тащишь нас обратно,
 Газза, к порядкам звеньевым,
 Не слушаешь Сафара,
 Хоть и пошла путём другим, —
 В тупик приводишь старый!
 Как людям я взгляну в глаза?
 Ты опозорилась, Газза!
 Ну, где твои резоны?
 Ведь ветерок, а не гроза,
 Сломал твой дом картонный!
 А воздвигала ты его
 С упорством и надеждой,
 Сафара, друга своего,
 Звала порой невеждой...»

Не слыша, что её зовёт
 Сафара голос близкий,
 Она за пазуху суёт
 Свои записки.
 Не хочется услышать ей:
 «Во всём ты виновата,
 Не можешь ты учить людей,
 Коль знаний маловато».
 Какой ответ найдёт тогда?
 Лишь покраснеет от стыда!

В тревоге и печали
 Домой направилась она.
 А люди в клубе допоздна
 Сидели, толковали:
 — Вопрос, друзья, решить нельзя,

Коль спор вести впустую,
 А упирается, друзья,
 Он в площадь посеvную.
 Но как расширить нам поля?
 Не из резины же земля!..

ФАЗЫЛ ОСТАЛСЯ НИ ПРИ ЧЕМ

Зашли в правленье, видят вдруг:
 Столпились люди там вокруг,
 И волк — посередине.
 В глазах Айдара торжество:
 С волнением слушают его,
 Героем стал отныне.
 А он при полной тишине
 Как будто начал сказку:
 — Поскольку пост доверен мне,
 Хожу я по участку.
 Всю ночь я фермы обхожу,
 Стеречь — моя забота.
 Раздался хруст. Во тьму гляжу:
 Снег выгребает кто-то.
 «Не ты ли это? — говорю,
 А сердцу стало жарко.—
 Фазыл, давай-ка, прикурю,
 Что у тебя, цыгарка?»:
 Пошёл к нему, а мой «Фазыл»
 Завыл в испуге, отскочил:
 Признал я волка разом,
 И оказался огонёк
 Горящим волчьим глазом!
 В один момент я взвёл курок.
 Ну что ж, не промахнулся.
 Как подошёл я к подлецу,
 Так сразу же споткнулся:
 Задрал он, стало быть, овцу.
 А я-то, грешный человек,
 Решил, что выгребал он снег!
 — А где ж Фазыл? — Сафар спросил,
 Когда Айдар замолк,
 Спросил он, будто сам Фазыл
 И есть матёрый волк.

Фазыл за печкою сидел
 И думу думал молча.
 Ты в темноте б не разглядел,
 Что эта шкура — волчья.

Фазыл остался ни при чём.
 Кто думал о Фазыле,
 С тех пор как вместе жить с «Лучом»
 Колхозники решили?
 Фазыл смещён и с этих-пор
 Вступает редко в разговор.
 Живёт, не прячась от людей,

Им на глаза не лезет,
 Он только стал ещё хитрей,
 Всё, что подметит, взвесит:
 «Надежду рано, мол, терять,
 Завхозом стану я опять.
 Ужель прошла моя пора
 И прежние порядки?
 Вблизи колхозного добра
 Живи теперь без взятки!
 Итти наперекор судьбе
 Кому же удаётся?
 Навряд ли капнет и тебе,
 Когда другим не льётся!
 Аллах, зачем ты мне принёс
 Тоску и безнадёжность?..
 В таких условиях завхоз —
 Невыгодная должность!»

А дома тоже у него
 Былого нет размаха.
 Жене доверил сватовство —
 Не справилась как сваха!
 Решил: бездушному письму
 Поручит это дело.
 Газза противится ему:
 А вдруг её задело,
 Что с ним ещё жена живёт?
 Смущается, понятно.
 Но он пойдёт и на развод,
 Чтоб было ей приятно.
 Разрубит цепи топором,
 Разрубит, не заплачет,
 Но жертвовать своим добром,
 Своей супругой, значит,
 Решится он, когда Газзой
 Он вступит во владенье!
 И каждый вечер, сам не свой,
 Приходит он в правленье.
 Сидит и час и два часа.
 Всегда здесь многолюдно,
 И странно держится Газза:
 Шепнуть словечко трудно —
 Всегда, всегда она с людьми,
 Одна не остаётся.
 Письмо вручить ей, чёрт возьми,
 Никак не удаётся.
 Подумать, сколько личных мук!

Сапог обледенелых стук
 За дверью раздаётся.

Вошла Газза, да не одна:
 Опять среди людей она!
 Держаться бодро, как вошла,
 Видать, она старалась,
 Хотя на плечи ей легла

Тяжёлая усталость.
 Ещё в глазах её туман,
 Но кажется, что ноги
 Легко и быстро тонкий стан
 Несут в большой дороге
 И прежним понесут путём,
 Вперёд, навстречу счастью,
 Что завоёвано трудом,
 И подвигом, и страстью...

Айдар завёл о волке речь —
 Легко ль остановиться?
 Газза проходит и на печь
 Бросает рукавицы.
 Тогда из-за печи Фазыл
 Поднялся тихо и решил:
 Исполнится желанье!
 И в рукавицу он вложил
 Любовное посланье.
 Но если ты сидишь во тьме,
 Какая выгода в письме,
 Подсунутом в испуге?
 Сидишь один, молчишь, а тут
 При свете разговор ведут
 Товарищи, подруги...

.
 Когда все вышли, в тишине
 Фазыл один остался,
 И почему-то он к стене
 Спиною прижимался.
 На рукавицы бросил взгляд:
 Они, забытые, лежат.
 Заныло в сердце оттого,
 Что нет к нему участия,
 Что без письма ушёл его
 Почтовый ящик счастья.
 Теперь былой надежды нет,
 Исчез её последний свет.
 В глазах темно, душа черна...
 А что ж осталось белым?
 Белела лишь его спина,
 Запачканная мелом.
 И удручён и потрясён,
 Покинул он правление,
 Пошёл, как будто принял он
 Какое-то решение.

Сугробы, сугробы везде намело!
 Зифа зашагала метели назло:
 Наверно, к Сафару, в правление спешила.
 Вдруг видит пятно в огороде Фазыла.
 Да что там? Не волк ли? Вот выдался день!
 Не волк: то Фазыл разбирает плетень.
 Но разве не летняя это работа?
 Зачем же он, жирный и мокрый от пота,
 Плеть разбирает, по пояс в снегу?

Я просто на это ответить могу:
Фазыл побеждён.

Понимает он ясно,
Что шутки шутить не намерены с ним,
Что надо ему отступить и опасно
Участком владеть незаконно большим.
Ломает он обухом крепкие колья,
Как будто занозы, страдая от боли,
Из тела выдёргивает своего,
И боль утихает.

Но кровь ещё льётся:
То раны стязательства кровоточат,
Пусть капля за каплей весь выльется яд.
Но что от Фазыла тогда остаётся?
Теперь он отходит, чтоб ринуться в бой,
На новый рубеж.

Он плетень свой ломает,—
Не так ли противник, когда отступает,
Спеша, разбирает мосты за собой?
Нужны ещё старому миру Фазылы,
Он в них-то и копит коварные силы,
Он прячется где-то на нашем пути,
Стремится он, стоя у края могилы,
Внезапный и подлый удар нанести...

— Чем занят сейчас? — удивлённо спросила
Зифа и смутила вопросом Фазыла,
Он точно застыл на холодном ветру.
Стыдится и ночью исправить, как видно,
Всё то, что при свете он делал бесстыдно!
— Я вытопить баньку хочу поутру,—
Сказал, виновато взглянув на сестру...
И дальше, без смысла, молчать опасаясь:
— Так вот я дровами теперь запасаясь...

АВТОР В ГОСТЯХ У СВОИХ ГЕРОЕВ

Мила мне здешняя природа,
Места приманчивы для глаз,
И пристань по сердцу пришлась.
Решил сойти я с парохода:
Как говорится, матерьял
Я по колхозам собирал.
Я видел их богатства лично,
Встречал с восторгом каждый день:
И настроение — отлично,
И тюбетейка — набекрень.
Не потому ль, меня завидев,
Мальчишка стал дразнить: «Жених!»
Но я на это не в обиде:
Согласен быть и в таких!
Я говорю (а глаз прищурен):
— Не ты ли будущий мой шурин?
Так ты скажи мне, например:
Здесь есть колхоз-миллионер?

Вдруг слышу голос:
— Несомненно,
Имеется такой колхоз! —
Мужчина это произнёс,
Коню подкладывая сено.
— Ко мне садитесь в тарантас,
В «Миллионер» доставлю вас.

Я говорю: — Ну что же, сяду.
Конечно, поблагодарил,
Со спутником любезным рядом
Сел в тарантас и закурил.

Беседу о былом, о новом
Незначашим я начал словом.
Но вдруг наш жеребец заржал,
Всем туловищем задрожал,
Казалось: гневом обуянный,
На дымном кратере вулкана
Стоит свирепый этот конь
И сквозь него несётся лава,
В его глазах горит кроваво
Того же кратера огонь!

На спутника взглянул я. Право,
Тревога поднялась во мне.
Но в нём не видел я волненья.
Решил я с этого мгновенья
Ему довериться вполне.
Он только посмотрел чуть строже,
В руке зажал покрепче вожжи,
Как будто выжимал он сок
Из этой сырмятной кожи...
Рванулся конь наискосок.
Но спутник мой, как оказалось,
Такие видывал дела:
Так натянул он удила,
Что надвое — мне показалось —
Сейчас разломится гнедой.
На задние поднявшись ноги,
Конь свечку дал среди дороги,
Но пеной изо рта густой,
Казалось, гнев его погашен,
И, никому теперь не страшен,
Он мягко наземь опустил
Свои передние копыта,
И, не скачи он так сердито,
С котёнком я б его сравнил.
Обыкновенное событие.
Но вот что не могу забыть я,
Но вот что потрясло меня
(А я не сразу догадался) —
Возница укротил коня,
Но одноруким оказался.

Так свёл знакомство я с Сафаром.
 Удачу случай мне принёс.
 С каким рассказывал он жаром
 О том, как богател колхоз!
 Я встретился с Газзой в колхозе,
 Я видел дом, где жил Фазыл...
 То, что Сафар поведал в прозе,
 Стихами я переложил.
 Но чтоб читатель в полной мере
 В мою поверил правоту,
 С ним побывать в «Миллионере»
 За честь высокую сочту.

Мы едем в степь.
 Дорог развилка.
 Хлеба созревшие кругом.
 Остановилась молотилка
 На шумном стане полевым.
 Сейчас легко начать беседу:
 Мы прибыли туда к обеду,
 Сейчас на стане весь колхоз.
 Сверкает солнце на колосьях,
 А трактор за собой привёз
 Уютный домик на колёсах.
 А, это ясли! Есть пора!
 Так были требования громки,
 Как будто пела детвора:
 «Миллионера» мы потомки!
 Халаты свежей белизны,
 Умывшись, матери надели:
 — Где будущее всей артели?
 Где наши дочки? Где сыны?

Одна высокая татарка
 Своё дитя ласкает жарко,
 Целуя пальчики за то,
 Что пять их, а не шесть,
 Целуя мальчика за то,
 Что мальчик хочет есть.
 Я заметил мальчугана —
 Большие русские глаза.
 Сафар сказал мне: — Вот Газза...

Обед закончен. Голоса
 Я слышу полевого стана.
 Так до свидания, Газза,
 Мы встретимся с тобою снова.
 Добра ты будешь иль сурова,
 Что скажешь мне, мой труд прочтя?
 Он дорог мне — моё дитя.

Тревожусь я и буду рад,
 Скажу тебе по чести,

Когда о нём заговорят:
И голова на месте,
И пальцев на руке не шесть,
А, как обычно, пять,
И можно до конца прочесть
И перечесть опять.

Газза, когда бы довелось
Тебе сказать своё сужденье,
Хотел бы слышать:
— Родилось
Нормальное произведенье.

Перевод Н. Гребнева и С. Линкина.



ДОРИС ЛЕССИНГ

★

СТАРЫЙ ВОЖДЬ МШЛАНГА

Рассказ

Дорис Лессинг (родилась в 1919 году) — прогрессивная английская писательница, автор двух романов и сборника новелл. Детство и юность провела в Южной Родезии (Юго-Восточная Африка). После окончания колледжа работала на телефонной станции, в канторах и пр. В 1950 году вышел первый роман Д. Лессинг — «Поющая трава», привлёкший внимание к молодой писательнице. Одна из основных тем её творчества — жизнь и быт негритянского населения Южной Родезии, угнетаемого белыми колонизаторами. В настоящее время Д. Лессинг живёт в Англии, участвует в движении сторонников мира, сотрудничает в прогрессивных изданиях. В прошлом году вместе с группой английских писателей побывала в Советском Союзе.

В ту счастливую пору детства хорошо было бродить по густым зарослям, обступавшим отцовскую ферму. Наша земля, так же как и земля других белых фермеров, в значительной своей части оставалась невозделанной; лишь кое-где её перерезали узкие полосы посевов. А между ними — деревья, высокая редкая трава, колючий кустарник, кактус, овражек, а потом снова трава, пласты обнажённой породы, колючки — ничего больше. Иногда ещё попадался выступающий из земли обломок камня, извергнутый из горячей африканской почвы в какие-то невообразимо давние времена. Солнце, встававшее несчётное число раз, ветер, прошедший так много тысяч миль сквозь степи и чащи, выщербили в камне полости и глубокие борозды, и всё-таки он достаточно крепок, чтобы выдержать тяжесть тоненькой девочки, перед глазами которой неизменно стояла одна картина: тусклое серебро какой-то далёкой, заросшей ивняком реки, тускло мерцающие огни какого-то далёкого замка, — тоненькой девочки, которая напевала: «На ветру колышется сетка паутинки, зеркало разбилось на две половинки...»

Когда она пробиралась между зелёными рядами стеблей кукурузы и пронизанные солнечными лучами листья смыкались над её головой, как своды храма, а под ногами была плотная красная земля, — впереди, в тонком кружеве звёздчатого поричника, мерещилась ей чёрная, согбенная фигура, пророчащая беду: посреди кукурузных полей возникал перед нею образ старой колдуньи, рождённой в холодных северных лесах, и тогда кукурузные поля тускнели и исчезали и девочка вдруг оставалась одна у корявых корней сказочного дуба, и чудилось ей — идёт снег, густой, мягкий, белый, а костёр дровосека приветливо пламенеет сквозь чашу деревьев.

Можно было бы предположить, что белая девочка, которая выросла в Африке и с любопытством глядит на окружающую природу, залитую палящим солнцем, мрачную и жестокую природу, воспринимает её вместе с деревьями мсаса и колючими кустарниками как нечто привычное, родное. Но деревья мсаса и колючие кустарники она не видела такими, какими

они были в действительности. В книжках, которые она читала, рассказы-валось о далёких феях, реки в её сказках текли медленно и плавно, и девочке был хорошо знаком рисунок листка ясеня или дуба, так же как и имена крошечных духов, которые водились в английских ручьях, между тем как слово «велд»¹ было для неё чужим, хотя ничего другого она не могла помнить.

Вот почему африканская степь долгие годы казалась ей нереальной, здешнее солнце было чужим солнцем, а ветер говорил на непонятном языке.

Негры, работавшие на ферме, были ей такими же чужими, как деревья и скалы. Девочке они представлялись однообразной чёрной массой, которая, подобно стайке головастиков, то уплотнялась, то редела, то снова собиралась воедино,— безликие люди, существующие только для того, чтобы прислуживать, говорить «да, баас»², получать деньги и уходить. Они сменялись во всякое время года, кочевали с фермы на ферму в соответствии с их потребностями, настолько ничтожными, что над ними и задумываться-то не стоило; приходили за сотни миль с Севера или Востока, а через несколько месяцев отправлялись дальше. Куда? Быть может, в такую даль, как легендарные золотые копи Йоганнесбурга; по слухам, там платят куда лучше, чем в этой части Африки, где они получают несколько шиллингов в месяц и по две горсти кукурузных зёрен дважды в день.

Девочку приучили принимать как должное то, что слуги в доме, бывало, опрометью бросались поднимать обронённую ею книгу. Даже ровесники-негритята называли девочку «Нкосикаас» — госпожа.

Позднее, когда любознательность стала увлекать её за тесные границы фермы, она брала ружьё и в сопровождении двух собак пускалась в дальние прогулки. Ей случалось за день пройти много миль по холмам и низинам. Собаки и ружьё придавали ей уверенность в себе. Благодаря им она никогда не испытывала страха.

Собаки белых были приучены к охоте на негров. Стоило какому-нибудь туземцу показаться хотя бы на расстоянии полумили на протоптанной кафрами тропе, как собаки тут же загоняли его, словно птицу, на дерево. Если он выражал возмущение (на своём странном языке, что само по себе было смешно), это считалось наглостью. Если хозяин собак бывал в хорошем настроении, он от души смеялся, если же нет — проходил мимо, даже не замечая гнева чёрного человека, загнанного на дерево.

В редких случаях, когда дети белых собирались вместе, они развлекались тем, что подзывали негра и зло издевались над ним: натравливали на него собак, а потом с удовольствием следили, как он спасается бегством; они способны были дразнить маленького негритёнка, словно щенка, с той только разницей, что в собаку они посоветились бы кидать камни и палки.

Со временем девочка начала задумываться над некоторыми вопросами, но, поскольку нелегко было признать справедливыми те ответы, какие она получала, девочка старалась заглушить беспокойный внутренний голос и внешне держалась ещё более высокомерно.

Нельзя было и думать о том, чтобы дружески относиться к неграм, работавшим вокруг их дома. Стоило девочке заговорить с кем-нибудь из них, как тотчас подбегала встревоженная мать: «Уходи отсюда, тебе не о чем разговаривать с туземцами».

Именно это, исподволь внушённое сознание опасности либо подстерегающей тебя неприятности позволяло громко, грубо насмехаться над

¹ Южноафриканская степь. (Примеч. перев.)

² Господии. (Примеч. перев.)

слугой, коверкавшим английские слова или не сразу понявшим, что ему приказано делать: есть такой вид смеха, за которым скрывается боязнь выдать свой страх.

...Мне было лет четырнадцать, когда однажды, под вечер, я отправилась на прогулку по направлению к свежеспаханному кукурузному полю. Большие красные комья земли, казалось, шевелились и перекатывались по ту сторону, к низине, напоминая волнуемое красное море. Был тот тихий, насторожённый час, когда под купами деревьев разносятся протяжные и печальные голоса птиц и все краски земли, неба и листвы густеют, словно пронизанные золотом заката. За плечом у меня было ружьё, собаки шли следом.

Приблизительно в двухстах ярдах от меня, у большого муравейника, показались трое негров. Я свистнула собак, чтобы они держались ближе ко мне, и, плотнее прижав ружьё, шла вперёд, ожидая, что негры, как и подобает им, уступят мне дорогу. Но они невозмутимо продолжали свой путь, и мои собаки напряжённо ждали команды, чтобы наброситься на них. Я рассердилась. Со стороны чёрных это была наглость — они обязаны немедленно уступать дорогу белому, как только его заметят.

Впереди, тяжело опираясь на посох, шагал старик. Волосы у него были совсем седые, кусок темнокрасной ткани ниспадал с его плеч, как мантия. За ним следовали два молодых негра, нёсшие связки дровишек и топоришков.

Это были не обычные прохожие. Они не походили на туземцев, которые ищут работы. Такой вид бывает у людей, которые с полным сознанием собственного достоинства спокойно идут по своим делам. Именно достоинство их осанки поразило меня, заставило прикусить язык. Тихо увещевая собак, я медленно шла навстречу неграм, пока не очутилась шагах в десяти от них. Тогда старик остановился и плотнее запахнул свою мантию.

— Доброе утро, Нкосикаас,— сказал он, употребляя привычную у туземцев форму приветствия, пригодную, по их мнению, для любого времени дня.

— Здравствуйте,— ответила я.— Куда вы идёте?

Голос мой звучал несколько вызывающе.

Старик заговорил на своём языке; тогда один из юношей услужливо шагнул вперёд и сказал, тщательно подбирая английские слова:

— Мой вождь собрался навестить своих братьев на той стороне реки.

«Вождь!» — подумала я, и мне стало понятно, почему так гордо, как равный, стоял передо мной старик, — нет, он был выше, потому что, в отличие от меня, проявил учтивость.

Держась с таким достоинством, которое могло быть только врождённым, старик снова заговорил, попрежнему стоя в десяти шагах от меня, охраняемый с обеих сторон своими спутниками. Он глядел не на меня (это было бы невежливо), взгляд его был устремлён куда-то поверх моей головы, на деревья.

— Вы — маленькая Нкосикаас с фермы бааса Джордана?

— Правильно, — подтвердила я.

— Вероятно, ваш отец уже забыл, — сказал от имени старика переводчик, — но тут был один случай с козами, я вспоминаю, что видел вас, когда вы были вот такой...

Юноша дотронулся рукой до своего колена и улыбнулся.

Мы все заулыбались.

— Как ваше имя? — спросила я.

— Это вождь Мшланга, — ответил юноша.

— Я расскажу отцу, что встретила вас, — пообещала я.

— Передайте привет вашему отцу, маленькая Нкосикаас,— сказал старик.

— До свидания,— вежливо попрощалась я, хотя с непривычки вежливость мне давалась с трудом.

— Доброе утро, маленькая Нкосикаас. — Старик шагнул в сторону, чтобы пропустить меня.

Я пошла дальше, свисавшее с плеча ружьё мешало мне, злобно рычали собаки, обманутые в своих ожиданиях,— не состоялась их любимая игра: травить туземцев, как зверей.

Вскоре после этой встречи я прочитала в книге одного старого путешественника выражение: «Страна вождя Мшланга». Вот как там было написано: «Целью нашего путешествия была страна вождя Мшланга, расположенная к северу от реки; мы хотели попросить у него разрешения искать золото на его территории».

Белой девочке, которую приучили смотреть на каждого негра, как на вещь домашнего обихода, слова «просить у него разрешения» показались такими необычными, что снова перед нею возникли вопросы, которые, как оказывается, нельзя было заглушить: они медленно зрели в её уме.

Потом произошёл такой случай. К нам на ферму зашёл старик-золотоискатель, один из тех, которые до сих пор ещё рыщут по Африке с киркой, палаткой и лотком для промывки золота, выскивая заброшенные жилы. Беседуя с отцом о минувших днях, он тоже употребил выражение «страна старого вождя». «Она простиралась от тех гор до самой реки — на сотни миль»,— сказал он.

«Страна старого вождя» — вот как он называл нашу местность; совсем не по-нашему, потому что в новом её названии не содержалось и намёка на чью-то незаконно присвоенную собственность.

Прочитав ещё несколько книг, описывавших открытие этой части Африки, то есть то, что было лет пятьдесят тому назад, я обнаружила, что старый вождь Мшланга был знаменитый человек, известный всем путешественникам и золотоискателям. Но тогда он был молод; или, быть может, разговор шёл о его отце или дяде — это мне выяснить не удалось.

В тот год я несколько раз встречала его в отдалённой части фермы, которую пересекают туземцы, проходя через нашу местность. Я узнала, что дорогой, протоптанной за большим красным полем, где пели птицы, постоянно пользовались негры. Должно быть, я потому так часто приходила сюда, что надеялась встретить старого вождя. Мне казалось, что я найду ответ на мучившие меня вопросы.

Теперь я брала с собой ружьё уже с иной целью: чтобы пострелять дичь, а вовсе не для того, чтобы придать себе уверенность. Собаки, и те научились обходительности. Когда я видела приближающегося негра, мы здоровались друг с другом; и мало-помалу тот далёкий сказочный пейзаж, неотступно стоявший перед моими глазами, потускнел, и ноги мои твёрдо ступали по африканской почве, и я по-другому стала относиться к неграм. Я смотрела на всё как бы со стороны и в то же время думала: это и моё наследие; ведь я родилась здесь; эта страна принадлежит мне, так же как и неграм; здесь для всех хватит места, и нет надобности сталкивать друг друга с дороги.

Казалось, нужно только заставить себя открыто выразить то уважение, которое я испытываю, разговаривая со старым вождём Мшланга, и пусть чёрные и белые люди встречаются мирно, проявляя терпимость друг к другу; что же в этом трудного?

Но вот однажды произошло нечто неожиданное. У нас в доме всегда держали трёх чёрных слуг — повара, боя, прислуживающего в комнатах, и садовника. Обычно они сменялись тогда же, когда и негры, работавшие на ферме; проживут несколько месяцев, потом переходят на новую

работу или возвращаются домой, в свой крааль. Их считали либо «хорошими», либо «плохими» туземцами, в зависимости от того, были они хороши или плохи слугами, ленивы они или старательны, послушны или непочтительны. Будучи в хорошем расположении духа, мой продител-ли имели обычное гово-рить: «Ну что можно требовать от неотёсан-ных чёрных дикарей?» Когда же они бывали в дурном настроении, то вы-ражались так: «Чёртовы ниггеры, нам куда лучше было бы без них!»

Так вот, однажды, совершая очередной обход района, белый полисмен заглянул к нам на ферму.

— А вы знаете, какая важная особа работает у вас на кухне? — спро-сил он усмехаясь.

— Что? — раздражённо воскликнула моя мать. — Кого вы, собствен-но, имеете в виду?

— Как-никак — сын вождя. — Полисмена это, видимо, очень забав-ляло. — Когда старик помрёт, он будет заправлять целым племенем.

— Пока он у меня на кухне, ему лучше забыть об этом, — строго ска-зала моя мать.

После ухода полисмена мы уже другими глазами стали смотреть на нашего повара. Хороший работник, но любит выпить под воскресенье — вот и всё, что мы знали о нём до сих пор.

Он был молод, высок ростом, его очень чёрная кожа блестела, как отполированный металл, а в густых курчавых волосах, разделённых про-бором на европейский лад, красовалась стальная гребёнка, приобретён-ная в галантерейной лавке; очень вежлив, очень сдержан, очень исполни-телен. Теперь, когда выяснилось, кто он такой, мы говорили: «Конечно, можно догадаться. Порода всегда сказывается».

Моя мать, узнав о происхождении нашего повара и о том, что ждёт его в будущем, стала особенно придирчивой к нему. Иногда, выйдя из себя, она кричала: «Ты пока ещё не вождь, знай своё место!» А он отве-чал очень спокойно, потупив глаза: «Да, Нкосикаас».

Однажды повар попросил, чтобы его отпустили на целый день, а не так, как обычно, — на полдня: он хотел провести у себя дома воскресенье.

— Как ты туда доберёшься за один день?

— На велосипеде: дорога займёт не более получаса, — объяснил он.

Я проследила, в каком направлении он уехал, и на следующий день отправилась разыскивать его крааль; я догадывалась, что юноша этот — наследник вождя Мшланга: ведь поблизости от нашей фермы не было другого краалья.

В той стороне места за границей нашей фермы были мне неизвестны: я шла по незнакомым тропинкам, мимо холмов, которые до сих пор пред-ставлялись мне лишь частью неровной линии горизонта, затуманенной дальностью расстояния. Это были владения правительства, земля, кото-рую никогда не возделывали белые люди; сперва я даже не могла понять, почему так получилось, что едва я вышла за пределы нашей фермы, как передо мной открылось совершенно неожиданное, непривычное зрелище: широкая зелёная долина, сверкающая, искристая речка, юркие водяные птицы, стремительно взлетающие над тростниками. Густая, мягкая трава доходила мне почти до колен, деревья были высокие, стройные.

Я привыкла к нашей ферме. Там, на жёсткой, выветренной и размытой почве, на протяжении сотен акров росли чахлые, скрюченные деревья, — их вырубали, чтобы топить плавильные печи на рудниках; скот вяло щипал тощую траву, и бесчисленные перекрещивающиеся следы копыт в сезон дождей становились всё глубже и глубже.

А эта местность осталась нетронутой; только золотоискатель, проходя здешней стороной, ковырнул киркой поверхность скал, да переселенцы из местных племён, по всей видимости, устраивали здесь привал и рас-

кладывали ночные костры — об этом говорила обугленная кора на стволах деревьев.

Было очень тихо в это жаркое утро, наполненное гортанным воркованием голубей. Ложились плотные, густые полуденные тени, а пространства между ними были залиты ослепительно жёлтым солнечным светом, и во всей этой широкой зелёной долине, напоминавшей парк, ни души, кроме меня.

Я прислушивалась к быстрому и равномерному постукиванию дятла, когда мало-помалу меня охватило неприятное ощущение озноба, по спине пробежала дрожь, меня затрясло, потом бросило в жар, и от самых корней волос по всему телу словно прошёл ток; я покрылась гусиной кожей, мне стало холодно, хотя я обливалась потом. «Лихорадка?» — подумала я; потом с тревогой оглянулась по сторонам и внезапно поняла, что меня мучит не лихорадка, а страх. Это было непривычное, унижительное чувство, какой-то ещё никогда не испытанный страх. Ни разу за все годы, что мне доводилось бродить одной в окрестностях нашей фермы, я не ощущала и минутной боязни; вначале потому, что мне придавали смелость ружьё и собаки, а затем потому, что я научилась дружелюбно относиться к неграм, которые попадались мне на пути.

Из книг я знала о том чувстве, которое порой охватывает человека, когда величие и безмолвие Африки, простёртой под вечным солнцем, вдруг доходят до его сознания, подавляя своей мощью, и тогда начинает казаться, будто даже птичьи голоса звучат угрожающе и каким-то смертоносным дыханием веет из-за деревьев и скал. Человек ступает так осторожно, словно каждое его движение может потревожить что-то древнее и зловещее, что-то тёмное, огромное и гневное, и оно внезапно поднимется и нанесёт удар сзади. Перед вами чаща обвитых лианами деревьев, и вы представляете себе, какие хищные звери здесь затаились; перед вами плавно текущая река, спускающаяся уступами через низину, разливающаяся в заводи; и вы знаете — сюда по вечерам приходят на водопой буйволы, а крокодилы поднимаются и, ухватив их за мясистые морды, увлекают в свои подводные пещеры.

Страх завладел мною. Стало понятно, отчего я всё время оглядывалась — я боялась того неведомого бесплотного врага, который может подкрасться и поразить меня сзади; я всматривалась в гряды холмов, но, увиденные под непривычным углом зрения, они, казалось, изменялись с каждым моим шагом, так что даже известные мне приметы местности — например, большая гора, охранявшая мой мир с тех самых пор, как я себя помню, — становились неузнаваемыми; у подножия горы вдруг обнаружилась незнакомая, залитая солнцем долина. Я не могла сообразить, где нахожусь. Я заблудилась. Меня охватил панический ужас. И тут обнаружилось, что я всё время топчусь на одном и том же месте, беспокойно поглядывая то на деревья, то на солнце, которое, мерещилось мне, пошло вспять к востоку, отбрасывая печальный жёлтый свет заката. Наверное, я здесь уже очень давно! Но, взглянув на часы, я убедилась, что состояние бессмысленного ужаса длилось всего минут десять. В том-то и дело, что это было бессмысленно. Ведь я не отошла от дома и на десять миль; стоило мне пойти назад, вниз по долине, и я очутилась бы у изгороди; у подножия холма блестела крыша дома соседа-фермера, и добраться туда можно было бы часа за два. Сознание, что я едва не стала жертвой страха, угнетало меня больше, чем самое его ощущение. Я упрямо шла вперёд с двойственным чувством — испытывая отвращение к самой себе и развлекая себя этим. Нервы мои были натянуты, и я испуганно озиралась по сторонам. Я нарочно заставляла себя думать о разыскиваемой деревне и о том, что я стану делать, придя туда, — если я её найду, что вообще сомнительно; я брела наугад, а деревня могла на-

ходитья где угодно среди зарослей, простирившихся на сотни тысяч акров вокруг. Я поняла, что к моему страху добавилось незнакомое ранее ощущение одиночества. Немое безлюдье наполняло меня теперь таким ужасом, что я едва передвигала ноги; и, если бы в тот момент я не оказалась на гребне небольшого холма и не увидела бы внизу, у его подножия, деревню, я вернулась бы домой...

На прогалине, между деревьями, стояло несколько хижин, крытых тростником. Вокруг — ровные участки, засеянные кукурузой, тыквой и просом, а поодаль, под деревьями, пасся скот. Перед хижинами копошилась домашняя птица; растянувшись на траве, спали собаки, а козы щипали траву на холме, выступавшем из-за притока реки, который, словно согнутая для объятия рука, обгибал деревню.

Подойдя ближе, я заметила, что стены хижин любовно украшены орнаментом из жёлтой, красной и оранжевой глины, а тростниковые крыши аккуратно скреплены плетёнными из травы шнурами.

Это было совсем не похоже на отведённые для туземцев строения на нашей ферме — грязное и запущенное временное жильё кочевников, для которых всё вокруг чужое.

Что делать дальше, я не знала. На круглом бревне, играя фляжкой из тыквы, сидел маленький негритёнок, совсем голый, если не считать связки синих бус на шее. Я окликнула его:

— Скажи вождю, что я здесь.

Мальчонка засунул большой палец в рот и с недоумением смотрел на меня.

Несколько минут я переминалась с ноги на ногу; деревня казалась пустынной. Наконец мальчик куда-то убежал, и затем появились несколько женщин в просторных светлых одеждах; в ушах и на руках у них были бронзовые побрякушки. Сперва они молча разглядывали меня, потом, отвернувшись, стали о чём-то перешёптываться.

Я снова заговорила:

— Можно мне видеть вождя Мшланга?

Ясно было, что из всего мною сказанного до них дошло только имя, но чего я хочу, они не поняли. Впрочем, я и сама не понимала.

Наконец я решилась, прошла мимо них, обогнула хижины. На расчищенной площадке, под большим тенистым деревом, сидели, скрестив ноги, старики и беседовали. Их было человек двенадцать. Вождь Мшланга прислонился к дереву и пил воду из тыквенной бутылки, которую держал обеими руками. Когда он увидел меня, ни один мускул не дрогнул на его лице, и я поняла, что он не рад мне; вероятно, его задело то, что, растерявшись, я не смогла найти соответствующую случаю вежливую форму обращения. Одно дело — встретиться со мной на нашей ферме, но сюда мне приходиться не следовало. На что я рассчитывала? Водить знакомство с туземцами, как с равными, я не могла; это была бы вещь неслыханная. Уже само по себе предосудительно то, что я, белая девушка, одна прошла через степь, — это мог себе позволить лишь белый мужчина; а в этой части зарослей вообще имели право хождения только чиновники.

Я стояла, глупо улыбаясь, а вокруг меня толпились женщины в светлых одеждах; они разговаривали между собой, и лица их выражали беспокойство и любопытство. А передо мной сидели старики с худыми, морщинистыми лицами, насторожённо, неприязненно глядевшие на меня. Это была деревня стариков, детей и женщин. Даже двое юношей, которые стояли на коленях подле вождя, были не те, что я встречала раньше с ним; вся молодёжь ушла из деревни — они работали на фермах и рудниках белых людей, а вождю приходилось довольствоваться услугами тех сородичей, которые временно не были заняты в другом месте.

— Маленькая Нкосикаас далеко от дома, — промолвил наконец старик.

— Да,— согласилась я,— далеко.

Мне хотелось сказать: «Я пришла, желая нанести вам визит дружбы, вождь Мшланга», но я не решилась это произнести вслух. Теперь я испытывала настойчивое, беспомощное желание познакомиться с этими мужчинами и женщинами, встретить у них дружелюбный приём, но, по правде говоря, отправилась-то я сюда из чистого любопытства; мне вздумалось поглядеть на деревню, которой в один прекрасный день начнёт управлять наш повар — сдержанный, исполнительный молодой человек, любивший выпить по воскресеньям.

— Добро пожаловать, дочь Нкосса Джордана, — сказал вождь Мшланга.

— Спасибо,— ответила я и ничего больше не смогла придумать, что бы ещё добавить.

Наступило неловкое молчание; между тем налетели мухи и с жужжанием стали носиться вокруг моей головы; ветер слегка раскачивал большое зелёное дерево, простиравшее свои ветви над стариками.

— До свидания, — выговорила я наконец. — Мне пора возвращаться.

— Доброе утро, маленькая Нкосикаас, — сказал вождь Мшланга.

Я ушла из равнодушной деревни, миновала холм, на котором паслись козы, уставившиеся на меня своими янтарными глазами, спустилась через чашу высоких, величавых деревьев в цветущую зелёную долину, где извивалась река, ворковали об изобилии голуби и тихо постукивал дятел.

Страх исчез, а вместе с ним и гнетущее чувство одиночества. Но теперь в пейзаже появилась странная враждебность, холодная, тяжёлая, неукротимая, которая шагала вместе со мной, крепкая, как стена, неосязаемая, как дым. Казалось, кто-то шепчет мне: ты проходишь здесь как разрушитель. Медленно, с пустым сердцем я шла домой: я узнала, что если нельзя заставить целую страну ползать у ног, как собаку, то нельзя и отогнать прошлое, с лёгкостью изливая свои чувства и заявляя с улыбкой: «Я ведь ничего не могла поделать, я тоже жертва».

Только ещё один раз довелось мне увидеть вождя Мшланга.

Как-то ночью обширный участок красной земли моего отца потоптали козы из крааля вождя Мшланга. Нечто подобное случилось и раньше, много лет назад.

Мой отец угнал всех коз, после чего уведомил старого вождя: если он хочет получить их назад, пусть возместит убыток.

Вождь Мшланга пришёл к нам вечером, в час заката; теперь он казался очень старым, согбенным. В своей по-королевски накинутой мантии он шагал с трудом, тяжело опираясь на посох. Отец уселся в большом кресле у порога нашего дома; старик осторожно опустился на корточки перед ним, а оба его спутника встали по сторонам. Совещание было долгим и мучительным, потому что молодой человек, выполнявший обязанности переводчика, плохо знал английский, а отец мой не умел говорить на местном диалекте, его познания ограничивались кухонным жаргоном.

По мнению отца, убыток, причинённый его посевам, исчислялся никак не меньше, чем в двести фунтов. В то же время, понимая, что не сможет взыскать такие деньги со старика, он считал себя вправе задержать коз. Что касается старого вождя, то он сердито повторял:

— Двадцать коз! Мой народ не может потерять двадцать коз! Мы не так богаты, как Нкосс Джордан, чтобы лишиться сразу двадцати коз!

Отец полагал, что и он не богат, а, напротив, очень беден, и раздражённо возражал, заявляя, что ему причинён очень большой ущерб и он имеет все права на коз.

Наконец атмосфера так накалилась, что из кухни вызвали повара — сына вождя — и велели ему переводить. Теперь отец бурно выражал своё

негодование по-английски, а наш повар быстро переводил, и таким образом старик смог понять, как сильно разгневан мой отец. Молодой человек говорил без всякого волнения, механически, опустив глаза, но враждебный, напряжённый изгиб плеч выдавал его истинные чувства.

Солнце уже садилось, небо пылало всеми красками заката, птицы пели свои последние песни, а скот, мирно мыча, шествовал мимо нас к ночным загонам. В этот час Африка красивее всего; а здесь происходила эта жалкая, безобразная сцена, не принёсшая добра ни одной из сторон.

Напоследок мой отец отрезал:

— Спорить я не собираюсь. Козы останутся у меня.

Старый вождь, вспыхнув, ответил на своём языке:

— Это означает, что мой народ будет голодать, когда наступит засуха.

— Тогда ступай, жалуйся в полицию,— сказал отец, и вид у него был торжествующий.

Теперь уж, конечно, больше не о чем было говорить.

Старик сидел молча, опустив голову, беспомощно распластав руки на худых коленях. Потом молодые люди помогли ему подняться, и он стоял, в упор глядя на отца. Затем снова заговорил, на этот раз очень твёрдо, даже высокомерно, повернулся и пошёл домой, в свою деревню.

— Что он сказал? — спросил отец у нашего повара.

Тот криво усмехнулся, избегая его взгляда.

— Что он сказал? — настаивал отец.

Юноша выпрямился, но попрежнему молчал, насупив брови. Потом он сказал:

— Мой отец говорит: вся эта земля — земля, которую вы называете своей, — его земля и принадлежит нашему народу.

Выговорив это, он ушёл в заросли, последовал за своим отцом, и мы его больше не видели.

Наш новый повар был переселенцем из Ньясаланда, у него не было никаких видов на будущую власть.

Когда, совершая очередной обход, к нам снова зашёл полисмен, ему рассказали об этом происшествии. Он заметил:

— Этот крааль не имеет права находиться здесь; его давно уже должны были перенести. Не знаю, почему никто об этом не позаботился. Я поговорю с комиссаром по делам туземцев на будущей неделе. Всё равно я собираюсь навестить его в воскресенье — поиграть в теннис.

Некоторое время спустя до нас дошли слухи, что вождя Мшланга и его народ угнали на двести миль к востоку, в соответствующую резервацию для туземцев; правительственную землю собирались вскоре предоставить для расселения белых.

Примерно через год я снова пошла поглядеть на деревню старого вождя. Теперь здесь было пусто. На месте хижин — кучи красной глины, изрытые термитами, а поверх них — длинные полосы гниющего тростника. Тыквенные стебли буйно разрослись и стелились повсюду — на кустах, на нижних ветках деревьев, большие золотистые шары катались под ногами, свисали над головой; это было поистине царство тыкв. Они наступали на заросли, а между ними пробивалась яркозелёная молодая трава.

Поселенец, которому посчастливилось получить эту пышную зелёную долину (если он решит обрабатывать именно этот участок), внезапно обнаружит, что посредине кукурузного поля растения достигают пятнадцати футов высоты, а стебли сгибаются под тяжестью початков, и удивится — на какую неожиданно богатую жилу он попал!

Перевод с английского Ю. Мирской.



ПУБЛИЦИСТИКА

АНАТОЛИЙ ЗЛОВИН

★

УРАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

1

История «отца заводов» — Уралмаша — это история индустриализации страны. Как все эта история, встали домы и нефтяные вышки, заработали блуминги и прокатные станы.

Свыше шестисот типов различных машин выпустил Уралмаш за двадцать лет.

Одних экскаваторов Уралмаш настроил столько, что они заменяют полтора миллиона землекопов.

Впрочем, самая интересная страница истории Уралмаша — сегодняшний день. Он интересен и теми замечательными людьми, которые трудятся на заводе, и теми уникальными машинами, которые они создают. Он интересен, кроме того, теми сложными проблемами, противоречиями, конфликтами, которых немало возникает в трудовой жизни уралмашевцев.

Создание новейшей техники — это прежде всего преодоление сотен трудностей, больших и малых, требующих моментального вмешательства и тщательно продуманного коллективного решения.

А есть трудности, на преодоление которых, бывает, уходит не один год.

Года три назад лауреат Сталинской премии конструктор Георгий Лукич Химич поехал в Нижний Тагил посмотреть на работу рельсо-балочного прокатного стана. Стан этот был первым из выпущенных Уралмашем, и Химича всё время тянуло к своему первенцу.

Он стоял в прокатном цехе и, как зачарованный, наблюдал за работой грандиозной машины, словно впервые видел её.

Убегая вдаль, посередине цеха шла стальная дорожка из вращающихся блестящих роликов. Широкая эта дорожка перерезалась массивными, приземистыми башнями рабочих клеток.

Высокие пролёты цеха будто уходили в бесконечность. Оттуда по дорожке катилась ослепительная огненная полоса. Она быстро надвигалась, росла, на секунду с грохотом исчезала в рабочих клетях, снова вспыхивала, вытягивалась в длинную раскалённую соломину металла и пробежала мимо Химича тонкой жаркой полосой будущего рельса.

Вслед за первой полосой катилась вторая, третья, и казалось, по огромному цеху бежит сплошная огненная лента, готовая хоть сейчас лечь под колёса паровозов.

Химич не спеша пошёл навстречу огненному потоку, разглядывая блестящие, непрерывно крутившиеся ролики. Скользившие по ним рельсы оставляли след — гладкие глубокие канавки. Время от времени канавки приходится заваривать. Конечно, это мелочь, но всё-таки...

Химич поднялся на лёгкий мостик, перекинутый над станом. Оператор подтвердил: да, такие массивные, тяжёлые валки, а приходится их поправлять. Задержки, правда, от этого нет, наваривают во время переналадки всего стана. А труда уходит немало.

«Химич целый день ходил по цехам, разговаривал с мастерами, технологами. Казалось, он забыл о роликах.

Под вечер он шёл в гостиницу. Проходя мимо строящегося дома, Химич споткнулся о пустой кислородный баллон. Слегка прихрамывая, он шёл и поругивался: вот разбросали всякое добро, валяется под ногами, мешает передвижению пешеходов. А ведь баллон мог бы ещё пригодиться...

Химич недаром думал о ржавом кислородном баллоне. В самом деле, баллон удивительно походил на ролик, только тот был толще и длиннее. Но главное заключалось в разнице: баллон был полым и потому лёгким, ролик же — литым и тяжёлым. А нельзя ли сделать ролики полыми? Из труб? В стане сотни роликов, полые ролики станут легче на сотни килограммов. Сотни тонн экономленного металла!

Так родилась идея. Возвратившись на завод, Химич первым делом рассказал конструктору Манкевичу о своём замысле. Тот высказал несколько опасений технологического порядка.

Не откладывая дела в долгий ящик, Химич снял телефонную трубку и попросил технологов-кузнецов заглянуть вечерком в бюро.

Вскоре возник небольшой творческий коллектив, в который, кроме двух конструкторов, входили два технолога — Дулетова и Бершадский. Разговоров хватило на много вечеров.

Идея Химича стала обрастать формулами, расчётами, приобретая значение сложной технической задачи. Возникли десятки вопросов: как обжать трубу, чтобы вытянуть из неё опорный конец, как определить толщину стенок, как сбалансировать готовые ролики, чтобы они не разболтали роляганг.

Словом, начался тот кропотливый технологический процесс, который с успехом мог бы лечь в основу традиционной «производственной» повести с традиционным консерватором, передовым конструктором и счастливым исходом. Однако в жизни всё получилось сложнее.

Внешне всё выглядело отлично. Не было даже временных неудач: с первого раза получились отличные ролики. Через несколько недель кузнецы Малей и Олейников научились обжимать их на пятитонном молоте за десять минут.

Вес блуминга был облегчён на 300 тонн, а на новом прокатном стане, где ролпков было ещё больше, экономия металла достигла 600 тонн. Ролики, сделанные из труб, были прочнее литых, слитки не оставляли на них следов. Химич и его товарищи получили по несколько тысяч рублей премии.

Где же конфликт в этой счастливой истории?

Он возник потом.

С некоторых пор до Химича стали доходить слухи, что он, Химич, плохой патриот завода, снижает вес машин, не думая о заводских интересах. Для Химича это не было открытием, он ожидал услышать нечто подобное.

Почему же они возникли, эти разговорчики?

Дело в том, что вес стана хоть и сократился на 600 тонн, план завода остался прежний. А план измеряется в тоннах. Значит, завод должен был покрыть образовавшуюся разницу в шестьсот тонн. Чем? Экскаваторами или нефтебуровыми машинами? Уралмашу и без того нелегко даётся программа по этим машинам. Шестьсот тонн покрываются запасными частями, которые тоже доставляют немало хлопот.

— Вот почему я стал плохим патристом завода, — с горечью говорит Химич. — У нас существует неписанный закон: «Чем тяжелее машина, тем лучше». Директивы XIX съезда требуют добиваться снижения веса машин, но дело движется пока туговато. Причина серьёзная — это движение слабо поддерживается на местах. Улучшите систему планирования в тоннах, и тогда начнётся истинно массовое движение за снижение веса. Пока же государство хоть и выиграло на том, что стан стал легче, — завод получил дополнительную нагрузку.

— Почему же завод не ставит этот вопрос перед министерством? — спросил я.

— Как это ни странно, но завод отчасти заинтересован в подобной системе планирования. Ныне она такова, что свой проигрыш на станах завод может покрыть на другом.

— Не понимаю.

— Я тоже иногда перестаю понимать. Не нам тут разбираться. Химич замкнулся и перестал отвечать на мои недоуменные вопросы.

Случай помог мне уяснить, в чём же заключаются противоречия подобного планирования. Я получил разъяснения от соседа по комнате, харьковского инженера Межирова, который приехал на Уралмаш «выколачивать» детали для своего завода. Межиров целыми днями бегал по цехам, поздно вечером, усталый и злой, приходил в нашу комнату и тотчас ложился спать. Однажды он заговорил:

— Зазнались на Уралмаше, ой, как зазнались! Мы, видите ли, передовые, образцовые, нам всё можно. Другой завод для них — ничто.

Наша беседа затянулась до глубокой ночи. Межиров втолковывал мне основы планирования.

— Вот, завод получил из министерства план на 1953 год: изготовить, скажем, тысячу тонн энергетического оборудования для ленинградского Металлического завода, для нашего харьковского и других. План, повторяю, в тоннах. И лишь где-то во второстепенных пунктах плана сообщается номенклатура и количество заготовок для турбин — роторы, диски, бандажные кольца.

— Что же в этом дурного?

— Наберитесь терпения и не перебивайте, — горячился Межиров. — Весь вопрос в том, как выполняется этот план. В первую очередь на Уралмаше стремятся изготовить более тяжёлые детали, скажем, роторы. Как правило, тяжёлые детали забирают на единицу веса меньше сил и времени, чем мелкие. Вот и выходит, что и труда затрачено не так уж много и план по тоннажу выполнен. По тоннажу, обратите внимание, а не по номенклатуре. А где мелкие детали, где номенклатура? Об этом как бы забывают... Забывают, что нам нужны не «тонно-роторы», а полный комплект заготовок для будущих турбин. Не будет у нас бандажных колец, и мы не сможем выпустить ни одной турбины, даже если Уралмаш завалит нас роторами. Ясно? А если ясно, то нечего защищать. Вот сегодня замминистра прислал резкую телеграмму — чтоб немедленно выдали заготовки для колец. А с Уралмаша отвечают: «Мы же выполнили спущенный вами план в тоннах? Чего же вы ещё хотите?» Из-за отсутствия заготовок в этом году наш завод не выполнил плана первого квартала и наполовину. Во втором — положение не изменилось. Огромные цехи стоят, ожидая, пока я выколочу тут заготовки. Наш завод ежемесячно имеет десятки тысяч «нормо-часов» простоя. Подумать только. Я работаю на производстве двадцать лет, но не часто вижу, чтобы один завод так пренебрегал интересами другого.

Межиров замолчал и отвернулся к стене.

Больше нам не удалось поговорить. Рано утром, когда я ещё спал, он уехал, оставив на столе записку:

«Вчера я малость погорячился. Вы уж не выдавайте меня, а то уралмашевцы вконец обидятся на наш завод и вообще откажутся от наших заказов. Кое-что я у них всё-таки вырвал. Теперь еду в Молотов выколачивать другие заказы».

До сих пор я предполагал, что тонна — неизблемая единица измерения веса, которая состоит из тысячи килограммов. Теперь эти, усвоенные ещё в школе знания прихотилось пересматривать.

Оказывается, тонны имеют способность подразделяться на «лёгкие» и «тяжёлые», смотря по тому, сколько труда требует такая тонна. Подобная «тоннажная» чехарда особенно сильно проявляется в конце месяца, когда на заводе начинается очередная штурмовщина в погоне за программой. Инженеры начинают бегать по цехам, выскивая всякие «лёгкие» тонны.

Неожиданно литейные цехи начинают выдавать тяжеловесные шaboты, которые в данный момент никому не нужны и долго ещё будут валяться на складе и ржаветь.

Неожиданно кузнечные цехи начинают «гнать» тяжёлые рейки для буровых машин, хотя их запасли уже на полгода вперед.

Так омертвляются ценности, консервируется трудовой энтузиазм рабочих.

Начальник одного из отделов Уралмаша помог мне ещё полнее разобраться в этом запутанном, противоречивом вопросе:

— Если бы вам сказали: «Завод выпустил двадцать тысяч тонн тракторов или тридцать тысяч тонн автомобилей», — вы напрасно старались бы понять, что это означает. Мы же говорим: «Уралмаш выпустил десять тысяч тонн механоизделий» — и считаем, что этим сказано всё. А механические изделия бывают разные. Вот живые, ещё тёпленые примеры. В феврале этого года Уралмаш отослал на Украину стан. К его сложнейшему механическому сборованию был причислен так называемый грузовой аккумулятор весом в восемьдесят тонн. На деле это отливка из передельного чугуна, не требующая никакой механической обработки. Желаете ещё фактов? Пожалуйста, сколько угодно. В общий вес каждого прокатного стана, выпускаемого заводом, засчитывается двести—триста тонн анкерных болтов, которые можно нарезать в самой примитивной механической мастерской из готового проката. Ещё триста—четыреста тонн от общего веса стана приходится на всякие настилы, также взятые из проката. Они также проходят под маркой механоизделий. Разумеется, и настилы, и анкерные болты, и грузовой аккумулятор необходимы в стане: без них он работать не будет. Но сваливать их наравне со сложнейшими уникальными механизмами в одну кучу тонн, по меньшей мере, наивно.

— Что же вы предлагаете? Ликвидировать тонну?

— О нет, у тонны есть свои положительные качества. Производство блуминга или стана продолжается не день, не неделю, а несколько месяцев, а то и год-полтора. Тонна тут нужна для того, чтобы определять результаты работы по частям. Тонну нужно не упразднить, а усовершенствовать. Модифицировать её. Тонна первой сложности, тонна второй сложности, третьей и четвёртой. В зависимости от того, сколько труда требует данная тонна механоизделий по шкале «нормо-часов». Тогда закроются все лазейки для всяких махинаций в «тоннажной» чехарде.

Но многие, даже ведущие инженеры Уралмашзавода искренне считают, что тонна — как она есть — должна остаться единственным мерилем производственного планирования.

Они говорят:

— Да, действительно, тонна не отражает трудоёмкости. Но в условиях индивидуального производства, которые действуют на Уралмаше, тонна жизненно необходима. Как же прикажете нас планировать? В штуках? А если эти «штуки» всё время разные? Нет, без тонны невозможен никакой оперативный учёт, никакое оперативное планирование.

И ревностные сторонники тонны и её ярые противники приводили множество других, одинаково веских доводов. Кто же прав? Во всяком случае, ясно одно — вопрос о тоннах заслуживает того, чтобы в нём разобраться. Сама жизнь ставит этот вопрос в повестку дня.

Советская техника, развивающаяся бурно и стремительно, обгоняет формы планирования. Может быть, ещё несколько лет назад, когда наши машины не были столь сложными и огромными, тонна как единица планирования добросовестно выполняла свою ведущую роль, а теперь стала отставать от требований жизни.

Наши плановики должны двигаться в ногу с жизнью, должны сделать планирование более гибким и подвижным, раскрывающим простор для творческой инициативы в любом звене сложного процесса современного производства, от конструктора до снабженца.

Это касается не только форм планирования, но и его содержания, которое порой имеет стремление к неопределённости и непостоянству.

В этом году, например, Уралмаш не выполнил государственного плана первого квартала. План второго — выполнили, но долг ещё не погасили. Когда я уезжал из Свердловска, Уралмаш всё ещё был должен стране десятки разных нужных машин. Событие для Уралмаша — редкое и потому тем более серьёзное.

Одни ли Уралмаш повинен в этом? Не было ли среди прочих таких причин, которые находились вне завода, не зависели от уралмашевцев?

Такие причины были.

Каждый заводской план можно как бы подразделить на два плана — план основного производства, выпуска готовой продукции, и план материально-технического обеспечения, необходимого для выпуска этой продукции. Второй план, в свою очередь, является основным для других предприятий — поставщиков.

Чтобы выполнить в срок свой основной план, завод должен разработать и разослать заявки поставщикам минимум за полгода вперёд. Уралмаш лишён этой простой и естественной возможности: на заводе не знают точного производственного плана на будущий год до самого последнего момента.

Не зная плана, конструкторы завода лишаются возможности обеспечить цехи чертежами, без которых вообще невозможно начать производственный процесс.

Плановики, конструкторы, снабженцы уже давно, ещё с середины лета, начали работу для 1954 года, начали готовить заявки на материалы, разрабатывать проекты новых машин. Всё это делалось приблизительно: точного плана на 1954 год на заводе не было.

Из Министерства чёрной металлургии — главного заказчика Уралмаша — пришло было обнадеживающее письмо, планирующее заказы на прокатные станы на целых два года вперёд.

Главный конструктор завода Павлов распечатал увесистый конверт с сургучными печатями и долго с удивлением рассматривал бумажку со штампом столь солидного учреждения, вертел её так и сяк, стараясь определить, кто же написал письмо. Подписи не было.

Сделали запрос. Ответа не последовало. И вот на Уралмаше ломают голову: кто же всё-таки составил план по прокатному оборудованию.

— Анонимный план, — с горечью шутят уралмашевцы.

Они по собственному опыту знают, к чему приводит подобное «планирование». Призрак штурмовщины витает над ними. Достаточно переменить хотя бы один объект плана — и вот уже десятки конструкторов сидят по ночам над чертежами, модельщики работают по воскресеньям, кузнецы остаются для сверхурочных заданий.

— А ведь в 1952 году, — рассказывал Павлов, — было изменено семнадцать объектов прокатного оборудования из двадцати двух. Разве можно работать ритмично в таких условиях? Вот, посмотрите, — главный конструктор порывлся в ящике стола и извлёк на свет объёмистую папку в синем переплёте, — тут вся история прошлогодней волокиты. 20 мая 1952 года из бывшего министерства тяжёлого машиностроения был получен первый вариант плана на 1953 год...

— 28 июня были получены поправки и дополнения... — читал он скороговоркой.

— 15 ноября был получен второй вариант плана. Исключено шесть объектов... Обеспеченность чертежами по этому варианту...

— В начале декабря был получен третий вариант плана. Включено пять новых объектов...

Павлов оторвался от бумаг.

— Кое-кто из министерства пробовал нас успокоить: «Ничего страшного, общее количество станов не изменилось». Да, но только станы-то разные! А для нас переменить один стан на другой — всё равно, что перейти от экскаватора к паровозу.

Павлов снова стал перечислять даты и цифры из истории волокиты, суть которой сводилась к тому, что конструкторы то и дело складывали на полки ставшие ненужными чертежи и принимались за разработку новых.

Наконец, только 31 декабря 1952 года, бывший министр тяжёлого машиностроения утвердил план окончательно. Уралмашевцы подсчитали и удивились: обеспеченность чертежами на 1 января 1953 года была меньше, чем на 1 ноября 1952 года. Сотни конструкторов в течение двух месяцев по восемь часов в день работали над проектами — и, по сути, впустую: необходимого запаса чертежей не было.

Между тем по заявкам снабженцев прибыли материалы, и часть чертежей ещё до нового года была сдана в цехи. Однако всё, что не вошло в окончательный план, пришлось законсервировать. Тысячи тонн механоизделий осели мёртвым капиталом на складах Уралмаша.

— Получается, — говорил Павлов, — вынужденная штурмовщина. Конструкторы

сидят по ночам, цеховые инженеры буквально выхватывают у них из рук чертежи и мчатся с ними в цех. На протяжении одного месяца приходится делать сразу всё — выпускать чертежи, составлять по ним технологию, заготавливать модели и отливки, вести механообработку. В первую очередь страдает от этого качество будущей машины. И государственный план.

Беседуя с различными людьми, я задавал один и тот же вопрос:

— Что мешает вам в работе? Мешает вашему заводу?

К моему удивлению, немалая часть ответов звучала примерно так:

— Мешает? Нам ничего не мешает. Разве что-либо может нам мешать!

Люди более вдумчивые отвечали:

— То, что вчера было хорошим, сегодня, глядишь, стало поперёк дороги, начало мешать. Решили — глядишь, ещё что-то отстало. Получается хоровод нерешённых вопросов.

Подобно тому, как совершенствуются раз от разу наши машины, как новая техника заменяется новейшей, так совершенствуется и организация производства: новые методы руководства вытесняют старые, расширяются права руководителей, повышается их ответственность. Оба этих процесса неотделимы один от другого.

История Химича навела меня на раздумья о работе конструкторов. Есть что-то захватывающее в тайне рождения машины в тайне превращения бестелесной линии чертежа в отточенную грань металла, в тайне волшебного зарождения этой бестелесной линии — творения человеческого мозга.

Но не только в этих абстрактных процессах суть конструкторской работы. Конструктор стоит у истоков производственного процесса — он его вдохновитель, законодатель. И бывает, к сожалению, так, что он оказывается его рабом.

Взять самый простейший пример. Конструкторы получают премию наравне с остальными работниками завода — в случае выполнения месячного плана. Однако что сказать о тех конструкторах, которые, скажем, в сентябре занимаются обеспечением сентябрьской программы?

Конструктор — завтрашний день завода. В сентябре текущего года он обеспечивает план сентября будущего года, создавая новейшие экономичные машины, выжимая из каждого килограмма металла максимум лошадиных сил.

А если конструктор, увидев, что на заводе началась горячая пора штурмовщины, и руководствуясь естественным желанием помочь заводу выполнить план и получить премию, забросит чертёжный стол и примется бегать по цехам за программой, то на будущее он обеспечит не план, а ещё большую штурмовщину, выпустит в свет машины не новейшие, не экономичные.

Если же он будет сидеть в конструкторском бюро и работать на будущее, за что давать ему премию? Ведь он ничего не сделал для выполнения плана, разве только то, что сделал ещё в прошлом году.

Скажут, есть середина: можно помогать цехам и в то же время заниматься проектированием. Конструкторы так и стараются делать. Там и тут — только половина пользы.

Выходит, существующая система поощрения конструкторского труда не совершенна. В ответ на это приходилось слышать:

— Попробуйте лишить конструкторов месячной премии, введите вместо этого какие-нибудь «авторские» или «машинные» премии. Конструкторы и без того считают себя привилегированной кастой. А тогда они совсем оторвутся от завода, начнут витать в заоблачных высотах. Нет, существующая система стимулирования полезна: она привязывает конструкторов к заводу.

Нет ли в этих словах признаков недоверия к конструктору, нет ли в них стремления умалить его роль в производстве? Конструктор не должен быть «привязанным» к производству, он должен направлять его.

Конкретные условия производства, разумеется, не могут, в свою очередь, не влиять на его творчество. Но, создавая машину и сообразуясь с возможностями и требованиями

ми производства, конструктор должен исходить не из частных интересов производства, а из назначения самой машины, из её роли в народном хозяйстве. Только тогда производство достигнет своей цели — расти и развиваться для блага советского народа.

Замечательные советские машины — блуминги и прокатные станы, сверхмощные турбины и шагающие экскаваторы, сотни других машин — результат именно такого взаимодействия и единства.

Там же, где конструктор хотя бы на короткое время подпадает под власть переходящих интересов производства, он терпит неудачу. На свет рождаются машины слабые, хилые, не оставляющие никакого следа в истории нашей техники.

К счастью, подобных машин — единицы. Но разве не следует добиваться того, чтобы их не было вовсе?

2

В длинных коридорах обкома партии тихо. Вот табличка «Отдел промышленно-сти». В просторном кабинете висит сизый дым, на столах разбросаны бумаги: очевидно, только что кончилось совещание. Заведующий отделом, высокий худощавый мужчина, ходил по кабинету, ссыпая в плетёную корзину окурки из пепельниц.

— Отходы нашего производства, — проговорил он, кивая головой на корзину. — Не в доброе время вы попали. Конец месяца — сплошные совещания, телефонные пере-звоны. Конец месяца — идёт основная продукция. На заводах — горячая пора; говоря попросту — штурмовщина. У нас то же самое.

Действительно, раздался телефонный звонок. Заведующий отделом сел за стол и взял трубку. Говорил Нижний Тагил. Потом звонили Первоуральск, Уралмаш, Электро-аппарат. Заведующий отделом называл заводы уменьшительно-ласкательными именами: «Вагонка», «Новотрубка», «Аппаратка». Это означало: Уральский вагоностроительный завод, Первоуральский новотрубный, завод электроаппаратуры.

Наконец выдался небольшой перерыв.

— Вот, звонят машиностроители. Чермет даёт им металл, как правило, в третьей декаде. Когда же давать продукцию? Директора, главные инженеры не слезают с телефонов. Требуют, просят, умоляют: «Помогите! Выручите! Спасите! Позвоните в главк, в министерство, дайте телеграмму в соседний обком. Пусть пришлют хоть немного металла». А мы не можем, не имеем права помогать. Признаться, одно время помогали, слали телеграммы во все края. А потом «Правда» нас поправила: обкомы — орган партийного руководства, а не хозяйственники. С тех пор перестали пользоваться телеграфом. Как же руководить? Прибегаем к помощи телефона, чтобы не оставлять следов. Как-то надо помогать заводам. Вы не подумайте, пожалуйста, что металла вообще нехватает. Металл-то есть. Дело в том, что каждому заводу нужно очень много разного металла, прокат различных профилей, различные марки стали. Например, только один Уралмаш пожирает около тысячи разных типоразмеров проката. Не будет одного нужного — и работа встанет. Таковы современные требования техники. Разумеется, это предъявляет повышенные требования к снабжению. Вот и приходится крутиться, выколачивая какой-нибудь «типоразмер»...

Снова зазвонил телефон. Снова директор какого-то «Подшипника» вёл разговор о металле, умоляя позвонить в Кемерово.

— Итак, что нам мешает, хотите знать? — продолжал заведующий отделом, положив трубку. — Иногда мы сами себе мешаем. Я имсю в виду руководящие ведомства, которые должны координировать работу промышленности. Самая распространённая наша болезнь — нечёткое материально-техническое снабжение. Тут случаются самые неожиданные вещи: одно министерство вывозит цемент из Свердловска под Москву, а другое везёт цемент из Москвы в Свердловск. Возьмите тот же Уралмаш, который мы особенно любим приводить в качестве примера. На каждую нефтебуровую машину идут десятки ободов для муфт. Эти обода надо покрыть слоем резины. И вот Уралмаш шлёт тысячи ободов на обрезинивание в Ленинград, тогда как в нашем Свердловске имеется специальный завод резинотехнических изделий. Уралмаш получает металло-прокат за тысячи километров — из Омска, Красноярска, Краматорска. А ведь тут же,

на Урале, под боком, работают мощные металлургические заводы: Тагильский, Серовский, Алапаевский. Они вывозят свой металл в Сибирь, на Украину, в другие районы. Эшелоны с металлом идут мимо Уралмаша, но он не получает ни тонны. «Новотрубка» получает металл для труб с Магнитки, а могла бы получать его из Тагила. Не говоря о том, что такие перевозки ведут к перебоям в снабжении, лихорадят заводы, они и обходятся в копейку. Государство теряет сотни тысяч на встречных перевозках. У нас тут один профессор на эту тему написал диссертацию, которую можно было бы озаглавить: «Глупости в материально-техническом снабжении и к чему они приводят».

В кабинет вошёл невысокий мужчина с большой папкой подмышкой.

— Телеграммы, Пётр Петрович, — сказал он, раскрывая папку, — из обкомов. Будем отвечать?

— Давайте-ка их сюда. Так. Магнитка отгрузила Осадчому первую партию проката для труб.. Кемерово только обещает... И чего они действуют так неосмотрительно!.. Могли бы и позвонить.

— На телефон больше времени уходит, — сказал мужчина с папкой. — Пока закажешь, пока дождёшься. Будем отвечать?

— Нет. Не будем. Я лучше позвоню. закажите мне Магнитку и Кемерово. И, кстати, Москву, главк Чермета. Вам сегодня кто-нибудь звонил?

— Да все звонят. Просят помочь.

Мужчина вышел. Заведующий отделом встал из-за стола и начал быстро ходить по кабинету.

— Видите, ему тоже звонят. Мне звонят директора и главные инженеры, инструктору звонят начальники отделов. Субординация, всё как полагается. А металла всё равно нет. Так что же делать? Наводить порядок со снабжением? Единственный выход. Кроме того, надо строить специализированные заводы в крупных машиностроительных кустах. Мы всю жизнь мучились с подшипниками, а потом построили в Свердловске подшипниковый завод. Теперь имеем собственные подшипники и ни от кого не зависим. Недавно в роликовом цехе открыли первую автоматическую линию. Растут. Однако и у них в этом месяце срыв из-за того же снабжения. И «Подшипник» возит металл из Сибири. Вот сейчас директор звонил, знаете откуда? Из Кемерово. Просил нажать. Главный инженер улетел в Челябинск. Выколачивают металл. Нет чтобы брать его в нашем же кусте. Госплан ещё не всегда оперативно откликается на целесообразные нужды с мест. Наш секретарь обкома здорово критиковал их на XIX съезде. Послушайте-ка.

Заведующий отделом взял с полки подшивку «Правды», раскрыл её, сразу нашёл нужное место и начал читать:

— Вот. «Одна из ошибок, допускаемых Госпланом, состоит в том, что он по существу ограничивается отраслевым планированием по министерствам, потерял связь с местами, если не считать ежегодно повторяемых случаев вызова работников областей для так называемой защиты планов... Причём и в этом случае нередко приходится защищать планы от попыток работников Госплана внести в них путаницу... В области не помнят случая, чтобы кто-либо из работников Госплана воспользовался услугами средств связи или транспорта для выяснения обстановки на местах». Может, и не стоило бы сейчас говорить об этом, — продолжал он, закрывая подшивку, — да положение до сих пор не изменилось. Сколько времени прошло, а мы всё ещё не видели у себя работников Госплана.

Инструктор просунул голову в дверь и сказал:

— Магнитка на телефоне.

— Алло! Магнитка! — закричал заведующий отделом в трубку. — Добрый день, Иван Иванович. Да, да, опять насчёт металла. Ты догадливый...

Закончив переговоры с Магниткой и Кемеровом, заведующий отделом весело заходил по кабинету.

— Всё-таки телефон более оперативен, чем телеграмма. На телеграмму ждёшь ответа, а могут промолчать. По телефону же, будь добр, отвечай. Два разговора — шесть вагонов металла. Номера вагонов есть, теперь будем теребить железнодорожников. А вообще чёрт знает что... — Заведующий отделом приостановился и болезненно

поморщился. — Вы только задумайтесь: заводделом одного из крупнейших в стране обкомов записывает номера вагонов. Действительно, снабженец. Правильно критиковала нас центральная печать. Но что поделаешь? Ещё много нерешённых вопросов, ещё много недоделок и промахов. О министерствах я уже говорил. Возьмём теперь проблему такого рода — научную. Вот на многих машиностроительных заводах создали мы с громадными трудами экспериментальные цехи. Это форпосты новейшей техники, где конструкторы проверяют новые теории, испытывают новые конструкции, раскрывают тайны металла. Всё это, разумеется, хорошо. Плохо то, что примерно десятого числа каждого месяца экспериментальный цех перестаёт быть экспериментальным. Конструкторов вежливо просят не путаться под ногами, и экспериментальный цех начинает работать на программу, вытягивая отстающие цехи. Конструкторы свёртывают эксперименты до лучших времён и убираются восвояси. Эта грустная история повторяется каждый месяц. А вот ещё одна научная проблема. Урал, как известно. — редчайший уголок природы. Всё есть у нас на Урале. За последнее время, особенно в годы войны, кроме всего прочего, на Урале появилось необычайно сильное машиностроение. Машиностроительные заводы выросли, как грибы после дождя. Это, разумеется, хорошо, даже замечательно, но прогресс современного сложнейшего машиностроения не может протекать сам по себе, в порядке самотёка. Нужна крепкая научная база, занимающаяся разработкой теоретических и практических вопросов машиностроения. В нашей области работают пятьдесят шесть научно-исследовательских учреждений, есть филиал академии, но до сих пор нет ни одного сколько-нибудь солидного научного учреждения, которое занималось бы машиностроением. Круг научных проблем на Урале не выходит за пределы металлургии и основной химии. А для современного Урала это уже вчерашнее представление. Институт машиноведения нам нужен до зарезу, и не один, а несколько: при филиале плюс отраслевые институты министерств, в первую очередь по тяжёлому машиностроению.

Снова, в который раз, зазвонил телефон. Заведующий отделом схватился за трубку:

— Дорога? Прошу навести справки, где находится вагон номер...

В самом деле, учёные пока медленно решают многие насущные вопросы машиностроения. Взять хотя бы такие проблемы, выдвинутые практикой. Обработывая деталь на станке, рабочий то и дело останавливает станок, чтобы произвести замеры. На это уходит, по меньшей мере, десять процентов рабочего времени. Передовые рабочие уже не раз предъявляли счёт учёным:

— Придумайте прибор для измерения деталей на ходу.

Но пока огромное количество времени расходуется непроизводительно.

Всякое новое явление выдвигает перед жизнью новые задачи. Скоростные методы резания металла свели до минимума время обработки и повысили процент вспомогательного времени. Чтобы устроить это несоответствие, конструкторы уже создали автоматические станки, которые сами закрепляют деталь, подают суппорт и т. д. Но ещё одна задача не решена. При скоростном и силовом способе резания обрабатываемая деталь сильно нагревается, и, чтобы измерить её, приходится ждать, пока она остынет: иначе размеры нарушатся. Если бы подрукой рабочего была шкала коэффициентов нагрева, он мог бы измерить деталь, не дожидаясь, когда она остынет. Такой шкалы нет.

А ведь эти увлекательные проблемы сулят огромные выгоды производству.

Разговор с заведующим отделом на этом закончился. Он вспомнил, что ему пора на совещание, и заторопился.

— Не в доброе время попали вы, — говорил он, собирая в папку бумаги к совещанию. — Заедает нас текучка. Вот до сих пор не выберу время, чтобы написать в Академию наук письмо о машиноведческих институтах. Руки не доходят. Сразу и не вспомнишь всего, что нам мешает. Приезжайте в другой раз — может, посвободнее будет. Только вряд ли...

Я уходил из обкома в большом раздумье. К какому же типу руководителей отнести моего собеседника? Кто он — «положительный» или «отрицательный», «способству-

ющий» или «тормозящий»? С одной стороны, он работает с энтузиазмом, с другой — разменивается на мелочи и не находит времени для главного. С одной стороны, он смело вскрывает недостатки и весьма самокритично оценивает собственную деятельность, с другой — своей мелочной опекой только усугубляет эти недостатки...

А пожалуй, вовсе и не надо выводить такого категорического суждения, в котором было бы только «нет» или только «да».

Но интересно, что же всё-таки заставляет иных работников обкома звонить, посылать телеграммы, «нажимать» и «подгадывать» — словом, что заставляет их заниматься административно-хозяйственной деятельностью, от которой, разумеется, не может не страдать собственно партийная работа?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить условия военного времени, которые вызвали некоторые особенности в методах партийного руководства и вместе с тем породили крупные недостатки, такие, как перенесение в партийные организации административно-распорядительных методов руководства.

Иные руководители продолжали пользоваться подобным стилем работы и в послевоенные годы. Несмотря на указания Центрального Комитета и решения XIX съезда партии, до сих пор отдельные партийные работники продолжают администрировать, попрежнему руководя хозяйственной деятельностью методами «нажима» и «толкания». При этом, пытаясь оправдать свой порочный стиль руководства, они зачастую ссылаются на недостатки в работе министерств. Действительно, здесь ещё немало пробелов и промахов, — всё ещё слаба взаимосвязь между отдельными министерствами и даже, что совсем плохо, между отдельными главками одного и того же министерства. Кто-то, сидя в московском кабинете, утвердил непродуманный маршрут для одной из марок стали, и вот десятки местных работников висят на телефонах, строчат друг другу телеграммы, исправляя промах. Но при этом каждый старается исправить ошибку с выгодой для себя, наивно полагая, что от того будет общая выгода.

Таким образом, одними недостатками как бы пытаются оправдать другие, чужими — собственные. А бороться нужно и с теми и с другими.



Вас. РУСАКОВ

★

СИЛА ПРИМЕРА

*Заметки о печатной пропаганде передового опыта
в сельском хозяйстве*

В постановлении сентябрьского Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии содержится требование — покончить с недооценкой дела сельскохозяйственной пропаганды и внедрения в производство достижений науки и передового опыта и обеспечить, чтобы широкое внедрение передового опыта стало неотъемлемой частью руководства сельским хозяйством. Требование это продиктовано глубокой и дальновидной заботой о быстрейшем подъёме социалистического сельского хозяйства, о создании в стране обилия предметов народного потребления.

Передовой опыт в сельском хозяйстве, помимо того, что он содержит в себе воодушевляющую силу примера, показывает также и те объективные возможности, которые реально существуют и могут быть использованы для дальнейшего развития колхозного и совхозного производства уже в настоящих условиях, при современном уровне науки и технической вооружённости. В то же время опыт передовиков, новаторов сельского хозяйства свидетельствует о том, что имеющееся в настоящее время отставание ряда колхозов объясняется в известной мере причинами субъективного порядка и, следовательно, при желании и энергии более или менее быстро устранимыми. Наконец, передовой опыт — это лаборатория новых, прогрессивных методов и приёмов организации труда, могущих — при массовом их использовании — помочь в кратчайшие сроки повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства.

Вот почему изучение, обобщение и планомерная пропаганда колхозного опыта и достижений сельскохозяйственной науки представляются делом государственным, делом патристическим.

Очевидно, что такая пропаганда может стать наиболее действенным средством борьбы за быстрый подъём всех отраслей сельского хозяйства лишь в том случае, если люди, создающие соответствующую литературу — книги, брошюры, монографии о передовых колхозах, МТС, совхозах, новаторах производства, — будут достаточно ясно представлять себе стоящие перед ними задачи.

Для того, чтобы сельскохозяйственная пропаганда была максимально доходчивой и действительно помогала бы работникам села осваивать и внедрять в производство прогрессивные методы, нужно, повидимому, определить прежде всего: что же такое передовой опыт?

Ответ на этот вопрос может свестись к следующему: это методы и приёмы труда, давшие наибольший результат. Однако, если взять действительно высшие результаты, иначе говоря — рекорды, уже достигнутые в нашем сельском хозяйстве, то они составляют примерно такие величины: по урожайности зерновых культур до 70 центнеров с гектара, по надоям на одну корову до десяти и более тысяч литров молока в год и так далее.

Но значит ли, что хозяйства, где таких выдающихся результатов пока ещё не достигли, не могут числиться передовыми и у них нечему поучиться? Каждому ясно, что такой вывод сделать нельзя. И поэтому предложенный выше ответ на вопрос о сущности передового опыта, очевидно, не может считаться вполне удовлетворительным.

Хочется рассказать об одном давнем, но очень поучительном случае.

Группа журналистов, в числе которых был и автор этих строк, с восторгом рассказывала М. И. Калинину о движении «нагорновцев» — так называли в то время пахарей, достигающих выработки, в несколько раз превышающей норму. Мне самому, в частности, довелось быть свидетелем того, как молодой пахарь одного из колхозов Омской области, Александр Турышев, вспахал за день почти три гектара. Михаил Иванович, выслушав рассказ, заявил, что о таком движении он ничего не слышал и не ожидает от него хороших результатов. «Этак и я могу, высунув язык, пробежать сто метров, а потом потребую: считайте меня рекордсменом», — сказал он. Михаил Иванович понял, что подобные рекорды добываются ценой физического перенапряжения работника. И, действительно, так это и было. Я припоминаю, каким усталым выглядел Саша Турышев в день установления рекорда!

Подобные рекорды устанавливались в своё время на вязке снопов, на сборе хлопка и так далее. Не удивительно, что в устойчивость этих достижений отдельных колхозников не верили в деревне. Понятно и то, что рекорды эти мирно уживались с низкой производительностью труда по колхозу в целом.

Справедливости ради надо сказать, что в работе колхозников, достигавших необычайно высокой производительности, было много рационального: пахари, например, часто сменяли лошадей и подкармливали их в борозде; у вязальщиц снопов была своя система разделения труда; у сборщиков хлопка — свои методы одновременной работы двумя руками. Однако в пропаганде новаторства упор делался тогда не на эту рационализацию труда, а преимущественно на эффектные результаты, на рекорды. Понятно, что такого рода популяризация опыта приносила не много пользы.

Таким образом, в понятие передового опыта в условиях социалистического сельского хозяйства должно наряду с повышением производительности труда входить, как необходимый составной элемент, облегчение работы. Поскольку же труд колхозника облегчается прежде всего благодаря применению машин, то наибольшую ценность представляет опыт, связанный не с ручным трудом на полях и на фермах, а с механизацией, более того — комплексной механизацией сельскохозяйственных работ.

Бывает и так, что необычайно высокий урожай является подчас полной неожиданностью для тех, кто его выращивал. В текущем году в одном из подмосковных колхозов выросла кукуруза до трёх-четырёх метров высотой. Однако руководители колхоза не знали даже, что за сорт у них был высеян, и совершенно не ожидали такого «чуда». Конечно, подобная урожайность — явление само по себе отрадное. Но можно ли отнести его к передовому опыту?

Очевидно, что будет правильно считать действительно передовым опытом то явление, причины которого осознаны, и оно должно повториться в практике и повторяться всякий раз, когда будут соблюдены вызывающие его условия.

Обратимся к одному из замечательных высказываний Д. И. Менделеева. Вот что он писал: «Для полного убеждения нужно всегда две стороны: опытную и умозрительную. Хотя опыт сам по себе, если он многочислен и тщателен, даёт уже уверенность в истине явления, хотя опыт и характеризуется тем, что допускает проверку, но, однако, не новость в истории наук опыты, которые со временем заговорили совсем другое, чем то, что они говорили ранее, а потому опыт начинает убеждать, приобретает и смысл только с той минуты, когда он становится понятен, когда умозрение связывает его с другими явлениями, когда он становится в подчинение законам».

Не известное, а познанное становится настоящим передовым опытом.

Мысль великого русского учёного подводит нас, пожалуй, к самому главному: к взаимоотношениям между передовым опытом и наукой, занятой именно открытием, установлением законов, в данном случае, если говорить о земледелии, — законов развития живой природы. И не случайно знаменитый полевод Зауралья Терентий Семёнович Мальцев озаглавил свою книгу так: «Через опыт — в науку». Передовой опыт своими результатами и выводами неизбежно смыкается с наукой.

Впрочем, передовой опыт не только вводится в науку, он и исходит из науки.

Мы обычно нераздельно употребляем выражение: «достижения науки и передового опыта», определяя этим их неразрывную связь. Однако есть люди — и это можно заме-

тить по печати,— которые передовой опыт в сельском хозяйстве представляют как нечто самобытное, основанное исключительно на долголетней практике. Не случайно же носителями, так сказать, сельскохозяйственной мудрости выступают в литературных произведениях чаще всего старики, «сельские патриархи». Между тем в современной колхозной деревне передовой опыт — это главным образом творческое применение рекомендаций советской агрономии и зоотехники, говоря шире — мичуринской биологии.

Но агрономия не знает, не даёт и не может дать единого рецепта, каким образом вырастить высокий урожай в условиях того или иного конкретного хозяйства, ибо наука не может учесть всех местных условий, калейдоскопически многообразных, непостоянных, создаваемых к тому же стихийными силами природы. Потому-то агротехника, дающая высокий урожай, всегда требует приложения оригинальной творческой мысли. Передовой опыт, даже если он и не развивает общую научную теорию, а только служит критерием её истинности, только правильно прилагает эту теорию в конкретных условиях,— это прежде всего подлинное творчество, живое, вдохновенное новаторство людей.

Мы постарались выяснить хотя бы в самых общих чертах то, что надлежит рассматривать как передовой опыт в сельском хозяйстве. Уяснив это, легче разобраться в достоинствах и недостатках той литературы, которая предназначена пропагандировать передовой опыт.

В многолистной «Росписи сочинениям и другим трудам советника Ломоносова», в том разделе, где говорится об изобретении всех составов к мозанчному делу, автор особо подчеркнул, что для этого он сделал больше четырёх тысяч опытов, «коих не только рецепты сочинял, но и материалы своими руками по большей части развешивал и в печь ставил, несмотря на бывшую тогда жестокою ножную болезнь». Наверное, от Ломоносова и пошла эта нерушимая традиция передовой русской науки: величайшая добросовестность в постановке научного эксперимента, включая личное участие в его осуществлении. Этой традиции, как известно, держались и такие корифеи науки, как Менделеев, Павлов, Мичурин.

В одной из своих работ И. В. Мичурин писал: «...вообще в решениях серьёзных вопросов... нужны мнения исключительно только тех деятелей, которые вели наблюдения в течение именно долголетнего и притом личного труда по культуре различных плодовых растений; имели возможность несколько раз повторить одни и те же опыты и таким образом могли проверить свои выводы».

И далее:

«Конечно, писать разные разглагольствования о давно намозоливших всем глаза предметах в бесконечных вариациях о выполнении посадки деревьев, о способах прививки, поливки и тому подобных вещах, большого труда не составит, в особенности если автор богат свободным временем и к тому же ещё обладает бойким пером. Но составлять статьи о таком деле, как моё — уже является работой гораздо более трудной, тут пока напишешь одну страницу, приходится перерывать весь архив записей, изложить хоть сколько-нибудь в сносном систематическом порядке выборки из этих записей, да иногда несколько раз сходить в сад к описываемому растению для проверки излагаемого описания...»

Итак, вот мичуринские требования, в полной мере приложимые к печатной пропаганде передового опыта: во-первых, длительность наблюдений, притом в процессе личного труда; во-вторых, систематическое изложение материала; в-третьих, проверка описаний по живой натуре.

Есть ли у нас книги, отвечающие этим требованиям?

Да, есть. К таким книгам с полным основанием можно отнести изданный в Кургане в 1951 году упоминавшийся выше сборник статей Т. Мальцева «Через опыт — в науку» и выпущенную Сельхозгизом в 1952 году книгу «Совхоз «Лесные поляны» Ю. Голубаша.

Т. С. Мальцев рассказывает, что однажды кто-то посоветовал ему отступить от его опытов и, не мудрствуя лукаво, вырастить рекордный урожай на отдельном участке.

В качестве соблазна выставлялось то обстоятельство, что получение такого урожая даст право на присвоение звания Героя Социалистического Труда. Мальцев ответил, что признанием правительства и народа и так не обойдён (он депутат Верховного Совета СССР, лауреат Сталинской премии) и что опыты его, преследующие цель получения в условиях Зауралья устойчиво-высоких урожаев, имеют куда большее значение, чем отдельные рекорды.

Мальцев, как известно, добился этой цели. И книга его, содержащая итоги тридцатилетней работы полевода-опытника, займёт надлежащее ей место в летописи социалистического земледелия. По праву заявляет этот колхозник-учёный: «В каждом снопе вижу плоды своих трудов, в каждом зерне — урожай моих мыслей».

Горький писал, что «руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга». Да, руки тоже учат голову! Труд, практика побуждают человека к обобщениям, подталкивают его к овладению теорией и сугубо помогают в этом.

В повседневной практике, в борьбе за колхозный урожай рождаются мысли Терентия Мальцева, одна смелее и глубже другой.

Вот он формулирует главное: «Решающая ценность важнейших выводов агрономической науки состоит в том, что они дают ключ к пониманию агробиологических процессов, с которыми имеет дело работник сельскохозяйственного производства. Высокие же урожаи далеко не всегда могут быть получены при формальном соблюдении всех агрономических законов, как бы тщательно и добросовестно они ни выполнялись. Путь к устойчивому, высокому урожаю ведёт раньше всего через продуманный учёт местных почвенно-климатических условий и особенностей, через умелое приспособление агротехники к этим условиям, через установление своей местной агротехники».

Читатель узнаёт из книги Мальцева, как, ломая все и всяческие шаблоны, он творчески, в полном смысле этого слова, разрабатывает агротехнику для своего колхоза, для каждого поля, для каждого участка.

Приноравливаясь к местным условиям, Мальцев выдвинул предложение о посеве двух сортов пшеницы — раннеспелой и позднеспелой, — с тем что одна из них в случае засухи, а другая в случае дождливой погоды будет иметь наиболее благоприятные условия для роста и развития. И когда мы читаем, что даже в условиях абсолютного бездождия (1949 год) колхоз «Заветы Ленина» получил по пару на площади 530 гектаров урожай пшеницы от 17 до 25 центнеров с гектара, а с всей площади пшеницы в 930 гектаров — по 14,5 центнера с гектара, то это воспринимается как блестящая победа новатора, оставляющая далеко позади — по своей научной значимости — отдельные рекорды, полученные в наилучших из возможных комбинаций условий погоды.

Но особенно замечательно вот что: Мальцев опасается, что сроки сева, принятые им для своего колхоза, могут просто скопировать в других хозяйствах. «Не разбираясь глубоко в существе этого дела, не вникая в суть конкретных условий отдельных колхозов, — пишет он, — можно натворить много глупостей». И иллюстрирует это таким примером: в соседних колхозах поля большей частью имеют заметный склон к югу, обогреваются лучше, чем поля колхоза «Заветы Ленина». В силу этого земля соседних колхозов весной поспевает к обработке раньше. «Эти колхозы, — указывает Мальцев, — всегда имеют возможность на пять-шесть, а то и на все семь дней раньше нашего выезжать в поле».

Книга Т. С. Мальцева ещё и ещё раз доказывает, что — в идеале, конечно, — писать о передовом опыте должны те же руки, которые и творят этот опыт.

Вот другая книга — о совхозе «Лесные поляны». Написал её Ю. Ф. Голубаш, Герой Социалистического Труда, заслуженный зоотехник РСФСР, человек, насколько нам известно, не занимающийся систематическим литературным трудом. С книгой Мальцева её роднит творческий подход к делу, осмысленность, осознанность опыта.

Характерно, что как Мальцев не стремится к рекордам урожайности на отдельных участках, так и Голубаш не ставит целью получить коров-рекордисток. «Важнейшей задачей в племенной работе хозяйства, — пишет Ю. Голубаш, — является улучшение качеств не отдельных животных, а всего стада, создание стада, однотипного по своим

хорошим качеством... Рекорды стада, рекорды среднего животного — вот к чему стремятся работники совхоза в селекционной племенной работе».

В представлении иных — что может быть проще, как накормить корову, особенно если кормов в достатке. Пусть ест до отвала, матушка! Но, когда читаешь книгу знатока дела, начинаешь понимать, какое это сложное и тонкое искусство — накормить корову так, чтобы она и молока дала как можно больше и здоровье сохранила. Вот, к примеру, набор культур в одном «зелёном конвейере», о котором сообщает в своей книге Ю. Голубаш: озимые рожь и пшеница на зелёный корм, многолетние травы (смесь красного и розового клевера, люцерны, тимофеевки, костра безостого, овсяницы и лисохвоста), однолетние травы, кормовая капуста, бахчевые — кабачки и кормовая тыква, разные виды корнеплодов — кормовая свёкла, сахарная свёкла и турнепс. И выбор этого «меню» объяснён с позиций большой науки!

А какую упорную, изобретательную борьбу ведут работники совхоза за повышение жирности молока. Результаты этой борьбы видны из следующей динамики роста среднего процента содержания жира в молоке: в 1943 году — 3,48, через четыре года — уже 3,60, в 1950 году — 3,66, в 1951 году — 3,68 процента.

Специалисты без труда оценят значение этих цифр, особенно если учесть, что стадо за эти годы росло и обновлялось. Для непосвящённых же скажем, что в капиталистических хозяйствах для увеличения жира в молоке на 0,1 процента тратились долгие десятилетия. И то, что в совхозе «Лесные поляны» жирность молока растёт, как говорит Ю. Голубаш, «медленно, но неуклонно», едва ли не самый главный показатель высокой культуры животноводства. Сейчас работники совхоза ищут способов воздействия непосредственно на организм животного с целью повышения жирности молока, используя предполагаемые стимуляторы, содержащиеся в витамине Е.

Большую школу пройдёт животновод, который возьмёт на себя труд несколько раз прочесть и глубоко усвоить то, что содержится в книге директора совхоза «Лесные поляны». Многие извлечёт он оттуда для своего хозяйства. И прежде всего потому, что книга эта написана по-мичурински, руками творца передового опыта. Так же писались статьи и книги С. И. Штеймана, создателя лучшего в мире стада в совхозе «Караваево», сибирского агронома, директора Сосновского совхоза П. Крутикова и многие другие работы непосредственных участников творческого опыта в земледелии и животноводстве.

Но бывает и по-иному. В одном очень хорошем совхозе мы встретили талантливого зоотехника-селекционера, кстати сказать, человека пишущего. Опыт племенной работы в совхозе систематически освещался на страницах газет, журналов и в отдельных брошюрах. Но делалось это не зоотехником и не каким-либо другим работником совхоза, а неким научным работником, который время от времени наезжал туда и усердно выспрашивал, как выполняются его учёные указания и какие это даёт результаты. Этот научный работник обладал «бойким пером», как сказал бы Мичурин. Но, если оценить по совести, много ли может быть веры человеку, который с чужих слов описывает такую тонкую работу, как племенная работа в животноводстве? И какой тут простор безответственности. Ведь у нас выводы науки применяют в гигантских масштабах, и потому маленькая ошибка учёного может нанести огромный вред колхозам и совхозам.

Скажут: ну, а как же быть, если тот или иной передовик сельского хозяйства не владеет пером настолько, чтобы систематизированно и популярно изложить свой собственный опыт? На такой вопрос нам хочется ответить контрвопросом: а может ли такой человек накопить тот опыт, который являлся бы действительно передовым, то есть имея в виду его осознанность и устойчивость результатов? Сомнительно, если не сказать категоричнее. Случается, конечно, что и человек не шибко грамотный вырастит в иной год высокий урожай. Но, во-первых, это ещё отнюдь не то, что мы условились понимать под передовым опытом, а во-вторых, если урожай этот — результат сознательных, заранее продуманных усилий и мероприятий, то наверняка они были организованы под непосредственным руководством агронома. А вот он-то и способен обо всём этом написать.

Сейчас в деревню, на практическую работу, направляется многочисленный отряд высокообразованных людей. Вот им и книги в руки. Этим специалистам и предстоит, по нашему мнению, стать квалифицированными пропагандистами передового опыта, в том числе через газету, через журнал, через книгу.

Хотелось бы ещё коснуться роли журналистов в пропаганде передового опыта.

Корреспондент одной газеты рассказал недавно такой случай. Приехал он в колхоз «делать» статью председателя. А тот не удостоил его даже пятиминутной беседой. «Когда статья будет готова, принесите, я просмотрю и подпишу», — заявил он. Статья была написана (журналистом) и подписана (председателем колхоза) и, кажется, появилась в печати. Но много ли проку от такого рода печатной пропаганды? Что мог изложить приехавший на день корреспондент в своей статье, кроме общих, известных каждому руководителю колхоза агротехнических и организационных мероприятий? Даже и зная сельское хозяйство, он никак не мог угадать те детали, те тонкости, что, собственно, и составляют конкретный опыт, в изучении и внедрении которого нуждаются другие колхозы. Да разве об этом самом опыте не мог толково и интересно написать какой-нибудь рядовой колхозник, счетовод, учётик — мало ли грамотных, образованных людей в нашей колхозной деревне! Представляется прямо-таки кощунством — и не столько над авторским правом, сколько над передовым опытом — практика писания статей за кого-то.

Вот берём в руки и начинаем читать выпущенную Краснодарским издательством книжку «Дорога в жизнь», на обложке которой в качестве автора значится бригадир тракторной бригады Иван Шацкий. Начинается книжка так: «Человек шёл всё быстрее и быстрее, а степь убежала всё дальше. И не было ей ни конца ни края. Лишь в одном месте горизонт замыкался волнистой чередой холмов. Небо было прозрачно, как вода в горном озере. По-весеннему яркое солнце разливало живительную теплоту.

Лёгкие пешехода с жадностью вбирали чистый воздух... Тёмные глаза были устремлены вперёд... Дальше поясняется: «Это был мой дед»...

Тут и невооружённым глазом видно, что не стал бы так писать или так рассказывать тракторист. И не потому, что это слишком хорошо, а потому, что это слишком плохо. Не знаю, кто в этом виноват: анонимный ли соавтор, или трудолюбивый редактор, — ясно только, что это литературная фальшивка, и нет ей другого названия!

Записать — не значит писать за кого-либо, но значит — передать не только мысль, но и строй речи и лексику рассказчика-автора. Это труднее, гораздо труднее, чем сочинить «художества», подобные отрывку, цитированному выше. Но это услуга, вернее — помощь, которую журналист с чистым сердцем может оказать любому колхознику, трактористу и которая не будет медвежьей услугой.

«Основным героем наших книг мы должны избрать труд, т. е. человека, организуемого процессами труда, который у нас вооружён всей мощью современной техники, человека, в свою очередь организующего труд более лёгким, продуктивным, возводя его на степень искусства. Мы должны выучиться понимать труд, как творчество».

Эта мысль Горького часто повторялась и, конечно, памятна всем. Но создаётся такое впечатление, что её считают не относящейся к литературе, посвящённой передовому опыту. Между тем она, эта мысль, могла бы явиться программой именно для книг и брошюр такого рода.

Популяризировать, разъяснить, сделать достоянием широких масс передовой опыт можно только путём показа его творца, передовика производства. И если книжки о передовом опыте порою залёживаются на полках книжных магазинов и библиотек, то это происходит оттого, что они непоучительны, неинтересны, скучны. А скучны они потому, что в них нет человека, сознательно и упорно осуществляющего те или иные трудовые процессы, притом конкретного, живого человека — того человека, который выступает в качестве автора в книге Т. Мальцева, того человека, которого мы видим и чувствуем в книге Ю. Голубаша.

Перед нами четыре довольно объёмистые (от 150 до 300 страниц) книги, выпущенные Сельхозгизом в 1952 и 1953 годах. Это «Ордена Ленина колхоз «Память

Ильича», «Колхоз имени Тимирязева», «Колхоз имени Ильича», «Колхоз высокой культуры земледелия». Не задаваясь целью рецензировать эти книги (обладающие бесспорными достоинствами), отметим лишь одну чрезвычайно характерную деталь: рассказ о людях во всех этих книгах отнесён в последнюю главу! И получается так, что агротехника, животноводство, экономика существуют в книжке сами по себе, а люди — сами по себе. Причём о людях в лучшем случае даются краткие биографические справки, а в худшем случае дело ограничивается перечислением фамилий.

Вот, к примеру, два абзаца с одной из последних страниц книги И. Кукушкина и И. Новикова, посвящённой колхозу имени Ильича Бежецкого района Калининской области: «Достаточно сказать, что в укрупнённом колхозе из 327 трудоспособных 112 человек награждено орденами и медалями Советского Союза, из них 3 Героя Социалистического Труда. Орденом Ленина награждено 6 человек, орденом Трудового Красного Знамени — 21 человек, медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» — 76 человек. Некоторые из них имеют по 2 награды.

Знатоками своего дела зарекомендовали себя животноводы тт. Мельников, Каткова, Мельникова, Козлова, Крылова, Фёдорова, Арсеньева, Хрусталёва, Орлова, Лебедев и другие. Они в свою работу вносят всегда что-либо новое, полезное для колхоза, творчески подходят к любому делу».

Право же, вовсе не «достаточно сказать» это! Представьте себе, какими красками заиграла бы книга, если бы в ней органически жили, трудились, мыслили, преодолевали трудности, испытывали сомнения и добивались успехов все эти люди, если бы они выступали «организуемые процессами труда», возводящими труд на степень искусства, как говорил М. Горький.

В книге В. Абатурова, И. Емельянова, А. Калашникова о колхозе имени Тимирязева Городецкого района Горьковской области есть небольшая главка: «Рассказ председателя колхоза» (председателем является один из авторов книги — Иван Абрамович Емельянов), где речь ведётся от первого лица. И это — самое лучшее место в книге, могущее обогатить любого колхозного, да и не только колхозного руководителя.

Приведём одно место из рассказа И. Емельянова. «Вместе с другими членами правления я присматриваюсь к людям, стараюсь найти и отличить нужного человека. Для этого мы внимательно изучаем отношение людей к общественным делам колхоза, их умение работать, стремление к расширению знаний. Если человек умеет соблюдать полную объективность, если он может поступиться личными отношениями, обидой или симпатией во имя коллектива — значит такому человеку можно доверить руководящий пост».

Чувствуете, как из этого рассказа вырисовывается человек — сам рассказчик, умудрённый жизнью, опытный руководитель колхоза, пристально всматривающийся в людей, окружающих его, предъявляющий к ним высокие требования?

Так «оживают» все места перечисленных выше книг, как только на страницах появляются живые люди.

Могут возразить: книжки, мол, о которых идёт речь, — это монографии, и они предназначены показать не людей, а колхозную экономику. Что же, поговорим и об экономике.

Авторы книги о колхозе имени Ильича приводят цитату из труда И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» относительно колоссального развития производительных сил нашего сельского хозяйства в результате замены старых, капиталистических производственных отношений в деревне новыми, коллективистическими производственными отношениями. А вслед за этой цитатой идёт такой абзац: «В колхозах льноводство стало развиваться на основе правильных травопольных севооборотов, высокой механизации, достижений передовой агрономической науки и практики».

Авторы, видимо, даже и не почувствовали, как «скатились» они с тех позиций, о которых говорится у И. В. Сталина, на совсем иные позиции. Из поля их зрения выпали как раз новые, коллективистические производственные отношения, на основе которых строится вся колхозная работа. Потому-то и получается так, что всё, что связано с социалистическими производственными отношениями — социалистическое

соревнование, колхозная демократия, организация труда и так далее, — не пронизывает насквозь содержания книги, а стоит особняком, как бы вне практических дел. Экономика, развитие производительных сил колхоза искусственно отрывается от производственных отношений.

Владимир Ильич Ленин показал, как анализ экономики, статистика могут служить целям характеристики производственных отношений. Каждый факт, каждая цифра в его гениальной работе «Развитие капитализма в России» — это доказательная, документальная иллюстрация основной идеи книги, служащая раскрытию сущности капиталистических производственных отношений.

Что общего с таким использованием фактического материала имеет загромождение книг о колхозах многочисленными таблицами, неудобочитаемой «цифрью»? В книге «Орден Ленина колхоз «Память Ильича» содержится, например, семьдесят пять таблиц, среди которых есть такие, что расползлись на целую страницу. В книге о колхозе имени Тимирязева их более шестидесяти, в книге Я. Кобзистого и В. Пругло «Колхоз высокой культуры земледелия» — более сорока, в книге И. Кукушкина и И. Новикова — около тридцати. И это не считая тех «столбиков», которые не удостоены официального наименования «таблиц».

В числе цифрового иллюстративного материала, приведённого в этих книгах, есть, бесспорно, нужные, отвечающие требованиям научной статистики данные. Но вот «Таблица 48» из книги «Колхоз имени Тимирязева». В ней подробно отмечается выработка десяти трактористов по месяцам, по сменам. Для чего понадобились эти двести тридцать дробных, однозначных, двузначных и трёхзначных чисел? Что они доказывают, какую мысль иллюстрируют? В книге нет ответа на эти вопросы. Право, увлечение голыми цифрами, без комментариев и экономического анализа, стало буквально бедствием. Видимо, кое-кто из авторов всерьёз считает эту игру в цифрь за экономику, не учитывая при этом той истины, что нагромождение в книге цифровых таблиц не только не привлекает внимания читателей, а, наоборот, «отпугивает» их, особенно если эти цифры ничего не говорят ни уму, ни сердцу.

«Удаление» человека из книги о передовом опыте ведёт к тому, что и факты, сообщаемые в такой литературе, оказываются какими-то абстрактными, безжизненными, мёртвыми. Вот несколько примеров:

«Сев яровых колосовых культур, многолетних трав и подсолнечника колхоз заканчивает в сжатые сроки. Продолжительность сева ранних культур за последние годы не превышает 4 рабочих дней, что является решающим условием для получения высоких урожаев... Высокое качество всех посевных работ при предельно сжатых сроках сева — вот что является главнейшим условием борьбы за урожай» («Колхоз высокой культуры земледелия», стр. 54).

Не ясно ли, что, освещая передовой опыт, как раз и надо было рассказать о том, как колхоз успеваеет управляться с севом в четыре рабочих дня, как он обеспечивает высокое качество всех работ, — это именно и представляет наибольший интерес. В самом деле: ну, кто не знает, что лучше всего проводить сев в предельно сжатые сроки на высоком уровне агротехники? Если же это не получается на практике, то, очевидно, дело тут не в нежелании провести сев быстро и хорошо. Показ работы передового колхоза через деятельность людей — председателя артели, бригадиров, механизаторов, колхозников — дал бы читателям куда больше впечатлений, чем вышеприведённые «откровения».

Ещё пример: «Колхоз имени Ильича освоил травопольные севообороты. Многолетние травы в общей площади посевов составляли в 1949 году 32 процента. В связи с ростом посевных площадей кормовых культур снижался удельный вес посевов картофеля при абсолютном росте его площади. Колхозники добились увеличения валовых сборов картофеля за счёт повышения площади посева этой культуры (на вновь осваиваемых землях), а также путём повышения его урожайности» («Колхоз имени Ильича», стр. 16).

Вот и попробуй читатель — колхозный руководитель что-либо позаимствовать из этого описания!

Характерно следующее заявление авторов той же книги: «Цифры убедительно

говорят о большом успехе колхозников артели имени Ильича в выращивании высоких урожаев льна-долгунца». Да ведь как раз в книге о передовом опыте цифры ничего «убедительно» не говорят. Тут должны убедительно говорить не цифры, а люди, их поступки, их действия, их мысли, их смекалка, знания, методы и приёмы работы.

Передовой опыт — это прежде всего творчество. Казалось бы, элементарная справедливость по отношению к нему обязывает так же творчески создавать и книги на эту тему. Между тем нет, кажется, ничего более однообразного, чем книги о передовом опыте. Выработался даже стандарт в расположении материала по главам.

Чем это объяснить? Только тем, что к столь важному делу, каким является пропаганда передового опыта, часто прилагают свои руки люди, случайные как в сельском хозяйстве, так и в пропагандистской литературе.

Книга о передовом опыте должна соответствовать передовому опыту — так можно бы сформулировать настоятельное требование времени, требование жизни. Такие книги должны появиться на свет, и они действительно будут созданы творчески и адресованы широким массам, прежде всего в том случае, если их напишут люди, своими руками творящие и опыт и книги о нём. Но есть надежда и на писателей, настоящих, больших писателей, которые, несомненно, вплотную займутся вопросами сельскохозяйственной пропаганды.

В сентябре этого года в Министерстве сельского хозяйства и заготовок СССР состоялась беседа руководящих работников министерства с писателями, так или иначе причастными к сельскохозяйственной тематике. Со стороны специалистов сельского хозяйства раздавались требования: «Дайте нам, и как можно поскорее, драму или роман об МТС!» Писатели ответили на это требование тем, что в стенограммах принято обозначать: «Шум в зале». Понять этот шум можно было только в одном смысле: дескать, нас зовут опять к «производственной» литературе. Затем послышался вопрос, обращённый к министру: «Вы нам скажите, какие образы, какие типы появляются в современной деревне». Правда, голос этот не нашёл поддержки, но раздался он, конечно, неспроста.

Можно ли, и если можно, то как сочетать два эти требования: практическую, сугубо практическую пользу, которую хотели бы извлечь из литературы сельскохозяйственные работники, и требование типизации, предъявляемое к произведениям художественной литературы?

Нам представляется, что литература о передовом опыте даёт возможность для такого именно сочетания. Но литературу эту нужно прежде всего «очеловечить». Героями её должны выступать живые, конкретные люди, имеющие паспорта и постоянное местожительство. Может ли передовик сельскохозяйственного производства, не будучи дополнен вымышленными чертами, быть типичен? А почему бы и нет? Передовые люди колхозной деревни — живые, настоящие, конкретные люди — имеют все основания выйти на страницы литературы как герои в буквальном и в переносном смысле этого слова.

Может быть, не стоило бы и предаваться этим рассуждениям о каком-то новом, небывалом виде литературы, если бы он был лишь некоей абстрактной возможностью. Но он явным образом нарождается, он, собственно, уже народился. Вспомним пьесу Валентина Овечкина и Геннадия Фиша «Народный академик», или «Живую воду» А. Кожевникова, или очерки того же Валентина Овечкина, где многое списано явным образом прямо с «натуры», но, будучи зорко выбрано в жизни и «сгущённо» нарисовано, обретает значение типического.

Что ни говорите, а тут уже что-то есть живое.

А живое, народившись, будет расти...



Б. ЛЕОНТЬЕВ

★

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И МИР

ИДЕЯ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ ГРАНИЦЫ И ОКЕАНЫ

Идеи обычно медленно шествуют по свету. Даже в наш век, когда радиотелеграмма в несколько минут облетает земной шар, нелегко повлиять на мировоззрение человека. И это относится не только к первобытным пастухам Патагонии, но и к просвещённым интеллигентам Западной Европы. Последние, пожалуй, консервативнее первых. Они пребывают в плену старых, отживших представлений, мешающих им понять происшедшие перемены.

И всё же идеи, исходящие из фактов самой жизни, из непреодолимых потребностей человечества, неизбежно овладевают умами, пересекая пространства даже без помощи техники связи. Их невозможно ни остановить, ни задержать.

Сказанное применимо к любой области деятельности человека. Тысячи примеров могут подтвердить это. Мичуринская идея гибридизации плодов в целях дальнейшего умножения благ, получаемых от природы, непобедимо и беспрепятственно завоевывает расположение садоводов. А вот идея попа Мальтуса, больше ста лет тому назад предложившего истреблять «лишние рты» на земном шаре, чтобы уцелевшим после этой операции жилось вольготнее, никак не может приобрести приверженцев. Даже реставрация этого «учения» в современной Америке и ассигнование значительных сумм на его пропаганду не помогли его распространению.

Живёт то, что прогрессивно. А прогрессивно то, что руководствуется велениями жизни, интересами народа, новыми условиями существования человечества, — то, что глядит в будущее, а не в прошлое.

Меньше пяти лет прошло с тех дней, когда зародилась, по инициативе сравнительно небольшого числа передовых общественных деятелей, движение сторонников мира. Идея, которой руководствовались в 1949 году участники первого Конгресса сторонников мира, состояла в том, что великие державы должны в нашу эпоху разрешать свои споры не войной, не угрозами, а путём мирного соглашения, переговоров, урегулирования. Вспомните, как восстали против этой идеи правительства многих государств. Именно весной 1949 года Соединённые Штаты, Великобритания, Франция и ещё девять стран заключили между собой военный союз, названный Северо-атлантическим. В основе этого союза тоже лежала «идея»... которую исповедовали в своё время Батый, Тамерлан, Атилла, Фридрих второй, Гитлер. Она состоит в том, что мир держится лишь на силе, на оружии, на угрозе истребления и на самом истреблении.

И что же! Новая, молодая идея победила старую, хотя и подкреплённую миллиардами долларов и силой пропагандистского воздействия, осуществляемого через тысячи буржуазных газет и сотни американских радиостанций. Создателям атлантической, если можно так выразиться, идеологии не помогли даже тюрьмы, куда заточали во многих странах сторонников молодого движения за мир. Новая правда открылась сотням миллионов людей, ставших её пламенными, бесстрашными приверженцами.

Необходимо прямо и откровенно признать, что отнюдь не одно только моральное превосходство новой идеи помогло ей овладеть массами. Народы любят мир, ненавидят

войну. Но ведь так было и раньше. К тому же сторонники старых концепций политики силы, военных союзов, вооружений ни разу не признавались, что они готовят войну: они сулили «мир посредством силы». Так говорили Даллес, Риджуэй, псевдофранцуз Шуман и неогитлеровец Аденауэр. И они говорят это до сих пор, никто не может их упрекнуть в том, что они проговорились. Но их идея обанкротилась.

1953 год внёс в этом отношении полную ясность. О необходимости достижения соглашений, о разрешении разногласий между державами мирным путём заговорили уже не только простые люди всех стран, — заговорили министры.

Архиепископ Йоркский, западногерманский пастор Нимеллер, французские радикалы, лейбористские лидеры «вдруг» признали превосходство идеи мирного урегулирования международных разногласий. Кто может подумать, что они пленились теперь моральным превосходством одной из главных идей движения сторонников мира!

Изменилось лицо мира, изменилась международная обстановка. В этом причина столь неожиданного отрезвления некоторых государственных деятелей. Факты — упрямая вещь. Тот, кто не хочет опираться на них, терпит неизбежное поражение.

Мысль о том, что в нашу эпоху можно решать большие вопросы международной политики только путём соглашения, путём урегулирования разногласий, исходит из новых, существующих ныне условий. «Политика силы» игнорирует эти условия. Вот почему она обречена.

НОВАЯ ОБСТАНОВКА НА ВСЕМ ЗЕМНОМ ШАРЕ

Вторая мировая война изменила лицо мира. Образовался великий и крепнувший лагерь мира и демократии, возглавляемый Советским Союзом. Он объединяет больше трети населения земного шара, включая Китайскую Народную Республику, народные демократии Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Монгольскую Народную Республику. В него входят Германская Демократическая Республика, прообраз будущей миролюбивой демократической Германии, и молодая, борющаяся за свою независимость, Демократическая Республика Вьетнам.

Глубокие изменения произошли и в капиталистическом мире. Разгромлены две наиболее агрессивные империалистические державы — гитлеровская Германия и милитаристская Япония. Утратили былую силу Англия, Франция, Италия. Огромный размах приобрела национально-освободительная борьба в колониях, и многие из них отвоевали (правда, ещё не всегда полную) независимость. В западноевропейских капиталистических государствах неуклонно растут мощные демократические движения.

Может быть, ещё не пришло время для полного, всестороннего осознания всей глубины, исторической важности этих коренных изменений. Во всяком случае, с каждым годом всё яснее становится, что эти перемены имеют решающее значение для будущего. Десятки народов — и среди них великий китайский народ — обрели новый путь и никогда уже с него не сойдут. Система капитализма вступила в новую фазу своего общего кризиса.

И с каждым годом всё величественнее обрисовывается бессмертный военный подвиг советского народа, значение этого подвига для судеб народов СССР, народов всего мира. История не знает примера, когда бы хоть один общественный строй прошлого способен был породить такой же массовый героизм, такую волю к победе, какие проявил советский народ в этой небывалой по тяжести и жертвам войне. Нет и не было более справедливого строя, столь отвечающего интересам народных масс, вызывающего у них такую любовь. Не напрасно принесены жертвы, не умрут в памяти человечества имена наших героев — воинов, партизан, рабочих, колхозников. После великой победы ещё стремительнее двинулись народы нашей страны к светлому будущему, к тому быстрому улучшению жизни, свидетелями которого являемся мы сейчас. Советский Союз, совершающий переход от социализма к коммунизму, — самая счастливая, могучая страна, сильная своими огромными материальными ресурсами, морально-политическим единством народа, самая свободная и демократическая держава на земном шаре.

Победа советского народа открыла для многих других народов возможность впервые в своей истории обрести свободу и независимость, вступить на социалистический путь развития. С ними нельзя теперь разговаривать языком диктата, им нельзя приказывать и нельзя ими торговать.

Особенно ясно это видно на примере Китая. В прошлом эта огромная страна была на положении бесправной колонии, она была лишь объектом чьей-то чужой игры, объектом жесточайшей эксплуатации. Ныне китайский народ стал хозяином на своей земле, хозяином собственной судьбы. В мире появилась новая великая держава, проводящая свою собственную независимую политику. Это, по словам Г. М. Маленкова, «поистине, важнейший исторический итог развития международной жизни за последние десятилетия, итог, который освещает не только пройденный путь, но и перспективы».

Политик, общественный деятель не может не исходить из этих фактов действительности. Если он пытается мыслить, руководствуясь устаревшими категориями, если он представляет себе мир таким, каким тот был вчера или десятилетие назад, — он слепец и фантазёр. Речь не идёт о его взглядах, прогрессивных или реакционных. Минимум, обязательный для каждого государственного деятеля, в сущности, невелик: знать факты, считаться с действительностью, исходить из реального, существующего положения.

К чести некоторых общественных и государственных деятелей буржуазии, они стараются руководствоваться действительностью. После известного периода умственного помрачения, когда злоба и ненависть мешали им видеть изменившийся после войны мир, ряд представителей правящего класса в Западной Европе осознал, по крайней мере, что они живут в новой действительности. Бивен и Эттли в Англии, Даладье и Эррио во Франции, бывший германский рейхсканцлер Йосиф Вирт и некоторые старые либеральные деятели Италии, кажется, начали понимать, что очень многое изменилось на нашей планете.

Как меняется понимание действительности даже у наиболее злобных реакционных людей, ненавидящих коммунизм и свободу народов, показывает недавняя речь Потовского, одного из самых правых американских профсоюзных боссов. Он выступил в сентябре нынешнего года на съезде КПП (Конгресс производственных профсоюзов) штата Нью-Йорк вскоре после своей поездки в Европу. Его речь представляла пламенное признание в ненависти к коммунизму и не менее пламенный призыв изменить американскую политику, считаться с реальностью.

Вот что говорил этот лютый реакционер: «Дело в том, что в настоящее время полмира находится под коммунистическим господством. Поверит ли хоть один человек, находящийся в здравом уме, в то, что мы можем оружием устранить его». Вслед за этим он обрушил потоки ругани на Советский Союз, на все страны, сбросившие с себя иго империализма. «Но чувство отвращения к коммунизму, — заявил вслед за тем Потовский, — не устраняет его. Нам придётся иметь дело с ним... Я не преуменьшаю проблему переговоров с Советами... Однако нет таких международных конфликтов, которые не могут быть разрешены путём переговоров».

Для реакционеров Америки подобные слова, хотя они и произнесены только на девятом году после окончания второй мировой войны, — большой, просто сенсационный сдвиг. Потовский значительно опередил Даллеса в понимании действительности. Ведь если суммировать последние выступления Даллеса, то этот государственный деятель сейчас «уже» «признаёт» существование Советского Союза и необходимость считаться с этим фактом истории, но всё ещё «не признаёт» ни существования народного Китая, ни перемен в Восточной Европе.

Особенно примечательна фраза из той же речи Потовского, призывающая американских политиков учитывать, что на свете существуют народы и государства, мнение которых может отличаться от мнения США: «Если мы будем преисполнены решимости иметь дело с другими на основе человеческого достоинства и относиться к их проблемам так же, как к своим собственным, то, по моему мнению, мы сможем добиться успехов на пути к миру».

Как видно, даже в Америке начинают проясняться умы. Дело идёт, правда, медленно. Во всяком случае, руководящие американские политические деятели всё ещё

пребывают во власти архаических представлений о мире, пытаются действовать так, будто бы «ничего не случилось». Всё чаще и чаще дипломаты капиталистических стран, считающие своим долгом поддерживать хорошие отношения с империей доллара, и те в удивлении разводят руками, слушая речи какого-нибудь Маккарти или официальных представителей США в ООН. Они, может быть, и разделяют ненависть американских политиков к СССР, Китаю, народным демократиям, национально-освободительному движению в Азии, но они всё же понимают, что жизнь изменилась, что с этим надо считаться, что ни США со всеми их долларами и бомбами, ни проамериканское «большинство» в ООН не в состоянии повернуть вспять колесо истории.

США стремятся «зачеркнуть» целые страны, пытаются запретить мировую торговлю, требуют послушания. Но нет никакого эффекта; хуже того — всё идёт не так, как им хочется. И даже те, кто побаивается агрессивных монополистов, кто зависит от их денег, потихоньку начинают посмеиваться, посматривая на провалы американской политики.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ

Одним из самых наглядных проявлений совершенно нового положения в мире явилось создание после войны Организации Объединённых Наций. Уставом организации предусмотрено, что все важные вопросы, связанные с защитой мира и безопасностью, должны решаться её главным органом — Советом Безопасности — на основе единогласия пяти великих держав: Советского Союза, Китая, США, Англии и Франции. Если хотя бы один из этих пяти постоянных членов Совета Безопасности не согласен с предлагаемым решением — оно считается непринятым.

Это основной принцип ООН, да и не только ООН. Любые большие вопросы международного положения, затрагивающие интересы всех или многих стран, — входят или не входят они в компетенцию Совета Безопасности — могут быть решены только на основе единогласия пяти великих держав. Иначе и не может быть. Как, например, можно решить вопросы, затрагивающие жизненные интересы Франции, не посчитавшись с мнением этой страны? Тут не может быть решения, принятого «большинством голосов». Как можно решить судьбу Германии, если предлагаемое решение не обеспечивает безопасности Советского Союза, Англии или Франции? Ни один вопрос, касающийся Дальнего Востока или Азии в целом, естественно, не может быть решён вопреки мнению Китая.

Принцип единогласия пяти великих держав при решении важных вопросов — основа основ Организации Объединённых Наций. Только он обеспечивает все малые страны от произвола той или иной державы, от одностороннего, несправедливого, предвзятого решения. Этот принцип, говорил В. М. Молотов на первой сессии Генеральной Ассамблеи, направлен «на то, чтобы действия великих держав шли на пользу всех миролюбивых государств как больших, так и малых». Этот принцип — основа сотрудничества самих великих держав. Ни одной из них нельзя навязать решение, хотя бы оно было принято количественно большим числом голосов, — например, голосами двадцати республик американского континента, в большинстве своём раболепно выполняющих каждый приказ Вашингтона.

Принцип единогласия требует от всех пяти великих держав усилий, направленных на то, чтобы найти в каждом случае решение, приемлемое для каждой из них. Значит, надо идти на уступки, надо раз навсегда отказаться от мысли, что существует какой-либо способ навязать свою волю другим, заставить их поступиться своими интересами. Это путь к урегулированию разногласий, противоположных точек зрения, споров, мирный путь международного сотрудничества.

Следовательно, три капиталистические державы — Соединённые Штаты Америки, Англия, Франция — и две державы, принадлежащие к лагерю мира и демократии, — Советский Союз и Китайская Народная Республика — несут главную ответственность за безопасность и мир во всём мире. Они не только не могут уклоняться от принятия решений — а решения должны быть согласованными, — но и обязаны выработать, найти эти решения. Они не имеют морального права оставить человечество без этих решений сколько-нибудь продолжительное время.

Сейчас накопилось множество нерешённых вопросов. Они касаются и проблем, связанных с последней войной, то есть хотя и не подлежат ведению Организации Объединённых Наций, но должны быть решены в основном теми же великими державами, победительницами в войне. Таковы проблемы Германии, Австрии, многие проблемы Дальнего Востока. Другие относятся к проблемам, прямо связанным с задачами Совета Безопасности. Это, например, проблемы сокращения вооружений, устранения угрозы войны, запрещения атомного оружия, ликвидации опасностей, связанных с военными базами на чужих территориях, с существованием агрессивных военных союзов, противоречащих Уставу ООН. Есть вопросы, касающиеся мировой торговли, освободительного движения в зависимых странах, конфликтов, возникших за эти годы, например, на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии.

Одной из важнейших отрицательных черт современного международного положения, одной из причин международной напряжённости является нерешённость всех этих вопросов.

Могут ли они быть решены? Разумеется, могут. Их можно решить путём согласования различных точек зрения и часто противоположных интересов держав.

Но почему же они не решены, почему количество их всё увеличивается, а не сокращается? Только по вине западных держав, главным образом по вине США. Соединённые Штаты пытаются обойти Совет Безопасности, созданный при их активном участии. Они обходят и Совет министров иностранных дел, созданный для подготовки и разработки мирных договоров с Германией, Австрией, Японией.

Соединённые Штаты, разбогатевшие во время войны, забравшие в свои руки больше половины богатств, производственной и военной мощи капиталистического мира, вообразили, что вопреки Уставу ООН, вопреки совершенно новому положению в мире, они могут диктовать другим странам свою волю, свои решения. Верно, что они пытались иногда протолкнуть удобные им решения через Совет Безопасности или Совет министров иностранных дел. Но, когда выяснялось, что их проекты не обеспечены единогласной поддержкой, они отказывались от всякой попытки совместно выработать другие, для всех приемлемые решения.

США демагогически обвиняют во всём Советский Союз. Это он, Советский Союз, говорят их дипломаты, наложил «вето», злоупотребил своим «правом вето». «Вето» по-латыни значит «запрещаю». Держава, отказывающаяся принять какое-либо предложение в Совете Безопасности, как бы налагает свой запрет на это предложение, налагает «вето». Поэтому, когда американские политики говорят теперь о ненавистном для них принципе единогласия великих держав, они обычно называют его «правом вето».

В этом искажении самой терминологии устава есть, разумеется, определённая цель. Искажается не название, а само существо происходящих событий. Ведь Соединённые Штаты и не подумали о выработке решений, приемлемых как для них, так и для других великих держав. Они просто диктуют свои предложения. Уже на этом этапе они грубо нарушают Устав ООН, нарушают обязанность, возложенную на них народами. Когда же их предложение не проходит и против него голосует Советский Союз, долг США и других западных держав состоит в том, чтобы путём переговоров, уступок, согласований выработать другое решение, приемлемое для всех. Но они этого не хотят. И, чтобы скрыть свою вину, свой явный и грубый саботаж устава международной организации, они заявляют: «Советский Союз опять наложил вето, следовательно, это он виноват в том, что решение не принято».

С момента основания ООН и по сегодняшний день, включая 8-ю сессию Генеральной Ассамблеи, американские дипломаты ведут атаки на принцип единогласия великих держав, на само существование Совета Безопасности, а следовательно, и на существование ООН. Десятки трюков применялись для того, чтобы перенести вопросы, подлежащие решению Совета Безопасности, на рассмотрение только одной Генеральной Ассамблеи, где нет принципа единогласия и где американские резолюции могут пройти путём простого голсования большинства. Создавались даже органы, которым вопреки уставу пытались присвоить функции и права Совета Безопасности.

Всё это привело лишь к нынешнему международному напряжению, к тому, что десятки вопросов так и не решены.

В самом факте отсутствия международных решений — суровый приговор американской политике, свидетельство её провала. Формально на сессиях Генеральной Ассамблеи многочисленные решения выносились. Но принимались они или в отсутствие Китайской Народной Республики, или «большинством голосов» — против мнения СССР и других демократических стран. Соединённые Штаты попытались придать «международный» характер выработанному ими сепаратному «мирному договору» с Японией. Они заручились поддержкой своих союзников для раскола Германии, для образования в её западной части марионеточного боннского «государства».

Но ни японский, ни германский, ни многие другие вопросы на самом деле не решены. Их можно решить только при участии всех пяти великих держав, при обязательном участии Советского Союза и Китайской Народной Республики путём взаимных уступок и согласования различных точек зрения. От этого нельзя уйти, ни мобилизуя себе в помощь голоса сателлитов, ни подрывая Устав ООН.

В правиле единогласия заинтересованы все, в том числе и западные государства. Во всяком случае, такие великие державы, как Англия и Франция, уже многое потеряли, подчинив свою внешнюю политику требованиям США. Только на путях подлинно независимой, самостоятельной политики они могут защитить свои жизненные национальные интересы.

Любопытный и, надо прямо признаться, весьма гнусный рецепт обращения США с другими, даже «великими» державами дал недавно журнал «Америкен меркюри». Речь шла о сопротивлении Франции американским планам вооружения германских милитаристов, планам превращения Западной Германии в главного и опасного для Франции военного союзника США. Американский журнал далёк от мысли о необходимости считаться с мнением Франции. Вот что пишет он об этой стране: «Во французской печати процветает нейтраллизм, испускающий едкий дым дурного расположения в отношении Америки, «этой обладающей мускулами, но лишённой мозга страны». Это печальная картина, но французский народ всегда был лучше, чем его политические деятели и журналисты. Марианна (то есть Франция. — *Б. Л.*) — это капризная и эмоциональная женщина, которая хочет, чтобы её принудили. Если мы не сделаем этого, она возненавидит нас, как слабых, и плюнет нам в лицо. Если мы силой заставим её отдать руку, она подчинится; она будет восхищаться нами и, возможно, даже любить нас».

Цитата говорит сама за себя. Здесь не только отвратительная терминология всегдашняя публичного дома, здесь и мысли, достойные подонков общества. Но в то же время это и программа американской политики. Жалкая судьба ожидает страну, правители которой отказались от национальной независимости, от самостоятельной линии в международной политике. Ей уготована роль марионетки США, роль страны, куда в любой день могут быть введены американские войска.

А между тем завоевания человечества, достигнутые в результате великой победы народов над фашистскими агрессорами, принадлежат в равной мере и Франции, как они принадлежат Англии и другим странам Европы, Азии, Африки. Новая обстановка в мире позволяет всем этим странам чувствовать себя спокойно и независимо. Ни один вопрос, их касающийся, не может быть разрешён против их воли. А то обстоятельство, что у них уже многое отняли за последние годы американские монополии, объясняется только тем, что они проявили боязнь и податливость перед наглым вымогательством империи доллара.

Международные проблемы могут быть решены лишь путём соглашения, урегулирования. Это не только точка зрения стран демократического лагеря, это не только точка зрения всемирного движения сторонников мира. Это объективная реальность. «Согласны» или «несогласны» с этим фактом руководящие деятели США, — от этого ничего не изменится.

Не понять этого нельзя. Кто ещё думает, что Соединённым Штатам удалось хоть однажды навязать свою волю человечеству путём игнорирования реальностей, должен прочесть унылые признания некоторых ведущих американских газет. «Нью-Йорк таймс» анализировала, например, в конце сентября так называемые «победы» американской делегации на восьмой сессии Генеральной Ассамблеи. Речь шла о том, что США опять

удалось склонить «большинство» стран — участниц ООН сорвать принятие советских предложений о восстановлении законных прав Китая в Организации Объединённых Наций и о составе Политической конференции по Корее. «Беда этих побед состоит в том, — писала «Нью-Йорк таймс», — что они лишь являются результатом затяжки прений и не решают вопроса раз и навсегда.

Многозначительное признание. Вопросы не решены, дело только отложено. Никакое «большинство» не способно протащить в жизнь угодное Америке решение.

ГРОЗЯЩЕЕ ОДИНОЧЕСТВО

Никому и в голову не придёт изображать современную Америку как «гиганта на глиняных ногах». Нет, её материальная мощь возросла после двух мировых войн. США — одна из пяти великих держав, интересы которой должны учитываться при вынесении любых международных решений. Однако всё, что идёт дальше этого, всё, что звучит как претензия на «управление миром», о чём иногда болтают наиболее ошалелые из конгрессменов, не имеет под собой реальной почвы.

Исход корейской авантюры американских агрессоров как нельзя более должен был бы способствовать протрезвлению наиболее одурманенных американских голов. Это был в своём роде единственный случай, когда, отказавшись от согласованного решения великих держав, потерпев неудачу в навязывании собственного решения, Соединённые Штаты прибегнули к крайнему средству проведения в жизнь своей воли — к войне. Много лет саботировали они решения Московского совещания (декабрь 1945 года) о путях демократического объединения Кореи по желанию самого корейского народа. Им хотелось видеть не объединённую независимую страну, а «объединённую» под властью Ли Сын Мана американскую военную базу и колонию на Дальнем Востоке. Этого не удалось сделать, как не удалось осуществить ни одного другого американского плана на пресловутой «основе» игнорирования нового положения в мире. Тогда США применили оружие.

Всем известно, как развёртывалась американская агрессия. Ярко рассказал об этом генерал Пын Дэ-хуэй, командовавший частями китайских народных добровольцев: «После трёх лет войны отборные войска самой мощной индустриальной державы капиталистического мира оказались на том же месте, откуда они начали свою агрессию. Они не только не смогли продвинуться вперёд, но и испытывали с каждым днём всё большие и большие трудности. Это урок огромного международного значения. Это неоспоримо доказывает, что навсегда ушли в прошлое те дни, когда западный агрессор мог, как это он делал на протяжении нескольких сот лет, оккупировать восточную страну, установив несколько артиллерийских орудий вдоль побережья; это доказывает, что сегодня империалистическая агрессия в любом её виде может быть разгромлена, если опираться на силу народа; что пробудившийся народ, который выступает и борется за славу, независимость и безопасность своей родины, непобедим. После второй мировой войны и особенно после победы Китайской революции колесо истории в Азии, где произошли глубокие изменения, никогда не может быть повернуто вспять никакими агрессивными силами».

«В Корее США были на грани поражения», — писал 28 августа влиятельный американский журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт», пространно рассуждая о том, что никто в мире, за исключением разве турок, не горит желанием сражаться и умирать за Америку, что американские солдаты, в сущности, должны будут сражаться одни.

Перемирие в Корее в огромной степени увеличило стремление всех народов к урегулированию международных споров мирным путём. Заключение перемирия, как и планчевый для США исход войны, воочию показало, что нет таких вопросов, которые не могли бы быть решены путём переговоров. Противники ликвидации международного напряжения всё более и более отчётливо ощущают свою изоляцию.

«Две трети человечества исполнены ныне решимости сделать всё для того, чтобы международная атмосфера окончательно разрядилась», — писал видный французский общественный деятель Пьер Кот, подводя итоги Будапештской сессии Всемирного Со-

вета Мира. Сейчас нет страны, где общественное мнение не осуждало бы политику США, политику отказа от мирного урегулирования. «США практически восстановили против себя всю Азию и даже некоторых своих ближайших друзей», — отмечала индийская газета «Амрита базар патрика».

Из Англии, Дании, Австрии, Франции, Японии идут вести о крайне неблагоприятном для агрессоров широком движении в пользу мирного разрешения споров между державами. Британский профсоюз рабочих электропромышленности в своей поправке к официальным резолюциям лейбористской партии на конференции в Маргете требовал: «Мы должны добиваться прекращения холодной войны и гонки вооружений... На земле достаточно места для того, чтобы все народы и все социальные системы могли сосуществовать мирно». И даже правое руководство этой партии записало в официальной резолюции: «ООН должна оставаться международной организацией, где все страны могли бы встречаться и сотрудничать. Она не должна превращаться в идеологический блок».

В Америке принято называть движение в защиту независимой, самостоятельной политики стран капиталистического мира движением «нейтрализма». Но американская пресса с горечью признаёт, что хотя это и «нейтрализм», хотя он отнюдь не обозначает перехода на позиции коммунизма, — он грозит США полной изоляцией. «В момент, когда предстоит решающая проверка единства союзников как в Европе, так и в Азии, дипломатические наблюдатели в Вашингтоне обнаружили новые признаки нейтрализма в Европе», — сообщает «Нью-Йорк таймс», отмечая, что всё это вызвано «неуступчивой», «нереалистичной» позицией США.

Руководителей США обвиняют всё в том же пороке: нежелании видеть факты и считаться с ними. И возмущаются этим, казалось бы, самые верные союзники — представители буржуазии других стран. Английский буржуазный еженедельник «Трибюн» сформулировал это возмущение так: «Мудрость начинается с признания фактов. Но никто никогда не обвинял в этом Даллеса». Трудно более вежливо сказать человеку неприятность!

Уже с весны 1953 года правящие круги США наконец осознали угрозу изоляции. В течение всего лета и осени следовали всевозможные жесты американской дипломатии, сигналом к которым послужило апрельское выступление президента Эйзенхауэра. Цель этого выступления, как и последовавших затем действий США на международной арене, состояла в одном: убедить человечество, прежде всего американских союзников, будто бы Соединённые Штаты «тоже» не возражают против решения споров и разногласий мирным путём, путём переговоров. США не могут пожаловаться на отсутствие самой широкой и самой услужливой рекламы этого вымысла. После каждого официального американского заявления, после каждой ноты, а в сентябре — после демагогического «мягкого» выступления Даллеса на Генеральной Ассамблее — реакционная пресса всех стран, захлёбываясь, писала о «миролюбии» и «уступчивости» США. Но мыльные пузыри, как известно, недолго держатся в воздухе.

Быстро выяснилось, что Соединённые Штаты действительно согласны и на переговоры и на урегулирование всех и всяких проблем, но... на своих условиях, или, как писала французская газета «Монд», «на основе своих предложений». Это касается и германской проблемы (США «согласны» на объединение Германии, но... под властью вооружённого до зубов Аденауэра), и объединения Кореи (под властью Ли Сын Мана и американских войск), и контроля над атомной энергией (без запрещения американских атомных бомб и с американским контролем во всех частях света), и на мир с Советским Союзом (без мира с Китаем и странами народной демократии).

Во всех странах «новое» поведение США расценено, как отказ от урегулирования: мыльный пузырь не оправдал надежд. А между тем к фактам, которые должны были бы привести к отрезвлению правящие круги США, прибавился ещё один: испытания различного вида атомных бомб, а также водородной бомбы в Советском Союзе. Даже в США раздался голос в пользу того, что уж теперь-то не остаётся иного пути, кроме мирного урегулирования разногласий, запрещения атомного оружия, мирного сосуществования двух систем. Но они тонут среди зловещих, крикливых голосов ярых милитаристов, видящих один только исход: вооружаться.

Многочисленные высказывания политиков и генералов, в том числе бывшего председателя комиссии по атомной энергии Гордона Дина, сводятся в основном к следующему: есть путь соглашения, но он не подходит; есть второй путь — немедленно начать «превентивную войну», но она не будет поддержана ни одним американским союзником; остаётся третий — попрежнему ни на что не соглашаться и продолжать форсировать гонку вооружений. По мнению лондонской лейбористской газеты «Дейли геральд», суммировавшей этот поток истерических излияний, выступления Даллеса и других государственных деятелей, а также совещание американского «Национального совета безопасности» свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты собираются начать новую гонку вооружений.

Можно ли отрицать, что это опасно для человечества? Но силы мира растут и будут расти. Международная изоляция агрессора теперь становится с каждым днём всё большей реальностью.

ВО ГЛАВЕ ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ

Советский Союз всегда и неизменно отстаивал необходимость сотрудничества пяти великих держав, исходя из ленинско-сталинского учения о возможности сосуществования государств различных систем. Ещё в конце второй мировой войны, когда наметились контуры будущей Организации Объединённых Наций, И. В. Сталин предупреждал, что действия этой организации будут эффективными, если великие державы будут действовать в духе единодушия и согласия; они не будут эффективными, если будет нарушено это необходимое условие.

В дальнейшем не проходило ни одной сессии Генеральной Ассамблеи, ни одного международного совещания с участием советских представителей, где бы на долю СССР не выпадала роль пламенного и последовательного защитника сотрудничества великих держав и, в частности, принципа единогласия великих держав в ООН. В последние годы, когда вся политика США, и в особенности политика попрания прав Китайской Народной Республики, уничтожила даже тот контакт между пятью державами, который существовал в первое время после войны, Советский Союз выдвигал предложение о заключении Пакта Мира между пятью великими державами, Пакта, могущего полностью восстановить контакт и сотрудничество, обеспечить мир во всём мире.

Позиция СССР ясна, она основана на фактах, на реальной действительности. Она снова неоднократно сформулирована в выступлениях руководителей Советского государства.

«Советский Союз, — говорил на пятой сессии Верховного Совета СССР Г. М. Маленков, — будет последовательно и стойко проводить политику сохранения и упрочения мира, развивать сотрудничество и деловые связи с теми государствами, которые со своей стороны стремятся к этому, крепить узы братской дружбы и солидарности с великим китайским народом, со всеми странами народной демократии.

Мы твёрдо стоим на той позиции, что в настоящее время нет такого спорного или нерешённого вопроса, который не мог бы быть разрешён мирным путём на основе взаимной договорённости заинтересованных сторон».

Далее товарищ Маленков отмечал: «Вся современная обстановка подчёркивает особую ответственность великих держав за дальнейшее ослабление международной напряжённости путём переговоров и урегулирования спорных вопросов. Именно на них Устав ООН возлагает главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности».

Советский Союз не устаёт напоминать великим западным державам о необходимости, неизбежности разрешения всех тех неотложных вопросов, которые поставлены жизнью и забвение которых создаёт в мире беспокойство и напряжённость. Этой цели служат предложения делегации СССР на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся запрещения атомного оружия, сокращения вооружений великих держав на одну треть в течение года, ликвидации военных баз на чужих территориях, осуждения пропаганды войны,

Об обязанностях пяти великих держав напомнила нота Советского правительства правительствам Франции, Англии и США от 28 сентября 1953 года о созыве совещания Министров иностранных дел. Нота, в частности, отмечала, что «...назрели важные проблемы международного значения, требующие безотлагательного совместного рассмотрения при участии Франции, Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Китайской Народной Республики и Советского Союза, поскольку, в соответствии с Уставом ООН, прежде всего, на этих странах лежит ответственность за обеспечение мира и международной безопасности». Эту точку зрения Советское правительство подтвердило и в ноте правительствам Англии, Франции и США от 3 ноября 1953 года.

Высок и неизменно растёт международный авторитет СССР. Его внешнюю политику поддерживает подавляющее большинство человечества, потому что она исходит из интересов народов всех стран, опирается на факты, выражает требования живой жизни. Ей обеспечены новые успехи. Она победит.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. ПОМЕРАНЦЕВ

★

ОБ ИСКРЕННОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ

В предлагаемых ниже заметках нет исчерпывающего разрешения темы или стройности выводов. Здесь разрозненные, а частью, вероятно, и спорные мысли о некоторых недостатках нашей литературы. Но объединяются они той общей идеей, о которой говорит заголовок.

Искренности — вот чего, на мой взгляд, не хватает иным книгам и пьесам. И невольно задумываешься, как же быть искренним.

Неискренность — это не обязательно ложь. Неискренна и деланность вещи.

Когда мы читаем, например, стилизаторов, то остаётся неприятный осадок. Слишком много видим мы выисканных, подобранных, вычурных мыслей и слов, слишком напряжённо следим за манерой письма, и поэтому его содержание остаётся за порогом сознания. Это вещи непростые, искусственно-сложные, и они угнетают читателя сегодняшних дней своей явной состроенностью.

Но вот я прочитал роман, в котором никакой стилизации нет, ибо не стилия вообще, а оставляет этот роман после себя тот же холод, как после книг, где ощущаешь кокетство приёмами. Я имею в виду «Решающие годы» С. Болдырева. Тут деланность вещи выпирает не из манеры письма, а из надуманности персонажей и положений. Это, так сказать, другой способ конструирования романов и повестей.

Конечно, скука от книги С. Болдырева объясняется и литературной беспомощностью. Но основное её зло — в явной состроенности. На металлургических заводах страны, конечно, шла и идёт борьба за наибольшую производительность домен. Но борьба эта может стать фактом литературы лишь в случае, если в неё включаются мысли и чувства писателя. Вот этого-то в «Решающих годах» и нет. Здесь всё будто бы правильно и всё, с точки зрения художества, абсолютно неправильно. Души автора мы здесь не чувствуем, его собственных мыслей не узнаём. Мы читаем лишь слишком известное, не проникнутое эмоциональным налётом, да ещё одобренное культом личности героя романа. Поэтому в людей этой книги не верится. Герой здесь — сверхгерой. Он замышлен, преднамерен, надуман, содеян. В романе нет, вероятно, греха ни против техники металлургии, ни против организации производства на домнах. В нём зато непростительный грех против искусства: он — роман деланный.

Всё, что по шаблону, всё, что не от автора, — это неискренне. Шаблон там, где не взгляделись, не вдумались. По шаблону идут, когда нет особых мыслей и чувств, а есть лишь желание стать автором.

Но в истории литературы художники стремились к исповеди, а не только к проповеди. Риторический роман исчез потому, что разноречил с естеством человека, которому уроки и доводы наскучивают со школь-

ной скамьи. Наоборот, эпистолярный роман имел всеобщий успех оттого, что частное письмо казалось всего откровеннее. Когда читатель почувствовал, что письма составляются для него, а не для адресатов, когда это выродилось в распространённый приём, — эпистолярный роман потерял спрос и исчез. Роман положений привлекал не столько их простотой, сколько поведением героев во всех ситуациях. Театр прельщает наглядностью быта людей, не подозревающих, что я их наблюдаю. Поэтому они держатся сами собой. Когда автор неуклюже даёт мне понять, что живущие на сцене мужчины и женщины знают о моём пребывании в зале и говорят для меня, а не для других живущих на сцене людей, то мне уже неинтересно их наблюдать, а им — уже несвободно живётся. Я бы себя тоже чувствовал скверно, говорил бы и держался натянуто, если бы знал, что сосед повертел в моей стенке дыру, глазееет на меня и подслушивает.

История искусства и азы психологии вопиют против деланных романов и пьес. Степень искренности, то есть непосредственность вещи, должна быть первой меркой оценки. Искренность — основное слагаемое той суммы даров, которую мы именуем талантом. Искренность отличает автора книги и пьесы от составителя книги и пьесы. Для состроения вещи достаточно ума, ловкости, опыта. Для создания вещи нужен талант, то есть в первую очередь искренность.

Искренности нет не только в шаблоне, и шаблон не худший из видов неискренности. Он отнимает действенность вещи и оставляет нас равнодушными, но ещё не порождает прямого неверия в литературное слово. Это происходит от другого вида неискренности, который назван у нас «лакировкой действительности». Порождён он не только ханжеством критики — в нём не меньше повинны и сами писатели. Пустил он глухие корни и стал многообразен по способам.

Жизнь приукрашивается десятком приёмов, и притом не всегда нарочитых. Они так крепко засели, что применяются некоторыми почти подсознательно, они стали, так сказать, манерой письма.

Как ни богаты приёмы лакировки действительности, проследить их всё же легко.

Наиболее грубый — измышление сплошного благополучия. Иную книжку прочтёшь — вспомнишь тот затерявшийся в истории литературы период, когда действие романа происходило под солнцем неизвестной страны, а пейзажем служили лианы. Как от этих романов исходил аромат чудесных неведомых фруктов, так от ряда наших вещей вкусно пахнет пельменями. Наиболее явное зрительно-носовое ощущение дал этот неуклюжий приём в киносценариях, где люди банкетно, смачно, обильно, общеколхозно едят. Сценарии фильмов дали писатели, тон писателям давали подобные фильмы.

Приятель поспорил со мной: «Почему, — сказал он, — западное кино демонстрирует приёмы в богатых домах, обилие вин, красоту сервировки, а мы не можем показывать того же в наших условиях». Я ответил ему, что именно потому и не можем. Буржуазная литература и фильм намеренно переносят трудящихся в двухчасовую, красивую, неправдоподобную жизнь. Мы не должны это делать. А третий товарищ поправил меня. Он справедливо сказал, что неправдоподобие фильмов этого рода не в выдумке, а в отсутствии выдумки. Любой кадр кинохроники много больше говорит о нашем материальном богатстве, чем кадр художественного кинофильма. И кадр кинофильма лакируем мы потому, что не умеем выразить в нём правду из кадров киножурналов.

Приём такой лакировки наиболее обнажён, примитивен. Он сближает произведение литературы с тем пониманием слова «роман», когда оно

было синонимом выдумки. Но зачем нам выдуманное благополучие, когда у нас есть завоёванное, подлинное, большое и капитальное! К счастью, показ жизни «через пельмени» уж слишком топорен, чтобы быть слишком распространённым.

Тоньше другой приём. Заливные поросята и жареные гуси не подаются, но и чёрный хлеб убирается. Так написана одна «производственная» повесть. Об общежитиях и столовых завода, который подразумевался писателем, он ничего не сказал, а они были скверны. Серёжек и брошек автор ни на кого не навешивал, но всё дурное и скверное у него тоже отпало.

Третий приём умнее всех предыдущих. Он заключается в таком подборе сюжета, чтобы вся проблематика темы осталась вообще за бортом. Искажение тут — в произвольном отборе. По этому способу написана одна повесть о прокуроре. Волею автора герой посвящает все силы улаживанию размолвки влюблённых супругов. Он выглядит при этом тем благороднее, что вовсе не призван заниматься такими делами. Зато получается, что беззаконий, с которыми он обязан бороться, в районе нет вообще. А к автору не придерёшься — у него-де свой определённый сюжет... Хотя и ловчее приём, а неискренность читатель всё равно ощущает.

Откуда в нашу литературу могла проникнуть неискренность? Тут много причин. Известную роль, возможно, сыграло частое в людях стремление выдавать желаемое за уже существующее. Один неверно понял значение элемента романтики. Другой совершенно неверно представлял себе способы повышения жизнерадостности романов и пьес. Иной просто облегал путь своих книг, устранив из них всё спорное и неутверждённое, соскальзывая в житейский оппортунизм. Иного дезориентировала наша критика, оперировавшая пресловутым «не характерно!»

Руководство партии показало нам, как смешна и вредна угрюмая осторожность подобного рода. Выступления руководителей партии и правительства с критикой наших недостатков повышают творческую активность советских людей, поднимают их на борьбу за лучшую жизнь. Писателям нас возмущающий обман совершенно не нужен, ибо не низка, высока наша истина.

Писатели не только могут, а обязаны отбросить все приёмы, приёмы-ки, способы обхода противоречивых и трудных вопросов. Долг литератора, получившего ясную программу движения нашей страны, — помогать ей именно в сложном. Нашей литературе нужны строители, а не профессиональные барды. Бард занимается воспеванием радости, а строитель её создаёт. Писатель, черпающий свой энтузиазм не из издательской кассы, а из наших великих достижений и великих программ, никогда не станет заглушать проблематику, а будет искать решения любой проблемы нашего сложного и самого интересного времени. Зачем нам идеализация, когда у нас есть и нами осуществляется сам идеал!

И всё жё... всё же полная искренность — задача, которую каждый писатель должен разрешать сам для себя.

Нам нужна не всякая искренность. Писатель, как всякий живой человек, не избавлен от неправильных мыслей, от вкуса и оценок, рождённых данной минутой. Неподдельная искренность не есть ещё объективная истинность. Искренней может быть и самая субъективная мерка, преходящее мнение. А искренность, которая приводила бы к правде жизни, к правде партийной, — это не настроение. Такая искренность больше. Она обнимает и разум, и совесть, и склонность — многое, чего

даже нельзя объяснить. Она требует напряжения, какого для неискренности или для настроения вовсе не нужно. Умысел прост, искренность всегда очень сложна.

Вот давний случай из дальнего места.

На должность следователя приехал в сельский район паренёк, только что кончивший вуз.

В районе был колхоз новосёлов. Расположился он на отшибе, в глухой лесной местности, за рядом озёр, где никто ещё не жил. Переселенцам отвели много земли, дали кредит, тягачи, освободили на несколько лет от налогов и поставок продуктов.

Хозяйствовали они только два года, но успели уже вызвать о себе противоречивые толки. Одни считали, что направление хозяйства взято неверное, что уж слишком добротнo строятся личные дома членов колхоза и новая деревня, ещё ничего не дав государству, уже выглядит «кулацкой заимкой». Другие, наоборот, восторгались энергией переселенцев, создавших на пустыре «деревню нового типа».

Районные руководители ездили к переселенцам не часто — добираться до них было трудно, а весной и осенью вообще невозможно. Путешествие в Новое приходилось совершать на своих на двоих, чередуя этот вид транспорта с лодочным. При этом бывало, что на одном из озёр лодки вдруг не оказывалось, что её угнал какой-нибудь своевольный рыбак, и тогда приходилось или ждать его возвращения, или самому возвращаться в район. Бездорожье между райцентром и Новым было таким абсолютным, что даже машины колхозу доставлялись в разобранном виде.

Председателем у переселенцев была женщина, прозванная в райцентре «бой-бабой». Коммунистка, но своевольная, она мало считалась с районным начальством и делала у себя, что хотела. Практичная, зубастая, умная, она изредка заявлялась в район, и тогда учреждениям вроде райзо и райпо приходилось круто и солоно. Эту председательшу в райцентре не очень любили.

Однажды о ней донёсся нехороший слухок. Она занималась будто бы такими делами, за которые полагается не только с работы снимать, но и судить. Этот слух надо было проверить, но действуя так, чтобы бой-баба не заподозрила за собой наблюдения. Прокурор решил направить в заозёрье нового следователя, благо женщина никогда его не видала и он мог ей назваться счетоводом райзо, приехавшим помочь в постановке учёта. Парню велено было вообще присмотреться к колхозу свежим глазком, поглядеть, есть ли толк в освоении этого тяжелейшего места, и выполнить заодно поручения разных учреждений райцентра. Их надавал даже райздравотдел. В ту пору поездка в заозёрье была экспедицией, и все ею пользовались.

Следователь в сопровождении конюха добирался до Нового четверо суток и всю дорогу волновался, справится ли он с этим первым заданием. Оно казалось то очень ответственным, то очень обидным. Брало сомнение, почему в заозёрье отправили именно его, а не старого следователя. Не потому ли, что того больше ценили и не хотели отпускать на такое долгое время? Или же, наоборот, деликатное дело решили доверить именно вузовцу? Может быть, прокурор опасается, что старого хитрая баба перехитрила бы, и больше надеется на молодого? И парень всё время думал только о том, как доискаться, раскрыть преступление, как себя показать. Это был вопрос самолюбия.

Но эти мелкие, никчёмные мысли сменились по приходе в колхоз новыми и куда более важными.

Сменились после первых же разговоров с бой-бабой, оказавшейся вовсе не хитрой, а совершенно прямой.

Лет сорока, а то и побольше, мясистая, крупная, с грубоватым голосом и злым языком, но не злыми глазами на свежем, будто только что отпаренном в бане лице, она встретила парня с ухмылкой.

— Отважились добираться до нас? Ну, значит, быть вам Молоковым или Каманиным. А начальник-то ваш только дома перед женою герой. Третий год тут живём, а он и не был ни разу. Всё других заместо себя посылает. Ну, да мы не в накладе. Меньше начальников — меньше с ними ругни да возни. И то ведь сказать — чего им к нам ездить, когда с нас ещё нечего взять. Они только там и гостуют, где заготовка идёт. А вы, значит, насчёт учёта проверить? Глядите, глядите — может, чего и проглянется вам. Только я сомневаюсь. Кабы и были воры у нас, им всё одно ещё нечего красть.

Деревенька парня ошеломила. Такой он ещё не видал. Подпёртая крепостной стеной высоченного чёрного леса, она глядела на бескрайнее озеро, а с боков её расстилались луга. Маленькое людское селение в этом девственном месте казалось не всамделишным, а нарисованным. И чистенькие, с резными узорами домики, пахнувшие свежим срубом и краской, были тоже игрушечными.

— Не с того начинаете, — сказал парень бой-бабе и счетоводу, водившим его по деревне. Сказал, чтобы сбросить с себя чарование и показать, что он тоже не лыком шит.

— А с чего ты сам на новых местах начинал? — пренебрежительно усмехнулась в ответ председательша. — Поделись, паря, опытом.

Гость покраснел.

— Чужие слова не подбирай, — назидательно бросила женщина. — У вас там горазды болтать. А мы, видишь, село залагаем. Это тебе не сахар лизать. Тут со всего начинать надо вместе.

Следователь стал присматриваться к жизни переселенцев. Он ходил с ними на валку и распиловку, наблюдал, как клали стены и стелили полы неторопливые, но ловкие плотники — шуплые на вид, но больше-рукие мастера-старики, — тихо восхищался понимающими руками доярок.

— Уж Марья Никитишна подобрала народ! — одобрительно говорила колхозники о председателнице, рассказывая, как она с делегацией ездила из центра России за три тысячи вёрст выбирать новое место, как приглянулось ей «нежилое-непаханое» заозёрье в безвестном краю, как отбирала людей для первой переселенческой партии.

— Освоите? — с сомнением спрашивали делегатов работники переселенческого отдела нового края, привезя их на этот кусок затерявшейся в миру благодати.

— Беру! — коротко, с засверкавшими глазами ответила Марья Никитишна.

Им не пришлось, правда, как некогда отцам и дедам, переселяться обозами, полгода плестись, губить в дороге коней и хворыми добираться до места, чтобы ковырять потом новую землю руками. Нет, они сели в поезд без панихид и без воя. Сдали на старом месте скот и зерно, сполна получили замену на новом. Им дали машины, пилы, резиновые сапоги, семена, планы засева, толкового животновода и пятерых комсомольцев из местных — мастаков и по тракторной и по девичьей части. Да, среди переселенцев преобладали безмужние женщины. Сама Марья Никитишна прогнала в своё время трёх мужиков и теперь тоже была не вдовой, не мужней. Жила она с дочкой и зятем, боявшимся её как огня... Но хоть и многое получили переселенцы, а всё-таки пни они корчевали руками и под небом тоже жили все четыре сезона первого года... Бой-баба решительно противилась постройке временных изб.

— Если понаделаем их, — уговаривала она поселенцев, — то так в них и останемся. А примаялись мы сюда не для того, чтобы подпираться

дрычками. Раз мы Новое, так и жизнь должна пойти новая. Наша Россия к социализму идёт, и мы, гляди, уже вступим в него. А коли вступать, так надо в бревенчатых и с отдельными спальнями. Что можем мы отложить на потом? Отложить на потом можно только одну штукатурку.

И вместе с коровником, птичником сразу появились первые домики.

Следователь на каждом шагу ощущал хозяйственность и организационный талант председательши, хорошо понимавшей, как использовать необычное место.

На воде крикало множество уток... Несколько женщин возились у сепараторов... На берег причаливала лодка, полная рыбы... Рылись силосные ямы...

Первые впечатления были наилучшими, великолепными. Маленьким и незначительным показался его собственный труд сравнительно с этой стройкой и созданием. Место было прекрасное, но и труд тяжелейший, а бой-баба трудилась более всех, была всегда на ногах. До преступления теперь совсем не хотелось доискиваться, было даже досадно обмануться в бой-бабе.

Через несколько дней, против воли и неприметно, эти впечатления стали тускнеть, затеняться другими...

Может быть, это произошло оттого, что в делах счетовода не оказалось никаких документов на ряд машин и материалов в колхозе? Может быть, оттого, что со вспаханным на сепараторах маслом отправились в многодневный таинственный рейс два колхозника, которые должны были возвратиться с паклей и войлоком для утепления ферм? Или тут возымело значение обилие рыбы и отсутствие хлеба, чтобы её заедать? Или действовали на настроение парня дожди, сменившие роскошные дни? Дожди пошли такие злые, холодные, безостановочные, озеро так вздыбилось и почернело, а люди и земля так намокли, что весь живописный и сказочный вид заозёрья сразу исчез, и на месте его взялся до ужаса угрюмый и серый, в наказание людям придуманный угол земли Захстелось бежать...

Ночами, когда Новое тонуло во сне, парню казалось, что оно тонуло в воде. За окном без передышки хлестало, не видно было ни одного огонька, и всё выглядело так, будто следователь был заброшен на край света, на острова океана, у которых нет никакой связи с Большой землёй. Доползать отсюда назад до районного центра надо было почти столько же суток, сколько он ехал когда-то студентом в составе весёлой экскурсии из Иркутска в Москву... Дождь и ветер, поднимавшийся с озера, били по домам и вместе и врозь, устроили сообща шабаш ведьм, сменили все краски и цвета заозёрья на одну только чёрную, сделали Новое жалким и от мира оторванным местом... Мысль селить здесь людей показалась неверной, их тяжёлый труд и красивые домики — муравьиной затеей, планы освоения заозёрья — ненужными и безнадёжными... Эта мокрая, дождливая правда заступила другую, и он не знал теперь, что ему писать в докладной.

Потом небо, вылив всё, что имело, снова заулыбалось. Дни опять пошли сухие и тёплые, словно просили прощения за то, что дурили. Но вместе с восстановившейся прежней правдой неожиданно вскрылось и... преступление.

Докопался не следователь, а его конюх. И даже совсем не докапывался, а только выпил с плотниками два стакана и свалился.

— Откуда у плотников? — вскинулся сразу начальник.

— Председательша им выдаёт. У неё на дому. Поспешай, Михалыч, не обделит и тебя.

Бой-баба смутилась лишь на секунду.

— Ну, что ж! Коли проведал, так получай. Заходи, не топчись...

Дочь работала на ферме, зять валил лес. Хозяйка была дома одна с шестилетней внучкой. Подала сковороду жареной рыбы, пошла в соседнюю комнату и вернулась с ведёрком.

— Погоди, прощезу.

Аппарат стоял тут же, у неё на квартире!

Всё было так просто, нескрываемо, прямо, что не к месту показались Уголовный кодекс, составление акта, дремавшее в кармане удостоверение личности.

А бой-баба нацедила два стаканá, положила на стол свои груди и заговорила о своём виноделии так спокойно, будто речь шла о погоде.

— Значит, и городских тянет, а? Хоть и аппараты у меня неказистые, и варим из чего ни возьми, и запаху уложить не умеем, а всё людям попробывать хоцца. Такие уж дерьмовые горла у вас, мужиков. А вот я сама не охотница. Выпью с тобой для компании этот стаканчик, и не проси меня больше. И вкусу не вижу, и нутро не берёт. Только для надобностей колхоза гоню. Чтобы нам скорее на ноги встать. Знаешь, как я плотников по району понабрала? Придётся к каждому, начнёшь агитировать: «Работы тебе, дед, будет разгон и стаканчик в каждый обед. Здесь тебя сторожем держат, а у нас в первых людях будешь ходить и ложку станут подавать не сухой». Сильно в хозяйстве нам вино подсобляет. Этот вот лес наш тянется сорок пять вёрст, а за ним есть рыбацья деревня, прописанная по другому району. Там большие специалисты по лодкам живут. И бондарят они. Я — им, они — мне... Я, брат, везде побывала... Сильно нам в хозяйстве вино подсобляет.

И так же спокойно добавила:

— У нас насчёт аппаратов постановление общего собрания было.

— Что-о?!

— Вот-те и что. Конечно, в тетрадь не подшили и в райисполком не представили, а промежду себя голоснули, как полагается. И на меня возложили. Знают, что не мужик, не сопьюсь, всё на дело пойдёт...

— Марья Никитишна, — нашёлся наконец неудачливый следователь, — понимаете ли, что вы преступление делаете, что за него можно в тюрьму угодить?

— Знаю, — ответила женщина. — Только я уродилась бесстрашная. Ответственность меня не пугает, а перед совестью своей я чиста. Почему государство самогон запрещает? Чтобы зерно не травили и от водки доход был. Ну, а мы лишнее зерно не расходует, только потребляем его в жидком виде, и водке тоже никак не соперники, потому что её к нам не завозят. Ничего я, выходит, государству плохого не делаю.

Глаза женщины были бесхитростно честны.

— И кабы тут водка была, — продолжала она, — начались бы всякие престолы, пьянки, невыходы. А теперь я контроль держу, регулирую полный порядок. Ты у нас хоть одного пьяного видел? То-то и есть! У нас вообще такого случая не было, чтобы человек на работу не вышел или норму испортил. Что в лесу, что на поле, на ферме — все планы наперёд исполняем. Зоотехник и агроном сюда приезжали — диву дивились. «Да ты, — говорят, — Марья Никитишна, уже следующей осенью будешь по десять центнеров брать!» А я отвечаю им: «Врёте, меньше чем по четырнадцать не соберу».

Она кивнула на пачки брошюр в раскрытом шкафчике местной плотничьей выделки:

— Вон она, моя агрономия!

И вдруг засмеялась громко и грубо.

— Да и книжки-то здесь не нужны. Земля тут без книжек рождает. Вздыбли её тракторами, расшевелили, ну и пошла! Ждала, чтоб дорваться. Мне потому и приглянулось местечко, что я его силу почуяла.

Из переселенческого отдела инструктор всё упреждал: «Смотрите, — говорил, — место тяжёлое, потребует много трудов». А я ему: «Мы, дорогой товарищ, труда не боимся, коли он с толком. А из этой земли толк сам рвётся наружу».

Гость сидел понурый, не зная, что ему делать.

После этого случая он не знал, что ему думать, что написать. Кто такая, в конце-концов, эта женщина? Пионер ли она новой жизни, талантливый вожак сотни крестьянских семейств или практичная и плутивая баба? Расчётливый и трезвый хозяин или оборстистый и ловкий хозяйственник? Корысть или любовь ею двигают? Деятель она или делец? На верной ли дороге первый колхоз заозёрья?..

Он никогда раньше не знал, что из найденных и установленных фактов так трудно извлекать потом выводы, что правда так тяжело добывается. В годы учения всё было ясным. Тогда казалось, что следственная работа состоит в поисках данных и квалификации их по статьям Уголовного кодекса. Но первый же жизненный случай в кодекс не уместился.

Следователь шёл в заозёрье, сильно волнуясь тем, как раскрыть. А когда без всяких усилий раскрылось, его это вовсе не радовало. Лучше бы не раскрывалось, не сбило ясности красивеньких домиков, не запутало образ бой-бабы.

Почему он не может решиться на вывод? Или он хлюпик интеллигентский?

Она гонит вино. Нужно этот факт заактивировать, наложить арест на аппарат — вещественное доказательство по уголовному делу. Нужно, конечно... Но для этих нужных и нехитростных действий прокурор мог послать в заозёрье двух сержантов милиции. Следователя послали для более глубоких наблюдений и выводов.

В чём же должна состоять глубина? В том, чтобы не замечать преступления?.. В то же время бой-баба примечательна вовсе не преступлениями.

Так перед следователем возникли проблемы. Разобраться в председателе Нового — значило определить что-то для себя самого. Разобраться в ней можно было, только разобравшись в себе.

Вечером, накануне ухода в райцентр, следователь пошёл искупаться. На берегу он застал возвратившуюся рыбацью бригаду, нескольких женщин и председательницу. Бой-баба молчаливо, качая головой, наблюдала за выгрузкой.

— Видишь, бухгалтер, что у нас делается? — сказала она недовольно. Следователь не понял её.

— По-моему, рыбы немало...

— Немало? — иронически переспросила она. — Да ты видишь ли, что лодка вся погрузилась? Борта только вершок над водой. Девать её куда, рыбу-то! Подолами можно черпать. Одно безобразие!

Он снова не понял.

— Чего же тут безобразного?

— Чего? — повторила она уже зло. — А того, что олухи, дурни у вас там в районе сидят. Девять озёр пропадают! Калинину надо писать. Ни тебе лова, ни тебе транспорту... Весь район бы тут можно кормить... Прозванье одно, что коммунисты. Моя бы тут власть, я бы их, лежебоков-то ваших, из партии живо порасшвыряла. Секретарю говорю, а он мне: бюджет, мол, не позволяет. А бюджет-то, он тут, тут, — ткнула она жирным пальцем на озеро, — в воде он у вас, дурачье!

Все засмеялись.

— Не смешки тут, а слёзы! — окончательно рассердилась бой-баба.—

Посмотришь, досада берёт. Бюджета им, видите, нет! Самы сидят на нём и плачут по нём. Да вытащите вы его из-под задницы, вот он и отыщется!

И обратилась к приезжему:

— Идём-ка, я тебе на прощание кой-чего покажу.

Она решительно повела его от озера в какой-то сарайчик.

Было темно, но следователь разглядел валяющуюся рыбу, кадки с мукой.

— Чуешь, чем заниматься приходится? — спросила бой-баба. — Сушим остатки, мелем её пороссятам. Как тебе это нравится? Вместо того, чтобы люди бы ели...

Из сарая она повела его в сторону леса.

— Ты расскажи это вашим начальникам, объясни, что творится. Я-то, конечно, как на ноги встанем, рыбой весь районный базар завалю, но только разве моё это дело? Тут на втором озере надо рыбный колхоз создавать. Лодки выделять в общем масштабе. Самогоном я только четыре добыла. И думаешь, не найдётся в районе дурак, который мне их в строку поставит? Может найдётся. Дураков-то хватает... А на третьем озере надо паром завести. И, главное дело, сыроварню сткрыть. У нас удоёй нынче был две восемьсот с головы. Сам видел, какие луга. Молоко везти невозможно — прокиснет. И лес нам самим тоже не дело разделять. На первых порах — никуда не деваешься, а как дальше селиться начнут — так нужно вперворадь лесопилку. Прямо сейчас бы. Чтобы загодя пилить и сушить. Я всё это каждому в районе втолковывала и тебе говорю. Раз ты тут был, — объясняй теперь, пропагандируй. Чтобы вся наша география государству на службу пошла.

Она говорила ещё долго и много, выговаривая всё, чем жила и о чём помышляла.

На его докладную должно было прийти человек десять читателей. Тираж её был три экземпляра. Но, пытаясь составить её, он впервые за жизнь счёл долго искал, что будет верно, что будет правильно. Он ничего не хотел сказать, кроме правды, но именно правда ему не давалась.

Докладную будут читать секретари, председатель райисполкома, райзо, прокурор, инструктора переселенческого отдела облисполкома. Это всё разные люди, и каждый станет искать в ней не то, что другой. Один вычитает одно, второй возьмёт на заметку совершенно иное. Прокурору совершенно достаточно самогоноварения. Начальник райземотдела выпишет цифры об урожае, удое. Заврайфинотделом будет интересоваться исполнением смет и расходом кредитов. Каждый вберёт в себя из докладной лишь близкое его кругу интересов и склонностям. Можно даже предвидеть, кто на какой из страниц улыбнётся или нахмурится. Секретарь райкома, например, нахмурится дважды — при описании коммерческих дел Марьи Никитишны и при описании пробелов в его собственном руководстве районом. Но разве секретарю и о секретаре нужно писать лишь такое, чтобы он улыбался? Нет, писать нужно честно. А честно писать — это значит не думать о выражении лиц высоких или невысоких читателей.

Надо равно писать о дурном и хорошем, и пусть себе начальники делают выводы. Впрочем... Нет, это тоже будет нечестностью. С перечнем фактов справился бы подлинный счетовод из райзо, а от следователя ожидаются выводы. Уклоняться от них... нет, это ему не к лицу.

Но выводы делать нельзя, потому что расходятся две разные правды и нет в сердце единства.

Прокурор торопил с докладной, а она не писалась. Несколько дней следователь не мог к ней приступить. Брался за карандаш, но не получалось. На пятый день начальник уже рассердился.

— Ну, сколько ты будешь тянуть?! Столько времени возился с одной самогонщицей, а теперь ещё с докладной канителишь. Надо кончать.

Вот тогда-то его взорвало. Тогда-то в сердце сразу появилось единство. Нет, бой-баба не самогонщица! И с нею нельзя кончать! Как так кончать, когда она только всё начинает! Рыба, лесопилка, паром...

В нём всё возмутилось. Это было, словно ему велели зарезать бой-бабу. Пырнуть ножиком из-за угла в тот самый момент, когда она, ничего не подозревая, уверенно шла по заозёрному краю, неся в своих мощных объятиях четырнадцать центнеров, дома и сыры. Нет, он сам бы себе опротивел, еслк бы свалил эту женщину с ног. Ни за что!

И сами собой нашлись вдруг слова для написанной в одну ночь докладной. В ней и не было раздела, который назывался бы «Выводы». Он был не нужен, так как каждая строчка дышала...

Он забыл, что блуждал три недели между множеством правд.

Пиши он под первым впечатлением от живописной земной благодати, докладная была бы искренней, но не правдивой. Пиши он её в дождливые ночи, когда заозёрье казалось нестоящим, — докладная была бы искренней, но не правдивой. Теперь же пером вели не восторг, не уныние, не правда погоды, а правда какого-то крепкого чувства, переборовшего и солнце и слякоть, обнявшего всё. Это чувство было уверенностью. И такое чувство уже не разноречило с кодексом, с мыслью о долге, с идеей долга.

При чём тут статья Уголовного кодекса! Она говорит о самогоне, изготовляемом для потребления. А бой-баба изготавливает его для ошце рения. Второй пункт статьи карает сбыт самогона с целью личного обогащения, а у бой-бабы — общественное служение. Всё это кодексом не предусмотрено. Это случай особый, как многое в жизни особо.

Дикий случай? Беспрецедентный? Да, но беспрецедентна и жизнь в заозёрье. Беспрецедентна бой-баба.

И раз случай особый — отнестись к нему надо тоже особо. Тут нужен голос более крепкий, чем бас председательши. Чтобы поняла она и склонилась. И всё!

Самогон и обмен масла на войлок — это не сущность бой-бабы. Это только какая-то неправильность в ней, как неправилен обмен веществ в её организме. Товарищи, отличите в бой-бабе временное от постоянного, не обманитесь наносом и примесью!

Мне подозрительно происхождение бочек, кадок, на которые не нашлось документов, и я подсчитал, что, помогая людям строить дома, колхоз сильно вылез из сметы. Но почему эти факты меня мало расстроили, почему моё возмущение стало уже неглубоким, а скорее официальным? Потому, очевидно, что это только боковые канавки возле прямой и широкой дороги этой женщины. Надо загрузнтовать эти рвы, а не закрывать из-за них самый путь.

Акты можно составить. Но бой-бабу вы по актам не прочитаете. Эта женщина — совсем ещё не законченный текст. Она будет меняться со своим заозёрьем. И сделает его краем осуществлённых идей.

Некоторые её поступки дурны. Но, идя за нею, люди идут за хорошим. Нельзя таким способом карать её за дурное, чтобы отнять у заозёрья хорошее.

Не в таких, быть может, словах, но именно так написана была докладная. Прокурор не принял её, назвал бредом, нашёл, что следователя в вузе переучили, и потребовал в суточный срок обвинительное заключение по уголовному делу.

Руководитель района долго качал головой.

— Как же это вы, юрист, предлагаете не судить за преступление?

— У нас судят преступников, а не преступление.

— Значит, по-вашему, она не преступница?

— Нет.

— А кто же?

— Руководитель колхоза.

— Хорош руководитель!

— Какая есть. Для романа можно бы придумать другую, а в заозёрье другой не имеется.

— Значит, если бы вам предоставлено было решать этот вопрос, вы бы её не снимали?

— Снять — это для неё не решение. Есть много других.

— Например?

— Например, пойти в заозёрье, собрать там колхозников и сказать им: «Товарищи, не прибегайте к окольным путям добывания лодок, без которых вы не можете жить. Я пригнал вам сделанные райпромкомбинатом».

Руководитель района рассмеялся.

— Это вы, значит, уж в мой огород! А её, выходит, простить?

— Не то слово. Прощать не надо. Надо построить новосёлам прямую дорогу, чтобы окольные сделать ненужными.

— Если вы в таком духе будете работать у нас, то суду, пожалуй, работы уже не найдётся.

— Почему же? Он будет судить тех, кто расхищает наше добро, а не тех, кто иногда делает ошибки, думая его приумножить.

Приятель, который рассказывал мне этот эпизод своей молодости, теперь пишет книги. Но ему видится связь между ними и своим первым служебным заданием.

— После этого случая, — сказал он, — отношения с начальником настолько испортились, что я просил облпрокурора перевести меня в соседний район. Затем забран был в область. Потом перешёл на работу в печать, исшагал много дорог. В первые военные дни, уже офицером, встретил на улице Горького... кого бы ты думал? Бой-бабу! Она оказалась председателем райисполкома. Приезжала в отпуск столицу смотреть, и тут её застала война. Постарела, но с прежней горячей своей деловитостью рассказывала о преобразении заозёрного края. Там уже было девять колхозов, гидростанция, налаженный быт. И когда она сказала: «Живём теперь правильно», — я подумал, как сам сделал правильно, отказавшись тогда сделать неправильное... Вот так бы и в книгах. Ведь и они расследуют поступки людей. И в них решаются судьбы... Искренность их должна тоже быть выношенной. Искренность их должна тоже быть мужественной... Не писать, пока не накалдился... Знать, за что борешься... Не думать о прокурорах... Не выписывать выводы, но не допускать ни одной строчки бездыханной... Быть самостоятельным... И тогда моя правда сольётся с нашей общей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАНДАРТА

У него разные фамилии, но их нельзя ни отличить, ни запомнить. Эти фамилии известны управдомам и ближайшим знакомым, но не читателям книг, сходных друг с другом, как стеариновые свечи или дверные замки. Читать их неинтересно и трудно, как трудно съесть каждый день неизменные борщ и котлеты в безлюбовно руководимой столовой.

Удручающе одинаковы эти вязкие книги! В них стереотипны герои, тематика, начала, концы. Не книги, а близнецы — достаточно прочитать

их одну-две, чтобы знать облик третьей. Всюду в них равно знакомые плоскости. Можно подумать, что производил их не человек, а конвейер. Прочитав первую, останешься к ней равнодушен, но от третьей почувствуешь себя уже оскорблённым. Человек говорит о книге «моя», а я переспрашиваю: «Ваша? А что же в ней в а ш е г о?»...

И у меня завязался с ним разговор.

Он (обиженно). Чем же я хуже других, и чем другие лучше меня? В моей книге всё бесспорно и правильно.

Я. Чересчур уж бесспорно! Настолько бесспорно, что получается общее место. А общее место всегда безукоризненно правильно, но подменять им искусство неправильно. Вам такая диалектическая противоречивость понятна?

Он. Мне понятно, что вы позволяете себе называть общим местом мои политически чёткие формулы. Смотрите!.. Говорите, да не заговаривайтесь.

Я. В а ш и формулы? Нет, вашими они вовсе не стали. Вы их переписываете и, значит, не вжились в них. Вы их присвоили, а не освоили. Будь это иначе, формулы стали бы для вас не шпаргалкой, а чувством. Чувство, в свою очередь, дало бы вам средства художественно осуществить любой замысел. Впрочем, что говорить с вами о замысле, когда у вас только умысел.

Он. Что это ещё за новая дерзость! Что значит умысел?

Я. Умысел в том, что вашей рукой водила не душа, а тщеславие. Умысел в том, что вы пытаетесь выдать за повесть сплетение фактов и слов. Умысел в том, что вы производили пригонку своей книги к другим. В том, что...

Он. Подождите, подождите, вы уж больно напористы. Разве я виноват в том, что до меня на ту же тему и о тех же людях писали другие? Ведь герои-то у нас — носители общей идеи!

Я. Они у вас носят с идеей, а не носят её. Им и сны снятся только последовательные. Нормальный сумбурный сон для них исключён. И как они между собой разговаривают! Тирадами, взятыми с радиоплётки. Разве таким бывает людской разговор, разве льётся так речь человека, особенно когда круг собеседников состоит из двух человек! Помните, как ваш герой дарит дочери часики, потому что поднялся его ж и з н е н н ы й у р о в е н ь? Он — вытяжка из газетных столбцов — позабыл, что в семье никогда не поднимается жизненный уровень, а улучшается жизнь. Помните вашего механика из МТС, который мечтает с полюбившейся девушкой, как они вместе будут инвентарь ремонтировать? Неужели же он только для этого женится? Неужели и дома у него мастерская?! Или шахтёр ваш, восклицающий: «Скорее бы применить удлиненные шнуры! Скорее кончился бы выходной день!» Где нашли вы такого крота, который всё время рвётся под землю?! Или речь персонажа в другой вашей повести, обращённая к жене, принесшей с фермы бидон молока! Так говорят лишь на митингах, в прокурорских речах по делам о хищениях, а не с глазу на глаз. Я мог бы бесконечно приводить вам такие примеры и, в частности, из повестей, которые печатали в толстых журналах. Там обманываются новизной вашей фамилии, не чувствуя, что вы не новый, а старый-престарый. Носиться с идеей, оперировать большой идеей по маленьким поводам — значит прищипать эту идею, не поднимать, а обеднять её.

Он. По маленьким поводам? А какие же ещё можно выдумать поводы? Ведь я не эпоху обозревал, не бродил по векам, не говорил о народах, революциях, войнах, а всего только описывал одну деревеньку. Чего вы, в самом деле, хотите!

Я. Наконец-то вы себя выдали! Какое право имели вы писать о деревеньке, если она не была для вас центром вселенной, не поглощала все ваши мысли? Ведь деревня — место, далёкое ещё от благоустройства, а я вашего волнения об этом не вычитал. В вас нет злости ко злу, и я не узнал, как его вытравить. У вас нет кругозора, и поэтому деревенька живёт лишь сегодняшним днём, выпадает из нашей эпохи. В вас нет биения пульса, стчего не пульсирует и в книге жизнь. Короче говоря, у вас ничего нет внутри..

Он. Ну, это уже переходит пределы! Допустим, моя книга не так хороша, но ваш тон ещё в десять раз хуже. И что за нелепая требовательность! Я ведь не собирался пролезть этой книжкой в гении, я ставил себе скромную, небольшую задачу.

Я. Да, задачи надо ставить себе по плечу. Но и в скромной задаче вы не смеее уходить от большого и трудного. Вы должны искать его для себя, а не бежать от него. Знаете, как надо писать книгу о людях одной деревеньки? Так, чтобы о ней прочитал весь земной шар. Да, да, не приподнимайте удивлённо бровей. О крестьянах существует множество книг, и браться писать о них дальше надо уж с тем, чтобы новою книгою с новым освещением жизни открыть новый счёт. Другими словами, нельзя гисать книгу, если вы не ощущаете её особую нужность, если не чувствуете себя н е о б х о д и м ы м, даже неизбежным в литературе.

Он. Значит, по-вашему, литература должна состоять только из гениев?

Я. Нет. Вероятнее всего, что книги-вехи вы не напишете и получится только рядовая. Но цель ваша должна быть большой, труд непрерывным, трактовка исчерпывающей, прицел — самым далёким. Иначе книга выйдет не рядовой, а трафаретной и серой. А трафаретные книги вредны стране. Я был недавно в сельском районе, где из числа библиотечных читателей выбыло за год 7 человек. Когда библиотекаря, встретив на улице парня, спросила его, почему он перестал приходить к ней за книгами, тот ответил: «Я уже прочитал три романа. Ведь в них всё про то же...» Библиотека приобрела за год 45 новых читателей, и они перекрыли счёт выбывших. Но с писательского счёта выбывшие не могут быть сняты. Писателям надо осознать, что серые сходные книги дискредитируют литературу. Поэтому вам, писателям, нужен лозунг: плохая книга хуже, чем никакая.

Он. Да, всё это легко говорить. Попробовали бы вы сами писать..

Я. И попробуем, если нас сильно потянет. Не будем писать без внутренней тяги. Отчего ваша вещь лишена драматизма? Оттого, что вы сами его не испытывали. Да и откуда браться ему! Ведь не деревня воодушевила вас на замысел книги, а желание фабрикации книги привело вас в деревню. Когда писателей влекла к себе деревенская жизнь, когда их волновали проблемы села, то и книги их потом привлекали и волновали читателей.

Роман должен осветить неосвещённые стороны жизни, а вы ездите подбирать лексикон, эпизоды, узлы для завязки. Поэтому ваши сюжеты — только сюжеттики, а выискиваемые вами конфликты — вообще не конфликты, а находки той слепой курицы, которая рада, когда ей тоже перепадает зерно. Это не конфликты, а лишь поединочки, так сказать — дуэли «для чести», с последующим примирением вялых противников. Поэтому я всегда понимаю, для чего служит вам такой-то диалог и такой-то пейзаж. Все ваши ходы — как на ладони. И пишете вы заранее так, что завязка может быть только одной. Расправляетесь со всеми проблемами, хотя знаете, что на деле они не устраняются, а остаются в быту. Вот это-то нас, читателей, раздражает особенно.

Убогость стрессения, быстрое распознавание фабулы, преднамеренность схемы, серость и вязкость оставляют нас р а в н о д у ш н ы м и к книге,

но универсализм ваших выходов из всех положений, достигаемый посредством лживой риторики, нас р а з д р а ж а е т. Мы оскорбляемся этим обманым приёмом, сводящим на нет все идеи, проблемы и положения. Надо быть или легкомысленным или нечестным, чтобы во всех случаях, когда в нас, читателей, возникают тоска или горечь, когда с нами происходят перемены судьбы,— бить нас, беззащитных, пустыми, бессочными фразами. Это жестокость бесталантливых людей.

Он. Ну, ладно, довольно! Отдерзились, и хватит. Теперь ваша очередь слушать меня. Пусть я сер, но и в том, что вы наговорили сейчас, т о ж е нет ни одного нового слова. Если я — производитель стандарта, то уж в ваших нападках наверняка нет свежих мыслей. Разговоры о серости и схематизме стали за короткое время таким же трафаретом и модой, как сами серые книги. Вы-то в домашнем кругу ругали меня уж давно, а критики, наскоро теперь поумнев, тоже успели в этом году сделать ругню за стандарт тем же стандартом. Они стали поучать меня, чтобы я вышел из круга, в который сами же и затолкнули.

Сознаюсь, что я был нечестен, пытаюсь отделаться от вас односложными фразами. Ведь в душе я с вами согласен... Но настоящие причины серости книг вам не известны. Многие вам не известны... Когда я воскликнул: «Попробовали бы сами писать!», то имел в виду не трудности творчества, а условия литературного быта. Я старался писать применительно к критикам. Они уверяли, будто у них есть ваша доверенность, и, действуя от имени читателей, объявляли себя беспорочными, а меня — склонным ко всяким порокам. Я, по их мнению, всегда скудоумен, ошибаюсь при всякой попытке делать самостоятельный шаг, вечно нуждаюсь в выправлениях и выпрямлениях. Вот они и выпрямили меня до того, что вам претит моя прямолинейность. Хотя партия не раз одёргивала этих людей, приведших к воцарению штампа на сцене и в книгах, они всё-таки продолжали держаться за присвоенный титул знатоков жизненной правды и уверять, что для меня она — незнакомка, скрытая под паранджой. Мне не оставалось другого, как прятаться от этих людей за горный комбайн, за домну, за трактор. Трактор служил в моих повестях свахой и загсом, разводил и сводил, ссорил, утешал, примирял. Этот трактор никогда не был «Челябинцем» — тот делал на полях своё собственное великое дело и не занимался делом несвойственным, — нет, этот трактор — мой критик.

Как мне было не бояться его! Рецензий, которые выражали бы мнение и вели бы к живительным спорам, обо мне не писали. Были лишь приговоры. Меня или гладили по волосам или били по шее.

Издатели часто ориентировались тоже на критиков. Ко мне, к моей рукописи они относились всегда настороженно. Интересовались лишь тем, быть ли ей глаженной или побитой. Борясь с их сомнениями, я нёс рукопись простенькую и ровную, как бумазейный халат. Чтобы не было складок, прошив, нашивок, воланов, чтобы гладить было удобнее...

Впрочем, издатель у меня только один — «Советский писатель». Пробовал я в «Молодую гвардию» двинуться, но её интересовали лишь рукописи на молодёжную тему. Героем произведения тут должен быть покоритель миров, не достигший предельного комсомольского возраста. Сходил я тогда в Гослитиздат, но оказалось, что там издают только классиков. Я не был в претензии — особое издательство для классиков нужно, но надо же и мне куда-то податься... Вот я и делал себя столь, как вы определили, бесспорным, чтобы в «Советском писателе» не нашли у меня каких-либо «но». Ведь это не просто — втиснуться в издательский план! Он не из ёмких, хотя художественной литературы у нас выпускается мно-

жество. В толстых литературно-художественных журналах (их в Москве всего три) планы тоже забиты, как поезда дальнего следования. Перспективы напечататься там невелики. Поэтому ходить по редакциям не было смысла. Осталось въезжать в журналы на тракторе. Трактор могуч, рычащ, грохотлив, авось оглушит... С ним не поспоришь, его не оттиснешь, он подомнёт...

Вы спросите, почему не искал я другой способ транспорта, почему не обращался за ним в Союз советских писателей? Обращался, но это ничего не дало. Творческая секция Союза писателей может лишь рекомендовать, то есть ограничиться благим пожеланием. Ей предоставлен только советательный, то есть ни для кого не обязательный голос. На собраниях же и вечерах — толкотня, болтовня или многочасовые доклады, отбрасывающие нас к одним и тем же исходным вопросам. В этих условиях не удивительно, что я топчусь в своих книгах на месте.

Неужели вы думаете, что я действительно охотно иду на риторику и только по своей ограниченности не вылезая за надоевший круг тем?! Нет, риторика — это не я, это оппортунизм мой, безволие, слабость моя. Я позволяя перестраховщикам поступать со мной по их усмотрению, я обкарнал себя в своих книгах.

Но успокойтесь. Атмосфера в редакциях начала прочищаться. На тракторах в последнее время уже не впускают. От приевшихся плоскостей иные редакторы морщатся теперь не меньше, чем вы. Это должно нас обоих взбодрить, и я подумываю о настоящих вещах. Пройдут ещё годик-два — и вы их получите.

Я. Хочется верить. Но всё сказанное вами в своё оправдание мне сильно не нравится. До сих пор я полагал, что если существо искусства актёра — становиться тем, чем он не является, то существо искусства писателя состоит в противоположном таланте. Вашу слабость я не прощаю. И сомневаюсь, чтобы дело было лишь в ней и во внешних препятствиях. Почему вся ваша горечь изливается на кого-то другого, а не на себя? Ведь книги-то пишете вы! Не служит ли ваш гнев по адресу прочих людей той отдушиной, в которую изливается внутренняя неудовлетворённость собой? Что бы вы делали, если бы не было критиков? Кого бы винили тогда в своей серости и беспроблемности? Ведь не можете вы не сознавать, что в конечном-то счёте творчество определяется не рецензентами и не обстановкой в Союзе писателей, оно определяется вами.

Плохой вы писатель, если постоянно к кому-то приспосабливаетесь. И хоть много тяжёлых грехов на душе наших критиков, я не помню, чтобы они от вас требовали: «Пишите плохо, пишите неинтересно!»

Что касается аппарата Союза писателей, творческих секций и прочего, — то какое мне, читателю, дело до всех этих дел! Неправильно сложилась обстановка в союзе? Ну, так измените её. Я только боюсь, что в вашем союзе каждый считает плохим нынешний порядок вещей, но никто не знает, каким должен быть лучший. И мне не понять, почему это мешает вам интересно писать. Я слышал, что Шекспир вообще не был членом союза, а неплохо писал.

И кто вам поверит, будто хорошая, интересная книга не пробьёт себе у нас дорогу в печать? Это может утверждать лишь обиженный, чья рукопись не нашла одобрения вне собственной семьи и знакомых. А я отрицаю ваш навет на редакторов и издателей. Они — не особый слой противостоящих писательскому миру людей, а ваши же братья-писатели. Как правило, они коммунисты. С чего же они будут ставить препоны стоящим книгам и выбирать для издания серые?!

А если даже такой редактор найдётся? Разве он для вас единоличный судья? Ведь это не так. Можно признать, что есть среди писателей люди, не радующиеся чужому успеху, опасаясь, что он их затенит, оттеснит.

Но нет ведь и автора, который не добился бы обсуждения отвергнутой книги в других журналах, другими редакторами, другими инстанциями Союза писателей.

Нет, всё сказанное вами в своё оправдание для меня неубедительно. Вряд ли появлению настоящих вещей мешали препоны. Скорее всего, вы таких вещей не писали. Вы спешили по журналам, театрам, издательствам, наскоро отхватывая романы и пьесы... Знали ли вы, какие определённые ценности хотите защитить очередным новым романом? Читали ли свои рукописи десяткам разных людей, напряжённо проверяя по лицам, спереживают ли люди, перенесли ли вы их в ваш собственный мир? Спрашивали ли своих слушателей, что они возненавидели и что полюбили, что им хочется делать после возвращения из книги домой? Было ли у вас ощущение такой же нужности вашего романа для человека, как нужны ему еда и пальто? Считали ли вы свой роман о людях деревни тем новым окном, через которое она теперь будет виднее? Нет, ничего этого вы, вероятно, не делали, не считали, не думали. Иначе вы не свели бы разговор к редакторам и к союзу, не мельчили большую и важную тему. Настоящий писатель, мне кажется, всегда найдёт себе дело по росту, а ненастоящему не поможет никакое устройство Союза писателей.

Я недоволен машинным грохотом в литературе, однообразием тем, пафосом беспорывных стихов. Мне нужно больше книг серьёзных и тёплых. Но я не уверен, что «прочищенная атмосфера» в редакциях утолит эту злую тоску. Целая подборка стихов о любви, обрушенная на меня «Литературной газетой», прозвучала новой угрозой. Не будет ли назойливый шёпот влюблённых раздражать меня так же, как оглушал до сих пор трактор? И я вовсе не хочу, чтобы трактор вообще отшумел в литературе, потому что он — неременная часть нашей жизни, а не только пейзажа полей. Не хочу быть перенесённым из цеха в скучную тишь, из одного экзотического мира в противоположный, но вновь экзотический. Не ша-райайся в стороны, товарищ писатель! Иначе ты опять утратишь связь со мною, читателем.

Я хочу, чтобы тоска моя, жажда моя по большому правдивому слову тебя подняла... Ни в каком случае не производи «переоценку ценностей», не думай, что, например, ценность любви должна заступить для меня ценность труда. Но решительно измени, пересмотри, улучши твоё отношение ко мне как человеку... Ни от чего не отрекайся во мне, ничего мне не навязывай и ищи новый синтез, центром которого стал бы я, мой труд, мои думы и всё то в моём жизнеощущении, чего сам я не знаю и что новые высоты тебе помогут открыть. А главное, поднимай меня к себе на эти высоты, чтобы мир стал мне виднее.

И будешь тогда не сер, а многокрасочен, и творческий урожай твой будет велик, и люди будут ловить твоё слово и — кто знает! — может быть, возьмут тебя с собой в коммунизм.

О ЧЕРТАХ ТВОРЧЕСТВА И О ЧЕРТАХ НАШИХ КРИТИКОВ

Плохо, когда от критика исходят не звуки, а отзвуки. Плохо, когда он ничего не подсказывает, а сам ожидает подсказа. Плохо, когда он не открывает имён, а лишь популяризирует те, что дают ему.

Популяризация у нас происходила, как правило, без проникновения в суть самих вещей. Статьи, следовавшие за присуждением званий лауреатов Сталинской премии, обычно представляли собой только перечни, а не обзоры литературы. Они даже отдалённо не походили на ежегодные «обозрения» Белинского, являвшиеся вехами на литературном пути.

Самое развитие критики шло причудливым образом. Она выработывала свои положения не в итоге постоянных вдумчивых наблюдений и

синтезов, а от случая к случаю, когда отдельные писатели впадали в ошибки и партийная печать подвергала их критике.

Некоторые же критики сделали поиск ошибок у писателей или наоборот по критике чем-то вроде специальности. Это профессиональные разоблачители, строчкопыты, вскрыватели. Они не указывают, как писать правильно, но всегда знают, где что неправильно.

Приёмы многих критиков неверны методически. Пусть это утверждение покажется парадоксальным, но приёмы у них преобладали импрессионистские.

Если в рассказе или романе попадались интимные бытовые детали, например любовные, критики сейчас же крестили это натурализмом, но не видели, что самоцельное описание производственной техники было тоже натурализмом чистейшего вида.

Задача критика не только в том, чтобы раскрыть патриотизм писателя и актуальность освещённой им темы. Критик должен оценить роль книги в литературе, сказать, что нового вносит она сравнительно с прежними. Мы хотим узнавать от него, что пришло с этой книгой и что пойдёт от неё. Нас интересует, какую проводит она борозду, где оставляет свой след, на что налагает печать. Вот на эти основные вопросы критик не отвечает, оставляя нас в полном тумане. Мы знаем имена многих писателей, знаем их книги, но вовсе не знаем, чем обязана им литература, что они дали ей. Избегается даже необходимый элемент подлинной критики — сравнение творчества. Это дезориентирует.

Когда появились романы С. Бабаевского, то я не узнал из них чего-либо такого, что не было бы раньше известно по односторонним книжкам и очеркам и даже просто из газетных статей. Открытий они, на мой взгляд, не содержали. Я не понял, почему критики так безудержно захваливают эти книги.

Затем вышла «Жатва» Г. Николаевой. В свете развёрнутой теперь перед нами программы подъёма сельского хозяйства страны книге Г. Николаевой можно сделать ряд очень серьёзных упреков. Но роман этот куда многопланнее книг С. Бабаевского, его конфликты несравнимо серьёзнее, характеры подлиннее, и в книге есть обаяние. Однако критики приплюсовали Г. Николаеву к С. Бабаевскому, и своеобразия «Жатвы» я от них не узнал.

Теперь я прочитал «Районные будни» Валентина Овечкина. Если даже подойти к ним плоско-утилитарно, то и тогда очевидно, что они содержат множество важных открытий. Овечкин говорит нам про вещи, о которых ещё не писалось. До него эти вещи обходились, замалчивались. Одни писатели вообще не видели их, другие считали их подлежащими только ведению высших инстанций и не решались без согласования о них говорить. А этот взял, да и заговорил в помощь высшим инстанциям! И тут-то я понял, что до Овечкина во многих книгах по колхозной тематике всё было затёрто-притёрто, острия все отпилены, углы пообломаны. Я понял, что Тутаринов преодолевал препятствия лёгкие, подлинно сложными проблемами жизни села не занимался и даже не видел их. Он выглядит сегодня не столько героем, сколько ангелочком на куличе. Славой он, как цветным маком, обсыпан, а лизнёшь его — и растает. Наоборот, герои Овечкина — это искатели. Они глаза открывают. Политику делают. У них не только своя мысль не связана, но и нашу они ещё пробуждают. Писатель проясняет нам жизнь, изменяет её. И после этого мы ощущаем, что жизнь переросла роман С. Бабаевского, а эмоционально тонким персонажам Г. Николаевой не хватает того поиска мыслей, тех находок и неожиданностей, которыми нас всё время удивляет Овечкин.

Вот к чему приводит элементарный, обязательный, но перекрытый почему-то слагбаумом путь сравнений нескольких книг!

Да, сказал мне приятель, но литература не может всегда быть такой прямолинейной. «Районные будни» — очерки, а не роман. В этом жанре легче брать быка за рога.

Жанр! Но, во-первых, не всякий писатель уместается в жанр, и «Районные будни» — не очерки обычного типа. «Гости в Стукачах» того же Овечкина написаны в жанре рассказа, но количество мыслей от этого вовсе не снизилось, а вместе с красками выросло. Яркую речь деда-сторожа вы невольно прочтаете несколько раз, и она западает вам в память, потому что вместе с метафорами запечатлелись и мысли. Очерк! Нет, художественная публицистика Валентина Овечкина куда ближе к искусству, чем иное искусство к публицистике, заслуживающей именоваться художественной. Во-вторых, дело вовсе не в том, чтобы брать быка за рога. Ведь хозяйственные соображения об МТС и колхозах Овечкин мог сообщить докладной запиской в ЦК. Но они справедливо сделались литературной темой, когда за ними читатель увидел живых трактористов, комбайнеров и районных партийных работников, услышал переливы их голосов, почувствовал в этих людях биение непрестанно ищущей мысли.

Именно новые мысли волнуют нас в этой книжке. Поэтому-то мы и ездим с Овечкиным, ищем, поражаемся, решаем и думаем, чтобы снова решать. Мы недовольны, когда Овечкин высаживает нас из мартыновской брички и не позволяет дознаться во всём до конца. Но если мы вместе не доискались, то станем додумывать сами. Пусть Овечкин не резюмирует — наша мысль уж разбужена.

Возя нас по району, Овечкин невольно, без всякого умысла, заставил потускнеть и поблёкнуть председателей колхозов из кубанской станицы. Мы почувствовали предельные линии романа о них, отсутствие в нём проблематики. Читая его, нам не о чем было задумываться.

Разве не святая обязанность критики сказать обо всём этом читателям и литераторам? Я не видел в глаза ни В. Овечкина, ни С. Бабаевского, но мне ясно, что В. Овечкин должен быть так же приближен к читателю, как С. Бабаевский — к методу поисков, которым идёт В. Овечкин. Но критика складывает наших писателей в «золотой фонд», а не сравнивает, не противопоставляет, не сводит. И среди самой пишущей братии находятся подчас такие странные люди, что даже молят не сравнивать их. Я слышал однажды выступление поэта, сказавшего: «Мы свою славу сами поделим, пусть нас не ссорят...» Но разве слава распределяется, как конфеты между детьми, — чтобы никого не обидеть? Разве дело в честолюбиях и самолюбиях, а не в установлении истин, без которых невозможно продвигаться вперёд? И разве поэты не знают, что в литературе, как во всяком искусстве, важны различия и только различия, а вовсе не общность! (Общность коммунистического мировоззрения сама собой подразумевается, и особых оговорок об этом не требуется.)

Основоположники марксизма противопоставляли драмы Шекспира и Шиллера. Белинский противопоставлял Пушкина другим современным поэтам и вообще каждому отводил определённое место, с которого, кстати, последующая история никого не передвинула. А наши критики, боясь кого-то обидеть, оставляют читателей в полном неведении о том, кто и что внёс в нашу литературу и чем писатели между собой различаются. И подумать только, по каким мелким поводам создаём мы великий хаос в головах!

Впрочем, дело не в одной боязливости. Немалую роль играет, вероятно, и лень. Написать о книжке как таковой куда легче, чем проследить её значимость на пути творчества автора, а тем паче в развитии темы или данного жанра. Тут уже надо систематически наблюдать, изучать,

обобщать. И писатели остаются в неведении об их собственной сути, об их силах и слабостях.

У меня есть приятель. Ещё крестьянским пареньком он писал душевные, искренние, но в ту пору, конечно, не мастерские стихи. Теперь он армейский политраблотник. Воениздат выпустил книжку его военных рассказов. Её похвалили. Похвалили так, что дезориентировали молодого писателя. Будь рецензент эрудирован, основателен, честен, он прежде всего спросил бы себя, что нового даёт эта книжка. И ответил бы: по содержанию своему, по сюжетам ничего не даёт. Он установил бы, что все новеллы повторяют эпизоды войны, содержащиеся у Алексея Толстого, Казакевича, Бубеннова и Гончара. Он указал бы автору на несамостоятельность отбора сюжетов. И в то же время критик не мог бы не почувствовать, что эта сто первая книга о людях войны читается, как первая книга. Боевые её эпизоды мало волнуют, но вот настроения и думы солдатские описаны с неподдельной душевной силой, будоражат, тревожат, зовут. Это действие производится книгой благодаря её языку. Местами он прямо чарует. Слово у автора, будто ласка, обдаёт теплотой всё, к чему прикасается. В этих словах нет ни пестроты, ни натужности, они стоят в каждой фразе прочно и легко, как деревья в саду, они звучат то радостной, то грустной лирикой и придают давно слышанному рассказу значительность. Фразы здесь не запылённые, словарь не пустой. Тут подлинный поэтический дар.

Рецензент, однако, не потрудился заглянуть в общезвестные романы на военную тему. Не потрудился и выяснить, в чём отличие нового автора. И направил его своей рецензией на ложный путь поисков эффектов, коллизий и драм. А надо было сказать: не ищи и не описывай их, твоя сила в другом, ты лирик, поэт, человек мягких тонов, писатель душевных движений, а не трагедийных событий. Не мечись, будь собою. Ты, вероятно, ещё не весь в этой книге, в тебе чуются залежи большой доброты, чутся много тепла и дар изливать его. Так не обманывайся же, иди своей дорогой. иначе тебя ждут разочарования. Неудачи с несвойственными тебе темой и жанром могут зародить представление, что твои творческие силы иссякли после первой же книги. А это будет неверно.

Большое дело — разбирать первую книгу писателя! Всё равно, что сыну советовать, в какой вуз ему подаваться. Самым совестливым из критиков надо поручать это дело.

Но когда автор выпускает даже четвёртую книгу, мотив его творчества от критика всё равно ускользает. Ведь сказать о писателе, что книги его характерны патриотическим чувством, любовью к народу и верой в завтрашний день — значит не сказать ничего. Эти чувства и вера присущи подавляющему большинству советских людей, они в нашей натуре. Без них писатель вообще невозможен. Они не являются признаком и метой писательской личности. А именно эти-то меты и надо искать. Они обязательно есть у любого поэта, если только он не вовсе бездарен.

Я подхожу к полке старых, облупившихся книг. Хотя время и съело тиснение, все корешки знакомы с первого взгляда. Кольцов, Никитин, Фет, Тютчев, Майков... С каждым сразу соединяется ощущение чего-то особого. Нет книжки в этом ряду, с которой не ассоциировался бы свой собственный мир представлений!

Но разве ассоциации навяны только самими стихами? Разве не сложились они ещё от того, что предисловия, хрестоматии, мемуары, а главное, историки литературы и критики растолковали мне за многие годы и позволили различить все имена?

Я перехожу к другим полкам, к двадцатому веку, к «ничевокам» всех толков. Какая обширнейшая литература! Вряд ли когда-нибудь в этом

смешении нигилизма и изощрённых словесных изысков люди будут что-нибудь искать для себя. Тут не видится элементов, которые понадобилось бы в дальнейшем извлечь. Но сколько было потуг, чтобы придать значимость мнимым вещам! Как много эти направленьица, теченьица, школки себя толковали! Сколько места занимают на полках их критики и публицисты! Это надо бы снести букинистам, да, кажется, не берут букинисты. (?)

Наконец, я у полки поэтов послереволюционного времени. И утомляю себя здесь многими «разве». Разве мало поэтов сегодняшних дней не уступает по таланту поэтам, доставшимся нам от вчерашнего дня?

Разве нет у них своих тем, своего языка, своих предметов любви, своего напеваемого смысла в стихах? Разве на том, что они написали, нет их дактилоскопических линий, узоров, печати и герба? Разве нет в их лирике того «неразумного, как необъяснённого ещё рассудком разумного», что, по утверждению Гёте, является признаком настоящей поэзии? Но никто ничего этого не проследил. Поэтов у нас отделяют лишь запятые.

Иначе говоря, критика не изучает черт творчества наших писателей. Почему? Может быть, потому, что они ещё не мертвы? Но имя вписывается в историю литературы при жизни. Такая история складывается в каждой стране именно усилием критики. Многие старые писатели были бы незаконно забыты, если бы критика не уберегла их. Наши же критики боятся вписывать современных советских писателей в литературу, боятся передавать в завтрашний день, боятся зачёркивать тех, кто вознесён ввысь на бумажном планёре и держится ветром или верёвочкой.

Прошу понять меня правильно: речь идёт не о создании литературных высочеств, не об отборе в бессмертие, не о приговорах без права кассации, а об изучении черт творчества наших писателей, их роли в движении литературы — и о правде при этом.

Наконец, нас сильно дезориентируют многие критики схоластической, совершенно не марксистской трактовкой ряда практических литературных проблем.

Многие годы умалчивая о важнейших принципиальных моментах — об обязательности в литературе конфликтов, о надобности освещения отрицательных сторон нашей жизни, о необходимости сатиры и др., — некоторые критики так ретиво заговорили теперь об этих вопросах, словно впервые открыли их. На самом же деле всё это откровения давностью в тысячи лет. Их, кстати, и у нас никто не оспаривал, а только ханжи старались искоренять. Они не понимали, что литература без составных своих элементов — это бесколёсная телега или лошадь без ног. XIX съезд надоумил этих людей. Тогда они повернули на 180 градусов сразу и своими рассуждениями о «положительном» и «отрицательном» стали вносить смуту в умы. А литераторы с нехваткой психической сопротивляемости бросились, в свою очередь, «вносить отрицательное» в романы и повести. Один литератор на собрании в клубе даже взмолился: «Товарищи, что же мне делать теперь, если у меня подготовлена рукопись об одном положительном?» Ему отвечали, что надо-де искать пропорцию между тем и другим. О «пропорции», «правильном сочетании», об «элементах» повели речь и статьи...

Но ведь всё это неправильно! XIX съезд предложил литераторам создавать яркие художественные образы, создавать типическое в произведениях. Это значит, что они должны содержать цвета, краски и красоту, а не элементы положительного и отрицательного.

Нужно ценить нынешние усилия критиков преодолеть застой мысли некоторых редакторов и издателей. Можно даже согласиться позабыть, что сознание этих людей критика сама же в своё время обузила. Так что энергия критики в этом вопросе полезна. Но партия ждёт от писателей не шарханья, а п р а в д ы в литературе.

Разумеется, у нас много ещё отрицательного как в быту, так и в самом человеке. Эти последние скверности особенно сложны, упорны и длительны. Материальные условия жизни мы уже в два-три года заметно улучшим, но от них не ведёт прямая черта к душе человека. Если один сосед получит квартиру вслед за другим, то зависть может улечься, но вот лживость, к примеру, не исчезнет с приобретением комнат. А что такое перестраховка? Это, по меньшей мере, целых десять пороков. Тут эгоизм, трусость, слепой практицизм, безидейность и прочее, включая и подлость. Ясно, что изживание этих пороков потребует куда больше усилий и времени, чем, скажем, ликвидация бескоровности или нехватки товаров. Эти пороки, которые партия призывает нас б и ч е в а т ь, нужно, выражаясь по-чеховски, «взять усилиями целого поколения», а может быть, не одного поколения писателей. Но ни бытовые недостатки, ни людские пороки не могут быть «элементами» пьесы или романа. И их нельзя «уравновешивать» другими «элементами» — зажиточностью, трудолюбием, добротой, оптимизмом и прочим. Художественное произведение должно быть о р г а н и ч е с к и м, а не составленным из положительного и отрицательного.

Особенно много путаницы своими рассуждениями о положительном и об отрицательном внесли театральные критики. Они писали вещи, противоречащие здравому рассудку читателя. Например, когда длительно обсуждалось, могут ли в пьесе быть отрицательные герои без положительных, то невольно возникали четыре трезвых контрвопроса: а) Если отрицательные сами выявляют свою отрицательность, то к чему же на сцене торчать положительным? б) Зачем задаваться вопросом, на который Гоголь своим «Ревизором» и «Театральным разъездом» ответил более ста лет назад? в) Зачем пытаться выводить какую-то среднюю там, где не может быть средней? г) Зачем отбрасывать нас от литературных вопросов... к арифметическим?

Если у нас марксистско-ленинское восприятие жизни, если есть у нас здоровый смысл, чутьё, верный глаз, то мы можем и будем писать обо всём, не впадая ни в чёрный, ни в розовый цвет. Писатель сам знает соотношение плохого и хорошего в жизни, и рассуждения о нормах того и другого ему не нужны. А автор, пытающийся визнавать эти нормы, применяясь к нелепо-рецептурным указаниям критиков-схоластов, — вообще не писатель. Не стоят уважения люди, в в о д я щ и е сейчас в свои книги «элемент отрицательного». Можно, конечно, найти равновесие между «лакировкой действительности» и «мрачной картиной», но самый поиск, самый расчёт обрекают произведение на нехудожественность. Под таким углом зрения оно может составляться, но не писаться, ибо это не угол зрения искусства. Отсчитывая в романе треть, половину и четверть, писатель не даст художественную его сердцевину.

Писатель сам может и должен проверить, не обойдены ли в его книге затаённые скверности жизни, не смягчает ли она пороки и болезненные явления, имеющие распространение в обществе, даёт ли яркие, воодушевляющие образы советских людей, пример которых способен окрылить и поднять.

Надо дать рукопись людям, которым нехорошо, которых нелегко сделать счастливыми. Если книга нисколько не поднимет их дух, не приба-

вит силы для жизни, не улучшит их работу на коммунизм, — то в ней порок органический и её надо снова писать.

Когда же она этот искус пройдёт, надо дать её самодовольным. И если не окажется в ней ничего, что вывело бы их из счастливой уверенности, будто всё и всюду уже хорошо, — значит, книга ещё не дописана.

После того как выдержит она и вторую проверку, её нужно ещё подвергнуть и третьей — ходить с нею мимо домов с мемориальными досками, где жили, творили и думали люди, без которых литература была бы беднее. Если писатель при этом ни над чем не задумается, не почувствует горечи о чём-то не сделанном, — он вообще не писатель и ему надо искать себе другую профессию. Если же, оценив свою рукопись этой высшей меркой, писатель не почувствует к ней большой неприязни, — значит, она будет людям нужна, её можно нести издавать.

ОБЪЕКТЫ И ЛЮДИ

Литераторы почти обо всём уже переспорили. О своих героях, о роли характеров, о создании типов, о жанрах, о десятках предметов. Спрашивается: нужно ли нашим литературоведам и критикам так бесконечно себя повторять? Да, иногда это бывает и нужно. Кажущиеся старыми вопросы искусства и творчества могут вновь вставать и опять волновать в другой обстановке, приобретать в изменившихся условиях жизни новое качество.

Это так. Но не пора ли, товарищи, перейти уже и к новым проблемам?

Почти четверть века критики возвращают нас всё к тому же кругу вопросов, не замечая, что многие споры их стали давно схоластическими, навязли в зубах, что литература нуждается в подсказе новых путей, ибо мы вступили в новую полосу жизни.

На мой взгляд, первая задача критической мысли сегодня — навести литераторов на расширение тем, на изменение трактовки проблем. Это главное, ибо читателю надо черпать новое из литературы.

Мне кажется, что очерки Овечкина имеют значение, какого он не подозревает и сам. Эти очерки показали нам, как беспредельны границы искусства, как может и должна быть введена в литературу огромная проблематика нашей хозяйственной жизни. Каждый писатель, продумав эту незначительную по объёму книжку, убедится, что в нашей жизни нет прозаического, что множество неосвещённых сторон её может стать настоящим искусством.

Недостатки в хозяйственной области, путающие чувства тысяч людей и порождающие много идей, оказались не менее благодарной и не менее волнующей темой, чем «извечнейшие» литературные темы! И, главное, великопроблемной. Писатель, открывший подобную жилу, — пионер, зачинатель. Критики бьются над проблемой о том, каким должен быть конфликт в наших условиях, если нет кулака или нерадивого председателя правления артели; пришёл подлинный художник и вытащил этих конфликтов целую пригоршню — пожалуйста, черпайте! Ещё вернее: взгляните, и вы сами увидите. Ведь коренного зла у нас нет, так сумеете увидеть большое зло в маленьком не всесветном разладе, сумеете подсмотреть великое зло раздвоения чувств комбайнера, который, с одной стороны, заинтересован в уборке редких хлебов, а с другой — в высоком урожае хлебов. Вот как же ещё у нас разнообразие зол и проблем! Вечером того дня, когда кусок «Районных будней» был напечатан в «Правде», инженер-металлург рассказал мне, что он читал этот очерк с таким

интересом, будто речь шла о заводе, ибо на заводе десятки сходных конфликтов.

Критика должна заняться проблемой освещения быта в литературе. Она очень сложна.

Один немец как-то сказал мне: «Ваша литература очень содержательна, очень значительна, но в ней нет уюта». Действительно, из литературы ушли оседлость, домашность. Но разве могли они быть в книгах о стройках и войнах! Мы не сидели тогда за чайным столом, не опускались в мягкие кресла. Литература была суровой, как жизнь, и другой нам не требовалось.

«Детство Багрова-внука» протекало в бытовой раме, а наша жизнь шла почти что вне быта. Сколько дней проводили мы в командировках, вне дома! Сколько раз менялся наш дом! Сколько лет мы воевали! Эта жизнь и была нашим бытом, и мы не хотели другого. Мы задохнулись бы в спальнях и на лужайках, мы бы не потерпели себя.

Теперь мы построили много домов с ванными комнатами и холодильниками, мы объявили войну жилищной нужде и нехваткам всякого рода, мы будем во стократ больше заботиться о человеке. Дома при заводе должны строиться вместе с заводом, в любом городке должно всё продаваться. Да, так и нужно. Да, мы будем жить хорошо. И всё-таки... всё-таки, борясь за благоустроенный быт, нам надо оставаться над бытом.

До сих пор в наших романах мало говорилось о том, что занимало людей в личной жизни. Но это не значит, что отныне надо подробно описывать, кто как питается. Наш герой в быт никогда не уйдёт, бытом не поглотится. Важное дело критики — научить нас бороться за налаженный быт, с тем чтобы читатель был ещё выше поднят над бытом.

В одном из снов Веры Павловны Чернышевский так говорил ей о будущем: «Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, перенесите из него в настоящее всё, что можете перенести».

Я клоню этой цитатой не к теме фантастического романа. Любопытно и полезно бы почитать, какой будет жизнь при коммунизме, — такое описание может даже оказаться пророческим, — но не это самое важное. Жюль Верн оказался пророком, а Бальзак не пророчествовал, но Бальзак нам важнее Жюль Верна. Оправдавшейся догадке фантаста мы можем удивиться — и только. Писателю же надо приближать коммунизм воспитанием людей для коммунизма, а для этого догадок не надо, ибо мы знаем заранее, каким должен быть человек.

Воспитывать людей — значит заниматься людьми. Вот почему полезно бы выяснить место, какое занимают в нашей литературе события и описания. Не занимают ли они иногда это место за счёт человека — сверх того, какое нужно бывает для освещения роли человека в событии и влияния события на человека?

Толстой подробно описал Бородинскую битву. Но это описание не было у него самоцелью. Если же высчитать количество строк, посвящённых в романе Э. Казакевича «Весна на Одере» движению и действиям всех родов войск, то окажется, что о людях говорится лишь в трети романа. Потому, на мой взгляд, роман этот плох, сколько бы ни было в нём отдельных достоинств. Непомерно велико описание фактов и в романе М. Бубеннова «Белая берёза». Не потому ли, что мы ещё неверно понимаем значение романов как «документов эпохи»? Ведь художественные документы должны чем-то отличаться от подлинных документов истории, не должны переписывать их. Роман вовсе не призван описывать ни технику войны, ни заводскую, ни события как таковые. Роману не

следует подменять исторические, военные, технические и прочие данные. Художественное произведение должно, как известно, отображать переживания, дела и чувства людей. Только этому подчиняются, только для этого вводятся события, пейзажи и факты. «Документ эпохи» не должен её документировать. Из него мы хотим не документы вычитывать, а душу эпохи.

Отечественная война и стройки заводов ни в каком случае не должны уйти из литературы. Но они будут волновать нас в том случае, если перестанут быть темой самой по себе, а станут местом жизни и действия для человека.

Как бы ни было сильно искушение задержаться на определённом событии, но если оно мало даёт для освещения роли героя, то должно быть беспощадно отброшено. Иные книги отягощены, перегружены материалом предметным. Им нужно больше мыслей, переживаний и меньше предметов. Воспитывают мысли, идеи, а не вещи, не справки.

То обстоятельство, что события в книге преобладают над человеком, подавляют и теснят человека, служит одной из причин её кратковременной жизни. События сменяются новыми, и потому устаревают книги и пьесы, занимавшиеся их описанием.

У нас говорят: «написал производственный роман», «выпустил роман о торговле», «сделал пьесу об Америке». Иначе говоря, пишут не о людях, а о событиях, — люди служат только умышленным воплощением заранее намечаемой программы показа событий. Ясно, что никакого интимного ощущения жизни такие вещи не могут давать, что любое изменение в данной стране или данной хозяйственной области выбрасывает подобные романы и пьесы из жизни, даже если инерция критики или собственные усилия авторов продолжают поддерживать их на воде.

Можно и нужно делать романы такими, чтобы они были и злободневными и нестареющими, то есть всегда злободневными. Постоянные разглагольствования о том, что-де наша жизнь слишком стремительна, что трудно за нею поспевать, что вещи стареют ещё в процессе писания, — это свидетельство творческого бессилия авторов, повторяющих неубедительные и надоевшие доводы.

Да, жизнь стремительна. Но не она виновата перед нами, а мы перед нею. Ибо мы пытаемся гнаться за временем, вместо того чтобы его сбгонять. Мы поглощаемся сегодняшним днём и не думаем о завтрашнем. Нас подавляют события, и мы не видим цепи событий. При таком положении совершенно естественно, что утро может покорёжить всё то, что было нами ночью написано, и мы никогда не кончим роман (недаром на счету большинства наших писателей только от одной до трёх книг!) или выпустим книгу-рахитика.

Конечно, для большой литературы нужны в первую голову большие писатели. Но совсем не надо быть гениальным, чтобы не оказываться вечно беспомощным. Для этого нужно лишь элементарное самоопределение автора. Он просто не должен ставить себя в положение, при котором каждое свежее сообщение радио вызывало бы тревогу, как ему теперь быть. Если роман при этом «ломается» или «летит», то он не был романом. Когда у писателя есть прочность идейных привязанностей, то его роман застрахован во времени. Наоборот, осуждены книги, привязанные к мелким событиям дня слишком крепко, чтобы пережить этот день. Вечно лишь актуальное, но актуальность — это не ходкость. Подлинная актуальность не выдыхается годы.

В Советской стране меняются и будут меняться задачи дня, а не перспектива. Как бы стремительно мы ни продвигались вперёд, эта перспектива была и остаётся известной. Поэтому сегодняшний день мы все-

гда без опаски можем делать литературой. Мы не историки, и нам не за чем ждать, пока сегодня отодвинется в прошлое, отстоит во времени. Но писать-то надо об участии человека в больших развивающихся событиях времени, под устойчивым углом зрения именно на эти события, как и на события личной жизни людей, а не на обстоятельства дня. Тогда мы не только не будем в хвосте у событий, но ещё предугадаем последующие, подскажем свежие мысли, пробьём дорогу новым суждениям и сделаем нашу книгу надолго.

Поясню на примере.

В глубинном районе писался полурассказ-полуочерк о жизни колхоза-миллионера. Он писался неверно, ибо вещи заслоняли в нём человека. Очеркист ходил по деревне, интересовался сыроварней, выпрашивал, как создавались теплицы, восторгался таблицей роста доходов. Попутно он записывал фамилии бригадиров и награждённых стахановцев... Очерк был напечатан и, конечно, тут же забыт. Прошло много времени, появился теперь новый закон о сельхозналоге. Очеркист вытащил из архива свой старый дневник. Вот записи в нём:

«Как же это понять: колхоз богат, выдачи на трудодни неплохие, а у моей хозяйки — ни коровы, ни сада, только картошка да огурцы...»

«Неслыханно! Оказывается, вишнёвые деревья она сама уничтожила! Объяснила мне это так: когда урожай — вишня ничего тут не стбит, а когда нет урожая — налог с каждого дерева всё равно надо платить. «Вот я их и порубала. Тут многие так».

«Эта семья существует только колхозом, как во многих бедных колхозах люди живут только своими участками. А тут благословляют колхоз, ориентируются лишь на него. У моей хозяйки 205 трудодней. Это немало для безмужней с тремя детьми, из которых старшей пятнадцать. В то же время... чтобы высвободить эту старшую, женщина должна была лишиться... коровы. У колхоза выпасы маленькие, их хватает только для фермы. Лесничий разрешил моей хозяйке пасти корову в лесу, с тем чтобы старшая девочка помогала ему на посадках. Таким образом, одна работала, чтобы другая пасла, а третий, четырёхлетний ребёнок, оставался один, без присмотра. Понятно, что это долго не могло продолжаться... Покупать корма на базаре, где за пуд сена надо было платить двадцать рублей, не позволил налог. Корова была сведена на базар. Вот какие у нас ещё противоречия в жизни!»

Читая теперь свои записи, очеркист увидел, как ложно он понимал злободневность. Он писал не о судьбах колхозников, а о вещах и предметах в колхозе. На достижения и ошибки колхоза не посмотрел глазами колхозника. Исходил не из перспективы развития, а из мелких событий, заслонивших перспективу и мысли. Пиши он не о сыроварне, а о человеке, то и сыроварня бы никуда не девалась и рассказ бы жил до сих пор, стал бы актуальным на годы.

Партия ставит человека в центр внимания. О человеке и должны писаться романы, пьесы, стихи.

Сколько конфликтов и тем! Так и хочется внести в литературу то одно, то другое.

Вот что пришлось услышать в недавней поездке.

От инженера: Видите, чем мне приходится заниматься после работы! Натаскиваю сорок вёдер воды для огорода... Зачем он мне? Но жена не может бегать каждый день на базар. Ведь это пять километров! На наш заводской магазин тоже нельзя быть в претензии: ему приходится торговать и карандашами, и пивом, и картошкой, и нитками. В нём есть будто бы всё, а когда надо, то нет ничего. В клуб зайдёшь — тоже пусто. Новый фильм привозить к нам невыгодно, потому что его весь посёлок по-

смотрит в первый же вечер, а во второй уже не будет ни одного посетителя. Поэтому не привозят совсем... В театре был с женой два года назад — не хочется шагать после спектакля по полям и по кочкам... Вот так и живём! Дома наши, как видите, построены со всеми удобствами, а жизнь получается, как выразилась недавно одна заводская работница, «насквозь неудобная»... В таком положении семь заводов, семь больших коллективов, семь посёлков, каждый из которых выстроен на отшибе от прочих. А в городе, где жило и живёт тридцать тысяч людей, где есть зелень, хорошие улицы, дороги в колхозы, нормальная жизнь, — там не только не строили все эти годы новых домов, но развалились и старые... Спрашивается: для чего мы разобщены, почему гибнет старинный и благоустроенный город, а на пустырях создан комфорт с неудобствами?

Вы почувствуйте это: у меня ванная комната, пылесос, холодильник, но выгляну из окна — голая степь. Податься мне из ванной комнаты некуда. А за пять километров — городской сад, музыка, базар, заваленный фруктами, покосившиеся стены домишек и... очередь в баню.

От своевольного человека: Вы спрашиваете, чего меня таскал прокурор? А шут его знает! Слава богу, теперь отвязался.

Началось всё с того, понимаете, что отправили меня в колхоз на уборку. Я ведь слесарь райпромкомбината, и райком порешил, что нужно партийное наблюдение за комбайном и тракторами. И действительно, оказалось, что нужно, но только в другом совсем смысле... Я увидел однажды, как комбайн пёр на ячмень, а ячмень, как вы знаете, — растение низкое, да ещё перезрел, ну и, конечно, комбайн всё зерно повытрясал в полову, всё сразу смял. Я, понятное дело, не выдержал, обратился к колхозникам. «Товарищи, — говорю, — неужели вашему сердцу не больно смотреть, как хлеб погибает?» А они отвечают: «Как не болеть при таком безобразии! Это председателю нашему надо перед районом сводкой о загрузке комбайна блеснуть, а мы-то хорошо понимаем, что комбайн к такому ячменю нельзя подпускать. Только что ж нам его подменять? Кабы нам за это килограмма по два от центнера дали, тогда дело другое. Тогда бы мы эти двадцать гектаров так скосили, что и зёрнышко бы не пропало. Были бы одно к одному». Ну я, конечно, с ними торговаться не стал. Остановил комбайн, спас шестнадцать гектаров. И ровно через день меня — на бюро. За своеволие, за поощрение рваческих настроений отсталой части колхозников, а главное — за недооценку комбайна. В тот момент другие колхозы комбайны плохо использовали, и надо было ударить по мне для профилактики. Не скажу, чтобы райком хотел меня съесть, а важно было напечатать в газете, что, мол, дело о виновном в простое комбайна передано в прокуратуру. Ну, прокурору, конечно, пришлось допросить меня, как полагается, взять подписку о невыезде и всякое прочее.

Проходит полтора месяца, выпал снежок, и в районе у нас боевая тревога — под снегом осталась картошка! Велят мне забрать других слесарей мастерской, подкидывают ещё четырёх машинисток и — дуй, убирай. Мы едем в колхоз, а колхозницы едут той же дорогой навстречу, к нам на базар... Ну, ладно. Начали мы копать, копаем сутки, вторые, а посмотришь, что накопили, — одна чепуха. Машинистки мои ещё засветло валяются, не могут спины разогнуть, а утрами два часа поднимаются. Вижу я — так дело не выйдет, пропадёт вся картошка. Не могу это выдерживать. Собираю колхозниц, делаю им предложение: чтобы каждый шестой мешок накопили себе и чтобы через неделю в земле ничего не осталось. И что же вы думаете? Копали таким переплановым темпом, что на пятые сутки я уже снимал замок со своей мастерской. И что после того? После того меня опять на райком. Один секретарь говорит, что внесение чуждых методов в колхозное дело, а другой — за меня. А приезжий обкомовец

слушал, слушал и говорит им: «Я, товарищи, не понимаю: тот ли виноват, кто неправильным методом спас весь картофель, или те, кто правильным методом оставили картошку под снегом». Я тогда обкомовцу и говорю: «Я и вообще-то неправильный, я уголовный, с меня подписка о невыезде взята». Прокурор покраснел. «Что вы, что вы, я ваше дело давно прекратил». И на другой же день вызвал для официального уведомления. Вот как бывает ещё иной раз!..

От нарсудьи: Говорят, что судья подчиняется только закону. Да, это так. Но иногда это, к сожалению, так. Иногда жизнь разноречит с законом, закон делается препоной правильному устройению жизни. Тогда кто-то страдает, и заодно — моя совесть.

Я рассматривал дело об обмене жилплощади. Учитель с семьёй в шесть человек жил на девятнадцати метрах... Старичок-пенсионер со своей старушкой занимал две смежные комнаты в сорок два метра... Они хотели между собой меняться. Казалось бы, такое желание можно только приветствовать. Оно отвечало логике, здравому смыслу и духу нашей жилищной политики. Но, увы, оно не отвечало формуле о «неравноценности площади, заставляющей подозревать переуступку из корысти»...

Да, вполне вероятно, что учитель, в семье которого работали трое и хорош был достаток, что-то приплачивал старичкам за излишек. Такие предположения в делах об обмене всегда возникают, но никто никогда не может их доказать. Но разве они важны и решающи?! Важной и существенной была в данном случае достигавшаяся обменом справедливость распределения площади. В самом деле: зачем старичкам сорок два метра, которые им трудно прибирать и оплачивать?! И каково живётся семье, где одна дочь привела к себе за занавесочку мужа, вторая — студентка музтехникума — должна звучно готовить уроки, глава семьи проверяет вечерами тетради, его семидесятилетняя мать прикована болезнью к кровати, а зять чертит до двух часов ночи... Разве могли быть какие-нибудь сомнения в том, что коммунальный отдел обязан был сейчас же разрешить этот обмен, отнюдь не доводя спор до суда! При разбирательстве дела в зале сидело человек сорок народа, и их настроение, их сочувствие было столь же недвусмысленно ясным, как и моё. Но представитель горсовета настаивал на отказе в обмене. Он избобличал в истцах спекулянтов жилплощадью. Он был равнодушен к тому, что один из «спекулянтов» проработал 37 лет на железной дороге, а второй четверть века учителствует. Представитель горсовета ссыался на пресловутую «неравноценность жилплощади», хотя не мог не понимать, что равноценные площади никому вовсе и не нужно менять... Он опирался на свои крепкие запретные правила, не желая увидеть, что по сути своей они давно уже устарели.

В самом деле — кому нужны недовольство и муки учителя? Кому нужно, чтобы старичок оставался в двух комнатах, кстати, не изолированных и не подлежащих изъятию? Кому нужно, чтобы учителю или зятю его государство должно было предоставить со временем жильё в новостройке за счёт других, тоже тесно живущих людей? Ведь всё это ни с чем не образно, нелепо...

И вот я ушёл в совещательную. Оба нарзаседателя стояли за безоговорочное удовлетворение иска, а я... я думал о кассационной коллегии, о возможных подозрениях в пристрастии, о столкновении с районными властями, о десятках вещей, связанных с «незаконным» решением. И, решившись в данном случае благоустроить жизнь советских людей, вместо того чтобы ей помешать, я чувствовал себя смельчаком и героем.

И как часто приходится мне по различным делам геройствовать там, где я выполняю лишь веления совести! Посидите у нас в зале недельку— и вы убедитесь.

Таких рассказов жизнь даёт в сотни раз больше, чем издательство «Советский писатель». Можно придирчиво их отбирать, и всё-таки будет обилие выбора. В нашей богатой содержанием жизни таится много конфликтов и тем. И если они ещё не отражаются в литературе, то виноваты в этом писатели, пишущие об объектах, а не о людях. У людей жизнь несходна, разнообразна делами и мыслями.

Поднять подлинную тематику жизни, ввести в романы конфликты, занимающие людей в личном быту,— значит многократно увеличить воздействие литературы на жизнь.

Мне кажется, что сегодня ещё не все наши книги участвуют в изменении жизни... Разумеется, книга не машина, действие которой наглядно. Влияние книг постепенно, подспудно, и проследить его нелегко. Но не невозможно. Если бы комиссия критики по продуманной и непредвзятой программе изучила влияние книг на разные возрасты и слои населения, мы извлекли бы немало неожиданных и поучительных выводов. Мы увидели бы, что тиражи иных книг не всегда пропорциональны мере влияния книги на человека, что и в очень известных, очень распространённых романах человеку часто «нехватает чего-то». Докапываясь, доискиваясь, мы установим, что нехватает ему подлинного, не книжного конфликта. Книжный числится, но не существует или, существуя, не трогает. Книжный где-то умозрительно стелется, подлинный — дома, в колхозе, на службе. А вот введите в роман этот настоящий конфликт, проследите, как преломляются через него психологии, как формирует он или раскрывает характеры,— и житейское окажется жизненным, прозаическое опoэтизируется, книга взволнует, мысль читателя быстро задвигается, у него появится жажда активности.

Обогащение тематики кажется мне самой надобной из надобностей литературы.



И. СЕРГИЕВСКИЙ

★

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ПОЭТ

Чем значительнее противоречия в творчестве поэта, тем сложнее бывает обычно его литературная судьба, тем более ожесточённая борьба развёртывается вокруг его наследия. Пример Тютчева — один из самых поучительных в этом отношении.

Писать Тютчев начал ещё ребёнком. Девятнадцати лет он впервые выступает в печати. Затем, на протяжении десяти—пятнадцати лет, он создаёт ряд стихотворений, которых одних уже было бы достаточно, чтобы увековечить его имя в истории русской поэзии. Именно в эти годы на страницах московских и петербургских журналов и альманахов появляются такие его шедевры, как «Вечер» («Как тихо веет над долиной...»), «Видение» («Есть некий час в ночи всемирного молчанья...»), «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая...»), «Летний вечер» («Уж солнца раскалённый шар...»), «Сны» («Как океан объёмлет шар земной...»), «Последний катаклизм» («Когда пробьёт последний час природы...»).

Как ни странно, но стихотворения эти, составившие позднее славу Тютчева, ставшие — в некоторой части — хрестоматийными, тогда, при первом опубликовании, прошли почти незамеченными. Едва ли не единственным читателем Тютчева, в полной мере оценившим его дарование, оказался в ту пору Пушкин, широко открывший перед ним двери своего «Современника». Именно в пушкинском «Современнике» увидели свет такие стихотворения Тютчева, как «Сон на море» («И море, и буря качали мой чёлн...»), «Песок сыпучий по колени...», «Есть в светлости осенних вечеров...», «Я помню время золотое...», «О чём ты воешь, ветр ночной?...» и многие другие.

Если к журнально-альманашным публикациям конца 20-х, начала 30-х годов при-

соединить стихотворения, помещённые в «Современнике», это, собственно говоря, и будет почти весь Тютчев,— по крайней мере, тот Тютчев, который пережил своё время, который стал нашим национальным достоянием.

Жизнь прожил Тютчев на редкость долгую. Будучи всего на четыре года моложе Пушкина, он на много лет пережил не только его, но и Лермонтова, и Гоголя, и многих других современников, начавших литературную деятельность в одно время с ним или даже позже его.

Никак нельзя сказать, чтобы последние десятилетия его жизни были творчески бесплодными. Наоборот, именно на эти десятилетия падает большая часть всего написанного им. Среди его, условно говоря, поздних стихотворений немало хороших, немало и просто превосходных. Достаточно назвать такие, как «Последняя любовь» («О как на склоне наших лет...»), «О вешая душа моя!..», «Есть в осени первоначальной...», «Ночное небо так угрюмо...» И тем не менее в основном Тютчев сформировался как поэт всё же в пушкинское время. Всё, что было написано им позднее, дополняет то представление о нём, которое складывается у читателя на основании «ранних» произведений поэта, дополняет иногда существенно, но чего-либо качественно нового в это представление не вносит.

Тем труднее объяснить тот факт, что появление целого большого цикла тютчевских стихотворений в пушкинском «Современнике» вызвало немногим больший общественный резонанс, чем журнально-альманашные публикации молодой поры поэта. Широкого общественного признания, какое сопутствовало Пушкину с первых его шагов и очень быстро было завоёвано Лер-

монтовым, Тютчев тогда не получил. В статье о стихотворениях Тютчева, с которой выступил в 1849 году Некрасов, говорилось: неизвестно, обратило ли имя Тютчева «на себя какое-нибудь внимание публики в то время, когда появилось в печати, но положительно можно сказать, что ни один журнал не обратил на него ни малейшего внимания». Так оно и было на самом деле. Самая статья преследовала цель: извлечь имя Тютчева «из мрака забвения» (слова самого Некрасова), — если можно так сказать, заново включить его творчество в литературу. Для того, чтобы выполнить эту задачу, чтобы обосновать своё положение о том, что всё написанное Тютчевым «принадлежит к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии», «носит на себе печать истинного и прекрасного таланта, нередко самобытного, всегда грациозного, исполненного мысли и неподдельного чувства», Некрасову пришлось целиком перепечатать в своей статье больше двух десятков тютчевских стихотворений из пушкинского «Современника», снабдив их своим умным и благожелательным комментарием.

Итак, поэт, введённый в литературу Пушкиным, был воскрешён в ней Некрасовым. Голос Некрасова был не единственным, поднятым из революционно-демократического лагеря русской литературы в защиту Тютчева. Десятью годами позднее высказался о нём ещё один из самых выдающихся деятелей этого лагеря — Добролюбов, который, чётко противопоставляя Тютчева представителям «чистого искусства», находил у него «и знойную страстность, и суровую энергию, и глубокую думу, возбуждаемую не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни».

Выступления Некрасова и Добролюбова и знаменовали собой, собственно говоря, начало той борьбы вокруг Тютчева и его наследства, которая так широко развёртывается после смерти поэта. Реакционный лагерь не хотел без боя отказываться ни от Пушкина, ни от Лермонтова. Он не жалел сил, чтобы присвоить себе этих поэтов хотя бы ценой самой откровенной и безудержной фальсификации, ценой самых цинических подтасовок и передержек. Больше того: реакционный лагерь пытался цепляться за фалды Некрасова, пытаясь и его имя использовать для того, чтобы при-

умножить свой капитал. Тем более настойчиво и уверенно заявлял он свои права на Тютчева — поэта, у которого реакционному лагерю действительно было чем поживиться.

Душа моя, элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни помыслам години буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных!

Душа моя, элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобою!
Меж вами, призракми минувших лучших
дней.

И сей бесчувственной толпою?..

Не случайно, помещая это стихотворение в своей статье, Некрасов сопроводил его характерным определением: «странное по содержанию». Не много можно найти в русской поэзии стихотворений, в которых с такой силой, в таких чеканных словесных формулах (отсюда также отмеченное Некрасовым «неотразимое впечатление», производимое этим стихотворением на читателя) провозглашалась отрешённость поэта от мира, замкнутость его в своём творческом «я». В этом смысле стихотворение представляло собой лакомый кус для всех, кто был заинтересован в насаждении и распространении тех настроений, которые воплощены в нём.

С момента зарождения русского символизма имя Тютчева становится одним из его боевых знамён, под которыми адепты «нового искусства» пытаются штурмовать цитадели русской классической литературы со всеми её незыблемыми ценностями: гражданственностью, моральным пафосом, высокой человечностью.

Были ли у них реальные основания к тому, чтобы заявлять свои претензии на творческое дело поэта? Да, несомненно были. Тютчев — не только один из самых сложных, но и один из самых противоречивых русских поэтов, и мотивы ущерба, увядания, тоски проступают в его произведениях нередко и явно.

Вспомним одно из наиболее известных стихотворений Тютчева:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть..
Зловещий блеск и пестрота дерёв,
Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землёю,
И, как предвестье близящихся бурь,
Порывистый и ясный ветер порою..
Ущерб, и знеможенье — и на всём

Та кроткая улыбка увяданья,
 Что в существе разумном мы зовём
 Божественной стыдливостью страданья.

Словесная ткань этого стихотворения говорит сама за себя. И всё же по самой сути своего творчества Тютчев не только не родствен, но и коренным образом враждебен философии и эстетике символизма и, наоборот, органически связан с лучшими традициями русской поэтической классики, с традициями Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Прежде всего Тютчев — художник, в творческом сознании которого жизненная действительность никогда не выступала как нечто зыбкое, призрачное, сомнительное. Его поэтическое видение глубоко реалистично, мир со всей его «вещественностью», со всеми его красками и запахами, мил и близок ему.

Нет, моего к тебе пристрастья
 Я скрыть не в силах, мать-Земля!
 Духов бесплотных сладострастья,
 Твой верный сын, не жажду я,—

писал Тютчев, и это было, собственно говоря, его поэтическим вероисповеданием. Недаром у него так много стихотворений о природе, стихотворений, в которых он выступает как несравненный мастер лирического пейзажа, и недаром Некрасов называл в качестве основной черты этих стихотворений их пластичность, чуткость поэта к «самым тонким, неуловимым чертам и оттенкам» изображаемого.

Как тихо веет над долиной
 Далёкий колокольный звон.
 Как шорох стаи журавлиной! —
 И в шуме листьев замер он.
 Как море вешнее в разливе,
 Светлея, не колыхнет день,
 И торопливей, молчаливей
 Ложится по долине тень.

Но справедливо указывала революционно-демократическая критика, что «знойная страстность», «суровая энергия» и «глубокая дума» Тютчева возбуждались не одними только «стихийными явлениями», а также и «вопросами нравственными, интересами общественной жизни».

Эта оценка Тютчева, высказанная одним из самых последовательных деятелей революционно-демократического круга, одним из самых непримиримых ко всему тому, что отклоняло русскую литературу в сторону от задач, которые выдвигались

перед нею освободительной борьбой народных масс, вводила в сомнение не одного исследователя тютчевского творчества. Искали у Тютчева-поэта откликов на «вопросы нравственные», на «интересы общественной жизни», искали — и что же находили? Находили «Слёзы людские, о слёзы людские», находили «Русской женщине» и ещё несколько (очень немного!) стихотворений, близких к названному по замыслу и выполнению. Но как бы значительны ни были эти стихотворения, все они — и каждое порознь, и взятые вместе — не могли подавить неловкого недоумения: неужели только этого Тютчева ценил Добролюбов? Неужели только ценой такого отказа почти от всего его наследства можно сохранить его в сокровищнице русской поэзии — сохранить не только как вещественный памятник прошлого, подлежащий историческому изучению, а так, как сохраняем мы Пушкина, Лермонтова, Некрасова?

А если не только это, то что же ещё? В самом деле, не политической же лирикой Тютчева была продиктована добролюбовская оценка.

Бесспорно, как политический поэт Тютчев бывал иногда остроумен, тонок, ироничен:

Флаги веют на Босфоре,
 Пушки празднично гремят,
 Небо ясно, блещет море,
 И ликует Цареград.

И недаром он ликует:
 На волшебных Берегах
 Ныне весело пирует
 Благодушный падишах.

Угощает он на славу
 Милых западных друзей —
 И свою бы всю державу
 Заложил для них, ей-ей.

Из премудрого далёка
 Франкистанской их земли
 Погулять на счёт пророка
 Все они сюда пришли.

Пушек гром и мусиция!
 Здесь Европы всей привал,
 Здесь все силы мировые
 Свой справляют карнавал.

Это было очень проницательно и очень зло: годы дипломатической работы не прошли для Тютчева даром и научили его за высокой фразеологией дипломатических нот ясно различать совсем не высокие интересы их составителей.

Гораздо чаще, однако, в своих политических стихотворениях Тютчев был напыщенно-витийственен и риторически-сух. А главное, хотя подчас он и фрондировал и довольно саркастически высмеивал правящие круги романовской империи, не исключая самого главы династии, — по своему общему идейному строю его политическая лирика была не только чужда, но и откровенно и бесповоротно враждебна всему тому, чем жили и за что умирали люди добролюбовского склада.

При всём том, несмотря на реакционные элементы, не только наличествующие в политическом мировоззрении Тютчева, но и определяющие его, поэт был в высшей степени внимательным и сосредоточенным наблюдателем всего, что происходило вокруг него. И наблюдения эти властно вторгались в его сознание, не могли не подтачивать изнутри его легитимизм, не охлаждать его панславистские фантазии.

Незадолго до смерти он писал дочери: «Разложение повсюду. Мы двигаемся к пропасти не из излишней пылкости, а просто по нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что, по словам людей, наиболее осведомлённых, нельзя этого постичь, не убедившись в том вочию... банкротство возможно более чем когда-либо и станет неминуемым в тот день, когда мы будем призваны подать признак жизни... Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом: что-то прогнило в королевстве датском».

Наблюдения Тютчева не были ограничены рамками одной лишь русской действительности. Он пережил революцию 1830 года, пережил революцию 1848 года, пережил Парижскую Коммуну. Каждое прожитое десятилетие приносило ему всё новые и новые доказательства того, что не только русский самодержавно-крепостнический режим расплзается по швам, но что над всем привычным ему жизненным укладом нависли грозные тучи.

Слабость Тютчева как политического мыслителя и писателя состоит в том, что, правильно осмысливая всё наблюдаемое, он так и не сумел возвыситься над интеллектуальным кругозором того класса, к которому он принадлежал по рождению и воспитанию. Нельзя сказать, чтобы эта слабость никак не отразилась в его поэтическом творчестве.

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять,
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,—

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,—
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь,

От чувства затаённой злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир.

От жёлчи горького сознания,
Что нас поток уж не несёт,—
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперёд.

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор,
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор,—

писал Тютчев, и это были честные, мужественные признания. К сожалению, он не до конца устоял на этих позициях, не удержался от того, чтобы при случае не осудить свой век —

...век, воспитанный в крамолах,
Век без души, с озлобленным умом.

И всё же мы имеем право говорить с силой Тютчева как поэта, перевешивающей его слабость. Эта сила прежде всего в том, что от бурь и тревог действительности он не ушёл в замкнутый мирок собственного «я», не поспешил как-либо отгородиться от тревожащих истории.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Лирический герой тютчевской поэзии не сетует на судьбу за то, что она поставила его свидетелем этих «роковых минут» мира, а благодарит её за это.

Чувство неизбежной внутренней тревоги, которое пронизывает всю тютчевскую поэзию и которым продиктованы самые совершенные, самые высокие его создания, прорисовывает из того же присущего поэту убеждения, что он является свидетелем «роковых минут» истории. И если это чувство действительно роднит его с некоторыми поэтами-символистами, то роднит не с худшими, а с лучшими из этих поэтов и прежде всего, конечно, с Блоком — самым глубоким, честным и искренним из них.

Замечательно, что при всей органичности для поэзии Тютчева мотивов ущерба, увядания, тоски, так усиленно эксплуатировавшихся его позднейшими истолкователями, она менее всего пессимистична. Напрасно мы стали бы искать у него произведений, утверждающих обречённость человека, его бессилие перед лицом бушующих стихий. Наоборот, покорству судьбе, смиренню перед судьбой, пассивной созерцательности он резко противопоставляет действенное, волевое начало. С полной прямолинейностью дано это противопоставление в стихотворении Тютчева «Два полюса»:

I

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна--
Над вами светила — молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

Пусть в горнем олимпе блаженствуют
боги --
Бессмертье их чуждо труда и тревоги,
Тревога и труд лишь для смертных
сердец --
Для них нет победы, для них есть конец.

II

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба --
Над вами безмолвные звёздные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец --

Кто, ратуя, пал, побеждённый
лишь роком,
Тот вырвал из рук их
победный венец.

Многое в поэзии Тютчева сохраняет лишь историко-литературный интерес. Но главное в ней — поэзия глубоких мыслей и сильных чувств — принадлежит не только его времени, а сохраняет свою ценность и для наших дней.

Никакими соображениями не может быть оправдано то пренебрежительное отношение к Тютчеву, которое до сих пор наблюдается в нашем издательском и научном обиходе. Советскими учёными проделана большая и плодотворная работа в области подготовки тютчевских текстов, в советское время впервые были осуществлены научные издания стихотворений поэта. Но издания эти, вышедшие в свет ещё в довоенное время, давно стали библиографической редкостью, а новых изданий нет. До сих пор не собрано богатейшее эпистолярное наследие поэта. Не написана хотя бы популярная книга о его жизни и творчестве. В средней школе Тютчев не «проходится», в общехumanитарных курсах филологических вузов он занимает ничтожно малое место. Мы не знаем ни одной диссертации о Тютчеве.

Тютчев — большое и сложное явление русской поэзии, которое не может быть выключено из круга явлений нашего литературного прошлого, объединяемых в понятие «наследства».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. С. ЕМЕЛЬЯНОВ

★

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕТСКОЙ КОМЕДИИ

1

*Да, право осмеять — всецело за грядущим!
Не следует шутить со смехом всемогущим!
Зевес Карающий! Смеющийся Зевес!
Последний мне страшней; он стоит митральез.*

В. Гюго.

Общезвестно, что одна из худших опасностей, которая угрожает комедиографу, — это написать несмешную комедию.

Смех, возникающий у зрителя независимо от его воли, определяет успех или провал комедии ещё до того, как за её оценку возьмутся критики.

В этом отличие комедии от других театральных жанров, где зрителя, иной раз чуть-чуть поскучавшего, удаётся убедить, что он смотрел нужную и глубокую по идее пьесу. Правда, бывает и так, что громко смеявшийся зритель комедии потом спохватывается, ловя себя на том, что он смеялся, так сказать, зря — что ему изменили здравый смысл и хороший вкус, что хохотать, собственно, не следовало бы... Но факт остаётся фактом — он смеялся.

Зрители премьеры «Ревизора», в 1836 году, не могли не смеяться. Смех был различен по оттенкам, и каждый из этих оттенков был обусловлен вполне реальным основанием. Взятчики смеялись над неловкостью своих собратьев на сцене. Петербургские чиновники смеялись над провинциалами. Некоторые из приверженцев самодержавия радовались разоблачению нерадивых его слуг. Люди революционно настроенные аплодировали, справедливо считая, что комедия осмеивает весь николаевский режим. Наконец, часть зрителей могла увидеть, что здесь высмеивается всякое общество, где о человеке судят по чи-

ну, а не по его действительной сущности, где, следовательно, всегда возможно принять «фитюльку» и «шелкопёра» за важное лицо.

Когда комедийная ситуация, найденная Гоголем, перестанет вызывать смех?

Некоторые критики, повидимому, считают, что уже наступил момент, когда «Ревизор», подобно многим комедиям Аристофана, становится лишь достоянием истории. «Когда гоголевский городничий обращался к публике со своим знаменитым: «Чему смеётесь? над собою смеётесь!», то это было вполне уместно в советском зрительном зале городничий уже не может обратиться с этим восклицанием. Сама история внесла эту поправку к «Ревизору», — пишет В. Ермилов. Здесь, по меньшей мере, четыре ошибки: 1) критик преуменьшает актуальность комедии Гоголя; 2) он забывает об успехе «Раков» С. Михалкова, пьесы, где действие развёртывается в советских условиях и где откровенно воспроизводится основная комедийная ситуация «Ревизора»; 3) театральная традиция, которую критик отвергает, как неприемлемую для советского театра, возродилась именно в советском театре — в 1921 году, когда Москвин играл Городничего в спектакле, который поставил Станиславский; 4) наконец, критик упускает из виду природу смешного.

Карикатура обижает только в случае сходства, насмешка ранит лишь в случае, если сам объект признаёт её истинность.

В противном случае не может быть ни обиды для потерпевшего, ни смешного для окружающих.

Закон возникновения смеха так же точен, как физический закон резонанса. Струна вибрирует лишь в том случае, если в воздухе проносится колебание её собственной частоты. Если кто-либо из зрителей обиделся, значит — поделом ему, если же нет — то тем лучше для него.

Это обстоятельство прекрасно понимал Маяковский, который в финале пьесы «Клоп» предоставил возможность мещанину Присыпкину, помещённому в зоологический сад будущего, восторженно орать в зрительный зал: «Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..»

Великое очищающее значение смеха в том и состоит, что смех сжигает лишь то, что действительно ему противостоять не может.

Высмеян ли в «Горе от ума» Чацкий?

Ведь не только Чацкий смеётся над миром фамусовых; представители этого мира всё время насмеваются над Чацким, и для этого у них есть основания не одного лишь субъективного порядка. Разве Молчалин не вправе посмеиваться над наивностью Чацкого, который упорно допытывается, почему он, Молчалин, воздерживается от свободного выражения своих мнений? Он прав, как может быть прав представитель здравого смысла перед мечтателем.

Умнейший Чацкий не знает того, что хорошо известно глупцу Молчалину. Грибоедов ставит Чацкого в самые невыгодные и даже унижительные положения. Тем не менее симпатия зрителей к нему непрерывно растёт. «Победители» же, изгнавшие из своей среды Чацкого, смешны и жалки.

«Горе от ума» не единственный пример невозможности высмеять положительного героя на том основании, что он, как предвестник нового, является не во всеоружии и легко уязвим. Белогвардейцы могли зло посмеиваться над рассказом о боях Красной Армии, взявших Одессу в 1920 году и с остервенением искавших Антанту, представляя её в виде злойредной особы женского пола, чтобы расправиться с нею и тем положить конец войне. Но когда позднее, на пленуме МК и МКК, в 1928 году, об этом же эпизоде рассказал И. В. Сталин, в зале

разразился всеобщий весёлый смех. Многие из сидевших в зале вспоминали о прошлом, о политической наивности части революционных масс, сумевших, несмотря на эту наивность, понять главную суть событий, найти своё место в борьбе, победить врага и вырасти в сознательных строителей социализма. Значит, и здесь перед нами случай, когда люди, полавшие в комедийную ситуацию, вызывают смех, нисколько не умаляющий уважения к ним и даже восторга перед ними.

Гневный смех «против всего, что отжило и ещё держится, бог знает на чём, важной развалиной, мешая расти свежей жизни и пугая слабых», и радостный смех, приветствующий рождающееся новое, во многом ещё уязвимое, но в то же время стойкое и неодолимое, — вот два полюса, между которыми находятся бесчисленные оттенки смешного. Множеству оттенков смешного соответствует огромное количество разновидностей комедийного жанра. Сатира, трагикомедия, гротеск, фарс, лирическая и бытовая комедия — только приблизительные и неточные, далеко не исчерпывающие термины. Абсолютных границ между ними нет. Но художник отнюдь не властен использовать каждый из этих жанров по своему произволу. Он бывает жестоко наказан, если попытался написать трагикомедию на тему, годную лишь для водевиля, или гневную сатиру там, где возможен лишь скетч.

Действительность всё время рождает комедийные, трагифарсовые и даже водевильные положения. Она даёт художнику не только темы и положения, но и подсказывает жанры. Но из этого отнюдь не следует, что художник оказывается лишь послушным медиумом действительности, что он пассивен и лишён своего субъективного отношения, собственной оценки и права приговора. Лишь благодаря сознательно направленной воле художника и его воинствующей тенденции могли быть созданы такие типы, как Тартюф, Гарпагон, Молчалин, Хлестаков, Иудушка Головлёв, Обломов и другие. Ни один тип, бытующий в жизни, не мог бы быть показан в искусстве, если бы не нашёлся художник, которого интересует его раскрытие. Существует бесчисленное количество человеческих типов и положений, мимо которых прошли литература и театр.

Тип не только эстетическая, но и политическая категория, и не потому, что художник из сознательных намерений что-то

домысливает от себя, привносит какие-то черты в объект. Типическое принадлежит к сфере политической потому, что партийность художника, его тенденция сосредоточила его внимание на этом, а не на ином объекте и помогла ему с максимальной правдивостью, то есть художественно, раскрыть сущность объекта. Художник не только «сосуд любви и ненависти». Он, кроме того, исследователь и мыслитель. Найти в жизни и показать новый тип — значит сделать открытие.

В каких же случаях сатирик имеет право на «заострение» образа, на гротеск?

Отнюдь не каждое явление может быть «заострено» сатириком.

Шедрин писал: «Представьте себе легион молодых шалопаев, гранищих мостовую в шикарных пиджаках,— что может сказать об них сатира самая злая, кроме того, что это легион шалопаев, гранищих мостовую в шикарных пиджаках... Эти люди определяют сами себя с такою наглядностью, что не представляют даже предмета для наблюдения».

Вся сущность этих фланирующих молодых людей всецело выражается в явлении. Тут сатирику делать нечего.

Другое дело, когда существенное не выявляется до конца в обычных условиях, когда видимость может обмануть поверхностного наблюдателя. Для художника, не желающего порывать с внешним правдоподобием жизни, требуется большой подбор реально обусловленных обстоятельств, чтобы постепенно раскрыть сущность такого лица или явления. Это удаётся в пространственных романах, реже — в новелле, ещё реже — в пьесе.

Но существует другой способ демонстрации сущности, где она выявляется сразу и до конца,— помещение объектов в небывалые, фантастические обстоятельства. Это операция, подобная той, которую совершает учёный, создавая искусственные, лабораторные условия для изучения законов природы в «чистом виде».

Гротеск — это существенное, показанное в «химически чистом» виде, это закон развития той или иной социальной тенденции, выраженный в образной форме.

Возьмём роль гротеска в театре Маяковского.

Гротеск Маяковского отнюдь не является субъективным преувеличением. Он показывает истинную сущность того, что по своей

природе уродливо, нелепо, но, тем не менее, ещё существует. Дабы пресечь возможность развития социального зла, Маяковский показывает его выраженным в предельной форме, суммирующей все частные варианты. Действующие лица сатирических пьес Маяковского не превращаются от этого в абстрактные маски, в таких «носителей тенденций», которые невозможны в жизни.

Обвиняя Маяковского в нежизненности Победоносикова, один критик того времени, когда была написана «Баня», писал:

«Вся фигура Победоносикова вообще является нестерпимо фальшивой. Такой чистый, гладкий, совершенно «безукоризненный» бюрократ, хам, такой законченный мерзавец и даже... убийца (он провоцирует свою жену на самоубийство) — вообще невероятно схематичен и неправдоподобен, а тем более в навязанном ему Маяковским облики перерожденца с боевым большевистским прошлым,— а ведь пьеса Маяковского претендует к тому же на зарисовку типичных, общих явлений».

На эту критику ответил сам Победоносиков. В третьем акте «Баня», приехав на премьеру и увидев на сцене своего двойника, он говорит:

«Сгущено всё это, в жизни так не бывает... Ну, скажем, этот Победоносиков. Неудобно, всё-таки... Изображён, судя по всему, ответственный товарищ, и как-то его выставили в таком свете и назвали ещё как-то «главначпулс». Не бывает у нас таких. ненатурально, нежизненно, непохоже! Это надо переделать, смягчить, опозитизировать, округлить...»

В какое же положение поставил себя сам критик!

Социальное содержание последних пьес Маяковского требовало острых форм выражения. Эти пьесы исполнены ненависти к тому социальному явлению, которое Маяковский называл мешанством. Речь идёт не только о мелкобуржуазном мешанстве перриода нэпа. Маяковский называет мешанином всякого, кто отказался от исполнения революционного долга, от предначеченной ему неустанной работы, чтобы зажить в довольстве, заботясь лишь о своей выгоде.

«Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! За што я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вон она у меня под руками: и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг, на случай надобности,

всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во!»

Так выражает ненавистное Маяковскому мешанское кредо Присыпкин.

«Нам надо учиться жить. Вот моя душа, знаешь, чего хочет? Покоя, солнечной тишины, уюта... Антр-ну, по-приятельски. Другой будет врать: я такой-сякой... А я открыто. Надо было воевать, мы не прятались. Вот — заработали. А теперь мне хочется пожить».

Вы думаете, это продолжает говорить Присыпкин? Нет, эти слова принадлежат директору научно-исследовательского института Милягину — персонажу пьесы Б. Ромашова «Великая сила», написанной в 1948 году. Конечно, вылощенный, подчеркнута корректный Милягин с презрением посмотрит на грубияна Присыпкина. Но они глубоко родственны друг другу. Милягин так же упивается своим заграничным портфелем, как Присыпкин лакированными туфлями. Комфортабельная дача, построенная по картинке из американского журнала, и сад, за которым так любовно ухаживает Милягин, восклицая: «Человек должен жить в цветах», — только осуществлённая мечта Присыпкина, орущего: «Дом у меня должен быть полной чашей!» Милягин принимает на своей даче замминистра Остроумова, чрезвычайно гордясь перед гостями его визитом. Присыпкин же не хочет начинать свадебный ужин, ожидая прихода «особы секретаря завкома, уважаемого товарища Лассальченко». Дочь Милягина названа претенциозным именем Олимпия и, готовясь к кинематографической карьере, интересуется, похожа ли она на Дину Дурбин. Но и это превзошёл Присыпкин, покупая на рынке детские чепчики: «А ежели у нас двойня родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан... Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически... так и будут гулять вместе. Во!»

Мы видим, до какой степени были угаданы Маяковским самые живучие черты мешанина: их мог воспроизвести, по-своему, другой драматург через много лет.

Победоносиков, возглавляющий фантастическое учреждение — «главное управление по согласованию», является «одушевлённой тенденцией» бюрократизма. Вот он позирует за письменным столом художнику, который изображает его «ретроспективно

на боевом коне», надеясь, что картину приобретёт Музей революции. Подхалимствующий художник развлекает Победоносикова разговором: «Какая скромность при таких заслугах! Отчистите мне линию вашей боевой ноги. Как сапожок чисто блестит, прямо — хоть лизни. Только у Микель Анжело встречалась такая чистая линия. Вы знаете Микель Анжело?»

Победоносиков. Анжелов, армянин?

Бельведонский. Итальянец.

Победоносиков. Фашист?

Бельведонский. Что вы!

Победоносиков. Не знаю.

Бельведонский. Не знаете?

Победоносиков. А он меня знает?

Бельведонский. Не знаю... Он тоже художник.

Победоносиков. А! Ну, он мог бы и знать. Знаете, художников много, главначупс — один».

В этом весь Победоносиков.

Чувство собственника у Присыпкина простиралось только на его дом и жену. Победоносиков, «поднявшийся вверх по умственной, служебной и квартирной лестнице», считает себя непогрешимым судьёй в любом деле. Он думает, что способен руководить всяким учреждением. Он не сомневается, что способен дать руководящие указания искусству.

В чём же сила Победоносикова, каковы «типические обстоятельства», помогающие его процветанию? Это кабинет, недостижимый для простых смертных, откуда Победоносиков руководит; это власть над всеми, которым нужно что-то «увязать или согласовать»; это огромный конвейер просьб и предложений, мгновенно выбрасывающий формулу: «нежизненно, отказать», которым заведует мрачный субъект с фамилией Оптимистенко; это угодливые журналисты вроде Моментальникова. Победоносиков контролирует все личные дела сотрудников. А проверен ли он сам? «Ты знаешь его биографию? На вопрос: «Что делал до 17 года?» в анкетах ставил: «Был в партии». В какой — неизвестно, и неизвестно, что у него «бе» или «ме» в скобках стояло, а может, и ни бе, ни ме не было, — допытываются комсомольцы, друзья изобретателя Чудакова. Но это пока лишь область догадок.

То, что побеждает Чудаков, а Победоносиков всё же оказывается отброшенным «машинной времени», — это говорит об опти-

мизме драматурга, о его уверенности в силе советского строя. Но этот оптимизм не заставляет его преуменьшать опасность зла.

Аппарат, которым управляет Победоносиков, перестал быть органом советской власти. Маяковский показывает, что, когда нарушается принцип выборности, — теряют принадлежащее им значение партийный и массовый контроль, когда критика и самокритика отсутствуют — то или иное государственное учреждение может быть использовано победоносиковыми в антипартийных, антисоветских целях.

Такова реальная опасность, о которой сигнализирует Маяковский, — опасность, в конечном счёте всегда ликвидируемая, но тем не менее могущая возникнуть вновь — там, где не соблюдается строго принципы партийной и советской демократии. Пьеса «Битня» не только разоблачает бюрократов и показывает неизбежное поражение прохвостов вроде Победоносикова, пытающих-

ся прикрыться величайшим авторитетом партии и правительства, — она призывает к бдительности.

Театральная традиция Маяковского вовсе не предполагает обязательную гротескность формы, которая прежде всего зависит от природы того содержания, которым оперирует художник. Эта традиция требует от сатирика, чтобы он, не дожидаясь указаний, информировал партию, государство и советскую общественность о существенно важных отрицательных явлениях, замечаемых им в действительности.

Вот в чём, по нашему мнению, главное значение Маяковского-драматурга. Можно по-разному относиться к его драматургическому наследству — например, считать, что театр не был самой сильной стороной его творчества. Но упомянутые нами черты его театра должны жить, ибо они представляют подлинно сатирическую традицию в наших условиях.

2

..Нет в мире положения ужаснее положения Ювенала, задавшегося темой «бичевать» и недоумевающего, что ему бичевать, задавшегося темой «приветствовать» и недоумевающего, что ему приветствовать.

Салтыков-Щедрин.

В настоящее время развитие советской сатиры идёт в театральных пьесах главным образом по линии разоблачения «руководящих лиц». Если судить по нашей драматургии, советские учреждения буквально кишат плохими руководителями. Драматурги же смелы до отчаянности и, мёртвой хваткой вцепившись в руководство, изобличают, изобличают, не переставая, поднимаясь от председателей колхозов и директоров предприятий до секретарей обкомов и замминистров (например, «Не называя фамилий» В. Минко).

В центре этих произведений обычно находится крупный работник, имеющий некоторые заслуги в прошлом, но превратившийся в зазнавшегося вельможу и самодура, который не внимает голосу критики, но держится на своём посту вплоть до последнего акта. Это Помпеев («Гибель Помпеева» Н. Вирты), Бураков («Крушение Буракова» Р. Хигеровича и Н. Зелеранского), Лопухов («Раки» С. Михалкова), Боков («Большие хлопоты» Л. Ленча) и так далее.

Каковы же причины превращения способного, энергичного деятеля в тормоз для развития того дела, которым он руководит?

Все авторы, словно сговорившись, относят эти причины к явлениям внутреннего, психологического плана. Они объясняют печальную судьбу своих героев особенностями их индивидуальностей, темперамента и, наконец, биографии.

Помпеев в изображении Вирты — этакая размашистая русская натура. Он ни в чём не знает меры, уподобляясь купцам-самодурам из пьес Островского, и гнёт всех в бараний рог. Не случайно домработница Поля говорит о нём: «Сам» пришёл. Характерна лексика Помпеева: «Думали, я дочери добра не желаю? Ну, нет! А уж свадьбу отгрохаем по-русски. Тройку с бубенцами ради такого случая разбуду! А этот ваш план разгрохаем по всему Союзу! Мы с вами всем шишек наставим. Во все барабаны, Андрей Алексеевич, грохнем».

Замдиректора железной дороги генерал Бураков у Р. Хигеровича и Н. Зелеранского также отличается избытком энергии и крутым обращением с подчинёнными. Он устраивает шумные проводы с оркестром машинисту-новатору Черникову, обещающая ему орден за стахановский рейс, но

после его неудачи, не разобравшись, в чём дело, переводит его в слесари.

Директор издательства Бокон у Л. Ленча, травмированный понижением в должности, ибо его перебросили с более высокого поста в «Справкаиздат», впадает в апатию и не следит за делами своего учреждения, где орудуют жулики и прохвосты.

Замминистра без фамилии, герой пьесы В. Минко, в прошлом партизан и лихой кавалерист, в результате забот мешанки-жены и капризов дочери запускает дела, становится ротозеем, ставит свою подпись на подложном счёте и т. д. и т. п.

Нет никакого сомнения, что индивидуальные особенности дурных руководителей, влияющие на их жён, а также дочерей играют известную роль в их «гибели» или «крушении». Но считать эти обстоятельства главной и решающей причиной — значит лишать изображаемые факты всякой типичности и сколько-нибудь серьёзного социального значения.

Без преувеличения можно сказать, что обличение зазнайства и самоуспокоенности было основной темой нашей драматургии уже несколько лет. Несмотря на то, что авторы этих пьес проявляли повышенный интерес к психологии своих героев, объясняя их действия причинами исключительно субъективного порядка, многое в осмеиваемых явлениях так и осталось неясным. Зритель так и не понял главного: почему же и как самоуспокаиваются люди? Зритель познакомился с директором Потаповым, почему-то не желавшим освоить новый ткацкий станок на своём заводе («Московский характер» А. Софронова). Он коротко узнал Капитолину Андреевну Солнцева, директора другого завода, получившую этот станок, но почему-то наотрез отказывающуюся понять преимущества ярких красивых тканей над блёклыми и уродливыми («Рассвет над Москвой» А. Сурова). Откуда непонятная самонадеянность, отличающая этих героев от остальных персонажей тех же пьес? Почему они проявляют такое упорство, возражая против повышения производительности труда? Драматурги показывали заблуждающихся, карали за ошибки, но не раскрывали причин заблуждений. Недавно зритель терялся в догадках, как это может быть, что опытный, талантливый руководитель превращается в полного идиота, не понимающего элементарных вещей, ясных всем на сцене и в зале; теперь зри-

тель недоумевает, почему же ротозейничают положительные герои, не замечая явно выраженной непригодности того или иного руководителя, почему пьеса продолжается четыре акта, а Помпеев всё никак не может погибнуть, а Бураков потерпеть крушение?

Причина в том, что авторы пьес о зазнавшихся «вельможах» отправляются не от действительности, а от схемы.

Зритель, повывавший немало подобных пьес, невольно может прийти к пессимистическим выводам, что всякий идущий вперёд неминуемо останавливается на достигнутом, что слава и комфорт самым пагубным образом влияют на творческие силы людей.

Но так ли это? В истории культуры невозможно найти выдающихся деятелей, творчество которых иссякло бы в результате всеобщего признания и материального благополучия. Нет, настоящий человек наших дней не станет мещанином и зазнавшимся вельможей в нормальных условиях советской действительности.

Другое дело, если, награждённый за творческие заслуги, он попадает в такую обстановку, где ему удалось создать себе нерушимый искусственный авторитет, где он избавил себя от необходимости поддерживать свой авторитет делами и свои действия оградил от критики. Конечно, при таких условиях нужна чрезвычайная скромность, чтобы не возомнить себя выдающейся личностью.

Очевидно, что причины «бураковщины» или «помпеевщины» коренятся в определённых объективных условиях. Но как раз этих объективных причин сатирики избегают касаться, и вместо критики недостатков нашей действительности всё сводится к критике лишь отдельных плохих руководителей.

Таким образом, сатирики, показавшиеся на первый взгляд столь отважными, отнюдь не являются таковыми, ибо, ограничиваясь попыткой изображения типов, они совершенно забывают о существовании таких немаловажных вещей, как типические обстоятельства, например, отсутствие подлинной критики и самокритики в отдельных звеньях нашего государственного аппарата.

Интересным исключением является пьеса белорусского драматурга Андрея Макаёнка «Камни в печени», написанная до

сентябрьского Пленума ЦК КПСС, вынесшего постановление о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР.

В этой пьесе мы видим обстоятельства, способствующие карьере зарвавшегося «руководящего лица». Подобно героям других сатирических пьес, Калиберов обладает крутым характером и круглосуточно терзает подчинённых непрерывными авралами и заседаниями. За это его уже сняли с очень ответственного поста и послали в район. Мы застаём его в тот момент, когда он получил выговор с последним предупреждением. Для своей реабилитации он хочет провести уборочную кампанию так, чтобы быть «впереди всех передовиков». Но право быть впереди приходит в результате разумного руководства районом, приводящего колхозников к зажиточности и к налаженности колхозного хозяйства. Калиберов же, оказавшись в сравнительно отсталом районе, старается вырваться вперёд, нарушая советские законы. Его тактика: зависить группу урожайности у наиболее крепких колхозов, «нажимать», искусственно сокращать государственные сроки поставок и пускаться в другие противозаконные махинации.

«До пятнадцатого августа с хлебозаготовками мы должны разделаться полностью и без лишних разговоров»,— говорит Калиберов своему помощнику Мошкину. «А не справишься—душу вон и жилы—на телефон!» Так Калиберов нажимает на Мошкина, а последний на председателя колхоза «Партизан» Горошко.

Напрасно Горошко пытается отстоять перед Калиберовым интересы колхоза.

«Горошко. Бить-то нас бьют, Степан Васильевич. Сверху вы, а снизу колхозники. А за что? На трудовень мало даём. Вот за что...»

Калиберов (перебивая). Товарищ Горошко! Я ещё не помню такого случая, чтобы за низкий трудовой кому-нибудь выговор дали. А за отставание по хлебопоставкам я лично... лично знаю таких руководителей, которые по два и три выговора имеют. Ясно?

Горошко. Ясно. Хоть круть-верть, хоть верть-круть».

В результате в поле разыгрывается подлинно драматическая сцена. Пока стоит погода, надо собрать всё зерно, разумно считает Горошко и посылает всех людей убирать хлеб. Но Калиберов требует снять

половину людей, для того чтобы часть зерна была уже сегодня на заготовительном пункте. В противном случае он угрожает забрать зерно с семенного участка, уже лежащее на гумне. Решение абсурдное, но вполне логичное для положения Калиберова, которого интересуют только сроки, ибо выполнение графика для него вопрос служебной карьеры. Чем упорнее защищают колхозники свои и государственные интересы, тем сильнее нападают на них проштрафившиеся руководители. Драматизм этой борьбы усугубляется трудностью положения колхозников, которым приходится отстаивать свою правоту в крайне невыгодных условиях. Калиберов и Мошкин выступают как лица, использующие доверие партии, и пытаются прикрыть высоким авторитетом свои шкурные интересы, пуская в ход демагогию и прямые угрозы. «Вы срываете хлебопоставки! Вы саботируете государственное мероприятие! Знаю я эту вредную тенденцию!»—орёт Мошкин. Калиберов выражается ещё более определённо:

«Послезавтра, товарищ Горошко, извольте явиться к десяти часам вечера ко мне. Мы не можем терпеть отставания района. Или вы поймёте, что хлеб это основа советской экономики, или...»

Горошко (Михальчуку). Слышал?

Михальчук. Чего там слышал? Не хлеб основа, а колхозы. Будет колхоз крепкий, будет и хлеб.

Горошко. И ты туда же... Философ! Слышал, какие они слова говорят? Какие формулировки подводят? Иди, снимай с поля людей! Сейчас же, слышишь?!

Так Калиберов, используя в своих личных интересах важнейшую государственную задачу по сбору урожая, идёт на обман партии и государства, сообщая в область дутые цифры и разрушая колхозное хозяйство.

Всё это вызывает справедливый гнев колхозников. Вот как отчитывает Мошкина колхозница Ганна:

«Я знаю, дорогой ты наш начальник, чего тебе хочется. На чужом горбу в рай въехать хочешь! Тебе бы только поскорей план выполнить. Бумажкой перед начальством похвалиться. Телеграмму в область послать! А на дела наши колхозные тебе наплевать. Тут тебе хоть и трава не расти. Тебе всё равно. А мне не всё равно. Мне тут жить...»

Яркие характеры Ганны, Михальчука, Горошко и других колхозников, представляющие бесспорную удачу драматурга, наголову разбивают аргументацию некоторых критиков, которые, сетуя на то, что, по сравнению с отрицательными, положительные герои наших пьес бледны, предлагают авторам как-то «заострить» и их. Вместо того чтобы морочить голову драматургам формалистическими рецептами, следовало бы раз и навсегда уяснить себе одно простейшее обстоятельство. Если ситуация принадлежит к области драматургического штампа, где показывается какой-нибудь «вообще» зазнавшийся Помпеев, — нельзя изобразить положительных персонажей иначе, чем бледными резонёрами. Откуда им взять гнев и страсть, если им предстоит нападать на нечто, висящее в воздухе, не имеющее реальных связей с действительностью. Но покажите на сцене подлинно жизненное противоречие — и откуда только возьмётся обличительный пафос у положительных героев! Ведь речь тогда пойдёт о вполне конкретных вещах, и они будут отстаивать свои кровные интересы.

Так и происходит в комедии «Камни в печени», где, кстати, и отрицательные персонажи, Калиберов и Мошкин, обрисованы неизмеримо глубже и реалистичнее, чем все герои упомянутых выше сатирических пьес о «руководящих лицах».

«Камни в печени» — это сатирическая комедия, которая обращается всерьёз к недостаткам нашей действительности. Но достаточно ли сегодня обличать руководителей типа Победоносикова, впервые открытого Маяковским? Пока наши сатирики разоблачали Помпеевых, Бураковых, Боковых, Лопуховых и других, около них уже давно орудовали и совсем иные типы. Наши авторы почему-то описывают лишь одну разновидность карьериста — человека невежественного, утверждающего за собой лишь право «руководить», создающего себе репутацию «крепкого», «напористого». Но существует другой тип, с дипломом и даже с учёной степенью, который относится к старой разновидности карьеристов с таким же презрением, с каким молодой чёрт Люциус из чешской сказки, окончивший адскую академию, относится к глупым деревенским чертям, живущим на мельнице. К этому типу драматурги лишь приближаются ощупью, видимо недооценивая его опасность.

Буржуазный индивидуалист наших дней твёрдо усвоил, что в социалистическом обществе каждому воздаётся по труду в любой области науки, искусства, литературы и техники. Но у него нет ни способностей, ни трудолюбия, которые дали бы ему право на желаемое материальное довольство и общественное уважение, — личных заслуг у него нет. Поэтому его затаённая мечта — стать таким «поставленным лицом», «которое поставлено и стоит». Отсюда безудержный карьеризм.

Бюрократизм всегда означал возможность удовлетворить честолюбие для людей, не имеющих чести, приобрести авторитет — для безликих, власть — для безответственных. Существуют безошибочные признаки, по которым всегда узнаётся карьерист этого рода.

Страх оказаться недостаточно «передовым» всегда подстёгивает его, и какую бы кампанию или мероприятие он ни осуществлял, правильная мысль обязательно доводится им до абсурда, и он бывает главным виновником перегибов.

Если рядом совершается преступление, он никогда не выступит с обличением первый. Но зато, когда враги уже разоблачены и преступление раскрыто, — нет оратора более непримиримого и прокурора более сурового, чем он.

Если же случится, что его самого поймут с поличным, то он кается восторженно, с наслаждением. Отмежеваться от своих прежних взглядов для него так же легко и безболезненно, как лысому вырвать фальшивые волосы из парика. Ведь вчерашняя точка зрения так же не принадлежит ему, как и сегодняшняя. У него нет ничего своего, кроме эгоизма. Высокие принципы, пафос, красноречивые слова — всё чужое, заимствованное.

Если внезапно изолировать его и оставить одного, абсолютно не знающего, как ориентироваться, сразу исчезнут его начальническая важность и уверенная интонация голоса. Но дайте ему новую директиву, и вы не узнаете его: он будет вести себя так, словно он избрал сам директиву. У него хватит нахальства всех обвинять в отсталости и косности. Он достаточно бдительно охраняет свой покой и комфорт, его фразеология безупречна; у него, чего доброго, уже приготовлена книга о необходимости сатиры, и он всегда выступает спо-

учениями с точки зрения коммунистической морали.

Кругляков («Откровенный разговор» Л. Зорина, 1953 год) сначала занимает пост учёного секретаря института генетики и селекции. Затем следует «блестящая» защита диссертации, написанной по материалам, собранным двумя молодыми учёными, которыми руководил, как член дирекции, тот же Кругляков. Ему единогласно присуждают учёную степень свои же сотрудники — ведь как-никак он их начальство. Молодые учёные слегка изумлены бесцеремонностью их руководителя и в то же время польщены его благодарностью, радуются, что им предоставлена новая лаборатория (борзые щенки гоголевского судьи!). Да, надо отдать справедливость Круглякову: он умеет завоёвывать признательность окружающих. С каким смирением он выслушивает поздравления седовласых профессоров, не забывая учтиво поблагодарить каждого за немалую помощь в его научном труде. Все в восторге, считая, что защита прошла «солідно», «толково», «научно», и прочат Круглякову пост директора института.

Этот жулик с учёной степенью обладает удивительной способностью делать всё вовремя. Его диссертация написана «на наимужнейшую» тему. Кругляков умеет обставить дело так, что его, рвущегося к директорскому креслу, выдвигают другие, а он лишь покоряется, как человек, не привыкший щадить себя, когда речь идёт о благе науки и государства...

Весьма характерно, что работы и выступления Круглякова никогда не содержат новых, оригинальных мыслей. Он веско и убеждённо повторяет общие места. Недаром парторг Нечаева возмущена, что в его перспективном плане работы института отсутствует новизна. Но во всём этом, как говорят юристы, ещё нет состава преступления.

Недаром Кругляков так восхищается изображением средневекового рыцаря: «Весь в железе... с головы до пят. Тело в латах. Лицо под забралом. Не достанешь. Не прошибёшь. Не узнаешь — какой. Может, он в жизни — соломинка, а ты думаешь — великан...» И действительно: достань, прошиби такого, как Кругляков! Он весь одет в непроницаемую броню из цитат, которыми он оперирует не хуже, чем Тартюф священным писанием.

Тем не менее, на поединок с ним отваживается недавно прибывший в институт молодой учёный Савин. В своём весьма эмоциональном, но недостаточно доказательном выступлении на партийном собрании он упрекает Круглякова в недобросовестности и... в неискренности. И здесь, в последней картине, драматургу впервые изменяет чувство реальности. На деле такой человек, как Кругляков, здесь же, на месте, сокрушил бы Савина. Он поиздевался бы над скороспелостью выводов Савина относительно пшеницы «Пионерка», затем обвинил бы Савина в том, что тот против коллегиальности в науке, и, наконец, заявил бы, что не может взять на себя вину за устройство головы Савина, у которого в результате прослушанного отчётного доклада не родилось ни одной новой мысли. В пьесе Кругляков говорит всё это, но вяло, потеряв прежнюю уверенность, внутренне капитулируя перед таким прямым и чистым человеком, как Савин. Здесь драматург обнаружил не меньшую наивность, чем его герой. Автор показал мгновенный перелом в сознании сотрудников, превратившихся из друзей Круглякова в его врагов, с ожесточением на него нападающих. В данном случае в это трудно поверить. Ведь большинство сотрудников отнюдь не так безгрешно, как полагает автор. Ведь в день триумфа Круглякова даже юный положительный Свиридов сошёлся со старым подхалимом Машистовым, утверждая, что защита диссертации прошла «благородно и респектабельно». Теперь он берёт свои слова назад, так же как завхоз Рыжкин, который прежде восхищался Кругляковым. Конечно, им ничего не стоит отречься от Круглякова и заклеить его. Но всё дело в том, что такие люди отважатся на это лишь тогда, когда будут информированы, что положение Круглякова непрочно. Лишь в этом случае было бы для них достаточно выступления Савина.

Таким образом, автор опускает занавес в тот момент, когда спектакль должен был только начаться. Но попробуем продолжить пьесу. Представим себе, что Кругляков остался неразоблачённым, что он благополучным образом достиг поста директора института, затем стал подниматься ещё выше. Как поведёт он себя в этом новом положении? Честолюбец достиг большего, чем мечтал. Но это отнюдь не зна-

чит, что он успокоился и утратил бы-лую активность. Напротив, он действителен, бдителен и энергичен, как никогда. Он подобен воздушному гимнасту, идущему по проволоке на большой высоте, у него одна задача — удержаться. Для этого существует испытаннейший способ, к которому прибегают проходимцы, подобные Круглякову: он состоит в том, чтобы не принимать самостоятельных решений, незаручившись своевременно мнением тех людей, которые могут быть ему опасны. Лишь зная или угадывая это мнение, кругляковы проявляют видимость самостоятельности.

Перед нами ситуация, ещё ни разу не изображённая на сцене. В самом деле: до сих пор всякий честолюбец, дорвавшись до власти, стремился полностью реализовать свою личность. Каждый из шедри-нских градоначальников накладывал свою неповторимую печать на историю города Глупова. Победоносиков тоже был «личностью» и руководил доверенным ему учреждением по своему нраву и разумению. Можно было ожидать, что и Кругляков, произносивший до сих пор только цитаты и обтекаемые фразы, наконец заговорит своим языком. Но он совсем утрачивает дар речи. Он предпочитает молчать, остерегаясь публичности и всякого подобия популярности. Его идеал — превратиться в тень, в призрак, занимать видное положение и в то же время как бы не существовать. Интеллектуальное харакири предпринимается карьеристом в тот самый момент, когда он достиг вершины своей карьеры. Только в виде тени, призрака, он может существовать в дальнейшем.

Но и эта тень наносит немалый ущерб государству, измеряемый не только несколькими тысячами рублей зарплаты. Каждый Кругляков может стать препятствием для ценных изобретений, научных трудов, книг, фильмов, премьер в театре, если он занимает соответствующий пост. Он будет всему этому мешать до тех пор, пока сам не потерпит крушения.

Конец всякого «обтекаемого» человека до уныния одинаков. Все они похожи на Расплюева, о котором Кречинский сказал: «Гончая ты собака, Расплюев, а чутья у тебя нет... Эхх ты!» Глубокомысленное изречение одного из персонажей А. Софрониова: «Информация — это мать интуиции» — является для них роковым; рано

или поздно они оказываются недостаточно информированными и летят в небытие «частной жизни». Мы видим, что настоящая пьеса о гибели Круглякова ещё впереди. Драматурги пока лишь освещают этот тип прожекторами сатиры. Надо надеяться, что когда-нибудь по нему будет открыт губительный огонь сатирического спектакля.

Искусство сатирика требует от автора зоркости и весьма точного глазомера. Как уже было показано на примере пьесы Л. Зорина, авторы часто недооценивают истинные размеры обличаемого ими социального зла.

Существует иная ошибка, нередко совершаемая авторами сатирических комедий. Это — преувеличение социальной опасности противника. Здесь просчёт драматурга может сказаться сразу, ибо весь сарказм направлен на противника, который очень легко обнаруживает своё ничтожество.

Чтобы нагляднее продемонстрировать эту мысль, напомним известную в своё время комедию Н. Погодина «Моль».

Героиня этой пьесы — циничная, бесчувственная и обольстительная женщина, одинаково «опасная» для молодого героя-лётчика и для старика-профессора. Её любят Разве она не идеальная жена старому профессору Сомову, который, «как Наполеон, обожает пустых женщин»? Не окружает ли она комфортом и заботами юношу Кострова? И они не жалуются ни на её пустоту, ни на её невежество и страсть к нарядам. Она вполне человек их круга. Она прямо-таки сотворена для них.

В уста остальных персонажей этой пьесы драматург вложил слова самой острой ненависти к Агнесе. «Рядом с вами трудно дышать», «вы носитель заразы», — говорит сестра Кострова Женя. «Вас надо давить, мадам!» — остервенело кричит журналист Зак, размахивая кулаками прямо перед её лицом. «Моль» — кратко называет всю пьесу в честь своей героини сам Погодин. Всячески очернив Агнесу, драматург старается возвысить Кострова. И здесь начинается подлинная, непринуждённая комедия: положительные герои пьесы становятся нестерпимо смешны именно в моменты, когда Погодин наиболее серьёзен. Костров и Сомов не подозревают (вместе с автором), что подлинный источник «могущества» Агнесы находится в них самих.

Женщина уходит, гибкая и изящная, в алой шляпке, сдвинутой набекрень. Она опасна, как неразорвавшаяся торпеда, её уход зловещ и многозначителен. «Скажи, я ещё могу нравиться?» — спрашивает она Сомова. «К сожалению, да», — с дрожью в голосе отвечает профессор. Грозным предостережением зрителю выглядит всё это. Наконец она покидает сцену — и тотчас стремительно врываются друзья лётчика и профессора. Какое комическое торжество над неповерженным врагом!

Н. Погодин не расстался со своей героиней. В его другой пьесе — «В конце лета» — действует снова «демоническая женщина» под фамилией Лютиковой, и в ней нетрудно распознать Агнесу. Она несколько осунулась, поблёкла, изучила стенографию и теперь работает секретаршей. Но она ещё не вполне утратила свой эффектный вид и попрежнему опасна для заслуженных деятелей науки. Это из-за неё профессор Благин, забыв о срочном государственном заказе, задерживается на курорте и начинает дело о разводе с женой. Но торжество Лютиковой преждевременно. Благина заботливо охраняют народный судья и представители общественных организаций. Профессору не дают развестись, предъявляя доказательства корыстных побуждений Лютиковой. Осознавший всю глубину возможного падения, Благин возвращается в лоно семьи.

Автор, повидимому, пришёл к мысли, что в подобных случаях нелепо сваливать всю вину на одну женщину, противопоставляя её кристально чистым положительным персонажам. Благин не случайно поддался чарам Лютиковой; он страдал сомнением, считал себя незаменимым конструктором, был высокомерен с подчинёнными, и вот именно этими слабостями воспользовалась Лютикова. Тем не менее авторские симпатии полностью на стороне Благина, который, с честью выдержав испытание и порвав с Лютиковой, возвращается на завод, обновлённый и очищенный от прежних недостатков. Теперь он полностью отдаёт все свои силы производству, вежлив с сотрудниками и смело выдвигает молодёжь на ответственные посты. Поэтому так радуются друзья, весело справляя торжество возвращения Благина.

И снова Благин вместе с заместителем директора завода Курчатовым (признавшимся, что и ему нравилась Лютикова)

радуются, что они так счастливо спаслись от чар «опасной женщины». Лютикова же попрежнему уходит озлоблённая, ожесточённая и, повидимому, ещё не сломленная.

Следовало ожидать, что через несколько лет появится ещё одна пьеса, завершающая цикл «Моли», где Погодин наконец скончательно расправится со своей героиней. И такая пьеса появилась под названием «Когда ломаются копыта». Хотя это произведение посвящено дискуссии в области микробиологии и темой его является торжество новаторства над консерватизмом в науке, но образ «опасной» женщины вновь возникает в центре событий. Это жена академика Картавина, Виктория Владимировна, или Вика, нежно заботящаяся о здоровье престарелого мужа и убагаживающая его от тревожений научной дискуссии. Она совершенно серьёзно понимает свои обязанности жены большого человека. «Моя общественная нагрузка — это вы», — говорит она мужу. По её наущению влюблённый академик покидает дискуссию и попадает в весьма нелепое положение. Сидя с другом на даче, Картавин отводит душу: «Я хочу, чтобы ты знал, как я дошёл до этой фантастической жизни. Ибо я, действительно, утратил разум, когда послушался её советов. Она — ближайший мне человек, то есть жена, которая меня любит каким-то своим манером. Любит — это правда. И я её люблю. Тоже святая правда. И одна она могла меня науськать выйти из комиссии и хлопнуть дверью. Хлопнул!..» И почтенный академик устраивает бунт против своей супруги. Поединок между ними полон истинного комизма, ибо трудно заранее сказать, кто из них одержит победу: Картавин, несмотря на седины, полон сил и энергии, Вика лукава и оболъстительна. В конце концов Картавин укрощает свою Вику, реабилитирует себя как учёный, и в его семье наступает полный мир. Оказывается, что Вика, поставленная на должное место, может быть великолепной женой и верной подругой своему мужу. Таков конец «демонической женщины», показанный Погодиным. В этой пьесе происходит не только примирение Картавина с женой, но и примирение Погодина со своей героиней, над которой он заносил бич сатиры в двух предыдущих пьесах.

Правда, драматург остаётся непримиримым по отношению к Раечке — родственни-

це Вики, юной охотнице за обеспеченными мужьями—точной копии Вики в молодости, когда она ещё носила имя Агнесы или фамилию Лютиковой. После агрессивных попыток выйти замуж за молодого физика Брешко и вмешаться в ход научной дискуссии Раечку с позором изгоняют из дома Картавиных. Она гордо уходит с высоко поднятой головой, совершенно так же, как прежние погодинские героини. Но зритель на этот раз может быть спокоен—после многих походов, пройдя весь цикл превращений Вики, Раечка, видимо, также станет общественно полезной личностью, сделавшись добродетельной женой какого-нибудь учёного или генерала.

Нам кажется, что Погодин, потратив на этого противника так много труда и таланта, переоценил его опасность для советского общества.

Мы коснулись двух ошибок, частых в нашей театральной сатире. Возможен и третий случай. Несомненно, что один из самых забавных комедийных персонажей—это сатирик, убегающий от предмета своего разоблачения, не желающий никого обидеть, изымающий из обличаемого объекта черты всякого сходства с жизненным прототипом. В комедии-обзрении «Где эта улица, где этот дом...» В. Дыховичный и М. Слобод-

ской пытаются задним числом высмеять авторов «бесконфликтных» пьес. Это могло быть и смешно и поучительно: драматург, сомневающийся в существовании конфликта и не подозревающий, что существование его самого в качестве сатирика есть вопиющий конфликт с действительностью,—это ярко выраженная комедийная ситуация. К сожалению, авторы обзрения, вместо того чтобы показать, как умные, опытные художники вдруг уподобились щедринским генералам, погибающим на необитаемом острове от голода среди изобилия пищи,—вывели на сцену глушеjších драмодслов Ведрина и Клюева. Их продукция, изображённая в интермедии «Но это только сон», представляет пародию на какой-то воображаемый спектакль, который не имеет ничего общего с реально существующими. В этой комедии нет ни одного меткого попадания в цель, потому что объект сатиры начисто выдуман авторами. Любой, даже самый злостный халтурщик может чувствовать себя на спектакле «Где эта улица...» в полной безопасности: он отделён от происходящего на сцене барьером несходства.

Когда автор сатиры заменяет предмет своего обличения фигурой «подставного дурака», высокое комедийное искусство умирает.

3

Ну, да мало ли есть всяких смешных светских случаев. Ну, положим, например, я отправился на гулянье на Аптекарский остров, а кучер меня вдруг завёз там на Выборгскую, или к Смольному монастырю. Мало ли есть всяких смешных сцеплений?

Гоголь. «Театральный разъезд после представления новой комедии».

На страницах печати идут бесконечные споры о том, может ли быть написана сатира, где действуют одни отрицательные персонажи. Но уместно задать другой, гораздо более интересный вопрос: возможна ли комедия с одними лишь положительными героями? Таких комедий написано сравнительно много. В большинстве случаев это комедии положений, где смех вызывается главным образом путаницей и недоразумениями между персонажами. Как правило, авторы кладут в основу таких пьес какую-нибудь большую идею, которая так и остаётся художественно нереализованной, а служит скорее вывеской, дающей пропуск на сцену. Так, основной темой комедии А. Галича «Вас вызывает Таймыр» являет-

ся демонстрация дружбы и взаимопомощи советских людей. Соседи по номеру гостиницы приехавшего зимовщика Дюжикова, бросив все свои дела, добровольно берут на себя все хлопоты героя, который не может отойти от телефона.

Рассказывают, что во время антракта в кабинет директора театра вошёл молодой человек, с энергичным, обветренным лицом, и спросил: «Я тоже зимовщик, приехал в командировку, как Дюжиков. Я так же остановился на тринадцатом этаже гостиницы «Москва». Но почему же мне никто не помогает в моих личных делах?»

Полярник в этом анекдоте не понял жанровой природы этого спектакля-водевиля, где жизнь идеализирована так же, как в

музыкальных кинокомедиях «Весна», «Сказание о земле Сибирской» и других. Имеет ли право на существование подобный жанр, несмотря на всю условность? Если гротеск показывает сущность отрицательных явлений, раскрывая их ещё не реализованные «готовности» (в щедринском смысле), то логично предположить драматургические жанры (лирическая комедия, водевиль), где демонстрируются ещё не осуществлённые положительные возможности нашей действительности. Но пьесы в таких жанрах будут оправданы лишь в том случае, если условность будет помогать глубокому раскрытию жизненной правды и не сведётся к её поверхностному украшательству и лакировке. Однако зачастую авторы лирических комедий отлично рисуют идеальные типические обстоятельства, но не изображают соответствующие типы, отличаясь этим от сатириков, которые часто с немалым искусством рисуют отрицательные типы, умалчивая о реальных причинах, которые их породили.

Молодой палеонтолог в комедии «2:0 в нашу пользу» В. Полякова влюбляется в физкультурницу. Представленный ей в качестве мастера спорта, он вынужден оправдать это звание и, путём долгой упорной тренировки, превращается из хилого юноши в спортсмена с великолепной мускулатурой. Эта комедия идёт с огромным успехом в Центральном театре кукол в постановке С. Образцова. В обыкновенном театре зритель, посмеявшись, уходил бы с чувством сострадания к актёрам, которые играли такую легковесную пьесу. Но в исполнении кукол эта пьеса, не уступающая по глубине психологической разработки многим «лирическим комедиям» наших дней, обретает свой истинный вес. Здесь форма выступает в удивительной гармонии с содержанием, ибо оказывается, что мысли и чувства героев гораздо больше соответствуют куклам. В этом причина изящества и тонкого юмора этого замечательного спектакля. Какой поучительный урок! Быть может, некоторые из лирических комедий с их кукельными мыслями и страстями могли бы с успехом найти сценическое решение в том же самом театре.

Но в чём же причина, что комедия с одними положительными героями так плохо удаётся? Справедливо ли упрекать за это драматургов? Не лежит ли эта причина в самой основе советского общества,

где жизнь каждого передового человека, новатора и борца, полна героических, драматических и комедийных моментов, неотделимых друг от друга? Ведь стоит только обратиться к произведениям, не претендующим на право называться лирической комедией, — будь то роман, повесть или просто «пьеса» — мы встретим там неподдельные комические эпизоды.

Разве не как комедийный герой предстаёт перед нами Швандя («Любовь Яровая» К. Тренёва), никогда не унывающий, выпутывающийся из любых затруднений, глубоко уверенный в правоте своего дела и в то же время носитель самых причудливых представлений, искренне принимающий профессора Горностаева за самого Карла Маркса? Но можно ли говорить об ограниченности Шванди? Он владеет огромной правдой, хотя и не знает её во всех деталях. Наряду с курьёзными заблуждениями он обнаруживает дальновидность, недоступную в данный момент профессору Горностаеву. В главном он действует безошибочно, связав себя с революцией и сделавшись одним из самых верных её солдат.

Для возникновения смеха иногда достаточно двух условий: наличия ограниченного, отжившего, «призрачного» явления и сознания у зрителя превосходства над ним.

В данном же случае Швандя сам отрицает свою ограниченность, на деле торжествуя над ней. Противоречие между наивным сознанием Шванди и прогрессивностью выполняемой им исторической задачи оказывается разрешимым; в этом причина радостного, не омрачённого ничем смеха.

Швандя — комическая фигура и подлинный герой в одно и то же время. Можно привести ещё более выразительный пример этого сочетания. Герой одного из лучших фильмов — Чапаев, выдающийся полководец гражданской войны, — тоже попадает в комические положения. Зритель смеётся, когда он путается, отвечая на вопрос: «Ты за большевиков али за коммунистов?» Юмор положения состоит в том, что Чапаев — командующий соединением Красногвардейской Армии, ожесточённо сражающийся против белогвардейских банд, не знает сам, что он уже давно действует как большевик, как коммунист.

Революционная страсть Чапаева значит много больше, чем пробелы в его знаниях.

Комедийные положения, в которые попадают люди, подобные Чапаеву, — это одновременно испытание и демонстрация перед зрителями силы этих героев.

Было бы ошибочным думать, что комедийные ситуации, о которых говорилось выше, были возможны только в годы гражданской войны. Достаточно назвать «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры, «Подпольный обком действует» А. Фёдорова, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова — книги, где есть множество комедийных сцен, несмотря на то, что описываемые в них события весьма суровы и героичны. Например, уже на первой странице книги «Люди с чистой совестью» можно прочесть, как режиссёр Киевской киностудии Вершигора, дежуря на крыше в первый день бомбёжки и увидев, что над его головой отрывается бомба от самолёта, крикнул в телефон: «Погибаю, но не сдаюсь» — и упал лицом вниз, ожидая смерти. Через три года этот штатский человек стал генерал-майором; но тогда он ещё не знал, что бомба падает по параболе, а не по прямой и в данном случае ему не угрожала. Его поведение было героично, но и смешно.

В приведённых примерах мы видим отдельные комедийные эпизоды, но герои этих эпизодов — не персонажи комедии. Возможно ли представить Швандю, Чапаева или Максима (кинотрилогия о Максиме) вне грандиозных исторических событий?

На образах Шванди, Чапаева и многих других мы убеждаемся, что героическое может не только выступать рядом со смешным, но быть от него неотделимым.

Обращение к этим примерам также убеждает нас в том, что главный герой нашей комедии вряд ли может быть завершённым, идеальным образцом. Противоречия в его неограниченном росте — вот предмет комедии. Но ведь каждая пьеса, изображающая советских людей, обязательно показывает их рост. В чём же тогда специфика комедии? Лишь в том, что недостатки героя здесь не становятся серьёзным препятствием для выполнения им дела, и, главное, в том, что он искореняет их собственными силами. Торжество над своей недавней ограниченностью всегда радостно. Вот почему одним из любимейших устных рассказов Ираклия Андроникова является «Первый раз на эстраде». Воспроизводя все подробности

своего первого выступления в качестве лектора филармонии, Андроников сумел одно из самых тяжёлых поражений своей жизни превратить в произведение высокого юмора и юмора.

Зритель радуется также на юную Маринэ, полную жизненных сил, но ещё не знающую, куда применить свои таланты, и покуда беззаботно развлекающуюся, несмотря на неудовольствие отца и ироническое отношение окружающих («Стрекоза» М. Бараташвили). Смех зрителей в равной степени вызывает и старый академик Картавин в исполнении И. Ильинского («Когда ломаются копья», Малый театр) — выдающийся учёный, человек, способный по-детски радоваться своей победе над деспотизмом жены, человек, то выше всего ставящий интересы науки, то жертвующий этими интересами ради душевного спокойствия. Необычайно требовательный к людям, способный скептически заявить: «Я никому не верю, кто мгновенно перестраивается и сразу видит всё, чего час тому назад не видел», — он в то же время снисходителен и даже близорук в отношении своих близких. Картавин — Ильинский имеет завидное право в конце спектакля задать вопрос: «...кто же я посреди вас — тип положительный или отрицательный?» Такой вопрос, свидетельствующий о сложности и многогранности характера, созданного Н. Погодиным, может задать только живой человек, но, к сожалению, далеко не всякий герой драматургического произведения.

Удачи в создании подобных характеров — положительных героев комедии — крайне редки. Вот почему мы приходим к выводу, что в условиях советской действительности комедию с одними положительными героями написать так же трудно, как и сатиру, где действуют только одни отрицательные персонажи. Да и вряд ли к созданию таких комедий следует стремиться. Ведь нет никакой нужды ради чистоты жанра делать насильно над действительностью, искусственно рассекая её на две половины — область сатиры и область юмора. Эти области слишком тесно переплетены в жизни. Когда драматург не избирает заранее жанра и не стремится во что бы то ни стало написать комедию с одними положительными героями, а просто, следуя объективным ситуациям, изображает и хорошее и дурное, он скорее найдёт путь к созданию произ-

ведения вроде такого прекрасного фильма, как «Машенька» (сценарий Е. Габриловича, режиссёр Ю. Райзман, исполнительница главной роли В. Караваева). Это не драма и не комедия. Но здесь есть трогательное, и смешное, и героическое, показанное в реальной обстановке мира и войны. Этот бытовой и в то же время поэтический фильм раскрывает душевную красоту советского человека гораздо глубже, чем все лирические комедии, приукрашивающие действительность.

Мы всё же не хотим сказать, что лири-

ческая комедия, немного идеализированная, принципиально невозможна. Такая комедия может быть создана. Но путь к ней — не те «смешные сцепления», о которых говорит один из зрителей гоголевского «Театрального разъезда». Дело в том, что рисовать «идеализированные» образы, не обедняя при этом действительности, может лишь автор, который уже до того научился воспроизводить реальную сложность и многообразие характеров. Умение писать лёгкую комедию требует тяжёлого предварительного труда.



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Турнов. По шаблону.— **М. Козьмин.** В плену у материала.— **Г. Иойранская.** О теме главной и побочной.— **А. Г. Гатов.** Книга о великом китайском писателе-революционере.— **А. Марксвич.** Гоголь и революционные демократы.— **Л. Боровой.** «Геометрическая» лингвистика.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Е. Песчанский. Борьба продолжается.— Кандидат исторических наук **А. Валуйский.** Крестьянское движение на Ближнем Востоке.— **Н. Горбунов.** Аргентинский экономист о судьбах своей родины.— Кандидат географических наук **И. Забелин.** Выдающийся русский естествоиспытатель.— Кандидат исторических наук **Л. Липин.** Учебник по древней истории.

Литература и искусство

По шаблону

Иногда бывает, что далеко не совершенные создания писателей, художников, актёров играют заметную роль в жизни народа, потому что в них вложен ценный жизненный материал, взяты темы, которых никто ещё не затрагивал и которые имеют общественное значение. Такие произведения рождаются в результате постоянной исследовательской работы, проделанной автором.

Однако далеко не всегда приходится читать книги, проникнутые пафосом подобного исследования действительности. Нередко встречаются произведения, которые на первый взгляд кажутся злободневными и интересными, но при чтении разочаровывают читателя. У него создаётся твёрдое убеждение, что писатель, избрав ту или иную тему, лишь отдаёт дань установившемуся трафарету и, даже хорошо зная жизненный материал, всё время оглядывается зачем-то на то, «как пишут» на эту тему (точь-в-точь как щёголи соотносятся с модным фасоном платья).

Такие мысли невольно приходят в голову при чтении журнала «Советский Казахстан», где пристрастие к готовым решениям, к штампу проявилось особенно явно.

«Советский Казахстан», литературно-художественный журнал, №№ 1—3. Алма-Ата, 1953.

В этом году в журнале закончена печатанием повесть Василия Ванюшина «Точка опоры».

Очень полезно и верно, когда автор, обращаясь к прошлому, умеет отыскать в нём истоки того, что он видит вокруг себя нынче. Разумеется, этих плодотворных результатов может достичь только такой писатель, который серьёзно вникнет в реальный материал. Но не этим путём пошёл В. Ванюшин.

Известно, что ещё до Великой Отечественной войны в некоторых местностях начались работы по преобразованию природы. Но если и сейчас встречаются ещё многочисленные трудности в проведении, скажем, лесопосадок, то ещё меньше была разработана их методика в те годы; несравненно меньше было тогда и материально-технических средств. Поэтому изображаемая в повести Ванюшина кампания за преобразование природы, начатая в небольшой, осаждённой песками деревеньке в пору начала колхозного строительства, в пору жестокой борьбы с кулачеством, ощущается как нереальная и выдуманная автором.

И когда читаешь о том, как герои предвидят роль прудов и лесопосадок в будущем, как враги народа обеспокоены появлением первых, хилых лесопосадок, становится ясно: к сожалению, точкой опоры для В. Ванюшина стало не следование реальной

жизненной правде, а стремление во что бы то ни стало сделать прошлое абсолютно во всём «созвучным» настоящему. Автор пишет порой как бы по готовому стандарту, не принимая в расчёт времени, о котором идёт речь. Вряд ли, например, в глухой деревеньке в начале коллективизации «все понимали, что со старым следует кончать, что наступает новая жизнь, которая требует иных отношений в труде и быту»¹.

Повесть В. Ванюшина очень слаба и в художественном отношении. Образы героев написаны неубедительно, на них также лежит печать штампа. Вредителя Подоруева автор заставляет в конце действовать с удивительной опрометчивостью, предпринимая его немедленное разоблачение. С излишним умилением повествует автор о секретаре обкома Кругалёве. К чему это иконописное изображение партработника, при котором ему ставятся в заслугу такие вещи, как «тёплое прощание» с... будущей женой или то, что его старый друг, придя к нему за партбилетом, «осмелился» его о чём-то спрашивать!

Писатель не умеет показать героев говорящими и думающими сообразно их характеру, социальному положению, эпохе. Так, Степан Родин, председатель колхоза, то произносит безукоризненно правильные речи о борьбе с засухой, то вдруг начинает говорить «ишо», «Миссисипия», «ет-то правильно», «лектричество». Нередко в речи героев встречаются непонятные местные выражения: «зобни», «прилабунивался».

Повесть Дмитрия Снегина «В наступлении», являющаяся продолжением его книги «На дальних подступах», рассказывает о героической гвардейской дивизии имени Панфилова. Повесть носит скорее хроникальный характер: в ней нет героев, которым автор уделял бы главное внимание; люди попадают в поле зрения ровно настолько, насколько они необходимы, чтобы понятен был рассказ о том или ином событии в жизни

дивизии. Стремление глубже погрузиться во внутренний мир какого-либо человека у Д. Снегина не чувствуется. Кажется, он вообще сомневается, нужно ли в литературе пристальное внимание к разнообразной и сложной диалектике человеческих чувств и мыслей:

«...Много ли надо времени,— замечает он однажды,— для того, чтобы увидеть то главное, что составляет душу советского человека, когда короткий вопрос — с какого года в партии — раскрывает доступ в самую глубину человеческой жизни, если ты подлинный товарищ, друг».

Сказано это чрезвычайно глубокомысленно и с претензией на эффект, а по существу выглядит довольно шатко. Как было бы просто распознавать людей, если бы вопрос, о котором говорит Д. Снегин, давал в руки все ключи к человеческой натуре!

Нам кажется, что приведённое высказывание Д. Снегина отнюдь не случайно. В своих героях он и показывает только о общее, «главное», не заботясь о том, в какой индивидуальной, особенной форме проявляется это в жизни.

Люди у Д. Снегина нередко говорят и поступают только как безличные носители тех или иных свойств. Известно, что одна из характернейших черт нашей идеологии — её гуманизм. И вот умирающий Тулеген Тохтаров шепчет: «— Любишь жизнь, люби за неё воевать», а тяжело раненный Фролов «раздельно произносит»: «Мы — живём. Мы не имеем права умирать. Мы нужны Родине в борьбе с врагами свободы и мира на земле».

Склонность к подобному абстрактному мышлению доходит у героев повести до того, что боец Железняк, выходя из бани, рассуждает сам с собой таким образом: «— И до чего ж любит советский человек чистым быть. Воевать так воевать — с чистой совестью, с чистым телом...» Об атаке в книге говорится, что, «как всякая (!) атака советских воинов, она была сокрушительной».

Почти все одержанные панфиловцами победы выглядят в повести довольно лёгкими: «Недолгим был этот хорошо продуманный и подготовленный ночной бой»; «По всему было видно — в Кречетове фашисты решили удержаться любой ценой... А спустя ровно сорок минут после короткого ураганного огневого удара по вражескому узлу

¹ Невольно сопоставляешь это заявление с замечанием критича М. Сармурзинной в том же номере журнала, что в 30-е годы в Казахстане искоренили «остатки буржуазной идеологии в сознании некоторых отсталых рабочих...» Да ведь если бы уже в 30-е годы речь шла об остатках буржуазной идеологии в сознании лишь некоторых рабочих Казахстана, то сейчас, наверное, вовсе не с чем было бы бороться, некого воспитывать.

сопротивления Кречетово было освобождено панфиловцами».

Литературщиной отдаёт история Гали Вертловой, помешавшейся после гибели матери. Так, автор сообщает, что, когда фашисты «пытались... откровенно и грубо уластить девушку», та «не отталкивала очередного домогателя... но так глядела в глаза насильнику, такой загадочно-сумасшедший огонь вспыхивал в её нестерпимо синих глазах, что фашист пятился в сторону, суеверно отмахиваясь от неё, как от дьявола».

Неудачей кажется нам образ нового командира панфиловской дивизии, генерала Чистовидова, которого автор пытался сделать «оригинальным человеком». Чего стоит хотя бы то, что в день своего расставания с панфиловцами (его назначили командиром более крупного соединения) генерал Чистовидов «неожиданно закричал: — Хороший нынче день, друзья». Человек с более или менее чуткой душой, даже обрадованный почётным назначением, всё же, если оно влечёт за собой разлуку с теми, к кому уже привык и кого полюбил, будет ощущать двойное чувство — радости и грусти — и уж во всяком случае не станет высказывать свою радость при тех, с кем ему предстоит расстаться.

В повести много и других фальшивых еден, неверных нот. Язык её невыразителен, встречаются и прямые вгреди, например: «И в словах комиссара и в скупом кивке полковника Андреев уловил для себя что-то хорошее, и что об этом хорошем, заключённом в его душе, знают старшие товарищи и именно это позволили им принять решение о назначении его, Андреева, командиром дивизиона». Понять эту фразу довольно трудно, если вообще возможно.

Серьёзные критические замечания вызывает и повесть М. Цыбенко «Дальние дороги». Прочитав это произведение о жизни и работе шофёров, не успеваешь ни к кому из героев прилепиться душой. Равнодушно узнаёшь, что вбалмошный, своенравный Авдошкин наконец (чтобы не сказать — вдруг) стал лучшим шофёром автобазы. Равнодушно встречаешь привычные, графаретные детали: на заседании накурено так, что лампочка — словно в тумане; машины ожидают начала работ — как танки, готовые к бою; шофёр работает вдохновенно — как пианист (?); затеян разговор о новых стройках — и никто из усталых шофёров не может уснуть. Неинтересно читать то, что уже

встречалось в других книгах, в чём не заключено своей мысли, своих наблюдений! А ведь есть в этой повести странички, написанные свежо и интересно. Например, запоминается сцена, когда один из героев учит уволенного пьяницу и мошенника Подальюка спекулировать на чуткости к людям, свойственной настоящим советским гражданам. Да, старое вовсе не так легко сдаётся, оно стремится приноравливаться к новому, чтобы успешнее ему сопротивляться. И писатель показал, как это происходит в жизни, на таком примере, который не только ещё не затаскан, но, кажется, вообще впервые попадает в литературу.

Вносить в свои книги собственные наблюдения и глубоко продуманные, в какой-то мере выстраданные мысли — вот чего хочется пожелать многим писателям, а не только М. Цыбенко.

Это пожелание хочется отнести и к авторам четырнадцати рассказов, напечатанных в журнале за этот год.

Что предлагают авторы этих рассказов читательскому вниманию? В какой мере отражена в их произведениях многогранная и своеобразная действительность Казахской ССР?

Совершенно нет в журнале рассказов о жизни рабочих. Больше повезло колхозникам, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что по рассказам в «Советском Казахстане» довольно трудно судить и о подлинной жизни колхозов республики.

Рассказ Ф. Тихова «Кокен с богары» вызывает в памяти множество произведений, главный герой которых долгие время упорствует без достаточных оснований в каком-нибудь заблуждении, чтобы впоследствии сразу же осознать свою неправоту.

Казалось бы, серьёзный случай положен в основу рассказа А. Дубовицкого «Зелёная тачанка». При укрупнении колхоза прежний председатель, Хребтов, опытный, но старый годами, уступил своё место новому — Недоспелову, оказавшемуся не на высоте положения и едва не приведшему хозяйство к полному упадку.

Однако в рассказе конфликт серьёзно комприметируется историей зелёной тачанки, в которой ездил старый председатель и которая так приглянулась новому, что он сразу же после передачи дел, «оперевив Хребтова, поспешил к зелёной тачанке. И вышло это так, будто он боялся, что опоздает и на неё снова сядет старый председатель». За

эту зелёную тачанку выговаривает Недоспелову его отец, она же фигурирует и на районной партийной конференции, где, обвиняя Недоспелова в развале работы, кто-то упрекает его за то, что он «позарился» на зелёную тачанку. Она же, застланная коврами, подкатывает к дому Хребтова несколько недель спустя после конференции: Недоспелов и колхозники просят старика вновь принять бразды правления.

Увлечённо живописуя все эти перипетии, автор не замечает, что его рассказ неожиданно начинает походить на известный очерк Щедрина о взаимоотношениях «старого» и «молодого» помпадуров. Это парадоксальное, никак не намеренное сходство подчёркивается и тем, что активный член партии, пользующийся огромным авторитетом, Хребтов ведёт себя после ухода с председательского поста и впрямь, как помпадур на покое. Так, узнав о том, что в колхозе дела идут неважно, он только вздыхает: «— Знаю, нечем помочь. Да только душа-то живая, болит. Своё ведь. Родное. Знаешь, Стёпа, как добро наживали? Сколько ночей, дней...» Будто он уж никак вмешаться не может, будто уж в колхозе царит безудержная, деспотическая власть, которой ничто не в силах препятствовать.

Полностью навеян литературными воспоминаниями рассказ Я. Велижанского «Дождливый день». В нём описан осенний непогожий день, в который исполнилось тридцать лет с тех пор, как Ольга Павловна учительствует в селе. Так же хмуро и пасмурно, как на улице, в душе юбилярши. «Томительная грусть» охватывает её с утра, она уезжает к подруге в гости, но и там семейный уют напоминает ей о гибели любимого человека. В дороге кучер элегически вопрошает её: «...вот вы — учительница, сколько детей наших выучили да указали им место в жизни... а случилось, чтобы у вас были большие радости, чтобы вам спасибо сказали?» Короче: автор нарочито сгущает мрачные краски, чтобы в конце рассказа осласливать читателя описанием вечера, устроенного колхозниками в честь юбилярши, причём, как водится в литературе, Ольга Павловна до последней минуты ни о чём не догадывается.

Рассказы, посвящённые детям, пионерам, чрезмерно, обнажённо назидательны. Характерен в этом смысле рассказ Б. Сокпабаева «В походе». В нём описано, как пионер-отличник отставал в лыжном походе, как

издевался над ним хороший лыжник, но посредственный ученик; как, наконец, он предложил помощь выбившемуся из сил товарищу, но взамен потребовал, чтобы тот обещал ему подсказывать на уроках, и как отличник, разумеется, не согласился на это.

Вполне вероятно, что помогавший в походе товарищу ученик впоследствии, в трудную минуту жизни, использует это обстоятельство; но именно — впоследствии. Такое же заранее предъявляемое требование, какое фигурирует в рассказе, сразу выдаёт назидательный замысел автора. Вряд ли подобный рассказ о преодолённом «искушении» взволнует кого-нибудь из взрослых или детей.

В рассматриваемых нами номерах журнала драматургия представлена весьма слабо. Опубликована всего одна пьеса П. Джуринской и Н. Артемьева «За нами пойдут». Это пьеса о Макаренко, построенная на материале его произведений. Как известно, даже самому Макаренко оказалось не по силам полноценно изложить богатейшее содержание «Педагогической поэмы» в драматургической форме. Ещё хуже обстоит дело у Джуринской и Артемьева. Они пошли по пути дешёвого «закручивания» интриги. Всё, что не взято авторами непосредственно из «Педагогической поэмы» и «Флагов на башнях», не выдерживает никакой критики. П. Джуринская и Н. Артемьев вульгарно упрощают историю борьбы Макаренко с консервативно настроенными педагогами, которые, оказывается, состояли на американском жалованье (1).

Лучшим из напечатанных в журнале очерков представляется нам «Первый зодчий» Василия Бирюкова, главного архитектора республиканского проектного института. Автор создал привлекательный портрет А. П. Зенкова — талантливого создателя строений, способных выдерживать подземные толчки.

Содержательны также очерки капитана дальнего плавания И. И. Рябинина «В индийском штате Мадрас» и «Сады Усть-Каменогорска» Н. Анова.

Слабее очерки М. Самсонова («В песках Муюн-Кум») и Дм. Снегина — о строительстве Усть-Каменогорской ГЭС. В них часто появляются беглые, невыразительные описания, герои характеризованы настолько вскользь, что их невозможно запомнить.

Слабость этих очерков хочется поставить в связь с опубликованным в журнале обзор-

ным выступлением о произведениях этого жанра.

Автор обзора В. Маричева сделала немало верных замечаний о тематике и характере очерков, напечатанных в газете «Социалистическая Караганда». (Заметим, кстати, что некоторые её упреки — в тематической узости очерков, в отсутствии всякого внимания к фигуре инженера — целиком и полностью относятся и к очеркам «Советского Казахстана».) Однако порой трудно отделаться от впечатления, что В. Маричева подходит к разбираемым ею очеркам с явно пониженными требованиями. Так, в качестве примера умелого и интересного «зачина» очерка В. Маричева приводит весьма стандартное начало «Знатного градостроителя Казахстана» П. Северцева и пишет:

«Начало очерка не шаблонно. Некоторые очеркисты зачастую боятся показать человека «не при деле», и тогда с первых же строк мы видим героя очерка или за рулём комбайна, или у станка, или склонившимся над чертежами. А Укен Турмагамбетов любит Москву и мечтает. И ничего, что автор знакомит нас с героем не за работой... Такое начало заинтересовывает, заставляет с большим вниманием следить за развитием повествования».

А вот пример «страстной публицистики», когда, по уверению В. Маричевой, авторский голос «звучит властно и сильно»:

«Пройдёт ещё года два, в бассейнах страны даже в помине не будет такой профессии, как навалотбойщик. Она уже и сейчас отмирает, уступая место профессии комбайнера. Все наши шахты будут полностью механизированы. Так постепенно стирается грань между умственным и физическим трудом!» («Шахтёрское счастье» Ф. Михайлова и Н. Кулакова).

Кстати, несколько слов о публицистике самого «Советского Казахстана». Этот раздел до сих пор слаб и в центральных журналах. И они ещё далеки от того, чтобы возратить ему значение, которое он когда-то имел в передовых русских литературных журналах. Неудовлетворительность господствующих у нас литературных публицистических форм видна и на примере «Советского Казахстана». Отсутствие яркости и страстности в утверждении развиваемых авторами мыслей и, как следствие этого, примитивность, сухость, серость языка, страстные к цитатам, которые являются «яркими заплатами на ветхом рубище» автор-

ского изложения, — вот основной и решающий недостаток публицистических статей «Советского Казахстана».

Из многочисленных стихов, напечатанных в журнале, выделяются лишь «Офицер запаса» Л. Скалковского, где в некоторых строках отлично переданы мысли и ощущения лирического героя, и неплохое лирическое стихотворение М. Алимбаева «Есть девушка в нашем колхозе» (в переводе с казахского Ник. Почивалина). Интересное по замыслу стихотворение И. Мамбетова «Родному городу», к сожалению, ещё носит следы недоработанности. Лишь яркие изобразительные детали встречаются у С. Анисимова в цикле «Прииртышь».

Остальные стихотворения не поднимаются над средним уровнем. Чрезвычайно ординарны и бедны мысли, положенные в основу многих стихов, трафаретны решения избранной темы; кажется, авторы думают, что единственная их задача — оснащать общеизвестные истины рифмами:

Ну, а есть ли большее счастье!
Жизнь для этого стоит прожить,
Чтоб на самом хоть малом участке
В завтра верный путь проложить.

(Ф. Моргун. «В Прибалкашской степи»)

Да, за мир мы стоим. Нам война
не нужна.
Созидательный труд — наш оплот.
Им могуча великая наша страна,
Им силен весь советский народ.

(Таир Жароков. «Наш праздник». Перевод с казахского Ник. Титова)

Можно ль на свете иную столицу,
Такую, как наша, сыскать!
Недаром и старый и малый
стремится

Увидеть тебя, Москва!

(Музафар Алимбаев. «Я еду в Москву». Перевод с казахского Ник. Почивалина)

Количество примеров, как говорится, можно умножить.

Поэты не брезгают абсолютно штампованными выражениями. «Страна, озарённая светом, включается в радостный труд», — так описывает Л. Шкавро утро. В некоторых стихах встречаются прямые ошибки. Тот же Л. Шкавро пишет о сталях: «...в печах предают их такому огню», забывая, что «предать огню» означает сжечь, уничтожить.

Помешённы в отделе сатиры и юмора несколько стихотворений Н. Титова и эпиграммы П. Григоренко отличаются от прочих разве что большей долей вульгаризмов.

Досадно, что стихи Н. Титова на литературные темы посвящены только околотитовским прихлебателям и не касаются более важных проблем. Единственным исключением, на первый взгляд, является его фельетон «Взирая на лица», адресованный русским поэтам, работающим в Казахской ССР. Но прочтёшь фельетон до конца — и удивишься, как это редакция «Советского Казахстана» не понимает, что место ему — в стенгазете, а не на страницах республиканского журнала.

Автор явно не затруднял себя. Название? Зачем придумывать самому, не проще ли заимствовать заглавие книги пародий С. Васильева, вышедшей ещё в 1950 году?

Постановка серьёзных вопросов? Но тут всегда легко отделаться: когда общими словами, когда бойкой и пустой по сути дела характеристикой, когда развязным и не особенно тактичным приговором тому или другому автору («Став критиком, она сошла с лирического пьедестала. В стихах приметной не была, а в критике совсем отстала» — это о поэтессе Лизуновой, кстати, являющейся членом редколлегия журнала).

Что, к примеру, почерпнёт для себя читатель из следующей тирады, посвящённой другому поэту:

Семипалатинск занесён
На карту песенную нашу.
Рыбак Анисимов Семён
Подъёмлет с медовухой чашу.
Варя ужу на Иртыше,
Он свежим ветром жадно дышит
И на ночёвке в шалаше
Нет-нет, да хорошо напишет.

Обратимся теперь к теоретическим и критическим выступлениям «Советского Казахстана» по вопросам поэзии; здесь мы в известной мере найдём ответ на вопрос, почему требования к напечатанному в журнале стихам так невысоки.

Характерна статья Л. Скалковского «О стихах в журнале «Звезда Востока». Он пишет о П. Ковалёве: «Поэт находит запоминающиеся сопоставления, показывая заслуги и значение города-героя как в дни войны («Сталинград для фашизма явился началом заката — здесь для нас засиял грядущей Победы рассвет»), так и в дни мира («Сталинград для пустынь явился началом заката — здесь для нас засиял коммунизма рассвет»)»

Однако известно, что первая из приведённых Л. Скалковским цитат — это изложе-

ние известных слов И. В. Сталина, и выдавать беглое переложение глубоких, но не своих мыслей за большой поэтический успех вряд ли стоит.

Говоря о стихах русских поэтов Узбекистана, побывавших на больших гидротехнических строительствах, Л. Скалковский заявляет, что, с одной стороны, это «не только светлое явление... но и поучительный пример для... казахстанских поэтов», а с другой стороны, замечает, что, впрочем, общий уровень этих стихов «оставляет желать ещё много лучшего», и, перечисляя лучшие, скромно именует их «более или менее удачно задуманными и выполненными». Прочтёшь и невольно подумаешь, что это, видно, было такое «светлое явление», от которого никому не было ни светло, ни тепло, ни холодно.

С обширной статьёй «Больше требовательности! (Заметки о творчестве молодых казахских поэтов)» выступил в журнале аспирант Литературного института имени А. М. Горького К. Нурмаханов. Содержащая немало верных замечаний, статья эта, однако, в некоторых местах сбивается на стандартные поучения поэтам, не способные заставить их задуматься. Таков упрёк в создании пейзажей, лишённых «конкретных черт современности», созданных «вне времени и пространства, в отрыве от других социалистических городов и районов нашей Родины», или примелькавшийся, зачастую голословный вывод, что под некоторыми лирическими стихами «можно поставить любую дату».

Н. Ровенский в статье «Традиции Некрасова в творчестве Исаковского» сообщает, что «новые поэтические средства Исаковского складываются на основе практики как крестьянства, так и пролетариата...»(!), и видит общность мотивов у Некрасова и Исаковского, например, в том, что оба они, говоря о горькой бедняцкой доле, упоминают о кабаках. По сути дела ничего не сказав и уклонившись от конкретного исследования поставленного вопроса, автор всё время ссылается на некое отсутствующее «вышенноложенное», «сказанное» и т. п. и делает «на этом основании» бездоказательные выводы.

Стоит отметить, что и другая статья Н. Ровенского — о Ю. Фучике — также очень слаба, написана сухим, штампованным языком, удивительно не соответствующим теме. Жизнь Фучика критик называет «при-

мером пламенного горения во имя освобождения своей родины...», Юлиус Фучик, по убеждению Н. Ровенского, «ликновал даже в тот момент, когда петля затягивалась на его шее». Автор просто плохо понимает отдельные места «Репортажа». В подтверждение мысли, что Фучик никогда не терял ощущения красоты жизни, Н. Ровенский приводит следующие слова из главы о первом допросе: «Без пяти минут десять. Чудесный тёплый весенний вечер 25 апреля 1942 года», не чувствуя, какой горькой иронией звучат эти слова в устах избитого до полусмерти человека.

Малоинтересна статья В. Архангельского «Вопросы эстетики в поэме В. Маяковского «Во весь голос». Это лишь скучный пересказ поэмы и вялые комментарии к излагаемому, не выходящие обычно за рамки тавтологических вариаций. Есть в статье В. Архангельского и полнейшая критическая заумь: «Подобные поэты (Кудрейко и Митрейкин.— А. Т.), по мысли Маяковского, составляют топкое место в советской поэзии, яму в болоте» (!).

Состояние литературной критики в «Советском Казахстане» отражает многие слабости нашей критики вообще: недостаток мысли, сухость, педантичность и полное пренебрежение к стилю, отбивающие всякую охоту к чтению подобных статей.

Характерна в этом смысле статья Ф. Мириманова «Советская Армия в литературе Казахстана». Примитивный анализ (который даже справедливее было бы назвать пересказом) случайно к тому же выбранных стихов и непомерное возвеличение весьма тривиальных мыслей, высказанных теми или иными писателями, прикрыты помпезными и отвлечёнными фразами (например, о теме Советской Армии сказано, что она «вносит в художественное произведение элементы бодрости и веры в силы народа»). Примерно на таком же уровне написана рецензия Д. Николича на книгу М. Д. Зверева «У лесного костра». Уже первые фразы Д. Николича вызывают недоумение читателя: «Хорошая детская книга — весьма действенное воспитательное средство. Это средство теперь нельзя не подчинить основному закону социализма и тем условиям перехода к коммунизму, которые гениально сформулировал в своих трудах И. В. Сталин». Мысль Д. Николича попросту малопонятна, и удовлетво-

ряться такими туманными фразами, когда речь идёт о важнейших предметах, никак нельзя. Далее автор мимоходом обзывает анекдот «стёртой основой новеллистического сюжета» и сердито упрекает автора рассказов о животных в том, что он «довольно беззаботно относится к изображению людей». Это производит невольный комический эффект.

Некоторые разделы «Советского Казахстана», как нам кажется, ведутся с затаённой надеждой восполнить пробелы в художественном отображении сегодняшней жизни республики. Это предположение относится, в первую очередь, к заметкам «Казахстанская новь», имеющим характер обычной газетной информации. Сомнительна необходимость ведения в толстом журнале и беглой «Хроники литературной жизни». Фельетон О. Иониты «Воспитание не позволяет...», посвящённый незаконному использованию служебных автомашин жёнами некоторых руководящих работников Алма-Аты, как будто перекочевал в «Советский Казахстан» со страниц газеты или из «Крокодила». К фельетону подвёрстан фотоснимок, изображающий скопище «Побед» у Центрального алма-атинского рынка и снабжённый маловразумительной стихотворной подписью неизвестного автора. Почему редакция «Советского Казахстана» решила завязать столь ожесточённые сатирические бои на таком участке, на котором эффективнее действуют более оперативные издания?

На наш взгляд, журнал злоупотребляет перепечатками. Какой, например, смысл публиковать в четвёртом номере журнала за этот год, который и к печати-то подписан лишь 8 мая, выступление А. Фадеева «Некоторые вопросы работы Союза писателей», помещённое в «Литературной газете» ещё 28 марта? Кстати, в этом же номере перепечатана статья А. М. Еголина «И. В. Сталин и вопросы литературы», включённая в сборник, вышедший более трёх лет тому назад.

Но главное, что вредит журналу и в значительной степени обесценивает напечатанные в нём произведения, — это, как мы уже говорили, следование трафарету, боязнь отойти от уже имеющихся литературных образчиков, зачастую вовсе не заслуживающих подражания.

А. ТУРКОВ.

В плену у материала

Трагическая судьба первого русского революционера Александра Николаевича Радищева представляет собой благодарный материал для исторического романа. Деятельность Радищева, его знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» явились ярким прологом революционного движения в России.

Годам сибирской ссылки Радищева посвятил свой роман «Петербургский изгнанник» Ал. Шмаков. Избранный им период жизни Радищева не представляет, на первый взгляд, большого интереса. Основное дело жизни Радищева — издание «Путешествия» — было уже сделано, наиболее трагичный её момент — арест, смертный приговор и замена его ссылкой в Илимск — был уже позади. Однако и годы заточения в Сибири составили значительный и важный этап в деятельности революционера-просветителя. Тяжёлые условия ссылки и всевозможные лишения не сломили гордый, волюнтаристский дух Радищева. Прележав огромный путь из Петербурга до Илимска, пересекавший чуть ли не всю Россию с запада на восток, он узнал много нового о своей стране, он ещё ближе соприкоснулся с народной жизнью, и это укрепило в нём веру в русский народ и ненависть к его угнетателям. Оправившись после тяжёлого морального потрясения, вызванного заключением в Петропавловскую крепость и осуждением на смерть, Радищев подтвердил, что он остался верен своим убеждениям. Снова и снова воскрешая в памяти пережитое, он приходил к выводу, что совершил свой подвиг не напрасно, что обличение самодержавно-крепостнического строя и призыв к борьбе, брошенный им в «Путешествии», не пропадут и не заглушат.

Годы сибирской ссылки были наполнены у Радищева напряжённой и плодотворной работой. «...Я буду жить, а не прозябать», — писал он с дороги в Илимск. И действительно, он там жил и творил, а не прозябал. За семь лет, проведённых в Сибири, Радищев много потрудился на пользу своей родины, создав замечательные произведения по философским, экономическим и исто-

рическим вопросам — трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии», «Письмо о Китайском торге», «Сокращённое повествование о приобретении Сибири».

Чтобы восстановить картину сибирского периода жизни Радищева, Ал. Шмаков не только внимательно изучил дошедшие до нас автобиографические материалы — «Записки путешествия в Сибирь», «Дневник путешествия из Сибири» и письма Радищева к Воронцову, — он обследовал также архивы многих сибирских городов в поисках документов, имеющих отношение к Радищеву; он серьёзно исследовал историю Сибири, её экономику и быт, её журналистику конца XVIII века. Результатом этих трудов явилась его книга «Радищев в Сибири» (Иркутск, 1952), довольно полно рисующая жизнь и деятельность Радищева в сибирской ссылке и дающая ряд новых и интересных сведений о нём. Таким образом, Ал. Шмаков работал над своей темой одновременно и как историк и как романист.

В романе Ал. Шмакова чувствуется хорошее знание материала. обстоятельно и правдиво описывает он путь Радищева в ссылку, его пребывание в Илимске и возвращение на родину. Перед читателем проходят многочисленные и разнообразные картины сибирской природы, сибирских городов — Тобольск, Томск, Иркутск, Илимск, — красочно и выразительно изображённые писателем. Используя исторические документы и дополняя их творческим вымыслом, писатель рисует встречи Радищева с сибирскими общественными деятелями, учёными, путешественниками. Интересны сцены, в которых изображается кружок тобольских литераторов, группировавшихся вокруг первого сибирского журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», издававшегося Панкратием Сумароковым. Ал. Шмаков показывает, какое большое впечатление произвёл автор «Путешествия» на членов этого кружка, проникнутых передовыми устремлениями (однако он несколько преувеличивает при этом их идейную близость к Радищеву). В Иркутске писатель сталкивает Радищева с известным русским землепроходцем Шелеховым, который делится с ним своими смелыми планами организации новых экспедиций на Курильские острова и в Северный Ледовитый океан. Основываясь на доку-

Ал. Шмаков. «Петербургский изгнанник». Исторический роман. Книга 1. Государственное издательство УзССР, 1952; книга 2. Новосибирское книжное издательство, 1953.

ментальных данных, автор рассказывает о встрече Радищева с его бывшим сослуживцем, чиновником коммерц-коллегии Вонифатьевым. Перед ним Радищев раскрывает перспективы расширения русской торговли с Китаем, которая должна повысить благосостояние населения Сибири.

В ряде эпизодов романа перед нами появляются простые русские люди — крестьяне, казаки, мастеровые, звероловы. Общие с ними снова и снова раскрывает перед Радищевым трудолюбие и высокие моральные качества русского народа и всю тяжесть гнёта и порабощения, в котором он находится. Писатель старается показать, как под влиянием этих встреч у Радищева рождались замыслы новых произведений.

Из второй книги романа, рисующей жизнь Радищева в Илимске, мы узнаём о том, какое благотворное влияние оказал на маленький сибирский городок его приезд. Радищев впервые ввёл там оспопрививание, развернул широкую медицинскую практику, оказывая помощь местному населению; по его примеру жители Илимска начали сажать картофель, который они до тех пор считали несъедобным; он устроил у себя что-то вроде народной школы для илимских ребятшек; он начал изучение местных природных богатств.

Много новых и интересных сведений о Радищеве почерпнут читатели из романа «Петербургский изгнанник». Его ценность состоит в той обстоятельности и правдивости, с которой рассказано в нём о сибирском периоде жизни русского революционера. Но как художественное произведение — а исторический роман именно таковым и является — он ещё очень несовершенен. Поэтому весьма странной и дезориентирующей писателя представляется нам та оценка его романа, которая была дана на страницах «Литературной газеты» (№ 94 за 8 августа 1953 года) в рецензии А. Запалова. «Нельзя не отметить, — писал рецензент, — что исторический, исследовательский элемент в романе перевешивает художественный, но это нередко случается с биографическими произведениями. Подобная оценка звучит как отпущение грехов, она как бы оправдывает художественное несовершенство в произведениях историко-биографического жанра. «...Исторический роман есть как бы точка, в которой история, как наука, сливается с искусством», — писал Беллинский. Это значит, что писатель

должен основать художественный вымысел на точном знании истории, а исторические факты должны обрести своё художественное воплощение. Но из этого никак не следует, что писатель может ограничиться изложением исторических фактов, успокаивая себя тем, что «это нередко случается с биографическими произведениями». Ведь если бы это было так, то Ал. Шмакову незачем было бы писать свой роман. Достоинно было бы его книги «Радищев в Сибири». Однако, коль скоро он взялся за историко-биографический роман, перед ним встала задача перевести исторические факты на язык художественных образов и обобщений. Поэтому и оценивать его роман надо именно и прежде всего как произведение художественное.

В романе Ал. Шмакова есть художественно выразительные образы. Поэтичен образ верной подруги и помощницы Радищева Елизаветы Васильевны Рубановской, последовавшей за ним в Сибирь и разделившей с ним все тяготы ссылки. Удачно намечены образы тунгуса Батурки, канцеляриста Кирилла Хомутова, его писца Аверки и некоторых других эпизодических лиц. Но центральный образ романа во многом — на наш взгляд — не удался писателю.

В критике (в той же рецензии А. Запалова) уже отмечалось, что автор нарушает историческую правду, не показывая противоречий и ограниченности мировоззрения Радищева. Действительно, Ал. Шмаков в ряде случаев сглаживает противоречия во взглядах русского революционера XVIII века. Известно, что, хотя Радищев не страшился всплеск народного гнева и призывал народную революцию, он не исключал освобождение крестьян мирным путём и, как типичный просветитель, взывал к разуму передовых дворян. Его призыв: «Сокрушите орудия его (то есть жестокого помещика. — М. К.) земледелия; сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепел по нивам» — был обращён не к восставшим крестьянам, как это следует из романа Ал. Шмакова, а к просвещённому дворянству.

Сложным и противоречивым было отношение Радищева и к Пугачёвскому восстанию. С одной стороны, он видел в нём справедливое народное возмездие и проявление народного свободолюбия, а с другой стороны, Пугачёв, принявший царский сан под именем Петра III, был для Радищева, принципиального противника царской вла-

сти, «грубым самозванцем». А у Ал. Шмакова Радищев всё время прославляет Пугачёва, называет его «славыным Пугачёвым». При всей своей вере в народ и в неизбежность революции в России Радищев не видел и не мог в конце XVIII века видеть ту силу, которая эту революцию возглавит. Поэтому он считал, что революционное обновление России произойдёт не скоро. Писатель же заставляет Радищева утверждать, что «час сей может быть близок». Упрощённо передано в романе отношение Радищева и к французской буржуазной революции и к французским просветителям. И, наконец, Ал. Шмаков изображает Радищева атеистом. «— А я ведь не верю в бога...», «...человек создал бога, нужного для того, чтобы сильным на земле держать всегда в повиновении слабым, богатым — бедных...», — говорит он по воле писателя. На самом же деле, гневно обличая церковь, освящающую самодержавно-крепостнический гнёт, и борясь за духовное раскрепощение народа, Радищев оставался деистом, то есть признавал существование бога — правда, только в качестве первопричины мира.

Идеализация и некоторая модернизация мировоззрения Радищева не только искажают историческую правду, они определяют и художественную слабость образа Радищева, делая его односторонним и чересчур прямолинейным. Но главное, что вредит художественной полноценности образа, это то, что духовный облик Радищева раскрывается в большинстве случаев в декларативной форме.

Вот, например, сцена его свидания с отцом — свидания, состоявшегося в Москве, когда Радищев направлялся в ссылку. Все реплики Радищева в этом разговоре сводятся к декларациям, которые сразу же должны убедить читателя, что перед ним твердокаменный борец за народную свободу. «...Мы для народа!», «За вольность и отечество умереть приятно», «Надобно ещё больше помышлять и говорить о вольности», «Я ратовал за свободу народа!», «Я предпочитаю умереть, нежели видеть погибшую вольность отечества», — вот почти всё, что было сказано Радищевым в эту беседу. «...Откуда в твоих жилах бунтарская кровь появилась?» — спрашивает в заключение отец. «От народа российско-го», — отвечает Радищев, после чего они расстаются на долгие годы.

А вот ещё подобная сцена. Губернатор Томска де-Вильнев сообщает Радищеву о революционных событиях во Франции, о перенесении праха Вольтера в Пантеон, о том, что Госсек отдал свою музыку на службу революции. А Радищев лишь вставляет в рассказ губернатора короткие реплики, декларирующие его сочувствие французским революционерам: «— Я люблю Францию Вольтера и Госсека!», «— Я дорожу всем, что служит французскому народу и революции...». «— Пардон, вы ярый вольтерьянец...» — обращается к нему де-Вильнев. «— Я сын отечества российско-го!» — говорит Радищев, встает, и они едут осматривать достопримечательности города. Так же держит себя Радищев и с Шелеховым. Шелехов рассказывает ему о подвигах русских землепроходцев, а Радищев изрекает: «— Открытые нашими мореходцами земли, занесённые на карту, останутся в веках за Россией...», «— Слава их — слава земли российской».

И совсем уж анекдотично выглядит его объяснение с Натали Сумароковой. На вопрос влюблённой девушки: «— Скажите, кто вы для сердца моего?» — Радищев отвечает строками из своего известного стихотворения:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда
я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!..

«Сумарокова не поняла его ответа», — пишет автор. Да и действительно в подобной ситуации такой ответ трудно было понять. И не удивительно, что оскорблённая в своих нежных чувствах Натали оставила Радищева со словами: «— Прощайте, Александр... Больше всего сознавать свершённую ошибку...»

Нет, не таким был Радищев, хочется сказать автору, не таким безжизненным оракулом, а человеком больших чувств и большой чуткости, умевшим и радоваться, и грустить, и увлекаться беседой.

Писатель наделяет Радищева ещё одной малопривлекательной чертой: он всё время поправляет своих собеседников и притом часто невпопад. Вот они с Сумароковым смотрят на масленичные гулянья. «— Вот она Русь! — восторженно проговорил Сумароков. — Народное гулянье, — по правде его Радищев. — Нет более счастливой минуты в жизни, как поднимать бокал за дружбу», — произносит Пушкин тост в

кругу друзей. «— Я почитаю счастливой минутой, — отпарировал (?!) Радищев, — ту, когда потомки наши не будут свидетелями посрамления себе подобных...» Отправляясь раньше Радищева в Илимск, его слуга Степан говорит хозяину: «— Встретим. Настасья самоварчик согреет, как в Аблязове. — Это будет уже в Илимске, — поправил Радищев...» — пишет автор, и опять-таки непонятно, чего тут поправлять. Ведь Степан и не утверждал, что встреча будет в Аблязове, а сказал «как в Аблязове». Непонятно также бывает иногда, чем Радищев вызывает восхищение у окружающих. Вот, например, в разговоре с купцом он повторяет слова, произнесённые только что этим купцом о том, что более богатые стороны душиат его и не дают развернуться. «— О-о, барин! Ты зоркий, как рысь», — восторженно удивляется купец.

Декларативность в раскрытии духовного облика Радищева связана с другим существенным недостатком романа. В построении романа, в изложении событий автор идёт за дневниками Радищева и его письмами, не выделяя наиболее существенные, наиболее типичные стороны жизни Радищева в Сибири. Он не поднимается над собранным и изученным им материалом, художественно не обобщает его. Поэтому в романе есть много ненужных сцен и эпизодов.

Белинский как-то заметил, что для изображения того, как люди в старину ели и пили, достаточно показать это один-два раза. Ал. Шмаков несколько раз описывает ярмарки, и это лишь замедляет действие. Почему автор даёт эти повторные описания? Потому что он покорно следует за «Записками путешествия в Сибирь», где Радищев упоминает о нескольких виденных им ярмарках. К числу эпизодов, ничем не обогащающих основной образ произведения, никак не раскрывающих его основную идю, принадлежит, например, экспедиция Радищева по Илиму в поисках рудных месторождений. Несмотря на все старания, он ничего не находит и возвращается домой. Почему автор счёл нужным посвятить этому эпизоду несколько страниц своей книги? Да опять-таки потому, что о нём упоминается в одном из писем Радищева к Воронцову.

Не ясно, что хотел выразить автор в сцене посещения Радищевым дома купца Си-

бирякова. Зайдя к нему и застав только его жену, Радищев в продолжение всего визита отмалчивался, чем очень её разобидел. Потом вдруг, ни с того ни с сего, его охватило чувство страшного одиночества. Под конец он сообщил хозяйке дома, что знавал Державина, портрет которого висел у них на стене, и прочитал строки из державинской оды.

Неправдоподобно описана встреча Радищева с беглым каторжником. У них сразу возникает разговор о несправедливости существующего порядка и необходимости борьбы с ним. Вряд ли беглый каторжник стал бы столь откровенно объясняться с первым встречным, да притом ещё с баринном.

Обилие в романе Ал. Шмакова художественно неоправданных и неправдоподобных сцен объясняется тем, что в нём слабо прощупывается основная идея, та идея, от глубины которой и силы, с какой она реализуется в отдельных эпизодах и деталях, зависит художественность произведения. Если в первой книге такая идея ощущается, ибо путешествие по России наполняет душу Радищева гордостью за свою родину и за свой народ, верой в его великое будущее, то во второй книге эта идея не получает нового развития: долгий путь окончен, а внутренняя жизнь Радищева не раскрывается автором — не показаны его мучительные попытки философски разрешить вопрос о смертности и бессмертии человека, о судьбе его дела, вопрос, окончательный ответ на который Радищеву дала сама жизнь, когда, возвращаясь на родину, он обнаружил в Кунгуре рукописный список «Путешествия» и убедился, что дело его живёт.

Покорное следование за материалом отрывательно сказывается и на стиле и языке романа Ал. Шмакова. Воспроизводя язык Радищева, писатель идёт по линии наименьшего сопротивления. Он просто заставляет Радищева в ряде случаев говорить цитатами из его произведений, а если нехватает цитат из самого Радищева, то он вкладывает в его уста цитаты из Новикова, Плавильщикова и других писателей XVIII века. Иногда же в речи Радищева перемежается его собственный язык с языком современным, и получается стилистическая разноголосица. Вот пример. Обращаясь к Шелехову, Радищев говорит: «— Я скажу, что мог бы Пётр прославиться больше, вознеся

себя и отечество своё тем, что утвердил бы вольность частную... Большой человек велик своим сочувствием к угнетённому народу. У Петра этого не было... Смелый и дерзкий деятель широкого русского размаха, он оставался царём...» Сразу чувствуется, что первая фраза взята из Радищева, а последующие принадлежат самому автору. Смешение стилей проникает и в авторскую речь. «Целую неделю погорельцев безденежно кормили добродетельные селяне» (разрядка моя.— М. К.),— пишет автор, и мы с удивлением обнаруживаем, что в эту фразу вкрался карамзинизм.

Ал. Шмаков слабо использует язык как изобразительное средство, как средство типизации. Порою, стремясь раскрыть политические взгляды Радищева, он переходит на язык публицистики: «Радищев ненавидел царей, закабивших народ, но он знал, что среди них встречались полезные деятели...» Но так может писать о Радищеве не художник слова, не писатель, а литературовед или историк.

Наконец следует отметить и просто небрежность языка романа «Петербургский изгнанник», которая приводит даже к грамматическим ошибкам: неправильному согласованию слов и т. п. Это уже следует отчасти отнести также и за счёт редактора книги Б. Я. Брайниной.

В романе немало фактических ошибок. Слова Екатерины II в одном месте приписаны Шешковскому, перепутаны знаменитый кардинал Ришелье с французским эмигрантом в России герцогом Ришелье, создание Радищевым «Песен древних» перенесено на несколько лет раньше и т. д. Но эти мелочи легко устранимы. Гораздо труднее другое: сделать роман действительно художественным произведением, воспроизведя образ Радищева не односторонне, не декларативно, а раскрыв всё богатство его сложной и высокоодарённой природы и пронизав всё произведение единой художественной идеей.

М. КОЗЬМИН.

★

О теме главной и побочной

В повести В. Авдеева «Новый корректор» рассказано о том, как небольшой коллектив сотрудников одной редакции превратил скучную и безличную районную газету в боевой, оперативный орган печати, способный решать насущные жизненные проблемы и быть одним из главных центров местной жизни.

Некоторые сцены (например, начало первой главы, когда обнаруживаются грамматические ошибки в свежем номере газеты, или описание рабочего утра в редакции) привлекают читателя своей несомненной подлинностью. В них видно и хорошее знание материала и способность автора немногими простыми и легко написанными деталями вызвать в воображении живые, ясные образы. Однако вскоре повесть В. Авдеева перестаёт казаться реалистически точной. Возникает целый ряд недоуменных вопросов: почему, собственно, происходит то, о чём нам рассказывают, и возможно ли это?

Редактор Апарцев работает в районной газете «Трибуна колхозника» три месяца. Человек он энергичный, решительный, ум-

ный, к тому же горит желанием сделать свою газету злободневной, острой. Но, несмотря на усилия руководителя и всех работников редакции (за исключением одного), «Трибуна колхозника» попрежнему влачит жалкое существование.

В чём же дело? Кто тут виноват? Главная причина названа в повести прямо: «Самому Апарцеву в редакции приходилось бывать далеко не всякий день: то вызывали на заседание в райком, то поручали сделать доклад на курсах бригадиров, то командировали в деревню проводить очередную хозяйственно-политическую кампанию».

Частые отъезды редактора имеют, конечно, свою плохую сторону. Но ведь есть в них и нечто полезное для газеты? Пусть редактор меньше, чем нужно, бывает в своём кабинете, зато он видит жизнь, беседует с людьми, знает, чем живут колхозники и колхозы его района, а это поможет ему оживить газету, сделать её злободневной, связать её теснее с жизнью — то есть исполнить то дело, над которым бьются герои повести. Это тем более вероятно, что автор открывает в редакторе Апарцеве все нужные для этого качества:

«У Апарцева... было особое чутьё к материалу. Всякий раз, возвращаясь из командировки,—чёрный, точно месяц не брился,—он обязательно привозил что-нибудь новое».

И далее:

«...Апарцев старался узнать, что делается в районе, в каком сельсовете можно взять злободневный материал, и посылал туда Жижко, а то по телефону связывался с местными рабкорами и давал им задания. Обычно в редакцию ежедневно заходил народ со своими наболевшими вопросами: сахарники с завода, колхозники, агрономы — и с каждым Апарцев урывал время побеседовать; причём всё это он делал с живым увлечением, весело посасывая свою неизменную можжевелевую трубочку».

Кажется, лучшего редактора и не надо. И почему бы газете при таком хорошем редакторе и очень неплохом коллективе быть скучной и безжизненной, ограничивающейся регистрацией фактов? Но газета скучна и плоха. Это признаёт даже сам редактор: «Разве мы создаём общественное мнение? Кто с нами считается? Беззубой собаки и поросёнок не боится... Мы должны добиться, чтобы читатель ждал каждого номера газеты, узнавал из него жизнь всего района... страны». В чём же тут дело?

На первый план выдвигается вторая причина: «Газету зачастую выпускал ответственный секретарь Завьялов...»

Завьялов избегает постановки острых вопросов и придерживается порядков, установившихся в редакции до Апарцева, хотя «наружно подчинился редактору». Что Завьялов обыватель, что он вредит делу, — это Апарцев знает, но почему-то молчит четыре месяца и лишь потом, по случайному поводу, делает попытку вразумить своего ответственного секретаря: Апарцев случайно слышит спор Завьялова со школьным учителем Мажаровым и вступает с ними в разговор. В ту же минуту в комнату случайно вошёл секретарь райкома Богучаров.

«Секретарь райкома не вмешивался в спор; умные глаза его с весёлым прищуром смотрели на газетчиков. Серый костюм свободно облегал крупную, полную фигуру Богучарова; левую руку он держал в кармане, правой опирался на тяжёлую трость: на фронте секретарь был ранен в ногу.

— Так, так,— сказал он одобрительно.— Покрепче цапайтесь, покрепче. Когда руко-

водители дерутся за своё дело, дело всегда выигрывает».

Странная мысль! Ведь здесь руководители не «дерутся за своё дело», а «крепко цапаются» между собой, потому что один из них — подчинённый — плохо ведёт дело, а другой — главный — не умеет с ним справиться. Кажется, хорошего в этом немного!

Уже в этой сцене, очень сомнительной по содержанию, видно, как изменяет автору способность живо и точно писать. Описание наружности секретаря райкома сделано как будто совсем неумелой рукой.

Что разъяснила эта сцена в неудачах «Трибуны колхозника»? Ровным счётом ничего. Ведь, в конце концов, направление газете всё же даёт редактор, а не ответственный секретарь, и ведь часть номеров выпускал сам Апарцев — между тем и эти номера не были, повидимому, лучше завьяловских.

Фигуры расставлены, борьба началась. Но всё это одна лишь видимость, потому что содержания борьбы здесь нет.

У Апарцева есть ещё противник, посерьёзнее Завьялова,— это Молокоедов, заведующий отделом агитации и пропаганды райкома партии. Оказывается, это он насаждает серость и скуку в газете, зажимает критику. Сверх всякой меры осторожный Молокоедов советует редактору «выпускать газету по-проверенному», то есть остерегаться всего нового, ещё не подтверждённого чьим-либо авторитетом.

Может быть, Молокоедов связал Апарцеву руки и помешал ему осуществить его страстное желание? Нет, оказывается, и это не так. Как-то в разговоре с Завьяловым Апарцев говорит: «...Молокоедов — это ещё не райком. Могу тебе напомнить: есть постановление ЦК, где сказано, что заведующие отделами и редакторы пользуются одинаковыми правами. Вот. А райком именно мне поручил вести свой орган печати, и уж позвольте мне самому знать, что надо публиковать в «Трибуне», чего не надо».

Таким образом, указания Молокоедова сам Апарцев не считает для себя обязательными. И секретарь райкома партии вполне одобряет такую позицию редактора: «Если совесть тебе, как коммунисту, говорит: прав — значит, сражайся; не прав — признай ошибку. Чего оглядываться?.. Вообще твоё стремление сделать газету ните-

ресной — можно только приветствовать. Жвачки — они только коровам годятся...» Нет, Молокоедов тоже не мог помешать Апарцеву.

Выходит, что автор напрасно мучит своего героя; тех препятствий, с которыми он заставляет его бороться, или вовсе нет, или они устранимы гораздо проще и легче, чем об этом говорится в повести.

Вся эта искусственная ситуация потребовалась автору, чтобы, не роняя авторитета Апарцева, открыть путь для нового корректора — милой молодой женщины, Натальи Фёдоровны Емешинной. Именно ей суждено внести свежую струю в затхлую атмосферу, застоявшуюся в районной газете.

Емешинна появляется в повести как очень робкий и неуверенный в себе человек. Она окончила когда-то школу-десятилетку с отличием, но всё перезабыла и поначалу на должности корректора делает массу ошибок. Однако Емешинна, женщина способная и старательная, за какой-нибудь месяц другой так освоилась с газетным делом, что стала «общей помощницей». «Она как-то умела каждому понравиться, всегда была в хорошем настроении, со всеми ласкова, ко всему по-детски любопытна и даже, когда над нею смеялись, только застенчиво улыбалась».

Однажды, когда Емешинна оставалась в помещении редакции одна, в её руки попала статья местного врача Обелянина о новом способе лечения. Районный отдел здравоохранения не признавал новаторских идей доктора, да и в областном отделе здравоохранения его не поддерживали; Завьялов решил статьи не печатать. Но Емешинной понравились и Обелянин и его статья. Её терзают сомнения: что же ей сделать? «Пойти в райздравотдел поругаться с Трофинчиковым? С ним сам Обелянин не может справиться, а уж на что человек не из робкого десятка — фронтовик, орден имеет. Обратиться в райком? Однако именно там, в отделе пропаганды и агитации, Молокоедов задержал статью главврача. Завести целое дело у себя в «Трибуне?»»

Святая наивность! Проще всего было, не заводя «целое дело», поговорить с редактором: ведь он только и ждал, чтобы появился острый материал в газете, и, безусловно, вопрос был бы решён быстро! Но к редактору ни доктор Обелянин, ни Емешинна почему-то обратиться не догадываются, Завьялов же настолько уверен в непригодности

этого материала, что тоже с редактором не говорит. И вот лежит эта статья два месяца в архиве, а редактор ничего о ней не знает; он продолжает метать громы и молнии против серости и скуки и ищет злободневный материал, который изменил бы лицо его газеты.

Действует одна Емешинна, притом в глубокой тайне от товарищей. Она по собственной инициативе пошла в райздравотдел, в больницу, была у больных, проверила факты, изложенные в статье, провела целое расследование. (К слову сказать, не очень понятно, почему с ней — корректором, а не корреспондентом — объяснялись по специальному вопросу в том же райздравотделе.) Потом она подсовывает — не даёт, а именно подсовывает эту статью редактору Апарцеву. Тот сразу понял: этой статье надо дать ход. И вот Завьялов посрамлён, а Емешинной все восхищаются: «— Вона что, — протяжно сказал Обелянин и, не улыбаясь, внимательно посмотрел на корректоршу...», «Так вот, оказывается, как ты выросла!» — вторит ему редактор. Статья напечатана. После недолгой борьбы идеи Обелянина получают общее признание.

Мы не будем останавливаться на перипетиях этой борьбы. Нам важно другое — то, что относится к характеру повести В. Авдеева как литературного произведения.

Героиня растёт, как царевич Гвидон в бочке, и так же, как он, вышибив дно, выходит вон во всём великолепии юной силы. Не только её сказочный рост — вся её натура остаётся загадкой.

Разнородность элементов, составляющих «образ» Емешинной, настолько велика, что человека не получается вовсе. Вот она рассказывает о себе:

«Раньше я, Юрий Климыч, как-то всего боялась. Думала: «Судьба. Такой уж зародилась. Не всем ведь счастье дано!» Скажут что — соглашусь. Какая тут гордость, когда — вдова, ребёнок на руках? А теперь не-ет. Вроде как из трясины на твёрдое место вылезла».

Это говорит двадцатичетырёхлетняя женщина в наше время? Нет, это героиня драмы Островского, выбившаяся из «тёмного царства».

А вот Емешинна (после того, как уже стала своим человеком и любимицей в редакции) размышляет, не выйги ли ей замуж за Завьялова: «...он не был ей и противен, а его ухаживания, забота вызывали

в ней благодарность, тешили женскую гордость. Емешина старалась не замечать тех недостатков секретаря, которые бросались в глаза. «Кто из нас без родимого пятнышка! — убеждала она сама себя. — У меня их нету, что ли?» Завьялов был непьющий, одевался тщательно, хорошо зарабатывал.

В. Авдеев уверяет, что это мысли «духовно растущей» Натальи Емешинной — той самой, что на производственном совещании приносит, по выражению мэтрпаяжа, речугу на большой палец и даже редактора «уколупнула», той самой Емешинной, которая говорит доктору Обелянину: «— И вы ещё колеблетесь? Мне ли вас учить, доктор? Вы были на войне, сами должны знать, как надо отстаивать дело, за которое борешься». Здесь перед нами совсем другой человек, здесь мы слышим совсем другую речь. Получилась странная, чисто литературная конструкция.

Вызывает удивление ещё одно обстоятельство в повести В. Авдеева. Газета называется «Трибуна колхозника»; значит, первое и главное, чем она должна заниматься, — это изучать и показывать насущные нужды колхозного села. Мало ли здесь важных вопросов!

Герои повести часто говорят, что, мол, надо глубже вникать в жизнь. Но для этого они считают нужным обращаться к другим темам — писать о больнице, о школе, о техникуме, о лесничестве, печатать ребусы, кроссворды, стихотворения, фенблогические заметки, выпускать литературную страницу: «Потом в нашем колхозе счетовод один есть. Как получит летом отпуск — котомку за спину и пешком по району. Крепко знает местную географию! Глину для наших гончаров нашёл, камни собирает разных пород... целая коллекция у него. Вот бы кто мог интересную статью написать».

Всё это хорошо. Можно, конечно, и колхозному счетоводу, знающему местную геологию (а не географию), написать о глине и о камнях; и о школе писать, конечно, надо. Но, право же, без материяла о производственной и экономической жизни колхозов, о бытовом устройстве, о культурной жизни колхозников в «Трибуне колхозника» не обойдётся. И всё-таки поиски нового материяла идут в другом направлении.

Какая проблема поставлена в центр повествования? Что это был за вопрос, решение которого завоевало огромную популярность газете, создало ей авторитет зло-

бодневной, острой, интересной? Это, как было уже сказано выше, поднятый доктором Обеляниным вопрос о тканевой терапии, то есть такой вопрос, который решается в высоких научных учреждениях и, во всяком случае, не принадлежит к вопросам, которые должны в первую очередь занимать районную газету.

Малое внимание к тому, что на самом деле всего важнее, подмена главной темы побочной — это очень большой недостаток, который, вероятно, лежит в основе многих художественных слабостей рецензируемой повести.

Мы говорили уже, какой сочинённостью отмечены мышление и язык Емешинной. Доктор Обелянин то выражается в старомодной манере («тамошние эскулапы», «тамошние «гиппократы», «изучают вопрос» и изображают фигуру умолчания»), то вдруг произносит такие тирады: «Исхожу я из того, разработанного моим патроном положения, что тканевая терапия является средством при лечении не только глазных заболеваний, как это блестяще доказал лауреат Сталинской премии окулист Филатов, но и других болезней» и прочее, причём не в докладе, а в разговоре с любимой женщиной.

Вкус часто изменяет В. Авдееву. Порой он случайно, невольно для себя, вызывает комическое впечатление. Вот, например, как он пишет о Емешинной: «Она похудела, румянец её несколько поблёк, но глаза блестяще оживлённее, во всём облике появилась одухотворённая красота, уверенность. Както в свободную минуту, разглядывая в зеркало своё лицо, Наталья Фёдоровна нашла, что ей надо припудривать круги под глазами...» Одухотворённая красота, усиленная припудриванием!

Домá с закрытыми ставнями кажутся В. Авдееву надевшими тёмные очки. Уж скорее наоборот — на очки похожи оконные стёкла, если ставни стираты.

В рецензируемой повести В. Авдееву более всего удаются простые бытовые описания и юмористические сценки, комические персонажи. Как только на страницах книги появляется Завьялов, исчезает снованность языка, неестественный — то высокопарно-назидательный, то скучно-серый — тон, звучит живая, характерная речь. У Завьялова не только своеобразная речь, он и внешне обрисован так, что его

видишь, и его поступки обусловлены всем складом характера и развитием событий. Интересна в этой связи одна сценка, в которой Завьялов виден как на ладони:

«Как-то.. Наталья Фёдоровна попросила Завьялова разрешить ей сделать макет газеты. Секретарь только расхохотался, однако, чтобы не обидеть женщину, которая ему нравилась, согласился. И каково же было его удивление, когда она сделала но-

мер «Трибуны колхозника» так, что почти нечего было и поправлять.

— Скажу откровенно,—пробормотал он,— умеете вы приспосабливаться.

И на корректоршу стал поглядывать не то с уважением, не то даже с опаской».

К сожалению, хорошо написанных, характерных, реалистически крепких сцен в повести не много.

Г. КОИРАНСКАЯ.

★

Книга о великом китайском писателе-революционере

Значение Лу Синя для Китая огромно. «Лу Синь был кормчим культурной революции в Китае», — так высоко оценил заслуги писателя товарищ Мао Цзэ-дун.

Изучение литературного наследства Лу Синя, широкую пропаганду его произведений Коммунистическая партия Китая считает задачей не только работников литературы и искусства, но и всей интеллигенции, молодежи. Лу Синь горячо любил свою многострадальную родину, верил в её будущее. Он выступал в своих произведениях как грозный обличитель угнетателей и эксплуататоров. Вдохновенное слово Лу Синя помогает сегодня трудящимся Китайской Народной Республики быстрее избавиться от груза старых, феодальных пережитков и строить новое, могучее, демократическое государство.

Литературное наследство Лу Синя в Китае изучают около двадцати лет. Комитет по увековечению памяти писателя издал многотомное собрание его сочинений, включающее в себя художественные произведения, литературно-критические работы, переводы из иностранных авторов, публицистические статьи, обширную переписку. Создана большая и разнообразная литература о Лу Синя. Серьёзный вклад в изучение его творчества внёс ещё при жизни писателя выдающийся деятель Коммунистической партии Китая, замечательный публицист и переводчик Цюй Цю-бо, погибший от руки гоминдановских палачей. Многим обязано издание собрания сочинений Лу Синя работе вдовы писателя — Сюй Гуан-пин — и труду его друга ещё по Пекинскому университету, известного литературоведа Ван Шоу-

тана, зверски убитого гоминдановскими агентами в феврале 1948 года на шестьдесят восьмом году жизни. Ряд работ о жизни и творчестве Лу Синя широко известен в Китае, многие из них переиздавались по нескольку раз.

Значительным событием в литературной жизни Китая последних лет следует признать выход в свет книги о Лу Синя известного критика Фын Сюэ-фына, посетившего недавно Советский Союз во главе делегации китайских писателей.

Фын Сюэ-фын принадлежит к тому поколению китайских литераторов, которые ещё в юношеские годы прониклись идеями коммунистической партии и приняли деятельное участие в революционной национально-освободительной борьбе своего народа. В 1922 году студент Чжэцзянского учительского института Фын Сюэ-фын вступил в юношеское литературное объединение «Чэньгуаншэ» — «Утренний свет». Таких литературных кружков было в то время в Китае много. Они были рождены антиимпериалистическим и антифеодальным движением «4 мая 1919 года», о котором Мао Цзэ-дун говорил как о массовом народном движении, возникшем «в ответ на призыв мировой революции, призыв русской революции, призыв Ленина». «Движение 4 мая» ярче всего отразилось — в области идеологии — в «литературной революции». Сама жизнь требовала создания новой, народной литературы на живом, доступном широкому массам языке вместо литературы схоластической, начётнической, на отжившем книжном языке «вэньянь», канонизированном господствовавшими классами. Без создания такой литературы невозможно было развивать и широко пропагандировать идеи освободительной революции.

Фын Сюэ-фын. «Воспоминания о Лу Синя». Издательство «Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература»). Пекин, 1952. (На китайском языке).

Знакомство Фын Сюэ-фына с Лу Синем, уже известным тогда писателем и признанным руководителем реалистического направления китайской литературы, произошло в 1928 году в Шанхае. В стране свирепствовал палаческий режим Чан Кай-ши, пришедшего к власти в результате измены китайской буржуазии. Компартия была загнана в глубокое подполье, но и там, в условиях жесточайших преследований, не прекращала борьбы за массы. Фын Сюэ-фын, пропагандист партии, работал тогда над переводом на китайский язык марксистских произведений по вопросам теории литературы.

Лу Синь с горячим сочувствием отнёсся к новому поколению революционной молодёжи. Удручённый поражением революции, он увидел в коммунистическом мировоззрении ту правду, которую он искал. Жадно изучал он марксистскую литературу, сам переводил её на родной язык. На этой почве и началось сближение между ним и молодым литератором Фын Сюэ-фыном. Их совместная работа продолжалась вплоть до второй половины 1933 года, когда Фын Сюэ-фын, назначенный заведующим отделом пропаганды провинциального комитета партии в Цзянсу, был вынужден уехать из Шанхая в Жуйцзинь — тогдашнюю столицу советских районов Китая. В рядах Народной армии Фын Сюэ-фын участвовал в Западном походе из центральных провинций в Шэньси, где впоследствии была создана знаменитая революционная база — Шэньганнинский освобождённый район. В 1936 году Фын Сюэ-фын был откомандирован партией в Шанхай. Здесь он вторично встретился с Лу Синем. Но на этот раз их совместная работа была непродолжительной. 19 октября 1936 года Лу Синь умер.

Новая книга Фын Сюэ-фына посвящена воспоминаниям о Лу Сине как человеке, писателе и общественном деятеле.

Фын Сюэ-фын определяет два основных периода в жизни и творчестве писателя: первый — когда Лу Синь был идеологом революционной мелкой буржуазии, и второй (приблизительно с 1926—1928 годов) — когда он постепенно становится революционным марксистом.

Измена гоминдана, рост революционности рабочего класса и крестьянства, острая идейная борьба на литературном фронте помогли Лу Синю определить своё новое от-

ношение к главным вопросам революции. И он не ограничился теоретической выработкой новых взглядов; в 1929 году Лу Синь во всеуслышание заявил: «Тот, кто не отдаёт себя всецело классовой борьбе рабочих и крестьян, не может считаться марксистом».

Лу Синь не только изучает марксистскую литературу, но и становится её активным проводником, пропагандистом. Он переводит на китайский язык работы о литературе Г. В. Плеханова, А. В. Луначарского, документы по вопросам литературной политики в СССР, редактирует несколько сборников по теории литературы, привлекает к переводческому делу молодёжь. «Теперь нам есть что делать», — не раз говорил он, делая ударение на слове «есть». «Перевод произведений марксистско-ленинской литературы, — отмечает Фын Сюэ-фын, — Лу Синь считал столь же важным, как нелегальную транспортировку оружия восставшим, а труд переводчика советской литературы приравнивал к подвигу Прометея, давшего людям огонь».

В своей книге Фын Сюэ-фын неоднократно возвращается к вопросу о развитии Лу Синя от первого периода ко второму, ибо в этом — ключ к пониманию всего творчества писателя. Автор показывает различие во взглядах Лу Синя обоих периодов на примере двух его широко известных публицистических произведений: «Памяти господжи Лю Хэ-чжэнь» (1926) и «Китайская революционная пролетарская литература и кровь её авангарда» (1931). Эти статьи близки по теме и по отношению автора к событиям, вызвавшим их написание. Первая статья посвящена памяти студентки, расстрелянной наёмниками милитариста Дуань Ци-жуя 26 марта 1926 года во время мирной демонстрации в Пекине; вторая — памяти молодых писателей-коммунистов Жоу Ши, Ху Е-пина, Бай Мана (Ин Фу), Ли Вэй-сэна и Фын Кэн, казнённых гоминдановской охранкой 7 февраля 1931 года в Шанхае. Нельзя читать эти статьи без душевного трепета. В них и неподдельная отцовская скорбь по юным героям, павшим в борьбе за правое дело, и ненависть к убийцам — врагам народа, подлым наймитам империалистических разбойников.

И, тем не менее, эти статьи, на первый взгляд столь схожие, существенно разнятся между собой. В первой Лу Синь ещё не

имел ясного представления о характере патриотического движения молодёжи и студентов; ему казалось, что молодым героям недостаёт общественной поддержки. Иное дело — статья 1931 года. «Наши товарищи, — пишет в этой статье Лу Синь, — доказали своей кровью, что у революционной пролетарской литературы и у революционных трудящихся масс общая судьба...» В этой статье уже нет и тени пессимизма и сомнений в будущем, и скорбь о погибших не колеблет уверенности в торжестве коммунистических идей¹.

Большой раздел книги Фын Сюэ-фына посвящён Лиге левых писателей Китая («Чжунго цзои цзоцзя лянмэнь»), деятельность которой неразрывно связана с именем Лу Синя. Вокруг Лу Синя как руководителя Лиги сплачивались молодые талантливые писатели, на него опирались они в своей самоотверженной борьбе. Лига была создана в марте 1930 года в Шанхае путём слияния нескольких революционных писательских кружков. Возникшее таким образом литературное объединение находилось под идейным руководством коммунистической партии. Лига левых писателей внесла неоценимый вклад в дело создания китайской пролетарской литературы. И, тем не менее, в её работе было немало ошибок и недостатков. Эти ошибки, отмечает Фын Сюэ-фын, были обусловлены рядом причин объективного и субъективного характера, и прежде всего тем, что Шанхайский (подпольный) ЦК партии не имел ещё тогда достаточного опыта в вопросах литературы. И Шанхайский комитет партии и молодые писатели Лиги рассматривали её главным образом как обычную общественную революционную организацию, как некую «полуполитическую партию», отворачиваясь, по сути дела, от её специфических задач. Это приводило к ошибкам сектантского характера. И если Лига левых писателей, не-

смотря на собственные ошибки и на то, что деятели её подвергались арестам и казням, всё же продолжала существовать, то этим она в значительной мере обязана Лу Синю. Он был душой Лиги. Пока у непосредственного руководства Лигой находился Лу Синь, она жила и боролась. Авторитет писателя был настолько велик внутри страны и за её пределами, что гоминдановские власти не осмеливались осуществить свой подлый замысел — убить Лу Синя из-за угла, хотя имя его уже давно было занесено в «чёрный список». Декларации и программы Лиги, составленные Лу Синем, его яркие статьи доходили до читателя сквозь все препоны. Произведения молодых писателей Лиги, изданные с предисловиями Лу Синя или под его редакцией, всегда находили тёплый приём в читательских массах, — и, надо сказать, они действительно были лучшими произведениями на фоне духовного опустошения и реакции, царивших тогда в китайской литературе.

Лига левых писателей была единственным звеном, которое связывало Лу Синя с партией и революционными массами. Вспоминая, в каких невыносимо тяжёлых условиях приходилось тогда жить и работать Лу Синю, Фын Сюэ-фын рассказывает, что враги постепенно добились полной внешней изоляции писателя, препятствуя его непосредственному, личному контакту с различными слоями населения. Ущерб, нанесённый этим Лу Синю и всей китайской литературе, неисчислим. Писатель-реалист лишился главного источника творчества — возможности наблюдать жизнь в её постоянном изменении. Этим, собственно, и объясняется, почему после 1927 года Лу Синь не создал ни одного значительного художественного произведения. «Теперь, — с горестью говорил он часто, — я даже ходить не могу, куда бы мне хотелось...» Он тяжело переживал то, что не может вернуться к себе в Шаосин — небольшой уездный город провинции Чжэцзян, где прошли его детство и годы юности. Ведь прекрасное знание деревни, а также знание жизни городской бедноты, ремесленного люда были основой бессмертных произведений Лу Синя первого периода («Подлинная история А-Кью», «Родное село», «Деревенское представление», «Кун И-цзи», «Моление о счастье» и многие другие).

Гоминдановская охранка следила за тем, чтобы Лу Синь не мог общаться и с рабо-

¹ Некоторые советские китаеведы, в частности Л. Д. Позднеева, обходят вопрос об эволюции взглядов Лу Синя, отразившейся в его сочинениях. Так, в статье «Из публицистических произведений Лу Синя» («Учёные записки Тихоокеанского института Академии наук СССР», том III. Китайский сборник. Издательство Академии наук СССР, М.—Л. 1949, стр. 152—179) Л. Д. Позднеева вообще отрицает этот процесс, утверждая, что Лу Синь с самого начала своей деятельности оставался на одних и тех же идейных позициях.

чими. А как он хотел писать о них и для них! Нередко в беседах с друзьями он расспрашивал об условиях жизни промышленных рабочих, возмущался применением детского труда на шанхайских фабриках и заводах. Но писать со слов других, используя газетные материалы и статистические данные («как это делают некоторые иностранные писатели в буржуазном мире», — говорил Лу Синь, намекая на Эптона Синклера), он не мог и не хотел.

Это отнюдь не означало, что Лу Синь стоял в стороне от борьбы рабочего класса. Вся общественно-политическая работа и творчество писателя во второй период его деятельности посвящены пролетариату Китая, защите его классовых интересов. Лу Синь делал всё, что мог. Он руководил работой тех членов Лиги, которые, хотя и с большим риском, всё же могли идти на завод, в рабочие казармы. И он со всей силой своего таланта обрушивался на старый мир — мир насилия и несправедливости, обывательской козности и мещанского индивидуализма.

Своим оружием Лу Синь избрал публицистику. Чтобы иметь возможность печататься в легальных изданиях, он стал писать короткие статьи, заметки, фельетоны на злободневные темы. Пишу для них ему давала сама буржуазная пресса. Сплошью да рядом писать приходилось намёками, обходя цензурные рогатки, и без подписи. Но какими бы псевдонимами ни были подписаны его статьи, читатель всегда безошибочно угадывал автора. Публицистика Лу Синя составляет несколько томов; перевод её на русский язык, ознакомление с нею широких кругов советского читателя — дело большой важности. Ни в каких других произведениях китайской художественной литературы 20-х и 30-х годов нашего века не отобразена с такой точностью политическая история Китая в один из наиболее напряжённых периодов, пережитых страной.

Мостом для связей Лу Синя с рабоче-крестьянскими массами, указывает Фын Сюэ-фын, была интеллигенция, особенно прогрессивная революционная молодёжь. Разумеется, в основе своей эта молодёжь была мелкобуржуазной, немало среди неё находилось людей случайных в литературе и даже недобросовестных. Лу Синь прекрасно это понимал. Но были здесь и настоящие борцы, стойкие, преданные делу национального освобождения, решительно

порвавшие с мелкобуржуазной ограниченностью своего класса. Их жажда знания, юношеский революционный порыв и самоотверженность укрепляли надежды Лу Синя на близость победы. Веру в китайскую молодёжь Фын Сюэ-фын считает одной из причин, «ускоривших сближение Лу Синя с коммунистической партией».

Нельзя не отметить важное место, которое занимает в жизни Лу Синя и в его творчестве дружба с одним из наиболее выдающихся представителей марксистской интеллигенции, Цюй Цю-бо. Эта дружба имела исключительное значение для формирования мировоззрения писателя. Несмотря на большую разницу в возрасте (Лу Синь был старше Цюй Цю-бо на 18 лет), между ними установились отношения подлинно товарищеской привязанности и взаимной помощи. Два с половиной года жизни Лу Синя бок о бок с Цюй Цю-бо (1931—1933 годы) составляют целую эпоху в его творчестве. «Это была дружба бойца с бойцом в окопе, рабочего с рабочим на заводе», — пишет Фын Сюэ-фын.

Цюй Цю-бо появился в Шанхае незадолго до вторжения японских милитаристов в северо-восточные провинции Китая. Он был одним из тех, с чьим именем неразрывно связано возникновение и развитие Китайской народной революции, возникновение и развитие Коммунистической партии Китая. Знаток русского языка, он чуть ли не одним из первых в Китае стал переводить на китайский язык с подлинника русскую классическую и советскую литературу. Ему принадлежат первые переводы на китайский язык многих произведений Л. Толстого, Гоголя, Горького. Особенно успешно переводил Цюй Цю-бо марксистские работы по вопросам теории и истории литературы, ему же принадлежит заслуга ознакомления Китая с большей частью публицистических статей А. М. Горького. Лу Синь, знавший его и раньше по переводам и по оригинальным статьям, посвящённым Советскому Союзу, советской общественной системе, культуре и литературной жизни в СССР, с радостью встретил вест о приезде Цюй Цю-бо в Шанхай. Лу Синь давно искал возможности познакомиться с ним ближе, так как он сам питал глубокий интерес к советской литературе, перевёл на китайский язык «Разгром» А. Фадеева и многие литературоведческие работы, но, не зная языка подлинника, пе-

реводил их с японских переводов. Узнав о том, что Цюй Цю-бо в Шанхае, сообщает Фын Сюэ-фын, Лу Синь воскликнул: «Мы должны ухватиться за него!.. Теперь-то мы сможем точно переводить марксистскую теорию литературы».

За время совместной работы с Лу Синем Цюй Цю-бо перевёл с русского языка ряд работ Энгельса, Ленина, Плеханова, Лафарга по вопросам литературы и искусства, многие статьи и художественные произведения Горького, «Железный поток» А. Серафимовича. Он печатался в журналах «Вэнь-и синьвэнь» («Новости литературы и искусства») и «Бэйдоу» («Большая медведица» — легальный орган Лиги, редактором которого была Дин Лин), регулярно выступал по теоретическим вопросам на страницах «Вэньсюэ даобао» («Литературный вестник» — нелегальный орган Лиги, вышедший после «Авангарда», конфискованного гоминдановскими властями).

Столь же плодотворной в этот период была литературная деятельность Лу Синя. Достаточно отметить, что два сборника публицистических произведений писателя — «Книга о лжесвободе» и «Мелодин и напевы Юга и Севера», созданные под непосредственным влиянием Цюй Цю-бо и отразившие решительную борьбу Лу Синя на литературном фронте против реакционеров и изменников-капитулянтов, — насчитывают более ста его «цзагань» (особая форма газетной статьи), представляющих собой образец партийной полемической литературы. Никто другой не смог бы так верно, как Цюй Цю-бо, оценить лусиневские «цзагань» как боевое оружие и убедить Лу Синя в их значении для борьбы китайского пролетариата.

Ко времени дружеских отношений между Лу Синем и Цюй Цю-бо относится и стремление писателя создать художественное произведение, посвящённое славным подвигам бойцов рабоче-крестьянской армии. В конце лета 1932 года, рассказывает Фын Сюэ-фын, в Шанхай нелегально прибыл с Хубэй-Хэнань-Аньхуэйского фронта молодой командир Красной армии товарищ Чэнь Гэн (впоследствии один из прославленных полководцев Народно-освободительной армии Китая). Его рассказы о том, как народные бойцы в неизмеримо тяжёлых условиях, почти безоружные, доблестно сражаются против вооружённых до зубов банд чанкайшистских карателей, были записаны

и отпечатаны на гектографе. Товарищи из отдела пропаганды Шанхайского ЦК передали эти записки Лу Синю. Лу Синь был взволнован встречей с Чэнь Гэном, он долго беседовал с ним. Потом он стал собирать материалы для своего сочинения, но вскоре вынужден был отказаться от своей идеи: «Неясны мне характеры людей, их облик». Это, повидимому, и остановило его работу над задуманной повестью. «Как ни хотел он написать её, но он был писателем-реалистом... — пишет Фын Сюэ-фын. — Поэтому, не зная глубоко жизнь Красной армии, он не смог осуществить своё намерение».

Большое место уделяет Фын Сюэ-фын в своих воспоминаниях положению в китайской литературе, сложившемуся накануне войны против японских агрессоров. В стране вновь нарастало освободительное движение. Призыв ЦК Коммунистической партии Китая: «Положить конец гражданской войне, все силы на отпор внешнему врагу!», обращённый в августе 1935 года ко всем политическим партиям, с каждым днём находил всё большее число сторонников. Борьба за создание единого национально-революционного фронта становилась главной тактической задачей партии.

Многие не понимали тогда новой политики компартии; сомневался в ней первое время и Лу Синь. Со времени отъезда из Шанхая Цюй Цю-бо состав Лиги левых писателей претерпел большие изменения. Среди литераторов царил разброд. С одной стороны, не прекращал своего давления гоминдановский режим и реакция с провокационными целями засыпала в лагерь революционной литературы своих лазутчиков, чтобы возбуждать неуверенность, смятение. С другой стороны, сектантство внутри самой Лиги не только не было изжито, но ещё усилилось, приняв форму сопротивления политике народного фронта. «Групповщина» разъедала Лигу изнутри, препятствовала сближению её с прогрессивными писателями вне Лиги. Лу Синь не несёт никакой ответственности за идейные ошибки Лиги; тем не менее он невольно был вовлечён в сектантские споры. Он понимал, что новая политика партии правильна, однако первое время сомневался в её осуществимости. Пережив кровавую измену буржуазии в 1927 году и последовавшую за изменой полосу террора, Лу Синь опасался, как бы революционные массы «не попали

выросак с этими гоминдановцами». Он был убеждён, что Чан Кай-ши никогда не станет по-настоящему оказывать сопротивление Японии, Лу Синь ненавидел его и презирал.

Когда в интересах единого фронта назрела необходимость создать вместо Лиги левых писателей новую, более широкую литературную организацию, Лу Синь тяжело переживал, что его детище должно будет объявить о самороспуске. Он даже решил сперва не вступать в новую Ассоциацию работников литературы и искусства, считая, что она уже не будет такой боевой, как Лига.

Конечно, самороспуск Лиги левых писателей (в начале 1936 года) был проведён поспешно, без достаточной разъяснительной работы и широкого обсуждения вопроса всеми её членами. Но не в этой более или менее вынужденной организационной ошибке заключалась основная причина сомнений Лу Синя. Причина эта коренилась в трудных условиях того времени.

Всякое слово правды подвергалось на территории, где хозяйничали гоминдановцы, гонению. Коммунистическая литература была под запретом. Предложения компартии относительно единого фронта всячески извращались гоминдановской пропагандой, обливавшей коммунистов потоками лжи и клеветы. Широкие круги прогрессивной интеллигенции ничего не знали о состоявшемся в конце 1935 года заседании Политбюро ЦК КПК и о выступлении товарища Мао Цзэ-дуна на совещании партактива в Ваяобао (Северное Шэньси) с программным докладом о тактике борьбы против японского империализма. Не знал о них и Лу Синь. А именно в этом докладе Мао Цзэ-лун разъяснил важность и возможность создания нового единого фронта с национальной буржуазией в условиях иностранной агрессии.

Анализ внутреннего и международного положения Китая, сделанный в докладе Мао Цзэ-дуна, о котором рассказали Лу Синю прибывшие в Шанхай товарищи, произвёл на него глубокое впечатление. «Он проникся мудростью руководства нашей партии, поверил в её силу и силу Красной армии», — пишет Фын Сюэ-фын. Ему стало ясно, что поражение революции в 1927 году было следствием предательства правых оппортунистов, сомкнувшихся в дальнейшем с троцкистами и ставших агентурой япон-

ских империалистов. Он убедился, что партия не закрывает глаза на то, что Чан Кай-ши и впредь будет стремиться подорвать силы революции. И он понял, что для победы единого фронта решающее значение имеет руководящая роль коммунистической партии и Красной армии.

Путь Лу Синя как писателя неразрывно связан с ростом революционного движения в Китае. Чем больше сближался он с компартией, тем ярче раскрывался его могучий талант публициста, шире делался круг его идей и весомее становилось его слово.

Летом 1936 года Лу Синь поделился с друзьями своими творческими планами. Фын Сюэ-фын сообщает, что Лу Синь намерен был создать большое художественное произведение о судьбах китайской интеллигенции, изобразить четыре её поколения. Материал к этому роману он собирал давно и знал его хорошо. Сюжет романа в основном у него также был разработан. Он обдумывал уже подробности формы этого произведения и хотел дать в нём место широким отступлениям, свободному изложению своих мыслей. Первое поколение, которое он имел в виду, — это старая китайская интеллигенция второй половины XIX века, бывшая свидетелем грандиозной революционной крестьянской войны тайпинов и империалистического раздела Китая. Прототип для героя этой первой части будущего романа Лу Синь видел в своём учителе — известном знатоке китайской классической литературы Чжан Тай-яне. Второе поколение интеллигенции — поколение самого Лу Синя. Представителем третьего поколения китайской интеллигенции он хотел показать Цюй Цю-бо; это поколение было начинателем коммунистического движения в Китае. Наконец, четвёртое поколение — это революционная молодёжь, студенчество, вставшее на смену павшим борцам, высоко поднявшее знамя народно-освободительной революции, знамя марксизма-ленинизма.

Можно предположить, хотя Фын Сюэ-фын не говорит об этом в своих воспоминаниях, что в ряду многих других причин, побудивших Лу Синя к этому замыслу, немаловажное место занимало чтение романа Горького «Жизнь Клима Самгина», ибо к этому времени как раз и относится первое издание его в Китае. (Перевод первой части «Клима Самгина» был сделан Цюй Цю-бо и вышел в свет уже после гибели перевод-

чка, вторую и третью части перевёл по английскому переводу Ло Ши-нань.) Такое предположение напрашивается прежде всего потому, что вся деятельность Лу Синя второго периода находилась под большим идейным влиянием Горького; соотечественники называют Лу Синя «китайским Горьким».

Этот замысел остался невоплощённым. Незаконченной осталась и интересная работа Лу Синя об истории китайской литера-

туры. Несколько месяцев спустя Китай прощался со своим верным сыном, пламенным борцом за мир и справедливость.

В нашей рецензии мы могли лишь кратко рассказать о важнейших моментах биографии Лу Синя. Но мы надеемся, что содержательные воспоминания Фын Сюэ-фына станут в недалёком будущем доступными для всех советских читателей.

А. Г. ГАТСЗ.

★

Гоголь и революционные демократы

В 1834 году Белинский в «Литературных мечтаниях» впервые высказался в печати о Гоголе: «Г. Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому неизвестны его «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Сколько в них остроумия, весёлости, поэзии и народности? Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды...»

Этот краткий отзыв молодого критика о молодом писателе был первым высказыванием о Гоголе, принадлежавшим представителю русской революционной демократии. Белинский, а вслед за ним Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин оставили много глубоких замечаний и специальных статей, посвящённых Гоголю.

Сочинения Гоголя были в значительной степени той литературной основой, на которой создавалась эстетика русских революционных демократов. В статьях о Гоголе Белинский и его преемники ставили и разрешали коренные вопросы философии искусства. Проблемы реализма, народности, типичности, положительного идеала, характера, эпоса, сатиры, комического, вопрос о значении, которое имеет для художника передовое мировоззрение, вопрос о сознательности и бессознательности творчества — вот далеко не исчерпывающий перечень вопросов, которые творчество Гоголя ставило перед его истолкователями.

Создание русской революционно-демократической эстетики происходило в ожесточённой борьбе с многочисленными реакционны-

ми искажателями Гоголя, а порой даже с самим писателем, который в годы своего идейного кризиса нередко истолковывал ложно свои прежние создания. «...Белинский лучше понимал творчество Гоголя, чем сам Гоголь», — справедливо заметил М. И. Калинин¹.

Проблеме «Гоголь и Белинский» посвящён ряд исследований, вышедших в последние годы (работы Н. Степанова, В. Бурсова, Е. Серебровской и других). Книга С. Машинского знакомит широкие круги советских читателей с основными этапами борьбы революционных демократов за Гоголя. В ней содержится достаточно полный сбор этой борьбы, начало которой положил Белинский в 1835 году своей замечательной программной и полемической статьёй «О русской повести и повестях г. Гоголя».

Сколько-нибудь существенных пропусков в обзоре нет; скорее можно упрекнуть автора в том, что он иногда зводит материал, который в книге, являющейся исследованием, а не указателем, надо было серьёзно анализировать, показывая его значение, либо не приводить его вовсе (это относится даже к замечаниям Щедрина из статьи «Новые стихотворения А. Майкова», нуждающимся в разъяснении).

Автор внёс в книгу и неопубликованный материал — интересные сообщения о секретных сношениях Гоголя с Белинским и Некрасовым, которые Гоголь скрывал от Плетнёва, и признания Кулиша — известного биографа Гоголя — о том, что он в своих «Записках о жизни Н. В. Гоголя» фальси-

С. Машинский. «Гоголь и революционные демократы». Гослитиздат, М. 1953.

¹ М. И. Калинин. О молодёжи. Изд. 2-е, 1940, стр. 160.

фицировал сведения о связях Гоголя с Белинским. Впрочем, абсолютной новинкой это не является: С. Машинский уже приводил эти цитаты из Кулиша в предисловии к книге «Гоголь в воспоминаниях современников» (1952).

В заслугу С. Машинскому следует поставить то, что он не замалчивает некоторых ошибочных замечаний о Гоголе, принадлежащих Чернышевскому и объясняющихся просветительскими иллюзиями последнего. Также не проходит он мимо неправильных суждений Белинского, относящихся к периоду «примирения с разумной действительностью». Величие гениальных русских критиков не снижается, если исследователь кажется и их ошибок.

Нельзя не пожалеть, что С. Машинский, автор полезной, содержательной книги, изложил её несколько монотонно. Из-за отсутствия пластичности, рельефности увлекательная история «борьбы за Гоголя» утратила немало присущего ей драматизма.

Разумеется, нельзя упрекать автора в том, что он пишет не так, как писал Белинский. Зато можно и должно упрекать его за то, что он порой допускает сомнительные или явно неверные истолкования своего материала и даже верные положения доказывает порой при помощи ошибочных и малоубедительных аргументов. Есть в книге и отдельные неточности.

Чрезвычайно странное впечатление производит трактовка С. Машинским понятия идеальной поэзии у Белинского. Об этой эстетической категории, занимающей большое место в эстетической концепции Белинского тридцатых годов, С. Машинский, излагая статью Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя», ограничивается замечанием, что идеальная поэзия, «по мнению Белинского, не соответствует потребности современного исторического развития. Она сводится в сущности к ложному приукрашиванию жизни, к её прекрасной романтической идеализации».

Больше ничего. Всякий, читавший Белинского, сможет, пожалуй, согласиться с первым утверждением, хотя и выраженным с излишней определённой категоричностью. Белинский ещё в 1835 году в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» колебался, какому роду поэзии — идеальной или реальной — отдать предпочтение; он писал: «Трудно было бы решить, которой из них должно отдать

преимущество. Может быть, каждая из них равна другой, когда удовлетворяет условиям творчества, то есть когда идеальная гармонизирует с чувством, а реальная с истинною представляемой ею жизнью. Но кажется, что последняя, родившаяся вследствие духа нашего положительного времени, более удовлетворяет его господствующей потребности. Впрочем, здесь много значит и индивидуальность вкуса. Но как бы то ни было, в наше время та и другая равно возможны, равно доступны и понятны всем; но со всем этим, последняя есть по преимуществу поэзия нашего времени, более понятная и доступная для всех и каждого, более согласная с духом и потребностью нашего времени». Другими словами, за «идеальной», то есть субъективной, лирической поэзией Белинский в 1835 году признаёт ещё права на существование. Решительное осуждение Белинским идеальной поэзии последует лишь в конце тридцатых годов, когда он сочтёт её несовместимой с «разумной действительностью».

Однако второе утверждение С. Машинского вызывает решительное возражение. Оно совершенно не соответствует истинному положению дел. Стоит вспомнить, что Белинский причислял к идеальной поэзии «Фауста» Гёте, «Манфреда» Байрона, «Дзядов» Мицкевича, произведения Шиллера, чтобы усомниться в том, что Белинский мог применить к ней подобную осуждающую характеристику. В действительности Белинский нашёл по адресу идеальной поэзии в 1835 году совсем другие слова: «...его (лирического поэта нашего времени. — А. Н.) поприще безгранично; ему открыт весь действительный и воображаемый мир, всё роскошное царство вымысла, и прошедшее и настоящее, и история и басня, и предание, и народное суеверие и верование, земля и небо и ад! Без всякого сомнения, и тут есть своя логика, своя поэтическая истина, свои законы возможности и необходимости, которым он остаётся верен, но только дело в том, что он же сам и творит себе эти условия. Эта новейшая идеальная поэзия ведёт своё начало от Древней, ибо у неё заняла она благородство, величие и поэтический, возвышенный язык, столь противоположный обыкновенному, разговорному, и уклончивость от всего мелочного и житейского».

Всё это широко известно и много раз повторялось за последние годы различны-

ми советскими исследователями Белинско-го. Удивительно, почему такой хорошо осведомлённый специалист, как С. Машинский, упорствует в столь уклоняющемся от истины освещении этого важного вопроса и повторяет эту лаконичную и решительно неверную формулировку относительно ложного приукрашивания жизни в идеальной поэзии. С. Машинский употребляет эту формулировку не впервые. Мы находим её во вступительной статье к сборнику «Белинский о Гоголе» (Гослитиздат, 1949) и в предисловии к сборнику «Н. В. Гоголь в русской критике и воспоминаниях современников» (Детгиз, М.—Л., 1951).

С. Машинский утверждает: «Творчество Гоголя никогда не порождало у молодых писателей его школы стремления к подражательности...» Опровержение этого неверного положения находим ниже, где автор, позабыв уже, что он писал двадцатью страницами раньше, цитирует Щедрина, высказавшего литераторов, которые «принялись рабски копировать у Гоголя самую его мацелу писать».

Само по себе правильно положение, что Гоголь в конце тридцатых — начале сороковых годов «мучительно искал ответа на острые политические вопросы современности». Но напрасно С. Машинский подкрепляет эту мысль цитатой из воспоминаний П. Анненкова, так как она относится к петербургскому периоду жизни Гоголя, до отъезда за границу.

Автор неоднократно сопровождает цитаты своими характеристиками, которые опровергаются содержанием самых цитат. Пушкин, критикуя «Историю русского народа» Полевого, писал: «Он... говорит по-минутно: «Итак мы видим... Из сего следует... Мы в нескольких словах означили главные черты великой картины...», между тем как мы ничего не видим, как из этого ничего не следует и как г-н Полевой в весьма многих словах означил не главные черты великой картины». Но нужно ли было С. Машинскому подражать в этом Полевому?

Например, трудно усмотреть «иронию и даже издёвку» в словах Пушкина по поводу журнальных достоинств «Библиотеки для чтения» — «аккуратности» в выпуске номеров, «разнообразия статей», «полноты книжек», «свежих новостей европейских».

В другом месте о том же журнале мы читаем: «Библиотека для чтения» в 30-е годы прошлого века имела самое большое количество подписчиков. Белинский показал, что эта популярность достигалась жульническими средствами: «азиатским самохвальством» Сенковского и прямым обманом». Это очень огрублённое изложение того, что было на деле. Странного мнения о факторах литературного успеха и о русской читательской публике тридцатых годов нужно придерживаться, чтобы объяснять успех журнала самохвальством редактора и «прямым обманом», да ещё ссылаться при этом на авторитет Белинского! Причины популярности «Библиотеки для чтения» были сформулированы Пушкиным (в «Письме издателю», подписанном А. Б.) и Белинским в статье «Ничто о ничём». Достаточно вспомнить нарисованную Белинским картину чтения «Библиотеки для чтения» в семействе степного помещика, когда «дочка читает стихи гг. Ершова, Гогниева, Струговшикова, и повести гг. Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Тимофеева и повести барона Брамбеуса; батюшка читает статьи о двухпольной и трёхпольной системах, о разных способах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахотку и красить нитки; а там ещё остаётся для желающих критика, литературная летопись, из которых можно черпать горстями и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко справедливые и добросовестные) суждения о современной литературе; остаётся пёстрая разнообразная смесь; остаются статьи учёные и новости иностранных литератур. Не правда ли, что такой журнал — клад для прсвинни?...» Иными словами, секрет успеха «Библиотеки для чтения» заключался в той «ловкости, умении и искусстве» принаровиться и поддаться к запросам провинции, о которых писал Белинский. «Сенковский основал свой журнал подобно тому, как учреждаются коммерческие предприятия», — писал Герцен, то есть «с учётом спроса».

Здесь может идти речь о потакании отсталым вкусам, но никак не об «обмане».

Во всех подобных случаях мы видим доказательство правильных положений сомнительными аргументами.

С. Машинский высказывает мысль, что критики типа Дружиница, проявляя на словах свою любовь к Пушкину, в действительности относились к нему равнодушно, а то и враждебно. Пусть так. Но плохо то, что эту мысль автор доказывает, цитируя слова о превосходстве Кукольника над Пушкиным, принадлежащие не Дружинину, а Сенковскому.

Погодин в своей статье «Новое издание Пушкина и Гоголя» отнюдь не выражал тенденции «заглушить критическое, обличительное содержание его творчества, представить великого сатирика кротким, добродушным юмористом». Это опровергается цитатой из Погодина, приводимой самим С. Машинским. Ещё более ясен был бы вопрос, если бы цитата не была преждевременно оборвана. Погодин сравнивает и ставит на один уровень заслуги и славу великих русских писателей — Кантемира, Ломоносова, Державина, Фонвизина, Карамзина, Крылова, Пушкина, Гоголя — с заслугами Нахимова, Хрулёва, Толбегина, Корнилова (статья написана во время Крымской войны). Это, конечно, не совсем то, что сообщает об этой статье С. Машинский.

Известно, что Чернышевский, с одной стороны, и Вяземский, Плетнёв и Погодин — с другой, принадлежали к противоположным политическим лагерям. Известно, что Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» касается деятельности этих писателей. И вот читаем у С. Машинского: «Обозревая критическую деятельность Полевого и Сенковского, Шевырёва и Плетнёва, Вяземского и Погодина, Чернышевский вскрывает реакционный характер их идейных позиций, их неспособность правильно осмыслить коренные проблемы русской действительности. Отсюда узость и ограниченность эстетических взглядов этих критиков, отсюда же — их бессилие понять творчество Гоголя».

В действительности Чернышевский о статьях Вяземского и Плетнёва о Гоголе пишет: «Всё написанное ими о нём принадлежит к числу лучшего, что только было написано о Гоголе», а о Погодине за-

мечает, что он оказал значительные услуги русской истории, высказывает ещё ряд положительных суждений о его деятельности и в заключение пишет: «Этого достаточно, чтобы вынудить у каждого здравомыслящего человека сочувствие к нему во многих случаях и во всяком случае обеспечить ему право на уважение». С. Машинский, конечно, внимательно изучал знаменитую работу Чернышевского, но о содержании её информирует неточно, приспособив изложение к слишком прямолинейной схеме; в этом не было нужды, так как, и не упуская из виду сложности вопроса, можно было показать реакционность мировоззрения Вяземского и Погодина.

Исторически неточно причисление ложного убеждения о «закате Пушкина» в тридцатых годах к «глупой лжи рептильной критики». Это ошибочное мнение в то время разделяли многие передовые писатели, его неоднократно высказывал Белинский (в «Литературных мечтаниях» и в других статьях). В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» он не включил Пушкина в число современных писателей на том основании, что он «уже свершил круг своей художнической деятельности». Гоголь едва ли не единственный не поддался тогда этому взгляду.

Спорны и малоубедительны некоторые замечания С. Машинского о «Ревизоре». Напрасно он громко именуется «кошунственными» некоторые неприемлемые утверждения славянофилов. При подобной богобоязненности слишком многое в критической литературе прошлого можно было бы упрекнуть в том же. Плохо сведены концы с концами в том, что сказано о жанре «Мёртвых душ»: только что читателю сообщалось об особенно важном значении того, что «Мёртвые души» названы поэмой, и вдруг оказывается, что это едва ли не ошибка Гоголя. Есть кое-какие и другие неточности.

С. Машинский написал полезную книгу на нужную тему. Но не все вопросы, затронутые им, получили правильное и достаточно аргументированное освещение.

А. НАРКЕВИЧ.



«Геометрическая» лингвистика

В Свердловском книжном издательстве вышла работа В. К. Фаворина «Синонимы в русском языке». Она рассчитана, как сказано в издательской аннотации, «в основном на лекторов, пропагандистов и агитаторов, начинающих писателей, журналистов». Эта книжка должна научить «точности и выразительности, а потому простоте и доходчивости» в изложении мыслей, она написана не для профессионалов-лингвистов. Вполне естественно поэтому требовать, чтобы сама эта книжка не вешала, а говорила и притом прозрачным, точным, общепонятным языком.

Увы, многие работы наших лингвистов — даже тогда, когда они обращаются не только к «посвящённым», — всё ещё пишутся каким-то особым, затруднённым, закрытым и тёмным языком. Так написан и «научно-популярный очерк» В. К. Фаворина. В нём много интересных примеров и ценных наблюдений. Но изложение в самых важных случаях настолько сложно, что читатель попросту потеряет охоту взглянуть в эти трудные, но весьма существенные для него вопросы.

Чаше всего такая форма изложения говорит о какой-нибудь коренной методологической ошибке. В. К. Фаворин, в частности, очень своеобразно борется против приблизительности, за точность и научность. Единственной настоящей наукой он считает математику, единственной настоящей точностью — точность математическую. Поэтому в интересах высшей научности во всех самых ответственных случаях он пользуется геометрическим методом. Непрерывно меняющиеся смысловые связи и притяжения между словами-понятиями изучаются в этой книжке как чистые и внеисторические «линии». Вопрос о синонимах — во многом вопрос исторический и этический — предстаёт перед нами в форме геометрической теоремы. И уже довольно естественно, что так называемые поэтические синонимы, как не совсем точные с этой математической точки зрения, с самого же начала исключаются из геометрического чертежа, в который они никак не «влезают».

Но «поэтические синонимы» как раз и представляют собой вершину каждого ряда

синонимов, высшее уточнение. Вот и получается, что В. К. Фаворин нигде не достигает этой вершины.

Покажем на примерах, как В. К. Фаворин принижает материал и борется со своим материалом, который сам по себе ярок и драматичен, как сама жизнь, как самый язык — непосредственная действительность мысли.

Издавна существуют в науке термины: ряд, гнездо, пучок синонимов. Как на грех, уже эти исходные в науке о синонимах понятия — чистейшие поэтические образы, с которыми принципиально не желает иметь дело наш исследователь. Особенно подозрителен ему «пучок», а он как раз и даёт самое наглядное представление об уходящих в разные стороны ответвлениях смысла, которые, однако же, где-то внизу, у корня, более или менее прочно перехвачены общей связкой.

Автор вводит свой новый, строго научный, как он считает, термин: амплитуда синонимов. «Этим термином, — пишет исследователь, — обозначается такой ряд синонимов, внутри которого соседние члены наиболее близки по значению, а слова, удалённые от исходного слова, тем больше отклоняются от него по смыслу, чем дальше они отстоят».

Но так ведь обстоит дело даже в математическом ряду! На то и ряд, а не цепочка, в которой все звенья одинаковы и взаимно заменимы! И незачем, значит, было тревожить амплитуду.

Затем: «...каждый синоним представляет собой как бы геометрическую точку, через которую проходит известное количество пересекающихся линий, и каждая из них может стать амплитудой синонимов. Ведь значения в слове раскрываются не обязательно по прямой, а как бы в округ основного значения, которое потенциально всегда сопровождается другими значениями».

Это очень важное замечание для понимания природы синонимов — то, что значения в слове «раскрываются... как бы вокруг основного значения». Но ведь и это очень важное «вокруг» уже было дано в образе «пучка». Сам по себе термин «амплитуда» несколько не обогатил и не уточнил наше представление о том, как разветвляются значения вокруг основного значения слова.

В. К. Фаворин. «Синонимы в русском языке». Научно-популярный очерк. Свердловское книжное издательство, 1953.

Скромный «пучок» был и проще и гораздо ближе к истине!

Между тем мы здесь уже вступили в область «чистой» до полной стерильности теории... Борьба сходств и различий, притяжений и отталкиваний в родственных словах; «муки слова», то есть муки мысли, которая хочет освободиться от «вынужденной» неточной формы, научилась «не смешивать» и ищет самую свободную, точную и свою форму, — всё это изображается в виде каких-то совершенно внеисторических, равнодушных и непроницаемых «пересекающихся линий».

Но пусть это только исходная рабочая схема. Мы ждём, что в дальнейшем она заполнится живым содержанием и мы увидим, как именно «пересекаются» линии, как и куда синонимы уводят иногда слово от «основного значения». В этом вель вся суть вопроса о синонимах.

Хорошо известно, что по «теориям» современных буржуазных философов языка, особенно же так называемых семантиков, слово позволяет себя поворачивать как угодно и куда угодно. Оно совершенно безответно, готово на всё и даже бессловесно, как выражаются наиболее парадоксальные из «теоретиков» этого рода. Семантики как раз и пытаются — конечно, вполне сознательно и своекорыстно — увести важнейшие слова от их основного значения. Вспомним хотя бы многочисленные «синонимы»-софизмы для капитализма, которые предлагали в последнее время семантики: дистрибутизм (от distribute — распределять), мюноуализм (от mutuality — взаимность), продуктивизм и даже «экономическая демократия»!

Но слова общенародного языка дорого оплачены всем историческим, моральным и эстетическим опытом народа. В словопотреблении подавляющего большинства людей того или иного языка они сохранили свой главный, самый важный смысл; они вовсе не идут на любое дело и на любые связи; основное значение слова очень упорно сопротивляется всякому злоупотреблению. В языке передовых людей всего мира идёт непрерывная борьба за восстановление основного значения всех важнейших словпонятий.

В практическом пособии для лекторов и агитаторов особенно важно было показать и синонимы реальные, отражающие жизненную правду, и механику увода от истинного значения при помощи «синонимов»-

софизмов. Это было совершенно необходимо не только в практических целях и не только «для полноты картины». Без этого просто невозможна никакая, хотя бы условная, но сколько-нибудь полезная в рабочем порядке классификация синонимов.

Но и классификация синонимов принимает у В. К. Фаворина также формы «строγο-геометрического» построения. Синонимы бывают уточнительные, жанровые, экспрессивные и — эвфемизмы. А затем эта классификация, вполне естественно, оказывается настолько сбивчивой, что в конце книги потребовалась специальная глава «Дополнительные замечания к классификации синонимов». И эти «Дополнительные замечания» уже вполне убедительно и, главное, поразительно легко разбивают всё построение.

В самом деле, что такое, по В. К. Фаворину, «уточнительные синонимы»?

К этой категории исследователь относит те синонимы, которые «действительно служат для тонкого различения значений и отражают действительные различия в самих предметах мысли» (разрядка моя.— Л. Б.).

В остальных случаях, стало быть, синонимы отражают не действительные, а какие-то иные различия и сходства в предметах мысли?

Увы, именно это глубоко неверное положение очень горячо развивает автор в главах о жанровых и экспрессивных синонимах.

«...Писатели... — говорит В. К. Фаворин, — заменяют тропами обычные, не образные выражения».

«Так, если взять для примера следующие строчки из «Евгения Онегина»: «Пчела из кельи восковой летит за данью полевой», то легко заметить, что метафоры келья и дань являются поэтической заменой обычных слов: ячейка (или соты) и цветочный сок (нектар)» и т. д.

И далее: «Подбор «поэтических синонимов» — одна из важнейших стилистических задач писателя».

Всё это рисует в чрезвычайно странном свете творчество писателя. Создаётся впечатление, что писатели могли бы, собственно, и не заменять обычные слова, но «подбирают» поэтические синонимы по прихоти, или по должности, или только для того, чтобы не говорить, как все остальные люди. Если вспомнить рассуждение об «уточни-

тельных синонимах», то окажется, что в приведённом выше примере из Пушкина мы имеем дело не с действительным сходством и различием, а только с заменой слов обычных словами образными в порядке выполнения какой-то особой стилистической задачи.

Нигде нет и речи об особом, «большом зрении» (Горький) писателя, о его художественном мировоззрении, которое открывает новые сходства и различия в «предметах мысли». Ничего не сказано о том, как «неожиданный» пушкинский синоним оказался совершенно непререкаемым и необходимым, как он озарил и уточнил «предмет мысли».

Это уже не укладывалось в «геометрию».

Там же мы читаем: «Писатель заменяет... графареты и штампы своими «неповторимыми» образами, свежими, новыми, запечатляющимися. Приведём несколько примеров из повести Федина «Первые радости». «Паровоз уже упрятывал в мохнатую белую шубу вагон за вагоном»; «Было ветрено, и в пазах домика распевали тонкие флейты»; «Паутина карандашным чертёжиком висела между оконной петлей и косяком»; «Лиза устало переводила взгляд... на ласточек, свесивших хвостики своих фраков с фарфоровой вазы»; «весь в снежной муке», он «не ехал, не мчался, не летел, а парил»; «соломенно-жёлтые ершистые брови» у стражника и т. п.»

Легко видеть, что эти образы из повести К. Федина очень неравноценны. Есть здесь совсем не новые, что-то явственно повторяющиеся (ершистые брови, снежная мука) образы, которые уже утратили художественную точность именно потому, что давно стали привычными оборотами литературной речи; есть здесь «верно, но с плюсом», как говорил Станиславский, — синонимы подчёркивающие, но не заостряющие, эффектные, но не обязательные (тонкие флейты, распевавшие в пазах домика); есть здесь и замечательные художественные уточнения, неповторимые без кавычек, очень субъективные, фединские, и одновременно убедительные или, по крайней мере, интересные для всех читателей Федина.

Но для В. К. Фаворина это во всех случаях не уточнение, а только замена обычных слов словами образными.

«Надо отметить также, — пишет далее В. К. Фаворин, — что у некоторых старых

поэтов система таких «художественных синонимов» была весьма субъективной. Так, например, у Тютчева поэтическая синонимика отражала характерное для него мистическое представление о мире как извечной борьбе двух начал: «дневного» и «ночного».

Но разве только у старых поэтов (хороших или плохих?) и только у поэтов-идеалистов система художественных синонимов «весьма субъективна»? Разве может она не быть субъективной у каждого большого поэта? Субъективна или не субъективна синонимика Маяковского?

Корень всех этих ошибок хорошо виден в программном заявлении автора о поэтических тропах: «Некоторые литературоведы относят к синонимам все случаи поэтических тропов (поэтическую метафору, метонимию, синекдоху)». В. К. Фаворин считает, что такое толкование синонимов условно и произвольно, и с этим можно было бы согласиться. Но за этим сразу же следует такое замечание: «Во всяком случае, это не лингвистическое понимание термина синонимы».

Не лингвистическое понимание! Это звучит гордо, но это совершенно бессодержательно. Само собой разумеется, что и лингвист, если он не принадлежит к уже вымершей породе «этимологизаторов», рассматривает слово не в его реальном одиночестве, а в его смысловых связях, в его очень различных жанровых применениях. И для него поэтическая метафора есть диалектическое единство сходства и различия, то есть синоним особого рода.

Не следует сводить всю науку поэтики к синонимике. Но исследователь синонимов не может не видеть среди прочих связей между понятиями и связи поэтические, то есть высшие и самые точные.

А практически этот постоянно владеющий автором страх — как бы не оказаться вдруг поэтом или литературоведом! — приводит вот к чему.

Ряды или амплитуды синонимов и омонимов, которые даёт в своей книге В. К. Фаворин, большей частью интересны и плодотворны. Но вот ряд приводит как бы сам собой к поэтическому синониму. Тогда автор немедленно выключается. Дальше — уже не лингвистика.

Вот В. К. Фаворин говорит о слове «солитер»: «Солитер — ленточный червь-паразит и, в другом значении, — крупный

брильянт». И всё. Не указано ещё одно крылатое горьковское применение этого слова (знаменитая статья «О солитере» и в других местах).

Уже исходный научный термин — «солитер» (одиночный) — был в известной мере поэтическим тропом. От него ответвились другие поэтические тропы. А Горький применил его к людям, которые кичатся своим «одиночеством», совершенно серьёзно считают себя бесценными брильянтами, а на самом деле суть такие же ничтожества и паразиты, как черви определённого рода. Старые значения объединились в новом, горьковском значении слова.

В. К. Фаворин исключает горьковского «солитера» из своей амплитуды. Это уже литература, которая по тому самому не подлежит ведению лингвиста. Но ведь горьковское применение слова уже вошло в язык, расширило значение некогда скромного и узкого слова. Так и «Человек» в особом, горьковском применении этого слова уже вошёл в общенародный язык (см. словарь Ушакова). Стало быть, даже «самый чистый» лингвист не имеет права не считаться с этими языковыми фактами.

В ряду различных применений слова «лицо» совсем не указаны: «действующее лицо» (в драме), «сохранить лицо» (в политической речи). Не потому ли, что и это уже литература?

Так, с одной стороны, очень снизилась именно научная ценность книги — в результате незаконного и насильственного исключения «поэтических синонимов» из общего круга синонимов. Именно узколингвистическое понимание синонима оказалось «условным и произвольным».

И, с другой стороны, каждая попытка объяснить смысл и внутреннее движение художественного образа «строго-научно» (а это всегда значит у В. К. Фаворина, как мы уже знаем, математически или, по крайней мере, физико-математически) приводит к почти комическим результатам.

Вот как В. К. Фаворин пытается «наложить» (как сказал бы математик) точность научную на точность художественную.

Разбирая различия сходных слов-понятий «сверкать», «блестеть» и «блистать», автор приводит лермонтовскую строчку: «Сквозь туман кремнистый путь блестит». И за этим следует как единственно надёжное и научное обоснование такого, а не иного выбора слова у поэта: «Очевидно,

имеется в виду диффузия отражённого света сквозь туман».

Это очень «научно», но ничего, конечно, не объясняет.

Глава об эвфемизмах, то есть смягчающих выражениях, занимает в этой работе всего две с половиной страницы из шестидесяти девяти.

Весьма интересны замечания автора о том, как эвфемизмы теряют свою эвфемистическую силу, как они ветшают, как начинают звучать резче и прямее, чем исходное слово, которое они должны были смягчить. Но и здесь автор, не желая выходить за рамки чисто лингвистического понимания синонимов, обходит главное.

Есть и у нас в словоупотреблении некоторых групп населения эвфемизмы пуританские, ханжеские, криводушные. Но решающая тенденция — иная. Неумолимо уточняются и восстанавливаются во всей своей первоначальной силе важнейшие слова-понятия. Вспомним, что в 1911 году В. И. Ленин писал А. М. Горькому о словах «реализм, демократия, активность»: «Вы думаете, это — хорошие слова? Слова скверные, всеми буржуазными ловкачами на свете используемые, от кадетов и эсеров у нас до Бриана или Мильерана здесь, Ллойда Джорджа в Англии и т. д. И слова скверные, надутые, и содержание обещается эсеровско-кадетское. Нехорошо».¹ Теперь у нас эти слова обрели своё истинное значение. И одновременно возникают всё новые эвфемизмы для понятий, которые уже не стоят, или неудобно, или незтично, или почему-либо неприятно называть прямо.

Здесь не место говорить об этом подробно. Важно отметить только, что и эвфемизмы, эти синонимы особого рода, должны быть оценены исторически; и здесь, как и всюду, мы имеем дело с точностью того или иного рода или с весьма своеобразным превращением точности.

Всюду — стремление к точности, к точному выражению мысли в слове; всюду — единая, трудно достижимая, но вполне реальная цель: точность, точное слово.

Только по этому признаку — по видам точности — и можно было классифицировать синонимы во всех жанрах речи. Все они так или иначе уточнительные... Но это уже было бы не лингвистическое понима-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 34, стр. 383.

ние синонима, и это уже, стало быть, выходило за рамки, которые себе поставил В. К. Фаворин.

В книге В. К. Фаворина самый этот термин «точное слово» почти совсем не упоминается — вероятно, потому, что и он увёл бы нас от чистой лингвистики к литературоведению или ещё к чему-нибудь. Или, может быть, ещё потому, что в своё время этим термином злоупотребляли формалисты. Но сам по себе этот термин очень плодотворен, и — как все без исключения хорошие слова прошлого — и эти слова восстановили уже себя у нас в своём самом главном и важном смысле. И нет, конечно, оснований отдавать этот хороший термин формалистам. А в книге о синонимах без него нельзя сделать ни шагу.

«...Синонимы, сословы, суть такие слова, которые и сходны между собою по своему значению, и различны». Так писали в 1840 году в предисловии ко второму по счёту русскому словарю синонимов безымянные составители, которые выступали

под девизом: «Редакция нравственных сочинений».

Это старое и совершенно верное определение синонима мы можем уже очень значительно расширить и углубить. Но ещё в большей мере, чем в 1840 году, вопрос о синонимах не может сегодня подлежать ведению одних только лингвистов. Необходимо оценить по достоинству многообразные связи между сходными словами-понятиями, отделить связи важные, постоянные и плодотворные от связей внешних, случайных, от многих коварных «совпадений».

Книга В. К. Фаворина очень наглядно показала, что геометрический метод, как и узколингвистический метод в этом случае неприменимы; что эта замечательная тема — синонимы в русском языке — решительно не терпит схематизма.

Плюсценный (и долгожданный) «Словарь синонимов современного русского языка» может быть создан только на широкой теоретической основе.

Л. БОРОВОЙ.

★

Политика и наука

Борьба продолжается

В конце сентября стало известно о заключении между Соединёнными Штатами и франкистской Испанией трёх соглашений военного характера. Реализуя эти соглашения, США получают в Испании военные базы, а взамен окажут франкистскому режиму дальнейшую помощь в развитии военной экономики.

Выставляя франкистскую Испанию в качестве бастиона «западной демократии» и «христианской цивилизации», правящие круги США имели своей целью заставить народ Америки забыть, что власть Франко была навязана испанскому народу Гитлером и Муссолини при поддержке всех сил мировой реакции, забыть, что в числе мужественных бойцов, защищавших Испанскую республику, были и лучшие сыны Америки.

Во время переговоров между США и франкистской Испанией прогрессивное аме-

риканское издательство «Мэсиз энд Мейнстрим» выпустило книгу, которая сразу привлекла к себе внимание как своим содержанием, так и именем автора. Эта книга, названная «Добровольцы», была написана Стивом Нельсоном, известным деятелем американского рабочего движения, одним из руководителей Компартии США.

Стив Нельсон многое перевидал и перетерпел за свою жизнь. В шестнадцать лет он был чернорабочим на бойне в Филадельфии и испытал на себе тяжёлый, изнурительный труд, нищету, бесправие. Вскоре юноша вступил в профессиональный союз, начал активно участвовать в рабочем движении.

Имя Нельсона стало известно стране в 1929 году, когда в США наступил кризис, сопровождавшийся резким увеличением безработицы. В «Прологе» к своей книге С. Нельсон описывает события 1930 года — арест и жестокое избивание полицейскими организаторов движения безработных в Чикаго. Одним из этих организаторов был Нельсон.

Эту страничку борьбы пролетариата в

Steve Nelson. „The Volunteers. A personal narrative of the fight against fascism in Spain“. New York, 1953. (Стив Нельсон. «Добровольцы. Воспоминания участника борьбы с фашизмом в Испании». Нью-Йорк, 1953).

США автор не случайно воссоздаёт в работе, посвящённой американским добровольцам в Испании. Именно люди, возглавлявшие рабочее движение у себя в стране, встали впоследствии в ряды участников первого большого открытого сражения с фашизмом.

В конце 1936 года республиканское правительство Испании обратилось к антифашистам всего мира с призывом о помощи. Верные своему интернациональному долгу, тысячи трудящихся более чем тридцати стран, представлявшие самые различные политические течения и партии, отправились сражаться за свободу испанского народа. Вместе с другими американцами в Испанию приехал и Стив Нельсон.

Ныне Нельсон участвует в новой битве — битве за дело мира и демократии, за жизненные интересы трудящихся Соединённых Штатов Америки. И именно поэтому его так ненавидят реакционеры всех мастей. По антикоммунистическому закону штата Пенсильвания Нельсон приговорён к двадцати годам тюремного заключения. Формальным предлогом для приговора послужило то, что у Нельсона были найдены книги, «оскорбляющие власти».

Но полицейским властям не удалось заставить Нельсона замолчать. Находясь в ужасных условиях тюрьмы, он продолжал свою борьбу. Он подготовил замечательную книгу. «Добровольцы» — это не только повесть о мужественной борьбе в Испании. Это обращение к демократическим традициям американского народа и прежде всего рабочего класса США.

Книга представляет собой живо написанный рассказ о том, как сражались американские «добровольцы свободы», составившие знаменитую бригаду имени Линкольна. Первое испытание им пришлось пережить ещё по дороге в Испанию — французские власти заключили их в тюрьму. И только в результате протеста французского народа добровольцы были освобождены. Автор рассказывает о той теплоте и заботе, которой окружали трудящиеся французы и француженки группу американцев, как самоотверженно помогали им перебраться через испанскую границу по горным тропам Пиренеев или на рыбацких лодках по волнам Средиземного моря.

Сильное впечатление оставляет сцена, когда добровольцы, совершенно выбившиеся из сил после труднейшего перехода по го-

рам, наконец узнают, что они уже в Испании. Шахтёр из Уэльса сказал: «Теперь, друзья, надо бы спеть песню, и у меня есть на примете подходящая». В утреннем воздухе Испании раздался чистый тенор рабочего, запевшего «Интернационал».

Нельсон не ставил перед собой задачу написать историческое исследование о гражданской войне в Испании или хотя бы о действиях американской бригады. В его книге освещены события, крупные и мелкие, но главное место в ней занимают люди, простые люди разных стран, героически боровшиеся за свободу Испании.

На помощь испанскому народу, изнемогавшему в неравной борьбе против испанской, итапо-германской и англо-франко-американской реакции, вместе с представителями других народов прибыли три тысячи американцев. Тысяча восьмьсот из них отдали жизнь в борьбе за свободу. Нельсон рассказывает, что это были за люди.

Вот коммунист Оливер Лоу — начальник штаба, затем командир батальона. Человек со спокойным голосом и твёрдым взглядом. Один из тех, кто руководил борьбой рабочих Чикаго в тридцатых годах. «Шесть лет прослужил талантливый, храбрый солдат Оливер в армии Соединённых Штатов. Будучи негром, он так и остался рядовым». В Испании он за шесть месяцев стал капитаном. Раненный в битве под Брунете, он не позволил, чтобы его унесли с передовой. А затем умер на носилках. «Его качества сделали его примером для всех», — пишет Нельсон.

Джеки Ширай, ротный повар, который ни за что не хотел быть на кухне, заявлял: «Я достал хорошую русскую винтовку. Я приехал сюда убивать фашистов». Нелегко было убедить Ширая вернуться к котлам. Он согласился, но с одним условием: «Когда начнётся большой бой, я уйду из кухни».

С восхищением рассказывает Нельсон и об испанцах, сражавшихся в рядах интернациональной бригады. Запоминается образ молодого Хозе, участника боёв в Астурии в 1934 году. Когда пришёл приказ выделить лучших бойцов в отряд «герильерос» — партизан, в числе других был послан Хозе. Командование поставило его во главе партизанского отряда. Много мостов и туннелей взорвал этот отряд, сотни врагов истребили отважные партизаны. В одной из стычек Хозе был ранен и взят фашистами в плен. Во время допроса он одной ру-

кой схватил за шею фашистского полковника, а другой выдернул кольцо гранаты, которую спрятал при пленении. Граната разорвалась между двумя телами. Таков был неграмотный астуриец Хозе — «Эль Фантастико» (неповторимый), как звали его американские товарищи. Стив Нельсон пишет, что Хозе, «несмотря на свою бесшабашную внешность, прекрасно разбирался в политике и ненавидел фашистов глубокой и жгучей ненавистью».

Добровольцы живейшим образом интересовались событиями, касавшимися борьбы, в которой они участвовали. Стив Нельсон и другие руководители бригады разъясняли солдатам политику республиканского правительства, роль анархистов и «левацких» элементов социалистической партии Испании. Понимание всего этого помогало добровольцам стать стойкими, сознательными бойцами за правое дело.

Рассказывая о героических защитниках республики, автор пишет и о её многочисленных врагах, в особенности о тех, кто орудовал внутри республиканского лагеря и в интернациональных бригадах. Нельсон особо останавливается на деятельности поумовцев¹, которые под прикрытием революционной фразы всеми способами старались разложить тыл и фронт. Специальная глава посвящена мятежу троцкистов и анархистов в Барселоне 4 мая 1937 года. Поумовцы и так называемые «бесконтрольные» элементы среди анархистов действовали под прямым руководством фашистской «пятой колонны» и итало-германских шпионов. Они хотели вонзить нож в спину республики. Однако массы за ними не пошли, и провокация не удалась.

Подводя итог боям под Брунете — первой крупной, заранее продуманной и подготовленной наступательной операции республиканцев, Нельсон отмечает одну из главных трудностей — отсутствие регулярной армии. Битву под Брунете вели в основном части, которыми руководили коммунисты. «Но войну не могли выиграть одни коммунисты или какая-либо другая партия или группа. И никто не понимал этого лучше, чем сами коммунисты. Шла война испанского народа, всего народа, и победу могла завоевать только настоящая Народная армия под единым командованием». Создания такой

единой армии добивалась Компартия Испании. Против создания такой армии выступали троцкисты, анархисты и другие враги республики, враги испанского народа.

Ещё важнее были факторы внешние. Помощь, которую ждали республиканцы от США, Англии и Франции, «не пришла, так никогда и не пришла». Правительства этих стран заботились лишь об умиротворении Гитлера за счёт крови народов. Все реакционные силы в Америке, начиная с католической иерархии и кончая профашистски настроенными конгрессменами, выступали в защиту Франко.

Испанская республика героически сражалась, истекая кровью. Международной реакции удалось задушить её. Поражение республиканской Испании, пишет Нельсон, привело к Мюнхену и дальше через ряд этапов — ко второй мировой войне. «Выдачей Испанской республики правительства Франции, Англии и Соединённых Штатов не спасли себя от ярости Гитлера».

Стив Нельсон очень экономен в использовании изобразительных средств. Книга написана сдержанно и лаконично. В то же время это не только волнующий рассказ очевидца и участника событий, но и «выдающийся образец литературного мастерства», как отозвался о «Добровольцах» известный американский писатель Говард Фаст.

Нельсону удалось ярко и правдиво передать атмосферу гражданской войны в Испании, настроения и чувства борющихся с франкистскими мятежниками испанцев и бойцов интернациональных бригад, их боевую дружбу, их надежды, горечь разочарования, гнев. Автор скромно умалчивает о своих заслугах. Но вот что сказано о нём в официальной истории пятнадцатой бригады, изданной военным министерством республиканского правительства: «Всегда в самых опасных местах, хладнокровный и собранный, Нельсон подавал пример, который укреплял боевой дух солдат и помогал им выдержать самый интенсивный огонь противника».

Книга «Добровольцы» представляет собой важный вклад в литературу о гражданской войне в Испании. Эта книга — новое оружие в руках тех, кто борется за демократию в Соединённых Штатах, и тех, кто сражается за неё во франкистской Испании.

¹ ПОУМ (Partido Obrero Unificacion Marxista) — так называемая «Рабочая партия марксистского объединения» — организации испанских троцкистов.

Уже после выхода книги американская реакция совершила ещё один акт трусливой жестокости по отношению к Стиву Нельсону. Приговорённый к двадцати годам тюрьмы по закону штата Пенсильвания, он недавно был осуждён ещё на пять лет по так называемому «закону Смита». Весть об этом вызвала возмущение прогрессивных людей не только США, но и других стран.

В одном из своих писем Стив Нельсон говорит: «Продолжающиеся аресты и жестокие приговоры мне и моим друзьям имеют целью как можно сильнее разжечь военную лихорадку». Враги мира «хотят таким путём запугать тех, кто уже сейчас готовится вступить в борьбу за спасение демократии и мира». Нельсон указывает, что, несмотря на все запугивания, в Со-

единённых Штатах усиливается движение за мирное урегулирование спорных международных проблем.

Всё чаще раздаются голоса о том, что «назрело время для позитивного подхода к вопросу о мире». Движение за мир и демократию постепенно охватывает всё более широкие слои американского народа. И в этой битве за будущее Америки почётное место принадлежит Стиву Нельсону.

«Борьба продолжается» — так называется заключительная глава книги Нельсона. Автор пишет: «Бригада Линкольна сражается за интересы американского народа, за дело мира во всём мире, за прекращение войны в Корее и за освобождение Испании!».

Борьба продолжается!

В. ПЕСЧАНСКИЙ.



Крестьянское движение на Ближнем Востоке

Книга французского географа Жака Велерса, названная в русском издании «Крестьяне Сирии и Ливана», посвящена главным образом сельскому хозяйству и положению крестьянства в этих странах. Однако автор говорит и о других ближневосточных государствах, учитывая, что условия жизни крестьян здесь повсеместно одинаковы.

Как Велерс в течение нескольких лет жил в Сирии и Ливане и лично наблюдал тяжёлую жизнь арабских крестьян. В своей работе он приводит довольно обширные сведения, характеризующие состояние крестьянства — одной из самых многочисленных групп населения Ближнего Востока. Крестьяне Сирии и Ливана, подобно их собратьям в Турции, Ираке, Египте, лишены в своей основной массе земли или же обладают жалкими клочками, которые не могут обеспечить даже полуголодного существования.

Автор не ограничился личными наблюдениями и использовал малозвестные работы по крестьянскому вопросу ряда зарубежных исследователей, а также данные французского института востоковедения в Дамаске. Это повышает интерес к книге.

Жак Велерс. «Крестьяне Сирии и Ливана». Сокращённый перевод с французского Я. И. Серебрянского. Издательство иностранной литературы, М. 1952.

Читатель узнаёт много дополнительных фактов, характеризующих социальные отношения в колониальных и зависимых странах и являющихся ярким доказательством всё большего углубления кризиса колониальной системы империализма.

Автор рассказывает о борьбе крестьян против своих угнетателей, о социальном бесправии феллахов, вся жизнь которых «подчинена постоянной заботе о хлебе насущном». Он описывает их непосильный труд, указывает на отсутствие медицинской помощи и антисанитарные условия. Жилище крестьянина сводится «к одной комнате — и для семьи, и для скота, и для запасов... Всё это закопчено; в помещении душно, темно, тесно; похоже скорее на логово, чем на жилище». Ужасные жилищные условия приводят к заболеваниям туберкулёзом и другими заразными болезнями. В некоторых селениях «поражённые трахомой составляют 86 процентов всего населения».

Ж. Велерс собрал интересный материал. Однако он не смог использовать его для правильных выводов о подлинных причинах бедственного положения крестьянства и путях избавления от нищеты. Будучи буржуазным учёным, автор оказался не в состоянии сделать широкие и правильные обобщения, хотя факты, которыми он распо-

лагал, давали для этого полную возможность. У Ж. Велерса не нашлось слов и для осуждения деятельности иностранных монополий на Ближнем Востоке.

Автор развивает ложную теорию о причинах хозяйственной отсталости местных народов, объясняя это положение не господством империализма и феодальными пережитками, а географическим фактором, природными условиями. «Климатические, экономические и общественные условия, — говорится в книге, — объединяются здесь, чтобы держать феллаха на грани голода». Касаясь использования земель в ближневосточных странах, Ж. Велерс заявляет: «...трудно представить себе использование этих земель по-иному, чем они используются теперь: земля Ближнего Востока и феллах кажутся дополняющими друг друга и спаянными друг с другом как бы законами самой природы».

Книга пестрит подобными положениями, но автор, сам того не подозревая, приоткрывает завесу над действительным положением миллионных масс крестьянства, которое эксплуатируется с помощью полуфеодальной издольщины или даже вынуждено отрабатывать баршину на земле помещика. Так, в районе Джебель-Друз (Сирия) феллахов заставляют работать на помещичьей земле один день в неделю без всякой оплаты. «В большинстве, — говорит Ж. Велерс, — феллахы не являются собственниками и не надеются ими стать. Мелкое хозяйство крестьянской семьи в социальных рамках селения и под гнётом крупных помещиков-горожан — такова формула, лучше всего определяющая жизнь миллионов феллахов, образующих крестьянство Ближнего Востока: Сирии и Ирака, Палестины и Трансиордании».

Автор вынужден признать, что крестьяне, лишённые земли, многочисленные издольщики поднимаются на борьбу за свои попранные права, изгоняют помещиков и уничтожают господские усадьбы.

Говоря об аграрном вопросе, Ж. Велерс подчёркивает, что «крупнопоместная собственность представлена по всем странам, от Средиземного моря до Персидского залива, составляя основу аграрных отношений на Ближнем Востоке. Средняя и мелкая земельная собственность является только исключением».

Действительно, в Сирии из пяти с половиной миллионов гектаров земли, пригодной для обработки, четыре миллиона гектаров находятся во владении кучки крупных помещиков. Например, в районе Бика, в Ливане, помещику Скаффу принадлежит столько же земли, сколько её имеют все бедняки и середняки этого района.

Не лучше положение и в такой стране, как Иран. Здесь свыше 80 процентов полезной земельной площади сосредоточено в руках крупных владельцев. Около 90 процентов всех иранских крестьян являются безземельными и малоземельными.

По словам иранской газеты «Энтекад», в стране имеются помещики, владеющие сотнями деревень и располагающие собственной полицией и жандармерией для подавления крестьянского недовольства.

В Турции помещики и кулаки владеют 77 процентами посевной площади. Из 17 миллионов крестьян 12 миллионов не имеют земли или же обладают парцеллами — ничтожными земельными участками. Одних издольщиков имеется два миллиона человек. В настоящее время помещики сгоняют их с земли, лишая всяких средств к существованию. В турецкой деревне усилился распад средних слоёв крестьянства, их обнищание, всё более растёт кулачество, происходит разорение широких масс сельского населения. Местные крестьяне вынуждены отдавать помещику половину урожая. Если крестьянин занимает у помещика зерно для посева или быка для обработки участка, то отдаёт ему две трети урожая. Сама земля, которую обрабатывает крестьянин, арендуется им у того же помещика, за неё приходится уплачивать арендную плату в виде одной шестой части урожая.

Гнёт помещиков, буржуазии и иностранных империалистов приводит к растущему недовольству и возмущению широких народных масс, огромное большинство которых представляет обездоленное крестьянство. О нарастающем размахе национально-освободительного движения свидетельствует героическая борьба народов Ближнего Востока против американских, английских и других иностранных колонизаторов, против агрессивных планов поджигателей новой мировой войны и их проекта создания «средневосточного командования», против превращения ближневосточных и средневосточ-

ных стран в военные базы. В июне 1952 года в Багдаде, столице Ирака, и в других районах страны произошли мощные антиимпериалистические демонстрации под лозунгами расторжения кабального англо-иракского договора, национализации нефтяной промышленности, отказа от присоединения к средневосточному агрессивному блоку и отмены антидемократической избирательной системы. Тысячи борцов за независимость страны брошены в тюремные застенки и лагеря смерти. Но ничто не в состоянии остановить рост освободительного движения и сломить боевой дух патриотов.

В Ливане создан «Комитет действия» против средневосточного блока. В Бейруте состоялись демонстрации и другие массовые выступления за аннулирование кабального соглашения с США относительно так называемой «помощи» слаборазвитым странам. В Сайде организован «Комитет борьбы» против одной американской компании, хозяйничающей на юге страны. В районе Бика исполнительный комитет федерации крестьян призвал к выступлению против французской компании, использующей свою табачную монополию для ограбления крестьян.

В социальном и экономическом гнёте заключаются основные причины растущей нищеты трудящихся Сирии и других ближневосточных стран. За избавление от этого ига борются многомиллионные массы крестьянства, которые требуют земли, стремятся освободиться от кабалы помещиков и иностранных монополий.

Между тем Жак Велерс хочет представить дело так, что якобы рост народонаселения является причиной обнищания. Выражая откровенно реакционную мальтузианскую точку зрения, он прямо заявляет, что «в ближайшем будущем грозит опасность образования ежегодных излишков сельского населения: при современных условиях увеличение населения может вызвать только рост нищеты».

Всякие оговорки автора по поводу необходимости для изменения существующего положения «подлинной социальной революции» и «революции в быту и в сознании» нельзя принять всерьёз, поскольку он не имеет в виду действительной революции, направленной на уничтожение гнёта эксплуататоров. На самом же деле крестьяне

Сирии и Ливана, Египта и Турции, Ирака и Ирана активно включаются в освободительную борьбу.

Так, в Египте крестьянские выступления приобретают всё более массовый характер. В аграрное движение вовлекаются широкие массы безземельных, малоземельных, а также и средних крестьян. Во многих деревнях северной Сирии крестьяне делят помещичьи земли, не выполняют феодальных повинностей, не платят налогов. Власти усиливают кровавые репрессии, чтобы сломить боевой дух крестьян. Жандармские карательные отряды терроризируют жителей сотен деревень. В одном лишь районе Латакии (Сирия) было арестовано около 13 тысяч крестьян, которые участвовали в аграрном движении.

В Турции безземельные и малоземельные крестьяне силой захватывают земли, принадлежащие крупным помещикам. Против полиции нередко выступают жители сразу нескольких деревень, образуя иногда тысячные отряды.

Капиталисты и помещики Турции применяют всё более жестокие средства для расправы с недовольными. Вводятся новые драконовские законы для защиты помещичьего землевладения и подавления крестьянского движения. Не так давно меджлис обсуждал проект закона о «защите земельной собственности», в котором предусматривается тюремное заключение за самовольный захват земли. Между тем в ряде случаев безземельные крестьяне занимают лишь пустующие владения помещиков и несут тяжёлое наказание за то, что они обработали заброшенные земли. Однако ни террор, ни свирепые репрессии не могут подавить борьбу турецкого народа. Рабочий класс Турции показывает крестьянству пример беззаветной борьбы и идёт в авангарде движения народных масс.

Антифеодальное движение составляет часть национально-освободительного движения. Оно сочетается с борьбой за мир, приобретающей всё более широкий характер в странах Ближнего и Среднего Востока.

Разделы книги Ж. Велерса, касающиеся важнейшей проблемы Ближнего Востока — аграрного вопроса, представляют известный интерес для советской общественности. Хотя, повторим, автор — буржуазный профессор колониальной географии — не мог,

конечно, правильно охарактеризовать сущность этой проблемы.

Вторую часть своей работы Ж. Велерс посвятил описанию природных особенностей отдельных районов Сирии и Ливана, характеристике хозяйства, образа жизни населения. Автор даёт живые зарисовки обычаев и нравов крестьян. Эта часть книги вызывает меньше возражений.

Русскому изданию книги «Крестьяне Сирии и Ливана» следовало бы предпослать статью с полной характеристикой крестьянского движения на Ближнем Востоке. Вступление и редакционные комментарии недостаточно освещают этот вопрос.

Кандидат исторических наук
А. ВАЛУЙСКИЙ.

★

Аргентинский экономист о судьбах своей родины

Книга «Американские тресты против Аргентины» принадлежит перу видного аргентинского экономиста Хайме Фукса, участника международного экономического совещания в Москве. Перелистывая страницы этой интересной работы, читатель узнаёт, почему в Аргентине — стране богатых возможностей — народ находится в тяжёлом положении и бедствует на своей благодатной земле, кто является главным врагом экономической независимости и суверенитета страны.

Как и каждая латиноамериканская республика, Аргентина идёт своими путями развития. И вместе с тем в её судьбе много общего с другими странами этой части Западного полушария.

Свыше шестидесяти лет назад Соединённые Штаты провозгласили идею так называемого «панамериканизма». С тех пор под прикрытием этой «идеи» американские колонизаторы проводят в странах Латинской Америки политику, противоречащую национальным интересам этих стран. Как писала аргентинская газета «Демокрасия», американский империализм всеми средствами стремится подчинить себе правительства государств Южной и Центральной Америки; он ставит задачей препятствовать индустриализации этих республик и, имея здесь основной резерв продовольствия и сырья, заинтересован в том, чтобы держать народы этих стран в состоянии социального унижения, превращать их в поставщиков послушной и дешёвой рабочей силы.

Американские монополисты в погоне за максимальными прибылями грабят Арген-

тину — одну из наиболее развитых в промышленном отношении стран Латинской Америки.

Аргентина занимает площадь около трёх миллионов квадратных километров. На её территории могли бы свободно разместиться десять таких европейских государств, как Франция, Италия, Германия, Англия, Испания, Португалия, Голландия, Бельгия, Эйре, Швеция. Природа не поскупилась наделить аргентинскую землю богатыми дарами. В Южной Патагонии и предгорьях Анд разведаны крупные запасы угля; в ряде мест обнаружены месторождения нефти; могучие водопады способны дать много дешёвой электроэнергии. Здесь есть цинк, свинец и вольфрам, медь и серебро; известны солидные залежи железной руды, сурьмы, урана.

От Чако на севере до Патагонии на юге, от Атлантического океана на востоке до предгорий Анд на западе раскинулась неоглядная аргентинская пампа. Благодаря замечательному климату и плодородию почвы Аргентина выдвинулась в число крупнейших стран земледелия и виноградарства. Обильные естественные пастбища благоприятствуют развитию скотоводства. Ежегодно страна собирает миллионы тонн зерна и хлопка. По экспорту кукурузы Аргентина не имеет себе равных в мире капитализма, а по экспорту пшеницы находится на втором месте.

В пампе, покрытой буйной растительностью, пасётся почти сто миллионов голов крупного рогатого скота, овец и коз. Аргентинские мясо, кожи, шерсть занимают на мировом капиталистическом рынке весьма значительное место. Подсчитано, что по своим природным ресурсам Аргентина способна прокормить сто миллионов человек. А между тем подавляющее большинство её

Хайме Фукс. «Американские тресты против Аргентины». Перевод с испанского Г. А. Калугина. Издательство иностранной литературы, М. 1953.

шестнадцатимиллионного населения лишено возможности пользоваться щедротами родной земли и влачит полуголодное существование.

Характеризуя современное состояние страны, секретарь Центрального комитета Аргентинской коммунистической партии Викторно Кодовилья в своём приветственном выступлении на XIX съезде КПСС говорил: «Наличие крупной земельной собственности феодального типа и однобокий характер аргентинской экономики, созданный английскими и американскими империалистами, привели к деградации сельского хозяйства, к застою и упадку слабо развитой национальной промышленности. Так, например, в Аргентине, которая раньше рассматривалась как одна из житниц мира, теперь не хватает пшеницы, и народ не видит белого хлеба. Периодические кризисы в этой стране переплетаются с постоянным кризисом самой структуры экономики...»

С этой оценкой полностью перекликаются те выводы, которые делает в своей книге Хайме Фукс. Автор не ставил перед собой задачи исследовать все вопросы, связанные с политикой американского империализма в Аргентине. По его словам, книга имеет лишь целью «установить степень проникновения американского капитала в Аргентину». Убедительным языком цифр и фактов, не гнушая красок и не прибегая к литературным эффектам, Х. Фукс рисует картину пагубных последствий вмешательства американцев в хозяйственную жизнь страны.

Первые крупные вложения в Аргентине были сделаны американскими предпринимателями в 1907 году, когда они начали усиленно интересоваться местной мясохолодильной промышленностью. В то время господствующие позиции в экономике этой страны занимал английский капитал. Однако в последующие годы, особенно во время второй мировой войны и в послевоенный период, монополии США всеми средствами теснят из Аргентины английских и других соперников. Постоянно увеличивая прямые инвестиции во все отрасли промышленности, сельского хозяйства и торговли, широко участвуя в так называемых смешанных обществах, американские тресты настолько расширили здесь сферу своего влияния, «что их капиталовложения заняли первое место среди всех иностранных капиталовложений и захватили ключевые позиции в промышленности, торговле и ком-

мунальном хозяйстве страны», — пишет Х. Фукс.

Статистические данные, опубликованные в различных периодических изданиях, подтверждают это заключение автора. Ещё в 1941 году английские капиталовложения в Аргентине превышали пять миллиардов аргентинских песо, американские же составляли примерно 1 миллиард 800 миллионов песо. Прошло десять лет. Английские капиталовложения за это время уменьшились на две трети, зато американские увеличились вдвое. Ныне, по подсчётам журнала «Бизнес уик», в Аргентине вложено монополиями США 400 миллионов долларов, почти шесть процентов всех прямых американских инвестиций в странах Латинской Америки.

Хайме Фукс показывает, что за десятилетие (1940—1949 годы) число компаний, где вложены американские капиталы, выросло в два с лишним раза и достигло 315. Нет буквально ни одной сколько-нибудь значимой для хозяйства страны отрасли, где бы в той или иной мере не участвовали американские монополисты. Мясохолодильные и текстильные фабрики, металлообрабатывающие предприятия и заводы фармацевтических товаров, нефтепромыслы, электропромышленность, заводы строительных материалов, пищевые фабрики — всё это прямо или косвенно принадлежит или крупнейшим концернам США, или их дочерним компаниям, или контролируется ими.

Методы и средства, какими приобреталось это командное положение в аргентинской индустрии, характерны для захватнической политики монополистов США в странах Южной и Центральной Америки. Хайме Фукс рассказывает о том, какими грязными способами американский трест АНСЭК добился монопольного права снабжения электроэнергией города Рафаэла в провинции Санта-Фе. Здесь работала электростанция, принадлежавшая местному кооперативу. Чтобы уничтожить её, американская корпорация дошла до того, что снабжала население электроэнергией даром, выплачивала денежные суммы каждому новому потребителю, а также тому, кто привлёк нового клиента. Не удовлетворившись этим, трест заручился согласием американской фирмы, торгующей электрооборудованием, не продавать свои товары кооперативу. Наконец, трест стал засылать на станцию вредителей, которые портили машины. Зада-

вив конкурента, АНСЭК быстро наверстала свои «убытки», сдирая с потребителей исключительно высокую плату.

Зверская конкуренция, обман, подкупы — всё пускается в ход, чтобы устранить любые препятствия на пути американского капитала. Официально предлагается техническая и финансовая помощь, однако эта «помощь» отнюдь не способствует, а наоборот, препятствует развитию аргентинской экономики и, в частности, индустрии. В этой связи характерно откровенное признание Поля С. Дэниэлса, бывшего в 1949 году заведующим отделом латиноамериканских стран государственного департамента США: «Индустриализация стран Латинской Америки должна заключаться не в том, чтобы создавать крупные металлургические центры, наподобие существующих в Питтсбурге, а в том, чтобы создавать промышленные предприятия типа обувных фабрик, консервных заводов и т. п. с целью лучшего использования их естественных богатств».

Эта политика проводится с исключительной настойчивостью. И вот результаты. В Аргентине есть достаточные запасы топлива и железной руды, но нет собственной металлургической промышленности. Нет потому, что США не продают необходимого оборудования. Аргентина сама, имеющимися ресурсами, могла бы вполне удовлетворить свои потребности в продуктах нефтепереработки. Могла бы, но не удовлетворяет. Основной добытчик нефти в этой стране — компания «Стандард ойл» — сдерживает нефтедобычу и, тем более, переработку нефти в Аргентине, предпочитая поставлять ей готовые продукты по весьма выгодным для себя ценам. Х. Фукс, приводя данные о сокращении добычи нефти, пишет, что из-за этого страна вынуждена импортировать 60 процентов потребляемой нефти. Аргентине это обходится более чем в 600 миллионов песо в год.

Таким образом «Стандард ойл» имеет двойную выгоду: прибыли и от продажи нефтепродуктов Аргентине и от добычи нефти на территории Аргентины. Да ещё какие прибыли! Капитал этой монополии в Аргентине составляет 140 миллионов песо, а среднегодовые объявленные прибыли, по данным за пять лет, исчисляются в 160 миллионов песо.

Нельзя сказать, что вопрос этот не волнует самих аргентинцев. «Возвращение ар-

гентинской нефти, — говорится в книге, — продолжает оставаться горячим стремлением народа, рабочего класса, которые со своим авангардом — коммунистической партией активно борются за уничтожение опорных баз американских империалистов в стране».

В различных кругах страны не раз принимались попытки высвободиться от импорта нефти. Но все они наталкивались на сопротивление американцев. «Когда в палате депутатов, — пишет Х. Фукс, — министрам так называемой экономической группы был задан вопрос, почему не ввозилось оборудование, необходимое для увеличения добычи нефти Управлением государственных нефтепромыслов, эти министры признали, что США не выдавали лицензий на такого рода закупки».

То же самое, если не хуже, происходит в энергопромышленности. Почти вся эта отрасль прямо или косвенно находится под контролем группы Моргана. Искусственно создавая голод на электроэнергию, моргановские компании беспрерывно увеличивают тарифы и получают исключительно высокие барыши. А между тем Аргентина располагает огромными возможностями для производства электроэнергии. Если бы на водопадах Сальто-Гранде, Апипи и Игуасу построить крупные гидроэлектростанции, то страна могла бы иметь 20 миллиардов киловатт-часов дешёвой электроэнергии.

Аргентина импортирует из США разные машины, транспортные средства, частично сырьё для металлообрабатывающей промышленности, топливо и многое другое. Но за импорт надо расплачиваться. Аргентина может это делать лишь в том случае, если сумеет продать основные продукты своего хозяйства: мясо, шерсть, кожи, зерно. Однако и здесь она лишена самостоятельности. Три американские компании — «Армур», «Ла Бланка» и «Свифт» — прочно обосновались, например, в аргентинской мясоколодильной промышленности и наживают колоссальные прибыли. Так, «Свифт» в течение пяти лет получала в Аргентине ежегодно доход, равный 40 процентам от вложенного капитала.

Американские монополисты делают всё, чтобы увеличить свои выгоды от торговли с Аргентиной. Вместе с тем внешняя торговля, от которой зависит само существование латиноамериканских государств, направляется с таким расчётом, чтобы на-

крепко привязать их к США. Практически это означает, как пишет в своей книге Х. Фукс, что латиноамериканские страны вынуждены покупать у Соединённых Штатов только то, что те хотят сбыть, причём по весьма высоким ценам, тогда как США приобретают в странах Латинской Америки сырьё по очень низким ценам.

Так приводит постепенное выкачивание валюты, увеличение внешнеторгового дефицита. В первой половине прошлого года Соединённые Штаты вывезли из Аргентины в три раза меньше разных товаров, чем за тот же период 1951 года. Причём характерно, что рост цен на товары, импортируемые Аргентиной, намного опережал рост цен на товары, которые она вывозит. Используя своё право кредиторов, американские империалисты ограничивают внешнюю торговлю Аргентины с другими странами.

Снижение экспорта повлекло за собой сокращение производства сельскохозяйственных продуктов. Так, в 1951/52 году сбор пшеницы в Аргентине лишь немногим превысил два миллиона тонн против восьми с лишним миллионов в 1940/41 году. Нетрудно понять, как болезненно отразилось это на экономике страны, увеличив в то же время разорение крестьянства.

В американской печати появляются откровенные признания о том, что капиталисты США стремятся ещё более упрочить своё положение в Аргентине. Так, например, автор пространной статьи, напечатанной в журнале «Мэгэзин оф Уолл-стрит», расписывая «благодетельное» влияние американских монополий на аргентинскую экономику, подчёркивает, что последние рассчитывают на превращение Аргентины «в самый выгодный рынок в Южной Америке», в «здравницу американского капитала».

Опираясь на многочисленные факты, Х. Фукс указывает выход из создавшегося положения. Это — необходимость установления и расширения торговых отношений со всеми странами и, в первую очередь, со странами демократического лагеря. В книге приведены убедительные примеры иллюстрирующие те очевидные выгоды, которые может получить Аргентина от торговли с Советским Союзом и странами народной демократии.

Требования завязать тесные связи с мировым демократическим рынком раздаются

в Аргентине всё настойчивее. Вот почему с таким одобрением было встречено аргентинским народом заключение в августе 1953 года торгового и платёжного соглашения между СССР и Аргентинской республикой. Ещё в период переговоров газета «Ла эпока» писала, что эти переговоры рассматриваются аргентинцами как условие для серьёзного оздоровления экономических отношений с районом Европы, «с которым мы потеряли связь. Тем самым перед нашей внешней торговлей открываются замечательные возможности, находящие широкий отклик в международном торговом мире». Другая аргентинская газета, «Критика», указывая, что Советский Союз будет поставлять Аргентине «всё необходимое для содействия ещё большему развитию нашей промышленности», отмечала, что американские империалистические монополии, заинтересованные в ограничении внешней торговли Аргентины, не смогут «спокойно смотреть на этот «поворот» нашей торговли в сторону стран, которые предлагают нам то, в чём мы нуждаемся, и покупают у нас то, что мы можем продать. Однако при создавшихся обстоятельствах империалистическое давление ни к чему не приведёт; мы будем действовать на основе полного самоопределения».

Это заявление газеты отражает настроение тех аргентинских кругов, которые хотят самостоятельного развития. Всё громче звучит в Аргентине голос сторонников мира и демократии. Всё решительнее прогрессивные силы страны выступают против американских империалистов, за национальную независимость, за широкие экономические связи на основе равенства и взаимной выгоды.

Х. Фукс заканчивает свою книгу призывом к объединению всех аргентинцев, независимо от их социального положения, политических, религиозных и философских убеждений, в национальный, демократический фронт борьбы против империализма и внутренней земельной олигархии, в защиту мира. Именно в этом автор видит залог того, что аргентинский народ сумеет покончить с империалистическими монополиями, мобилизовать все национальные ресурсы, удешевить и удешевить производство на пользу трудовому населению.

Н. ГОРЕУНОВ.

Выдающийся русский естествоиспытатель

Николаю Алексеевичу Северцову принадлежит видное место среди естествоиспытателей XIX века. Глубокий мыслитель, один из предшественников Дарвина в биологии и Докучаева в физической географии, бесстрашный исследователь неизведанных земель Средней Азии, он всё более привлекает к себе внимание историков отечественной науки. Вокруг его имени около столетия назад начали складываться рассказы и легенды, многие из которых сохранились до наших дней.

Р. Золотницкая давно работает над изучением жизни и деятельности учёного. В 1947 году она опубликовала обстоятельный очерк, предпосланный переизданному труду Северцова «Путешествия по Туркестанскому краю», а теперь, дополнив очерк новыми материалами, выпустила книгу «Н. А. Северцов — географ и путешественник».

Северцов прожил большую, полную включений жизнь. Он родился в Воронеже в 1827 году и шестнадцатилетним юношей поступил в Московский университет, где стал любимым учеником великопленного педагога и блестящего учёного К. Ф. Рулье — «русского Дарвина», как его не без основания называют.

К. Ф. Рулье принадлежат слова, которые и сегодня удивляют биологов и физико-географов: «Полагаем задачей, достойною первого из первых учёных обществ, назначить следующую тему для труда первейших учёных: исследовать три вершка ближайшего к исследователю болота относительно растений и животных, и исследовать их в постепенном взаимном развитии организации и образе жизни посреди определённых условий».

Под влиянием Рулье Северцов стал убеждённым эволюционистом в биологии ещё до появления теории Дарвина. Он считал, что виды животных и растений не остаются постоянными и изменяются во времени. Он воспринимал природу в вечном движении и изменении, взаимодействии и развитии. Первопричиной изменчивости видов, полагал Северцов, являются изменения внешних природных условий. Позднее,

ознакомившись с работами Дарвина и признав его теорию естественного отбора, он не отказался и от своих взглядов, считая, что виды изменяются как под влиянием естественного отбора, так и под влиянием внешних природных условий. Северцов по праву считается одним из основателей современной экологии.

Он жил в тот период, когда география начинала переходить от описания природных явлений к анализу и объяснению процессов, протекающих в природе. Вместе с блестящей плеядой других русских географов того времени Северцов закладывал фундамент новой науки — современной физической географии. С удивительной настойчивостью вводил он в географические исследования исторический метод, который отрицался многими крупнейшими зарубежными географами.

В конце XIX века русский учёный В. В. Докучаев сделал важное открытие — установил закон географической зональности. Это открытие, основанное на работах исследователей-путешественников, устанавливало существование зоны тундры, лесов, степей, пустынь и т. п. Среди предшественников Докучаева следует отметить Северцова. За несколько десятилетий до Докучаева он выделил географические зоны в европейской части России.

Северцов не был кабинетным учёным. Человек большого мужества, сильной воли, огромной энергии, он в течение двадцати с лишним лет странствовал по России — путешествовал по Зауральским степям, пересекал среднеазиатские пустыни, исследовал тугайные заросли на Аму-Дарье и Сыр-Дарье. Он поднимался к заснеженным пикам Тянь-Шаня, любовался бирюзовыми волнами незамерзающего горного моря — Иссык-Куля, бродил вдоль бурных рек, по ущельям выходил на плоскогорья центрального Тянь-Шаня.

Северцов первым установил, что Памир — это самостоятельная горная страна, и дал правильные научные представления о расположении хребтов на Тянь-Шане и Памире, поставил вопрос о колебаниях уровня Аральского моря, составил первое геологическое описание пустынного плоскогорья Устюрта, одним из первых открыл нефть в нынешнем Эмбенском нефтяном районе. Странствия позволили Северцову стать од-

Р. Л. Золотницкая. «Н. А. Северцов — географ и путешественник». Географгиз, М. 1953.

ним из основателей русской зоогеографии — науки о распространении животных на земле.

Северцов был художником-анималистом, недурно рисовал пейзажи, отлично стрелял, умел ответить острой эпиграммой на насмешки. Его близко знали Дарвин, Лев Толстой, актёр Щепкин. Тарас Шевченко написал портрет Северцова.

Северцов проектировал прокладку железной дороги из европейских районов России в Среднюю Азию (позднее её проложили очень близко к намеченной им трассе), добивался права на разработки открытых им угольных месторождений к югу от Урала, заботился об освоении пустынь и о развитии рыболовства на реках Средней Азии и Урала.

Он принимал участие в передовых начинаниях московской и петербургской профессуры, боролся за приоритет русской науки, вкладывая свои скромные средства в научные экспедиции. Под конец жизни Северцов разорился, а царская канцелярия даже не ответила на ходатайство географического общества о назначении ему пожизненной пенсии.

Жизнь Северцова оборвалась трагически — он погиб при зимней переправе через Дон в 1885 году.

Книга Р. Золотницкой написана обстоятельно, с большим знанием дела. В ней почти нет фактических погрешностей или неточностей, что говорит о добросовестном отношении автора к материалу. Книгу выгодно отличает широкий, всесторонний показ Северцова-учёного, подчёркивание его значения как географа.

Работа Р. Золотницкой существенно дополняет литературу о Северцове, и в этом её немалое положительное значение.

Но всё-таки закрываешь книгу с явным чувством неудовлетворённости. Жанр книги автором не определён. Нет у неё и точного адреса, неизвестно, на какой круг читателей она рассчитана. Указание — «географ и путешественник» — говорит о том, что речь пойдёт преимущественно об этих сторонах деятельности Северцова. Что же перед нами — новая биография Северцо-

ва, книга о его жизни и деятельности, или очерк о нём как о географе и путешественнике? В первой половине своей работы Р. Золотницкая уделяет достаточно внимания петербургскому и московскому периодам жизни учёного, не меньше, чем его путешествиям и научным изысканиям. По всей книге разбросано немало бытовых сведений об учёном, изложены биологические концепции Северцова, подробно рассказано о его пленении кокаядцами, что совершенно необязательно в очерке о научной деятельности. Жанровая неопределённость книги обусловила её основные недостатки.

Деятельность учёного романтична и увлекательна, нужно только вжиться в его творческие искания, увидеть в необъятном количестве мелких фактов основное, наиболее оригинальное и интересное. Р. Золотницкая, к сожалению, этого не сделала, и книгу её скучно читать.

Жизненный путь Северцова — хорошая основа для увлекательного повествования. Однако Р. Золотницкая не смогла создать полнокровный образ учёного и человека, — читатель не чувствует Северцова на страницах книги, написанной к тому же сухим, бесцветным языком.

Хочется отметить ещё один серьёзный недостаток. Автор не знает и зрительно не представляет себе тех мест, по которым путешествовал Северцов, и странствует в книге среди абстрактных географических названий. Как только дело доходит до описаний природы, Р. Золотницкая тотчас начинает цитировать самого Северцова, но этот приём в данном случае не спасает. Отмеченный недостаток усугубляется ещё тем, что книга неважно иллюстрирована и, в частности, мало использованы рисунки самого Северцова.

Р. Золотницкая вложила немало труда в дело создания биографии нашего замечательного соотечественника. Хочется надеяться, что в дальнейшем она сможет существенно улучшить свою книгу, адресовав её широкому кругу читателей.

Кандидат географических наук
И. ЗАБЕЛИН.

Учебник по древней истории

Уже давно назрела необходимость в появлении учебника по истории древнего Востока. Курс академика В. В. Струве стал библиографической редкостью. «История древнего Востока» профессора В. И. Авдиева, изданная в 1948 году, разошлась в короткий срок. Поэтому советские читатели с удовлетворением встретили появление второго издания этого учебника, за который В. И. Авдиеву в своё время была присуждена Сталинская премия.

Несмотря на столь высокую оценку его труда, В. Авдиев продолжал работать над учебником, внося в него существенные добавления и поправки, привлекая новые материалы, накопившиеся за последние годы.

Композиционно книга не претерпела каких-либо серьёзных изменений. Материал в ней расположен по отдельным странам, что имеет своё основание, хотя возможен и другой — синхронистический — принцип.

Наибольшее место в учебнике уделено Египту (семь глав) и Южной Месопотамии (пять глав), поздние периоды истории которых («Ново-авилонское царство» и «Египет позднего времени») выделены особо. Остальным странам отведено в книге по одной главе. Такая неравномерность объясняется не только различной политической ролью этих государств в древности, но и наличием источников по той или иной стране.

Очерк, посвящённый Ассирии, дан, однако, слишком конспективно. История этой страны достаточно изучена, чтобы изложить её значительно подробнее. Это было бы тем более желательно, что Ассирия — первая в истории человечества страна, претендовавшая на «мировое» господство и потерпевшая полный разгром.

Несомненной заслугой автора является включение в учебник сведений по истории древней Средней Азии. Это сделано впервые в исторической науке.

Работы советских археологов показали, что на территории Средней Азии существовала высокоразвитая рабовладельческая цивилизация. «...Именно в Средней Азии, — пишет В. Авдиев, — находились некоторые, к тому же важнейшие, очаги той культуры,

которая получила своё развитие в ахеменидском Иране».

Богатая и своеобразная древняя культура народов Средней Азии, теснейшим образом связанная как с историей нашей Родины, так и с древневосточными культурами, безусловно, должна быть включена в общие рамки всемирной истории. Почин В. Авдиева — показать тот вклад, который внесли далёкие предки современных народов, населяющих среднеазиатские республики Советского Союза, в общую сокровищницу мировой культуры, — заслуживает высокой оценки.

Однако, на наш взгляд, автору следовало выделить этот материал в особый раздел, а не растворять его в главе, посвящённой древнему Ирану, что не только не даёт ясной и чёткой картины истории и культуры древних среднеазиатских народов, но осложняет, а иногда и запутывает историю самого Ирана.

Более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим изданием расширена глава по истории Урарту. В эту главу включены новые материалы послевоенных раскопок лауреата Сталинской премии Б. Б. Пиотровского, сведения, почерпнутые из исследований других советских учёных.

Расширены и дополнены главы, посвящённые истории и культуре народов древней Индии и древней истории великого китайского народа.

В. Авдиев, несомненно, прав, когда утверждает, что «история древних народов Индии и Китая имеет большое всемирно-историческое значение, во многих отношениях не меньшее, чем история Египта, Вавилона, Греции и Рима», что народы Индии и Китая «уже в глубокой древности сделали большой и ценный вклад в сокровищницу мировой культуры».

Буржуазные историки почти не уделяли внимания этим странам, занимаясь главным образом историей так называемого «классического» Востока. Индию и Китай они исключали из него, считая, что их развитие протекало изолированно от остальных древневосточных стран и не представляет заметного интереса. Не многим лучше было отношение к ним и в дореволюционной России. Только в советские курсы истории древнего Востока впервые были

включены главы, посвящённые этим государствам.

Однако в периодизации истории Китая книга В. Авдиева заслуживает упрека. Конечно, автор вправе отстаивать свой взгляд на историю всего древнего периода Китая как периода рабовладельческого. Но имеются и другие воззрения на этот счёт. Так, например, крупные китайские учёные считают, что уже при династии Чжоу (XII—VIII вв. до н. э.) в Китае появились феодальные отношения. Этот взгляд разделяет и ряд советских учёных, в то время как В. Авдиев считает китайское общество рабовладельческим вплоть до периода Хань (III век до н. э.—III век н. э.) включительно. Думается, что советский читатель вправе знать о наличии этих спорных и ещё не окончательно решённых проблем.

Некоторые разделы истории Китая в учебнике представлены недостаточно полно. Таким крупным народным движением, как восстания «краснобровых» (18 год н. э.) и «жёлтых турбанов» (184 год н. э.), потрясшим самые основы государственного и политического строя древнего Китая, отведено менее одной страницы, причём даже не разъяснено, почему эти восстания получили столь своеобразные названия.

Основные общетеоретические установки автора в оценке древневосточных обществ остались неизменными. Он продолжает рассматривать эти общества как рабовладельческие, но стоявшие на более низкой ступени и развивавшиеся медленнее, чем античные общества Греции и Рима, что, по мнению В. Авдиева, объясняется стойкостью общинных форм на Востоке. Подобная точка зрения, впервые высказанная академиком Струве, сейчас является общепринятой.

Отказ от яфетической «теории» Марра, которой автор ранее придерживался, позволил ему с подлинно марксистских позиций трактовать ряд археологических, этнических и языковых проблем. Более чётко и ярко показана роль надстройки в укреплении рабовладельческого базиса древневосточных обществ, особенно в отношении Вавилонии времён царя Хаммурапи.

В. Авдиев правильно причисляет хозяйства древневосточных стран к типу преимущественно натурального хозяйства. В то же время он раскрывает крупную роль торговли, возникшей на Востоке в незапамятные

времена, и её всё растущее значение. Много места в учебнике уделено распространению рабства, вопросам классовой борьбы, грабительскому характеру войн.

В введении к книге, а иногда и в ходе изложения автор подвергает критике антинаучные теории наиболее видных представителей западноевропейской буржуазной исторической науки, таких, например, как Мейер, Масперо и др. Однако этому вопросу следовало уделить больше места. Критика такой модной в своё время «теории», как теория пан-вавилонизма, вовсе отсутствует. В введении, на наш взгляд, следовало бы также остановиться, хотя бы коротко, на причинах более раннего развития классовых отношений на Востоке по сравнению с Западом (Греция, Рим).

В общем историографическом очерке, как и в очерках, предпосланных отдельным главам, дан краткий, но содержательный обзор русской дореволюционной и советской историографии древнего Востока, показана её громадная передовая роль. Хорошо подчеркнуты значение работ академика Струве и его приоритет в установлении рабовладельческого характера древневосточного способа производства.

Новое издание учебника В. Авдиева выгодно отличается от предыдущего количеством переводов с первоисточников, использованных автором. Жаль только, что в большинстве случаев автор пользуется устаревшими, иногда плохими переводами. Так, например, законы Хаммурапи даны почему-то в устаревшем переводе И. Волкова вместо имеющегося хоть и не блестящего, но всё же лучшего перевода, изданного в прошлом году.

Не свободен учебник и от других мелких погрешностей и противоречий. Чему, например, должен верить читатель: тому ли, что стиль надписей Гуден следует считать примитивным, или тому, что надписи Гуден являются классическими образцами литературного стиля?

О законах Билаламы говорится в разделе, посвящённом III династии Ура, вместо того чтобы о них рассказать в разделе о династиях Исины и Ларсы, ко времени которых эти законы относятся. Не сказано и на каком языке составлены законы. Недостаточно подробно освещена борьба Исины, Ларсы, Вавилона и Мари, а о законах Липит-Иштара даже не упомянуто. Неточно представлена картина патриархализации

вавилонской семьи. Этот процесс шёл иначе, чем это показано В. Авдиевым. Впрочем, в другом месте автор сам себя поправляет. Сомнительным представляется факт перехода семейной общины в сельскую. В сельскую переходит родовая община, а семейная может быть составной частью и той и другой. Можно ли говорить о великодержавной теории в Египте периода Древнего Царства?

Если Хоремхембцарствовал с 1342 по 1338 год, то непонятно, как он мог предпринять что-либо на восьмом году своего царствования. Следует ли говорить о вавилоно-аккадском языке надписей ассирийских колоний в Каппадокии, если вавилонский и ассирийский языки представляют собой диалекты аккадского языка? Как могли асси-

рийские колонисты из Каппадокии обратиться к Саргону I за помощью в XXIV веке до н. э., если ассирийцы образовали свои колонии в Малой Азии только в самом конце третьего тысячелетия до н. э. Число таких досадных неточностей можно было бы увеличить. Достойно сожаления, что они встречаются в столь солидном труде.

Учебник хорошо и умело иллюстрирован, снабжён географическими картами, синхронистическими таблицами и указателем собственных имён.

Новое издание учебника В. И. Авдиева, несмотря на мелкие недостатки, свидетельствует о дальнейшем росте и развитии советского востоковедения.

Кандидат исторических наук
Л. ЛИПИН.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Октябрь—ноябрь 1953 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

О мерах по дальнейшему развитию животноводства в стране и снижении норм обязательных поставок животноводства государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих.— О мерах увеличения производства и заготовках картофеля и овощей в колхозах и совхозах в 1953—1955 гг.— О мерах по дальнейшему улучшению работы машинно-тракторных станций. Постановления Совета Министров СССР и Центрального Комитета КПСС. 116 стр. Цена 1 р. 25 к.

К. И. Былинский. Литературное редактирование газеты. 64 стр. Цена 70 к.

Л. Гапоненко. Солдатские массы Западного фронта в борьбе за власть Советов (1917 г.). 196 стр. Цена 3 р. 35 к.

Н. И. Годунов. Борьба французского народа против гитлеровских оккупантов и их сообщников. 1940—1944 гг. 168 стр. Цена 1 р. 95 к.

И. Ф. Ивашин. Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции. 144 стр. Цена 1 р. 75 к.

О. Козлова. В чём состоит основной экономический закон современного капитализма. 64 стр. Цена 60 к.

Углубление кризиса колониальной системы империализма. 608 стр. Цена 11 р.

Илья Эренбург. Воля народов. 32 стр. Цена 25 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Чары Аширов. Конец кровавого водораздела. Повесть в стихах. Авторизованный перевод с туркменского В. Бугаевского. 168 стр. Цена 3 р. 35 к.

Анатолий Гидаш. Господин Фицек. Роман. Авторизованный перевод с венгерского А. Красновой. 696 стр. Цена 11 р. 55 к.

Андрей Головки. Артём Гармаш. Роман. Книга 1. 244 стр. Цена 4 р. 65 к.

Геннадий Гор. Юноша с далёкой реки. Роман. 280 стр. Цена 4 р. 90 к.

Эм. Казакевич. Весна на Одере. Роман. 488 стр. Цена 9 р. 20 к.

Н. Каписва. Гамзат Цадаса. Критико-биографический очерк. 144 стр. Цена 2 р. 25 к.

Вал. Катаев. За власть Советов. Роман. 704 стр. Цена 11 р. 35 к.

Вера Кетглинская. Дни нашей жизни. Роман. Книга 1. 444 стр. Цена 7 р. 40 к. Книга 2. 440 стр. Цена 7 р. 35 к.

Семён Кирсанов. Товарищи. Стихи. (1948—1953). 216 стр. Цена 5 р. 10 к.

Ф. Кнорре. Рассказы. 420 стр. Цена 7 р.
Леонид Леонов. Пьесы. 444 стр. Цена 10 р. 20 к.

Фёдор Малов. Поездка на Кантегир. 420 стр. Цена 7 р. 5 к.

Хаджи-Мурат Мугуев. Повести. 768 стр. Цена 12 р. 50 к.

Ф. Наседкин. Большая семья. Роман. 496 стр. Цена 8 р. 60 к.

О. Неклюдова. Повесть о школьном годе. 312 стр. Цена 5 р. 40 к.

Валентин Овечкин. На переднем крае. Рассказы и очерки. 284 стр. Цена 3 р. 65 к.

Сергей Орлов. Городок. Стихи. 104 стр. Цена 1 р. 90 к.

Владимир Попов. Сталь и шлак. Роман. 356 стр. Цена 6 р. 25 к.

Сулейман Рагимов. Шамо. Роман. Книга 1. Авторизованный перевод с азербайджанского А. Шарифа и Ю. Либединского. 504 стр. Цена 8 р. 30 к.

Ян Райнис. Избранные произведения. 712 стр. Цена 14 р. 50 к.

Вадим Собко. Белое пламя. Роман. Авторизованный перевод с украинского Л. Шапира. 292 стр. Цена 5 р. 25 к.

Вадим Стрельченко. Стихи. 124 стр. Цена 1 р. 90 к.

Владимир Фёдоров. Любовь моя. Книга стихов. 92 стр. Цена 1 р. 95 к.

Викт. Шкловский. Заметки о прозе русских классиков. 324 стр. Цена 7 р. 20 к.

Ник. Шундик. Быстроногий олень. Роман. 520 стр. Цена 8 р. 55 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Оноре Бальзак. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Перевод с французского. Том 7. Человеческая комедия. Сцены парижской жизни.— История тринадцати. Фачино Кане. Чиновники. 600 стр. Цена 15 р. Том 8. Человеческая комедия. Сцены парижской жизни.— История величия и падения Цезаря Бирото. Банкирский дом Нусингена. Пьер Грассу. Принц богемы. Деловой человек. Комедиянты неведомо для себя. 527 стр. Цена 15 р.

Пьер-Жан Беранже. Избранные песни. Перевод с французского. 128 стр. Цена 2 р. 30 к.

П. П. Вершигора. Люди с чистой совестью. Книга 1. Рейд за Днепр. 436 стр. Цена 9 р. 35 к. Книга 2. Карпатский рейд. 423 стр. Цена 8 р. 80 к.

Мажит Гафури. Избранные стихотворения. Перевод с башкирского. 176 стр. Цена 3 р. 35 к.

В. Г. Короленко. Рассказы и очерки. 80 стр. Цена 80 к.

В. И. Лебедев-Кумач. Песни. 144 стр. Цена 1 р. 30 к.

М. Ю. Лермонтов. Избранное. 364 стр. Цена 15 р. 75 к.

А. С. Мясников. М. Горький. Очерк творчества. 648 стр. Цена 16 р. 30 к.

Ян Неруда. Неделя в тихом доме и другие рассказы. Перевод с чешского. 127 стр. Цена 1 р. 55 к.

А. Н. Острожский в русской критике. Сборник статей. Издание 2-е, дополненное. 452 стр. Цена 7 р. 45 к.

Болеслав Прус. Рассказы. Перевод с польского. 128 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. С. Пушкин в русской критике. Сборник статей. Издание 2-е, исправленное. 688 стр. Цена 11 р.

Генрих Сенкевич. Рассказы. Перевод с польского. 96 стр. Цена 90 к.

Сулейман Стальский. Стихотворения и песни. Перевод с лезгинского. 96 стр. Цена 2 р. 15 к.

Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. (Юбилейное издание 1828—1928). Том 62. Письма. 1873—1879. 575 стр. Цена 18 р.

О. Д. Форш. Избранные произведения. 667 стр. Цена 16 р. 85 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Александр Бойченко. Молодость. Повесть. 384 стр. Цена 8 р. 80 к.

Иван Гайдаенко. На морских дорогах. 272 стр. Цена 5 р. 35 к.

Александр Жаров. Песни. 87 стр. Цена 4 р. 20 к.

Б. Кудрявцев. О неслышимых звуках. 151 стр. Цена 2 р. 95 к.

В. А. Обручев. Путешествия Потанина. 193 стр. Цена 6 р.

Валентин Овечкин. Повести и рассказы. 416 стр. Цена 7 р. 95 к.

А. С. Серафимович. Избранные произведения. 464 стр. Цена 11 р. 35 к.

Василий Спиридонов. Дорога смелых. Второе, переработанное издание. 224 стр. Цена 3 р. 65 к.

Елена Успенская. Наше лето. Повесть. 304 стр. Цена 6 р. 30 к.

ДЕТГИЗ

Албанская весна. Стихи современных албанских поэтов. Составитель Д. Самойлов. Вступительная статья Г. Гулиа. 80 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Артюхова. Новые соседи. Рассказы. 80 стр. Цена 2 р. 35 к.

И. Бабков. По солнечному Крыму. 128 стр. Цена 2 р. 90 к.

А. Батров. Жак — лисенок. 32 стр. Цена 50 к.

Г. Бойко. Про мальчика Василько, девочку Оксану и других ребят. Стихи. Перевод с украинского. 12 стр. Цена 1 р. 5 к.

В. Вальсютене. Звезда счастья. Поэма. Перевод с литовского М. Петровых. 16 стр. Цена 15 к.

Гора самоцветов. Сказки народов СССР. 384 стр. Цена 5 р. 5 к.

Гуси-лебеди. Сборник русских народных сказок, песенок и загадок. 160 стр. Цена 8 р. 40 к.

В. Дмитриева. Агния Барто. 40 стр. Цена 45 к.

Б. Житков. Что бывало. 128 стр. Цена 2 р. 65 к.

В. Кожевников. Мальчик с окраины. Рассказы. 208 стр. Цена 4 р. 20 к.

Я. Купала. Алеся. Перевод с белорусского. 16 стр. Цена 40 к.

М. Миршакар. Мы приехали с Памира. Стихи и поэма. Перевод с таджикского. 56 стр. Цена 85 к.

С. Михалков. Стихи и сказки. 280 стр. Цена 6 р. 70 к.

Б. Полевой. Современники. Рассказы. 256 стр. Цена 6 р. 75 к.

А. С. Пушкин. Избранные произведения. Вступительная статья А. Слонимского. 608 стр. Цена 11 р. 15 к.

Е. Серова. Солнце в доме. Стихи. 20 стр. Цена 1 р.

А. Сурков. Стихи. 64 стр. Цена 80 к.

О. Туманян. Сказки. Перевод с армянского. 88 стр. Цена 1 р. 20 к.

Р. Фраерман. Желанный цветок. По мотивам китайских народных сказок. 64 стр. Цена 2 р. 25 к.

Ю. Яковлев. Подарок. Поэма. 32 стр. Цена 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II. 766 стр. Цена 20 р.

Против вульгаризации марксизма в археологии. 190 стр. Цена 7 р. 20 к.

Роль снежного покрова в земледелии. 111 стр. Цена 5 р.

Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. X. Книга 1. 647 стр. Цена 30 р.

А. Е. Ферсман. Избранные труды, т. II. 768 стр. Цена 48 р.

В. Ф. Шубин. Земледелие Монгольской Народной Республики. 346 стр. Цена 23 р. 50 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. В. Возненко, Г. М. Уткин. Освобождение Киева. (Осень 1943 г.) 174 стр. Цена 3 р. 10 к.

Партийно-политическая работа в Советской Армии и Флоте. Сборник статей. 275 стр. Цена 4 р. 35 к.

- О. Селянкин.** Есть, так держать! Повесть. 144 стр. Цена 2 р. 30 к.
Н. Флеров. Стихи. 136 стр. Цена 2 р. 60 к.
М. Юрьев. Строго хранить военную тайну. 72 стр. Цена 75 к.
Е. Юнга. Морские дороги. 312 стр. Цена 6 р. 40 к.

ГЕОГРАФИЗ

- М. В. Водопьянов.** Путь лётчика. 270 стр. Цена 5 р. 40 к.
В. А. Дивин. Великий русский мореплаватель А. И. Чириков. 277 стр. Цена 6 р. 35 к.
Н. Ч. Пальгов. Казахстан. 166 стр. Цена 3 р.
Ю. Г. Саушкин. Москва. 187 стр. Цена 5 р. 10 к.
К. М. Станкович. Вокруг света на «Коршуне». 350 стр. Цена 8 р. 75 к.
Л. Н. Стрелецкая. Ирландская республика. 260 стр. Цена 6 р. 20 к.
Г. И. Танфильев. Географические работы. 676 стр. Цена 15 р. 15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ж. Брюа.** История рабочего движения во Франции. Том 1. От возникновения рабочего движения до восстания лионских ткачей. Перевод с французского Л. М. Вндысовой и Э. Р. Селимханова. 279 стр. Цена 7 р. 90 к.
Иностранный капитал в Индии. Перевод с английского и предисловие Д. Васильева. 206 стр. Цена 6 р. 85 к.
Дэрек Картэн. США в 1953 году. Перевод с английского. 154 стр. Цена 3 р. 10 к.
Эдуард Клаудиус. О тех, кто с нами. Роман. Перевод с немецкого В. Станевич и И. Татариновой. Предисловие О. Мелихова. 294 стр. Цена 9 р. 75 к.
Л. Натараджан. Американская тень над Индией. Перевод с английского Н. Кузьминского. Вступительная статья А. Проница. 278 стр. Цена 6 р. 60 к.
Организованная преступность в Соединённых Штатах Америки. (Сборник материалов, опубликованных в США). Перевод с английского. Составитель и автор предисловия Б. С. Никифоров. 266 стр. Цена 11 р. 5 к.
И. Стоун. Закулисная история войны в Корее. Перевод с английского И. Боронос, Н. Лосевой, Д. Куниной и Н. Яковлевой. Вступительная статья В. Мачавариани. 358 стр. Цена 8 р. 40 к.

«ИСКУССТВО»

- О. Лазрова.** Н. П. Ульянов. 55 стр. Цена 1 р. 90 к.
Ф. Мальцева. Мастера русского реалистического пейзажа. 176 стр. Цена 12 р. 15 к.
И. И. Цырлин. Изобразительное искусство Болгарии XIX—XX вв. 163 стр. Цена 12 р. 30 к.
С. Ютквич. В театрах и кино свободно-го Китая. 173 стр. Цена 12 р. 25 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

- Археологический сборник.** 216 стр. Цена 16 р. 50 к.
Государственный музей Н. А. Островского в Москве. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.
Шалва Дядиани, Сергей Евлахов. Филалка дяди Самсона. 36 стр. Цена 50 к.
А. Жигулёв. Великий русский революционный демократ Н. Г. Чернышевский. 36 стр. Цена 1 р.
Н. А. Караулов. Развитие гидросиловых установок в России и в СССР. 36 стр. Цена 1 р.
Ф. С. Леонтьев. Полезные растения в краеведческом музее. 136 стр. Цена 4 р. 35 к.
М. Г. Макаров. Работа сельских клубов с детьми. 40 стр. Цена 1 р. 20 к.
По следам древних культур. Древняя Русь. 366 стр. Цена 12 р. 50 к.
Под баян. Сборник. 80 стр. Цена 2 р.
Ал. Сурков. Избранные стихи и песни. 72 стр. Цена 1 р. 70 к.
А. М. Терпигорев. Богатства земных недр. 48 стр. Цена 1 р.
А. Шаров. Волго-Дон в действии. 52 стр. Цена 1 р.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

- В. С. Васечкин.** Технология экстрактивных веществ дерева. 428 стр. Цена 11 р. 20 к.
И. Р. Илюшин. Усыхание хвойных лесов от задымления. 40 стр. Цена 1 р. 25 к.
Б. А. Кравченко. Леса Московской области (их восстановление и улучшение). 40 стр. Цена 90 к.
Ф. К. Кочерга. Горно-мелиоративные работы в Средней Азии и Южном Казахстане. 236 стр. Цена 8 р. 45 к.
В. С. Лебедев. Инструменты и станки фанерного производства. 447 стр. Цена 11 р.
В. М. Наумов. Лесоэксплуатация. 268 стр. Цена 6 р. 95 к.

МЕДГИЗ

- В. М. Бергольц.** Люминесцентная микроскопия. 136 стр. Цена 4 р. 50 к.
П. И. Големба. Уход за кожей и волосами. 48 стр. Цена 50 к.
В. И. Колесов. Страницы из истории отечественной хирургии. 284 стр. Цена 14 р. 40 к.
П. Г. Корнев. Костно-суставной туберкулёз. 2-е издание. 644 стр. Цена 38 р.
Ю. П. Фролов. Иван Петрович Павлов. 2-е издание. 288 стр. Цена 8 р. 90 к.
И. И. Яковлев. Неотложная помощь при акушерской патологии. 388 стр. Цена 15 р.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

- Д. Бахшиев.** Единство и дисциплина Коммунистической партии Советского Союза. 94 стр. Цена 1 р. 15 к.
А. Каменская. Как повысить урожайность овощей в закрытом грунте. 83 стр. Цена 1 р. 25 к.

Как посадить картофель квадратно-гнездовым способом. Инструктивная брошюра. 51 стр. Цена 65 к.

И. Кудревич. Круглогодичное выращивание овощей. Второе, дополненное издание. 73 стр. Цена 90 к.

К. Паустовский. Повести и рассказы. 322 стр. Цена 6 р. 30 к.

Н. Пузанчиков. Механизованная ферма. Второе, дополненное издание. 79 стр. Цена 2 руб.

МУЗГИЗ

Е. Добрынина. Пятая симфония Глазунова. 20 стр. Цена 30 к.

В. Коенен. Шуберт (монография). 240 стр. Цена 4 р. 35 к.

Ю. А. Кремлёв. Фортепианные сонаты Бетховена. 272 стр. Цена 8 р. 15 к.

Д. Локшин. Выдающиеся русские хоры и их дирижёры. Очерки. 132 стр. Цена 3 р. 40 к.

В. В. Стасов. Письма к родным. Том 1. 312 стр. Цена 11 р. 5 к.

В. Стасов. Русская опера за рубежом. 44 стр. Цена 85 к.

Б. Ярустовский. П. И. Чайковский. 34 стр. Цена 85 к.

ПРОФИЗДАТ

Ф. Лисичкин. Техника безопасности на валке деревьев. 52 стр. Цена 85 к.

Т. Нагорная. Мастера кирпичного производства. 64 стр. Цена 80 к.

Р. Рыжкова. Наш опыт библиотечной работы. 64 стр. Цена 95 к.

Н. Смирнов. На фабрике одежды. 60 стр. Цена 75 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

Вопросы кормления и разведения свиней. Сборник статей. 160 стр. Цена 5 р. 10 к.

А. А. Зубрилин. Методы повышения питательности кормов. Издание 2-е. 30 стр. Цена 40 к.

М. А. Павловский. Освоение земель нечернозёмной полосы. 360 стр. Цена 6 р. 40 к.

П. Н. Сергеев. Высокие урожаи озимой пшеницы в Поволжье. 46 стр. Цена 60 к.

А. И. Чупеев. Богословская МТС. Издание 2-е. 112 стр. Цена 2 р. 40 к.

М. Г. Ширман. Совхоз имени Сталина («Хуторок»). 200 стр. Цена 2 р. 60 к.

ЮРИЗДАТ

Юридический словарь. 784 стр. Цена 42 р.

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. П. Аношкин. Инструктор горкома. Повесть. 108 стр. Цена 2 р. 75 к.

КУЙБЫШЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

К. Селиванов. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии. 160 стр. Цена 3 р. 40 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. С. Воронов. 45 лет у кузнечного горна. 24 стр. Цена 50 к.

А. Богданова, Вячеслав Шишков. Литературно-критический очерк. 256 стр. Цена 6 р. 70 к.

Жан Грива. Рассказы об Испании. 120 стр. Цена 2 р. 30 к.

ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

С. Залыгин. Утренний рейс. Рассказы. 140 стр. Цена 2 р. 5 к.

Юные мичуринцы. Очерки о работе Омской областной станции юных натуралистов. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

СТАЛИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. И. Ткачёв. Бессмертные герои. Стихи. 64 стр. Цена 1 р. 10 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

за 1953 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Нора Адамян. Два рассказа: 1. Врач из Зарешана. 2. Начало жизни. VII—130.

Иван Арамилев. На охоте. Рассказ. I—130.

Людвик Ашкенази. Сьенфуэгос или Сто огней. Рассказ. Перевод с чешского Э. Берштейн. VIII—101.

Либеро Биджаретти. Напрасное посещение. Современная итальянская новелла. Перевод З. Потаповой. VI—197.

Яцек Бохенский. Заблудился. Рассказ. Перевод с польского В. Арцимовича. XI—156.

Рената Вигано. Взрыв. Современная итальянская новелла. Перевод К. Наумова. VI—209.

С. Георгиевская. Отрочество. Повесть. III—3; IV—38.

Е. Герасимов. В Сталинграде. Записки Ани Чуриловой. XII—3.

Владимир Дудинцев. На своём месте. Повесть. VI—3.

Аскер Евтых. У нас в ауле. Повесть. V—3; VI—84.

Н. Емельянова. Новая фигура. Рассказ. IX—90.

Тихон Журавлёв. Комбайнеры. Повесть. VII—3.

С. Залыгин. Ответ. Рассказ. IX—83.

Любовь Кабо. За Днестром. Роман. Часть третья (Первая и вторая части романа были опубликованы в №№ 5 и 6 «Нового мира» за 1950 год). IX—3; X—55.

Эм. Казакевич. Сердце друга. Повесть. I—3.

Феличе Киланти. Вынесли на плечах. Современная итальянская новелла. Перевод З. Потаповой. VI—204.

А. Э. Коппард. Два рассказа: Пятьдесят фунтов. Перевод с английского Л. Борового. IX—101. Джонни Флинн. Перевод с английского Ю. Мирской. IX—112.

Т. Леонова. Жена. Рассказ. X—45.

Дорис Лессинг. Старый вождь Мшланга. Рассказ. Перевод с английского Ю. Мирской. XII—180.

Миллард Лэмпелл. К этому не привынешь... Рассказ. Перевод с английского Юрия Смирнова. X—108.

Владимир Матов. В степи. Рассказ. II—99.

И. Меттер. Возвращение. Рассказ. VII—158.

Юрий Нагибин. Зимний дуб. Рассказ. III—114.

Сем. Нариньяни. Аноним. Комедия. II—48.

Стефан Николсв. Портрет. Рассказ. Перевод с болгарского М. Коларовой, И. Литваковой. IV—16.

Валентин Овечкин, Геннадий Фиш. Народный академик. Пьеса. X—3.

Дмитрий Остров. Тётя Оля. Рассказ. V—111.

В. Панова. Времена года. Роман. XI—3; XII—62.

Доменико Реа. Синьора выходит в Помпее. Современная итальянская новелла. Перевод З. Потаповой. VI—200.

Матей Сломчинский. Повесть о серебрястом лососе. Перевод с польского В. Киседева. XI—136.

Такакура Тэру. Песенка свињи. Рассказ. Перевод с японского В. Логуновой. II—125.

В. Тендряков. Падение Ивана Чупрова. XI—104.

Г. Троепольский. Из записок агронома. III—78; VIII—52.

Амедео Уголини. Мы не уйдём отсюда. Понятно без слов. Современные итальянские новеллы. Перевод З. Потаповой. VI—192.

Бодо Узе. Мост. Повесть. Перевод с немецкого Л. Чёрной. IV—117.

Цюй Лань-по. Маленький Ли-бэнь. Рассказ. Перевод с китайского Вл. Рогова. VIII—129.

Кришан Чандр. Когда пробудились поля. Повесть. Перевод с урду В. Крашенинникова. II—7.

Юлия Шестакова. Живой тигр. Рассказ. II—111.

Иван Щеглов. Лес дремучий. Драма. VII—94.

ПОЭМЫ И СТИХИ

Маргарита Алигер. 9 марта 1953 года. Стихи. IV—12.

Маргарита Алигер. Гроза. Перед зарёй. Стихи. VII—92.

Сесар М. Арконада. Бессмертный Сталин. Стихи. Перевод с испанского Фёдора Кельна. IV—37.

Ник. Асеев. Свет тот горит. Стихи. IV—11.

Салих Баттал. По столбовой дороге (Из повести в стихах). Перевод с татарского Н. Гребнева и С. Липкина. XII—159.

Иоганнес Бехер. Слово к соотечественнику. Из книги «Немецкие сонеты 1952». Стихи: Песня; Путь на родину; Аллея Сталина. Перевод с немецкого Л. Гиназбурга. II—3.

Петрусь Брозка. Осень. Стихи. Перевод с белорусского Бориса Иринина. III—76.

Суканта Бхаттачарья. Проза. Мольба (Из стихов индийских поэтов). Перевод Рауфа Галимова. VIII—127.

Константин Ваншенкин. «Кинодеятель». Стихи. II—97.

Константин Ваншенкин. Солдатская судьба. Стихи. VII—129.

Константин Ваншенкин. Самая насыщенная работа... Стихи. IX—82.

С. Васильев. Освобожденная вода. Стихи. Перевод с якутского С. Липкина. I—146.

Е. Винокуров. Победные книги. Стихи. V—108.

Вэй Ян. Я вернулся, отчизна! (Из стихов китайских поэтов). Перевод Л. Эйдлины. VII—179.

Расул Гамзатов. Твой взгляд. Стихи. Перевод с аварского Е. Николаевской и И. Снеговой. VIII—126.

Григорий Глазов. Притих аэродром. Стихи. XI—135.

Го Мо-жо. К встрече Сталина и Мао Цзэ-дуна. Стихи. Отрывок. Перевод с китайского Л. Эйдлины. IV—33.

Н. Заболоцкий. Два стихотворения: Оттепель; Откинув со лба шевелюру... X—43.

М. Исаковский. В тихом поле, в спелом жите... Стихи. I—129.

Аркадий Кулешов. Граница. Повесть в стихах. Перевод с белорусского М. Исаковского. VIII—3.

Реваз Маргиани. Зелёная Гвалда. Стихи. Перевод с грузинского А. Межирова. II—123.

Глеб Пагирев. К партии. Стихи. VIII—100.

Ежи Путрамент. Сталинским путём. Стихи. Перевод с польского Эдмунда Йодковского. IV—36.

Джанни Родари. Девять стихотворений: Мальчик из Модены; Пожарный; Не у всех бывает воскресенье; Лежебока; Письмо фее; Оркестр на площади; Больной мальчик; Снежное чучело; Куда девались феи? Перевод с итальянского С. Маршака. II—137.

М. Рыльский. Он в партии живёт. Стихи. Перевод с украинского М. Исаковского. IV—13.

Вл. Семанкин. Хожу я местами родными. Стихи. XI—102.

Владимир Семёнов. На родной земле. Стихи: Зелёное и голубое; Радуга; Где подсолнухи в огородах... I—126.

Н. Старшинов. Руки моей любимой. Стихи. III—113.

Лиляна Стефанова. Витоша. Стихи. Перевод с болгарского Юлии Друниной. V—133.

А. Твардовский. У великой могилы. Стихи. IV—14

А. Твардовский. За далью — даль. (Из путевого дневника). VI—59.

Тянь Цзянь. Тысяче погибших (Из стихов китайских поэтов). Перевод Л. Эйдлины. VII—180.

Ник. Ушаков. Счастье. Стихи. III—77.

Владимир Фёдоров. Дунайская быль. Стихи. II—44.

Назым Хикмет. О нём. Стихи. Перевод с турецкого М. Павловой. IV—34.

Цзан Кэ-цзя. Он приехал домой (Из стихов китайских поэтов). Перевод Л. Эйдлины. VII—181.

Хариндранат Чаттопадхьяй. Философу (Из стихов индийских поэтов). Перевод Рауфа Галимова. VIII—127.

Степан Щипачёв. Свадьба. Стихи. XII—31.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Александр Гитович. Из китайской классической поэзии. **Ли Бо.** Думы тихой ночью; Среди чужих; Одиноко сижу в горах Цзинтиншань; Тоска у яшмовых ступеней; Развлекаюсь; Струящиеся воды; Вспоминаю горы Востока. X—116.

С. Маршак. Из Роберта Бернса: Старый Роб Моррис; О подбитом зайце, проковылявшем мимо меня; Строчки о войне и любви; Послание к другу; Про кого-то; Песня; Друга моряка; Молитва святоши Вилли; Надгробное слово святоше Вилли. IX—126.

С. Маршак. Из Джанни Родари. С итальянского. Открытки с видами городов; Неаполь без солнца; Мастер плетёной мебели из городка Беллуно; Площадь Маста́и; Воскресная прогулка; Когда умирают фабричные трубы; Эшелон; Поезд бастуют; Домик № 27; Зал ожидания; Красный свет; Поезд будущего; Поезд, идущий за границу. XI—168.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Роже Вайян. Что я видел в Египте. Перевод с французского Л. Лунгиной, К. Наумова. IV—204.

В. Познер. Кто убил Баррела? Перевод с французского Л. Лунгиной и К. Наумова. II—143; III—168.

Элен Саймон. В Гватемале. Перевод с английского. X—170.

Жорж Сориа. Марокко—Алжир—Тунис. Перевод с французского Л. Любимова. VII—183.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Иоганнес Р. Бехер. В защиту поэзии. Перевод с немецкого Е. Кацевой. XI—211.

Фёдор Гладков. О культуре речи. VI—231.

Владимир Матов. Ещё о рассказе. IX—193.

Иван Новиков. У Толстого. IX—186.

В. Померанцев. Об искренности в литературе. XII—218.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Анатолий Злобин. Месяц в пятом районе. III—121.

Ив. Зыков. Дворец науки. I—148.

И. Осипов. Большая нефть. V—134.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Иван Козлов. Жизнь в борьбе. IX—135; X—119.

Н. Фере. Мой учитель. III—145; V—148.

ПУБЛИЦИСТИКА

Г. Александров, академик. Боевой союз единомышленников-коммунистов. II—173.

А. Алейсеев. Распад единого мирового рынка. V—215.

Э. Араб-Оглы, Ю. Арбатов. Растлители умов (О современном социал-дарвинизме и фрейдизме). II—196.

И. Артоболовский, академик. Прогресс советского машиностроения. V—202.

М. Белов. Коммунистическая партия — руководящая и направляющая сила советского народа. IV—172.

Великое несокрушимое единство. Передовая. IV—3.

Н. Гудцов, академик. Развитие советской металлургии. VIII—199.

Анатолий Злобин. Уральские встречи. XII—189.

Е. Касимовский. Сталинская программа построения коммунизма. VI—212.

И. Лемин. За ширмой «объединённой Европы». XI—193.

Б. Леонтьев. Враги национальной свободы и независимости. III—198.

Б. Леонтьев. Международное сотрудничество и мир. XII—203.

П. Мстиславский. Основной экономический закон социализма. I—192.

П. Мстиславский. Народное благосостояние. XI—174.

А. Панов. Экономические успехи стран народной демократии. X—186.

Писатели мира о Сталине: Максим Горький, Анри Барбюс, Алексей Толстой, Ромэн Роллан, Луи Арагон, Бернгард Келлерман, Мартин Андерсен-Нексе, Мария Пуйманова, Хариндранат Чаттопадхайя, Фрэнк Харди, Анна Зегерс. IV—150.

Е. Романова, В. Рубин. Против маршализации культуры. I—210.

Вас. Русаков. Сила примера (Заметки о печатной пропаганде передового опыта в сельском хозяйстве). XII—199.

А. Сазанов. И. В. Сталин о товарном производстве и законе стоимости при социализме. IV—188.

С. Титаренко. И. В. Сталин о пролетарском интернационализме. V—188.

А. Фадзев. Гуманизм Сталина. IV—163.

В. Чепраков. Углубление общего кризиса капитализма. VII—209.

М. Юрьев. Восстание тайпинов. III—210.

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

В. Доброхвалов. О биологическом виде и видообразовании. X—200.

Иван Зыков. Плотины и рыбы. VIII—161.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. Абалкин. В поисках конфликта. V—237.

В. Асмус. Образ как отражение действительности и проблема типического. VIII—214.

В. Байков. Литература свободной Венгрии. VII—237.

Е. Герасимов. Отчего герои становятся скучными (Заметки о книгах для школьников о школьниках). II—224.

Н. К. Гудзий, В. А. Жданов. Вопросы текстологии. III—232.

В. Дорофеев. Литературное наследство. X—224.

Н. Емельянова. Заметки о писателях в Красноярском крае. X—214.

Б. С. Емельянов. Некоторые вопросы советской комедии. XII—251.

Г. Заварухин, советник юстиции. Знать то, о чём пишешь. II—233.

Д. Заславский. Некрасов-редактор (К 75-летию со дня смерти Н. А. Некрасова). I—223.

Л. Землянова. Реакционная англо-американская фольклористика. XI—242.

А. Караганов. Характеры и обстоятельства. II—206.

И. Козлов. Мирные дни армии и флота в литературном отражении. XI—233.

Николай Леонтьев. Волхование и шаманство. VIII—227.

М. Линфиц. Великий французский просветитель (К 175-летию со дня смерти Вольтера). VI—239.

Дмитрий Нагишкин. О сказке. III—218.

В. Николаев. Защитник мира (К 80-летию со дня рождения Анри Барбюса). V—227.

Б. Рюриков. Великие традиции революционно-демократической эстетики (К 125-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского). VII—224.

И. Сергиевский. Выдающийся русский поэт (К 150-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева). XII—246.

Корней Чуковский. Пфедрая дань (К 75-летию со дня смерти Н. А. Некрасова). I—237.

Марк Щеглов. Особенности сатиры Льва Толстого (К 125-летию со дня рождения Л. Н. Толстого). IX—176.

ДНЕВНИК ИСКУССТВ

Вл. Толстой. Правда — основа художественности. Заметки о живописи на Всесоюзной художественной выставке 1952 года. IV—245.

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

М. Азадовский. Записки И. Д. Якушкина и комментарий к ним («Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина»). III—253.

В. Александров. Вопросы русского народного стихосложения (М. П. Штокмар. «Исследования в области русского народного стихосложения»). I—267.

И. Арамышев. Орлята становятся орлами (Абдурахман Абсалямов. «Орлята»). Роман. Авторизованный перевод с татарского М. Демидовой и М. Чечановского). II—256.

Л. Баша. На верный курс («Жовтень». Литературно-художний та громадсько-політичний журнал). VIII—245.

Л. Боровой. Начало положено (Проф. А. И. Гвоздév. «Очерки по стилистике русского языка»). III—257.

Л. Боровой. «Геометрическая» лингвистика (В. К. Фаворин. «Синонимы в русском языке»). Научно-популярный очерк. XII—291.

Евг. Босняцкий. Как в калейдоскопе (Ирина Левченко. «Повесть о военных годах»). VIII—258.

Б. Галанов. «Сибирские огни» могут светить ярче («Сибирские огни», литературно-художественный и общественно-политический журнал. №№ 1—5, 1952). II—245.

Е. Гальперина. Голоса индийского народа («Индия говорит». Стихи индийских поэтов. Перевод В. Журавлёва). III—246.

Е. Гальперина. Французские писатели о Вьетнаме (Pierre Courtade. „La rivière Noire“. Jean-Pierre Chabrol. „La dernière cartouche“. Roman. Madeleine Riffaut. „Les baguettes de Jade“. Пьер Кургад. «Черная река». Жан-Пьер Шафрель. «Последний патрон». Мадлен Риффо. «Палочки из нефрита»). X—262.

А. Г. Гатов. Книга о великом китайском писателе-революционере (Фын Сюэ-фын. «Воспоминания о Лу Сине» (на китайском языке). XII—281.

Е. Герасимов. По поводу и по существу (С. Антонов. «Дни открытий», рассказы). V—253.

Т. Гриц. Великий русский актёр («Михаил Семёнович Щепкин. Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине»). II—266.

О. Грудцова. Правдивое и надуманное (Александр Андреев. «Широкое течение». Роман). VIII—250.

С. Егганов. Невоплощённый замысел (Алексей Никитин. «Ткачи». Роман). VII—265.

В. Жданов. Новое о русских классиках («Литературное наследство», т. 58. Пушкин, Лермонтов, Гоголь). V—261.

В. Жданов. Книга о мастерстве поэта (Юрий Чуковский. «Мастерство Некрасова»). VII—252.

Б. Закс. Больше наступательного духа! («Дальний Восток», литературно-художественный журнал. №№ 1—5 за 1952 г.). I—252.

Ст. Злобин. «Россия молодая» (Юрий Герман. «Россия молодая». Роман). VII—262.

Ю. Зубков. Записки советского актёра (Н. К. Черкасов. «Записки советского актёра»). XI—265.

И. С. Исаков, профессор. Книга об адмирале Ушакове (Леонтий Раковский. «Адмирал Ушаков». Роман). VIII—255.

Н. Капиева. Сердечная книга (Хачим Теунов. «Новый поток». Авторизованный перевод с табардинского). III—249.

Н. Капиева. Дети дома одного (Расул Гамзатов. «Год моего рождения». Стихи и поэмы. Авторизованные переводы с аварского. Расул Гамзатов. «Слово о старшем брате». Авторизованные переводы с аварского). IV—255.

Ю. Капусто. Впечатление и мысль (Юрий Бондарев. «На большой реке». Рассказы). XI—262.

А. Караваева. Обещающее начало (Мариан Брандис. «Начало повествования». Перевод с польского В. Арцимовича и В. Раковский). IV—265.

И. Козлов. Герои Красного Гангута (Владимир Рудный. «Гангутцы». Повесть). VII—256.

М. Козьмин. В плену у материала (Ал. Шмаков. «Петербургский изгнанник». Исторический роман). XII—273.

Г. Койранская. О теме главной и побочной (В. Авдеев. «Новый корректор». Повесть.) XII—277.

А. Кондратович. Книга о Поле Робсоне (Виктор Горохов. «Робсон»). II—253.

А. Кондратович. Альманах, которому нужна помощь («На берегах Великой». Псковский литературный альманах. № 4). VI—259.

Б. Костюковский. В тайге (Виктор Лаври-найтис. «Падь Золотая», повесть). V—255.

В. Кутейникова. Певец Кубы (Николас Гильтен. «Стихи». Перевод с испанского). IV—271.

М. Лифшиц. «Крепостные мастера» (А. Кузнецов. «Крепостные мастера»). IX—220.

В. Логунова. Японский народ борется (С. Токунана. «Тихие горы», роман. Перевод с японского И. Львовой). IV—268.

В. Логунова. В борьбе за передовую японскую литературу («Дзиммин бунгаку», ноябрь 1950 — декабрь 1951). VII—268.

В. Логунова. Голос народа («Кэйхин-но нидзи». «Радуга над Токио — Иокогамой»). X—266.

Ю. Лукин. Новые люди Чукотки (Николай Шундик. «Быстроногий олень». Роман). I—257.

Г. Маргелашвили. Под влиянием теории «единого потока» (А. Барамидзе, Ш. Раднани, В. Женти. «История грузинской литературы. Краткий очерк»). III—260.

Ю. Мирская. «Между войнами» (Kazimierz Brandys. Cykl „Miedzy wojnami“ „Samson“ (1947), „Antygona“ (1948), „Troja miasto otwarte“ (1949), „Czlowiek nie umiera“ (1951). Казимир Брандыс. Цикл «Между войнами» — «Самсон» (1947), «Антигона» (1948), «Троя открытый город» (1949), «Человек не умирает» (1951). II—262.

Л. Михайлова. «Свет ты наш, Верховина...» (М. Тевелев. «Свет ты наш, Верховина...»). Роман). IX—209.

Т. Мотылёва. Прогрессивные писатели — борцы за мир («Прогрессивная литература стран капитализма в борьбе за мир». Сборник статей). II—258.

Конст. Мурзиди, Смоленский альманах («Смоленский альманах» №№ 10 и 11 за 1952 год). X—236.

П. Мусьяков, генерал-майор. В далёкой гавани (Леонид Зайцев, Григорий Скульский. «В далёкой гавани», роман). V—249.

А. Наркевич. Гоголь и революционные демократы (С. Машинский. «Гоголь и революционные демократы»). XII—287.

Вл. Николаев. Михаил Серёгин и его товарищи (Александр Гончаров. «Наш корреспондент», повесть). IV—259.

Вл. Николаев. Неуважение к теме («Чудесная сила». Рассказы о стахановском труде). VII—259.

В. Огнев. Ясности! (В. Перцов. «Маяковский. Жизнь и творчество (до Великой Октябрьской социалистической революции)»). I—263.

З. Паперный. Откровенный разговор (Сергей Смирнов. «Откровенный разговор». Книга стихотворений. Сергей Смирнов. «Подарок». Стихи). II—251.

К. Поздняев. Солдатские стихи («Боевые друзья». Сборник солдатских стихов). VIII—252.

И. Сац. Чкаловский альманах («Степные огни», литературно-художественный альманах Чкаловского отделения Союза советских писателей. Книга одиннадцатая). XI—250.

Н. Соколова. Человек и его дело (Татьяна Тэсс. «Под нашим небом»). VI—263.

Ю. Стрехнин. Не обходить трудного! (Виталий Петлюванский. «Трубы играют зарю». Роман. Авторизованный перевод с украинского Е. Дырина). IX—218.

В. Сурвилло. «Решающие годы» (Сергей Болдырев. «Решающие годы». Роман). XI—257.

П. Топер. «Железный город» Ллойда Брауна (Лloyd Braun. «Железный город». Роман. Перевод с английского И. Кашкина). VI—269.

Т. Трифонова. «Литературная Тула» («Литературная Тула». Литературно-художественный и публицистический альманах. Книги 2—6. 1950—1952 гг.). IV—262.

Т. Трифонова. Движение жизни и неподвижная повесть (П. Маляревский. «Здравствуй, жизнь!» Повесть). X—251.

П. Трофименко. Белорусские рассказы («Белорусские рассказы». Перевод с белорусского). III—243.

А. Турнов. Поэзия венгерского народа («Антология венгерской поэзии»). II—240.

А. Турнов. Оружие сатиры (Вл. Дыховичный. М. Слободской. «Кто сеет ветер...». Сатирические стихи. Юрий Фидлер. «Пещерные люди». (Фельетоны 1948—1952 гг.). Сергей Швецов. «Коротко и ясно»). VI—266.

А. Турнов. По шаблону («Советский Казахстан», №№ 1—8). XII—266.

Е. Усиевич. Небылицы в лицах (Виктор Шевелов. «Оружие сильных». Роман). I—259.

П. Утевская. Народный писатель Латвии (Э. Бирзник-Упит. «Избранное». Э. Бирзник-Упит. «Избранные рассказы»). VI—256.

Р. Фаизова. Без связи с жизнью («Шарк Юлдузи» («Звезда Востока»), литературно-художественный и общественно-политический журнал на узбекском языке. №№ 1—12. 1952). V—252.

Я. Фрид. Джинми выходит на верный путь (Пьер Куртад. «Джинми». Роман. Перевод с французского М. Богословской). VIII—262.

Г. Фридендер. Новые тома Л. Н. Толстого (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, тт. 34 и 53; т. 66). IX—213.

Н. Чуканов. Первая книга (С. Никитин. «Возвращение». Рассказы). II—248.

П. Шebuнин. Сивозь тусклое оконце.. («Киргизстан». Литературно-художественный альманах. №№ 1, 2 и 3 за 1952 год). IX—205.

Б. Шиперович. Ценный справочник (Н. Мацуев. «Советская художественная литература и критика. 1938—1948. Библиография»). V—265.

М. Школенко. Исторический роман Юрия Смолыча (Юрий Смолыч. «Свѣтанок над морем». Роман). IX—226.

С. Шмераль. На пути к победе (Вацлав Ржезач. «Наступление». Роман. Перевод с чешского Ю. Молочковского). XI—268.

К. Шостак. Книга о наших детях (И. Ликстанов. «Первое имя». Повесть). IX—230.

С. Шугт. «...Думать, хотеть, сметь» (В. Очеретин. «Первое дерзание». Роман). X—257.

М. Щеглов. Без музыкального сопровождения... (Осип Чёрный. «Опера Снегина». Роман). X—242.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Батюшкова. Учёный-самоучка (Г. И. Ревзин. «Подвиг жизни Ивана Черского»). VIII—281.

Н. Башилов. Неутомимый борец за социализм (А. М. Валеев. «Н. Е. Федосеев — один из первых марксистов в России»). X—273.

С. Бсглов. Атомный империализм (Джеймс Аллен. «Атомный империализм». Перевод с английского). V—274.

Руд. Бершадский. Реабилитация жанра («Волга»). II—282.

А. Боженко, подполковник. Хроника героической борьбы (М. П. Толчёнов. «Вооруженная борьба корейского народа за свою свободу и независимость». (Обзор военных действий. Июнь 1950 г.—июнь 1952 г.). III—268.

Ел. Будилса. Новое издание работ И. М. Сеченова (И. М. Сеченов. «Избранные произведения. Том первый. Физиология и психология»). IX—266.

Д. Валентей, кандидат экономических наук. Капитализм — современная форма рабства (А. Е. Пашертник и И. Д. Левин. «Принудительный труд и рабство в странах капитала»). IX—232.

А. Валуйский, кандидат исторических наук. Крестьянское движение на Ближнем Востоке (Итак Велерс. «Крестьяне, Сирии и Ливана». Сокращённый перевод с французского Я. И. Серебрянского). XII—298.

А. Винтер, академик. Энергия ветра (А. В. Кармишин. «Ветро двигатели для механизации животноводческих ферм»). VI—281.

М. Восленский, кандидат исторических наук. Под двойным гнётом (Н. Жуков, Г. Григорьев. «Милитаризация экономики и усиление обнищания рабочего класса Западной Германии»). V—270.

М. Восленский, кандидат исторических наук. Атлантический пакт концернов (G. Baumann. «Atlantikpakt der Konzerne. Die internationale Kapitalverflechtung in Westdeutschland». Г. Бауманн. «Атлантический пакт концернов. Переплетение международного капитала в Западной Германии»). VIII—272.

Л. Герман. «Несвятая троица» в США (Преступление — политика — бизнес). (Кейфав и Estes. «Crime in America». Е. Кейфавер. «Преступление в Америке»). II—274.

М. Голей. Русские люди — творцы машин (Ф. И. Войно. «Замечательные русские механики Черепановы». А. И. Александров. «Первая водяная турбина»). VII—280.

Н. Горбунов. Аргентинский экономист о судьбах своей родины (Хайме Фукс. «Амери-

канские тресты против Аргентины». Перевод с испанского Г. А. Калугина). XII—301.

Л. Давыдов. Спорт отважных (А. Д. Виногуров, «Авиационный спорт»). V—283.

М. Давыдов, М. Леснов. Небрежное отношение к большой теме (В. Т. Карпов. «Великие стройки сталинской эпохи». А. Г. Иосифьян. «Великие стройки коммунизма и задачи советской науки и техники». В. В. Мельшиян. «Великие стройки коммунизма — всенародное дело»). III—270.

В. Дворцов. В сегодняшней Америке (Derek Karten. „USA' 53“. Дерек Картэн. «США в 1953 году»). VII—271.

В. Доброхвалов. О своих родных местах («Воронежская область. Часть первая. Природные условия». Профессор С. С. Станков. «Очерки физической географии Горьковской области». Третье, исправленное издание). VII—277.

А. Дымшиц. Заметки на полях словаря («Словарь русского языка». Составил С. И. Ожегов. Второе издание, исправленное и дополненное). I—277.

С. Евгенов. Полезное напоминание (С. Морозов. «Первые русские фотографы-художники». С. Морозов. «Русские путешественники-фотографы»). X—282.

И. Забелин, кандидат географических наук. По чужим странам (Б. Д. Шанько. «Под парусами через два океана»). III—276.

И. Забелин, кандидат географических наук. Выдающийся русский естествоиспытатель (Р. Л. Золотницкая. «Н. А. Северцов — географ и путешественник»). XII—305.

В. Завадский. Пафос созидательного труда (В. П. Макасовский. «Стройки социализма в европейских странах народной демократии»). VIII—264.

Вал. Зорин. Проповедь войны под видом науки («Annals of the American Academy of Political and Social Science». «Анналы американской Академии политических и социальных наук»). IV—273.

Вал. Зорин. Путь к прочному миру (Jerome Davis. „Peace, War and You“. Джером Дэвис. «Мир, война и Вы»). X—269.

А. Иглицкий. Под знаменем мира (М. Песляк и В. Николаев. «Главный экзамен. О деятельности Международного союза студентов»). VII—272.

И. Иноземцев. Детям о морях СССР (Д. Карелин. «Моря нашей Родины». Очерки по физической географии и исследованиям). IV—282.

И. Исаков, профессор. Порочная работа об адмирале Нахимове (Доктор исторических наук генерал-майор С. Ф. Найда. «Выдающийся русский флотоводец — адмирал П. С. Нахимов»). I—282.

А. Касихин, кандидат сельскохозяйственных наук. Итог многолетних исследований (Н. С. Щербиновский. «Пустынная саранча штистоцерна. Проблема защиты южных территорий СССР от вторжения стай штистоцерки»). VIII—277.

И. Крупеников. Выдающийся учёный XVIII века (А. Т. Волотов. «Избранные сочинения по агрономии, плодоводству, лесоводству, ботанике»). VI—283.

И. Крупеников. Сальские степи прежде и теперь (Я. И. Звягинцев, П. И. Рудаков, В. А. Мидцев, В. С. Лермонтов. «Сальский район»). IX—250.

Б. Леонтьев. Экономические основы англо-американских разногласий (А. Кочетков. «Англо-американское соперничество на рынках Западной Европы»). VIII—268.

Л. Липин, кандидат исторических наук. Учебник по древней истории (В. И. Авдиев. «История древнего Востока»). XII—307.

И. Масленников, генерал армии. Новый труд о войне 1812 года (Н. Ф. Гарнич. «1812 год»). II—278.

Н. Мацуев. Сто библиографий советских учёных («Материалы к библиографии трудов учёных СССР», М. 1940—1945. «Материалы к библиографии учёных СССР», М.—Л. 1945—1952.). II—280.

К. Мзианю, кандидат исторических наук. Великий сын итальянского народа (Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне. «Жизнь Антонио Грамши (биографический очерк)». Перевод с итальянского Г. Д. Богемского). IX—235.

Ю. Милёнушкин, кандидат биологических наук. Проблемы наследования в биологии (П. П. Сахаров. «Наследование приобретаемых свойств»). VII—274.

Ю. Милёнушкин, кандидат биологических наук. Происхождение и эволюция заразных болезней (В. М. Жданов. «Заразные болезни человека. Систематика и эволюция»). XI—279.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. Учёный, популяризатор, писатель (В. А. Обручев. «В дебрях Центральной Азии (записки кладаоскателя»). X—275.

В. Песчанский. Борьба продолжается (Стив Нельсон. «Добровольцы. Воспоминания участника борьбы с фашизмом в Испании»). XII—295.

Б. Петров. За боевой экономический журнал («Вопросы экономики». №№ 1—12 за 1952 г.). III—264.

Н. Петровский, кандидат исторических наук. Древние книги человечества (Л. Липин, А. Белов. «Глиняные книги»). V—280.

С. Пилипчук. Наёмники доллара (Б. Грибанов. «Банда Тито — орудие американо-английских поджигателей войны»). II—272.

Г. Пицхелаури, кандидат медицинских наук. Социальные истоки здравоохранения (И. А. Пашинцев. «Н. Маркс и Ф. Энгельс о социальных основах здравоохранения»). X—279.

О. Поленц, кандидат юридических наук. Наёмники доллара (Рено де Жувенель. «Армия наёмников». Перевод с французского В. Сысоевой и И. Тихомировой). V—276.

О. Поленц, кандидат юридических наук. Кто правит Францией («Тресты-миллиардеры во Франции»). Перевод с французского В. В. Любимовой). XI—272.

А. Проскураков. Против морального растления немецкой молодёжи («USA in Wert und Bild». Henschelverlag 1951—1952. «США в слове и иллюстрации». Хеншельферлаг. 1951—1952). VI—275.

Б. Розен, кандидат химических наук. Ученик Ломоносова (Н. Раскин. «Василий Иванович Клементьев — ученик и лаборант М. В. Ломоносова»). VIII—279.

Л. Романов. Во франкистской Испании (Фелипе М. Арконада. «Испания — колония янки»). Перевод с испанского Г. А. Калугина). VI—278.

Д. Сандомирский, кандидат химических наук. Новая отрасль органической химии (В. Я. Розен. «В мире больших молекул»). XI—282.

Н. Симонов. Аграрная программа большевиков (А. Н. Лопаткин. «Из истории разработки аграрной программы большевистской партии. (От первых марксистских групп и кружков до Великой Октябрьской социалистической революции)»). V—267.

В. Спасний. Машины плодородия (Александр Казанцев. «Машины полей коммунизма. Рассказы о машинах, их создателях и командирах»). V—278.

Л. Степанов. Обличение южноафриканских расистов (E. S. Sachs. „The choice before South Africa?“). Э. С. Захс. «По какому пути пойдет Южная Африка?»). III—273.

М. Толчёнов, полковник, Американский народ хочет мира (Артур Кан. «Выскажитесь! Америка хочет мира»). I—272.

С. Флор, гроссмейстер. Путь советского гроссмейстера (В. В. Смыслов. «Избранные партии»). VII—282.

Я. Фрид. На языке фактов (Georges Soria „Que preparent les russes?“). Жорж Сория. «Что готовят для русских?»). II—270.

И. Халифман, кандидат биологических наук. Проблема видообразования (Юрий Долгушин. «В недрах живой природы»). VIII—274.

А. Ханьковский. Электрификация колхозов (Н. С. Власов. «Экономия электрифици-

рованного колхозного производства»). IV—277.

П. Чернашин, кандидат философских наук. Нераскрытая тема (В. Прокофьев. «Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии»). IX—240.

Е. Шведов. Изобличающий документ („Weissbuch über den Generalkriegsvertrag“, 1952. «Белая книга об общем военном договоре». 1952). I—275.

Ю. Шилин. Советская торговля за тридцать пять лет («35 лет советской торговли. 1917—1952»). Сборник статей. IV—279.

С. Шмидт, кандидат исторических наук. Ценный исторический труд («История Москвы. Том первый Период феодализма XII—XVII вв.»). IX—242.

В. Яцунский, доктор исторических наук, профессор. Серьезный вклад в изучение истории земледелия («Материалы по истории земледелия СССР. Сборник I»). XI—275.

Печать СССР за 35 лет. III—278.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Ноябрь—декабрь 1952 года. I—286.

Декабрь 1952 года—январь 1953 года. II—286.

Январь—февраль 1953 года. III—285.

Февраль—март 1953 года. IV—285.

Март—апрель 1953 года. V—286.

Апрель—май 1953 года. VI—286.

Май—июнь 1953 года. VII—285.

Июнь—июль 1953 года. VIII—284.

Июль—август 1953 года. IX—283.

Август—сентябрь 1953 года. X—285.

Сентябрь—октябрь 1953 года. XI—285.

Октябрь—ноябрь 1953 года. XII—310.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

С. П. Антонов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),

В. П. Катаев, С. С. Смирнов (зам. главного редактора),

С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-06-96.

Сдано в набор 1/X-53 г.

Подписано к печати 12/XI-53 г.

А 03236. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. 10 бум. л.—32,8 печ. л. Тираж 130.000. Заказ № 1932.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.